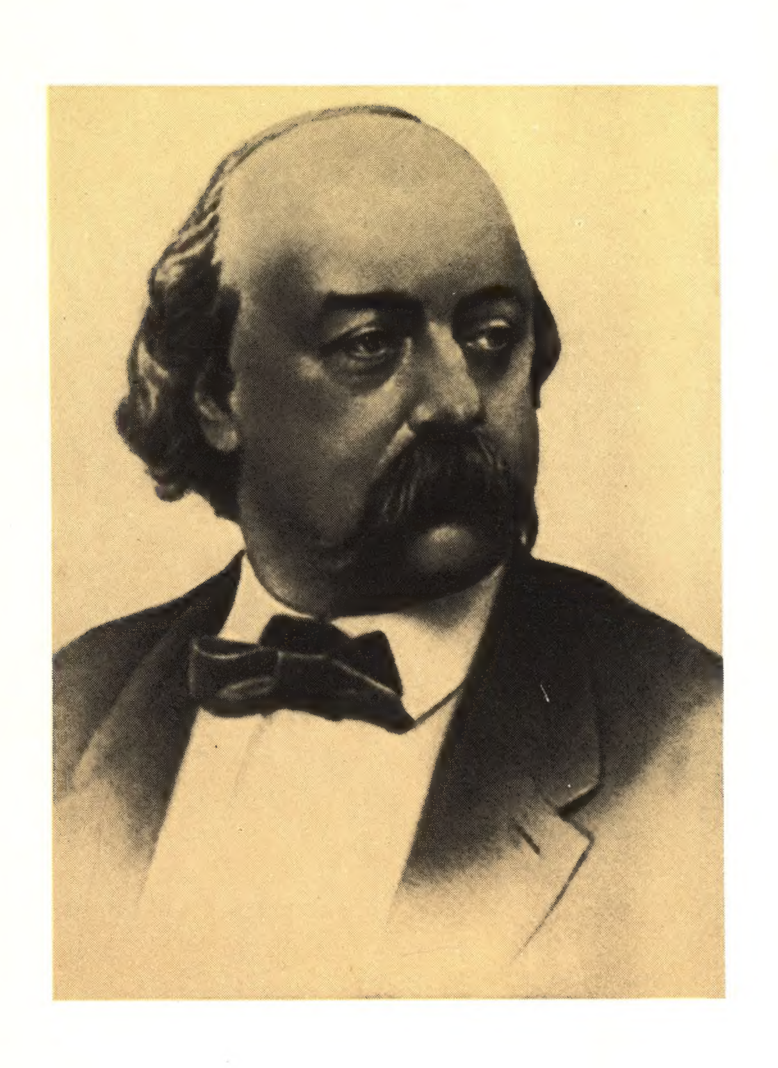

ГЮСТАВ
ФЛОБЕР
3





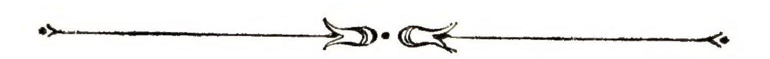


ГЮСТАВ ФЛОБЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

ГЮСТАВ ФЛОБЕР



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ I

ГОСПОЖА БОВАРИ

САЛАМБО

Переводы с французского

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

И(Фр)
Ф 73

Вступительная статья
Я. Фрида

Примечания **С. Ошерова**

Оформление художника
Ю. Алексеевой

Ф $\frac{4703000000-156}{028(01)-83}$ подписное



ГЮСТАВ ФЛОБЕР

1

Сын хирурга, главного врача руанской больницы, Гюстав Флобер родился в 1821 году; его детство и отрочество совпали с расцветом романтизма; с одиннадцати лет он редактирует лицейский журнал и пытается сочинять («Я написал стихотворение «Мать» и много пьес»); в четырнадцать лет увлекается Шекспиром и пишет «Портрет лорда Байрона»; в дальнейшем обращается ко всем жанрам, типичным для романтизма и прежде всего «неистового», склонного к гротеску, фантастике, эмоциональной напряженности, лиризму. В пятнадцать-семнадцать лет он автор набросков «Чума во Флоренции», «Танец мертвецов» (поэма в прозе) и большой рукописи «Мемуары безумца», в которых безумец мудр, а Земля «идиотически вращается во вселенной уже столько столетий, не делая ни шага вперед». В восемнадцать лет сочиняет большую байроническую драматическую мистерию «Смар», в которой участвуют Сатана и Смерть.

В 1840 году Флобер, успешно сдав экзамены в руанском лицее, стал бакалавром. Потом учится на юридическом факультете в Париже. Он уже очень начитан. В его последнем крупном юношеском произведении «Ноябрь» (1841—1842) — романтические метафоры и гиперболы, много страниц ритмических, как поэма в прозе. Модель «Ноября», в известной мере автобиографического,— «Рене» Шатобриана. Его герой умирает от своих мыслей, от печали и беспокойства.

В романе «Воспитание чувств» (1845—1846), не имеющем ничего общего с одноименным романом, написанным в 1864—1869 годах, проявились проницательность ума двадцатичетырехлетнего Флобера и его глубокое понимание современности. В это время в

его творчестве произошел скачок от «неистового» романтизма к реалистическому повествованию в субъективной форме — от первого лица.

В основе сюжета романа главный вопрос, разрешаемый французской литературой XIX века: что выбрать — полное приятие или же неприятие буржуазной иерархии жизненных ценностей, буржуазного прогресса, практической деятельности буржуазии? Эту проблему решают молодые герои романа — более общительный, решительный, легкий на подъем и несколько тщеславный Анри и застенчивый, гордый и ироничный Жюль. Соответствуют этим их качествам плоды их воспитания в условиях эпохи. Пока Анри в Париже становится практичным журналистом и увлечен романом-адюльтером, Жюль живет в маленьком городке, пренебрегая материальным благополучием. Склонный к депрессии, он переживает безответную любовь; затем, уединясь, увлекается античностью, мечтает, размышляет, наконец, все чувства и мысли отдает искусству. Однако и в своей «прозаической» эпохе он различает не только то, что на Бирже еще жив Тюркаре Лесажа, в Медицинской школе — мольеровский доктор Диафуарус, а во Дворце правосудия — судья Бридуазон из «Женитьбы Фигаро» Бомарше. Он также задумывается над тем, не интереснее ли для художника последний полувек, в котором «были революция, призванная изменить мир, и герой, призванный его покорить» [1], полувек, полный и борьбы идей, и продажности, и измен, и героизма. Законен вопрос: что же героизм — только в прошлом, например, в 1793 году и в 1830 году? Нет, Жюль, как видно, ощущает движение истории и слышит подземный гул, предвещающий в этом же полувеке революцию 1848 года. Это достойно внимания: в дальнейшем такие мотивы, близкие к историческому оптимизму, у Флобера не повторятся. Между тем черты автобиографизма в образе Жюля несомненны. До разгрома революции 1848 года Флоберу случалось глядеть в будущее с некоторой надеждой.

Жюлю двадцать шесть лет. Его жизнь «внешне печальна и для постороннего взгляда, и для него самого, она монотонно тянется, заполненная все теми же трудами и раздумьями в одиночестве; в ней нет развлечений... она кажется суровой и трудной... но изнутри она великолепно освещена магическим светом, страстным пыланием...». Это — позиция интеллектуального аристократизма художника; она уже и у самого Флобера. С каким восторгом говорит он от имени Жюля о «страстном пылании» творческого труда! А о практичном Анри — с нескрываемой иронией: «Знаете

---

[1] Жюль имеет в виду Великую французскую буржуазную революцию и Наполеона Бонапарта. *(Примеч. автора.)*

ли вы, что Анри предстоит богатый, великолепный брак? Он женится на племяннице министра, чей сын его друг; он получит двести тысяч франков приданого... не пройдет четырех-пяти лет, как он станет депутатом, потом — снова; где же он остановится?..» Великолепие творческого пылания — и великолепие богатого брака!

Характеристики героев однозначны. Вместе с тем первое «Воспитание чувств» дает отчетливое представление о навсегда формирующейся в сознании Флобера его иерархии жизненных ценностей.

В 1848—1849 годах Флобер написал «Искушение святого Антония» — философскую драматическую поэму в прозе (которую он сократил в 1856 г. и заново написал в 1872 г.). Потребность противопоставить свое пантеистически-материалистическое мировоззрение, свой культ научного знания религиозной мистике и схоластике всех верований и ересей всю жизнь диктовала ему эту усложненно символистскую интеллектуальную драматическую поэму. То был его ответ на все растущее во второй половине XIX века влияние клерикалов.

В «Искушении святого Антония» впервые проявилась характерная для Флобера эрудиция. Из художников в дальнейшем только атеист А. Франс такой же знаток тонкостей теологии, как атеист Флобер. Карнавал соблазнов, богов, религий, грехов, чудищ, мифологических и гротескных образов, проходящий перед отшельником Антонием, живописен, особенно в первом варианте, и патетическая проза диалога и монологов музыкальна, что говорит о большой работе Флобера над стилем.

В молодости Флобер с Максимом Дюкапом странствовал пешком по Бретани, путешествовал по Италии, Пиренеям и Корсике. Почти два года (1849—1850) заняло его путешествие совместно с Дюканом по Египту, другим странам Востока и Греции. Путевые заметки Флобера вошли в его собрание сочинений.

Его переписка с друзьями — сокровище французского эпистолярного наследия. В Собрании сочинений Флобера 1910 года восемь писем Тургеневу. В дополнительных томах 1954 года — сто восемнадцать. Они отражают сердечную привязанность и интеллектуальную близость французского и русского писателей. «У вас все основания любить меня, потому что я очень люблю вас»,— писал Флобер в 1873 году. «Никогда ни к кому не тянуло меня так, как к вам. Общество моего милого Тургенева благотворно для моего сердца» (1878). «Флобер — один из тех, кого я любил более всего на свете»,— сказал Тургенев после смерти друга.

Если не считать путешествий Флобера и его поездок в Руан, в Париж, он тридцать лет жил, работая, в усадьбе Круассе с матерью и племянницей.

В облике Гюстава Флобера почти легендарны черты героической самоотверженности в творческом труде, преданности призванию. Прикованный к столу страстной жаждой совершенства, он с небывалым упорством добивался точного выражения мысли и чувства, выбирая незаменимые и полнозвучные слова. Освещенное до поздней ночи окно в Круассе стало маяком и для речных судов на Сене, и для французской литературы. Его учениками считали себя Анатоль Франс, Мопассан и А. Горький, его продолжателями — Эмиль Золя и братья Гонкуры.

2

Во Франции первая половина века окончилась разгромом июньского восстания рабочих 1848 года. Руководивший этим разгромом генерал Кавеньяк — воплощение того здравого смысла буржуазии, который посадил на трон в 1830 году Луи-Филиппа, короля мещанства. Вторая половина века началась захватом власти Луи Бонапартом («Еще один Бонапарт? Какой срам»,— записал Бодлер) — авантюрой того же здравого смысла. Уже Июльская монархия была «акционерной компанией для эксплуатации французского национального богатства...» [1]. Начиная со Второй империи в стране интенсивно развивается промышленный и торговый капитализм.

Победившая крупная буржуазия уверена, что будущее — в ее несгораемых шкафах и банках. В литературе все более многочисленна и красноречива школа здравого смысла, поэтизирующая самодовольных победителей, их идеалы. Писатель Эдмон Абу (названный Гонкурами литературным промышленником) восклицает в книге «Прогресс»: «Будем работать!» Пусть «старомодные моралисты... предают анафеме биржевую игру», она — «искусство объединять маленькие капиталы и делать большие дела». «Наш век истинно прекрасен». В немногих словах — новое определение прекрасного, рождается эстетика биржи: «над всем господствует здравый смысл буржуа»,— констатируют Гонкуры.

Школе здравого смысла противостоят те немногие художники, которых М. Горький назвал блудными детьми буржуазии: в их творчестве одержал победу реализм, ибо они видят буржуазное общество не с позиций своего класса, не глазами буржуа. Но острый критицизм их мышления сочетается с ощущением собственной беспочвенности и одиночества в этом мире, прозаическом — как давно заметил Флобер. Отчуждение блудных детей буржуазии от

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2-е, т. 7, с. 10.

нее, на которое и она отвечает тем же, создало дистанцию между художником и обществом — между красотой гуманизма, без которого нет настоящего искусства, и уродством общественных отношений, лишенных гуманизма, между реализмом Флобера и буржуазией.

У Флобера смолоду мироощущение блудного сына. В двадцать лет он жертва безвременья. Трагически звучит его запись в юношеской тетради: он чувствует себя «безупречно честным человеком, то есть способным на преданность и большие жертвы...», но это никому не нужно. Мало кто из блудных детей так рано и так глубоко осознал свою ситуацию в эпохе. И, как бы предвидя задорный оптимизм Абу, он там же записывает: «...ужасно зрелище современного мира». Вывод: «выше всего только Искусство...» Его привлекает в искусстве «пыл исследования — счастье благородных душ»; он и пытается дышать в «своей пещере» только воздухом искусства. Но самоизоляция от воздуха эпохи невозможна.

В молодости Флобер пережил депрессию. Это так называемая «болезнь века». Французские литературоведы насчитывают от трех до шести ее стадий, начиная с «Рене» Шатобриана и «Обермана» Сенанкура. Это томление духа, вызванное глубокой неудовлетворенностью жизнью, к годам молодости Флобера приобрело отчетливо политическую суть — антибуржуазный характер. Пройдут годы, и он даже будет жаловаться, что у него начинается сердцебиение, если в поезде рядом с ним садится буржуа. Флобер увидел, пожалуй, так ясно, как никто в его время, глубинную, историческую причину болезни века: разочарование в «посредственном результате» революции 1789 года (Записная книжка). Власть буржуазии, преобладание в стране ее стиля жизни, ее иерархии жизненных ценностей, активность литературы здравого смысла и т. д. во второй половине XIX века антибуржуазно настроенные писатели неизменно характеризовали словом «посредственный» («médiocre»). Французский литературовед П. Барбери сказал: «XIX век болен буржуазией». Писатели называли тогда болезнь века «скукой». «Это не... обычная пошлая скука,— писал Флобер,— но... скука современная... она так вгрызается в утробу человека... что от него остается шагающая тень, мыслящий призрак».

Трагическое противоречие мировоззрения Флобера в том, что, презирая мещанина, он видит в современности главным образом его и, отвергая буржуазный путь развития, не верит в реальность иного: история в «тупике». Индивидуальному миру блудных детей буржуазии не хватает чувства реальности исторического будущего, надежд на него. Настоящее бесплодно, а историческое прошлое, когда все было впереди,— утраченное сокровище. Подобное вос-

приятие мира, порождающее духовный голод,— несчастье Флобера, гениального художника. Буржуа тот, говорит Флобер, кто мыслит низменно: сознанием определяется социальное бытие. Буржуазия — не класс, как думали Стендаль и Бальзак: буржуа — «это теперь все человечество, включая народ».

Однако в действительности господство капиталистов не будет вечным; «тупик» не в истории, а в сознании блудных детей буржуазии. «Нет ничего характернее для буржуа, как перенесение черт современных порядков на все времена и народы»[1]. Несмотря на искреннюю антибуржуазность будных детей, сказывается их связь с буржуазией.

В стихотворении Бодлера «Отречение святого Петра», программном для мировоззрения блудных детей, апостол Петр охотно отказывается «от мира, где активность не сестра мечты». В «Человеческой комедии» «слова-ключи», неотделимые от ее идейно-эмоционального фундамента,— «энергия» (то есть активность) и «мрак». Первое из этих слов отброшено блудными детьми, потому что энергия стремления буржуазии к «успеху», ее практической деятельности вызывает у Флобера, как и у Бодлера, отвращение. Флобер смолоду уверен, что деятельной жизнью управляет жажда выгоды — мещанский здравый смысл, враждебный бескорыстной мечте. С брезгливостью взирает он на энергию безнравственного хищничества, которому при Второй империи подает пример двор. В 1877 году жалуется в письме Тургеневу: «Через некоторое время невозможно будет жить, не занимаясь денежными делами, не будучи банкиром, не продавая и не покупая что бы то ни было». Презрение к «посредственности» буржуазного практицизма заставляет его воскликнуть в 1878 году, что он чувствует себя революционером до мозга костей. Но это не революционность, а неприятие стиля жизни, враждебного поэзии, эпохи, чуждой величию. Он пишет Тургеневу в 1872 году: «Никогда еще... ненависть к величию в любой сфере и пренебрежительное отношение к Прекрасному... не проявлялись в такой степени, как сейчас...»

Флобер, подобно Рене Шатобриана,— в «человеческой пустыне», ему близки только родные, друзья и Сервантес, Мольер, другие великие. Оборотная сторона его позиции интеллектуального аристократизма, в которой есть и нечто от предвзятости,— тоска одиночества. Спасает только работа.

Из путешествия по Востоку в 1850 году Флобер привез глубоко обдуманный замысел строго реалистического романа, который назовет «Госпожа Бовари».

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 1, с. 153.

3

Император Наполеон III накануне открытия Салона живописи 1853 года ударил хлыстом реалистическую картину Курбе «Купальщицы» — реализм неприемлем как таковой. Жюль Шанфлери, изобретатель этого слова и соратник Курбе, вскоре после хулиганства императора и, должно быть, в связи с ним пишет в программной статье: «Правдивое искусство, которое сейчас преследуют под именем реализма с таким же ожесточением, с каким крестьяне из пригорода в день захвата Национального собрания (то есть во время подавления июньского восстания 1848 года.— *Я. Ф.*) кричали «Смерть коммунизму!», «проникает в глубь природы» — реальности. Правдивость и глубина искусства — эстетический идеал Флобера. Но Шанфлери, хотя и уверял в своей книге «Реализм» (1850), что он против фотографичности литературы, в своих романах не поднимался выше поверхностного правдоподобия. Поэтому термин «реализм» раздражает Флобера. Поэтому и Бодлер назвал себя сверхнатуралистом. Впоследствии Флобер не будет возражать против причисления его к натуралистам (от слова «nature» — «природа»). Верность природе неотделима от его пантеистического материализма, сформировавшегося под влиянием Спинозы.

Флобер отлично знает, что нет искусства без условности, и все же стремится к *адекватности* изображения изображаемому; его цель — *красота точности,* в поэтике он максималист. Он вырабатывает метод, противоположный тому «субъективному», каким написаны его юношеские произведения, кончая первым «Воспитанием чувств»: «объективный», «безличный» метод *изображения,* «показа», без вмешательства, прямой оценки, комментариев автора. Он отказывается от *повествования,* в котором звучали бы интонации автора. Таким образом он добивается в «Госпоже Бовари» удивительного эффекта стереоскопичности. Известный критик Сент-Бёв отметил после издания этого романа, что он близок голландской и фламандской живописи. Флобер и сам сказал, что стремился «во всю силу, выпукло изображать и мельчайшие явления, и значительные», чтобы заставить читателя «ощутить почти *материально»* воспроизведенную им жизнь (Записная книжка).

Он так мотивировал условия и преимущества «объективного» метода: увидеть вещи такими, каковы они в реальности, может *только* «честный человек», не вносящий в процесс наблюдения «никакого личного интереса» (Записная книжка). Это позиция естествоиспытателя. Флобер сознательно избрал ее, и фактически она преобладает в его творчестве над позицией интеллектуального аристократизма. Именно она организует творческий процесс. Автор

«Госпожи Бовари» — исследователь общества. Объективность Флобера — это не бесстрастие, как подчас думают, а полное беспристрастие. Он так глубоко сопереживал персонажам, перевоплощаясь в них, что во время работы над сценой отравления Эммы Бовари у него были признаки отравления и рвота. Но принцип беспристрастия Флобер соблюдает неукоснительно, добиваясь того, чтобы оно включало в себя приговор искусства реальности. Он писал Жорж Санд в 1868 году: «Не пора ли впустить в искусство Правосудие? Беспристрастие (impartialité) изображения достигло бы тогда величия закона и точности науки!»

Флобер здесь имел в виду то же «поэтическое правосудие», которое Энгельс обнаружил в «Человеческой комедии», восхищаясь ее «революционной диалектикой» [1]. При этом *приговор* совершенного искусства несовершенной жизни и ее пластическое *изображение — синонимы.* И Добролюбов в 1859 году в статье о Гончарове высоко оценил «беспристрастное отношение к изображаемому предмету»: при нем художник воссоздаст «явление жизни во всей его полноте и свежести...» [2].

Но овладеть таким искусством нелегко. Главная трудность в том, что необходимо одновременно добиваться и адекватности изображения изображаемому и его обобщенности, *укрупняющей* реальность. М. Горький как-то сравнил зрение реалиста с увеличительным стеклом, тогда как зрение автора, копирующего жизнь,— оконное стекло. Флобер в письме к И. Тэну рассказал: все, что он видит зрением воображения и памяти, для него «действительность столь же настоящая, как объективная реальность», и видит это он с резкой ясностью. Но многое, отсеиваясь, не входит в текст, например, следы оспы на лице аптекаря Оме, пятна на мебели («Госпожа Бовари»). Другое, наоборот, укрупняется, например, стиль красноречия господина Оме. «Добиваясь совершенства, надо создавать правдивое, а создавать его можно, лишь отбирая и преувеличивая» типичное в жизни. Он назвал это «гармоничным» (то есть не нарушающим пропорций) преувеличением самого характерного.

Картина *антигармоничной,* уродливой реальности должна быть *гармоничной*: этого требует *красота* точности. Поэтому Флобер назвал *идеализацией* «процеживание» содержания памятью, сосредоточенной на нем, совершающей отбор и оставляющей только типичное. После отбора и преувеличения характерного,— говорит он,— все отчетливо видно в солнечном свете правдивого искусства.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2-е, т. 36, с. 67.
[2] Н. А. Добролюбов. Литературно-критические статьи. М., 1935, с. 22, 21.

О том же в письме к Тургеневу: «...чтобы увидеть, надо упорядочить и переплавить».

Преувеличение Флобера отличается гармоничностью от безудержного гиперболизма Рабле и Мольера, который он так любил. «Гармоничность» укрупнения — в скуке и жажде жизни Эммы Бовари. В образе «гражданина» Режембара автор второго «Воспитания чувств» гротескно укрупнил расплывчатость штампов либерализма, мнимую политическую сознательность — ее форму без содержания. В живописце Пеллерене гротескно укрупнена ненавистная Флоберу склонность превращать искусство в воплощение таких штампов, что и сделал Пеллерен, изобразив на картине «Республику, или Прогресс, или Цивилизацию в виде Христа, управляющего паровозом, который мчится по девственному лесу». В образе Сенекаля гротескно укрупнена поза политической «левизны», лишенной конкретного классового содержания,— «беспощадный революционер» Сенекаль в 1848 году превращается в охранителя порядка и убивает единственного в романе труженика Дюссардье. Сенекаль — далекий предок современных «леваков» в Западной Европе, фактически служащих реакции. Интенсивность укрупнения и гротеска Флобера — торжество интеллектуализма, выносящего приговор уродливой жизни...

Флобер высокого мнения о реализме Бальзака, но следовать его методу во второй половине века не считает возможным — не только потому, что ему не нравится стиль Бальзака. Реалисты первой половины века не связывали естественность и правдивость изображения с законами красоты. Необходимую Стендалю дистанцию между ним и обществом создавали историзм мышления и та «моральная и *политическая* точка зрения» последовательной демократии, вместе с которой у художника появляется «стремление к новому, еще не изображенному в характерах» и благодаря которой в романах Стендаля его поэтическое правосудие совпало с правосудием истории, предвосхищая его. Бальзак обязан историзму мышления и дистанцией, и политическим критерием при изображении современности; суть этого критерия, конечно, не в столь искренне афишируемых им легитимистских симпатиях и прочих предрассудках. В XIX веке,— пишет Бальзак уже вскоре после революции 1830 года,— прогресс совершается энергией «эксплуатации человека человеком»; знание этого помогает «разобраться в структуре общества и понять причины всего происходящего в индивидуальных существованиях». Не ключ ли это к структуре «Человеческой комедии», к поэтическому правосудию Бальзака, к исследованию-изображению буржуазного общества в его произведениях?

Флоберу часто не хватает историзма, и для него критерий при

изображении современности не есть следствие ее политического понимания. Он судит по законам красоты и гармоничности; но это не культ «чистого искусства», формы самой по себе, а приспособление средств художественного познания (изображения-исследования) к условиям «объективной» позиции «над» буржуазным обществом. Буржуазный практицизм признает только полезное. Прекрасное антибуржуазно; недоступное буржуа, оно бесполезно с его точки зрения. Флобер вслед за Готье вызывающе говорит: да, искусство — «поиски бесполезного», которые «в сфере интеллектуальной то же, что героизм в сфере нравственности» (Записная книжка). Польза искусства,— комментирует эту позицию Плеханов,— есть его «служение той скуке, которая вызвала восстание этих детей буржуазии против буржуа» [1].

Только красотой точности может Флобер утолить свой духовный голод.

Структуру романов и Бальзака, и Стендаля организует напряженность сюжетных линий взаимодействия характеров, часто сильных, и эпохи, столкновение личности с исторической или конкретной политической ситуацией, силовых линий борьбы, страсти.

Так возникают напряженные, более или менее жесткие драматические сюжеты «Человеческой комедии», объединенные в ней в художественный *образ взаимосвязей в обществе.* Мир Бальзака и Стендаля — в непрестанном становлении, которое совершается при участии воли, энергии многих персонажей.

Флобер видел, что «реакция 1848 года вырыла бездну между двумя полувеками» во Франции (письмо Флобера к Жорж Санд, 1866 г.). Ему форма Бальзака мешала бы во втором полувеке по-своему овладевать содержанием жизни, совсем, как ему казалось, лишенной движения истории и душевной энергии людей. В 1844 году Флобер пишет: «...о грандиозном в современности не приходится и говорить».

Произведения Флобера о современности не лишены драматизма. Но вместо силовых линий столкновений с исторической ситуацией, воли, страстей и т. п. у него сцепление вялых и неотчетливых чувств и мыслей, таких, например, как состояние духа Фредерика, связавшее его с Розанеттой («Воспитание чувств»), часто участвующих в самообмане персонажей. Флобер писал в 1852 году, во время работы над «Госпожой Бовари»: «Изобразить сцепление чувств адски трудно, между тем в этом вся сущность романа». В своих романах о современности он обращается главным

---

[1] Г. В. Плеханов. Искусство и общественная жизнь. М., 1949, с. 300.

образом к чувствам, имитирующим романтическое мироощущение, которое считал выражением слабости. В этих произведениях особый *драматизм слабости* — на всех уровнях: от эмоционального и психологического до социального и политического,— допускающий вместо интенсивности силовых линий интенсивность гротеска и укрупнения. В этом драматизме, вялом, лишенном борьбы, но мучительном для людей, нет динамичности. Флобер и мечтал написать книгу без сюжета, вовсе не нуждающегося в его сцеплениях. Этим объясняется постоянная его забота о сцеплениях текста ритмом и интонациями (силовые линии в книгах Бальзака и Стендаля освобождали их от такой заботы).

Флобер участвовал в сближении прозы и стиха во второй половине XIX века: в них увидели сообщающиеся сосуды, между которыми нет непроницаемой перегородки; «смешение поэзии и прозы» по-новому происходит и во второй половине XX века, как отметил Арагон, подтвердивший это и художественной практикой. Такое сближение помогает обновлять структуру, освобождая поэзию от жестких условностей традиционного стихосложения и внося в прозу интенсивность стихотворной формы (образность, эмоциональность, музыкальность интонаций). В 1876 году Э. Гонкур подытожил процесс сближения стиха и прозы: «Литературу, начало которой положили Флобер и Гонкуры, можно было бы, по-моему, определить так: тщательное изучение природы в прозе, говорящей на языке поэзии». Следует прибавить: но без лиризма. Флобер хотел «дать прозе стихотворный ритм, оставляя ее прозой и только прозой...». Он мечтал выработать «стиль... который был бы ритмичным, как стихи, точным, как язык науки, и с волнообразным звучанием виолончели». «Звучание виолончели» — в прозе «Легенды о св. Юлиане Милостивом». Работая над «Простой душой», Флобер восклицает: «Тем хуже для смысла, если он мешает ритму». Смысл, конечно, не пострадал. Флобер особенно заботился о музыкальности, потому что у него, как он признался в юности, не было «ни малейшего чувства ритма».

Поэт Бодлер испытал «тонизирующую зависть», прочтя в рукописи главы прозаического романа Флобера «Саламбо». В книгах Флобера нетрудно найти текст более ритмичный, чем «Маленькие стихотворения в прозе» Бодлера, и распадающийся на прозаические «строфы», например, описание обеденного стола в замке Вобьесар («Госпожа Бовари»); картина леса в Фонтенбло («Воспитание чувств»); перечисление отрядов карфагенских наемников («Саламбо»); панорама Палестины с крыши дворца Ирода Антипы («Иродиада»).

4

«Госпожа Бовари» начата в 1851 году. Четыре года и восемь месяцев Флобер работает над нею упорно, напряженно, медленно, словно сдвигая гору, преодолевая отвращение к «посредственности» изображаемого. Об этом труде А. Франс сказал: великан Флобер, опираясь на дубину, перенес литературу с берега романтизма на берег реализма. В 1853 году Флобер жалуется: «Бовари» подвигается туго: за целую неделю — две страницы!!!» За три месяца — тридцать девять страниц. Зато он доволен адекватностью романа и изображаемой жизни. Когда роман будет издан, Сент-Бёв выразит уверенность, что эта книга (ее подзаголовок «Провинциальные нравы») — плод пристальных наблюдений. Но она более всего плод гениального воображения и длительных размышлений о современности. Банальной, даже пошлой истории «развратившейся», как писал Сент-Бёв, пустой провинциалки Флобер сумел придать высокий трагизм, строгую красоту и роковую силу развития античной драмы.

В 1856 году роман напечатан в журнале «Парижское обозрение», в 1857 году выходит книгой. И маститый Сент-Бёв, и начинающий критик А. Франс увидели в нем аналитический роман нового типа. Тогда же директор журнала, как и «его сообщники» — автор и типограф,— преданы уголовному суду за «отрицание красоты и добра», «изучение и изображение» темных сторон жизни, нарушающие «правила здравого смысла». На все уговоры внести в роман хотя бы мелкие исправления Флобер отвечал: в нем нет ничего достойного порицания самого строгого моралиста. Адвокат добился оправдания. Закономерно для эпохи, что тогда же, когда посажен на скамью подсудимых реалист Гюстав Флобер, кресло члена Французской Академии предоставлено Эмилю Ожье, драматургу школы здравого смысла.

Замысел «Госпожи Бовари» вырос из желания, как сказал Флобер Э. Гонкуру, «воссоздать серый цвет заплесневелого существования мокриц» — цвет «посредственности» эпохи и мещанского драматизма слабости. «Я всматриваюсь в плесень, покрывающую душу»,— писал автор «Госпожи Бовари». «Посредственность» играет и роль Рока в этой драме. Против жизни цвета плесени посвоему восстает Эмма Бовари (как и автор романа — по-своему). Это возвышает Эмму над средой. Вот почему Бодлер в статье о романе назвал ее образ «героическим». Но сквозное действие Эммы двусмысленно-гротескно (благодаря гармоничности формы гротеск не бросается в глаза); трагическая ирония в том, что ее «бунт», ее

протест — того же цвета посредственности и пошлости, как и отвергаемый ею мещанский образ жизни.

У Эммы своя, не литературная, а бытовая форма болезни века, которая обостряется сразу после соприкосновения с «красивой» жизнью в замке Вобьесар, возбуждает ее, гонит в Ионвиль, заставляет метаться среди иллюзий о возможности счастья «между небом и землей», любви «в роскоши и богатстве», «сладострастия на шелку»; все это — «фальшивые чувства и фальшивая поэзия». Цитаты — из «сценариев», черновых планов романа, опубликованных в 1949 году. В них Флобер открыто беспощаден к бедной Эмме. В тексте романа — только беспристрастие, точность объективности, в которых Флобер видит истинную поэзию. И когда он говорит о состоянии Эммы: «Скука, молчаливый паук, ткет в темноте паутину по всем уголкам ее сердца», поэтическая точность образа в его прозе такова, что предвосхищает лаконичную семантику строк «Сплина» Бодлера (1857), великого поэта, сильнее всех выразившего чувства болезни века: «И племя пауков, бесшумных и поганых, // В мозгу моем свои густые сети вьет».

Серый цвет плесени и мокриц организует в романе жизненный материал. Это «цвет» бездарного простодушного лекаря Шарля Бовари и глупого аптекаря Оме, Родольфа Буланже и Леона, любовников Эммы, бала в замке Вобьесар и сельскохозяйственной выставки. Это цвет истерических переживаний Эммы. Только трепетная, не успевшая заплесневеть юность Жюстена на этом фоне подобна распускающейся почке. Трагическая ирония в том, что именно Жюстен держит свечу, когда Эмма идет к синей банке с мышьяком. И величие, а не посредственность в эпизодическом персонаже — хирурге Ларивьере, мастере своего дела, отзывчивом и проницательном.

Флобер нередко обращается к интенсивности гротеска, изображая суррогат духовного голода Эммы — ее зависть к *роскоши* и *страстям* парижанок. По мнению Э. Гонкура, зависть — главная «болезнь» всей буржуазии, сверху донизу. Когда Эмма на сельскохозяйственной выставке жадно слушает вычурное объяснение в любви лощеного хама Родольфа Буланже, фразы которого гротескно чередуются с возгласами с выставки (о премии «за удобрение навозом» и т. п.), она и сама кажется жалко-гротескной. Но только каменное сердце может не сострадать Эмме в ее последние минуты; в подтексте «объективного» изображения — и сострадание доброго, гневного сердца Флобера к этой слабой жертве «буржуазного века». В последнее мгновенье мир пред нею — в виде «отвратительного лица урода»: беспристрастный приговор безобразию эпохи, частица которого — судьба Эммы.

Удивительно в романе искусство Флобера гармонично выра-

зить многое скупо отобранными деталями. «Деталь — ужасная штука... Ожерелье состоит из жемчужин, но держится оно на нитке...» В «Госпоже Бовари» «нитка» — тема «посредственности» эпохи, чувств Эммы. «Посредственность» богачей в замке Вобьесар, в сущности, обрисована одной фразой из разговора, услышанного Эммой, фразой, которая восхваляла *толщину* колонн в соборе святого Петра. Фраза в духе «Словаря прописных истин» — штампов мещанского мышления, который Флобер составлял почти всю жизнь. Там же Эмма видит, как кавалер тайком передает даме записку — вот оно перед нею, очарование соблазна! Как будет жаждать его она после этого! Как будет она жалеть, что «упустила» Леона, уехавшего заканчивать образование. Такой емкости лаконизма у Флобера учились А. Франс и Мопассан.

И вот Эмма дождалась — на сельскохозяйственной выставке ее пошло соблазняет Родольф в сцене, которая всей пластичной конкретностью представляет собою рыцарскую защиту любви от мимикрирующей под нее пошлости. Этот рыцарь — поэтическое правосудие Флобера, для которого пошлость — величайшее преступление. Наконец и Эмма получает записку. В ней после «Прощайте» Родольф поставил восклицательный знак и многоточие — «в этом он видел высший шик». А читатель видит сарказм Флобера в записке Родольфа о его «мятущейся душе». В ней — набор романтических штампов, ненавистных автору романа. Он строго объективен и теперь, и в сцене, где Эмма уступает соблазну по «лучшим образцам»: «Ей припомнились героини прочитанных книг, ликующий хор неверных жен запел в памяти родными, завораживающими голосáми... заветная мечта ее молодости сбывалась...» Да, Эмма дождалась — она одна из этих героинь. Но такая реальность столь жалка и низменна, что беспристрастный художественный анализ выглядит как острая сатира. Не только фальшиво-искренние чувства Эммы, жизнь общества виделась Флоберу гротескной. Недаром он сказал: «Аристофана — вот кого не хватает нашей эпохе».

В романе с Леоном, когда Эмма стала опытнее, ее более всего прельщает вульгарный ритуал адюльтера с регулярными поездками в Руан — все «как у людей». Эта жестокая ирония Флобера — в подтексте. А текст показывает путь Эммы к осознанию того, что соблазн адюльтера уже исчерпан и вызывает скуку. «Та самая пошлость, которая преследовала Эмму в брачном сожительстве, просочилась и в запретную любовь». Значит, у нее ничего на земле нет, кроме торопливо сделанных долгов, остатков самообмана, заполнившего ее жизнь, и «молчаливого паука» в сердце. От них можно избавиться, выпив яд. Таков ответ Эммы на собственный вопрос: «Но как со всем этим покончить?» Ведь теперь «всю унп-

зительность» своего «убогого счастья Эмма сознавала отчетливо». И гордость, и усталость в ее жесте отказа от жизни: трагический финал *драматизма слабости.*

Но мы помним, что в *первой* половине века Жюльен Сорель в «Красном и черном» Стендаля гордо идет на казнь, осознав, что его неотразимое честолюбие оказалось самообманом в этом мире фальши. И *драматизм силы* в творчестве Стендаля был неприятием стиля жизни, навязываемого большинству людей богатыми и знатными.

Различия между романами Стендаля и Флобера необъяснимы особенностью художественного зрения последнего. Он выпукло, стереоскопично изображает то объективно новое, что внесено в жизнь победой капитализма и уже укрепилось и чего Стендаль еще не мог увидеть...

В 1892 году Лев Толстой написал С. А. Толстой, что «Госпожа Бовари» «имеет большие достоинства и недаром славится у французов».

5

Закончив «Госпожу Бовари», Флобер сразу сократил «Искушение святого Антония». М. Горький оценил эту фантастическую феерию с чертами средневековой мистерии как «поразительно мощный, направленный против церкви и религии удар в колокол скептицизма». Тогда же Флобер задумал роман о Карфагене. С весны 1857 года он собирал для него материал в библиотеках, прочтя пятьсот книг, затем поехал на место действия, в Тунис. Так он расшевелил свое воображение, которому этот роман более всего обязан своим созданием. Флобер обратился к исторической теме, чтобы отдохнуть от «Госпожи Бовари» и современности. Его отдых — новая работа. В 1861 году роман закончен.

«Саламбо» — это прежде всего великолепная проза, словно написанная для чтения вслух и, кажется, еще таящая в себе громовые раскаты голоса автора, читавшего друзьям рукопись. Флобера увлекла задача — конкретно, пластично воссоздать неведомое, в сущности, далекое прошлое — храм Молоха, толпу на улицах древнего города, буйных наемников, от которых зависим Карфаген, ослабленный соперничеством его правителей. На фоне давно известных романов А. Дюма с изобретательно разветвленным сюжетом, выросшим из исторического анекдота, и широким потоком повествования, на фоне изданного в том же 1862 году, что и томик Флобера, десятитомного лирического и драматического повествования о XIX веке в «Отверженных» Гюго «Саламбо» производит

впечатление сюиты массивных бронзовых барельефов, на которых реалистической фантазией автора запечатлены неистовые страсти и дикая энергия людей, исчезнувших в глуби веков. Эта скульптурность ближе к сонетам Эредиа, чем к современным романам. Сцена, в которой Гамилькар узнает, как растет мальчик Ганнибал, спрятанный в глуши, вдали от опасных соперников,— это стихотворение в прозе. Изысканность стиля подчинена одному из главных законов поэтики Флобера, которому он не изменит никогда,— беспристрастности изображения.

Критикой уже давно замечено, что образы неуравновешенных не менее, пожалуй, чем Эмма Бовари, центральных героев романа — Саламбо, дочери Гамилькара, и влюбленного в нее ливийского наемника Мато — модернизованы. Флобер, не отрицая этого, писал Гонкурам: «Саламбо» — роман, а не история. В картинах «Саламбо» есть нечто оперно-эффектное. Мусоргский, думая написать по роману оперу, хотел придать буйным наемникам черты свободолюбия.

Как ни отвратительна современность, Флобер не может не изображать ее. Окончив «Саламбо», он задумал новый роман — о сороковых годах; на нем, однако, отчетливым оказался отпечаток второй половины века, когда он написан. До осени 1864 года Флобер собирал материал, в основном — для изображения революции 1848 года; потом начал писать. Красноречив его вопрос в письме к Жорж Санд (1867), когда большая часть «Воспитания чувств» уже написана: он опасается, «не порочен ли замысел, который уже поздно изменять», «смогут ли заинтересовать настолько слабые характеры» персонажей? Жорж Санд ответила в нескольких письмах: роман прекрасен и более правдив, чем у Бальзака; он показывает, что этот общественный порядок надо будет изменить самым коренным образом; единственный упрек: все герои слабые, неудачники, и этого не поймут. В дарственной надписи на романе (изданном в 1869 г.) Флобер сожалеет, что не назвал его более точно — «Засохшие плоды».

Фредерик Моро — романтический молодой человек. Первая же страница сообщает о его длинных волосах (как у Мюссе). Он декламирует меланхолические стихи; его воображение, если и не отличается силой, очень чувствительно. Затем мы узнаем, что, по его мнению, слишком медлит счастье, которого достойна его возвышенная душа.

Перед отъездом Фредерика в Париж честолюбивый Делорье говорит ему: «Взгляни на Растиньяка в «Человеческой комедии» — ему, активному, подражай!» Это имя и это название должны подсказать читателю, что велика, хронологически не такая уж большая, историческая дистанция между фреской Бальзака и романом

Флобера. Вместо активности Растиньяка у Фредерика мечтательность. И все серее и скучнее жизнь. Для него это не пытка монотонным существованием, раздражавшим уже Анри в первом «Воспитании чувств», а норма.

Традиционный сюжет («воспитание», точнее — карьера молодого провинциала в Париже) растворяется в не зависимом от Фредерика и других персонажей подспудном драматизме непрестанного иссякания времени их жизни. Истинный, глубинный драматизм романа не в поступках, даже не в сознании персонажей, а в том, что все они так и не успели жить. Поток времени уносит красоту и безнадежное терпение госпожи Арну, суетню карьериста Делорье, ненасытность капиталиста Дамбреза, бестолковую возню мелкого дельца Арну, планы деятельности и ее отсутствие у Фредерика, дилетанта в жизни, обломки его мечтаний, надежд, желаний. До Фредерика это, но во взвинченном состоянии, пережила Эмма Бовари.

В характере Фредерика — ироническая двойственность: главное содержание его жизни — возвышенная любовь к госпоже Арну (в черновике она названа «архипоэтической») отлично уживается с плесенью повседневного нечистого поведения. Поэтому он не может подняться выше ситуаций несмешного, невеселого, даже мрачноватого *фарса. Таков теперь для Флобера масштаб драматизма слабости.* Фредерик неожиданно для себя берет на содержание Розанетту, бывшую содержанку пошляка Арну, чью жену он обожает, и Розанетта «изменяет» Фредерику с Арну, который готов смотреть сквозь пальцы на возможный адюльтер своей жены с Фредериком. Кадриль *самообмана* и *обмана* — вот стиль существования персонажей романа, в котором участвуют почти все они.

И Жак Арну — дилентант в жизни, тяготеющий к паразитизму; и ему знакома двойная жизнь сердца. Он похож на Фредерика, как пародия на него. Поступая как бы по наитию, на авось, он вместе с тем настоящий делец: его призвание — делать деньги. Перейдя от издания музыкальной литературы к производству фаянса, он полуувлекается и тем и другим, не овладевая вполне ни одним ремеслом. Так же дилетантски он, потрясенный своим разорением, обращается к религии и с просветленной душой открывает (на чужие деньги) магазин церковной утвари. «Собственно сердце — трамплин для достижений»,— писал Флобер о расплывчатой романтической чувствительности, служанке самообмана, в быту, как у Арну, нередко выгодного.

Энергия суетливости Арну — гротескная, подчас шутовская. Еще гротескнее «гражданин» Режембар, Пеллерен, Сенекаль, де Сизи, более всего опасающийся, что он не выделяется из толпы,—

шуты этого невеселого фарса, который, как мячом, играет Фредериком. Его обставляют и «покровитель» Дамбрез, и друг Делорье, и любовница госпожа Дамбрез, и Мартинон, подобный Молчалину.

Когда Жюльен Сорель приезжает в Париж, драматические ситуации следуют одна за другой — вплоть до письма, продиктованного госпоже де Реналь духовником, и выстрела Жюльена в нее на богослужении. В «Воспитании чувств» ссора Фредерика с де Сизи начинается как драматическая ситуация, приводящая к дуэли, впрочем благополучной. Запыхавшийся от бега Арну бросается на шею Фредерику, «защитившему его честь» (секунданты знают, что он защищал честь жены Арну, которую считают любовницей Фредерика). Затем и Розанетта благодарит его, уверенная, что он защищал ее честь. Драматическая ситуация естественно перешла в фарс.

Мари Арну наконец в объятиях Фредерика. Не кульминационное ли это место в истории любви? Но по правилам «кадрили» на сцене появляется Розанетта — она пришла за деньгами к своему первому покровителю, Жаку Арну, и неожиданно для себя скандально извлекает из объятий его жены своего второго покровителя, Фредерика. Читая роман, редко смеешься, но у него структура фарса.

У Бальзака и драматизм слабости вовлечен «буржуазным веком» в круговорот напряженных схваток жестокой борьбы за «успех». У Флобера фарсовые ситуации наложены на драматизм бесплодного существования. Почти полное отсутствие силовых линий делает незаметным фарсовый характер сюжета, и он производит *впечатление импровизации самой жизни.* И в отличие от открытой формы «Человеческой комедии», вбирающей в себя один остросюжетный роман за другим, «человеческий фарс» «Воспитания чувств» — закрытая форма: все сказано в одном томе «импровизации жизни». 55

В единственной линии сюжетного напряжения — любви героя к госпоже Арну, очень расслабленной ситуациями фарса,— та же импровизация жизни, но вплетающая золотую нить искреннего чувства в серую пряжу бесплодно ускользающего времени. На аукционе продаются вещи разорившегося Арну; невеста Фредерика вдова Дамбреза, знающая о его любви к Мари Арну, вызывающе покупает, несмотря на его просьбы не делать этого, ее шкатулку, говоря, что в ней могут быть письма. Фредерик, не стерпев этого, порвал с нею. «Он был горд, отомстив за госпожу Арну, ради нее пожертвовав богатством». Звонкий, чистый аккорд в вялой музыке невеселого фарса...

Флобер не понял июньского восстания 1848 года. Но его анти-

буржуазность приобрела в романе острополитический характер. В разгроме этого восстания участвует, яростно защищая от него свою алчность, ростовщик Рокк. Стоящий на часах и раздраженный тем, что пленный паренек просит у него хлеба, Рокк застрелил его. В мемуарах, из которых взял этот эпизод Флобер, пленного паренька убивает офицер. Флобер уточнил его социально и политически: вместо исполнителя-офицера — мститель-хозяин. Мы видим, как мелок его масштаб. «Поступок, только что совершенный им, умиротворил его, словно ему возместили убытки». Жестокость Рокка предвещает беспощадность версальцев во время «кровавой недели» 1871 года. Это самая драматическая сцена в романе.

Для писателей «меданской пятерки», учеников и друзей Золя, «Воспитание чувств» — «библия», как писал Гюисманс. Жюль Ренар назвал его «ключом к эпохе» (имея в виду вторую половину века). Роман стал «библией» и «ключом к эпохе» и потому, что Флобер открыл новый драматизм слабости, новую структуру «импровизации самой жизни», и потому, что в нем увидели приговор поэтического правосудия Флобера бесплодности «буржуазного века».

В «Воспитании чувств» народные массы в восстании 1848 года плакатны, в духе высокомерных афоризмов аристократа духа Флобера (на трон взобрался «пролетарий... веселый и глупый, как обезьяна»; «уличная девка в позе статуи Свободы... ужасна»; вот «отличный фарс»,— говорит один персонаж).

Но, рисуя иллюзии буржуазного либерализма, фальшь самообмана и обмана, Флобер в своих владениях, и он справедлив. Особая политическая острота фарса в том, что Наполеон III устройством своих дел в обстоятельствах исторических как бы включает себя в кадриль обмана и самообмана в обстоятельствах романа, используемых для своих дел Дамбрезом, Делорье и другими персонажами.

Расплывчатость либеральной программы всеобщего умиротворения и сентиментального надклассового единения воплощена в уже известной нам картине Пеллерена. Христосиком с его мазни хочет прикинуться банкир Дамбрез. После февральской революции 1848 года с непринужденностью мольеровского персонажа этот уже богатый, сытый волк в овечьей шкуре блеет: «от всего сердца» принимает он «наш возвышенный девиз» «Свобода, Равенство, Братство»,— «ведь если разобраться, все мы более или менее рабочие!». В то время «все роялисты превратились... в республиканцев, все парижские миллионеры — в рабочих» [1],— писал Маркс.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2-е, т. 7, с. 18.

Голос Луи Бонапарта (еще не сытого, тощего волка в овечьей шкуре) звучал в унисон с голосом Дамбреза, когда он, еще не добиваясь своего избрания на пост президента республики, но уже проникнув в Национальное собрание, клялся в том же фарсово-высокопарном стиле: «Демократическая республика будет моим божеством, я буду ее священнослужителем». Его «пошло-отвратительное лицо» [1] правдиво изобразить в романе можно было бы лишь в том стиле, в каком Флобер нарисовал такую же физиономию Дамбреза. История позаботилась о том, чтоб мы могли объединить их в групповом портрете. Маркс и Энгельс увидели фарс в том, как Луи Бонапарт устроил свои дела, использовав усталость и разочарование пролетариата после разгрома революции: вся полнота власти оказалась в «руках ловкого шулера» [2] (К. Маркс), героя политического фарса, «высокопоставленного фешенебельного мошенника» [3] (Ф. Энгельс). Это произошло в фарсовой ситуации, для народа трагичной. «Самая хитрая лиса во всей Франции — старый Тьер, самый тертый калач из всего адвокатского сословия — г. Дюпен попались в западню, которую им расставил самый отъявленный болван нынешнего столетия...» [4] — писал Энгельс Марксу о герое исторического фарса Луи Бонапарте во время захвата им власти.

В юности Флобер записал афоризм: «История мира — фарс». Лет через десять он так развивал эту мысль: «Но что не гротескно? Видеть в жизни фарс — единственный способ видеть ее не в черном цвете. Будем смеяться, чтобы не плакать». Многое в своей эпохе Флобер воспринимал как фарс. В его «большой политической комедии» «Кандидат» (1873) предвыборные махинации изображены в фарсовой традиции Мольера. Таковы и наброски Флобера для романа о правителях Второй империи «Господин префект».

Реалистическая конструкция, изобретенная им в «Воспитании чувств», опирается на стиль нравов, на стиль исторических событий, которыми началась вторая половина столетия.

Автор «Воспитания чувств» добивался полной точности фактов (например, даже используя расписание поездов двадцатилетней давности). В картине скачек изображение лошадей поражает новизной: это уже зоркость импрессиониста Дега, предвосхищение остроты кинематографического зрения.

«Воспитание чувств» и сейчас читается как роман нового типа. Сложная идейно-образная перекличка с «Воспитанием чувств» су-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс.. Соч. Изд. 2-е, т. 8, с. 121.
[2] Там же, с. 122.
[3] Там же, с. 239.
[4] К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма. М., Госполитиздат, 1953, с. 53.

ществует в новаторской для XX века «Жизни Клима Самгина» М. Горького. Так протянулась наиболее ощутимая, пожалуй, нить от творчества Флобера к литературе нашего столетия.

6

В 1872 году Флобер написал окончательный вариант «Искушения святого Антония». Тогда же он начал собирать материал для романа «Бувар и Пекюше» и прочел тысячу пятьсот книг — целую библиотеку; устав, он в сентябре 1876 года решил «для отдыха» написать давно задуманные три повести.

«Легенда о св. Юлиане Милостивом» — стилизованное житие, его источник — в средневековом сборнике. Флобер сохранил главные жанровые признаки жития: образам Юлиана и его родителей не хватает конкретности; в первой половине легенды — грех Юлиана, во второй — покаяние и праведная жизнь в непосильных трудах и в омерзении к себе самому. Сохранен типичный для жития мотив чудесного: сбывающиеся пророчества, олень, говорящий человеческим языком. Но Флобер преобразил простодушное житие в произведение высокого поэтического искусства.

Лейтмотив охоты в первой половине легенды — словно мраморная кружевная вязь, ювелирно изысканный орнамент из образов зверей, конкретных и живописных. Необычайна музыкальность звучания легенды, настоящей поэмы в прозе.

Восхищенный «Легендой» Тургенев перевел ее с рукописи. Он писал редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу: «Изо всей моей литературной карьеры я ни на что не гляжу с большей гордостью, как на этот перевод. Это был tour de force[1] заставить Русский язык схватиться с Французским и остаться непобежденным...»

Затем Флобер перенесся из средневековья в современную Нормандию. «Простая душа» — горестная история служанки, одной из тех, для кого «сверхъестественное кажется самой обыкновенной вещью», для кого и сочиняют жития.

В течение целого полувека соседки госпожи Обен завидуют ей: Фелисите за сто франков в год смолоду до старости с утра до вечера делает все работы по дому, верная хозяйке. Одной фразой Флобер осветил жизнь этой дамы: в ее комнате «слегка пахло плесенью». После цвета плесени в «Госпоже Бовари» — снова заплесневелый быт.

Флобер писал, что на этот раз хочет растрогать и заставить

[1] Усилие *(фр.)*.

плакать читателей; состраданием пропитано его «объективное» повествование. Фелисите всем нужна как рабочая сила, и никому не нужно ее нежное, привязчивое сердце. Флобер увидел социальную патологию в отчуждении, которое навязывает людям собственническое общество.

После того как умерли и Виктория, дочь хозяйки, и племянник Фелисите Виктор — те, кому она отдала всю чистоту и силу своей тихой любви, она как бы окаменела: «всегда молчаливая, с прямым станом и размеренными жестами, она была похожа на автомат». Потом в доме появился попугай Лулу, и Фелисите «в своем одиночестве полюбила Лулу». Он умер, и она отдала свое чувство его чучелу. В этой любви женщины, подобной автомату, к чучелу — флоберовское полугротескное укрупнение сути отчуждения.

По мнению французского литературоведа К. Дижона, эта повесть написана под влиянием Тургенева. Вернее говорить не о влиянии, а о родственности гуманизма Флобера и автора «Муму». Она же — в письме Флобера Тургеневу: «Я восхищаюсь... вашим сочувствием самым маленьким людям... более всего похвал достойно ваше сердце...»

Когда мальчик Алеша Пешков, будущий Максим Горький, прочел «Простую душу», ему трудно было понять, «почему простые знакомые... слова, уложенные человеком в рассказ о «неинтересной» жизни кухарки, так взволновали» его. «В этом был скрыт непостижимый фокус, и — я не выдумываю — несколько раз машинально и, как дикарь, я рассматривал страницы на свет, точно пытаясь найти между строк разгадку фокуса».

«Иродиада» словно написана очевидцем людей и событий в Палестине в I веке нашей эры. Флобер в лаконичной и полной движения картине соединил образы римского проконсула в Иудее Вителлия, тетрарха Иудеи Ирода Антипы, ставленника Рима, и Иоканана (Иоанна Крестителя), брошенного Иродом Антипой в подземелье, но продолжающего и оттуда волновать народ, смущать и устрашать тетрарха гневными обличениями и страстными пророчествами.

Казалось бы, невозможны большая реальность и зримость прошлого, отделенного от нас пропастью веков, чем в «Саламбо». Но пластичность «Иродиады» еще виртуознее. Ритмичен не только текст; движения персонажей — словно в режиссерской мизансцене: «на самом конце террасы появился ессей, босой, в белой одежде, с видом стоика. Маннаи тотчас бросился к нему навстречу, обнажив и высоко подняв свой нож.

— Убей его! — кричала Иродиада.

— Стой! — промолвил тетрарх.

Потом оба отступили, пятясь друг от друга и не покидая друг друга взглядом; и оба исчезли — каждый по другой лестнице». Этот пример — из замечательного перевода «Иродиады» Тургенева. Он писал Стасюлевичу, что «Иродиада» его «поразила как совершенный chef-d'oeuvre»[1]. В трех повестях Флобера воплощен новый расцвет его изобразительного искусства, изумительная сила его реалистического воображения.

Еще в 1863 году Флобер задумал сатирический роман-притчу «Бувар и Пекюше». Он писал, что хотел выразить свое отвращение к современникам в этом произведении, над которым начал работать через год после поражения Франции в войне с Пруссией, после Парижской коммуны, в которой он увидел «возврат к средневековью», и ее разгрома, торжества реакции, ужаснувших его. Этот труд, выросший из короткого «Словаря прописных истин», принял большой масштаб «энциклопедии человеческой глупости». Совершить скептический пересмотр культуры в этом произведении Флобер поручил двум бывшим писцам, забавным чудакам. Их любознательность равна их невежеству. Они простаки — аптекарь Оме показался бы им философом; но не глупцы: Флобер передал им свой трезвый скептицизм. Вместе с тем они скорее маски, чем характеры. Неловко суетливые, они жаждут все испробовать и все познать.

Фон идеологического содержания романа-притчи — хроника жизни в деревне Шавиньоль, рядом с которой имение Бувара и Пекюше.

Движущая пружина повествования — полное доверие Бувара и Пекюше к авторитетам, которое при знакомстве с их книгами рушится, что порождает эффекты или комические, или, чаще, сатирические.

Благодушный Бувар и нервный Пекюше, прочтя любую книгу, сейчас же хотят извлечь из нее пользу, не жалея ни усилий, ни денег. Увлекаясь сельским хозяйством, они поступают в соответствии с рекомендациями специальных книг — и ничего у них не получается. Охладев к этому занятию, они увлекаются археологией, затем историей, анатомией, спиритизмом, педагогикой, философией — идеалистической и рационалистической, читают Декарта так же и простодушно, и недоверчиво, как Сведенборга. Внимание друзей привлекают художественная литература и эстетика. Что такое прекрасное? Ответы Шеллинга, Жуффруа, де Местра, сопоставленные, образуют «какофонию». Спиритизм не менее правдоподобен, чем рассуждения мыслителей и постулаты религии. В мире идей все эфемерно и неустойчиво. Бувар и Пекюше решают, что

---

[1] Шедевр *(фр.)*.

сами станут писателями, прозу предпочтя поэзии. Готовясь к этому занятию, они взялись за грамматику и узнали, что «существительное согласуется с глаголом всегда, за исключением тех случаев, когда не согласуется». Во всем они обнаруживают противоречия, неувязки, несуразности (во втором томе романа Флобер хотел собрать нелепости, обнаруженные им в книгах, прочтенных для него).

Утомленные своими опытами, друзья снова становятся переписчиками. Мораль идеологического романа-притчи: хотя Бувар и Пекюше дилетанты во всем, они замечают несовершенство культуры, ибо люди еще не научились мыслить методически, рационально, объективно. Флобер возмущался господством во второй половине XIX века спиритуализма, субъективизма, эмпиризма. По его мнению, все это — такой же дилетантизм, как у Бувара и Пекюше, но на ином уровне.

8 мая 1880 года работу над романом прервала внезапная смерть Флобера. «Он пал словно солдат на поле боя»,— написал обозреватель еженедельника «Иллюстрированный мир» о великом художнике словесного искусства.

О неосуществленном замысле Флобера рассказал Мопассан. Он хотел создать произведение о силе патриотизма — о битве при Фермопилах, «простое и грандиозное, которое давали бы читать детям всех стран, чтобы воспитать в них чувство любви к родине». Это была бы величавая простота патетической поэзии.

Торжество антибуржуазного интеллектуализма и новой реалистической пластичности в творчестве Флобера навсегда осталось замечательным достижением мировой культуры.

Я. Фрид





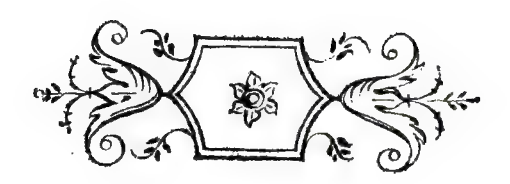
ГОСПОЖА БОВАРИ

Провинциальные нравы



Перевод

Н. Любимова





МАРИ-АНТУАНУ-ЖЮЛИ СЕНАРУ, ПАРИЖСКОМУ АДВОКАТУ, БЫВШЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ И МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Дорогой и знаменитый друг!

Позвольте мне поставить Ваше имя на первой странице этой книги, перед посвящением, ибо Вам главным образом я обязан ее выходом в свет. Ваша блестящая защитительная речь указала мне самому на ее значение, какого я не придавал ей раньше. Примите же эту слабую дань глубочайшей моей признательности за Ваше красноречие и за Ваше самопожертвование.

Гюстав Флобер

Париж, 12 апреля 1857 г.



Луи Буйле

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Когда мы готовили уроки, к нам вошел директор, ведя за собой одетого по-домашнему «новичка» и служителя, тащившего огромную парту. Некоторые из нас дремали, но тут все мы очнулись и вскочили с таким видом, точно нас неожиданно оторвали от занятий.

Директор сделал нам знак сесть по местам, а затем, обратившись к классному наставнику, сказал вполголоса:

— Господин Роже! Рекомендую вам нового ученика — он поступает в пятый класс. Если же он будет хорошо учиться и хорошо себя вести, то мы переведем его к «старшим» — там ему надлежит быть по возрасту.

Новичок все еще стоял в углу, за дверью, так что мы с трудом могли разглядеть этого деревенского мальчика лет пятнадцати, ростом выше нас всех. Волосы у него были подстрижены в кружок, как у сельского псаломщика, держался он чинно, несмотря на крайнее смущение. Особой крепостью сложения он не отличался, а все же его зеленая суконная курточка с черными пуговицами, видимо, жала ему в проймах, из обшлагов высовывались красные руки, не привыкшие к перчаткам. Он чересчур высоко подтянул помочи, и из-под его светло-коричневых брючек выглядывали синие чулки. Башмаки у него были грубые, плохо вычищенные, подбитые гвоздями.

Начали спрашивать уроки. Новичок слушал затаив дыхание, как слушают проповедь в церкви, боялся заложить ногу на ногу, боялся облокотиться, а в два часа, когда прозвонил звонок, наставнику пришлось окликнуть его, иначе он так и не стал бы в пару.

При входе в класс нам всегда хотелось поскорее освободить руки, и мы обыкновенно бросали фуражки на пол; швырять их полагалось прямо с порога под лавку, но так,

чтобы они, ударившись о стену, подняли как можно больше пыли: в этом заключался особый шик.

Быть может, новичок не обратил внимания на нашу проделку, быть может, он не решился принять в ней участие, но только молитва кончилась, а он все еще держал фуражку на коленях. Она представляла собою сложный головной убор, помесь медвежьей шапки, котелка, фуражки на выдровом меху и пуховой шапочки, — словом, это была одна из тех дрянных вещей, немое уродство которых не менее выразительно, чем лицо дурачка. Яйцевидная, распяленная на китовом усе, она начиналась тремя круговыми валиками; далее, отделенные от валиков красным околышем, шли вперемежку ромбики бархата и кроличьего меха; над ними высилось нечто вроде мешка, который увенчивался картонным многоугольником с затейливой вышивкой из тесьмы, а с этого многоугольника свешивалась на длинном тоненьком шнурочке кисточка из золотой канители. Фуражка была новенькая, ее козырек блестел.

— Встаньте, — сказал учитель.

Он встал; фуражка упала. Весь класс захохотал.

Он нагнулся и поднял фуражку. Сосед сбросил ее локтем — ему опять пришлось за ней нагибаться.

— Да избавьтесь вы от своего фургона! — сказал учитель, не лишенный остроумия.

Дружный смех школьников привел бедного мальчика в замешательство — он не знал, держать ли ему фуражку в руках, бросить ли на пол или надеть на голову. Он сел и положил ее на колени.

— Встаньте, — снова обратился к нему учитель, — и скажите, как ваша фамилия.

Новичок пробормотал нечто нечленораздельное.

— Повторите!

В ответ послышалось то же глотание целых слогов, заглушаемое гиканьем класса.

— Громче! — крикнул учитель. — Громче!

Новичок с решимостью отчаяния разинул рот и во всю силу легких, точно звал кого-то, выпалил:

— Шарбовари!

Тут взметнулся невообразимый шум и стал расти *crescendo*, со звонкими выкриками (класс грохотал, гоготал, топотал, повторял: Шарбовари! Шарбовари!), а затем распался на отдельные голоса, но долго еще не мог утихнуть и время от времени пробегал по рядам парт, на которых

непогасшею шутихой то там, то здесь вспыхивал приглушенный смех.

Под градом окриков порядок мало-помалу восстановился, учитель, заставив новичка продиктовать, произнести по складам, а потом еще раз прочитать свое имя и фамилию, в конце концов разобрал слова «Шарль Бовари» и велел бедняге сесть за парту «лентяев», у самой кафедры. Новичок шагнул, но сейчас же остановился в нерешимости.

— Что вы ищете? — спросил учитель.

— Мою фур... — беспокойно оглядываясь, робко заговорил новичок.

— Пятьсот строк всему классу!

Это грозное восклицание, подобно *Quos ego*[1], укротило вновь поднявшуюся бурю.

— Перестанете вы или нет? — еще раз прикрикнул разгневанный учитель и, вынув из-под шапочки носовой платок, отер со лба пот.— А вы, новичок, двадцать раз проспрягаете мне в тетради *ridiculus sum*[2].— Несколько смягчившись, он прибавил: — Да найдется ваша фуражка! Никто ее не украл.

Наконец все успокоились. Головы склонились над тетрадями, и оставшиеся два часа новичок вел себя примерно, хотя время от времени прямо в лицо ему попадали метко пущенные с кончика пера шарики жеваной бумаги. Он вытирал лицо рукой, но позы не менял и даже не поднимал глаз.

Вечером, перед тем как готовить уроки, он разложил свои школьные принадлежности, тщательно разлиновал бумагу. Мы видели, как добросовестно он занимался, поминутно заглядывая в словарь, стараясь изо всех сил. Грамматику он знал недурно, но фразы у него получались неуклюжие, так что в старший класс его, видимо, перевели только за прилежание. Родители, люди расчетливые, не спешили отдавать его в школу, и основы латинского языка ему преподал сельский священник.

У его отца, г-на Шарля-Дени-Бартоломе Бовари, отставного ротного фельдшера, в 1812 году вышла некрасивая история, связанная с рекрутским набором, и ему пришлось уйти со службы, но благодаря своим личным качествам он сумел прихватить мимоходом приданое в шестьде-

---

[1] Вот я вас *(лат.)*

[2] Я смешон *(лат.)*.

сят тысяч франков, которое владелец шляпного магазина давал за своей дочерью, прельстившейся наружностью фельдшера. Красавчик, говорун, умевший лихо бряцать шпорами, носивший усы с подусниками, унизывавший пальцы перстнями, любивший рядиться во все яркое, он производил впечатление бравого молодца и держался с коммивояжерской бойкостью. Женившись, он года два-три проживал приданое — плотно обедал, поздно вставал, курил фарфоровые чубуки, каждый вечер бывал в театрах и часто заглядывал в кафе. Тесть оставил после себя немного; с досады г-н Бовари завел было фабрику, но, прогорев, удалился в деревню, чтобы поправить свои дела. Однако в сельском хозяйстве он смыслил не больше, чем в ситцах, на лошадях своих катался верхом, вместо того чтобы на них пахать, сидр тянул целыми бутылками, вместо того чтобы продавать его бочками, лучшую живность со своего птичьего двора съедал сам, охотничьи сапоги смазывал салом своих свиней — и вскоре пришел к заключению, что всякого рода хозяйственные затеи следует бросить.

За двести франков в год он снял в одном селении, расположенном на границе Ко и Пикардии, нечто среднее между фермой и помещичьей усадьбой и, удрученный, преисполненный поздних сожалений, ропща на бога и всем решительно завидуя, разочаровавшись, по его словам, в людях, сорока пяти лет от роду уже решил затвориться и почить от дел.

Когда-то давно жена была от него без ума. Она любила его рабской любовью и этим только отталкивала его от себя. Смолоду жизнерадостная, общительная, привязчивая, к старости она, подобно выдохшемуся вину, которое превращается в уксус, сделалась неуживчивой, сварливой, раздражительной. Первое время она, не показывая виду, жестоко страдала оттого, что муж гонялся за всеми деревенскими девками, оттого, что, побывав во всех злачных местах, он являлся домой поздно, разморенный, и от него пахло вином. Потом в ней проснулось самолюбие. Она ушла в себя, погребла свою злобу под плитой безмолвного стоицизма — и такою оставалась уже до самой смерти. У нее всегда было столько беготни, столько хлопот! Она ходила к адвокатам, к председателю суда, помнила сроки векселей, добивалась отсрочки, а дома гладила, шила, стирала, присматривала за работниками, платила по счетам, меж тем как ее беспечный супруг, скованный брюзгливым полусном, от которого он возвращался к действительности

только для того, чтобы сказать жене какую-нибудь колкость, покуривал у камина и сплевывал в золу.

Когда у них родился ребенок, его пришлось отдать кормилице. Потом, взяв мальчугана домой, они принялись портить его, как портят наследного принца. Мать закармливала его сладким; отец позволял ему бегать босиком и даже, строя из себя философа, утверждал, что мальчик, подобно детенышам животных, вполне мог бы ходить и совсем голым. В противовес материнским устремлениям он создал себе идеал мужественного детства и соответственно этому идеалу старался развивать сына, считая, что только суровым, спартанским воспитанием можно укрепить его здоровье. Он заставлял его спать в нетопленном помещении, учил пить большими глотками ром, учил глумиться над религиозными процессиями. Но смирному от природы мальчику все это не прививалось. Мать таскала его за собой всюду, вырезывала ему картинки, рассказывала сказки, произносила нескончаемые монологи, исполненные горестного веселья и многоречивой нежности. Устав от душевного одиночества, она сосредоточила на сыне все свое неутоленное, обманувшееся честолюбие. Она мечтала о том, как он займет видное положение, представляла себе, как он, уже взрослый, красивый, умный, поступает на службу в ведомство путей сообщения или же в суд. Она выучила его читать, более того — выучила петь два-три романса под аккомпанемент старенького фортепьяно. Но г-н Бовари не придавал большого значения умственному развитию. «Все это зря!» — говорил он. Разве они в состоянии отдать сына в казенную школу, купить ему должность или торговое дело? «Не в ученье счастье, — кто победовей, тот всегда в люди выйдет». Г-жа Бовари закусывала губу, а мальчуган между тем носился по деревне.

Во время пахоты он сгонял с поля ворон, кидая в них комья земли. Собирал по оврагам ежевику, с хворостиной в руке пас индюшек, разгребал сено, бегал по лесу; когда шел дождь, играл на церковной паперти в «классы», а по большим праздникам, вымолив у пономаря разрешения позвонить, повисал всем телом на толстой веревке и чувствовал, что он куда-то летит вместе с ней.

Так, словно молодой дубок, рос этот мальчик. Руки у него стали сильные, щеки покрылись живым румянцем.

Когда ему исполнилось двенадцать лет, мать решительно заявила, что его пора учить. Заниматься с ним попроси-

ли священника. Но польза от этих занятий оказалась невелика, — на уроки отводилось слишком мало времени, к тому же они постоянно срывались. Священник занимался с ним в ризнице, стоя, наспех, урывками, между крестинами и похоронами, или, если только его не звали на требы, посылал за учеником после вечерни. Он уводил его к себе в комнату, там они оба усаживались за стол; вокруг свечки вилась мошкара и ночные бабочки. В комнате было жарко, мальчик дремал, а немного погодя и старик, сложив руки на животе и открыв рот, начинал похрапывать. Возвращаясь иной раз со святыми дарами от больного и видя, что Шарль проказничает в поле, он подзывал его, с четверть часа отчитывал и, пользуясь случаем, заставлял где-нибудь под деревом спрягать глагол. Их прерывал дождь или знакомый прохожий. Впрочем, священник всегда был доволен своим учеником и даже говорил, что у «юноши» прекрасная память.

Ограничиться этим Шарлю не подобало. Г-жа Бовари настояла на своем. Г-н Бовари устыдился, а вернее всего разговоры об этом ему просто-напросто надоели, но только он сдался без боя, и родители решили ждать лишь до той поры, когда мальчуган примет первое причастие, то есть еще один год.

Прошло полгода, а в следующем году Шарля наконец отдали в руанский коллеж, — в конце октября, в разгар ярмарки, приурочиваемой ко дню памяти святого Романа, его отвез туда сам г-н Бовари.

Теперь уже никто из нас не мог бы припомнить какую-нибудь черту из жизни Шарля. Это была натура уравновешенная: на переменах он играл, в положенные часы готовил уроки, в классе слушал, в дортуаре хорошо спал, в столовой хорошо ел. Опекал его оптовый торговец скобяным товаром с улицы Гантри — раз в месяц, по воскресеньям, когда его лавка бывала уже заперта, он брал Шарля из училища и посылал пройтись по набережной, поглядеть на корабли, а в семь часов, как раз к ужину, приводил обратно. По четвергам после уроков Шарль писал матери красными чернилами длинные письма и запечатывал их тремя облатками, затем просматривал свои записи по истории или читал растрепанный том *Анахарсиса,* валявшийся в комнате, где готовились уроки. На прогулках он беседовал со школьным сторожем, тоже бывшим деревенским жителем.

Благодаря своей старательности он учился не хуже

других, а как-то раз даже получил за ответ по естественной истории высшую отметку. В нашем коллеже он пробыл всего три года, а затем родители его взяли — они хотели сделать из него лекаря и были уверены, что к экзамену на бакалавра он сумеет приготовиться самостоятельно.

Мать нашла ему комнату на улице О-де-Робек, на пятом этаже, у знакомого красильщика. Она уговорилась с красильщиком насчет пансиона, раздобыла мебель — стол и два стула, выписала из дому старую, вишневого дерева, кровать, а чтобы ее бедный мальчик не замерз, купила еще чугунную печурку и дров. Через неделю, после бесконечных наставлений и просьб к сыну вести себя хорошо, особенно теперь, когда смотреть за ним будет некому, она уехала домой.

Ознакомившись с программой занятий, Шарль оторопел: курс анатомии, курс патологии, курс физиологии, курс фармацевтики, курс химии, да еще ботаники, да еще клиники, да еще терапия, сверх того — гигиена и основы медицины, — смысл всех этих слов был ему неясен, все они представлялись вратами в некое святилище, где царил ужасающий мрак.

Он ничего не понимал; он слушал внимательно, но сути не улавливал. И все же он занимался, завел себе тетради в переплетах, аккуратно посещал лекции, не пропускал ни одного занятия в клинике. Он исполнял свои несложные повседневные обязанности, точно лошадь, которая ходит с завязанными глазами по кругу, сама не зная — зачем.

Чтобы избавить его от лишних расходов, мать каждую неделю посылала ему с почтовой каретой кусок жареной телятины, и это был его неизменный завтрак, который он съедал по возвращении из больницы, топоча ногами от холода. А после завтрака — бегом на лекции, в анатомический театр, в больницу для хроников, оттуда через весь город опять к себе на квартиру. Вечером, после несытного обеда у хозяина, он шел в свою комнату, снова садился заниматься — поближе к раскаленной докрасна печке, и от его отсыревшей одежды шел пар.

В хорошие летние вечера, в час, когда еще не остывшие улицы пустеют, когда служанки играют у ворот в волан, он открывал окно и облокачивался на подоконник. Под ним, между мостами, между решетчатыми оградами набережных, текла превращавшая эту часть Руана в ма-

ленькую неприглядную Венецию то желтая, то лиловая, то голубая река. Рабочие, сидя на корточках, мыли в ней руки. На жердях, торчавших из слуховых окон, сушились мотки пряжи. Напротив, над крышами, раскинулось безбрежное чистое небо, залитое багрянцем заката. То-то славно сейчас, наверное, за городом! Как прохладно в буковой роще! И Шарль раздувал ноздри, чтобы втянуть в себя родной запах деревни, но запах не долетал.

Он похудел, вытянулся, в глазах у него появился оттенок грусти, благодаря которому его лицо стало почти интересным.

Мало-помалу он начал распускаться, отступать от намеченного плана, и вышло это как-то само собой. Однажды он не явился в клинику, на другой день пропустил лекцию, а затем, войдя во вкус безделья, и вовсе перестал ходить на занятия.

Он сделался завсегдатаем кабачков, пристрастился к домино. Просиживать все вечера в грязном заведении, стучать по мраморному столику костяшками с черными очками — это казалось ему высшим проявлением самостоятельности, поднимавшим его в собственных глазах. Он словно вступал в новый мир, впервые притрагивался к запретным удовольствиям. Берясь при входе за ручку двери, он испытывал нечто вроде чувственного наслаждения. Многое из того, что прежде он подавлял в себе, теперь развернулось. Он распевал на дружеских пирушках песенки, которые знал назубок, восхищался Беранже, научился приготовлять пунш и познал наконец любовь.

Благодаря такой блестящей подготовке он с треском провалился на экзаменах и звания лекаря не получил. А дома его ждали в тот же день к вечеру, собирались отметить это радостное событие в его жизни!

Домой он пошел пешком и, остановившись у въезда в село, послал за матерью и все ей рассказал. Она простила его, объяснила его провал несправедливостью экзаменаторов, обещала все устроить, и Шарль немного повеселел. Г-н Бовари узнал правду только через пять лет. К этому времени она уже устарела, и г-н Бовари примирился с нею, да он, впрочем, и раньше не допускал мысли, что его отпрыск — болван.

Итак, Шарль снова взялся за дело, уже ничем не отвлекаясь, стал готовиться к экзамену и все, что требовалось по программе, затвердил наизусть. Отметку он полу-

чил довольно приличную. Какой счастливый день для матери! Дома по этому случаю был устроен пир.

Да, но где бы ему применить свои познания? В Тосте. Там был только один врач, и притом уже старый. Г-жа Бовари давно ждала его смерти, и не успел бедный старик отправиться на тот свет, как Шарль в качестве его преемника поселился напротив его дома.

Но воспитать сына, сделать из него врача, подыскать для него место в Тосте — это еще не все, его надо женить. И г-жа Бовари нашла ему невесту — вдову дьеппского судебного исполнителя, женщину сорока пяти лет, но зато имевшую тысячу двести ливров годового дохода.

Госпожа Дюбак была некрасива, суха, как жердь, прыщей на ее лице выступало столько, сколько весной набухает почек, и тем не менее женихи у нее не переводились. Чтобы добиться своего, г-же Бовари пришлось их устранить, и действовала она так ловко, что ей даже удалось перебить дорогу одному колбаснику, за которого стояло местное духовенство.

Шарль рассчитывал, что брак поправит его дела, он воображал, что будет чувствовать себя свободнее, сможет располагать и самим собою, и своими средствами. Но супруга забрала над ним силу: она наказывала ему говорить при посторонних то-то и не говорить того-то, он должен был поститься по пятницам, одеваться по ее вкусу и допекать пациентов, которые долго не платили. Она распечатывала его письма, следила за каждым его шагом и, когда он принимал у себя в кабинете женщин, подслушивала за дверью.

По утрам она не могла обойтись без шоколаду; она требовала к себе постоянного внимания. Вечно жаловалась то на нервы, то на боль в груди, то на дурное расположение духа. Шум шагов ее раздражал; стоило от нее уйти — и она изнывала в одиночестве; стоило к ней вернуться — ну конечно, вернулся посмотреть, как она умирает. Вечером, когда Шарль приходил домой, она выпрастывала из-под одеяла свои длинные худые руки, обвивала их вокруг его шеи, усаживала его к себе на кровать и принималась изливать ему свою душевную муку: он ее забыл, он любит другую! Недаром ей предсказывали, что она будет несчастна. Кончалось дело тем, что она просила какого-нибудь сиропа для поправления здоровья и немножко больше любви.

II

Как-то ночью, часов около одиннадцати, их разбудил топот коня, остановившегося у самого крыльца. Служанка отворила на чердаке слуховое окошко и начала переговариваться с человеком, который находился внизу, на улице. Он приехал за доктором — он привез ему письмо. Настази, дрожа от холода, спустилась по лестнице, повернула ключ, один за другим отодвинула засовы. Человек спрыгнул с коня и прямо за ней вошел в спальню. Вынув из шерстяной шапки с серыми кистями завернутое в тряпицу письмо, он почтительно вручил его Шарлю, и тот, облокотившись на подушку, начал читать. Настази, стоя у кровати, держала свечку. Барыня от смущения повернулась лицом к стене.

Письмо, запечатанное маленькой, синего сургуча, печатью, содержало мольбу к г-ну Бовари как можно скорее прибыть на ферму Берто и оказать помощь человеку, сломавшему себе ногу. Но от Тоста до Берто, если ехать через Лонгвиль и Сен-Виктор, добрых шесть миль. Ночь была темная. Г-жа Бовари-младшая высказала опасение, как бы с мужем чего не случилось дорогой. Поэтому условились, что конюх, доставивший письмо, поедет сейчас же, а Шарль — через три часа, как только взойдет луна. Навстречу ему выйдет мальчишка, покажет дорогу на ферму и отопрет ворота.

Около четырех часов утра Шарль, поплотней закутавшись в плащ, выехал в Берто. Он все еще был разнежен теплотою сна, и спокойная рысца лошади убаюкивала его. Когда лошадь неожиданно останавливалась перед обсаженными терновником ямами, какие обыкновенно роют на краю пашни, Шарль мгновенно просыпался, сейчас же вспоминал о сломанной ноге и начинал перебирать в памяти все известные ему случаи переломов. Дождь перестал, брезжил рассвет, на голых ветвях яблонь неподвижно сидели птицы, и перышки их ерошил холодный предутренний ветер. Всюду, куда ни посмотришь, расстилались ровные поля, и на этом огромном сером пространстве, сливавшемся вдали с пасмурным небом, редкими темно-лиловыми пятнами выделялись лишь купы деревьев, что росли вокруг ферм. Шарль по временам открывал глаза; потом сознание его уставало, на него снова нападала дремота, он быстро погружался в какое-то странное забытье, в котором недавние впечатления мешались с воспоминаниями,

и сам он двоился: был в одно и то же время и студентом, и женатым человеком, лежал в постели, как только что перед этим, и проходил по хирургическому отделению, как когда-то давно. Он не отличал горячего запаха припарок от сильного запаха росы; ему слышались одновременно скрип железных колечек полога, скользящих по прутьям над кроватями больных, и дыхание спящей жены... Проезжая через Васонвиль, Шарль увидел, что на траве у канавы сидит мальчик.

— Вы доктор? — спросил он.

Получив подтверждение, мальчик взял в руки свои деревянные башмаки и пустился бежать впереди Шарля.

Завязав дорогой беседу со своим провожатым, лекарь узнал, что г-н Руо — один из самых богатых местных фермеров. Он сломал себе ногу вчера вечером, возвращаясь от соседа, к которому был приглашен на Крещение. Его жена умерла два года тому назад. С ним теперь только его единственная дочь, «барышня», — она-то и помогает ему вести хозяйство.

Колеи стали глубже. Вот и Берто. Мальчуган, шмыгнув в лазейку, проделанную в изгороди, на минуту исчез; но очень скоро, отперев ворота, показался снова на самом краю двора. Лошадь скользила по мокрой траве, Шарль нагибался, чтобы его не хлестнуло веткой. Сторожевые псы лаяли возле своих будок, изо всех сил натягивая цепи. Когда Шарль въехал во двор, лошадь в испуге шарахнулась.

Ферма дышала довольством. В растворенные ворота конюшен были видны крупные рабочие лошади — они мирно похрустывали сеном, пощипывая его из новеньких кормушек. Вдоль надворных построек тянулась огромная навозная куча, от нее валил пар, по ней, среди индюшек и кур, ходили и что-то клевали пять или шесть павлинов — краса и гордость кошских птичников. Овчарня была длинная, рига высокая, с гладкими, как ладонь, стенами. Под навесом стояли две большие телеги и четыре плуга, висели кнуты, хомуты, полный набор сбруи; синие шерстяные потники были все в трухе, летевшей с сеновала. Симметрично обсаженный деревьями двор шел покато, на берегу пруда весело гоготали гуси.

На пороге дома появилась вышедшая навстречу к г-ну Бовари молодая женщина в синем шерстяном платье с тремя оборками и повела его в кухню, где жарко пылал огонь. Вокруг огня стояли чугунки, одни побольше, дру-

гие поменьше, — в них варился завтрак для работников. В камине сушилась мокрая одежда. Совок, каминные щипцы и горло поддувального меха — все это было громадных размеров, и все это сверкало, как полированная сталь; вдоль стен тянулась целая батарея кухонной посуды, в которой отражались языки яркого пламени, разгоревшегося в очаге, и первые лучи солнца, заглядывавшие в окно.

Шарль поднялся к больному на второй этаж. Тот лежал в постели и потел под одеялами; ночной колпак он с себя сбросил. Это был маленький толстенький человек лет пятидесяти, бледный, голубоглазый, лысый, с серьгами в ушах. На стуле возле его кровати стоял большой графин с водкой, из которого он время от времени пропускал для бодрости. При виде врача он тотчас же присмирел, перестал чертыхаться,— а чертыхался он перед этим двенадцать часов подряд,— и начал слабо стонать.

Перелом оказался легкий, без каких бы то ни было осложнений. Шарль даже и не мечтал о такой удаче. Вспомнив, как держали себя в подобных случаях его учителя, он стал подбадривать больного разными шуточками, теми ласками хирурга, которые действуют, как масло на рану. Из каретника принесли дранок на лубки. Шарль выбрал одну дранку, расщепил и поскоблил ее осколком стекла; служанка тем временем рвала простыню на бинты, а мадмуазель Эмма старательно шила подушечки. Она долго не могла найти игольник, и отец на нее рассердился; она ничего ему не сказала — она только поминутно колола себе в спешке то один, то другой палец, подносила их ко рту и высасывала кровь. Белизна ее ногтей поразила Шарля. Эти блестящие, суживавшиеся к концу ноготки были отполированы лучше дьеппской слоновой кости и подстрижены в виде миндалин. Рука у нее была, однако, некрасивая, пожалуй, недостаточно белая, суховатая в суставах, да к тому же еще чересчур длинная, лишенная волнистой линии изгибов. По-настоящему красивые у нее были глаза; карие, они казались черными из-за ресниц и смотрели на вас в упор с какой-то прямодушной смелостью.

После перевязки г-н Руо предложил доктору «закусить на дорожку».

Шарль спустился в залу. Здесь к изножию большой кровати под ситцевым балдахином с изображенными на нем турками был придвинут столик с двумя приборами и двумя серебряными лафитничками. Из дубового шкафа, высившегося как раз напротив окна, пахло ирисом и толь-

ко что выстиранными простынями. По углам стояли рядком на полу мешки с пшеницей. Они, видимо, не поместились в соседней кладовой, куда вели три каменные ступеньки. На стене, с которой от сырости местами сошла зеленая краска, висело в золотой рамке на гвоздике украшение всей комнаты — рисованная углем голова Минервы, а под ней готическими буквами было написано: «Дорогому папочке».

Сперва поговорили о больном, затем о погоде, о том, что стоят холода, о том, что по ночам в поле рыщут волки. Мадмуазель Руо несладко жилось в деревне, особенно теперь, когда почти все хозяйственные заботы легли на нее. В зале было прохладно, девушку пробирала дрожь, и от этого чуть приоткрывались ее пухлые губы, которые она, как только умолкала, сейчас же начинала покусывать.

Ее шея выступала из белого отложного воротничка. Тонкая линия прямого пробора, едва заметно поднимавшаяся вверх соответственно строению черепа, разделяла ее волосы на два темных бандо, оставлявших на виду лишь самые кончики ушей, причем каждое из этих бандо казалось чем-то цельным — до того ее волосы были здесь гладко зачесаны, а на виски они набегали волнами, сзади же сливались в пышный шиньон, — такой прически сельскому врачу никогда еще не приходилось видеть. Щеки у девушки были розовые. Между двумя пуговицами ее корсажа был засунут, как у мужчины, черепаховый лорнет.

Когда Шарль, зайдя перед отъездом проститься к ее отцу, вернулся в залу, девушка стояла у окна и смотрела в сад на поваленные ветром подпорки для бобов.

— Вы что-нибудь забыли? — обернувшись, спросила она.

— Да, извините, забыл хлыстик, — ответил Шарль.

Он стал искать на кровати, за дверями, под стульями. Хлыст завалился за мешки с пшеницей и лежал у самой стены. Увидела его мадмуазель Эмма. Она наклонилась над мешками. Шарль, по долгу вежливости решив опередить ее, потянулся одновременно с ней и нечаянно прикоснулся грудью к спине девушки, которая стояла, нагнувшись, впереди него. Она выпрямилась и, вся вспыхнув, глядя на него вполоборота, протянула ему плеть.

Назавтра Шарль снова отправился в Берто, хотя обещал приехать через три дня, потом стал ездить аккуратно два раза в неделю, а кроме того, наезжал иногда неожиданно, якобы по рассеянности.

Между тем все обстояло хорошо. Выздоровление шло по всем правилам лекарского искусства, через сорок шесть дней папаша Руо попробовал без посторонней помощи походить по своей «лачужке», и после этого о г-не Бовари стали отзываться как об очень способном враче. Папаша Руо говорил, что лучшие доктора не только Ивето, но и Руана так скоро бы его не вылечили.

А Шарль даже и не задавал себе вопроса, отчего ему так приятно бывать в Берто. Если б он над этим задумался, он, конечно, объяснил бы свою внимательность серьезностью случая, а быть может, надеждой на недурной заработок. Но в самом ли деле по этой причине поездки на ферму составляли для него счастливое исключение из всех прочих обязанностей, заполнявших его скучную жизнь? В эти дни он вставал рано, пускал коня в галоп, всю дорогу погонял его, а неподалеку от фермы соскакивал, вытирал ноги о траву и натягивал черные перчатки. Ему нравилось въезжать во двор, толкать плечом ворота, нравилось, как поет на заборе петух, нравилось, что работники выбегают навстречу. Ему нравились конюшни и рига; нравилось, что папаша Руо, здороваясь, хлопает его по ладони и называет своим спасителем; нравилось, как стучат по чистому кухонному полу деревянные подошвы, которые мадмуазель Эмма подвязывала к своим кожаным туфлям. На каблуках она казалась выше; когда она шла впереди Шарля, деревянные подошвы, быстро отрываясь от пола, с глухим стуком хлопали по подметкам.

Всякий раз она провожала его до первой ступеньки крыльца. Если лошадь ему еще не подавали, Эмма не уходила. Прощались они заранее и теперь уже не говорили ни слова. Сильный ветер охватывал ее всю, трепал непослушные завитки на затылке, играл завязками передника, развевавшимися у нее на бедрах, точно флажки. Однажды, в оттепельный день, кора на деревьях была вся мокрая и капало с крыш. Эмма постояла на пороге, потом принесла из комнаты зонтик, раскрыла его. Сизый шелковый зонт просвечивал, и по ее белому лицу бегали солнечные зайчики. Эмма улыбалась из-под зонта этой теплой ласке. Было слышно, как на натянутый муар падают капли.

Первое время, когда Шарль только-только еще зачастил в Берто, г-жа Бовари-младшая всякий раз осведомлялась о здоровье больного и даже отвела ему в приходо-расходной книге большую чистую страницу. Узнав же, что у него есть дочь, она поспешила навести справки. Ока-

залось, что мадмуазель Руо училась в монастыре урсулинок и получила, как говорится, «прекрасное воспитание», то есть она танцует, знает географию, рисует, вышивает и бренчит на фортепьяно. Нет, это уж слишком!

«Так вот почему, — решила г-жа Бовари, — он весь сияет, когда отправляется к ней, вот почему он надевает новый жилет, не боясь попасть под дождь! Ах, эта женщина! Ах, эта женщина!..»

И она ее инстинктивно возненавидела. Сначала она тешила душу намеками — Шарль не понимал их; потом, будто ненароком, делала какое-нибудь замечание, — из боязни скандала Шарль пропускал его мимо ушей, — а в конце концов стала учинять вылазки, которые Шарль не знал, как отбить. Зачем он продолжает ездить в Берто, раз г-н Руо выздоровел, а денег ему там до сих пор не заплатили? Ну да, конечно, там есть «одна особа»,— она рукодельница, востра на язык, сходит за умную. Он этаких любит, ему городские барышни нравятся!

— Но какая же дочка Руо — барышня? — возмущалась г-жа Бовари.— Хороша барышня, нечего сказать! Дед ее был пастух, а какой-то их родственник чуть не угодил под суд за то, что повздорил с кем-то и полез в драку. Зря она уж так важничает, по воскресеньям к обедне ходит в шелковом платье, подумаешь — графиня! Для бедного старика это чистое разоренье; ему еще повезло, что в прошлом году хорошо уродилась репа, а то бы ему нипочем не выплатить недоимки!

Шарлю эти разговоры опостылели, и он перестал ездить в Берто. После долгих рыданий и поцелуев Элоиза в порыве страсти вынудила его поклясться на молитвеннике, что он больше туда не поедет. Итак, он покорился, но смелое влечение бунтовало в нем против его раболепствования, и, наивно обманывая самого себя, он пришел к выводу, что запрет видеть Эмму дает ему право любить ее. К тому же вдова была костлява, зубаста, зимой и летом носила короткую черную шаль, кончики которой висели у нее между лопатками; свой скелет она, как в чехол, упрятывала в платья, до того короткие, что из-под них торчали лодыжки в серых чулках, поверх которых крест-накрест были повязаны тесемки от ее огромных туфель.

К Шарлю изредка приезжала мать, спустя несколько дней она уже начинала плясать под дудку снохи, и они вдвоем, как две пилы, принимались пилить его и приставать к нему с советами и замечаниями. Напрасно он так

много ест! Зачем подносить стаканчик всем, кто бы ни пришел? Это он только из упрямства не надевает фланелевого белья.

Но вот в начале весны энгувильский нотариус, которому вдова Дюбюк доверила свое состояние, дал тягу, захватив с собой всю наличность, хранившуюся у него в конторе. Правда, у Элоизы еще оставался, помимо шести тысяч франков, которые она вложила в корабль, дом на улице Святого Франциска, но, собственно, на хозяйстве супругов ее сказочное богатство, о котором было столько разговоров, никак не отразилось, если не считать кое-какой мебели да тряпья. Потребовалось внести в это дело полную ясность. Дьеппский дом был заложен и перезаложен; какую сумму она хранила у нотариуса — одному богу было известно, а доля ее участия в прибылях от корабля не превышала тысячи экю. Стало быть, эта милая дама все наврала!.. Г-н Бовари-отец в ярости сломал стул о каменный пол и сказал жене, что она погубила сына, связав его с этой клячей, у которой сбруя не лучше кожи. Они поехали в Тост. Произошло объяснение. Протекало оно бурно. Элоиза, вся в слезах, бросилась к мужу на шею с мольбой заступиться за нее. Шарль начал было ее защищать. Родители обиделись и уехали.

Но *удар был нанесен.* Через неделю Элоиза вышла во двор развесить белье, и вдруг у нее хлынула горлом кровь, а на другой день, в то время как Шарль повернулся к ней спиной, чтобы задернуть на окне занавеску, она воскликнула: «О боже!» — вздохнула и лишилась чувств. Она была мертва. Как странно!

С похорон Шарль вернулся домой. Внизу было пусто; он поднялся на второй этаж, вошел в спальню и, увидев платье жены, висевшее у изножья кровати, облокотился на письменный стол и, погруженный в горестное раздумье, просидел тут до вечера. Ведь она его все-таки любила.

III

Как-то утром папаша Руо привез Шарлю плату за свою сросшуюся ногу — семьдесят пять франков монетами по сорока су и вдобавок еще индейку. Он знал, что у Шарля горе, и постарался, как мог, утешить его.

— Я ведь это знаю по себе! — говорил он, хлопая его по плечу. — Я это тоже испытал! Когда умерла моя бед-

пая жена, я уходил в поле — хотелось побыть одному; упадешь, бывало, наземь где-нибудь под деревом, плачешь, молишь бога, говоришь ему всякие глупости; увидишь на ветке крота, — в животе у него черви кишат, — одним словом, дохлого крота, и завидуешь ему. А как подумаешь, что другие сейчас обнимают своих милых женушек,— давай что есть мочи колотить палкой по земле; до того я ошалел, что даже есть перестал; поверите, от одной мысли о кафе у меня с души воротило. Ну, а там день да ночь, сутки прочь, за зимой — весна, за летом, глядишь, осень, и незаметно, по капельке, по чуточке, оно и утекло. Ушло, улетело, вернее, отпустило, потому в глубине души всегда что-то остается, как бы вам сказать?.. Тяжесть вот тут, в груди! Но ведь это наша общая судьба, стало быть, и не к чему нам так убиваться, не к чему искать себе смерти только оттого, что кто-то другой умер... Встряхнитесь, господин Бовари, и все пройдет! Приезжайте к нам; дочь моя, знаете ли, нет-нет да и вспомнит про вас, говорит, что вы ее забыли. Скоро весна; мы с вами поохотимся на кроликов в заповеднике — это вас немножко отвлечет.

Шарль послушался его совета. Он поехал в Берто; там все оказалось по-прежнему, то есть как пять месяцев назад. Только груши уже цвели, а папаша Руо был уже на ногах и расхаживал по ферме, внося в ее жизнь некоторое оживление.

Считая, что с лекарем нужно быть особенно обходительным, раз у него такое несчастье, он просил его не снимать во дворе шляпы, говорил с ним шепотом, как с больным, и даже сделал вид, будто сердится на то, что Шарлю не приготовили отдельного блюда полегче — что-нибудь вроде крема или печеных груш. Он рассказывал разные истории. Шарль в одном месте невольно расхохотался, но, вспомнив о жене, тотчас нахмурился. За кофе он уже о ней не думал.

Он думал о ней тем меньше, чем больше привыкал к одиночеству. Вскоре он и вовсе перестал тяготиться им благодаря новому для него радостному ощущению свободы. Он мог теперь когда угодно завтракать и обедать, уходить и возвращаться, никому не отдавая отчета, вытягиваться во весь рост на кровати, когда уставал. Словом, он берег себя, нянчился с собой, охотно принимал соболезнования. Смерть жены пошла ему на пользу и в делах; целый месяц все кругом говорили: «Бедный молодой человек! Какое горе!» Его имя приобрело известность, пациентов у него

прибавилось, и, наконец, он ездил теперь в любое время к Руо. Он питал какую-то неопределенную надежду, он был беспричинно весел. Когда он приглаживал перед зеркалом свои бакенбарды, ему казалось, что он похорошел.

Однажды он приехал на ферму часов около трех: все были в поле; он вошел в кухню, но ставни там были закрыты, и Эмму он сначала не заметил. Пробиваясь сквозь щели в стенах, солнечные лучи длинными тонкими полосками растягивались на полу, ломались об углы кухонной утвари, дрожали на потолке. На столе ползли вверх по стенкам грязного стакана мухи, а затем, жужжа, тонули на дне, в остатках сидра. При свете, проникавшем в каминную трубу, сажа отливала бархатом, остывшая зола казалась чуть голубоватой. Эмма что-то шила, примостившись между печью и окном; голова у нее была непокрыта, на голых плечах блестели капельки пота.

По деревенскому обычаю, Эмма предложила Шарлю чего-нибудь выпить. Он было отказался, но она настаивала и в конце концов со смехом объявила, что выпьет с ним за компанию рюмочку ликера. С этими словами она достала из шкафа бутылку кюрасо и две рюмки, одну из них налила доверху, в другой только закрыла донышко и, чокнувшись, поднесла ее ко рту. Рюмка была почти пустая, и, чтобы выпить, Эмме пришлось откачнуться назад; запрокидывая голову, вытягивая губы и напрягая шею, она смеялась, оттого что ничего не ощущала во рту, и кончиком языка, пропущенным между двумя рядами мелких зубов, едва касалась дна. Потом она села и опять взялась за работу — она штопала белый бумажный чулок; она опустила голову и примолкла; Шарль тоже не говорил ни слова. От двери дуло, по полу двигались маленькие кучки сора; Шарль следил за тем, как их подгоняет сквозняк, и слышал лишь, как стучит у него в висках и как где-то далеко во дворе кудахчет курица, которая только что снесла яйцо. Эмма время от времени прикладывала руки к щекам, чтобы они не так горели, а потом, чтобы стало холоднее рукам, дотрагивалась до железной ручки больших каминных щипцов.

Она пожаловалась, что с наступлением жары у нее начались головокружения, спросила, не помогут ли ей морские купанья, рассказала о монастыре. Шарль рассказал о своем коллеже, и так у них постепенно завязалась оживленная беседа. Они прошли к ней в комнату. Она показала ему свои старые ноты, книжки, которые она получила

в награду, венки из дубовых листьев, валявшиеся в нижнем ящике шкафа. Потом заговорила о своей матери, о кладбище и даже показала клумбу в саду, с которой в первую пятницу каждого месяца срывала цветы на ее могилку. Вот только садовник у них никуда не годный; вообще бог знает что за прислуга! Эмма мечтает жить в городе — хотя бы зимой, впрочем, летней порою день все прибавляется, и в деревне тогда, наверное, еще скучнее. В зависимости от того, о чем именно она говорила, голос ее делался то высоким и звонким, то внезапно ослабевал, и, когда она рассказывала о себе, постепенно снижался почти до шепота, меж тем как лицо ее то озарялось радостью, и она широко раскрывала свои наивные глаза, а то вдруг мысль ее уносилась далеко, и она смотрела скучающим взглядом из-под полуопущенных век.

Вечером, по дороге домой, Шарль вызывал в памяти все ее фразы, одну за другой, пытался припомнить их в точности, угадать их скрытый смысл, чтобы до осязаемости ясно представить себе, как она жила, когда он с ней еще не был знаком. Но его мысленный взор видел ее такою, какой она предстала перед ним впервые, или же такою, какой он оставил ее только что. Потом он задал себе вопрос: что с ней станется, когда она выйдет замуж? И за кого? Увы! Папаша Руо богат, а она... она такая красивая! Но тут воображению его вновь явился облик Эммы, и что-то похожее на жужжанье волчка неотвязно зазвучало у него в ушах: «Вот бы тебе на ней жениться! Тебе бы на ней жениться!» Ночью он никак не мог уснуть, в горле у него все пересохло, хотелось пить; он встал, выпил воды и растворил окно; небо было звездное, дул теплый ветерок, где-то далеко лаяли собаки. Он поглядел в сторону Берто.

Решив, что, в сущности говоря, он ничем не рискует, Шарль дал себе слово при первом удобном случае сделать Эмме предложение, но язык у него всякий раз прилипал к гортани.

Папаша Руо был не прочь сбыть дочку с рук, — помогала она ему плохо. В глубине души он ее оправдывал — он считал, что она слишком умна для сельского хозяйства, этого богом проклятого занятия, на котором миллионов не наживешь. В самом деле, старик не только не богател, но из году в год терпел убытки, ибо хотя на рынках он чувствовал себя как рыба в воде и умел показать товар лицом, зато собственно к земледелию, к ведению фермерского хозяйства он не питал ни малейшей склонности. Ничем осо-

бенно он себя не утруждал, денег на свои нужды не жалел — еда, тепло и сон были у него на первом плане. Он любил крепкий сидр, жаркое с кровью, любил прихлебывать кофе с коньячком. Он ел всегда в кухне, один, за маленьким столиком, который ему подавали уже накрытым, точно в театре.

Итак, заметив, что Шарль в присутствии Эммы краснеет, — а это означало, что на днях он попросит ее руки,— папаша все обдумал заранее. Шарля он считал «мозгляком», не о таком зяте мечтал он прежде, но, с другой стороны, Шарль, по общему мнению, вел себя безукоризненно, все говорили, что он бережлив, очень сведущ, — такой человек вряд ли станет особенно торговаться из-за приданого. А тут еще папаше Руо пришлось продать двадцать два акра своей земли, да к тому же он задолжал каменщику, шорнику, и потом надо было поправить вал в давильне.

«Посватается — отдам», — сказал он себе.

Перед самым Михайловым днем Шарль на трое суток приехал в Берто. Третий день, как и два предыдущих, прошел в том, что его отъезд все откладывался да откладывался. Папаша Руо пошел проводить Шарля; они шагали по проселочной дороге и уже собирались проститься; пора было заговорить, Шарль дал себе слово начать, когда они дойдут до конца изгороди, и, как только изгородь осталась позади, он пробормотал:

— Господин Руо, мне надо вам сказать одну вещь.

Оба остановились. Шарль молчал.

— Ну, выкладывайте! Я и так все знаю! — сказал Руо, тихонько посмеиваясь.

— Папаша!.. Папаша!..— лепетал Шарль.

— Я очень доволен, — продолжал фермер. — Девочка, наверное, тоже, но все-таки надо ее спросить. Ну, прощайте, — я пойду домой. Но только если она скажет «да», не возвращайтесь — слышите? — во избежание сплетен, да и ее это может чересчур взволновать. А чтобы вы не томились, я вам подам знак: настежь распахну окно с той стороны, — вы влезете на забор и увидите.

Привязав лошадь к дереву, Шарль выбежал на тропинку и стал ждать. Прошло тридцать минут, потом он отметил по часам еще девятнадцать. Вдруг что-то стукнуло об стену — окно распахнулось, задвижка еще дрожала.

На другой день Шарль в девять часов утра был уже на ферме. При виде его Эмма вспыхнула, но, чтобы не выдать волнения, попыталась усмехнуться. Папаша Руо обнял бу-

дущего зятя. Заговорили о материальной стороне дела; впрочем, для этого было еще достаточно времени — приличия требовали, чтобы бракосочетание состоялось после того, как у Шарля кончится траур, то есть не раньше весны. Зима прошла в ожидании. Мадмуазель Руо занялась приданым. Часть его была заказана в Руане, а ночные сорочки и чепчики она шила сама по картинкам в журнале мод, который ей дали на время. Когда Шарль приезжал в Берто, с ним обсуждали приготовления к свадьбе, совещались, в какой комнате устроить обед, уславливались о количестве блюд и относительно закусок.

Эмме хотелось венчаться в полночь, при свете факелов, но папаше Руо эта затея не пришлась по душе. И вот наконец сыграли свадьбу: гостей съехалось сорок три человека, пир продолжался шестнадцать часов, а утром — опять за то же, и потом еще несколько дней доедали остатки.

IV

Приглашенные начали съезжаться с раннего утра в колясках, в одноколках, в двухколесных шарабанах, в старинных кабриолетах без верха, в крытых повозках с кожаными занавесками, а молодежь из соседних деревень, стоя, выстроившись в ряд, мчалась на телегах и, чтобы не упасть, держалась за грядки,— так сильно трясло. Понаехали и те, что жили в десяти милях отсюда,— из Годервиля, из Норманвиля, из Кани. Шарль и Эмма созвали всю свою родню, помирились со всеми друзьями, с которыми были до этого в ссоре, разослали письма тем знакомым, кого давным-давно потеряли из виду.

Время от времени за изгородью щелкал бич, вслед за тем ворота растворялись, во двор въезжала повозка. Кони лихо подкатывали к самому крыльцу, тут их на всем скаку осаживали, и повозка разгружалась,— из нее с обеих сторон вылезали гости, потирали себе колени, потягивались. Дамы были в чепцах, в сшитых по-городски платьях с блестевшими на них золотыми цепочками от часов, в накидках, концы которых крест-накрест завязывались у пояса, или же в цветных косыночках, сколотых на спине булавками и открывавших сзади шею. Около мальчиков, одетых так же, как их папаши, и, видимо, чувствовавших себя неловко в новых костюмах (многие из них

сегодня первый раз в жизни надели сапоги), молча стояла какая-нибудь рослая девочка лет четырнадцати — шестнадцати, наверно, их кузина или старшая сестра, в белом платье, сшитом ко дню первого причастия и ради такого случая удлиненном, с волосами, жирными от розовой помады, вся красная, оторопелая, больше всего на свете боявшаяся испачкать перчатки. Конюхов не хватало, поэтому лошадей распрягали, засучив рукава, сами отцы семейств. Их одежда находилась в строгом соответствии с занимаемым ими положением в обществе — одни приехали во фраках, другие в сюртуках, третьи в пиджаках, четвертые в куртках, и все это у них было добротное, вызывавшее к себе почтительное отношение всех членов семьи, извлекавшееся из шкафов только по торжественным дням: сюртуки — с длинными разлетающимися полами, с цилиндрическими воротничками, с широкими, как мешки, карманами; куртки — толстого сукна, к которым обыкновенно полагалась фуражка с медным ободком на козырьке; пиджачки — кургузые, с двумя пуговицами на спине, посаженными так близко, что они напоминали глаза, с фалдами, точно вырубленными плотником из цельного дерева. Некоторые (эти, разумеется, сидели за столом на самых непочетных местах) явились даже в парадных блузах, то есть в таких, отложные воротнички которых лежали на плечах, спинку же, собранную в мелкие складки, перехватывал низко подпоясанный вышитый кушак.

А на груди панцирями выгибались крахмальные сорочки! Мужчины только что подстриглись,— поэтому уши у них торчали,— и тщательно побрились; у тех, что встали нынче еще до рассвета и брились впотьмах, под носом были видны поперечные царапины, а на скулах — порезы величиною с трехфранковую монету; дорогой их обветрило, и казалось, будто все эти широкие, одутловатые лица кто-то отделал под розовый мрамор.

Так как от фермы до мэрии считалось не больше полумили, то все пошли туда пешком и пешком возвращались из церкви, после венчания, на ферму. Шествие, двигавшееся сначала единой пестрой лентой, колыхавшейся в полях на узкой тропинке, что извивалась меж зеленей, вскоре растянулось и распалось на отдельные группы, увлекшиеся разговором. Впереди всех выступал мызыкант со скрипкой, затейливо разукрашенной лентами; за ним шли новобрачные, потом сбившиеся в одну кучу родные и

знакомые, а позади обрывала овсинки и под шумок затевала возню детвора. Платье Эммы, чересчур длинное, касалось земли; время от времени она останавливалась, подбирала его и осторожно снимала колючки затянутыми в перчатки пальцами, а Шарль, отпустив ее руку, ждал. Папаша Руо, в новом цилиндре и в черном фраке с рукавами чуть не до ногтей, вел под руку г-жу Бовари-мать. А г-н Бовари-отец, который в глубине души презирал все это общество и явился на свадьбу в простом однобортном, военного покроя сюртуке, расточал трактирные комплименты белокурой крестьянской девушке. Девушка приседала, краснела, не знала, что отвечать. Гости толковали о своих делах, а иные подтрунивали друг над другом, заранее настраиваясь на веселый лад. Музыкант все играл, все играл; прислушавшись, можно было различить его пиликанье. Как только скрипач замечал, что ушел далеко вперед, он сейчас же останавливался перевести дух, долго натирал канифолью смычок, чтобы струны визжали громче, а потом двигался дальше, то поднимая, то опуская гриф,— это помогало ему держать такт. Заслышав издали его игру, птички разлетались в разные стороны.

Стол накрыли в каретнике, под навесом. Подали четыре филе, шесть фрикасе из кур, тушеную телятину и три жарких, а на середине стола поставили превосходного жареного молочного поросенка, обложенного колбасками, с гарниром из щавеля. По углам стола возвышались графины с водкой. На бутылках со сладким сидром вокруг пробок выступила густая пена, стаканы были заранее налиты вином доверху. Желтый крем на огромных блюдах трясся при малейшем толчке; на его гладкой поверхности красовались инициалы новобрачных, выведенные мелкими завитушками. Нугу и торты готовил кондитер, выписанный из Ивето. В этих краях он подвизался впервые и решил в грязь лицом не ударить — на десерт он собственными руками подал целое сооружение, вызвавшее бурный восторг собравшихся. Нижнюю его часть составлял сделанный из синего картона квадратный храм с портиками и колоннадой, вокруг храма в нишах, усеянных звездами из золотой бумаги, стояли гипсовые статуэтки; второй этаж составлял савойский пирог в виде башни, окруженной невысокими укреплениями из цуката, миндаля, изюма и апельсинных долек, а на самом верху громоздились скалы, виднелись озера из варенья, на озерах — кораблики из ореховых скорлупок, среди зеленого луга качался крошечный

амурчик на шоколадных качелях, столбы которых вместо шаров увенчивались бутонами живых роз.

Обед тянулся до вечера. Устав сидеть, гости шли погулять во двор или на гумно — поиграть в «пробку», а потом опять возвращались на свои места. К концу обеда многие уже храпели. Но за кофе все снова оживились, запели песни, потом мужчины начали пробовать силу — упражнялись с гирями, показывали свою ловкость, пытались взвалить себе на плечи телегу, за столом говорили сальности, обнимали дам. Вечером стали собираться домой, но лошадей перекормили овсом, и они не хотели влезать в оглобли, брыкались, вскакивали на дыбы, рвали упряжь, а хозяева — кто бранился, кто хохотал. И всю ночь по дорогам бешеным галопом неслись при лунном свете крытые повозки, опрокидывались в канавы, перемахивали через кучи щебня, скатывались с косогоров вниз, а женщины, высунувшись в дверцу, подхватывали вожжи.

Те, что остались в Берто, пропьянствовали ночь в кухне. Дети уснули под лавками.

Невеста упросила отца, чтобы ее избавили от обычных шуток. Тем не менее один из их родственников, торговец рыбой (он даже в качестве свадебного подарка привез две камбалы), начал было прыскать водой в замочную скважину, но папаша Руо подоспел вовремя и попытался втолковать ему, что зять занимает видное положение и что эти непристойные выходки по отношению к нему недопустимы. Однако родственник проникся его доводами не сразу. Подумав про себя, что папаша Руо зазнался, он отошел в уголок, к группе гостей; этим гостям случайно достались за обедом неважные куски, и теперь они, разобидевшись, перемывали косточки хозяину и, хотя и не прямо, желали ему разориться.

Госпожа Бовари-мать за весь день не проронила ни звука. С ней не посоветовались ни относительно наряда невесты, ни относительно распорядка свадебного пиршества; уехала она рано. Ее супруг остался — он послал в Сен-Виктор за сигарами и до самого утра все курил и попивал грог, чем заслужил особое уважение всей компании, которая понятия не имела о подобной смеси.

Шарль, остроумием не отличавшийся, во время свадебного пира не блистал. На все шутки, каламбуры, двусмысленности, поздравления и вольные намеки, которыми гости сочли своим долгом осыпать его с самого начала обеда, он отвечал не очень удачно.

Зато наутро это был уже совсем другой человек. Казалось, что это он утратил невинность, меж тем как по непроницаемому виду молодой ни о чем нельзя было догадаться. Даже самые злые насмешники — и те прикусили язык, и когда она проходила мимо, они только глазели на нее, тщетно шевеля мозгами. Но Шарль и не думал таиться. Он называл Эмму женой, говорил ей «ты», спрашивал у каждого, как она ему нравится, всюду бегал за ней, беспрестанно уводил в сад, и гостям издалека было видно, как он, обняв ее за талию, гуляет по аллее, как он склоняется головой к ней на грудь и мнет кружевную отделку корсажа.

Через два дня после свадьбы молодые уехали — Шарль не мог дольше оставаться в Берто из-за пациентов. Папаша Руо дал им свою повозку и проводил их до Васонвиля. Там он в последний раз поцеловал дочь, потом слез с повозки и пошел домой. Отойдя шагов на сто, он обернулся и, глядя, как крутятся по дорожной пыли колеса удаляющейся повозки, тяжело вздохнул. Он вспомнил былое, вспомнил свою свадьбу, первую беременность жены; он тоже был весел в тот день, когда она сидела сзади него верхом на коне, бежавшем рысью по белому-белому полю,— ведь это было незадолго до Рождества, и снег уже выпал; одною рукой она держалась за мужа, а в другой у нее была корзинка; ветер трепал длинные концы ее кошского кружевного чепчика, они закрывали ей рот, и, оборачиваясь, он видел, что к его плечу вплотную прижимается ее улыбающееся розовое личико, выглядывающее из-под золотого ободка чепца. Время от времени она грела пальцы у него за пазухой. Как все это было давно! Теперь их сыну исполнилось бы уже тридцать лет! Старик еще раз оглянулся, но повозка скрылась из виду. И тут у него в душе стало пусто, как в доме, откуда вынесли все вещи. В его голове, которую затуманили винные пары, трогательные воспоминания мешались с мрачными мыслями, и его вдруг потянуло к церкви. Но, боясь, как бы ему там не стало еще тоскливее, он зашагал прямо домой.

Господин и госпожа Бовари приехали в Тост к шести часам. Соседи бросились к окнам поглядеть на молодую докторшу.

Старая служанка поздоровалась со своей новой госпожой, поздравила ее, извинилась, что обед еще не готов, и предложила пока что осмотреть дом.

V

Дом своим кирпичным фасадом выходил прямо на улицу или, вернее, на дорогу. За дверью висели плащ с низким воротником, уздечка и черная кожаная фуражка, а в углу валялась пара штиблет, на которых уже успела засохнуть грязь. Направо дверь вела в залу, то есть в комнату, где обедали и сидели по вечерам. Канареечного цвета обои с выцветшим бордюром в виде гирлянды цветов дрожали на плохо натянутой холщовой подкладке; на окнах висели цеплявшиеся одна за другою белые коленкоровые занавески с красной каемкой, а на узкой каминной полочке, между двумя накладного серебра подсвечниками с овальными абажурами, поблескивали часы с головой Гиппократа. В противоположном конце коридора была дверь в кабинет Шарля — каморку шагов в шесть шириной,— там стоял стол, три стула и рабочее кресло. Тома *Медицинской энциклопедии,* хотя и неразрезанные, но после многочисленных перепродаж успевшие основательно поистрепаться, занимали почти целиком шесть полок елового книжного шкафа. Больные, сидя здесь на приеме, дышали кухонным чадом, проникавшим сквозь стену, зато в кухне было слышно, как они кашляют и во всех подробностях рассказывают о своих болезнях. За кабинетом находилась нежилая комната, окнами во двор, на конюшню, заменявшая теперь и дровяной сарай, и подвал, и кладовую,— там валялись железный лом, пустые бочонки, пришедшие в негодность садовые инструменты и много всякой другой пыльной рухляди, неизвестно для чего в свое время предназначавшейся.

Неширокий, но длинный сад тянулся меж двух глинобитных стен, не видных за рядами абрикосовых деревьев, и упирался в живую изгородь из кустов терновника, а дальше уже начинались поля. Посреди сада на каменном постаменте высились солнечные часы из аспидного сланца; четыре клумбы чахлого шиповника симметрично окружали грядку полезных насаждений. В глубине, под пихтами, читал молитвенник гипсовый священник.

Эмма поднялась на второй этаж. В первой комнате никакой обстановки не было, а во второй, где помещалась спальня супругов, стояла в алькове кровать красного дерева под красным пологом. На комоде привлекала внимание коробочка, отделанная ракушками; у окна на секретере стоял в графине букет флёрдоранжа, перевязанный

белою атласною лентою. То был букет новобрачной, букет первой жены! Взгляд Эммы остановился на нем. Шарль это заметил и, взяв букет, понес его на чердак, а молодая, в ожидании, пока расставят тут же, при ней, ее вещи, села в кресло и, вспомнив о своем свадебном букете, лежавшем в картонке, задала себе вопрос, какая участь постигнет ее флёрдоранж, если вдруг умрет она.

С первых же дней Эмма начала вводить новшества. Сняла с подсвечников абажуры, оклеила комнаты новыми обоями, заново покрасила лестницу, в саду вокруг солнечных часов поставила скамейки и даже расспрашивала, как устроить бассейн с фонтаном и рыбками. Наконец супруг, зная, что она любит кататься, купил по случаю двухместный шарабанчик, который благодаря новым фонарям и крыльям из простроченной кожи мог сойти и за тильбюри.

Словом, Шарль наслаждался безоблачным счастьем. Обед вдвоем, вечерняя прогулка по большаку, движение, каким его жена поправляла прическу, ее соломенная шляпка, висевшая на оконной задвижке, и множество других мелочей, прелесть которых прежде была ему незнакома, представляли для него неиссякаемый источник блаженства. Утром, лежа с Эммой в постели, он смотрел, как солнечный луч золотит пушок на ее бледно-розовых щеках, полуприкрытых оборками чепца. На таком близком расстоянии, особенно когда она, просыпаясь, то приподнимала, то опускала веки, глаза ее казались еще больше; черные в тени, темно-синие при ярком свете, они как бы состояли из расположенных в определенной последовательности цветовых слоев, густых в глубине и все светлевших по мере приближения к белку. Глаз Шарля тонул в этих пучинах,— Шарль видел там уменьшенного самого себя, только до плечей, в фуляровом платке на голове и в сорочке с расстегнутым воротом. Он вставал. Она подходила к окну и смотрела, как он уезжает. Она облокачивалась на подоконник, между двумя горшками с геранью, и пеньюар свободно облегал ее стан. Выйдя на улицу, Шарль ставил ноги на тумбу и пристегивал шпоры; Эмма продолжала с ним разговаривать, стоя наверху, покусывая лепесток или былинку, а потом сдувала ее по направлению к Шарлю, и она долго держалась в воздухе, порхала, описывала круги, словно птица, и, прежде чем упасть, цеплялась за лохматую гриву старой белой кобылы, стоявшей у порога не шевелясь. Шарль садился вер-

хом, посылал Эмме воздушный поцелуй, она кивала ему в ответ, закрывала окно, он уезжал. И на большой дороге, бесконечною пыльною лентою расстилавшейся перед ним, на проселках, под сводом низко нагнувшихся ветвей, на межах, где колосья доходили ему до колен, Шарль чувствовал, как солнце греет ему спину, вдыхал утреннюю прохладу и, весь во власти упоительных воспоминаний о минувшей ночи, радуясь, что на душе у него спокойно, что плоть его удовлетворена, все еще переживал свое блаженство, подобно тому как после обеда мы еще некоторое время ощущаем вкус перевариваемых трюфелей.

Был ли он счастлив когда-либо прежде? Уж не в коллеже ли, когда он сидел взаперти, в его высоких четырех стенах, и чувствовал себя одиноким среди товарищей, которые были и богаче и способнее его, которые смеялись над его выговором, потешались над его одеждой и которым матери, когда являлись на свидание, проносили в муфтах пирожные? Или позднее, когда он учился на лекаря и когда в карманах у него было так пусто, что он даже не мог заказать музыкантам кадриль, чтобы потанцевать с какой-нибудь молоденькой работницей, за которой ему хотелось приударить? Потом он год и два месяца прожил со вдовой, у которой, когда она ложилась в постель, ноги были холодные, как ледышки. А теперь он до конца своих дней будет обладать прелестною, боготворимою им женщиной. Весь мир замыкался для него в пределы шелковистого обхвата ее платьев. И он упрекал себя в холодности, он скучал без нее. Он спешил домой, с бьющимся сердцем взбегал по лестнице. Эмма у себя в комнате занималась туалетом; он подходил к ней неслышными шагами, целовал ее в спину, она вскрикивала.

Не дотрагиваться поминутно до ее гребенки, косынки, колец — это было свыше его сил; он то взасос целовал ее в щеки, то покрывал быстрыми поцелуями всю ее руку, от кончиков пальцев до плеча, а она полуласково, полусердито отталкивала его, как отстраняем мы детей, когда они виснут на нас.

До свадьбы она воображала, что любит, но счастье, которое должно было возникнуть из этой любви, не пришло, и Эмма решила, что она ошиблась. Но она все еще старалась понять, что же на самом деле означают слова: «блаженство», «страсть», «упоение» — слова, которые казались ей такими прекрасными в книгах.

VI

В детстве она прочла *Поля и Виргинию* и долго потом мечтала о бамбуковой хижине, о негре Доминго, о собаке Фидель, но больше всего о нежной дружбе с милым маленьким братцем, который срывал бы для нее красные плоды с громадных, выше колокольни, деревьев или бежал бы к ней по песку босиком, с птичьим гнездом в руках.

Когда ей исполнилось тринадцать лет, отец сам отвез ее в город и отдал в монастырь. Остановились они в квартале Сен-Жерве, на постоялом дворе; ужин подали им на тарелках, на которых были нарисованы сцены из жизни мадмуазель де Лавальер. Апокрифического характера надписи, исцарапанные ножами, прославляли религию, чувствительность, а также роскошь королевского двора.

Первое время она совсем не скучала в монастыре; ей хорошо жилось у монахинь, которые, желая доставить ей развлечение, водили ее в часовню, соединенную с трапезной длинным коридором. На переменах она особой резвости не проявляла, катехизис ей давался легко, и на трудные вопросы викария всякий раз отвечала она. Окутанную тепличной атмосферой классов, окруженную бледноликими женщинами, носившими четки с медными крестиками, ее постепенно завораживала та усыпительная мистика, что есть и в церковных запахах, и в холоде чаш со святой водой, и в огоньках свечей. Стоя за обедней, она, вместо того чтобы молиться, рассматривала в своей книжке обведенные голубою каймой заставки духовно-нравственного содержания; ей нравились и больная овечка, и сердце Христово, пронзенное острыми стрелами, и бедный Иисус, падающий под тяжестью креста. Однажды она попробовала ради умерщвления плоти целый день ничего не есть. Она долго ломала себе голову, какой бы ей дать обет.

Идя на исповедь, она нарочно придумывала разные мелкие грехи, чтобы подольше постоять на коленях в полутьме, скрестив руки, припав лицом к решетке, слушая шепот духовника. Часто повторявшиеся в проповедях образы жениха, супруга, небесного возлюбленного, вечного бракосочетания как-то особенно умиляли ее.

Вечерами, перед молитвой, им обыкновенно читали что-нибудь душеспасительное: по будням — отрывки из священной истории в кратком изложении или *Беседы* аббата

Фрейсину, а по воскресеньям, для разнообразия,— отдельные места из *Духа христианства.* Как она слушала вначале эти полнозвучные пени романтической тоски, откликающиеся на все призывы земли и вечности! Если бы детство ее протекло в торговом квартале какого-нибудь города, в комнате рядом с лавкой, ее мог бы охватить пламенный восторг перед природой, которым мы обыкновенно заражаемся от книг. Но она хорошо знала деревню; мычанье стад, молочные продукты, плуги — все это было ей так знакомо! Она привыкла к мирным картинам, именно поэтому ее влекло к себе все необычное. Если уж море, то чтобы непременно бурное, если трава, то чтобы непременно среди развалин. Это была натура не столько художественная, сколько сентиментальная, ее волновали не описания природы, но излияния чувств, в каждом явлении она отыскивала лишь то, что отвечало ее запросам, и отметала как ненужное все, что не удовлетворяло ее душевных потребностей.

Каждый месяц в монастырь на целую неделю приходила старая дева — белошвейка. Она принадлежала к старинному дворянскому роду, разорившемуся во время революции, поэтому ей покровительствовал сам архиепископ и ела она за одним столом с монахинями, а после трапезы, прежде чем взяться за шитье, оставалась с ними поболтать. Пансионерки часто убегали к ней с уроков. Она знала наизусть любовные песенки прошлого века и, водя иглой, напевала их. Она рассказывала разные истории, сообщала новости, выполняла в городе любые поручения и потихоньку давала читать старшим ученицам романы, которые она всюду носила с собой в кармане передника и которые сама глотала во время перерывов целыми главами. Там было все про любовь, там были одни только любовники, любовницы, преследуемые дамы, падающие без чувств в уединенных беседках, кучера, которых убивают на каждой станции, кони, которых загоняют на каждой странице, дремучие леса, сердечные тревоги, клятвы, рыдания, слезы и поцелуи, челны, озаренные лунным светом, соловьиное пение в рощах, герои, храбрые, как львы, кроткие, как агнцы, добродетельные донельзя, всегда безукоризненно одетые, слезоточивые, как урны. Пятнадцатилетняя Эмма целых полгода дышала этой пылью старинных книгохранилищ. Позднее Вальтер Скотт привил ей вкус к старине, и она начала бредить хижинами поселян, парадными залами и менестрелями. Ей хотелось жить в старинном зам-

ке и проводить время по примеру дам, носивших длинные корсажи и, облокотясь на каменный подоконник, опершись головой на руку, смотревших с высоты стрельчатых башен, как на вороном коне мчится к ним по полю рыцарь в шляпе с белым плюмажем. В ту пору она преклонялась перед Марией Стюарт и обожала всех прославленных и несчастных женщин: Жанна д'Арк, Элоиза, Агнеса Сорель, Прекрасная Фероньера и Клеманс Изор — все они, точно кометы, выступали перед ней из непроглядной тьмы времен, да еще кое-где мелькали тонувшие во мраке, никак между собою не связанные Людовик Святой под дубом, умирающий Баярд, зверства Людовика XI, сцены из Варфоломеевской ночи, султан на шляпе Беарнца, и, разумеется, навсегда запечатлелись у нее в памяти тарелки с рисунками, восславлявшими Людовика XIV.

На уроках музыки она пела только романсы об ангелочках с золотыми крылышками, о мадоннах, лагунах, гондольерах, и сквозь нелепый слог и несуразный напев этих безвредных вещиц проступала для нее пленительная фантасмагория жизни сердца. Подруги Эммы приносили в монастырь кипсеки, которые им дарили на Новый год. Их приходилось прятать, и это было не так-то просто; читали их только в дортуарах. Чуть дотрагиваясь до великолепных атласных переплетов, Эмма останавливала восхищенный взор на указанных под стихами именах неизвестных ей авторов — по большей части графов и виконтов.

От ее дыхания шелковистая папиросная бумага, загнувшись, приподнималась кверху, а потом снова медленно опускалась на гравюру, и уже это одно приводило Эмму в трепет. Бумага прикрывала то юношу в коротком плаще, за балюстрадой балкона обнимавшего девушку в белом платье с кошелечком у пояса, то портреты неизвестных английских леди с белокурыми локонами, глядевших большими ясными глазами из-под круглых соломенных шляпок. Одна из этих леди полулежала в коляске, скользившей по парку, а впереди бежавших рысью лошадей, которыми правили два маленьких грума в белых рейтузах, вприпрыжку неслась борзая. Другая леди, в мечтательной позе раскинувшись на софе и положив рядом с собой распечатанное письмо, глядела на луну в приоткрытое окно с приспущенной черной занавеской. Чистые душою девушки, проливая слезы, целовались с горлинками между прутьев готических клеток или, улыбаясь, склонив голов-

ку набок, обрывали лепестки маргаритки загнутыми кончиками пальцев, острыми, как носки у туфелек. Там были и вы, султаны с длинными чубуками, под навесами беседок млеющие в объятиях баядерок, гяуры, турецкие сабли, фески, но особенно обильно там были представлены вы, в блеклых тонах написанные картины, изображающие некие райские уголки, картины, на которых мы видим пальмы и тут же рядом — ели, направо — тигра, налево — льва, вдали — татарский минарет, на переднем плане — руины древнего Рима, поодаль — разлегшихся на земле верблюдов, причем все это дано в обрамлении девственного, однако тщательно подметенного леса и освещено громадным отвесным лучом солнца, дробящимся в воде серо-стального цвета, а на фоне воды белыми пятнами вырезываются плавающие лебеди.

И все эти виды земного шара, беспрерывной чередою мелькавшие перед мысленным взором Эммы в тишине спальни под стук запоздалой пролетки, доносившийся издалека, с какого-нибудь бульвара, озарял свет лампы под абажуром, висевшей прямо над головою девушки.

Когда у нее умерла мать, она первое время плакала, не осушая глаз. Она заказала траурную рамку для волос покойницы, а в письме к отцу, полном мрачных мыслей о жизни, выразила желание, чтобы ее похоронили в одной могиле с матерью. Старик решил, что дочка заболела, и поехал к ней. Эмма в глубине души была довольна, что ей сразу удалось возвыситься до трудно достижимого идеала отрешения от всех радостей жизни — идеала, непосильного для людей заурядных. Словом, она попалась в сети к Ламартину, и ей стали чудиться звуки арфы на озерах, лебединые песни, шорох опадающих листьев, непорочные девы, возносящиеся на небо, голос Предвечного, звучащий в долине. Все это ей скоро наскучило, но она не хотела себе в этом признаться и продолжала грустить — сперва по привычке, потом из самолюбия, но в конце концов, к немалому своему изумлению, почувствовала, что успокоилась, что в сердце у нее не больше кручины, чем морщин на лбу.

Добрые инокини, с самого начала столь проницательно угадавшие, в чем именно состоит ее призвание, теперь были крайне поражены, что мадмуазель Руо, видимо, уходит из-под их влияния. Они зорко следили за тем, чтобы она выстаивала службы, часто заводили с ней разговор об отречении от мира, были щедры на молитвы и увещания,

внушали ей, как надо чтить мучеников и угодников, давали ей столько мудрых советов, как должно укрощать плоть и спасать душу, и в конце концов довели ее до того, что она, точно лошадь, которую тянут за узду, вдруг остановилась как вкопанная, и удила выпали у нее изо рта. То была натура, при всей своей восторженности, рассудочная: в церкви ей больше всего нравились цветы, в музыке — слова романсов, в книгах — волнения страстей, таинства же она отвергала, но еще больше ее возмущало послушание, чуждое всему ее душевному строю. Когда отец взял ее из пансиона, то это никого не огорчило. Настоятельница даже заметила, что последнее время Эмма была недостаточно почтительна с монахинями.

Дома она сперва охотно командовала слугами, но деревня ей скоро опротивела, и она пожалела о монастыре. К тому времени, когда Шарль первый раз приехал в Берто, Эмма прониклась убеждением, что она окончательно разочаровалась в жизни, что она все познала, все испытала.

Заговорила ли в ней жажда новизны, или, быть может, сказалось нервное возбуждение, охватывавшее ее в присутствии Шарля, но только Эмма вдруг поверила, что то дивное чувство, которое она до сих пор представляла себе в виде райской птицы, парящей в сиянии несказанно прекрасного неба, слетело наконец к ней. И вот теперь она никак не могла убедить себя, что эта тихая заводь и есть то счастье, о котором она мечтала.

VII

Порой ей приходило в голову, что ведь это же лучшие дни ее жизни, так называемый медовый месяц. Но, чтобы почувствовать их сладость, надо, очевидно, удалиться в края, носящие звучные названия, в края, где первые послесвадебные дни бывают полны такой чарующей неги! Ехать бы шагом в почтовой карете с синими шелковыми шторами по крутому склону горы, слушать, как поет песню кучер, как звенят бубенчиками стада коз, как глухо шумит водопад и как всем этим звукам вторит горное эхо! Перед заходом солнца дышать бы на берегу залива ароматом лимонных деревьев, а вечером сидеть бы на террасе виллы вдвоем, рука в руке, смотреть на звезды и мечтать о будущем! Эмма думала, что есть такие места на

земле, где счастье хорошо родится,— так иным растениям нужна особая почва, а на любой другой они принимаются с трудом. Как бы хотела она сейчас облокотиться на балконные перила в каком-нибудь швейцарском домике или укрыть свою печаль в шотландском коттедже, где с нею был бы только ее муж в черном бархатном фраке с длинными фалдами, в мягких сапожках, в треугольной шляпе и кружевных манжетах!

Вероятно, она ощущала потребность кому-нибудь рассказать о своем душевном состоянии. Но как выразить необъяснимую тревогу, изменчивую, точно облако, быстролетную, точно ветер? У нее не было слов, не было повода, ей не хватало смелости.

И все же ей казалось, что если бы Шарль захотел, если бы он догадался, если бы он взглядом хоть раз ответил на ее мысль, от ее сердца мгновенно отделилось бы и хлынуло наружу все, что в нем созревало: так отрываются спелые плоды от фруктового дерева — стоит только его тряхнуть. Но отрыв этот, хотя их жизни сближались все тесней и теснейей, происходил только в ее внутреннем мире, не находя отзвука вовне, и это разобщало ее с Шарлем.

Речь Шарля была плоской, точно панель, по которой вереницей тянулись чужие мысли в их будничной одежде, не вызывая ни волнения, ни смеха, ничего не говоря воображению. Он сам признавался, что в Руане так и не удосужился сходить в театр, ему неинтересно было посмотреть парижских актеров. Он не умел плавать, не умел фехтовать, не умел стрелять из пистолета и как-то раз не смог объяснить Эмме смысл попавшегося ей в одном романе выражения из области верховой езды.

А между тем разве мужчина не должен знать все, быть всегда на высоте, не должен вызывать в женщине силу страсти, раскрывать перед ней всю сложность жизни, посвящать ее во все тайны бытия? Но он ничему не учил, ничего не знал, ничего не желал. Он думал, что Эмме хорошо. А ее раздражало его безмятежное спокойствие, его несокрушимая самоуверенность, даже то, что он с нею счастлив.

Эмма иногда рисовала, и Шарль находил громадное удовольствие в том, чтобы стоять подле нее и смотреть, как она наклоняется над бумагой и, щурясь, вглядывается в свой рисунок или раскатывает на большом пальце хлебные шарики. А когда она играла на фортепьяно, то чем быстрее мелькали ее пальцы, тем больше восхищался

Шарль. Она уверенно барабанила по клавишам, пробегая всю клавиатуру без остановки. При открытом окне терзаемый ею старый инструмент с дребезжащими струнами бывало слышно на краю села, и часто писарь, без шапки, в шлепанцах, с листом бумаги в руке шедший из суда по мостовой, останавливался послушать.

Помимо всего прочего, Эмма была хорошая хозяйка. Больным она посылала счета за визиты в форме изящно составленных писем без единого канцелярского оборота. По воскресеньям, когда к ним приходил обедать кто-нибудь из соседей, она всегда придумывала изысканное блюдо, складывала ренклоды пирамидками на виноградных листьях, следила за тем, чтобы варенье было подано на тарелочках, и даже поговаривала о покупке мисочек со стаканами для полосканья рта после сладкого блюда. Все это придавало Шарлю еще больше веса в округе.

В конце концов он и сам проникся к себе уважением за то, что у него такая жена. Он с гордостью показывал гостям висевшие на длинных зеленых шнурах два ее карандашных наброска, которые он велел вставить в широкие рамы. Идя от обедни, все могли видеть, как он в красиво вышитых туфлях посиживает у порога своего дома.

От больных он возвращался поздно вечером — обычно в десять, иногда в двенадцать. Он просил покормить его, а так как служанка уже спала, то подавала ему Эмма. Чтобы чувствовать себя свободнее, он снимал сюртук. Он рассказывал, кого он сегодня видел, в каких селах побывал, какие лекарства прописал, и, довольный собой, доедал остатки говядины, ковырял сыр, грыз яблоко, опорожнял графинчик, затем шел в спальню, ложился на спину и начинал храпеть.

Он всегда раньше надевал на ночь колпак, и теперь фуляровый платок не держался у него на голове; утром его всклокоченные волосы, белые от пуха, вылезшего из подушки с развязавшимися ночью тесемками наволочки, свисали ему на лоб. И зимой и летом он ходил в высоких сапогах с глубокими косыми складками на подъеме и с прямыми, негнущимися, словно обутыми на деревяшку, головками. Он говорил, что «в деревне и так сойдет».

Матери Шарля нравилось, что он такой расчетливый; она по-прежнему приезжала к нему после очередного более или менее крупного разговора с супругом, но против своей снохи г-жа Бовари-мать, видимо, все еще была пре-

дубеждена. Она считала, что Эмма «живет не по средствам», что «дров, сахару и свечей уходит у нее не меньше, чем в богатых домах», а что угля жгут каждый день на кухне столько, что его хватило бы и на двадцать пять блюд. Она раскладывала белье в шкафах, учила Эмму разбираться в мясе, которое мясники приносили на дом. Эмма выслушивала ее наставления, г-жа Бовари на них не скупилась; слова «дочка», «маменька», по целым дням не сходившие с уст свекрови и невестки, произносились с поджатыми губами: обе говорили друг другу приятные вещи дрожащими от злобы голосами.

Во времена г-жи Дюбюк старуха чувствовала, что Шарль привязан к ней сильнее, чем к жене, а его чувство к Эмме она расценивала как спад его сыновней нежности, как посягательство на ее собственность. И она смотрела на счастье сына с безмолвной печалью,— так разорившийся богач заглядывает в окно того дома, который когда-то принадлежал ему, и видит, что за столом сидят чужие люди. Она рассказывала Шарлю о прошлом единственно для того, чтобы напомнить, сколько она из-за него выстрадала, чем для него пожертвовала, и чтобы после этого резче выступило невнимательное отношение к нему жены, а потом делала вывод, что у него нет никаких оснований так уж с нею носиться.

Шарль не знал, что отвечать; он почитал свою мать и бесконечно любил жену; мнение матери было для него законом, но ему не в чем было упрекнуть и Эмму. После отъезда матери он робко пытался повторить в тех же выражениях какое-нибудь самое безобидное ее замечание, но Эмма, не тратя лишних слов, доказывала ему, как дважды два, что он не прав, и отсылала к больным.

И все же, следуя мудрым, с ее точки зрения, правилам, она старалась уверить себя, что любит мужа. В саду при лунном свете она читала ему все стихи о любви, какие только знала на память, и со вздохами пела унылые адажио, но это и ее самое ничуть не волновало, и у Шарля не вызывало прилива нежности, не потрясало его.

Наконец Эмма убедилась, что ей не высечь ни искры огня из своего сердца, да к тому же она была неспособна понять то, чего не испытывала сама, поверить в то, что не укладывалось в установленную форму, и ей легко удалось внушить себе, что в чувстве Шарля нет ничего необыкновенного. Проявления этого чувства он определенным образом упорядочил — он ласкал ее в известные часы. Это ста-

ло как бы одной из его привычек, чем-то вроде десерта, который заранее предвкушают, сидя за однообразным обедом.

Лесник, которого доктор вылечил от воспаления легких, подарил г-же Бовари борзого щенка; Эмма брала его с собой на прогулку,— она иногда уходила из дому, чтобы хоть немного побыть одной и не видеть перед собою все тот же сад и пыльную дорогу.

Она доходила до банвильской буковой рощи; здесь, углом к полю, стоял заброшенный домик, в заросшем травою овраге тянулся кверху остролистый тростник.

Эмма прежде всего смотрела, не изменилось ли тут что-нибудь с прошлого раза. Но все оставалось по-старому: и наперстянка, и левкои, и заросли крапивы вокруг больших камней, и пятна лишая на наличниках трех окон, закрытые ставни которых со ржавыми железными болтами гнили и крошились. Мысли Эммы, сперва неясные, перескакивали с предмета на предмет, подобно ее щенку, который то делал круги по полю, то тявкал на желтых бабочек, то гонялся за землеройками, а то покусывал маки на краю полосы, засеянной пшеницею. Но мало-помалу думы ее останавливались на одном, и, сидя на лужайке, водя зонтиком по траве, она твердила:

— Боже мой! Зачем я вышла замуж?

Эмма задавала себе вопрос: не могла ли она при ином стечении обстоятельств встретить кого-нибудь другого? Она пыталась представить себе, как бы происходили эти несовершившиеся события, как бы сложилась эта совсем иная жизнь, каков был бы этот неведомый ее супруг. В самом деле, ведь не все же такие, как Шарль. Муж у нее мог быть красив, умен, благовоспитан, обаятелен,— за таких, наверно, вышли замуж ее подруги по монастырскому пансиону. Как-то они поживают? От шума городских улиц, от гуденья в зрительных залах, от блеска балов их сердца радуются, их чувства расцветают. А ее жизнь холодна, как чердак со слуховым окошком на север, и тоска бессловесным пауком оплетала в тени паутиной все уголки ее сердца. Эмма вспоминала, как в дни раздачи наград она поднималась на эстраду за веночком. С длинной косой, в белом платье и открытых прюнелевых туфельках, она была очень мила, и когда она возвращалась на свое место, мужчины наклонялись к ней и говорили комплименты. Двор был заставлен экипажами, подруги прощались с ней, выглядывая в дверцы карет, учитель музыки со скрипкой

в футляре, проходя мимо, кланялся ей. Куда все это девалось? Куда?

Она подзывала Джали, ставила ее между колен, гладила ее длинную острую мордочку и говорила:

— Ну, поцелуй свою хозяйку! Ведь тебе не о чем горевать.

Глядя в печальные глаза стройной, сладко зевавшей собачки, Эмма умилялась и, воображая, будто это она сама, говорила с ней, утешала ее, как утешают человека в беде.

Порой поднимался вихрь; ветер с моря облетал все Кошское плато, донося свою соленую свежесть до самых отдаленных полей. Шуршал, пригибаясь к земле, тростник; шелестели, дрожа частою дрожью, листья буков, а верхушки их все качались и качались с гулким и ровным шумом. Эмма накидывала шаль на плечи и поднималась с земли.

В аллее похрустывал под ногами гладкий мох, на который ложился дневной свет, зеленый от скрадывавшей его листвы. Солнце садилось; меж ветвей сквозило багровое небо; одинаковые стволы деревьев, рассаженные по прямой линии, вырисовывались на золотом фоне коричневой колоннадой; на Эмму нападал страх, она подзывала Джали, быстрым шагом возвращалась по большой дороге в Тост, опускалась в кресло и потом весь вечер молчала.

Но в конце сентября нечто необычное вторглось в ее жизнь: она получила приглашение в Вобьесар, к маркизу д'Андервилье.

В эпоху Реставрации маркиз отправлял должность статс-секретаря, и теперь он, надумав вернуться к государственной деятельности, собирался исподволь обеспечить себе успех на выборах в палату депутатов. Зимой он направо и налево раздавал хворост, в генеральном совете произносил зажигательные речи, требуя проведения в своем округе новых дорог. В летнюю жару у него образовался нарыв в горле, и Шарлю каким-то чудом удалось, вовремя прибегнув к ланцету, быстро его вылечить. Управляющий имением, посланный в тот же вечер в Тост уплатить за операцию, доложил, что видел в докторском саду чудные вишни. Так как в Вобьесаре вишни росли плохо, то маркиз попросил несколько отростков у Бовари, а затем счел своим долгом поблагодарить его лично, познакомился с Эммой и нашел, что она хорошо сложена и здоровается не по-деревенски; одним словом, в замке пришли к

заключению, что если пригласить молодых супругов, то это не уронит достоинства владельцев замка и не будет бестактностью по отношению к другим приглашенным.

Однажды, в среду, в три часа дня, г-н и г-жа Бовари сели в свой шарабанчик и поехали в Вобьесар; сзади к шарабану был привязан большой чемодан, у самого кожаного верха помещалась коробка для шляпы, а в ногах у Шарля стояла картонка.

Приехали они под вечер, когда в парке уже зажигали фонарики, чтобы осветить дорогу прибывающим гостям.

VIII

Замок — современная постройка в итальянском стиле, с двумя выдвинувшимися вперед крыльями и тремя подъездами — ширился в низине, куда спускалось бескрайнее поле; по полю между купами высоких деревьев бродили коровы; вдоль извилистой, усыпанной песком дороги раскидывалась, неодинаковой величины шатрами, листва разросшихся буйно кустов рододендрона, жасмина, калины. Через реку был перекинут мост. Сквозь туман проступали очертания крытых соломой строений, разбросанных среди луга, справа и слева упиравшегося в пологие лесистые холмы, а сзади тянулись, утопая в зелени, два ряда сараев и конюшен, уцелевших при сносе старого замка.

Шарабанчик Шарля остановился у среднего подъезда; появились слуги; вышел маркиз и, предложив руку жене доктора, ввел ее в вестибюль.

Пол в вестибюле был мраморный, потолок очень высокий, шаги и голоса раздавались тут, как в церкви. Прямо шла вверх, не делая ни одного поворота, лестница, налево галерея, выходившая окнами в сад, вела в бильярдную,— едва переступив порог вестибюля, вы уже слышали долетавший оттуда стук костяных шаров. В бильярдной, через которую Эмме надо было пройти, чтобы попасть в гостиную, ей бросились в глаза осанистые мужчины, все в орденах, их высокие воротнички и то, как они, молча улыбаясь, размахивали киями. На темном дереве панели под широкими золотыми рамами были написаны черными буквами имена. Эмма прочла: «Жан-Антуан д'Андервилье д'Ивербонвиль, граф де ла Вобьесар, барон де ла Френей, пал в сражении при Кутра 20 октября 1587 года». А под другим портретом: «Жан-Антуан-Анри-Ги д'Андервиль де ла Во-

бьесар, адмирал Франции, кавалер ордена Михаила Архангела, ранен в бою при Уг-Сен-Вааст 29 мая 1692 года, скончался в Вобьесаре 23 января 1693 года». Дальше уже трудно было что-нибудь разобрать, так как свет от лампы падал прямо на зеленое сукно бильярда, а в комнате реял сумрак. Наводя темный глянец на полотна, развешанные во всю ширину стен, этот свет острыми гранями сверкал в трещинах лака, и на больших черных, окаймленных золотом прямоугольниках кое-где выступало лишь то, что было ярче освещено: бледный лоб, глаза, смотревшие прямо на вас, букли парика, завивающиеся в кольца на обсыпанных пудрой плечах красного камзола, пряжка подвязки на упругой икре.

Маркиз распахнул дверь в гостиную. Одна из дам (это была его жена) встала, пошла Эмме навстречу, а затем усадила ее рядом с собой на диванчик и повела с ней дружескую беседу, как со своей старой знакомой. Это была женщина лет сорока, с красивыми плечами, с орлиным носом, с певучим выговором; в тот вечер на ее темно-русые волосы была накинута простая гипюровая косынка, образовавшая сзади треугольник. Рядом, на стуле с высокой спинкой, сидела молодая белокурая женщина; у камина какие-то господа с цветками в петлицах фраков занимали дам разговором.

В семь часов подали обед. Мужчины, составлявшие большинство, сели за один стол в вестибюле, дамы — за другой, в столовой, с хозяевами.

Эмма, войдя в столовую, тотчас почувствовала, как ее окутывает тепло, овевает смешанный запах цветов, тонкого белья, жаркого и трюфелей. На серебряных крышках растягивались огни канделябров; тускло отсвечивал запотевший граненый хрусталь; через весь стол тянулись строем вазы с цветами; на тарелках с широким бордюром, в раструбах салфеток, сложенных в виде епископских митр, лежали продолговатые булочки. С краев блюд свешивались красные клешни омаров; в ажурных корзиночках высились обложенные мхом крупные плоды; перепелки были поданы в перьях; над столом поднимался пар; метрдотель в шелковых чулках, коротких штанах, в белом галстуке и жабо, важный, как судья, продвигал между плечами гостей блюда с уже нарезанными кушаньями и одним взмахом ложки сбрасывал на тарелку выбранный кем-либо кусок. С высокой фаянсовой печи, отделанной медью, неподвижным взглядом смотрела на многолюдное

сборище статуэтка женщины, задрапированной до самого подбородка.

Госпожа Бовари заметила, что некоторые дамы не положили перчаток в стаканы.

На почетном месте, один среди женщин, сидел и ел, наклонившись над полной тарелкой, старик,— ему, как ребенку, повязали салфетку, и с губ у него капал соус. Глаза у старика были в красных жилках, сзади свисала косица со вплетенной в нее черной лентой. Это был тесть маркиза, старый герцог де Лавердьер, которого граф д'Артуа приблизил к себе в ту пору, когда он ездил охотиться в Водрейль к маркизу де Конфлан, и который, как говорят, был любовником королевы Марии-Антуанетты после г-на де Куанье и перед г-ном де Лозеном. Когда-то он вел бурный образ жизни, кутил, сражался на дуэлях, заключал пари, увозил женщин, сорил деньгами, держал в страхе семью. Сейчас за его стулом стоял лакей и, наклоняясь к самому его уху, выкрикивал названия блюд, а тот показывал на них пальцем и мычал. Этот вислогубый старик невольно притягивал к себе взгляд Эммы, как будто перед ней было что-то величественное, необыкновенное. Подумать только: он жил при дворе, он лежал в постели королевы!

В бокалы налили замороженного шампанского. Как только Эмма ощутила во рту его холод, по всему ее телу пробежали мурашки. Она никогда не видела гранатов, никогда не ела ананасов. Даже сахарная пудра казалась ей какой-то особенно белой и мелкой, не такой, как везде.

После обеда дамы разошлись по комнатам переодеться к балу. У Эммы туалет был обдуман до мелочей, точно у актрисы перед дебютом. Причесавшись, как ей советовал парикмахер, она надела барежевое платье, которое было разложено на постели. У Шарля панталоны жали в поясе.

— Штрипки будут мне мешать танцевать, — сказал он.

— Танцевать? — переспросила Эмма.

— Ну да!

— Ты с ума сошел! Не смеши людей, сиди смирно. Врачу это больше пристало,— добавила она.

Шарль промолчал. В ожидании, пока Эмма оденется, он стал ходить из угла в угол.

Он видел ее в зеркале сзади, между двух свечей. Ее черные глаза сейчас казались еще темнее. Волосы, слегка взбитые ближе к ушам, отливали синевой; в шиньоне тре-

петала на гибком стебле роза с искусственными росинками на лепестках. Бледно-шафранового цвета платье было отделано тремя букетами роз-помпон с зеленью.

Шарль хотел поцеловать ее в плечо.

— Оставь! — сказала она.— Изомнешь мне платье.

Внизу скрипка заиграла ритурнель, послышались звуки рога. Эмма, едва сдерживаясь, чтобы не побежать, спустилась с лестницы.

Кадриль уже началась. Гости всё подходили. Стало тесно. Эмма села на скамейку у самой двери.

По окончании контрданса танцующих сменили посреди залы группы мужчин, беседовавших стоя, и ливрейные лакеи с большими подносами. В ряду сидевших девиц колыхались разрисованные веера, прикрывались букетами улыбки, руки в белых перчатках, очерчивавших форму ногтей и стягивавших кожу у запястья, вертели флакончики с золотыми пробками. Кружевные оборки, брильянтовые броши, браслеты с подвесками — все это трепетало на корсажах, поблескивало на груди, позванивало на обнаженных руках. Волосы, гладко зачесанные спереди, собирались в пучок на затылке, а сверху венками, гроздьями, ветками были уложены незабудки, жасмин, гранатовый цвет, колосья и васильки. Матери в красных тюрбанах чинно сидели с надутыми лицами на своих местах.

Сердце у Эммы невольно дрогнуло, когда кавалер взял ее за кончики пальцев и в ожидании удара смычка стал с нею в ряд. Но волнение скоро прошло. Покачиваясь в такт музыке, чуть заметно поводя шеей, она заскользила по зале. Порою на ее лице появлялась улыбка, вызванная некоторыми оттенками в звучании скрипки; их можно было уловить, лишь когда другие инструменты смолкали; тогда же слышался тот чистый звук, с каким сыпались на сукно игорных столов золотые монеты; потом все вдруг начиналось сызнова: точно удар грома, раскатывался корнет-а-пистон, опять все так же мерно сгибались ноги, раздувались и шелестели юбки, сцеплялись и отрывались руки; все те же глаза то опускались, то снова глядели на вас в упор.

Несколько мужчин от двадцати пяти до сорока лет (их было всего человек пятнадцать), присоединившихся к танцующим или к тем, кто беседовал в дверях залы, выделялись из толпы своим как бы фамильным сходством, выступавшим несмотря на разницу в возрасте, на различие в наружности и в одежде.

Фраки, сшитые, по-видимому, из более тонкого, чем у других, сукна, как-то особенно хорошо на них сидели, волосы со взбитыми на висках локонами были напомажены самой лучшей помадой. Здоровая белизна их лиц, которая поддерживалась умеренностью в еде, изысканностью кухни и которую усиливали матовый фарфор, покрытая лаком дорогая мебель и переливчато блестевший атлас, свидетельствовала о том, что это люди состоятельные. Они свободно могли поворачивать шею, оттого что галстуки у них были повязаны низко; их длинные бакенбарды покоились на отложных воротничках; они вытирали себе губы вышитыми, распространявшими нежный запах платками, на которых бросались в глаза крупные метки. Те, что уже начали стареть, выглядели молодо, а на лицах у молодых лежал отпечаток некоторой зрелости. В их равнодушных взглядах отражалось спокойствие, которое достигается ежедневным утолением страстей, а сквозь мягкость их движений проступала та особая жестокость, которую пробуждает в человеке господство над существами, покорными ему не вполне, развивающими его силу и тешащими его самолюбие, будь то езда на породистых лошадях или связь с падшими женщинами.

В трех шагах от Эммы кавалер в синем фраке и бледная молодая женщина с жемчужным ожерельем говорили об Италии. Оба восхищались колоннами собора св. Петра, Везувием, Тиволи, Кастелламмаре, Кассино, генуэзскими розами, Колизеем при лунном свете. Одновременно Эмма вслушивалась в разговор о чем-то для нее непонятном. Гости обступили какого-то юнца, который рассказывал, как он на прошлой неделе обскакал в Англии Мисс Арабеллу и Ромула, как он, рискнув, выиграл две тысячи луидоров. Кто-то другой жаловался, что его скаковые жеребцы жиреют, третий сетовал на опечатки, исказившие кличку его лошади.

В бальной зале становилось душно, свет лампы тускнел. Гости отхлынули в бильярдную. Лакей влез на стул и, открывая, разбил окно; услышав звон стекла, Эмма обернулась и увидела, что из сада в окно смотрят крестьяне. И тут она вспомнила Берто. Воображению ее представились ферма, тинистый пруд, ее отец в блузе под яблоней и она сама, снимающая пальчиком устой с крынок молока в погребе. Но в сиянии нынешнего дня жизнь ее, такая до сих пор ясная, мгновенно померкла, и Эмма уже начинала сомневаться, ее ли это жизнь. Она, Эмма, сейчас

на балу, а на все, что осталось за пределами бальной залы, наброшен покров мрака. Жмурясь от удовольствия, она посасывала мороженое с мараскином,— она брала его ложечкой с позолоченного блюдца, которое было у нее в левой руке.

Дама, сидевшая рядом с ней, уронила веер. В это время мимо проходил танцор.

— Будьте любезны,— обратилась к этому господину дама,— поднимите, пожалуйста, мой веер, он упал за канапе!

Господин наклонился, и Эмма успела заметить, что, как только он протянул руку, дама бросила ему в шляпу что-то белое, сложенное треугольником. Господин достал веер и почтительно вручил его даме; она поблагодарила его кивком головы и поднесла к лицу букет цветов.

За ужином пили много испанских и рейнских вин, был подан раковый суп, суп с миндальным молоком, трафальгарский пудинг и множество холодных мясных блюд с дрожащим галантиром, а после ужина кареты одна за другой стали разъезжаться. Отодвинув угол муслиновой занавески, можно было видеть, как скользил в темноте свет от их фонарей. На скамейках стало просторно, за карточными столами кое-кто еще продолжал игру; музыканты облизывали одеревеневшие кончики пальцев; Шарль прислонился к двери и задремал.

В три часа утра начался котильон. Эмма не умела вальсировать. А между тем все танцевали вальс, даже мадмуазель д'Андервилье и маркиза; на котильон остались лишь те, кто гостил в замке,— всего человек десять.

И вот один из танцующих в обтягивавшем грудь очень открытом жилете,— этого господина все звали просто «виконтом»,— уже второй раз подошел приглашать г-жу Бовари и дал слово, что он ее поведет и что все будет хорошо.

Начали они медленно, потом стали двигаться быстрее. Они сами вертелись, и все вертелось вокруг них, словно диск на оси: лампы, мебель, панель, паркет. У дверей край платья Эммы порхнул по его панталонам; они касались друг друга коленями; он смотрел на нее сверху вниз, она поднимала на него глаза; на нее вдруг нашел столбняк, она остановилась. Потом они начали снова; все ускоряя темп, виконт увлек ее в самый конец залы, и там она, запыхавшись и чуть не упав, на мгновение склонила голову ему на грудь. А затем, все еще кружа ее, но уже не так

быстро, он доставил ее на место; она запрокинула голову, прислонилась к стене и прикрыла рукой глаза.

Когда же она открыла их опять, то увидела, что посреди гостиной перед дамой, сидящей на пуфе, стоят на коленях три кавалера. Дама выбрала виконта, и тогда опять заиграла скрипка.

Все смотрели на эту пару. Виконт и его дама то удалялись, то приближались; у нее корпус был неподвижен, подбородок чуть-чуть опущен, а он, танцуя, сохранял одно и то же положение: держался прямо, линия рук у него была округлена, голова вздернута. Вот эта его дама умела вальсировать! Они танцевали долго и утомили всех.

Гости потом еще несколько минут поболтали и, пожелав друг другу спокойной ночи или, вернее, доброго утра, пошли спать.

Шарль еле двигался; он говорил, что «ноги у него не идут». Он пять часов подряд простоял возле карточных столов — все смотрел, как играют в вист, в котором он ровно ничего не смыслил. И теперь, сняв ботинки, он облегченно вздохнул.

Эмма накинула на плечи шаль, отворила окно и облокотилась на подоконник.

Ночь была темная. Накрапывал дождь. Влажный ветер освежал ей веки, она жадно вдыхала его. В ушах у нее все еще гремела бальная музыка, и она гнала от себя сон, чтобы продлить наслаждение всей этой роскошью, от которой ей скоро предстояло уехать.

Занималась заря. Эмма долго смотрела на окна замка, стараясь угадать, кто из гостей в какой комнате ночует. Ей хотелось узнать жизнь каждого из них, понять ее, войти в нее.

В конце концов Эмма продрогла. Она разделась и, юркнув под одеяло, свернулась клубком подле спящего Шарля.

К завтраку собралось много народа. Сидели за столом минут десять; к удивлению лекаря, никаких напитков подано не было. Мадмуазель д'Андервилье собрала в корзиночку крошки от пирога и отнесла на пруд лебедям, а потом все пошли в зимний сад, где диковинные колючие растения тянулись пирамидами к вазам, подвешенным к потолку, а из этих ваз, словно из змеиных гнезд, свисали, уже не помещаясь в них, длинные сплетшиеся зеленые жгуты. Зимний сад заканчивался оранжереей, представлявшей собой крытый ход в людскую. Желая доставить г-же Бовари удовольствие, маркиз повел ее в конюшню.

Над кормушками, сделанными в виде корзинок, висели фарфоровые дощечки, на которых черными буквами были написаны клички лошадей. Когда маркиз, проходя мимо денников, щелкал языком, лошади начинали волноваться. В сарае пол блестел, как паркет в гостиной. Сбруя была развешана на двух вращающихся столбиках; на стенах висели в ряд удила, хлысты, стремена, уздечки.

Тем временем Шарль сказал слуге, что пора запрягать. Шарабанчик подали к самому подъезду, и, когда все вещи были уложены, супруги Бовари, простившись с хозяевами, поехали к себе в Тост.

Эмма молча смотрела, как вертятся колеса. Шарль сидел на самом краю и, расставив руки, правил; оглобли были слишком широки для лошадки, и она бежала иноходью. Слабо натянутые, покрытые пеною вожжи болтались у нее на спине; сзади все время чувствовались сильные и мерные толчки,— это бился о кузов привязанный к спинке чемодан.

Они поднимались на Тибурвильскую гору, как вдруг навстречу им вымахнули и пронеслись мимо смеющиеся всадники с сигарами во рту. Эмме показалось, что один из них был виконт; она обернулась, но увидела лишь не в лад опускавшиеся и поднимавшиеся головы, так как одни ехали рысью, другие — галопом.

Проехав еще с четверть мили, Шарль остановил лошадь и подвязал веревкой шлею.

Когда же он, перед тем как пуститься в путь, еще раз осмотрел упряжь, ему показалось, что под ногами у лошади что-то валяется; он нагнулся и поднял зеленый шелковый портсигар, на котором, как на дверце кареты, красовался герб.

— Э, да тут еще две сигары остались! — сказал он.— Это мне будет на вечер, после ужина.

— Разве ты куришь? — спросила Эмма.

— Иногда, при случае,— ответил Шарль.

И, сунув находку в карман, стегнул лошаденку.

К их приезду обед еще не был готов. Г-жа Бовари рассердилась. Настази нагрубила ей.

— Убирайтесь вон! — крикнула Эмма.— Я не позволю вам надо мной издеваться. Вы у меня больше не служите.

На обед у них был луковый суп и телятина со щавелем. Шарль сел напротив Эммы и, с довольным видом потирая руки, сказал:

— В гостях хорошо, а дома лучше!

Было слышно, как плакала Настази. Шарль успел привязаться к бедной девушке. Еще будучи вдовцом, он коротал с нею длинные, ничем не заполненные вечера. Она была его первой пациенткой, самой старинной его знакомой во всем околотке.

— Ты правда хочешь ей отказать? — спросил он.

— Да,— ответила Эмма.— А что, разве я в том не вольна?

После обеда, пока Настази стелила постели, они грелись на кухне. Шарль закурил. Он выпячивал губы, ежеминутно сплевывал и при каждой затяжке откидывался.

— У тебя голова закружится,— презрительно сказала Эмма.

Он отложил сигару и побежал на колодец выпить холодной воды. Эмма схватила портсигар и засунула его поглубже в шкаф.

На другой день время тянулось бесконечно долго! Эмма гуляла по садику, все по одним и тем же дорожкам, останавливалась перед клумбами, перед абрикосовыми деревьями, перед гипсовым священником,— все это ей было так знакомо, но она смотрела на все с изумлением. Каким далеким уже казался ей бал! Кто же это разделил таким огромным пространством позавчерашнее утро и нынешний вечер? Поездка в Вобьесар расколола ее жизнь — так гроза в одну ночь пробивает иногда в скале глубокую расселину. И все же Эмма смирилась; она благоговейно уложила в комод весь свой чудесный наряд, даже атласные туфельки, подошвы которых пожелтели от скользкого навощенного паркета. С ее сердцем случилось то же, что с туфельками; от соприкосновения с роскошью на нем осталось нечто неизгладимое.

Вспоминать о бале вошло у Эммы в привычку. Каждую среду она говорила себе, просыпаясь: «Неделю... две недели... три недели назад я была в замке!» Но мало-помалу все лица в ее воображении слились в одно, она забыла танцевальную музыку, она уже не так отчетливо представляла себе ливреи и комнаты; подробности выпали из памяти, но сожаление осталось.

IX

Когда Шарль уходил, Эмма часто вынимала из шкафа засунутый ею в белье зеленый шелковый портсигар.

Она рассматривала его, раскрывала и даже обнюхивала

подкладку, пропахшую вербеной и табаком. Кто его обронил?.. Виконт. Может быть, это подарок любовницы. Его вышивали в палисандровых пяльцах; эту маленькую вещицу приходилось укрывать от постороннего взора, над нею склонялись мягкие локоны задумчивой рукодельницы, посвящавшей этому занятию весь свой досуг. Клеточки канвы были овеяны любовью, каждый стежок закреплял надежду или воспоминание, сплетенные шелковые нити составляли продолжение все той же безмолвной страсти. Потом, однажды утром, виконт унес подарок. А пока портсигар лежал на широкой каминной полочке между вазой с цветами и часами в стиле Помпадур, о чем велись разговоры в той комнате?.. Она, Эмма, в Тосте. А он теперь там, в Париже! Какое волшебное слово! Эмме доставляло особое удовольствие повторять его вполголоса; оно отдавалось у нее в ушах, как звон соборного колокола, оно пламенело перед ее взором на всем, даже на ярлычках помадных банок.

По ночам ее будили рыбаки, с пением *Майорана* проезжавшие под окнами, и, прислушиваясь к стуку окованных железом колес, мгновенно стихавшему, как только тележки выезжали за село, где кончалась мостовая, она говорила себе:

«Завтра они будут в Париже!»

Мысленно она ехала следом за ними, поднималась и спускалась с пригорков, проезжала деревни, при свете звезд мчалась по большой дороге. Но всякий раз на каком-то расстоянии от дома ее мечта исчезала в туманной дали.

Она купила план Парижа и, водя пальцем, гуляла по городу. Шла бульварами, останавливалась на каждом перекрестке, перед белыми прямоугольниками, изображавшими дома. В конце концов глаза у нее уставали, она опускала веки и видела, как в вечернем мраке раскачиваются на ветру газовые рожки, как с грохотом откидываются перед колоннадами театров подножки карет.

Она выписала дамский журнал *Свадебные подарки* и *Сильф салонов*. Читала она там все подряд: заметки о премьерах, о скачках, о вечерах, ее одинаково интересовали и дебют певицы, и открытие магазина. Она следила за модами, знала адреса лучших портних, знала, по каким дням ездят в Булонский лес и по каким — в Оперу. У Эжена Сю она изучала описания обстановки, у Бальзака и Жорж Санд искала воображаемого утоления своих стра-

стей. Она и за стол не садилась без книги; пока Шарль ел и разговаривал с ней, она переворачивала страницу за страницей. Читая, она все время думала о виконте. Она устанавливала черты сходства между ним и вымышленными персонажами. Однако нимб вокруг него постепенно увеличивался,— удаляясь от его головы, он расходился все шире и озарял уже иные мечты.

Теперь в глазах Эммы багровым заревом полыхал необозримый, словно океан, Париж. Слитная жизнь, бурлившая в его сутолоке, все же делилась на составные части, распадалась на ряд отдельных картин. Из них Эмма различала только две или три, и они заслоняли все остальные, являлись для нее изображением человечества в целом. В зеркальных залах между круглыми столами, покрытыми бархатом с золотой бахромой, по лощеному паркету двигались дипломаты. То был мир длинных мантий, великих тайн, душевных мук, скрывающихся за улыбкой. Дальше шло общество герцогинь; там лица у всех были бледны, вставать полагалось там не раньше четырех часов дня, женщины — ну просто ангелочки! — носили юбки, отделанные английскими кружевами, мужчины — непризнанные таланты с наружностью вертопрахов — загоняли лошадей на прогулках, летний сезон проводили в Бадене, а к сорока годам женились на богатых наследницах. В отдельных кабинетах ночных ресторанов хохотало разношерстное сборище литераторов и актрис. Литераторы были по-царски щедры, полны высоких дум и бредовых видений. Они возвышались над всеми, витали между небом и землею, в грозовых облаках; было в них что-то не от мира сего. Все прочее расплывалось, не имело определенного места, как бы не существовало вовсе. Чем ближе приходилось Эмме сталкиваться с бытом, тем решительнее отвращалась от него ее мысль. Все, что ее окружало,— деревенская скука, тупость мещан, убожество жизни,— казалось ей исключением, чистой случайностью, себя она считала ее жертвой, а за пределами этой случайности ей грезился необъятный край любви и счастья. Чувственное наслаждение роскошью отождествлялось в ее разгоряченном воображении с духовными радостями, изящество манер — с тонкостью переживаний. Быть может, любовь, подобно индийской флоре, тоже нуждается в разрыхленной почве, в особой температуре? Вот почему вздохи при луне, долгие объятия, слезы, капающие на руки в миг расставания, порывы страсти и тихая нежность — все это было

для нее неотделимо от балконов больших замков, где досуг длится вечно, от будуаров с шелковыми занавесками и плотными коврами, от жардиньерок с цветами, от кроватей на возвышениях, от игры драгоценных камней и от ливрей со шнурами.

Каждое утро по коридору топал ногами в грубых башмаках почтовый кучер, приходивший к Бовари чистить кобылу; на нем была рваная блуза, башмаки свои он надевал на босу ногу. Вот кто заменял грума в рейтузах! Сделав свое дело, он уходил и до следующего утра уже не показывался; Шарль, вернувшись от больных, сам отводил лошадь в стойло и, расседлав, надевал на нее оброть, а тем временем служанка приносила охапку соломы и как попало валила ее в кормушку.

На место Настази, которая, обливаясь слезами, уехала наконец из Тоста, Эмма взяла четырнадцатилетнюю девочку-сиротку с кротким выражением лица. Она запретила ей носить чепец, приучила обращаться к хозяевам на «вы», подавать стакан воды на тарелочке, без стука не входить, гладить и крахмалить белье, приучила одевать себя,— словом, хотела сделать из нее настоящую горничную. Новая служанка, боясь, как бы ее не прогнали, всему подчинялась безропотно, но так как барыня обыкновенно оставляла ключ в буфете, то Фелисите каждый вечер таскала оттуда понемножку сахар и, помолившись богу, съедала его тайком в постели.

В сумерки она иногда выходила за ворота и переговаривалась через улицу с кучерами. Барыня сидела у себя наверху.

Эмма носила открытый капот; между шалевыми отворотами корсажа выглядывала гофрированная кофточка на трех золотых пуговках. Подпоясывалась она шнуром с большими кистями, ее туфельки гранатового цвета были украшены пышными бантами, которые закрывали весь подъем. Она купила себе бювар, почтовой бумаги, конвертов, ручку, но писать было некому. Она вытирала пыль с этажерки, смотрелась в зеркало, брала книгу, затем погружалась в раздумье, и книга падала к ней на колени. Ее тянуло путешествовать, тянуло обратно в монастырь. Ей хотелось умереть и в то же время хотелось жить в Париже.

А Шарль и в метель и в дождь разъезжал верхом по проселкам. Он подкреплял свои силы яичницей, которой его угощали на фермах, прикасался к влажным от пота

простыням, делал кровопускания, и теплая кровь брызгала ему в лицо, выслушивал хрипы, рассматривал содержимое ночной посуды, задирал сорочки на груди у больных. Зато каждый вечер его ждали пылающий камин, накрытый стол, мягкая мебель и элегантно одетая обворожительная жена, от которой всегда веяло свежестью, так что трудно было понять, душилась она чем-нибудь или это запах ее кожи, которым пропиталось белье.

Она приводила его в восторг своей изобретательностью: то как-то по-другому сделает бумажные розетки для подсвечников, то переменит на своем платье волан, то придумает какое-нибудь особенное название для самого обыкновенного блюда, которое испортила кухарка, и Шарль пальчики себе оближет. Как только она увидела в Руане, что дамы носят на часах связки брелоков, она купила брелоки и себе. Ей пришло в голову поставить на камин сперва две большие вазы синего стекла, потом — слоновой кости коробочку для шитья с позолоченным наперстком. Шарль во всех этих тонкостях не разбирался, но от этого они ему еще больше нравились. Они усиливали его жизнерадостность и прибавляли уюта его домашнему очагу.

Чувствовал он себя отлично, выглядел превосходно, его репутация установилась прочно. Крестьяне любили его за то, что он был не гордый. Он ласкал детей, в питейные заведения не заглядывал, нравственность его была безупречна. Особенно хорошо вылечивал он катары и бронхиты. Дело в том, что, пуще всего боясь уморить больного, он прописывал преимущественно успокоительные средства да еще в иных случаях рвотное, ножные ванны, пиявки. В то же время он не испытывал страха и перед хирургией: кровь отворял, не жалея, точно это были не люди, а лошади, зубы рвал «железной рукой».

«Чтобы не отстать», он выписал, ознакомившись предварительно с проспектом, новый журнал *Вестник медицины.* После обеда он почитывал его, но духота в комнате и пищеварение так на него действовали, что через пять минут, уронив голову на руки и свесив гриву на подставку от лампы, он уже засыпал. Эмма смотрела на него и пожимала плечами. Почему ей не встретился хотя бы один из тех молчаливых тружеников, которые просиживают ночи над книгами и к шестидесяти годам, когда приходит пора ревматизма, получают крестик в петлицу плохо сшитого черного фрака? Ей хотелось, чтобы имя Бовари приобрело известность, чтобы его можно было видеть на витринах

книжных лавок, чтобы оно мелькало в печати, чтобы его знала вся Франция. Но Шарль самолюбием не отличался! Врач из Ивето, с которым он встретился на консилиуме, несколько пренебрежительно с ним обошелся у постели больного, в присутствии родственников. Вечером Шарль рассказал об этом случае Эмме, и та пришла в полное негодование. Супруг был растроган. Со слезами на глазах он поцеловал жену в лоб. А она сгорала со стыда, ей хотелось побить его; чтобы успокоиться, она выбежала в коридор, распахнула окно и стала дышать свежим воздухом.

— Какое ничтожество! Какое ничтожество! — кусая губы, шептала она.

Шарль раздражал ее теперь на каждом шагу. С возрастом у него появились некрасивые манеры: за десертом он резал ножом пробки от пустых бутылок, после еды прищелкивал языком, чавкал, когда ел суп; он начинал толстеть, и при взгляде на него казалось, что из-за полноты щек и без того маленькие его глаза оттягиваются к самым вискам.

Иногда Эмма заправляла ему за жилет красную каемку его фуфайки, поправляла галстук или выбрасывала поношенные перчатки, заметив, что он собирается их надеть. Но он ошибался, воображая, будто все это делается для него,— все это она делала для себя, из эгоизма, в сердцах. Иногда она даже пересказывала ему прочитанное: какой-нибудь отрывок из романа, из новой пьесы, светскую новость, о которой сообщалось в газетном фельетоне: какой ни на есть, а все-таки это был человек, и притом человек, внимательно ее слушавший, всегда с ней соглашавшийся. А ведь она открывала душу и своей собаке! Она рада была бы излить ее маятнику, дровам в камине.

Однако она все ждала какого-то события. Подобно морякам, потерпевшим крушение, она полным отчаяния взором окидывала свою одинокую жизнь и все смотрела, не мелькнет ли белый парус на мглистом горизонте. Она не отдавала себе отчета, какой это будет случай, каким ветром пригонит его к ней, к какому берегу потом ее прибьет, подойдет ли к ней шлюпка или же трехпалубный корабль, и подойдет ли он с горестями или по самые люки будет нагружен утехами. Но, просыпаясь по утрам, она надеялась, что это произойдет именно сегодня, прислушивалась к каждому звуку, вскакивала и, к изумлению своему, убеждалась, что все по-старому, а когда солнце садилось, она

всегда грустила и желала, чтобы поскорее приходило завтра.

Потом опять наступила весна. Как только началась жара и зацвели грушевые деревья, у Эммы появились приступы удушья.

С первых чисел июля Эмма стала считать по пальцам, сколько недель остается до октября,— она думала, что маркиз д'Андервилье опять устроит бал в Вобьесаре. Но в сентябре не последовало ни письма, ни визита.

Когда горечь разочарования прошла, сердце ее вновь опустело, и опять потянулись дни, похожие один на другой.

Значит, так они и будут идти чередою, эти однообразные, неисчислимые, ничего с собой не несущие дни? Другие тоже скучно живут, но все-таки у них есть хоть какая-нибудь надежда на перемену. Иной раз какое-нибудь неожиданное происшествие влечет за собой бесконечные перипетии, и декорация меняется. Но с нею ничего не может случиться — так, видно, судил ей бог! Будущее представлялось ей темным коридором, упирающимся в наглухо запертую дверь.

Музыку она забросила. Зачем играть? Кто станет ее слушать? Коль скоро ей уже не сидеть в бархатном платье с короткими рукавами за эраровским роялем, ее легким пальцам уже не бегать по клавишам, коль скоро ей уже никогда не почувствовать, как ее овевает ветерок восторженного шепота сидящих в концертной зале, то не к чему тогда и стараться, разучивать. Рисунки и вышивки лежали у нее в шкафу. К чему все это? К чему? Шитье только раздражало Эмму.

— Книги я прочитала все до одной,— говорила она.

И, чтобы чем-нибудь себя занять, накаляла докрасна каминные щипцы или смотрела в окно на дождь.

Как тосковала она по воскресеньям, когда звонили к вечерне! С тупой сосредоточенностью прислушивалась она к ударам надтреснутого колокола. По крыше, выгибая спину под негреющими лучами солнца, медленно ступала кошка. На дороге ветер клубил пыль. Порой где-то выла собака. А колокол все гудел, и его заунывный и мерный звон замирал вдали.

Потом служба кончалась. Женщины в начищенных башмаках, крестьяне в новых рубашках, дети без шапок, на одной ножке прыгавшие впереди,— все возвращались из церкви домой. А у ворот постоялого двора человек пять-шесть, всегда одни и те же, допоздна играли в «пробку».

Зима в том году была холодная. В комнатах иногда до самого вечера стоял белесоватый свет, проходивший сквозь замерзшие ночью окна, как сквозь матовое стекло. В четыре часа уже надо было зажигать лампу.

В хорошую погоду Эмма выходила в сад. На капусте серебряным кружевом сверкал иней, длинными белыми нитями провисал между кочанами. Птиц было не слыхать, все словно уснуло, абрикосовые деревья прикрывала солома, виноградник громадною больною змеей извивался вдоль стены, на которой вблизи можно было разглядеть ползающих на своих бесчисленных ножках мокриц. У священника в треугольной шляпе, читавшего молитвенник под пихтами возле изгороди, отвалилась правая нога, потрескался гипс от мороза, лицо покрыл белый лишай.

Потом Эмма шла к себе в комнату, запирала дверь, принималась мешать угли в камине и, изнемогая от жары, чувствовала, как на нее всей тяжестью наваливается тоска. Ей хотелось пойти поболтать со служанкой, но удерживало чувство неловкости.

Каждый день в один и тот же час открывал ставни на своих окнах учитель в черной шелковой шапочке; с саблею на боку шествовал сельский стражник. Утром и вечером через улицу проходили почтовые лошади — их гнали по три в ряд к пруду на водопой. Время от времени на двери кабачка звенел колокольчик, в ветреные дни дребезжали державшиеся на железных прутьях медные тазики, которые заменяли парикмахеру вывеску. Витрина его состояла из старой модной картинки, прилепленной к оконному стеклу, и восковой женской головки с желтыми волосами. Парикмахер тоже сетовал на вынужденное безделье, на свою загубленную жизнь и, мечтая о том, как он откроет заведение в большом городе, ну, скажем, в Руане, на набережной или недалеко от театра, целыми днями в ожидании клиентов мрачно расхаживал от мэрии до церкви и обратно. Когда бы г-жа Бовари ни подняла взор, парикмахер в феске набекрень, в куртке на ластике всегда был на своем сторожевом посту.

Иногда после полудня в окне гостиной показывалось загорелое мужское лицо в черных бакенбардах и медленно расплывалось в широкой, мягкой белозубой улыбке. Вслед за тем слышались звуки вальса, и под шарманку в крошечной зальце, между креслами, диванами и консолями, кружились, кружились танцоры ростом с пальчик — женщины в розовых тюрбанах, тирольцы в курточках, обезьян-

ки в черных фраках, кавалеры в коротких брючках, и все это отражалось в осколках зеркала, приклеенных по углам полосками золотой бумаги. Мужчина вертел ручку, а сам все посматривал то направо, то налево, то в окна. Время от времени, сплюнув на тумбу длинную вожжу коричневой слюны, он приподнимал коленом шарманку — ее грубый ремень резал ему плечо,— и из-под розовой тафтяной занавески, прикрепленной к узорчатой медной планке, с гудением вырывались то грустные, тягучие, то веселые, плясовые мотивы. Те же самые мелодии где-то там, далеко, играли в театрах, пели в салонах, под них танцевали на вечерах, в освещенных люстрами залах, и теперь до Эммы доходили отголоски жизни высшего общества. В голове у нее без конца вертелась сарабанда, мысль ее, точно баядерка на цветах ковра, подпрыгивала вместе со звуками музыки, перебегала от мечты к мечте, от печали к печали. Собрав в фуражку мелочь, мужчина накрывал шарманку старым чехлом из синего холста, взваливал на спину и тяжелым шагом шел дальше. Эмма смотрела ему вслед.

Но совсем невмочь становилось ей за обедом, в помещавшейся внизу маленькой столовой с вечно дымящей печкой, скрипучей дверью, со стенами в потеках и сырым полом. Эмме тогда казалось, что ей подают на тарелке всю горечь жизни, и когда от вареной говядины шел пар, внутри у нее тоже как бы клубами поднималось отвращение. Шарль ел медленно; Эмма грызла орешки или, облокотившись на стол, от скуки царапала ножом клеенку.

Хозяйство она теперь запустила, и г-жа Бовари-мать, приехав в Тост Великим постом, очень удивилась такой перемене. И точно: прежде Эмма тщательно следила за собой, а теперь по целым дням ходила неодетая, носила серые бумажные чулки, сидела при свечке. Она все твердила, что, раз они небогаты, значит, надо экономить, и прибавляла, что она очень довольна, очень счастлива, что ей отлично живется в Тосте; все эти новые речи зажимали свекрови рот. Да и потом она, видимо, была отнюдь не расположена следовать ее советам; так, однажды, когда г-жа Бовари-мать позволила себе заметить, что господа должны требовать от слуг исполнения всех церковных обрядов, она ответила ей таким злобным взглядом и такой холодной улыбкой, что почтенная дама сразу прикусила язык.

Эмма сделалась привередлива, капризна. Она заказы-

вала для себя отдельные блюда и не притрагивалась к ним; сегодня пила только одно молоко, а завтра без конца пила чай. То запиралась в четырех стенах, то вдруг ей становилось душно, она отворяла окна, надевала легкие платья. То нещадно придиралась к служанке, то делала ей подарки, посылала в гости к соседям; точно так же она иногда высыпала нищим все серебро из своего кошелька, хотя особой отзывчивостью и сострадательностью не отличалась, как, впрочем, и большинство людей, выросших в деревне, ибо загрубелость отцовских рук до некоторой степени передается их душам.

В конце февраля папаша Руо в память своего выздоровления привез зятю отменную индейку и прогостил три дня в Тосте. Шарль разъезжал по больным, и с отцом сидела Эмма. Старик курил в комнате, плевал в камин, говорил о посевах, о телятах, коровах, о птице, о муниципальном совете, и когда он уехал, Эмма затворила за ним дверь с таким облегчением, что даже сама была удивлена. Впрочем, она уже не скрывала своего презрения ни к кому и ни к чему; порой она даже высказывала смелые мысли — порицала то, что всеми одобрялось, одобряла то, что считалось безнравственным, порочным. Муж только хлопал глазами от изумления.

Что же, значит, это прозябание будет длиться вечно? Значит, оно безысходно? А чем она хуже всех этих счастливиц? В Вобьесаре она нагляделась на герцогинь — фигуры у многих были грузнее, манеры вульгарнее, чем у нее, и ее возмущала несправедливость провидения; она прижималась головой к стене и плакала; она тосковала по шумной жизни, по ночным маскарадам, по предосудительным наслаждениям, по тому еще не испытанному ею исступлению, в которое они, наверное, приводят.

Она побледнела, у нее начались сердцебиения. Шарль прописал ей валерьяновые капли и камфарные ванны. Но все это как будто еще больше ее раздражало.

Бывали дни, когда на нее нападала неестественная говорливость; потом вдруг эта взвинченность сменялась отупением — она могла часами молчать и не двигаться с места. Она выливала себе на руки целый флакон одеколона — только это несколько оживляло ее.

Так как она постоянно бранила Тост, Шарль предположил, что все дело в здешнем климате, и, утвердившись в этой мысли, стал серьезно подумывать, нельзя ли перебраться в другие края.

Эмма начала пить уксус, чтобы похудеть, у нее появился сухой кашель, аппетит она потеряла окончательно.

Шарлю нелегко было расстаться с Тостом,— ведь он прожил здесь несколько лет и только-только начал «опериться». Но ничего не поделаешь! Он повез жену в Руан и показал своему бывшему профессору. Оказалось, что у нее не в порядке нервы,— требовалось переменить обстановку.

Толкнувшись туда-сюда, Шарль наконец узнал, что в Невшательском округе есть неплохой городок Ионвиль-л'Аббей, откуда как раз на прошлой неделе выехал врач, польский эмигрант. Шарль написал ионвильскому аптекарю и попросил сообщить, сколько там всего жителей, далеко ли до ближайшего коллеги, много ли зарабатывал его предшественник и т. д. Получив благоприятный ответ, Шарль решил, что если Эмма не поправится, то они переедут туда весной.

Однажды Эмма, готовясь к отъезду, разбирала вещи в комоде и уколола обо что-то палец. Это была проволока от ее свадебного букета. Флёрдоранж пожелтел от пыли, атласная лента с серебряной бахромой обтрепалась по краям. Эмма бросила цветы в огонь. Они загорелись мгновенно, точно сухая солома. Немного погодя на пепле осталось что-то вроде красного кустика, и кустик этот медленно дотлевал. Эмма не сводила с него глаз. Лопались картонные ягодки, скручивалась латунная проволока, плавились позументы, а свернувшиеся на огне бумажные венчики долго порхали черными мотыльками в камине и, наконец, улетели в трубу.

В марте, когда г-жа Бовари уезжала с мужем из Тоста, она была беременна.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Городок Ионвиль-л'Аббей (названный так в честь давно разрушенного аббатства капуцинов) стоит в восьми милях от Руана, между Аббевильской и Бовезской дорогами, в долине речки Риёль, которая впадает в Андель, близ своего устья приводит в движение три мельницы и в которой есть немного форели, представляющей соблазн для мальчишек,— по воскресеньям, выстроившись в ряд на берегу, они удят в ней рыбу.

В Буасьере вы сворачиваете с большой дороги и поднимаетесь проселком на отлогий холм Ле,— оттуда открывается широкий вид на долину. Речка делит ее как бы на две совершенно разные области: налево — луга, направо — пашни. Луга раскинулись под кромкой бугров и сливаются сзади с пастбищами Брэ, а к востоку равнина, поднимаясь незаметно для взора, ширится и, насколько хватает глаз, расстилает золотистые полосы пшеницы. Цвет травы и цвет посевов не переходят один в другой — их разделяет светлая лента проточной воды, и поле здесь похоже на разостланный огромный плащ с зеленым бархатным воротником, обшитым серебряным позументом.

Когда вы подъезжаете к городу, на горизонте видны дубы Аргейльского леса и обрывы Сен-Жана, сверху донизу исцарапанные длинными и неровными красными черточками,— это следы дождей, а кирпичный оттенок придают жилкам, прорезавшим серую гору, многочисленные железистые источники, текущие в окрестные поля.

Здесь сходятся Нормандия, Пикардия и Иль-де-Франс, это край помеси, край, где говор лишен характерности, а пейзаж — своеобразия. Здесь выделывается самый плохой во всем округе невшательский сыр, а хлебопашеством здесь заниматься невыгодно,— сыпучая, песчаная, каменистая почва требует слишком много удобрения.

До 1835 года в Ионвиле проезжих дорог не было, но как раз в этом году провели «большой проселочный путь», соединивший Аббевильскую и Амьенскую дороги, и по нему теперь идут редкие обозы из Руана во Фландрию. Но, несмотря на «новые рынки сбыта», в Ионвиль-л'Аббеи все осталось по-прежнему. Вместо того, чтобы повышать культуру земледелия, здесь упорно продолжают заниматься убыточным травосеянием. Удаляясь от равнины, ленивый городишко тянется к реке. Он виден издалека: разлегся на берегу, словно пастух в час полдневного зноя.

За мостом, у подошвы холма, начинается обсаженная молодыми осинками дорога, по который вы, не забирая ни вправо, ни влево, доберетесь как раз до самого пригорода. Обнесенные изгородью домики стоят в глубине дворов, а вокруг, под ветвистыми деревьями, к которым прислонены лестницы, косы, шесты, раскиданы всякого рода постройки: давильни, каретники, винокурни. Соломенные крыши, словно нахлобученные шапки, почти на целую треть закрывают маленькие оконца с толстыми выпуклыми стеклами, посредине которых, как на донышке бутылок, выдавлен конус. Возле стен, сквозь штукатурку которых выглядывает расположенная по диагонали черная дранка, растут чахлые груши, у входных дверей устроены маленькие вертушки от цыплят, клюющих на пороге вымоченные в сидре крошки неклеванного хлеба. Но постепенно дворы становятся у́же, домишки лепятся один к другому, заборы исчезают; под окнами качаются палки от метел с пучками папоротника на конце. Вот кузница, потом — тележная мастерская, и возле нее — две-три новенькие телеги, занявшие часть мостовой. Дальше сквозь решетку виден белый дом, а перед ним круглая лужайка, которую украшает амур, приставивший палец к губам; по обеим сторонам подъезда — лепные вазы; на двери блестит металлическая дощечка; это лучший дом в городе — здесь живет нотариус.

В двадцати шагах от него, на противоположной стороне, у самой площади стоит церковь. Ее окружает маленькое кладбище, обнесенное низкой каменной стеной и до того тесное, что старые, вросшие в землю плиты образуют сплошной пол, на котором трава вычерчивает правильные зеленые четырехугольники. В последние годы царствования Карла X церковь была перестроена заново. Но деревянный свод вверху уже подгнивает, местами на его голубом фоне появляются темные впадины. Над дверью, где

должен стоять орган, устроены хоры для мужчин, и ведет туда звенящая под каблуками винтовая лестница.

Яркий свет дня, проникая сквозь одноцветные стекла окон, косыми лучами освещает ряды стоящих перпендикулярно к стене скамеек; на некоторых из них прибиты к спинкам коврики, и над каждым таким ковриком крупными буквами выведена надпись: «Скамья г-на такого-то». Дальше, в том месте, где корабль суживается, находится исповедальня, а как раз напротив нее — густо нарумяненная, точно божок с Сандвичевых островов, статуэтка девы Марии в атласном платье и в тюлевой вуали, усыпанной серебряными звездочками; наконец, в глубине завершает перспективу висящая между четырьмя светильниками над алтарем главного придела копия *Святого семейства* — «дар министра внутренних дел». Еловые откидные сиденья на хорах так и остались невыкрашенными.

Добрую половину главной ионвильской площади занимает крытый рынок, то есть черепичный навес, держащийся приблизительно на двадцати столбах. На углу, рядом с аптекой, стоит мэрия, «построенная по проекту парижского архитектора» и представляющая собой некое подобие греческого храма. Внизу — три ионические колонны, во втором этаже — галерея с круглой аркой, а на фронтоне галльский петух одной лапой опирается на Хартию, в другой держит весы правосудия.

Но особенно бросается в глаза аптека г-на Оме напротив трактира «Золотой лев». Главным образом — вечером, когда зажигается кенкет, когда красные и зеленые шары витрины стелют по земле длинные цветные полосы и на шарах, словно при вспышке бенгальского огня, вырисовывается тень аптекаря, склоненного над конторкой. Его дом сверху донизу заклеен объявлениями, на которых то разными почерками, где — круглым, где — с наклоном вправо, то печатными буквами написано: «Виши, сельтерская, барежская, кровоочистительные экстракты, слабительное Распайля, аравийский ракаут, лепешки Дарсе, паста Реньо, бинты, составы для ванн, лечебный шоколад и прочее». Во всю ширину здания — вывеска, и на ней золотыми буквами: *Аптека Оме.* В глубине, за огромными, вделанными в прилавок весами, над застекленной дверью выведено длинное слово: *Лаборатория,* а на середине двери золотыми буквами по черному полю еще раз написано *Оме.*

Больше в Ионвиле смотреть не на что. На его единст-

венной улице, длиною не дальше полета пули, есть еще несколько торговых заведений, потом дорога делает поворот, и улица обрывается. Если пойти мимо холма Сен-Жан, так, чтобы дорога осталась справа, то скоро дойдешь до кладбища.

Когда здесь свирепствовала холера, его расширили — прикупили смежный участок в три акра и сломали разделявшую их стену, но в этой новой части кладбища почти нет могил — они по-прежнему лепятся поближе к воротам. Кладбищенский сторож, он же могильщик и причетник в церкви (благодаря этому он имеет от покойников двойной доход), посадил на пустыре картофель. Однако его полоска с каждым годом все уменьшается, и теперь, во время эпидемий, он уже не знает, радоваться ли смертям или унывать при виде новых могил.

— Вы кормитесь мертвецами, Лестибудуа! — как-то, не выдержав, сказал ему священник.

Эта мрачная мысль заставила сторожа призадуматься, и на некоторое время он прекратил сельскохозяйственную деятельность. Но потом опять принялся за свое, по-прежнему сажает картофель да еще имеет смелость утверждать, что он растет сам по себе.

Со времени событий, о которых пойдет рассказ, в Ионвиле никаких существенных изменений не произошло. На колокольне все так же вертится трехцветный жестяной флюгер; над модной лавкой по-прежнему плещутся на ветру два ситцевых флажка; в аптеке все больше разлагаются в мутном спирту зародыши, напоминающие семьи белого трутника, а над дверью трактира старый, вылинявший от дождей золотой лев все еще выставляет напоказ свою мохнатую, как у пуделя, шерсть.

В тот вечер, когда в Ионвиль должны были приехать супруги Бовари, трактирная хозяйка, вдова Лефрансуа, совсем захлопоталась со своими кастрюлями, и пот лился с нее градом. Завтра в городе базарный день. Нужно заранее разделать туши, выпотрошить цыплят, сварить суп и кофе. Да еще надо приготовить обед не только для тех, кто у нее на пансионе, но еще и для лекаря с женой и служанкой. Из бильярдной доносились взрывы хохота. В маленькой комнате три мельника требовали водки. Горели дрова, потрескивали угли, на длинном кухонном столе, среди кусков сырой баранины, высились стопки тарелок, дрожавшие при сотрясении чурбана, на котором рубили шпинат. На птичьем дворе стоял отчаянный крик —

это кричала жертва, за которой гонялась служанка, чтобы отрубить ей голову.

У камина грелся рябоватый человек в зеленых кожаных туфлях, в бархатной шапочке с золотой кистью. Лицо его не выражало ничего, кроме самовлюбленности, держал он себя так же невозмутимо, как щегол в клетке из ивовых прутьев, висевший как раз над его головой. Это был аптекарь.

— Артемиза! — кричала трактирщица.— Наломай хворосту, налей графины, принеси водки, пошевеливайся! Понятия не имею, что приготовить на десерт тем вот, которых вы ждете! Господи Иисусе! Опять грузчики загалдели в бильярдной! А повозка-то ихняя у самых ворот! «Ласточка» подъедет — разобьет в щепы. Поди скажи Ипполиту, чтобы он ее отодвинул!.. Подумайте, господин Оме: с утра они уж, наверно, пятнадцать партий сыграли и выпили восемь кувшинов сидра!.. Да они мне все сукно изорвут! — держа в руке уполовник и глядя издали на игроков, воскликнула она.

— Не беда,— заметил г-н Оме,— ку́пите новый.

— Новый бильярд! — ужаснулась вдова.

— Да ведь этот уже еле держится, госпожа Лефрансуа! Я вам давно говорю: вы себе этим очень вредите, вы себе этим очень вредите! Да и потом игроки теперь предпочитают узкие лузы и тяжелые кии. Вообще все изменилось! Надо идти в ногу с веком! Берите-ка пример с Телье...

Хозяйка покраснела от злости.

— Что ни говорите, а его бильярд изящнее вашего,— продолжал фармацевт,— и если б кому-нибудь пришло в голову устроить, например, состязание с патриотическими целями — в пользу поляков или же в пользу пострадавших от наводнения в Лионе...

— Не очень-то я боюсь этого проходимца! — поведя своими мощными плечами, прервала его хозяйка.— Ничего, ничего, господин Оме! Пока «Золотой лев» существует, в нем всегда будет полно. У нас еще денежки водятся! А вот в одно прекрасное утро вы увидите, что кофейня «Франция» заперта, а на ставне висит объявление! Сменить бильярд! — заговорила она уже сама с собой.— На нем так удобно раскладывать белье, а когда начинается охота, на нем спят человек шесть!.. Да что же эта размазня Ивер не едет!

— А вы до его приезда кормить своих завсегдатаев не будете?

— Не буду? А господин Бине? Вот увидите: он придет ровно в шесть часов,— такого аккуратного человека поискать! И непременно освободи ему место в маленькой комнате! Убей его, он не сядет за другой стол! А уж привередлив! А уж как трудно угодить ему сидром! Это не то что господин Леон. Тот приходит когда в семь, а когда и в половине восьмого. Кушает все подряд, не разбирая. Такой милый молодой человек! Голоса никогда не повысит.

— Воспитанный человек и податной инспектор из бывших карабинеров — это, я вам скажу, далеко не одно и то же.

Пробило шесть часов. Вошел Бине.

Синий сюртук висел на его костлявом туловище, как на вешалке; под кожаной фуражкой с завязанными наверху наушниками и заломленным козырьком был виден облысевший лоб со вмятиной, образовавшейся от долгого ношения каски. Он носил черный суконный жилет, волосяной галстук, серые штаны и во всякое время года ходил в старательно начищенных сапогах с одинаковыми утолщениями над выпиравшими большими пальцами. Ни один волосок не выбивался у него из-под светлого воротничка, очерчивавшего его нижнюю челюсть и окаймлявшего, точно зеленый бордюр клумбу, его вытянутое бескровное лицо с маленькими глазками и крючковатым носом. Мастак в любой карточной игре, хороший охотник, он славился своим красивым почерком и от нечего делать любил вытачивать на собственном токарном станке кольца для салфеток, которыми он с увлечением художника и эгоизмом мещанина завалил весь дом.

Он направился в маленькую комнату, но оттуда надо было прежде выпроводить трех мельников. И пока ему накрывали на стол, он все время молча стоял у печки; потом, как обычно, затворил дверь и снял фуражку.

— Однако особой любезностью он не отличается! — оставшись наедине с хозяйкой, заметил фармацевт.

— Он всегда такой,— подтвердила хозяйка.— На прошлой неделе заехали ко мне два коммивояжера по суконной части, ну до того веселые ребята — весь вечер балагурили, и я хохотала до слез, а он молчал, как рыба.

— Да,— сказал фармацевт,— он лишен воображения, лишен остроумия, всего того, чем отличается человек из общества!

— Говорят, однако, он со средствами,— заметила хозяйка.

— Со средствами? — переспросил г-н Оме.— Кто, он? Со средствами? Он знает средство выколачивать подати, только и всего,— уже более хладнокровно добавил аптекарь и продолжал: — Ну, если негоциант, который делает большие дела, юрист, врач, фармацевт так всегда заняты своими мыслями, что в конце концов становятся чудаками и даже нелюдимами, это я еще могу понять, это мы знаем и из истории! Но зато они все время о чем-то думают. Со мной, например, сколько раз случалось: надо написать этикетку, ищу перо на столе, а оно у меня за ухом!

Но тут г-жа Лефрансуа пошла поглядеть, не едет ли «Ласточка», и, подойдя к порогу, невольно вздрогнула. В кухню неожиданно вошел человек в черном. При последних лучах заката было видно, что у него красное лицо и атлетическое телосложение.

— Чем могу служить, ваше преподобие? — спросила хозяйка, беря с камина один из медных подсвечников, которые стояли там целой колоннадой.— Не угодно ли чего-нибудь выпить? Рюмочку смородинной, стаканчик вина?

Священник весьма вежливо отказался. Он забыл в Эриемонском монастыре зонт и, попросив г-жу Лефрансуа доставить его вечером к нему на дом, пошел служить вечерню.

Когда стук его башмаков затих, фармацевт заметил, что священник ведет себя отвратительно. Отказаться пропустить стаканчик — это гнусное лицемерие и больше ничего; все попы пьянствуют, только тайком, и все мечтают восстановить десятину.

Хозяйка вступилась за священника:

— Да он с четырьмя такими, как вы, управится. В прошлом году он помогал нашим понвильским солому убирать, так по шесть охапок сразу поднимал — вот какой здоровяк!

— Браво! — воскликнул фармацевт.— Вот и посылайте своих дочерей на исповедь к молодцам с таким темпераментом! Я бы на месте правительства распорядился, чтобы всем попам раз в месяц отворяли кровь. Да, госпожа Лефрансуа, каждый месяц — изрядную флеботомию в интересах нравственности и общественного порядка!

— Будет вам, господин Оме! Вы безбожник! У вас и религии-то никакой нет!

— Нет, у меня есть религия, своя особая религия,—

возразил фармацевт,— я даже религиознее, чем они со всем их комедиантством и фиглярством. Как раз наоборот, я чту бога! Верю в высшее существо, в творца, в кого-то — все равно, как его ни назвать,— кто послал нас сюда, дабы мы исполнили свой гражданский и семейный долг. Но я не считаю нужным ходить в церковь, целовать серебряные блюда и прикармливать ораву шутов, которые и так лучше нас с вами питаются! Молиться богу можно и в лесу и в поле, даже просто, по примеру древних, созерцая небесный свод. Мой бог — это бог Сократа, Франклина, Вольтера и Беранже! Я за *Символ веры савойского викария* и за бессмертные принципы восемьдесят девятого года! Вот почему я отрицаю боженьку, который прогуливается с палочкой у себя в саду, размещает своих друзей во чреве китовом, умирает, испустив крик, и на третий день воскресает. Все эти нелепости в корне противоречат законам физики, а из этих законов, между прочим, явствует, что попы сами погрязли в позорном невежестве и хотят погрузить в его пучину народ.

Тут фармацевт, поискав глазами публику, смолк,— увлекшись, он вообразил, что произносит речь в муниципальном совете. А хозяйка не обращала на него никакого внимания — ей послышался отдаленный стук катящегося экипажа. Немного погодя можно было уже различить скрип кареты, цоканье ослабевших подков, и, наконец, у ворот остановилась «Ласточка».

Она представляла собой желтый ящик, помещавшийся между двумя огромными колесами, которые доходили до самого брезентового верха, мешали пассажирам смотреть по сторонам и забрызгивали им спину. Когда дверца кареты захлопывалась, то дрожали все стеклышки ее окон с налипшими на них комьями грязи и с вековою пылью, которую не смывали даже проливные дожди. Впрягали в нее тройку лошадей, из которых первая была выносная; если дорога шла под гору, то карета, вся сотрясаясь, доставала дном до земли.

На площадь высыпали горожане. Все заговорили разом, спрашивали, что нового, обращались за разъяснениями, расхватывали свои корзины. Ивер не знал, кому отвечать. В Руане он выполнял все поручения местных жителей. Ходил по лавкам, сапожнику привозил кожу, кузнецу — железо, своей хозяйке — бочонок сельдей, привозил шляпки от модистки, накладные волосы от парикмахера. По дороге из Руана он только и делал, что раздавал покуп-

ки,— стоя на козлах, орал диким голосом и швырял свертки через забор, а лошади шли сами.

Сегодня он запоздал из-за одного происшествия: сбежала собака г-жи Бовари. Ее звали битых четверть часа. Ивер даже проехал с полмили назад — он был уверен, что собака с минуты на минуту объявится,— но в конце концов надо было все-таки ехать дальше. Эмма плакала, злилась, во всем обвиняла Шарля. Их попутчик, торговец тканями г-н Лере, стараясь утешить г-жу Бовари, рассказывал ей всякие истории про собак, которые пропадали, но много лет спустя все-таки отыскивали хозяев. Он даже утверждал, что чья-то собака вернулась в Париж из Константинополя. Другая пробежала по прямой линии пятьдесят миль и переплыла четыре реки. У отца г-на Лере был пудель, который пропадал двенадцать лет и вдруг как-то вечером, когда отец шел в город поужинать, прыгнул ему на спину.

II

Эмма вышла первая, за ней Фелисите, г-н Лере и кормилица; Шарля пришлось разбудить, ибо он, едва смерклось, притулился в уголке и заснул крепким сном.

Оме счел своим долгом представиться; он засвидетельствовал свое почтение г-же Бовари, рассыпался в любезностях перед ее мужем, сказал, что он рад был им служить, и с самым дружелюбным видом добавил, что его жена уехала и поэтому он берет на себя смелость напроситься на совместную трапезу.

Войдя в кухню, г-жа Бовари подошла к камину. Она приподняла двумя пальцами платье до щиколоток и стала греть ногу в черном ботинке прямо над куском мяса, который поджаривался на вертеле. Пламя озаряло ее всю: и ее платье, и ее гладкую белую кожу, а когда она жмурилась, то в его резком свете веки ее казались прозрачными. В приотворяемую дверь временами дуло, и тогда по Эмме пробегал яркий багровый отблеск.

Сидевший по другую сторону камина белокурый молодой человек устремил на нее безмолвный взгляд.

В Ионвиле он служил помощником у нотариуса, г-на Гильомена, очень скучал (это и был Леон Дюпюи, второй завсегдатай «Золотого льва») и в надежде, что на постоялый двор завернет путник, с которым можно будет поболтать вечерок, сплошь да рядом являлся к обеду с запозданием. В те же дни, когда занятия кончались у него рано,

он не знал, куда себя девать, поневоле приходил вовремя и весь обед, от первого до последнего блюда, просиживал с глазу на глаз с Бине. Вот почему он очень охотно принял предложение хозяйки пообедать в обществе новоприбывших, и так как г-жа Лефрансуа для большей торжественности велела накрыть стол на четыре прибора в большой комнате, то все перешли туда.

Оме попросил разрешения не снимать феску,— он боялся схватить насморк.

Затем он обратился к своей соседке:

— Вы, наверно, устали, сударыня? Наша «Ласточка» трясет немилосердно!

— Это правда,— молвила Эмма,— но всякое передвижение доставляет мне удовольствие. Я люблю менять обстановку.

— Какая скука — вечно быть прикованным к одному месту! — воскликнул помощник нотариуса.

— Попробовали бы вы, как я, по целым дням не слезать с лошади...— заговорил Шарль.

— А по-моему, это чудесно,— возразил Леон, обращаясь к г-же Бовари, и добавил: — Лишь бы иметь возможность.

— Да у нас тут условия для врача не такие уж тяжелые,— вмешался аптекарь,— дороги в исправности, всюду можно проехать в кабриолете, а платят прилично,— местные крестьяне живут богато. Если же говорить с чисто медицинской точки зрения, то, помимо обычных явлений энтерита, бронхита, желтухи и тому подобного, в пору жатвы здесь иногда встречается перемежающаяся лихорадка, но тяжелые случаи редки, одним словом — ничего достопримечательного, вот только золотуха у нас свирепствует, и тут все дело, конечно, в антисанитарном состоянии крестьянских домов. Да, господин Бовари, вам придется вести борьбу со множеством предрассудков, косность будет оказывать постоянное и упорное сопротивление вашей науке,— ведь есть еще такие люди, которые пойдут не к врачу, не к фармацевту, а к попам, которые вместо лечения молятся да прикладываются к мощам. А между тем климат здесь, в сущности говоря, не плохой, в нашей округе можно найти даже девяностолетних стариков. Температура, по моим собственным наблюдениям, зимою падает до четырех градусов, а в жару поднимается до двадцати пяти, самое большее — до тридцати, что составляет по Реомюру максимум двадцать четыре, а по Фаренгейту (по английскому градуснику) — пятьдесят четыре, не выше. В самом

деле, с одной стороны мы защищены Аргейльским лесом от северного ветра, а с другой — холмом Сен-Жан от западного, и благодаря этому жара, которая усиливается от водяных паров, поднимающихся над рекой, и от скопления на лугах изрядного количества скота, выделяющего, как вам известно, много аммиаку, то есть азота, водорода и кислорода,— нет, виноват, только азота и водорода,— жара, которая поглощает влагу, содержащуюся в почве, смешивает все эти различные испарения, связывает их, если можно так выразиться, в один сноп, вступает в соединение с электричеством, когда оно бывает разлито в воздухе, и которая, как в тропических странах, могла бы с течением времени образовать вредные для здоровья миазмы,— эта жара, говорю я, именно там, откуда к нам приходит, или, вернее, откуда она должна была бы к нам приходить, то есть на юге, умеряется юго-восточным ветром,— ветер же этот, охлаждаясь над Сеной, порой налетает на нас внезапно, вроде русского бурана.

— По крайней мере, тут есть где погулять? — спросила молодого человека г-жа Бовари.

— Почти что негде,— ответил тот.— Есть одно место, на взгорье, у опушки леса, на так называемом выгоне. Иногда в воскресенье я ухожу туда с книгой и любуюсь закатом.

— По-моему, нет ничего красивей заката,— молвила Эмма,— особенно над морем.

— О, море я обожаю! — сказал Леон.

— И не кажется ли вам,— продолжала г-жа Бовари,— что над этим безграничным пространством наш дух парит вольнее, что его созерцание возвышает душу и наводит на размышления о бесконечности, об идеале?

— Так же действуют на человека и горы,— молвил Леон.— Мой двоюродный брат в прошлом году путешествовал по Швейцарии, и он потом говорил мне, что невозможно себе представить, как поэтичны озера, как прекрасны водопады, как величественны ледники. Через потоки переброшены сосны сказочной величины, над провалами повисли хижины, а когда облака расходятся, вы видите под собой, на дне тысячефутовой пропасти, бескрайнюю долину. Такое зрелище должно настраивать человеческую душу на высокий лад, располагать к молитве, доводить до экстаза! И меня нисколько не удивляет, что один знаменитый музыкант для вдохновения уезжал играть на фортепьяно в какие-нибудь красивые места.

— А вы сами играете, поете? — спросила Эмма.

— Нет, но я очень люблю музыку,— ответил Леон.

— Ах, не верьте ему, госпожа Бовари! — наклонившись над тарелкой, прервал Леона Оме.— Это он из скромности. Что же это вы, батенька? Ведь вы на днях чудесно пели у себя в комнате *Ангела-хранителя.* Мне в лаборатории хорошо было слышно. Вы передавали все оттенки, как настоящий певец.

Надо заметить, что Леон снимал у фармацевта в третьем этаже комнату окнами на площадь. Похвала домохозяина заставила его покраснеть, но тот уже повернулся лицом к лекарю и стал называть самых видных лиц в городе. Попутно он рассказывал про них всякие истории, давал разного рода сведения. Какой цифры достигает состояние нотариуса — в точности неизвестно; с «семейкой Тювашей» лучше не связываться.

— Какая же музыка вам больше всего нравится? — продолжала расспрашивать Эмма.

— Разумеется, немецкая,— под нее так хорошо мечтать!

— А итальянцев вы знаете?

— Нет еще, но я их услышу на будущий год,— мне придется ехать в Париж кончать юридический факультет.

— Я уже имел честь докладывать вашему супругу о несчастном беглеце Яноде,— обратился к Эмме фармацевт.— Благодаря тому, что он сглупил, вы будете жить в одном из самых комфортабельных ионвильских домов. Для врача он особенно удобен тем, что одна из его дверей выходит прямо на бульвар, так что можно незаметно и войти и выйти. Кроме того, в доме есть все, что нужно семейному человеку: прачечная, кухня, буфетная, уютная гостиная, фруктовый сад и прочее. Этот чудак тратил деньги без счета! В самом конце сада, над рекой, он выстроил себе беседку, для того чтобы летом пить в ней пиво. Если же вы, сударыня, любите садоводство, то вы сможете...

— Мою жену это не интересует,— ответил за нее Шарль,— хотя ей и рекомендуется моцион, однако она предпочитает сидеть в комнате и читать.

— Это вроде меня,— подхватил Леон.— В самом деле, что может быть лучше — сидеть вечером с книжкой у камина? Горит лампа, в окна стучится ветер...

— Ведь правда? — пристально глядя на него широко раскрытыми черными глазами, спросила Эмма.

— Ни о чем не думаешь, часы идут,— продолжал Леон.— Сидя на месте, путешествуешь по разным странам и так и видишь их перед собой; мысль, подогреваемая воображением, восхищается отдельными подробностями или же следит за тем, как разматывается клубок приключений. Ты перевоплощаешься в действующих лиц, у тебя такое чувство, точно это твое сердце бьется под их одеждой.

— Верно! Верно! — повторяла Эмма.

— Вам случалось находить в книге вашу собственную мысль, но только прежде не додуманную вами, какой-нибудь неясный образ, теперь как бы возвращающийся к вам издалека и удивительно полно выражающий тончайшие ваши ощущения?

— Мне это знакомо,— подтвердила Эмма.

— Вот почему я особенно люблю поэтов,— сказал Леон.— По-моему, стихи нежнее прозы — они трогают до слез.

— А в конце концов утомляют,— возразила Эмма.— Я, наоборот, пристрастилась за последнее время к романам, к страшным романам, к таким, от которых не оторвешься. Я ненавижу пошлых героев и сдержанность в проявлении чувств,— этого и в жизни довольно.

— Я с вами согласен,— признался Леон.— На мой взгляд, если художественное произведение вас не волнует, значит, оно не достигает истинной цели искусства. Так отрадно бывает уйти от горестей жизни в мир благородных натур, возвышенных чувств, полюбоваться картинами счастья! Здесь, в глуши, это мое единственное развлечение. Да вот беда: в Ионвиле трудно доставать книги.

— В Тосте, конечно, тоже,— заметила Эмма,— я брала книги в читальне.

— Сделайте одолжение, сударыня, берите книги у меня,— расслышав ее последние слова, обратился к ней фармацевт,— моя библиотека в вашем распоряжении, а в ней собраны лучшие авторы: Вольтер, Руссо, Делиль, Вальтер Скотт, *Отголоски фельетонов* и прочие. Потом я получаю периодические издания, в том числе ежедневную газету *Руанский светоч,*— я имею честь быть ее корреспондентом и сообщаю, что делается в Бюши, Форже, Невшателе, Ионвиле и его окрестностях.

Общество сидело за столом уже два с половиной часа, так как служанка Артемиза, лениво шаркая по полу веревочными туфлями, приносила по одной тарелке, все

забывала, путала, оставляла открытой дверь в бильярдной, и та беспрестанно ударялась щеколдой об стену.

Продолжая беседу, Леон машинально поставил ногу на перекладину стула г-жи Бовари. На Эмме был синий шелковый галстучек, который до того туго стягивал гофрированный батистовый воротничок, что он стоял прямо, как брыжи; когда Эмма поворачивала голову, подбородок ее то весь уходил в батист, то снова появлялся. Так, пока Шарль и фармацевт толковали друг с другом, у Эммы и Леона завязалась беседа на общие темы, одна из тех бесед, в которых любая случайная фраза тяготеет, однако, к строго определенному центру, и этим центром является взаимопонимание. Парижские спектакли, названия романов, новые кадрили, высший свет, о котором они не имели понятия... Тост, где раньше жила она, Ионвиль, где они находились теперь,— все это они уже обсудили, обо всем успели поговорить до конца обеда.

Когда подали кофе, служанка ушла в новый дом стелить постели, а немного погодя обедавшие встали из-за стола. Г-жа Лефрансуа спала у истопленной печи, конюх с фонарем в руке ждал г-на и г-жу Бовари, чтобы проводить их домой. Он припадал на левую ногу, в его рыжих волосах торчала солома. Он захватил с собой зонт священника, и вся компания вышла на улицу.

Городок спал. От столбов крытого рынка ложились длинные тени. Земля была совершенно серая, как в летние ночи.

Дом врача стоял всего в полусотне шагов от трактира, поэтому очень скоро пришлось проститься, и спутники расстались.

В передней Эмма тотчас же почувствовала, как холод известки влажною простыней окутывает ей плечи. Стены были только что побелены, деревянные ступеньки скрипели. Голые окна спальни, расположенной во втором этаже, пропускали белесый свет. В окна заглядывали верхушки деревьев, а там дальше при лунном свете над рекой клубился туман, и в нем тонули луга. Посреди комнаты были свалены в кучу ящики от комода, бутылки, пруты для занавесок, позолоченные карнизы, на стульях лежали перины, на полу стояли тазы,— два носильщика, таскавшие вещи, сложили их как попало.

Четвертый раз в жизни предстояло Эмме спать на новом месте. Первый раз это было, когда ее отдали в монастырскую школу, второй — когда она приехала в Тост, тре-

тий — в Вобьесаре, четвертый — сегодня. И каждый раз это было как бы началом новой эпохи в ее жизни. Эмма не допускала мысли, что и в новой обстановке все останется как было, а так как на старом месте ей жилось плохо, то она твердо верила, что с наступлением какой-то иной полосы все у нее изменится к лучшему.

III

Наутро Эмма, проснувшись, выглянула в окно — по площади шел помощник нотариуса. Эмма была в пеньюаре. Леон поднял голову и поклонился. Эмма ответила ему быстрым кивком и затворила окно.

Леон целый день ждал шести часов вечера; когда же он вошел в трактир, то, кроме сидевшего за столом Бине, там никого не оказалось.

Вчерашний обед явился для Леона крупным событием; до этого ему еще не доводилось беседовать два часа подряд с *дамой*. Как же это он сумел сказать ей столько, да еще в таких выражениях? Прежде ведь он никогда так хорошо не говорил. Он был всегда робок, он отличался той сдержанностью, которую питали в нем застенчивость и скрытность. Весь Ионвиль находил, что Леон «прекрасно себя держит». Он терпеливо выслушивал разглагольствования людей в летах и, видимо, был равнодушен к политике, что у молодых людей встречается не часто. Он был способный юноша: рисовал акварелью, играл одним пальцем на фортепьяно, после обеда любил почитать, если только не представлялась возможность поиграть в карты. Г-н Оме ценил в нем его познания, г-же Оме нравилось, что он такой обязательный, и точно: он часто гулял в саду с детьми Оме, вечно грязными, весьма дурно воспитанными и отчасти лимфатическими, как их мать, малышами. Помимо няньки, за ними присматривал Жюстен, двоюродный племянник г-на Оме, взятый в дом из милости, — он был у него и аптекарским учеником, и слугою.

Фармацевт оказался на редкость приятным соседом. Он дал г-же Бовари все необходимые сведения о поставщиках, нарочно для нее вызвал торговца, у которого постоянно покупал сидр, сначала попробовал сам и даже не поленился слазить к соседям в погреб, посмотрел, так ли поставлена бочка; еще он сообщил, где можно доставать дешевое масло, и нанял им в садовники пономаря Лестибудуа, который, помимо своих церковнослужительских и

погребальных обязанностей, ухаживал за лучшими ионвильскими садами и получал за это плату или почасно, или за целый год сразу,— это всецело зависело от садовладельцев.

Необыкновенная услужливость фармацевта объяснялась не только его любовью к ближним — тут был и особый расчет.

Господин Оме нарушал статью 1-ю закона от 19 вентоза XI года Республики, воспрещавшую лечить больных всем, кто не имеет лекарского звания. В связи с этим его даже как-то раз по необоснованному доносу вызвали в Руан, в кабинет королевского прокурора. Сановник принял его стоя, в горностаевой мантии и в берете. Это было утром, перед судебным заседанием. Из коридора доносился топот жандармских сапог, где-то вдалеке словно бы поворачивались со скрежетом в замочных скважинах огромные ключи. У г-на Оме звенело в ушах, как перед ударом: ему чудились каменные мешки, рыдающее семейство, распродажа аптеки, разбросанные склянки. Чтобы успокоиться, он прямо от прокурора зашел в кафе и выпил стакан рома с сельтерской.

С течением времени воспоминание о полученном внушении утратило свою живость, и г-н Оме опять начал принимать пациентов в комнатке рядом с аптекой и давать им невинные советы. Но мэр его недолюбливал, коллеги завидовали, надо было держать ухо востро. Обязать г-на Бовари своими любезностями значило заслужить его благодарность и замазать ему рот на тот случай, если он что-нибудь заметит. Вот почему г-н Оме каждое утро приносил лекарю «газетку», а днем часто забегал к нему «на минутку» потолковать.

Шарль приуныл: пациенты все не шли. По целым часам молча сидел он в ожидании, потом отправлялся спать к себе в кабинет или же наблюдал за тем, как шьет его жена. От скуки он сам к себе нанялся в работники и, обнаружив, что маляры оставили немного краски, попытался выкрасить чердак. Но денежные дела продолжали его беспокоить. Он массу истратил на ремонт в Тосте, на туалеты жены, на переезд,— словом, за два года он просадил все приданое, то есть больше трех тысяч экю. А сколько вещей сломалось и потерялось при переезде из Тоста в Ионвиль, не считая гипсового священника, который от сильного толчка на мостовой в Кенкампуа упал с повозки и разбился на мелкие куски!

Шарля отвлекала более приятная забота — беременность жены. Чем ближе подходило время родов, тем нежнее он ее любил. Его связывали с ней теперь еще одни узы физической близости, связывало гораздо более сложное и непреходящее чувство. Когда он видел издали ее медлительную походку, ее лениво колышущийся стан, не затянутый в корсет, когда они сидели друг против друга и он впивался в нее глазами, а она принимала в кресле изнеженные позы, он вдруг вскакивал, обнимал ее, гладил ее лицо, называл мамочкой, тащил танцевать и, смеясь сквозь слезы, придумывал множество милых шуток. Мысль о том, что он зачал ребенка, приводила его в восторг. Это был предел его желаний. Он познал жизнь во всей ее полноте и теперь блаженствовал.

Эмма сначала была изумлена, потом ей захотелось как можно скорей разрешиться от бремени, чтобы наконец почувствовать, что же такое материнство. Но ей не хватало денег ни па колыбельку в виде лодочки с розовым шелковым пологом, ни на кружевные чепчики, и с досады она, ничего не выбрав, ни с кем не посоветовавшись, заказала все детское приданое здешней швее. Таким образом, она себя не порадовала теми приготовлениями, которые подогревают материнскую нежность, и ее любовь к ребенку в самом начале была этим, вероятно, ущемлена.

А Шарль постоянно говорил за столом о малютке, и немного погодя она тоже привыкла все время думать о нем.

Ей хотелось сына. Это будет черноволосый крепыш, она назовет его Жоржем. И мысль о мальчике давала ей надежду, что судьба вознаградит ее за несбывшиеся мечты. Мужчина, по крайней мере, свободен: ему доступны все страсти, все чужие края, он волен преодолевать препятствия, вкушать от наиболее трудно достижимых наслаждений. А женщине всюду помехи. Косная и вместе с тем гибкая по натуре, женщина находится между двух огней: между слабостью своей плоти и бременем закона. Ее воля, точно вуаль ее шляпки, держащаяся на шнурке, трепещет при малейшем дуновении ветра; ее вечно увлекает какая-нибудь прихоть, вечно сдерживает какая-нибудь условность.

Эмма родила в воскресенье, около шести часов, на утренней заре.

— Девочка! — сказал Шарль.

Роженица отвернулась и потеряла сознание.

Почти тотчас же прибежала и расцеловала ее г-жа Оме, вслед за ней — тетушка Лефрансуа, хозяйка «Золотого льва». Фармацевт из деликатности ограничился тем, что, приотворив дверь, поздравил ее пока наскоро. Затем попросил показать ребенка и нашел, что девочка хорошо сложена.

Когда Эмма начала поправляться, она усиленно занялась выбором имени для дочки. Сначала она перебрала все женские имена с итальянскими окончаниями: Клара, Луиза, Аманда, Атала; ей нравилась Гальсуинда, но особенно — Изольда и Леокадия. Шарлю хотелось назвать дочку в честь матери, но Эмма не соглашалась. Перечли календарь с первой до последней страницы, советовались с посторонними.

— Недавно я беседовал с Леоном,— сообщил фармацевт,— он удивляется, почему вы не дадите своей девочке имя Магдалины,— оно теперь в большой моде.

Но старуха Бовари, услышав имя грешницы, решительно воспротивилась. Сам г-н Оме предпочитал имена, напоминавшие о каком-нибудь великом человеке, славном подвиге или же благородной идее. Так, Наполеон представлял в его семействе славу, Франклин — свободу; Ирма знаменовала, должно быть, уступку романтизму, Аталия же являла собою дань непревзойденному шедевру французской сцены. Заметим кстати, что философские взгляды г-на Оме мирно уживались с его художественными вкусами, мыслитель не подавлял в нем человека с тонкими чувствами; он умел разграничивать, умел отличить пламенное воображение от фанатизма. В *Аталии*, например, он осуждал идеи, но упивался слогом, порицал замысел, но рукоплескал частностям, возмущался поведением действующих лиц, но их речи зажигали его. Перечитывая знаменитые места, он приходил в восторг, но при мысли о том, что это вода на мельницу мракобесов, впадал в отчаяние и, раздираемый противоположными чувствами, готов был собственноручно увенчать Расина лаврами и тут же с пеной у рта начать с ним спорить.

Наконец Эмма вспомнила, что в Вобьесарском замке маркиза назвала при ней одну молодую женщину Бертой; на этом она и остановилась, а так как папаша Руо не мог приехать, то в крестные отцы пригласили г-на Оме. Крестница получила на зубок от всех его товаров понемножку, а именно: шесть пакетиков ююбы, целую склянку ракаута, три коробочки алтейной пасты и сверх того шесть тру-

бочек леденцов, завалявшихся у него в шкафу. После совершения обряда был устроен торжественный обед; на нем присутствовал и священник; языки у всех развязались. За ликером г-н Оме затянул *Бога честных людей*. Леон спел баркаролу, старуха Бовари, крестная мать, спела романс времен Империи. В конце концов старик Бовари велел принести ребенка и принялся крестить его, поливая ему на головку шампанское из стакана. Аббат Бурнизьен выразил свое возмущение этим издевательством над первым из таинств. Старик Бовари ответил ему цитатой из *Войны богов*. Священник собрался уходить, дамы начали просить его остаться, Оме взял на себя роль миротворца, и священник, сев на свое место, как ни в чем не бывало поднес ко рту недопитую чашку кофе.

Старик Бовари прогостил в Ионвиле с месяц, и обыватели не могли надивиться его великолепной, военного образца, обшитой серебряным галуном фуражке, в которой он выходил по утрам на площадь выкурить трубку. Он был не дурак выпить и теперь часто посылал служанку в «Золотой лев» за бутылкой, которую там записывали на счет сына; на свои носовые платки он извел весь невесткин одеколон.

Но невестку его общество не раздражало. Он много видел на своем веку, рассказывал ей о Берлине, о Вене, о Страсбурге, о своей службе в армии, о своих любовницах, о пирушках, которые он устраивал, а кроме того, он за ней ухаживал и даже иногда, на лестнице или в саду, обнимал за талию и кричал:

— Берегись, Шарль!

В конце концов старуха Бовари, испугавшись за счастье сына, боясь, как бы ее супруг не оказал вредного влияния на нравственность молодой женщины, поспешила увезти его домой. Возможно, что ею руководили и более серьезные опасения. Для г-на Бовари не было ничего святого.

Однажды у Эммы явилась острая потребность повидать свою девочку, которую отдали кормить жене столяра, и она, не заглянув в календарь, прошли или не прошли положенные шесть недель, отправилась к Роле, жившим на окраине, под горой, между лугами и большаком.

Был полдень; ставни всюду были закрыты, аспидные крыши блестели в резком свете синего неба, их гребни точно искрились. Дул жаркий ветер. Эмма шла с трудом;

ей больно было наступать на камни; она подумала, не вернуться ли ей, не зайти ли куда-нибудь посидеть.

В эту минуту из соседнего дома вышел Леон с кипой бумаг под мышкой. Он поклонился ей и стал в тени возле лавки Лере, под ее серым навесом.

Госпожа Бовари сказала, что вышла навестить ребенка, но уже утомилась.

— Если...— начал было Леон, но тут же осекся.

— Вы куда-нибудь по делу? — спросила она.

И, узнав, что нет, попросила проводить ее. К вечеру это стало известно всему Ионвилю, и жена мэра, г-жа Тюваш, сказала в присутствии своей служанки, что «госпожа Бовари себя компрометирует».

Чтобы попасть к кормилице, надо было, пройдя улицу до конца, свернуть налево, по направлению к кладбищу, и идти между двумя рядами домишек и двориков, по тропинке, обсаженной кустами бирючины. Бирючина цвела; цвели и вероника, и шиповник, и крапива, и гибкая ежевика, тянувшаяся вверх. Сквозь лазейки в изгородях видно было, как возле «хибарок» роются в навозе свиньи, а привязанные коровы трутся рогами о деревья. Эмма и Леон медленно шли рядом, она опиралась на его руку, а он приноравливался к ее шагу. Перед ними в знойном воздухе кружилась, жужжа, мошкара.

Лачугу кормилицы затенял старый орешник — по этой примете они и узнали ее. Лачужка была низенькая, крытая коричневой черепицей; под слуховым окном висела связка лука. Вязанки хвороста, прислоненные стоймя к терновой изгороди, тянулись вокруг грядки латука и маленьких клумбочек лаванды и душистого горошка, обвивавшего подпорки. По траве растеклась грязная вода, на изгороди было развешано разное старье, чулки, красная ситцевая кофта, большая, грубого полотна, простыня. На стук калитки вышла кормилица с грудным ребенком на руке. Другой рукой она вела жалкого, хилого золотушного малыша, сына руанского шапочника, которого родители, люди занятые, отправили подышать деревенским воздухом.

— Пожалуйте,— сказала она,— ваша малютка спит.

В единственной комнате у задней стены стояла широкая кровать без полога, а под разбитым окном, заклеенным синей бумагой,— квашня. В углу за дверью, под умывальником, были выстроены в ряд башмаки, подбитые блестящими гвоздями, и тут же стояла бутылка с мас-

лом, из которой торчало перышко; на пыльном камине среди ружейных кремней, огарков и обрывков трута валялся *Матвей Лансберг*. Наконец, последнее украшение этого жилища составляла прибитая к стене шестью сапожными гвоздями трубящая Слава, вырезанная, вероятно, из какой-нибудь парфюмерной рекламы.

Девочка Эммы спала в стоявшей прямо на полу люльке, сплетенной из ракитовых прутьев. Эмма взяла ее на руки вместе с одеялом и, баюкая, стала напевать.

Леон прохаживался по комнате; ему как-то дико было видеть эту красивую женщину в нарядном платье среди такой нищеты. Г-жа Бовари покраснела; решив, что смотреть на нее сейчас неделикатно, он отвернулся. Девочка срыгнула ей на воротничок, и она положила ее опять в колыбельку. Кормилица поспешила успокоить мать, что пятна не останется, и бросилась вытирать воротничок.

— Меня она еще и не так отделывает,— говорила кормилица,— только успевай обмывать ее! Будьте настолько любезны, скажите лавочнику Камю, чтоб он мне мыльца отпускал, когда понадобится! Так и вам будет удобней — я уж вас не побеспокою.

— Хорошо, хорошо! — сказала Эмма.— До свидания, тетушка Роле!

И, вытерев об порог ноги, вышла во двор.

Жена столяра пошла ее проводить и до самой калитки все охала, как трудно ей вставать по ночам.

— Иной раз до того умаюсь — сижу на стуле и клюю носом. Дали бы вы мне хоть фунтик молотого кофе — мне бы на месяц хватило, я бы его утром с молоком пила.

Госпоже Бовари пришлось долго слушать, как та рассыпается в благодарностях; наконец она с ней распростилась, но не успела пройти немного вперед по тропинке, как стук деревянных башмаков заставил ее оглянуться: это была кормилица!

— Что еще?

Жена столяра отвела Эмму в сторону, под сень вяза, и заговорила о своем муже, о том, что его заработка и тех шести франков в год, которые капитан...

— Говорите короче,— сказала Эмма.

— Так вот,— продолжала кормилица, испуская вздох после каждого слова,— что, если ему станет завидно смотреть, как я пью кофе? Сами знаете, эти мужчины...

— Да ведь у вас будет кофе,— подтвердила Эмма,— я же вам обещала!.. Вы мне надоели!

— Ах, милая барыня, у него от ран такие сильные спазмы бывают в груди! Он говорит, что даже от сидра слабеет.

— Тетушка Роле, не тяните!

— Ну да уж что там,— с поклоном продолжала кормилица,— вы уж меня извините за мою назойливость...— Она еще раз поклонилась.— Будьте такая добренькая,— она умоляющим взглядом смотрела на Эмму,— графинчик бы водочки,— наконец выговорила она,— я бы вашей доченьке ножки растирала, а они у нее нежные-пренежные, как все равно атлас!

Отделавшись от кормилицы, Эмма опять взяла под руку Леона. Некоторое время она шла быстро, потом замедлила шаг, и взгляд ее уперся в плечо молодого человека и в черный бархатный воротник его сюртука. На воротник падали гладкие, тщательно расчесанные темно-русые волосы. Эмма заметила, что таких длинных ногтей, как у Леона, нет ни у кого во всем Ионвиле. Уход за ними составлял для помощника нотариуса предмет неустанных забот; с этой целью он держал в своем письменном столе особый ножичек.

В Ионвиль они возвращались вдоль реки. В жаркую погоду прибрежье расширялось, стены, которыми были обнесены сады, обнажались до самого основания, от садов к воде вели небольшие лесенки. Река, быстрая и на вид холодная, текла бесшумно. В ясных ее водах по воле течения склонялись одновременно высокие тонкие травы, напоминая взъерошенные зеленые кудри. На верхушках камышей и листьях кувшинок кое-где сидели или ползали на крошечных лапках насекомые. Солнечный луч пронизывал синие брызги набегавших одна на другую и разбивавшихся волн. В воде отражалась серая кора старых ив с подрезанными ветвями; на том берегу, куда ни кинь взор, стлались пустынные луга. На фермах в эту пору обедали; молодая женщина и ее спутник слышали только свои мерные шаги по тропинке, слова, которыми они обменивались, да шелест платья, струившийся вокруг Эммы.

Садовые стены, утыканные сверху осколками бутылок, были горячи, как стекла теплицы. Между кирпичами пробивалась желтофиоль. Г-жа Бовари мимоходом задевала цветы краем своего раскрытого зонтика, и от этого прикосновения увядшие лепестки рассыпались желтою пылью, а то вдруг веточка жимолости или ломоноса, свесив-

шаяся через стену и нечаянно сбитая зонтом, цеплялась за бахрому, а потом скользила по его шелку.

Спутники говорили об испанской балетной труппе, которая должна была скоро приехать в Руан.

— Вы пойдете? — спросила Эмма.

— Если удастся,— ответил Леон.

Неужели им больше нечего было сказать друг другу? Нет, глаза их говорили о чем-то гораздо более важном. Подыскивая банальные фразы, оба чувствовали, как все их существо охватывает томление. Это был как бы шепот души — сокровенный, немолчный, заглушающий голоса. Потрясенные этим новым для них наслаждением, они не пытались поведать о нем друг другу, уяснить себе, где его источник. Грядущее счастье, словно река в тропиках, еще издали наполняет неоглядные просторы тою негой, какой оно дышит всегда, еще издали повевает благоуханным ветром, и человек, упоенный, погружается в забытье, не заглядывая в даль и даже не помышляя о ней.

В одном месте стадо так растолкло землю, что пришлось перебираться по большим зеленым камням, кое-где торчавшим из грязи. Эмма поминутно останавливалась, смотрела, куда бы ей поставить ногу, и, покачиваясь на шатающемся булыжнике, расставив локти, подавшись всем корпусом вперед, растерянно оглядываясь, как бы не упасть в лужу, заливалась смехом.

Дойдя до своего сада, г-жа Бовари толкнула калитку, взбежала на крыльцо и скрылась за дверью.

Леон вернулся в контору. Патрона не было. Леон окинул взглядом папки с делами, очинил перо, взял шляпу и ушел.

Он взобрался на вершину Аргейльского холма и, очутившись на выгоне, у опушки леса, лег в тени елей и стал смотреть из-под руки на небо.

— Какая тоска! — говорил он себе.— Какая тоска!

Ему опостылела жизнь в этом захолустье, где единственным его приятелем, за неимением других, был Оме, а наставником — г-н Гильомен. Нотариус, вечно занятый делами, носил очки с золотыми дужками и белый галстук, оттенявший его рыжие бакенбарды, и ничего не понимал в сложных душевных переживаниях, однако вначале произвел на помощника сильное впечатление своею чопорною английскою складкой. Что же касается аптекарши, то это была лучшая жена во всей Нормандии; кроткая, как овечка, она обожала своих детей, отца, мать, всю свою

родню, близко принимала к сердцу чужие беды, хозяйство вела спустя рукава и ненавидела корсеты. Но она была до того неповоротлива, до того скучна, до того бесцветна, такая это была неинтересная собеседница, что хотя ей минуло всего лишь тридцать лет, а Леону — двадцать, хотя их спальни были дверь в дверь и разговаривали они друг с другом ежедневно, он никогда не думал о ней как о женщине, все признаки ее пола заключались для него только в одежде.

Кто же еще? Бине, лавочники, кабатчики, священник и, наконец, мэр, г-н Тюваш, и два его сына; все это были скопидомы, нелюдимы, тугодумы, землю они обрабатывали своими руками, пьянствовали только у себя дома, а на людях эти отвратительные ханжи прикидывались святыми.

И на фоне всех этих пошлых лиц отчетливо вырисовывался облик Эммы, такой своеобразный и все же такой далекий; он чувствовал, что между ним и ею лежит пропасть.

На первых порах он часто наведывался к ней вместе с фармацевтом. Шарль особого радушия не проявлял, и Леон не знал, как себя держать: он боялся показаться навязчивым и вместе с тем стремился к близости, которая ему же самому представлялась чем-то почти несбыточным.

IV

Как только настали холода, Эмма перебралась из своей спальни в длинную, с низким потолком, залу, где на камине подле зеркала раскинул свои ветви коралловый полип. Из окна, у которого она обычно сидела в кресле, ей были видны шедшие по тротуару обыватели.

Два раза в день из конторы в «Золотой лев» проходил Леон. Шаги его она узнавала задолго до того, как он появлялся; она подавалась вперед и слушала; молодой человек, одетый всегда одинаково, не оборачиваясь, мелькал за занавеской. Но когда она здесь сумерничала, оперевшись подбородком на левую ладонь и уронив на колени начатое вышиванье, ее часто заставляла вздрагивать эта вдруг промелькнувшая тень. Она вставала и приказывала накрывать на стол.

Во время обеда приходил г-н Оме. Держа феску в руке,

он ступал неслышно, чтобы никого не побеспокоить, и всегда говорил одно и то же: «Мир дому сему!» Потом садился за стол на свое обычное место, между супругами, и спрашивал лекаря, как его больные, а тот советовался с ним относительно гонораров. Говорили о том, «что пишут в газетах». К этому времени Оме успевал выучить газету почти наизусть и пересказывал ее теперь слово в слово, вместе с комментариями журналистов, не опуская ни одной скандальной истории, где бы она ни случилась: во Франции или за границей. Исчерпав и эту тему, он всякий раз делал свои замечания по поводу приносимых блюд. Иногда он даже привставал и деликатно указывал хозяйке наиболее лакомый кусочек или же, обращаясь к служанке, давал ей советы, как надо приготовлять рагу и какая приправа к какому блюду идет. Об ароматических веществах, о мясных вытяжках, соусах и желатине он говорил так, что его можно было заслушаться. Надо заметить, что г-н Оме держал в голове больше рецептов, чем в его аптеке умещалось склянок; он сам великолепно варил варенье, делал уксус, сладкие ликеры, знал все нововведения в области экономных переносных плит, знал секрет хранения сыра и выхаживания больных вин.

В восемь часов за ним приходил Жюстен — пора было закрывать аптеку. Г-н Оме лукаво поглядывал на него, особенно если тут была Фелисите,— он заметил, что его ученик повадился в докторский дом.

— Мой молодец что-то начал задумываться,— говорил аптекарь.— Черт возьми, уж не влюбился ли он в вашу служанку?

Но у Жюстена был более серьезный недостаток: он вечно подслушивал разговоры взрослых, и аптекарь его за это журил. Так, например, по воскресеньям, когда дети засыпали в креслах, сбивая спинами чересчур широкие коленкоровые чехлы, и г-жа Оме вызывала Жюстена в гостиную, чтобы он унес их в детскую, его потом невозможно было выпроводить.

На этих воскресных вечеринках у фармацевта народу бывало немного,— злой язык хозяина и его политические взгляды мало-помалу оттолкнули от него людей почтенных. Зато помощник нотариуса не пропускал ни одной вечеринки. Заслышав звонок, он бросался встречать г-жу Бовари, принимал ее шаль, а грубые веревочные туфли, которые она надевала на ботинки для защиты от снега, отставлял в сторону, под аптекарскую конторку.

Сначала играли в тридцать одно, потом г-н Оме играл с Эммой в экарте, а Леон, стоя сзади, давал ей советы. Опираясь на спинку ее стула, он смотрел на гребень, впившийся зубьями в ее прическу. Когда Эмма сбрасывала карты, на груди у нее всякий раз приподнималось с правой стороны платье. От зачесанных кверху волос ложился на спину коричневый отблеск и, постепенно бледнея, в конце концов сливался с полумраком. Внизу платье Эммы, пузырясь, морщась бесчисленными складками, свешивалось по обеим сторонам стула и ниспадало до полу. Нечаянно дотронувшись до него ботинком, Леон с таким испуганным видом отшатывался, словно наступил кому-нибудь на ногу.

После карт аптекарь с врачом сражались в домино, Эмма пересаживалась и, облокотившись на стол, перелистывала *Иллюстрацию*. Она приносила с собою журнал мод. Леон подсаживался к ней; они вместе смотрели картинки и ждали друг друга, чтобы перевернуть страницу. Она часто просила его почитать стихи; Леон декламировал нараспев и нарочно делал паузы после строк, в которых говорилось о любви. Но его раздражал стук костяшек. Г-н Оме был сильный игрок и всегда обыгрывал Шарля на дубль-шесть. Дойдя до трехсот, оба разваливались в креслах у камина и очень скоро засыпали. Под пеплом дотлевал огонь; в чайнике было пусто; Леон все читал. Эмма, слушая его, машинально вертела газовый абажур, на котором были нарисованы Пьеро в колясках и канатные плясуньи с балансирами в руках. Леон указывал Эмме на заснувших и переставал читать; тогда они начинали говорить шепотом; и эта беседа казалась им еще приятнее, оттого что их никто не слышал.

Они заключили между собой нечто вроде соглашения, предусматривавшего постоянный обмен книгами и романсами. Г-н Бовари не был ревнив, и это его не задевало.

На свои именины он получил в подарок прекрасную френологическую голову, выкрашенную в синий цвет и испещренную цифрами до самой шеи. Это был знак внимания со стороны Леона. Он вообще был внимателен к лекарю и даже исполнял его поручения в Руане. А когда один нашумевший роман ввел в моду кактусы, Леон стал покупать их для г-жи Бовари и привозил в «Ласточке», всю дорогу держа их на коленях и накалывая пальцы колючками.

Эмма велела приделать у себя под окошком полочку с

решеткой, чтобы было куда ставить горшки с цветами. Леон тоже устроил у себя подвесной садик. Ухаживая за цветами, они видели друг друга в окно.

Во всем городе было только одно окошко, в котором еще дольше маячила фигура человека; каждый день после обеда, а по воскресеньям с утра до ночи, если только погода была ясная, в слуховом окне вырисовывался худощавый профиль г-на Бине, склонившегося над токарным станком, однообразное жужжанье которого долетало даже до «Золотого льва».

Как-то вечером, вернувшись домой, Леон увидел у себя в комнате коврик из бархата и шерсти, расшитый листьями по палевому полю. Он позвал г-жу Оме, г-на Оме, Жюстена, детей, кухарку, рассказал об этом патрону. Всем хотелось поглядеть на коврик. С чего это жена лекаря «расточает дары»? Это показалось подозрительным, и все сошлись на том, что она его возлюбленная.

Сам Леон давал пищу толкам — он так много говорил об ее очаровании, об ее уме, что как-то раз Бине грубо его оборвал:

— А мне-то что? Я с нею не знаком!

Леон ломал себе голову, как объясниться Эмме в любви. Он боялся оттолкнуть ее от себя; с другой стороны, ему было стыдно за свою трусость, и от полноты чувств и от сознания своей беспомощности на глазах у него выступали слезы. Он принимал твердые решения, писал письма и тут же их рвал, назначал себе сроки, а потом отодвигал их. Он часто шел к ней, готовый как будто бы на все, но в ее присутствии мужество покидало его, и когда Шарль, войдя, предлагал ему прокатиться в шарабанчике в одну из окрестных деревень, где надо было навестить больного, он немедленно соглашался, прощался с хозяйкой и уходил. Он утешал себя тем, что в муже есть что-то от нее самой.

А Эмма даже не задавала себе вопроса, любит ли она Леона. Любовь, казалось ей, приходит внезапно, с молнийным блеском и ударами грома; это вихрь, который налетает откуда-то с неба на жизнь, переворачивает ее вверх дном, обрывает желания, точно листья, и ввергает сердце в пучину. Она не подозревала, что когда водосточные трубы засорены, то от дождя на плоских крышах образуются целые озера, и жила спокойно до тех пор, пока в стене своего дома случайно не обнаружила трещины.

V

Это было в одно из февральских воскресений, снежным днем.

Вся компания — г-н и г-жа Бовари, Оме и Леон — пошла посмотреть строившуюся в полумиле от города, в низине, льнопрядильную фабрику. Аптекарь взял с собой прогулки ради Наполеона и Аталию; замыкал шествие Жюстен с зонтами на плече.

Ничего, однако, достопримечательного не было в этой достопримечательности. На обширном пустыре, на котором, среди куч песка и камней, там и сям валялись уже успевшие проржаветь зубчатые колеса, стояло длинное четырехугольное здание со множеством пробитых в нем окошек. Здание было недостроено, и между балками сквозило небо. Привязанный к шесту на коньке пучок соломы с колосьями хлопал по ветру своею трехцветною лентой.

Оме разглагольствовал. Он объяснял спутникам, какое значение будет иметь это предприятие, определял на глаз толщину пола и стен и очень жалел, что у него нет измерительной линейки вроде той, какая есть у г-на Бине для его личных нужд.

Эмма шла под руку с аптекарем и, слегка прижимаясь к его плечу, смотрела на солнечный диск, излучавший в туманной дали свою слепящую матовость. Потом вдруг повернула голову — взгляд ее невольно остановился на Шарле. Фуражка сползла у него чуть не на брови, толстые губы шевелились, и это придавало его лицу какое-то глупое выражение; даже его спина, его невозмутимая спина, раздражала ее; ей казалось, что заурядность этого человека сказывается во всем, вплоть до сюртука.

Эмма все еще рассматривала Шарля, находя в своем раздражении какую-то злобную радость, но в это время Леон очутился на один шаг впереди нее. Он побелел от холода, и от этого во всех чертах его разлилась еще более нежная томность. Воротник рубашки был ему широковат, и между подбородком и галстуком чуть-чуть видна была шея; из-под пряди волос выглядывала мочка уха; его большие голубые глаза, смотревшие на облака, казались Эмме прозрачнее и красивее горных озер, в которых отражается небо.

— Куда тебя несет! — вдруг закричал аптекарь и бросился к сыну. Мальчик залез в известку — ему хотелось выбелить свои башмачки. Отец его как следует пробрал;

Наполеон заревел от обиды, а Жюстен принялся отчищать башмаки жгутом соломы. Но, чтобы отскрести известку, нужен был нож. Шарль предложил свой.

«Ах,— подумала Эмма,— он, как мужик, всюду ходит с ножом в кармане!»

Сыпалась изморозь. Все повернули обратно.

Вечером г-жа Бовари не пошла к соседям, и когда после ухода Шарля она осталась одна, перед ней с отчетливостью почти непосредственного ощущения и с той удаленностью перспективы, какую сообщает предметам воспоминание, вновь возникла все та же параллель. Лежа на кровати, она не отводила глаз от жарко пылавшего огня и как сейчас видела Леона — он стоял, одной рукой помахивая тросточкой, а другой держа Аталию, которая с невозмутимым видом посасывала льдинку. Он казался Эмме очаровательным; она приковала к нему мысленный взор; она припоминала те положения, какие он принимал в другие дни, сказанные им фразы, звук его голоса, весь его облик и, протягивая губы словно для поцелуя, твердила:

— Да, он обворожителен! Обворожителен!.. Уж не влюблен ли он? — спрашивала она себя.— Но в кого же?.. Да в меня!

Вся цепь доказательств в одно мгновение развернулась перед Эммой, сердце у нее запрыгало. От огня в камине на потолке весело бегали отблески. Эмма легла на спину, потянулась.

И вслед за тем начались беспрерывные вздохи:

«Ах, если б это сбылось! А почему бы нет? Кто может этому помешать?..»

Шарль вернулся в полночь, и Эмма сделала вид, что только сейчас проснулась; когда же он, раздеваясь, чем-то стукнул, она пожаловалась на головную боль, а затем безучастным тоном спросила, как прошел вечер.

— Леон сидел недолго,— ответил Шарль.

Она не могла сдержать улыбку и, отдавшись во власть нового для нее очарования, уснула.

На другой день, когда уже смерклось, к ней пришел торговец модными товарами г-н Лере. Ловкий человек был этот купец.

Уроженец Гаскони, он впоследствии стал нормандцем и сумел сочетать в себе южное краснобайство с кошской хитрецой. Его обрюзгшее, дряблое безбородое лицо было точно окрашено отваром светлой лакрицы, а недобрый блеск маленьких черных глаз казался еще живее от седи-

ны. Кем он был раньше — никто не знал: одни говорили — разносчиком, другие — менялой в Руто. Но вот что, однако, не подлежало сомнению: он обладал способностью делать в уме такие сложные вычисления, что даже сам Бине приходил в ужас. Угодливый до льстивости, он вечно изгибался, точно кому-то кланялся или кого-то приглашал.

Оставив при входе свою шляпу с крепом, он поставил на стол зеленую картонку и, рассыпаясь в любезностях, стал пенять на то, что до сих пор не заслужил доверия «сударыни». И то сказать: чем же его жалкая лавчонка может привлечь такую *элегантную даму?* Он подчеркнул эти два слова. А между тем ей стоит только приказать, и он достанет для нее все, что угодно: и белье, и чулки, и галантерейные, и модные товары — ведь он непременно каждую неделю ездит в город. У него дела с лучшими торговыми домами. Можете спросить про него в «Трех братьях», в «Золотой бороде», в «Длинноногом дикаре» — хозяева знают его как свои пять пальцев! Так вот, нынче он хотел показать, между прочим, сударыне некоторые вещицы, которые попали к нему по счастливой случайности. С этими словами он достал из картонки полдюжины вышитых воротничков.

Госпожа Бовари рассмотрела их.

— Мне это не нужно,— сказала она.

Тогда г-н Лере бережно вынул три алжирских шарфа, несколько коробок английских булавок, соломенные туфли и, наконец, четыре рюмки для яиц, выточенные каторжниками из скорлупы кокосового ореха. Опершись обеими руками на стол, вытянув шею, подавшись всем корпусом вперед, он жадно следил за выражением лица Эммы, растерянно перебегавшей глазами с предмета на предмет. Время от времени г-н Лере, будто бы снимая пылинку, проводил ногтем по разостланному во всю длину шелковому шарфу, и шелк, чуть слышно шурша, трепетал, а золотые блестки ткани мерцали звездочками в зеленоватом свете сумерек.

— Что это стоит?

— Пустяки,— ответил торговец,— да и дело-то не к спеху. Когда вам будет угодно. Мы ведь с вами не жиды!

Подумав немного, она поблагодарила г-на Лере и отказалась, а он, нисколько не удивившись, проговорил:

— Ну, хорошо, после столкуемся. Я со всеми дамами лажу, кроме собственной жены!

Эмма улыбнулась.

— Это я вот к чему,— с добродушным, но уже серьезным видом продолжал г-н Лере,— я о деньгах не беспокоюсь... Денег я и сам мог бы вам дать, когда нужно.

Эмма выразила изумление.

— Да, да! — понизив голос, быстро заговорил он.— Я бы вам их мигом раздобыл. Можете на меня рассчитывать!

И потом вдруг начал расспрашивать, как здоровье папаши Телье, владельца кафе «Франция», которого в это время лечил г-н Бовари.

— Что это с папашей Телье?.. Он кашляет так, что весь дом трясется. Боюсь, как бы вместо фланелевой фуфайки ему не понадобилось еловое пальто. В молодости он любил кутнуть! Такие люди, как он, сударыня, ни в чем меры не знают! Он сгорел от водки. А все-таки грустно, когда старый знакомый отправляется на тот свет.

Застегивая картонку, он продолжал перебирать пациентов Шарля.

— Все эти заболевания от погоды! — хмуро поглядывая на окна, говорил он. — Мне тоже что-то не по себе. Надо будет зайти на днях посоветоваться с доктором — спина очень болит. Ну, до свидания, госпожа Бовари! Всегда к вашим услугам! Нижайшее почтение.

С этими словами он тихонько затворил за собою дверь.

Эмма велела подать обед к ней в комнату и села поближе к огню; ела она медленно; все казалось ей вкусным.

«Как я умно поступила!» — подумала она, вспомнив о шарфах.

На лестнице послышались шаги: это был Леон. Эмма встала и взяла с комода из стопки первое попавшееся неподрубленное полотенце. Когда Леон вошел, у нее был в высшей степени деловой вид.

Разговор не клеился. Г-жа Бовари поминутно прерывала его, Леон тоже как будто чувствовал себя крайне неловко. Он сидел на низеньком стуле у камина и вертел в руке футлярчик из слоновой кости; Эмма шила и время от времени расправляла ногтем рубцы. Она не говорила ни слова; Леон, завороженный ее молчанием, как прежде ее разговором, также был нем.

«Бедный мальчик!» — думала она.

«Чем я ей не угодил?» — спрашивал себя он.

Наконец, сделав над собой усилие, он сказал, что на

днях ему придется по делам нотариальной конторы съездить в Руан.

— Ваш нотный абонемент кончился. Возобновить его?

— Нет, — ответила Эмма.

— Почему?

— Потому что...

Поджав губы, она медленно вытянула длинную серую нитку.

Занятие Эммы раздражало Леона. Ему казалось, что она все время колет себе пальцы.

Он придумал галантную фразу, но не посмел произнести ее.

— Так вы больше не будете?..— спросил он.

— Что? — живо отозвалась Эмма.— Играть? Ах, боже мой, когда же мне? Надо хозяйство вести, о муже заботиться — словом, у меня много всяких обязанностей, масса куда более важных дел!

Она посмотрела на часы. Шарль запаздывал. Она сделала вид, что беспокоится.

— Он такой добрый! — несколько раз повторила она.

Помощник нотариуса был расположен к г-ну Бовари. Но это проявление нежности к нему со стороны Эммы неприятно поразило Леона. Однако он тоже рассыпался в похвалах Шарлю и добавил, что все от него в восторге, особенно фармацевт.

— Да, он очень хороший человек! — молвила Эмма.

— Бесспорно,— подтвердил Леон.

И тут же заговорил о г-же Оме, над неряшливостью которой они оба часто посмеивались.

— Ну и что ж такого? — прервала его Эмма.— Настоящая мать семейства о своих туалетах не заботится.

И снова умолкла.

С этого дня так и пошло. Ее слова, поведение — все изменилось. Она вся ушла в хозяйство, постоянно бывала в церкви, приструнила служанку.

Берту она взяла домой. Когда приходили гости, Фелисите приносила ее, и г-жа Бовари раздевала девочку и показывала, какое у нее тельце. Она всех уверяла, что обожает детей. Это ее утешение, ее радость, ее помешательство. Ласки сопровождались у нее изъявлениями восторга, которые всем, кроме ионвильцев, могли бы напомнить вретишницу из *Собора Парижской Богоматери.*

Когда Шарль приходил домой, ему всегда теперь грелись подле истопленного камина туфли. У всех его жиле-

тов была теперь подкладка, на сорочках все до одной пуговицы были пришиты, ночные колпаки, ровными стопками разложенные в бельевом шкафу, радовали глаз. Когда супруги гуляли по саду, Эмма уже не хмурилась, как прежде; что бы Шарль ни предложил, она со всем соглашалась, всему подчинялась безропотно, не рассуждая. И когда Шарль, раскрасневшийся после сытного обеда, сидел у камелька, сложив руки на животе, поставив ноги на решетку, и глаза у него были масленые от испытываемого им блаженного состояния, когда девочка ползала по ковру, а эта женщина с гибким станом перевешивалась через спинку кресла и целовала мужа в лоб, Леон невольно думал:

«Что за нелепость! Ну как тут затронешь ее сердце?»

Эмма казалась Леону столь добродетельной, столь неприступной, что у него уже не оставалось и проблеска надежды.

Подавив в себе желания, Леон вознес ее на небывалую высоту. Чисто женские свойства отсутствовали в том образе, который он себе создал,— они уже не имели для него никакой цены. В его представлении она все больше и больше отрывалась от земли и, точно в апофеозе, с божественной легкостью уносилась в вышину. Он любил ее чистой любовью,— такая любовь не мешает заниматься делом, ее лелеют, потому что она не часто встречается в жизни, но радости этой любви перевешивает горе, которое она причиняет в конце.

Эмма похудела, румянец на ее щеках поблек, лицо вытянулось. Казалось, эта всегда теперь молчаливая женщина, с летящей походкой, с черными волосами, большими глазами и прямым носом, идет по жизни, едва касаясь ее, и несет на своем челе неясную печать какого-то высокого жребия. Она была очень печальна и очень тиха, очень нежна и в то же время очень сдержанна, в ее обаянии было что-то леденящее, бросавшее в дрожь,— так вздрагивают в церкви от благоухания цветов, смешанного с холодом мрамора. Никто не мог устоять против ее чар. Фармацевт говорил про нее:

— Удивительно способная женщина,— ей бы в субпрефектуре служить.

Хозяйки восхищались ее расчетливостью, пациенты — учтивостью, беднота — сердечностью.

А между тем она была полна вожделений, яростных желаний и ненависти. Под ее платьем с прямыми складками учащенно билось наболевшее сердце, но ее стыдли-

вые уста не выдавали мук. Эмма была влюблена в Леона, и она искала уединения, чтобы, рисуя себе его образ, насладиться им без помех. С его появлением кончалось блаженство созерцания. Заслышав его шаги, Эмма вздрагивала, при встрече с ним ее волнение утихало и оставалось лишь состояние полнейшей ошеломленности, которую постепенно вытесняла грусть.

Когда Леон, в полном отчаянии, уходил от нее, он не подозревал, что она сейчас же вставала и смотрела в окно, как он идет по улице. Ее волновала его походка, она следила за сменой выражений на его лице; она придумывала целые истории только для того, чтобы под благовидным предлогом зайти к нему в комнату. Она завидовала счастью аптекарши, спавшей под одной кровлей с ним. Мысли ее вечно кружились над этим домом, точно голуби из «Золотого льва», которые слетались туда купать в сточной трубе свои розовые лапки и белые крылья. Но чем яснее становилось Эмме, что она любит, тем настойчивее пыталась она загнать свое чувство внутрь, чтобы оно ничем себя не обнаружило, чтобы уменьшить его силу. Она была бы рада, если б Леон догадался сам. Ей приходили в голову разные стечения обстоятельств, катастрофы, которые могли бы облегчить им сближение. Удерживали ее, конечно, душевная вялость, страх, а кроме того, стыд. Ей казалось, что она его слишком резко оттолкнула, что теперь уже поздно, что все кончено. Но потом горделивая радость от сознания: «Я — честная женщина», радость — придав своему лицу выражение покорности, посмотреть на себя в зеркало, отчасти вознаграждала ее за принесенную, как ей казалось, жертву.

Веление плоти, жажда денег, томление страсти — все слилось у нее в одно мучительное чувство. Она уже не могла не думать о нем — мысль ее беспрестанно к нему возвращалась; она бередила свою рану, всюду находила для этого повод. Ее раздражали неаккуратно поданное блюдо, неплотно запертая дверь, она страдала, оттого что у нее нет бархата, оттого что она несчастна, от несбыточности своих мечтаний, оттого что дома у нее тесно.

Шарль, видимо, не догадывался о ее душевной пытке, и это приводило ее в бешенство. Он был убежден, что создал для нее счастливую жизнь, а ей эта его уверенность казалась обидной нелепостью, она расценивала ее как проявление черствости. Ради кого она была так благоразумна? Не он ли был ей вечной помехой на пути к

счастью, ее злой долей, острым шпеньком на пряжке туго стягивавшего ее ремня?

В конце концов она на него одного перенесла ту ненависть, которая накапливалась у нее в душе от многообразных огорчений, и малейшая попытка смягчить это чувство только обостряла его, оттого что бесплодное усилие становилось лишней причиной для отчаяния и еще больше способствовало отчужденности. Собственная кротость возмущала ее. Серость быта вызывала мечты о роскоши, ласки супруга — жажду измены. Ей хотелось, чтобы Шарль побил ее,— тогда бы у нее было еще больше оснований ненавидеть его и мстить. Порой ее самое пугали те страшные мысли, что приходили ей на ум. А между тем надо было продолжать улыбаться, выслушивать рассуждения о том, как она счастлива, делать вид, что так оно и есть на самом деле, оставлять в этом заблуждении других!

Лицемерие это ей претило. Ее одолевал соблазн бежать с Леоном — все равно куда, только как можно дальше, и там начать новую жизнь, но в душе у нее тотчас разверзалась мрачная бездна.

«Да он меня уже и не любит,— думалось ей.— Как же мне быть? От кого ждать помощи, участия, утешения?»

Из глаз ее катились слезы; обессилевшая, разбитая, она ловила ртом воздух и тихо всхлипывала.

— Почему же вы барину не скажете? — видя, что с ней припадок, спрашивала служанка.

— Это нервы,— отвечала Эмма.— Не говори ему, он только расстроится.

— Ну да, — отзывалась Фелисите, — у вас то же самое, что у Герины, дочки дядюшки Герена, рыбака из Боле. Я с ней познакомилась в Дьеппе еще до того, как поступила к вам. Она всегда была такая грустная, такая грустная! Станет на пороге — ну прямо черное сукно, что вешают у входа в день похорон. Это у нее, знать, такая болезнь была — что-то вроде тумана в голове, и никто ничего не мог поделать, ни доктора, ни священник. Когда уж очень лихо ей приходилось, она убегала к морю, и там ее часто видел при обходе таможенный досмотрщик: лежит ничком на гальке и плачет. Говорят, после свадьбы это у нее прошло.

— А у меня это началось после свадьбы,— говорила Эмма.

VI

Однажды вечером она сидела у открытого окна и смотрела, как причетник Лестибудуа подрезает кусты букса, но потом он вдруг исчез, и тотчас же зазвонил к вечерне колокол.

Это было в начале апреля, когда расцветают примулы, когда по разделанным грядкам кружится теплый ветер, а сады, словно женщины, наряжаются к летним праздникам. Сквозь переплет беседки далеко кругом было видно, какие затейливые излучины выписывает в лугах река. Вечерний туман поднимался меж безлистых тополей, скрадывая их очертания лиловою дымкой, еще более нежной и прозрачной, чем тонкий флер, повисший на ветвях. Вдали брело стадо, но не слышно было ни топота, ни мычанья, а колокол все звонил, в воздухе по-прежнему реяла его тихая жалоба.

Под этот мерный звон Эмма унеслась мыслью в давние воспоминания юности и пансиона. Ей припомнились высокие светильники на престоле, возвышавшиеся над цветочными вазами и дарохранительницей с колонками. Ей хотелось замешаться, как прежде, в длинный ряд белых косынок, кое-где оттенявшихся черными, стоявшими колом капюшонами инокинь, которые преклоняли колена на скамеечки. За воскресной литургией она поднимала глаза от молитвенника и меж сизых клубов ладана, возносившихся к куполу, видела кроткий лик девы Марии. На душу Эммы снизошло умиление. Она вдруг почувствовала, что она слаба и беспомощна, как пушинка, которую кружит вихрь. И, не рассуждая, направилась к церкви,— она готова была дать любой обет, лишь бы на его исполнение ушли все ее душевные силы, лишь бы он поглотил ее всю без остатка.

На площади ей встретился Лестибудуа, только что спустившийся с колокольни. Он звонил к вечерне между делом, когда ему было удобнее: оторвется от своих занятий, позвонит, потом опять за дела. Кроме того, преждевременным благовестом он созывал мальчиков на урок катехизиса.

Некоторые из них уже играли на могильных плитах в шары. Другие сидели верхом на ограде и болтали ногами, сбивая верхушки высокой крапивы, разросшейся между крайними могилами и низенькой каменной стенкой. Это

был единственный зеленый уголок на всем кладбище; дальше шел сплошной камень, несмотря на метлу сторожа вечно покрытый мелкою пылью.

Мальчишки в матерчатых туфлях бегали по кладбищу, как будто это был настланный для них паркет, их крики покрывали гудение колокола. Звон ослабевал вместе с качаньем толстой веревки, конец которой, спускаясь с колокольни, волочился по земле. Рассекая воздух своим режущим лётом, с визгом проносились ласточки и мгновенно исчезали в гнездах, желтевших под черепицей карниза. В глубине церкви горела лампада, попросту говоря — фитиль от ночника в подвешенной плошке. Издали свет ее можно было принять за мутное пятно, мерцающее поверх масла. Длинный луч солнца тянулся через весь корабль, и от этого все углы и боковые приделы казались еще сумрачнее.

— Где священник? — обратилась г-жа Бовари к мальчугану, который от нечего делать вертел расхлябанный турникет.

— Сейчас придет,— ответил мальчуган.

В самом деле, дверь в доме священника скрипнула, и на пороге появился аббат Бурнизьен; мальчишки гурьбой кинулись в церковь.

— Вот безобразники! — пробормотал священник.— Одно баловство на уме.

Наступив на растрепанный катехизис, он нагнулся и поднял его.

— Ничего для них нет святого!

Но тут он увидел г-жу Бовари.

— Извините,— сказал он,— я вас не узнал.

Он сунул катехизис в карман и, все еще раскачивая двумя пальцами тяжелый ключ от ризницы, остановился.

Заходящее солнце било ему прямо в глаза, и в его свете лоснившаяся на локтях ластиковая сутана с обтрепанным подолом казалась менее темной. Широкую грудь вдоль ряда пуговок усеяли следы жира и табака; особенно много их было внизу, где от них не защищал нагрудник, на который свисали складки красной кожи, испещренной желтыми пятнами, прятавшимися в щетине седеющей бороды. Священник громко сопел — он только что пообедал.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он.

— Плохо,— ответила Эмма.— Я страдаю.

— Вот и я тоже! — подхватил священнослужитель.—

Первые дни жары невероятно расслабляют, правда? Ну да ничего не поделаешь! Мы рождены для того, чтобы страдать,— так нас учит апостол Павел. А как смотрит на ваше самочувствие господин Бовари?

— Никак! — презрительно поведя плечами, ответила Эмма.

— Да неужели? — в полном изумлении воскликнул простодушный священник.— Он вам ничего не прописывает?

— Ах, я в его лекарствах не нуждаюсь! — молвила Эмма.

Священник между тем все поглядывал, что делают в церкви мальчишки, а мальчишки, стоя на коленях, толкали друг друга плечом и потом вдруг падали, как карточные домики.

— Мне важно знать... — снова заговорила Эмма.

— Погоди, погоди, Наблудэ! Я тебе уши нарву, сорванец! — сердито крикнул священник и обратился к Эмме:— Это сын плотника Будэ. Родители у него зажиточные, вот они его и балуют. А так малый способный, был бы хорошим учеником, если б не лень. Я иногда в шутку называю его Наблудэ. Ха-ха-ха! Вечно он что-нибудь наблудит, напроказит... Недавно я рассказал про это владыке, так он посмеялся... изволил смеяться... Ну, а как господин Бовари поживает?

Эмма, видимо, не слушала его.

— Наверно, как всегда, в трудах! — продолжал священник.— Мы ведь с ним самые занятые люди во всем приходе. Но только он врачует тело, а я — душу! — с раскатистым смехом добавил он.

Эмма подняла на него умоляющий взор.

— Да...— сказала она.— Вы утешаете во всех скорбях.

— Ах, и не говорите, госпожа Бовари! Не далее как сегодня утром мне пришлось идти в Ба-Дьовиль из-за коровы: ее раздуло, а они думают, что это от порчи. Нынче с этими коровами прямо беда... Виноват! Одну минутку! Лонгмар и Будэ! Да перестанете вы или нет, балбесы вы этакие?

Священник устремился в церковь.

Ребята в это время толклись вокруг высокого аналоя, влезали на скамеечку псаломщика, открывали служебник; другие крадучись уже подбирались к исповедальне. Неожиданно на них посыпался град оплеух. Священнослужитель хватал их за шиворот, отрывал от пола, а потом с та-

кой силой ставил на колени, точно хотел вбить в каменный пол.

— Да, так вот,— вернувшись к Эмме, сказал он и, зажав в зубах уголок большого ситцевого носового платка, принялся развертывать его.— Крестьянам тяжело живется.

— Не только одним крестьянам,— возразила Эмма.

— Совершенно справедливо! Взять хотя бы рабочих в городах.

— Да нет...

— Простите, мне эта среда знакома! И я знаю случаи, когда у несчастных матерей, добродетельных, ну просто святых женщин, не было подчас куска хлеба.

— Но те, ваше преподобие, — возразила Эмма, и углы губ у нее дрогнули,— те, у кого есть хлеб, но нет...

— Дров на зиму? — подсказал священник.

— Это не беда!

— То есть как не беда? По-моему, если человек живет в тепле, в сытости... ведь в конце-то концов...

— Боже мой! Боже мой! — вздыхала Эмма.

— Вы неважно себя чувствуете? — подойдя к ней вплотную, с обеспокоенным видом спросил священник.— Наверно, желудок не в порядке? Идите-ка домой, госпожа Бовари, выпейте чайку для бодрости или же холодной воды с сахаром.

— Зачем?

Эмма словно только сейчас проснулась.

— Вы держитесь за голову. Я и подумал, что вам нехорошо. Ах да,— спохватился священник,— вы хотели меня о чем-то спросить. Что такое? Я понятия не имею.

— Спросить? Нет, ничего... ничего...— повторяла Эмма.

И ее блуждающий взгляд задержался на старике в сутане. Оба молча смотрели друг на друга в упор.

— В таком случае, госпожа Бовари, извините,— сказал наконец священник,— долг, знаете ли, прежде всего. Мне пора заняться с моими шалопаями. Скоро день их первого причастия. Боюсь, как бы они меня не подвели! Поэтому с самого Вознесения я регулярно каждую среду задерживаю их на час. Ох, уж эти дети, дети! Надо как можно скорее направить их на путь спасения, как то заповедал нам сам господь устами божественного своего сына. Будьте здоровы, сударыня! Кланяйтесь, пожалуйста, вашему супругу!

И, преклонив у входа колена, он вошел в церковь.

Эмма смотрела ему вслед до тех пор, пока он не скрылся из виду: растопырив руки, склонив голову чуть-чуть набок, он тяжело ступал между двумя рядами скамеек.

Затем она повернулась, точно статуя на оси, и пошла домой. Но еще долго преследовал ее зычный голос священника и звонкие голоса мальчишек:

— Ты христианин?

— Да, я христианин.

— Кто есть христианин?

— Христианин есть тот, кто принял таинство крещения... крещения... крещения...

Держась за перила, Эмма поднялась на крыльцо, и, как только вошла к себе в комнату, опустилась в кресло.

В окна струился мягкий белесоватый свет. Все предметы стояли на своих местах и казались неподвижней обычного,— они словно тонули в океане сумерек. Камин погас, маятник стучал себе и стучал, и Эмма бессознательно подивилась, как это вещи могут быть спокойны, когда в душе у нее так смутно. Между окном и рабочим столиком ковыляла в вязаных башмачках маленькая Берта; она пыталась подойти к матери и уцепиться за завязки ее передника.

— Отстань! — отведя ее руки, сказала Эмма.

Немного погодя девочка еще ближе подошла к ее коленям. Упершись в них ручонками, она подняла на мать большие голубые глаза; изо рта у нее на шелковый передник Эммы стекала прозрачная струйка слюны.

— Отстань! — в сердцах повторила мать.

Выражение ее лица испугало девочку, и она расплакалась.

— Да отстанешь ты от меня наконец? — толкнув её локтем, крикнула Эмма.

Берта упала около самого комода и ударилась о медное украшение; она разрезала себе щеку, показалась кровь. Г-жа Бовари бросилась поднимать ее, позвонила так, что чуть не оборвала шнурок, истошным голосом стала звать служанку, проклинала себя, но тут вдруг появился Шарль. Он пришел домой обедать.

— Посмотри, дружок,— спокойно заговорила Эмма,— девочка упала и поранила себе щечку.

Шарль уверил жену, что ничего опасного нет, и побежал за пластырем.

Госпожа Бовари не вышла в столовую — ей хотелось остаться здесь и поухаживать за ребенком. Она смотрела

на уснувшую Берту, последние остатки ее тревоги мало-помалу рассеялись, и Эмма подумала о себе, что она очень глупа и очень добра, иначе бы не стала расстраиваться по пустякам. В самом деле, Берта уже не всхлипывала. Бумажное одеяльце чуть заметно шевелилось теперь от ее дыхания. В углах полузакрытых ввалившихся глаз стояли крупные слезы; меж ресниц видны были матовые белки; липкий пластырь натягивал кожу поперек щеки.

«На редкость некрасивый ребенок!» — думала Эмма.

Вернувшись из аптеки в одиннадцать часов вечера (он пошел туда после обеда отдать остаток пластыря), Шарль застал жену подле детской кроватки.

— Уверяю тебя, что все пройдет! — сказал он, целуя ее в лоб.— Не мучь ты себя, бедняжечка, а то сама заболеешь!

В тот вечер он засиделся у аптекаря. Хотя он и не имел особенно расстроенного вида, все же г-н Оме старался ободрить его, «поднять его дух». Разговор зашел о различных опасностях, грозящих детям, о легкомыслии прислуги. Г-жа Оме знала это по опыту — на груди у нее так и остались следы от горящих углей, давным-давно упавших ей за фартук с совка, который держала кухарка. Вот почему нежные родители г-н и г-жа Оме были особенно осторожны. Ножи у них в доме никогда не точились, полы не натирались. Окна были забраны железной решеткой, камины ограждены решеточками из толстых прутьев. Дети Оме пользовались самостоятельностью, и тем не менее за каждым их шагом зорко следили; при малейшей простуде отец поил их микстурами от кашля, лет до пяти их заставляли носить стеганые шапочки. Правда, это была уже мания г-жи Оме; супруг ее в глубине души был недоволен, — он боялся, как бы давление шапочек на мозг не повлияло на умственные способности; иной раз он даже не выдерживал и говорил:

— Ты что же это, хочешь сделать из них караибов или ботокудов?

Шарль между тем неоднократно пытался прервать беседу.

— Мне надо с вами поговорить,— шепнул он при выходе Леону, который стал было подниматься к себе.

«Неужели он что-то заподозрил?» — подумал тот. Сердце у него сильно билось, он терялся в догадках.

Затворив за собой дверь, Шарль обратился к нему с просьбой разузнать в Руане, сколько может стоить хоро-

ший дагерротип; он хочет сделать жене трогательный сюрприз в знак особого внимания — сняться в черном фраке и преподнести ей свой портрет. Но только прежде надо бы «прицениться». Шарль, однако, надеется, что это поручение на затруднит г-на Леона,— все равно он почти каждую неделю ездит в город.

Зачем? Оме подозревал тут «проказы ветреной молодости», какую-нибудь интрижку. Но он ошибался: никаких любовных похождений у Леона не было. Никогда еще он так не грустил. Г-жа Лефрансуа судила об этом по тому, как много еды оставалось у него теперь на тарелках. Чтобы дознаться, в чем тут дело, она обратилась за разъяснениями к податному инспектору; Бине сухо ответил ей, что он «в полиции не служит».

Впрочем, и на Бине его сотрапезник производил весьма странное впечатление, — Леон часто откидывался на спинку стула и, разводя руками, в туманных выражениях жаловался на жизнь.

— Вам надо развлекаться,— говорил податной инспектор.

— Как развлекаться?

— Я бы на вашем месте завел токарный станок!

— Я же не умею точить!

— Да, это правда! — презрительно и самодовольно поглаживая подбородок, соглашался Бине.

Безответная любовь истомила Леона; к душевной усталости примешалось еще уныние, порожденное однообразием бесцельного, беспросветного существования. Ему до того опостылели Ионвиль и его обитатели, что он уже видеть не мог некоторых знакомых, некоторые дома. Фармацевта, несмотря на все его добродушие, он буквально не выносил. А между тем перемена обстановки не только прельщала, но и пугала его.

Впрочем, боязнь скоро уступила место нетерпению; Париж издалека манил его к себе музыкой на балах-маскарадах и смехом гризеток. Ведь ему все равно необходимо закончить юридическое образование,— так что же он не едет? Кто ему мешает? И он стал мысленно готовиться к отъезду. Он заблаговременно обдумал план занятий. Решил, как именно обставить комнату. Он будет вести артистический образ жизни! Будет учиться играть на гитаре! Заведет халат, баскский берет, голубые бархатные туфли! Он представлял себе, как он повесит над камином две скрещенные рапиры, а над рапирами — гитару и череп.

Главная трудность заключалась в том, чтобы получить согласие матери; в сущности же, это был в высшей степени благоразумный шаг. Даже сам патрон советовал ему перейти в другую контору, где он мог бы найти себе более широкое поле деятельности. Леон принял сначала компромиссное решение, стал искать место младшего помощника нотариуса в Руане, но не нашел и только после этого написал матери длинное письмо, подробно изложив причины, по которым ему необходимо было немедленно переехать в Париж. Мать согласилась.

Леон не спешил. В течение месяца Ивер каждый день возил ему из Ионвиля в Руан, из Руана в Ионвиль сундуки, чемоданы, тюки, но, пополнив свой гардероб, перебив свои три кресла, накупив уйму кашне, словом, приготовившись так, как не готовятся и к кругосветному путешествию, он потом стал откладывать отъезд с недели на неделю — до тех пор, пока не пришло второе письмо от матери, в котором она торопила его, ссылаясь на то, что сам же он хотел сдать экзамены до каникул.

Когда настал час разлуки, г-жа Оме заплакала, Жюстен зарыдал; один лишь г-н Оме, будучи человеком мужественным, сдержался,— он только изъявил желание донести пальто своего друга до калитки нотариуса, который вызвался отвезти Леона в Руан в своем экипаже. Времени у Леона оставалось в обрез, только чтобы успеть проститься с г-ном Бовари.

Взбежав по лестнице, он так запыхался, что принужден был остановиться. Как только он вошел, г-жа Бовари встала.

— Это опять я! — сказал Леон.

— Я так и знала!

Эмма кусала себе губы; кровь прилила у нее к лицу, и она вся порозовела — от корней волос до самого воротничка. Она продолжала стоять, прислонившись плечом к стене.

— Вашего супруга нет дома? — спросил Леон.

— Нет. — И еще раз повторила: — Нет.

Наступило молчание. Они смотрели друг на друга, и мысли их, проникнутые одним и тем же тоскливым чувством, сближались, как два трепещущих сердца.

— Мне хочется поцеловать Берту, — сказал Леон.

Эмма спустилась на несколько ступенек и позвала Фелисите.

Леон пробежал глазами по стенам, по этажеркам, по

камину, точно хотел проникнуть всюду, все унести с собой.

Но Эмма вернулась, а служанка привела Берту,— девочка дергала веревку, к которой была вверх ногами привязана игрушечная ветряная мельница.

Леон несколько раз поцеловал Берту в шейку.

— Прощай, милое дитя! Прощай, дорогая крошка, прощай!

И отдал ее матери.

— Уведите ее,— сказала Эмма.

Они остались одни.

Госпожа Бовари повернулась к Леону спиной и прижалась лицом к оконному стеклу; Леон тихонько похлопывал фуражкой по ноге.

— Будет дождь,— молвила Эмма.

— У меня плащ,— сказал Леон.

— А!

Она снова повернулась к нему; голова у нее была опущена, свет скользил по ее лбу, как по мрамору, до самых надбровных дуг, и никто бы не мог догадаться, что высматривала она сейчас на горизонте, что творилось у нее в душе.

— Ну, прощайте! — вздохнул Леон.

Она резким движением подняла голову:

— Да, прощайте... Пора!

Они двинулись друг к другу; он протянул руку, она заколебалась.

— Давайте по-английски,— сказала она и, силясь улыбнуться, подняла руку.

Пальцы Леона коснулись ее, и в эту минуту у него было такое чувство, точно все его существо проникает сквозь ее влажную кожу.

Потом он разжал ладонь; их взгляды встретились снова, и он удалился.

Дойдя до крытого рынка, он спрятался за столб, чтобы в последний раз поглядеть на белый дом с четырьмя зелеными жалюзи. Ему показалось, что за окном, в комнате, мелькнула тень. Но тут вдруг занавеска как бы сама отцепилась и, медленно шевельнув своими длинными косыми складками, отчего они сразу разгладились, распрямилась и осталась неподвижной, точно каменная стена. Леон бросился бежать.

Он издали увидел на дороге кабриолет патрона; какой-

то человек в холщовом фартуке держал лошадь под уздцы. Г-н Гильомен разговаривал с Оме. Леона ждали.

— Давайте обнимемся,— со слезами на глазах сказал аптекарь.— Вот ваше пальто, дорогой друг. Смотрите не простудитесь! Следите за собой! Берегите себя!

— Ну, Леон, садитесь! — сказал нотариус.

Оме перегнулся через крыло экипажа и сдавленным от рыданий голосом проронил печальные слова:

— Счастливый путь!

— Будьте здоровы! — сказал г-н Гильомен.— Пошел!

Они уехали. Оме повернул обратно.

Госпожа Бовари открыла окно в сад и стала смотреть на тучи.

Скопляясь на западе, в стороне Руана, они быстро развертывали свои черные свитки, длинные лучи солнца пронзали их, точно золотые стрелы висящего трофея, а чистая часть неба отливала фарфоровой белизной. Внезапно налетевший ветер пригнул тополя, и полил дождь; капли его зашуршали по зеленой листве. Потом опять выглянуло солнце, запели петухи, захлопали крылышками в мокрых кустах воробьи, по песку побежали ручейки, унося с собой розовые лепестки акации.

«Он уж теперь, наверно, далёко!» — подумала Эмма.

В половине седьмого, во время обеда, пришел, как всегда, г-н Оме.

— Что ж, проводили мы нашего юношу? — заговорил он, присаживаясь.

— Как будто бы так! — отозвался лекарь и, обернувшись к г-ну Оме, спросил: — А у вас что новенького?

— Ничего особенного. Вот только жена моя сегодня расстроилась. Ох, уж эти женщины: любой пустяк может их взволновать. А про мою жену и говорить нечего! Тут уж ничего не поделаешь — нервная система у женщин гораздо чувствительнее нашей.

— Бедный Леон! — заговорил Шарль.— Каково-то ему будет в Париже?.. Приживется ли он там?

Госпожа Бовари вздохнула.

— Полноте! — сказал фармацевт и прищелкнул языком. — Пирушки у рестораторов! Маскарады! Шампанское! Все пойдет как по маслу, можете мне поверить!

— Я не думаю, что он собьется с пути,— возразил Шарль.

— Я тоже! — живо отозвался г-н Оме. — Но ему нельзя будет отставать от других, иначе он прослывет ханжой. А вы не представляете себе, что вытворяют эти повесы в Латинском квартале со своими актрисами! Впрочем, к студентам в Париже относятся превосходно. Те из них, кто умеет хоть чем-нибудь развлечь общество, приняты в лучших домах. В них даже влюбляются дамы из Сен-Жерменского предместья, и они потом очень удачно женятся.

— Но я боюсь...— сказал лекарь,— боюсь, что там...

— Вы правы,— перебил его фармацевт,— это оборотная сторона медали. Там надо ох как беречь карманы! Вот вы, предположим, гуляете в увеселительном саду. Появляется некто, хорошо одетый, даже с орденом, по виду — дипломат, подходит к вам, заговаривает, подлаживается, предлагает свою табакерку, поднимает вам шляпу. Вы уже подружились, он ведет вас в кафе, приглашает к себе в имение, за стаканом вина знакомит с разными людьми, и в семидесяти пяти случаях из ста все это только для того, чтобы стянуть у вас кошелек или вовлечь в какое-нибудь разорительное предприятие.

— Это верно,— согласился Шарль.— Но я-то имел в виду главным образом болезни — брюшной тиф, например, им часто болеют студенты, приехавшие из провинции.

Эмма вздрогнула.

— Вследствие перемены режима,— подхватил фармацевт, — и вследствие потрясения, которое из-за этого переживает весь организм. А потом, знаете ли, парижская вода! Ресторанный стол! Вся эта острая пища в конце концов только горячит кровь. Что ни говорите, а хороший бульон куда полезнее! Я лично всегда предпочитал домашнюю кухню — это здоровее! Поэтому, когда я изучал в Руане фармацевтику, я был на полном пансионе, я столовался вместе с профессорами.

Аптекарь продолжал высказывать суждения общего характера и толковать о своих личных вкусах, пока за ним не пришел Жюстен и не сказал, что пора делать гоголь-моголь.

— Ни минуты покоя! — воскликнул аптекарь.— Вечно на привязи! На один миг нельзя отлучиться! Трудись до кровавого пота, как рабочая лошадь! Хомут нищеты!

Уже на пороге фармацевт спросил:

— Да, знаете новость?

— Какую?

— Весьма возможно,— поднимая брови и придавая своему лицу многозначительное выражение, сказал Оме,— что в этом году сельскохозяйственная выставка Нижней Сены будет в Ионвиль-л'Аббеи. Такие по крайней мере ходят слухи. На это намекает и сегодняшняя газета. Для нашего округа это будет иметь огромное значение! Мы еще об этом поговорим. Благодарю вас, мне хорошо видно — у Жюстена фонарь.

VII

Следующий день был для Эммы тягостным днем. Ей казалось, будто все вокруг нее повито какой-то черной мглой, чуть заметно колышущейся на поверхности предметов, и, жалобно воя, точно зимний ветер в пустом замке, все глубже оседала в ее душе тоска. То были думы о невозвратном, усталость, охватывающая человека после какого-нибудь сделанного дела, и, наконец, боль, которую испытываешь, чуть только прекратится уже ставший привычным душевный подъем, едва лишь внезапно ослабнет длительное душевное напряжение.

Как и по возвращении из Вобьесара, когда в голове у нее кружился вихрь кадрилей, она впала в черную меланхолию, в мрачное отчаяние. Леон представлялся ей стройнее, красивее, обаятельнее, загадочнее, чем когда бы то ни было. Разлучившись с нею, он ее не покинул, он был здесь,— стены дома, казалось, сторожили его тень. Она не могла отвести глаза от ковра, по которому он ступал, от стульев, на которых он сидел. Река струилась по-прежнему, неторопливо пронося свою легкую зыбь мимо скользкого берега. Они часто гуляли здесь вдвоем по замшелым камням, под неумолкающий плеск волн. Как ярко светило им солнце! Как любили они укрыться от полдневного зноя в тенистом уголке сада! Он сидел с непокрытой головой на скамейке с ветхими столбиками и читал вслух. Свежий луговой ветер шевелил страницы книги и настурции возле беседки... И вот он уехал, единственная радость ее жизни, единственная надежда на счастье! Как могла она упустить это блаженство, когда оно само шло ей навстречу? Почему она не упала на колени и не ухватилась за него обеими руками, когда оно собиралось улететь? Она проклинала себя за то, что не полюбила тогда Леона,— теперь она жаждала его поцелуев. Ей хотелось бежать за ним, упасть

в его объятия, сказать ему: «Это я, я — твоя!» Но ее заранее отпугивали препятствия, и чувство горечи, примешиваясь к желаниям, лишь усиливало их.

С той поры память о Леоне стала как бы средоточием ее тоски. Она горела в ее душе ярче, нежели костер, разведенный на снегу путешественниками в русской степи. Эмма бросалась к огню, грелась около него, осторожно помешивала в этом догоравшем очаге, всюду искала, что бы еще в него подбросить. Самые далекие воспоминания и совсем недавние происшествия, то, что она испытала, и то, что она воображала, разлетевшиеся сладострастные мечты, думы о счастье, ломавшиеся на ветру, как сухие ветки, ее никому не нужная нравственность, ее неутоленные чаяния, домашние дрязги — все это она подбирала, все это она ловила, все это годилось, чтобы разжечь ее кручину.

И все же пламя погасло,— быть может, оттого, что не хватило топлива, а быть может, наоборот, оттого, что Эмма слишком много сразу его положила. Разлука мало-помалу притушила любовь, привычка приглушила тоску, зарево пожара, заливавшее багрянцем пасмурное небо Эммы, с каждым днем все бледнело, а потом и совсем померкло. Усыпленное сознание Эммы принимало отвращение к мужу за влечение к любимому человеку, ожоги злобы — за вспышки нежности. Но буря не утихала, а страсть сгорела дотла, помощь ниоткуда не приходила, луч солнца ниоткуда не пробивался, со всех сторон ее обступала темная ночь, и она вся закоченела от дикого, до костей пробирающего холода.

Мрачная полоса жизни в Тосте повторялась для нее сызнова. Но только теперь она считала себя еще несчастнее, ибо уже познала горе и прониклась уверенностью, что оно неизбывно.

Женщина, принесшая такие огромные жертвы, может позволить себе некоторые прихоти. Эмма купила готическую скамеечку, за один месяц истратила четырнадцать франков на лимоны для полировки ногтей, выписала из Руана голубое кашемировое платье, выбрала у Лере самый красивый шарф, стала подпоясывать им капот и в этом наряде при закрытых ставнях лежала с книгой в руках на диване.

Теперь она часто меняла прическу: то причесывалась по-китайски, то распускала волнистые локоны, то заплетала косы; потом сделала себе сбоку пробор, сзади подвернула волосы, и у нее вышло подобие мужской прически.

Ей захотелось выучиться итальянскому языку: она обзавелась словарями, купила грамматику, купила бумаги. Попробовала читать серьезные книги по истории и философии. Шарль иногда просыпался ночью и вскакивал — ему казалось, что его зовут к больному.

— Сейчас приду,— бормотал он.

Но это Эмма, зажигая лампу, чиркала спичкой. Между тем с книгами повторилась та же история, что с вышиваньем: весь шкаф у нее был завален неоконченными работами, и точно так же Эмма брала одну книгу, бросала и принималась за другую.

Временами Эмму охватывало лихорадочное возбуждение, и тогда ее легко можно было подбить на любую дикую выходку: как-то раз она поспорила с мужем, что выпьет залпом полстакана водки, и так как Шарль имел глупость раззадорить ее, то она и выпила все до дна.

Несмотря на свои чудачества, как выражались ионвильские дамы, Эмма все же не производила впечатления жизнерадостной женщины, углы ее рта были вечно опущены, как у старой девы или у незадачливого честолюбца. Она всегда была бледна, бела, как полотно, морщила нос, смотрела на всех невидящим взглядом. Обнаружив у себя на висках три седых волоса, она заговорила о том, что начинает стареть.

Она заметно слабела. Как-то раз у нее даже открылось кровохарканье. Шарль встревожился, забегал.

— А, да не все ли равно! — сказала она.

Шарль забился в свой кабинет, сел в кресло и, облокотившись на письменный стол, на котором возвышалась френологическая голова, заплакал.

Он выписал мать, и они вели долгие разговоры об Эмме.

Как быть? Что с ней делать, раз она отказывается от всякого лечения?

— Знаешь, как бы надо поступить с такой женой? — твердила г-жа Бовари-мать.— Приучить ее заниматься делом, ручным трудом! Пришлось бы ей, как другим, работать ради куска хлеба, так небось сразу бы поздоровела, — это у нее все оттого, что голова не тем забита, да от безделья.

— Она все-таки занимается,— возражал Шарль.

— Занимается! А чем? Романы читает, вредные книги, в которых против религии пишут, да, подражая Вольтеру, высмеивают духовенство. Проку от этого не жди, бедный

мой мальчик! Кто не верит в бога, тот добром не кончит.

Словом, было решено не давать Эмме читать романы. Задача была не из легких. Тем не менее г-жа Бовари-мать взяла это на себя: она обещала проездом через Руан зайти к библиотекарю и сказать, что Эмма отказывается от абонемента. Если же библиотекарь, этот змей-искуситель, станет упорствовать, то ведь недолго и в полицию заявить.

Свекровь и невестка простились холодно. Если не считать обычных вопросов во время еды и пожеланий спокойной ночи, то за три недели, что они прожили вместе, они и двух слов не сказали друг другу.

Госпожа Бовари-мать уехала в среду — в Ионвиле это был базарный день.

С утра на площади вдоль домов, от церкви и до трактира, выстроился ряд телег, поставленных на задок, вверх оглоблями. На противоположной стороне в брезентовых палатках торговали бумажными тканями, одеялами, шерстяными чулками, недоуздками, синими лентами в связках, и концы этих лент плескались на ветру. Между пирамидами яиц и плетушками с сыром, из которых торчала склеившаяся солома, прямо на землю был свален грузный скобяной товар; рядом с сельскохозяйственными орудиями, высовывая головы между прутьями низких клеток, кудахтали куры. Толпа сгрудилась на одном месте и по временам так напирала, что витрина аптеки грозила треснуть. По средам здесь всегда была толкотня — люди протискивались в аптеку не столько за лекарствами, сколько для того, чтобы посоветоваться с Оме, — так он был популярен в окрестных селениях. Его несокрушимая самоуверенность пленяла сельчан. Лучшего лекаря, чем он, они не могли себе представить.

Эмма сидела, облокотившись на подоконник (это было ее излюбленное место — в провинции окно заменяет театр и прогулки), и от скуки смотрела на толпившееся мужичье, как вдруг внимание ее остановил господин в зеленом бархатном сюртуке. На нем были щегольские желтые перчатки и вместе с тем грубые краги. Направлялся он к докторскому дому, а за ним, понурив голову, задумчиво брел крестьянин.

— Барин дома? — спросил незнакомец Жюстена, который болтал на пороге с Фелисите.

Все еще принимая Жюстена за слугу доктора, он добавил:

— Скажите, что его спрашивает господин Родольф Буланже де Ла Юшет.

Новоприбывший присоединил к своему имени название географического пункта не из местного патриотизма, а для того, чтобы сразу дать понять, кто он такой. Под Ионвилем действительно было поместье Ла Юшет, и он его купил вместе с барской усадьбой и двумя фермами: управлял он имением сам, но жил на довольно широкую ногу. Говорили, что у этого холостяка «по меньшей мере пятнадцать тысяч ренты».

Шарль вошел в залу. Г-н Буланже сказал, что вот этот его работник желает, чтобы ему отворили кровь, а то-де у него «мурашки по всему телу бегают».

— Мне от этого полегчает,— на все доводы отвечал работник.

Бовари велел принести бинт и попросил Жюстена подержать таз. Видя, что малый побледнел, он его подбодрил:

— Не бойся, милейший, не бойся!

— Ничего, ничего,— ответил тот,— действуйте!

И, расхрабрившись, протянул свою ручищу. Из-под ланцета выбилась струя крови и забрызгала оконное стекло.

— Ближе таз! — крикнул Шарль.

— Вот на! — сказал крестьянин. — Прямо целый фонтан! А кровь-то какая красная! Ведь это хорошо?

— Некоторые сперва ничего не чувствуют, а потом вдруг теряют сознание,— заметил лекарь.— Особенно часто это бывает с людьми крепкого телосложения, как вот он.

При этих словах сельчанин выронил футляр от ланцета, который он все время вертел в руке. У него так свело плечи, что затрещала спинка стула. Шапка упала на пол.

— Так я и знал,— зажимая пальцем вену, сказал Бовари.

В руках у Жюстена заплясал таз, колени у него подгибались, он побледнел.

— Жена! Жена! — позвал Шарль.

Эмма сбежала с лестницы.

— Уксусу! — крикнул он.— Ах, боже мой, сразу двое!

От волнения Шарль с трудом наложил повязку.

— Пустяки! — подхватив Жюстена, совершенно спокойно сказал г-н Буланже.

Он усадил его на стол и прислонил спиной к стене.

Госпожа Бовари стала снимать с Жюстена галстук. Шнурки его рубашки были завязаны на шее узлом. Тонкие пальцы Эммы долго распутывали его. Потом, смочив свой батистовый платок уксусом, она начала осторожно тереть ему виски и тихонько дуть на них.

Конюх очнулся, а Жюстен все никак не мог прийти в себя, зрачки его, тонувшие в мутных белках, напоминали голубые цветы в молоке.

— Это надо убрать от него подальше,— сказал Шарль.

Госпожа Бовари взяла таз. Чтобы задвинуть его под стол, она присела, и ее платье, летнее желтое платье (длинный лиф и широкая юбка с четырьмя воланами), прикрыло плиты пола. Нагнувшись и расставив локти, она слегка покачивалась, и при колебаниях ее стана колокол платья местами опадал. Потом она взяла графин с водой и бросила туда несколько кусков сахара, но в это время подоспел фармацевт. Пока все тут суетились, служанка за ним сбегала. Увидев, что глаза у племянника открыты, он облегченно вздохнул. Потом обошел его со всех сторон и смерил взглядом.

— Дурак! — говорил он.— Право, дурачина! Набитый дурак! Велика важность — флеботомия! А ведь такой храбрец! Вы не поверите, это сущая белка, за орехами лазает на головокружительную высоту. Ну-ка, похвастайся! А как же твои благие намерения? Ты ведь хочешь быть фармацевтом. Тебя могут вызвать в суд, дабы ты пролил свет на какое-нибудь чрезвычайно запутанное дело, и тебе надо будет сохранять спокойствие, рассуждать, вести себя, как подобает мужчине, а иначе тебя примут за идиота!

Ученик в ответ не произнес ни слова.

— Кто тебя сюда звал? — продолжал аптекарь.— Вечно надоедаешь доктору и его супруге! Как раз по средам мне твоя помощь особенно необходима. Сейчас в аптеке человек двадцать. А я вот пожалел тебя и все бросил. Ну, иди! Живо! Жди меня и поглядывай за склянками!

Жюстен, приведя себя в порядок, удалился, и тут речь зашла о дурноте. Г-жа Бовари никогда ею не страдала.

— Для женщины это редкость! — заметил г-н Буланже. — А ведь есть на свете очень слабые люди. При мне на поединке секундант потерял сознание, как только стали заряжать пистолеты.

— А меня вид чужой крови ничуть не пугает,— заговорил аптекарь.— Но если я только представлю себе, что

кровь течет у меня самого, и буду развивать эту мысль, вот тогда мне ничего не стоит лишиться чувств.

Господин Буланже отпустил своего работника и велел ему успокоиться, коль скоро прихоть его удовлетворена.

— Впрочем, благодаря этой прихоти я имел удовольствие познакомиться с вами,— добавил он, глядя на Эмму.

Затем положил на угол стола три франка, небрежно кивнул головой и вышел.

Немного погодя он был уже за рекой (дорога в Ла Юшет тянулась вдоль того берега). Эмма видела, как он шел по лугу под тополями, порой как бы в раздумье замедляя шаг.

— Очень мила! — говорил он сам с собой.— Очень мила эта докторша! Хорошенькие зубки, черные глаза, кокетливая ножка, а манеры, как у парижанки. Откуда она, черт побери, взялась? Где ее подцепил этот увалень?

Родольфу Буланже исполнилось тридцать четыре года; у этого грубого по натуре и проницательного человека в прошлом было много романов, и женщин он знал хорошо. Г-жа Бовари ему приглянулась, и теперь он все думал о ней и о ее муже.

«По-моему, он очень глуп... Она, наверно, тяготится им. Ногти у него грязные, он по три дня не бреется. Пока он разъезжает по больным, она штопает ему носки. И как же ей скучно! Хочется жить в городе, каждый вечер танцевать польку. Бедная девочка! Она задыхается без любви, как рыба без воды на кухонном столе. Два-три комплимента, и она будет вас обожать, ручаюсь! Она будет с вами нежна! Обворожительна!.. Да, а как потом от нее отделаться?»

В предвидении тьмы наслаждений, которые может доставить Эмма, он по контрасту вспомнил о своей любовнице. Он содержал руанскую актрису. И вот, когда ее образ возник перед ним, он при одной мысли о ней почувствовал пресыщение.

«Нет, госпожа Бовари гораздо красивее! — подумал он.— А главное, свежее. Виржини уж очень расплылась. Ее восторженность мне опротивела. А потом, эта ее страсть к креветкам!»

Кругом не было ни души, и Родольф слышал только мерный шорох травы, бившей его по башмакам, да стрекотанье кузнечиков в овсах. Ему представлялась Эмма, как она была у себя в зале, точь-в-точь так же одетая, и мысленно он раздевал ее.

— Она будет моя! — разбивая палкой сухой ком земли, воскликнул он.

И сейчас же стал думать о том, как за это дело взяться.

«Где мы с ней будем видеться? — задавал он себе вопрос.— Каким образом? Свою девчонку она, верно, с рук не спускает, а тут еще служанка, соседи, муж, — возни не оберешься».

— Только время зря потратишь! — проговорил он вслух.

А потом опять начал вспоминать.

«Глаза ее, как два буравчика, впиваются тебе прямо в сердце. А какая она бледная!.. Обожаю бледных женщин!»

На вершине Аргейльского холма решение его созрело.

«Надо ждать удобного случая, вот и все. Что ж, буду к ним заходить, пришлю им дичи, живности. Попрошу себе даже кровь пустить, если нужен будет предлог. Мы подружимся, я приглашу их к себе...»

— Дьявольщина! — воскликнул он.— Ведь скоро выставка. Я ее там и увижу. С этого мы начнем. Главное, не робеть — и успех обеспечен.

VIII

Наконец пресловутая выставка открылась! Утром жители, стоя у своих домов, толковали о приготовлениях к торжеству. Фронтон мэрии был увит гирляндами плюща. На лугу раскинули для званого пира шатер, а посреди площади, перед церковью поставили нечто вроде бомбарды для салютов при въезде в город г-на префекта и при оглашении имен земледельцев-лауреатов. Из Бюши прибыл отряд национальной гвардии (своей гвардии в Ионвиле не было) и присоединился к пожарной дружине под командой Бине. Ради празднества Бине надел какой-то особенно высокий воротничок. Корпус его, затянутый в мундир, был прям и неподвижен; казалось, будто вся жизненная сила, заключавшаяся в его теле, притекла к ногам, шагавшим мерно, отчетисто, не сгибаясь. Податной инспектор и гвардейский полковник вечно друг с другом соперничали, и поэтому сейчас, желая показать товар лицом, они, каждый со вверенным ему отрядом, проводили строевые занятия. По площади проходили то красные погоны, то черные нагрудники. Конца этому не было, все опять начиналось сначала! Ионвиль никогда не видел такого церемониального марша! Кое-кто из горожан еще накануне

вымыл стены своих домов; из приоткрытых окон свисали трехцветные флаги; во всех кабачках было полно народу. День выдался ясный, и накрахмаленные чепчики казались белее снега, золотые крестики блестели на солнце, а на однообразном темном фоне сюртуков и синих блуз там и сям пестрели разноцветные косынки. Вылезая из повозок, фермерши откалывали огромные булавки, которыми они скрепляли платья вокруг талии, чтобы их не забрызгало грязью. Мужья берегли свои шляпы и дорогой накрывали их носовыми платками, уголки которых они держали в зубах.

Народ прибывал на главную улицу с обоих концов города. Он вливался в нее из переулков, из проездов, из домов; то и дело раздавался стук дверного молотка за какой-нибудь горожанкой в нитяных перчатках, вышедшей поглядеть на праздник. Особое внимание привлекали установленные по бокам эстрады, где должно было находиться начальство, два высоких треугольных станка с иллюминационными шкаликами. А напротив четырех колонн мэрии торчали четыре шеста, к которым были прикреплены светло-зеленые полотняные флажки с золотыми надписями. На одном флажке надпись гласила — «Торговля», на другом — «Земледелие», на третьем — «Промышленность», на четвертом — «Изящные искусства».

Но от этого ликования, светившегося на всех лицах, явно мрачнела трактирщица, г-жа Лефрансуа. Стоя на кухонном крыльце, она бурчала себе под нос:

— Экая дурацкая затея, экая дурацкая затея — этот их брезентовый балаган! Что же им префект — ярмарочный петрушка? Неужто ему приятно будет обедать в балагане? Толкуют о пользе края, а сами невесть что творят! Тогда незачем было вызывать невшательского кухаря! Для кого? Для пастухов? Для голодранцев?..

Мимо проходил аптекарь. На нем был черный фрак, нанковые панталоны, башмаки с касторовым верхом и — ради такого торжественного случая — шляпа, шляпа с низкой тульей.

— Мое почтение! — сказал он.— Извините, я тороплюсь.

Пышнотелая вдова спросила, куда он идет.

— А вы что, удивлены? Я и впрямь сижу у себя в лаборатории, точно крыса в сыре.

— В каком сыре? — спросила трактирщица.

— Да нет, да нет! — поспешил ее разуверить Оме.—

Я хотел сказать, госпожа Лефрансуа, что я — домосед. Однако нынче уж такой день, приходится...

— А, вы идете туда? — с презрительным видом спросила трактирщица.

— Конечно,— в недоумении проговорил аптекарь.— Разве вы не знаете, что я член консультативной комиссии?

Тетушка Лефрансуа посмотрела на него и усмехнулась.

— Тогда другое дело! — сказала она.— Но только какое отношение вы имеете к земледелию? Что вы в нем смыслите?

— Еще как смыслю! Ведь я же фармацевт, следовательно — химик, а так как химия, госпожа Лефрансуа, изучает молекулярное взаимодействие всех физических тел, то, само собою разумеется, к ее области относится и сельское хозяйство! В самом деле, состав удобрений, ферментация жидкостей, анализ газов и влияние миазмов — что же это такое, позвольте вас спросить, как не самая настоящая химия?

Трактирщица ничего ему на это не ответила. Оме продолжал:

— Вы думаете, агроном — это тот, кто сам пашет землю и откармливает живность? Нет, этого недостаточно,— агроному прежде всего должны быть известны состав веществ, с которыми ему приходится иметь дело, геологические сдвиги, атмосферические явления, свойства почвы, свойства минералов, качество воды, удельный вес различных тел, их капиллярность, да мало ли еще что! Дабы руководить другими, он должен основательно изучить гигиену, должен что-то понимать в строительном деле, в уходе за животными, в питании рабочей силы! И это еще не все, госпожа Лефрансуа: он должен, знаете ли, изучить ботанику, уметь определять растения, отличать целебные от ядовитых, непитательные от кормовых, должен сообразить, что такие-то травы нужно сеять не здесь, а там, размножать одни, уничтожать другие. Словом, чтобы вводить улучшения, он должен читать брошюры, журналы, следить за всеми открытиями, знать последнее слово науки...

Трактирщица не спускала глаз с дверей кафе «Франция», а фармацевт все рассуждал:

— Дай бог, чтобы наши земледельцы сделались химиками! По крайней мере, пусть они почаще прислушиваются к советам ученых! Вот я, например, недавно окончил капитальный труд, научную работу на семидесяти двух с половиной страницах под заглавием: *Сидр, его производ-*

ство и его действие в свете некоторых новых фактов. Я послал ее в Руанское агрономическое общество и удостоился чести быть принятым в его члены по секции земледелия, по разряду помологии. И вот, если бы мой труд опубликовать...

Между тем лицо г-жи Лефрансуа приняло столь озабоченное выражение, что аптекарь невольно смолк.

— Гляньте-ка! — сказал она.— Ничего не понимаю! В этакой-то харчевне!

И, пожав плечами так, что петли вязаной кофты растянулись у нее на груди, она обеими руками показала на трактир своего соперника, откуда сейчас доносилось пение.

— Ну да это ненадолго,— прибавила она,— через неделю конец всему.

Оме попятился от изумления. Г-жа Лефрансуа сошла с крыльца и зашептала ему на ухо:

— Как? Разве вы не знаете? Его на днях опишут. Это Лере пустил его по миру. Допек векселями.

— Какая страшная катастрофа! — воскликнул аптекарь, у которого для любого случая были припасены готовые фразы.

Тут хозяйка начала рассказывать ему историю, которую она знала от работника г-на Гильомена, Теодора. Ненависть к Телье не мешала ей порицать Лере. Подлипала, палец в рот не клади!

— Э, да он вон он, под навесом! — сказала она.— Кланяется госпоже Бовари. А на ней зеленая шляпка, и она идет под руку с господином Буланже.

— Госпожа Бовари! — воскликнул Оме. — Сейчас я ее догоню, предложу ей место за оградой, у самых колонн,— может быть, там ей будет удобнее.

Тетушка Лефрансуа тщетно пыталась его остановить, чтобы досказать ему про Телье,— сложив губы в улыбку, раскланиваясь направо и налево и задевая встречных развевающимися фалдами черного фрака, фармацевт бодро понесся вперед.

Завидев его издали, Родольф прибавил шагу, но г-жа Бовари запыхалась; тогда он пошел медленнее и, улыбаясь, грубовато сказал:

— Я хотел убежать от этого толстяка, от небезызвестного вам аптекаря.

Она толкнула его локтем.

«Что бы это значило?» — спросил он себя и на ходу искоса взглянул на нее.

По ее спокойному профилю ничего нельзя было понять. Он отчетливо вырисовывался на свету, в овале шляпки с бледно-желтыми завязками, похожими на сухие стебли камыша. Ее глаза с длинными загнутыми ресницами смотрели прямо перед собой, и хотя они были широко раскрыты, все же казалось, будто она их слегка прищуривает, оттого что к нежной коже щек приливала и чуть заметно билась под нею кровь. Носовая перегородка отсвечивала розовым. Голову Эмма склонила набок, между губами был виден перламутровый край белых зубов.

«Может быть, она просто дразнит меня?» — подумал Родольф.

Между тем она своим жестом хотела только предостеречь его — дело в том, что сзади шел г-н Лере.

— Какая чудесная погода! — попытался он с ними заговорить.— Весь город высыпал на улицы! Ни один листок не шелохнется!

Госпожа Бовари и Родольф ему не отвечали, но стоило им сделать едва уловимое движение, как он нагонял их и, поднося руку к шляпе, спрашивал: «Чем могу служить?»

Поравнявшись с кузницей, Родольф, вместо того чтобы идти прямо по дороге до самой заставы, круто повернул на тропинку, увлекая за собою г-жу Бовари.

— Будьте здоровы, господин Лере! — сказал он.— Всего наилучшего!

— Ловко же вы от него отделались! — смеясь, сказала Эмма.

— А для чего нам посторонние? — сказал он.— Раз уж мне сегодня выпало на долю счастье быть с вами...

Эмма покраснела. Не докончив своей мысли, Родольф заговорил о том, какая сегодня хорошая погода и как приятно идти по траве. Ромашки уже цвели.

— Прелестные цветочки! — сказал он.— Их тут так много, что всем здешним влюбленным хватит на гаданье. Не нарвать ли? Как вы думаете? — спросил он.

— А вы разве влюблены? — слегка покашливая, спросила Эмма.

— Гм! Гм! Как знать! — ответил Родольф.

На лугу становилось людно, хозяйки задевали встречных своими большими зонтами, корзинками, малышами. То и дело приходилось уступать дорогу тянувшимся длинной вереницей батрачкам с серебряными колечками на пальцах, в синих чулках, в туфлях без каблуков; на близком расстоянии от них пахло молоком. Держась за руки,

они прошли всю луговину — от шпалеры осин до пиршественного шатра. Скоро должен был начаться осмотр выставки, и земледельцы один за другим входили в круг, огороженный кольями, между которыми была натянута длинная веревка, и напоминавший ипподром.

На кругу, мордами к бечеве, вычерчивая ломаную линию своими неодинаковыми спинами, стоял скот. Уткнув рыла в землю, дремали свиньи, мычали телята, блеяли овцы, коровы с поджатыми ногами лежали брюхом на траве и, мигая тяжелыми веками, медленно пережевывали жвачку, а над ними вился жужжащий рой мух. Жеребцы взвивались на дыбы и, косясь на кобыл, заливисто ржали; конюхи, засучив рукава, держали их под уздцы. Кобылы стояли смирно, вытянув гривастые шеи, а жеребята то лежали в тени, которая падала от маток, то подходили пососать. А над длинной волнистой линией всех этих сгрудившихся тел то здесь, то там вспененным валом вздымалась развевавшаяся на ветру белая грива, выступали острые рога или головы бегущих людей. Поодаль, шагах в ста от барьера, не шевелясь, точно отлитый из бронзы, стоял огромный черный бык в наморднике, с железным кольцом в ноздре. Мальчик в обносках держал его за веревку.

Между двумя рядами экспонатов тяжелым шагом шли какие-то господа, осматривали каждое животное, потом тихо совещались. Один из них, по-видимому — самый главный, на ходу что-то заносил в книжку. Это был председатель жюри, г-н Дерозере из Панвиля. Увидев Родольфа, он бросился к нему и с любезной улыбкой спросил:

— Что же вы нас покинули, господин Буланже?

Родольф ответил, что сейчас придет. Но как только председатель скрылся из виду, он сказал Эмме:

— Нет уж, я останусь с вами! Ваше общество куда приятнее!

Продолжая посмеиваться над выставкой, Родольф для большей свободы передвижения показал полицейскому синий пригласительный билет. Время от времени он даже останавливался перед примечательными «экземплярами», но г-жа Бовари не проявляла к ним ни малейшего интереса. Заметив это, он проехался насчет туалетов ионвильских дам, потом извинился за небрежность своей одежды. Его туалет представлял собою то сочетание банальности и изысканности, в котором мещане обыкновенно видят признак непостоянной натуры, душевного разлада, непреодолимого желания порисоваться, во всяком случае признак

несколько пренебрежительного отношения к правилам приличия, и это пленяет обывателей или, наоборот, возмущает. Так, у Родольфа в вырезе серого тикового жилета надувалась от ветра батистовая рубашка с гофрированными рукавами, панталоны в широкую полоску доходили до лодыжек, а под ними виднелись лаковые ботинки с нанковым верхом. Отлакированы они были до зеркального блеска, и в них отражалась трава. Держа руку в кармане пиджака, сдвинув набок соломенную шляпу, Родольф расшвыривал носками ботинок конский навоз.

— Впрочем,— прибавил он,— в деревне...

— И так сойдет,— сказала Эмма.

— Вот именно,— подхватил Родольф.— Разве кто-нибудь из местных уважаемых граждан способен оценить хотя бы покрой фрака?

И тут они заговорили о провинциальной пошлости, о том, как она засасывает, как она разрушает все иллюзии.

— Вот и я начинаю впадать в уныние...— сказал Родольф.

— Вы? — с удивлением спросила Эмма— А я думала, вы такой веселый!

— Да, с виду, потому что на людях я умею носить маску шутника. А между тем сколько раз, глядя на озаренное луною кладбище, я спрашивал себя, не лучше ли соединиться с теми, кто спит вечным сном...

— А ваши друзья? — спросила Эмма.— О них вы не подумали?

— Друзья? Какие друзья? Где они? Кому я нужен?

При этом он издал легкий свист.

Но тут им пришлось расступиться и дать дорогу громоздкому сооружению из стульев, которое кто-то нес сзади них. Из-за этого многоярусного сооружения выглядывали только носки башмаков да пальцы широко расставленных рук. Это могильщик Лестибудуа в самой гуще народа тащил церковные стулья. Отличаясь необыкновенной изобретательностью во всем, что касалось его личной выгоды, он живо смекнул, что из выставки тоже можно извлечь доход, и его затея имела огромный успех — могильщика рвали на части. Духота разморила собравшихся, и они расхватывали эти стулья с пропахшими ладаном соломенными сиденьями и почти благоговейно прислонялись к закапанным воском крепким спинкам.

Госпожа Бовари опять взяла Родольфа под руку, а он снова заговорил как бы сам с собой:

— Да, мне недостает многого! Я так одинок! Ах, если б у меня была цель в жизни, если б я полюбил кого-нибудь, кого-нибудь встретил... О, я бы этой привязанности отдал все свои силы, я бы все преодолел, все сокрушил!

— Мне кажется, однако,— заметила Эмма,— что вам совсем не так плохо живется.

— Вы находите? — спросил Родольф.

— В конце концов,— продолжала она,— вы свободны...— Она запнулась.— Богаты.

— Не смейтесь надо мной,— сказал Родольф.

Она поклялась, что говорит серьезно, но тут вдруг выстрелила пушка, и вся толпа ринулась в город.

Эта была фальшивая тревога. Г-н префект запаздывал, и члены жюри не знали, что делать: то ли открывать заседание, то ли еще подождать.

Наконец в глубине площади показалось большое наемное ландо, запряженное двумя одрами, которых изо всех сил нахлестывал кучер в белой шляпе. Бине, а за ним полковник только успели скомандовать: «В ружье!» Гвардейцы и пожарные бросились к козлам. Все засуетились. Некоторые забыли даже надеть воротнички. Но выезд префекта как будто бы предвидел, что пойдет кутерьма, — по крайней мере, пара кляч, беспокойно грызя удила, подъехала к колоннаде мэрии как раз в тот момент, когда гвардейцы и пожарные, под барабанную дробь печатая шаг, развертывались по фронту.

— На месте!.. — скомандовал Бине.

— Стой! — скомандовал полковник.— Равнение налево!

Взяли на караул, лязг колец на стволах винтовок прокатился, точно скачущий по ступенькам лестницы медный котел, и вслед за тем ружья снова опустились.

Из экипажа вышел господин в шитом серебром коротком фраке, лысый, с пучком волос на затылке, с землистым цветом лица, по виду — весьма добродушный. Вглядываясь в толпу, он щурил свои выкаченные глаза под тяжелыми веками, поднимал кверху свой птичий нос, а впалый рот складывал в улыбку. Узнав мэра по перевязи, он сказал ему, что г-н префект приехать не может. Потом, сообщив, что он является советником префектуры, извинился за опоздание. Тюваш рассыпался в любезностях — советник сказал, что он его конфузит. Так они и стояли друг против друга, почти касаясь лбами, в плотном окружении членов жюри, муниципального совета, именитых граждан,

национальных гвардейцев и толпы. Прижимая к груди маленькую черную треуголку, г-н советник все еще произносил слова приветствия, а в это время Тюваш, изогнувшись дугой, тоже улыбался, мямлил, подыскивал выражения, изъявлял свою преданность монархии, лепетал что-то о чести, оказанной Ионвилю.

Трактирный слуга Ипполит взял лошадей под уздцы и, припадая на свою кривую ногу, отвел их под навес во двор «Золотого льва», где уже собрались крестьяне поглядеть на коляску. Забил барабан, выстрелила пушка, господа один за другим взошли на эстраду и сели в обитые красным трипом кресла, предоставленные для этой цели г-жою Тюваш.

Все эти господа были похожи друг на друга. Цвет их желтых, дряблых, чуть тронутых загаром лиц напоминал сидр, бакенбарды выбивались у них из высоких тугих воротничков, подпираемых белыми галстуками, которые были завязаны тщательно расправленными бантами. Жилеты у всех были бархатные, шалевые; часы у всех были на ленте с овальной сердоликовой печаткой; все упирались руками в колени и широко раздвигали ноги, на которых недекатированное сукно панталон блестело ярче, нежели на ботфортах кожа.

Позади эстрады, у входа в мэрию, между колонн расположились дамы из общества, а простонародье сидело на стульях или стояло напротив эстрады. Лестибудуа перетащил сюда с луга все стулья, поминутно бегал в церковь за пополнением, и эта его коммерческая деятельность производила такой беспорядок, что пробраться к ступенькам эстрады было почти невозможно.

— По-моему,— сказал г-н Лере аптекарю, проходившему на свое место,— здесь надо бы поставить две венецианские мачты и украсить их какими-нибудь строгими, но в то же время дорогими модными материями — это было бы очень красиво.

— Конечно,— согласился Оме.— Но ничего не поделаешь, — все взял в свои руки мэр. А бедняга Тюваш тонкостью вкуса не отличается, так называемого художественного чутья у него ни на волос нет.

Тем временем Родольф и г-жа Бовари поднялись на второй этаж мэрии, в «зал заседаний»; здесь никого не было, и Родольф нашел, что отсюда им будет очень удобно смотреть на зрелище. Он взял три табурета, стоявших вокруг овального стола, под бюстом монарха, и они сели рядом.

Господа на эстраде взволнованно шептались, переговаривались. Наконец советник встал. Теперь всем уже было известно, что это г-н Льевен,— его фамилия облетела собравшихся. Разложив свои листки и не отводя от них взгляда, он начал:

— «Господа!

Позвольте мне с самого начала (прежде чем перейти к предмету нашего сегодняшнего собрания, и я убежден, что все вы разделяете мои чувства), позвольте мне, говорю я, принести дань восхищения нашей высшей власти, правительству, монарху, господа, королю, нашему обожаемому государю, ибо он неусыпно печется как о благе всего общества, так равно и о благе отдельных лиц, ибо он твердой и вместе с тем мудрой рукою ведет государственную колесницу среди неисчислимых опасностей, коими грозит бурное море, и не забывает ни о мире, ни о войне, ни о промышленности, ни о торговле, ни о земледелии, ни об изящных искусствах».

— Мне бы надо отсесть,— сказал Родольф.

— Зачем? — спросила Эмма.

Но как раз в эту минуту голос советника достиг необычайной силы.

— «Прошли те времена, господа,— разглагольствовал он, — когда междоусобица обагряла кровью наши стогны; когда собственник, негоциант и даже рабочий, мирным сном засыпая ввечеру, невольно вздрагивали при мысли о том, что их может пробудить звон мятежного набата; когда злокозненные учения дерзко подрывали основы...»

— Меня могут увидеть снизу,— пояснил Родольф,— и тогда надо будет целых две недели извиняться, а при моей скверной репутации...

— О, вы клевещете на себя! — сказала Эмма.

— Нет, нет, у меня гнусная репутация, уверяю вас.

— «Но, господа,— продолжал советник,— отвращая умственный взор свой от этих мрачных картин, я перевожу глаза на теперешнее состояние нашего прекрасного отечества, и что же я вижу? Всюду процветают торговля и ремесла; всюду новые пути сообщения, подобно новым кровеносным сосудам в государственном организме, свя-

зывают между собой различные его части; наши крупные промышленные центры возобновили свою деятельность; религия, воспрянув, всем простирает свои объятия; в наших гаванях снова тесно от кораблей, доверие возрождается, и наконец-то Франция вздохнула свободно!..»

— Впрочем,— прибавил Родольф,— со своей точки зрения, свет, пожалуй, прав.

— То есть? — спросила Эмма.

— Ну да! — сказал Родольф.— Разве вы не знаете о существовании мятущихся душ? Они то грезят, то действуют, предаются то самому чистому чувству, то неистовству наслаждений,— им ведомы все прихоти, все безумства.

При этих словах Эмма посмотрела на Родольфа как на путешественника, побывавшего в дальних странах.

— Мы, бедные женщины, лишены и этого развлечения! — заметила Эмма.

— Грустное развлечение,— счастья оно не приносит.

— А счастье есть на земле? — спросила Эмма.

— Да, в один прекрасный день оно приходит,— ответил Родольф.

— «И вы это поняли,— говорил советник,— вы, земледельцы и батраки, вы, скромные пионеры великого дела цивилизации, вы, поборники нравственности и прогресса! Вы поняли, говорю я, что политические бури, безусловно, более разрушительны, нежели потрясения атмосферы...»

— В один прекрасный день оно приходит,— повторил Родольф,— приходит внезапно, когда его уже перестаешь ждать. Вдруг открывается бесконечная даль, и чей-то голос говорит: «Вот оно!» Вы испытываете потребность доверить этому человеку всю свою жизнь, отдать ему все, пожертвовать для него всем! Объяснений не надо — все понятно без слов. Именно таким вы видели его в мечтах. (Он смотрел на Эмму.) Наконец сокровище, которое вы так долго искали, здесь, перед вами, и оно сверкает, блестит! Но вы еще сомневаетесь, вы еще не смеете верить, вы ослеплены, как будто из темноты сразу вышли на свет.

Последнюю фразу Родольф подкрепил пантомимой. Он схватился за голову, точно она у него закружилась, затем уронил руку на руку Эммы. Она ее отдернула. А советник между тем все читал:

— «Но кого это может удивить, господа? Только слепых, только опутанных (я не боюсь сказать об этом прямо), только опутанных вековыми предрассудками людей, которые до сих пор понятия не имеют о том, каков образ мыслей сельского населения. В самом деле, где мы еще найдем такой патриотизм, такую преданность общему делу, одним словом — такое благоразумие, как не в деревне? Это не поверхностный ум, господа, не мишурный блеск празднословов, но ум глубокий, трезвый, прежде всего ставящий перед собой практические цели, тем самым повышая благосостояние отдельных лиц, соблюдая общественную пользу и служа опорой государству,— цели, которые проистекают из законопослушания и верности долгу...»

— Опять! — сказал Родольф.— Все долг и долг — меня тошнит от этого слова. Тьма-тьмущая остолопов во фланелевых жилетах и святош с грелками и четками прожужжала нам все уши: «Долг! Долг!» Черт подери, долг заключается в том, чтобы понимать великое, поклоняться прекрасному, а вовсе не в том, чтобы придерживаться разных постыдных условностей.

— Да, но... да, но...— пыталась вставить Эмма.

— Ну к чему ополчаться на страсти? Ведь это же лучшее, что есть на земле, это источник героизма, восторга, поэзии, музыки, искусства, решительно всего.

— Но надо же хоть немного считаться с мнением света, уважать его мораль,— возразила Эмма.

— В том-то и дело, что есть две морали,— отрезал Родольф.— Есть мелкая, условная, человеческая,— она вечно меняется, она криклива, она копается в грязи, у нас под ногами, как вот это сборище дураков, которое вы видите перед собой. Но есть другая мораль, вечная — она вокруг нас, как вот эта природа, и она над нами, как голубое небо, откуда нам светит солнце.

Господин Льевен вытер губы платком и продолжал:

— «Нужно ли доказывать вам, господа, пользу земледелия? Кто же удовлетворяет наши потребности? Кто доставляет нам пропитание? Кто же, как не земледелец? Да, господа, земледелец! Это он, засевая своей трудолюбивой рукой плодородные борозды полей, выращивает зерно, которое, после того как его размельчат и смелют с помощью хитроумных приспособлений, уже в виде муки доставля-

ется в города и сейчас же поступает к булочнику, а тот превращает ее в продукт питания как для богачей, так и для бедняков. Не тот же ли самый земледелец, чтобы одеть нас, выкармливает на пастбищах тучные стада? Во что бы мы одевались, чем бы мы кормились, если бы не земледелец? За примерами ходить недалеко! Все мы часто задумывались над тем, какую важную роль играет в нашей жизни скромное создание, украшение наших птичников, которое одновременно снабжает нас мягкими подушками для нашего ложа, сочным мясом и яйцами для нашего стола. Впрочем, если бы я стал перечислять многообразные дары, которые, словно добрая мать, балующая детей своих, расточает нам заботливо возделанная земля, я бы никогда не кончил. Здесь — виноград, в другом месте — яблоки, а следовательно — сидр, там — рапс, еще дальше — сыр. А лен? Запомните, господа: лен! За последние годы посевная площадь льна значительно увеличилась, вот почему я хочу остановить на нем ваше внимание».

Останавливать внимание слушателей не было никакой необходимости,— все и без того разинули рты, ловили каждое его слово. Сидевший около него Тюваш слушал, вытаращив глаза, Дерозере время от времени слегка жмурился, а поодаль, приставив к уху ладонь, чтобы не пропустить ни единого звука, сидел со своим сыном Наполеоном на руках фармацевт. Прочие члены жюри в знак одобрения медленно покачивали головами. У эстрады, опершись на штыки, отдыхали пожарные. Бине стоял навытяжку и, держа локоть на отлете, делал саблей на караул. Может быть, он и слушал, но видеть ничего не мог, оттого что козырек его каски сползал ему на нос. У его поручика, младшего сына г-на Тюваша, каска была совсем не по мерке; огромная, она болталась у него на голове, и из-под нее торчал кончик ситцевого платка. Это обстоятельство вызывало у него по-детски кроткую улыбку, его бледное потное личико выражало блаженство, изнеможение и сонную одурь.

Площадь и даже дома на ней были полны народу. Люди смотрели из всех окон, со всех порогов, а Жюстен, захваченный зрелищем, стоял как вкопанный перед аптечной витриной. В толпе никто не разговаривал, и все же г-на Льевена было плохо слышно. Долетали только обрывки фраз, поминутно заглушаемых скрипом стульев.

А сзади раздавался то протяжный рев быка, то блеянье ягнят, перекликавшихся с разных концов площади. Дело в том, что пастухи подогнали скотину поближе, и коровы и овцы, слизывая языком приставшие к мордам травинки, время от времени подавали голос.

Родольф придвинулся к Эмме и быстро зашептал:

— Разве этот всеобщий заговор вас не возмущает? Есть ли хоть одно чувство, которое бы он не осудил? Благороднейшие инстинкты, самые чистые отношения подвергаются преследованию, обливаются грязью, и если двум страдающим душам посчастливится в конце концов найти друг друга, то все подстраивается таким образом, чтобы им нельзя было сойтись. Они напрягут усилия, станут бить крылами, станут звать друг друга. И что же? Рано или поздно, через полгода, через десять лет, но они соединятся, оттого что так велит рок, оттого что они рождены друг для друга.

Сложив руки на коленях и подняв голову, он пристально, в упор смотрел на Эмму. Она различала в его глазах золотые лучики вокруг черных зрачков, ощущала запах помады от его волос. И ее охватывало томление; она вспомнила виконта, с которым танцевала в Вобьесаре,— от его бороды пахло так же: ванилью и лимоном,— и машинально опустила веки; ей казалось, что так легче вдыхать этот запах. Но, выгибая стан, Эмма увидела вдали, на горизонте, старый дилижанс «Ласточку»,— он медленно спускался с холма Ле, волоча за собой длинный шлейф пыли. В этой желтой карете так часто возвращался к ней Леон, и по этой самой дороге он уехал от нее навсегда! Вдруг ей почудилось, что напротив, в окне, мелькнуло его лицо; потом все смешалось, нашли облака; ей мнилось теперь, что она все еще кружится при блеске люстр, в объятиях виконта, а что Леон где-то недалеко, что он сейчас придет... и в то же время она чувствовала, что голова Родольфа совсем близко. Сладостью этого ощущения были пропитаны давнишние ее желания, и, подобно песчинкам, которые крутит вихрь, они роились в тонком дыму благоухания, окутывавшем ее душу. Она широко раздувала ноздри, дыша свежестью увивавшего карнизы плюща. Она сняла перчатки, вытерла руки, затем стала обмахивать лицо платком; глухой гул толпы и монотонный голос советника она улавливала сквозь стук крови в висках.

Советник говорил:

— «Добивайтесь! Не сдавайтесь! Не слушайте ни нашептываний рутинеров, ни скороспелых советов самонадеянных экспериментаторов! Обратите особое внимание на плодородность почвы, на качество удобрений, на улучшение пород лошадей, коров, овец, свиней! Пусть эта выставка будет для вас как бы мирной ареной, пусть победитель, перед тем как уйти с нее, протянет руку побежденному, братски обнимется с ним, и пусть у побежденного вспыхнет при этом надежда, что он добьется больших успехов в дальнейшем! А вы, преданные слуги, скромные работники, вы, чей тяжелый труд до сих пор не привлекал к себе внимания ни одного правительства! Ваши непоказные достоинства будут ныне вознаграждены, и вы можете быть уверены, что государство наконец обратило на вас свои взоры, что оно вас ободряет, что оно вам покровительствует, что оно удовлетворит ваши справедливые требования и по мере сил постарается облегчить бремя ваших огромных жертв!»

Господин Льевен сел на место; затем произнес речь г-н Дерозере. Слог ее был, пожалуй, менее цветист, но зато это была более деловая речь; он обнаружил в ней больше специальных познаний, высказал более высокие соображения. Правительство он восхвалял недолго, зато уделил больше внимания религии и сельскому хозяйству. Он указал на связь между ними и на те совместные усилия, которые они с давних пор прилагают во имя цивилизации. Родольф и г-жа Бовари говорили в это время о снах, о предчувствиях, о магнетизме. Оратор, обратив мысленный взор к колыбели человечества, описывал те мрачные времена, когда люди жили в лесах и питались желудями. Потом они сбросили звериные шкуры, оделись в сукно, вспахали землю, насадили виноград. Пошло ли это на пользу, чего больше принесло с собой это открытие: бед или благ? Такой вопрос поставил перед собой г-н председатель. А Родольф от магнетизма постепенно перешел к сродству душ, и пока г-н Дерозере толковал о Цинциннате за плугом, о Диоклетиане, сажающем капусту, и о китайских императорах, встречающих новый год торжественным посевом, Родольф доказывал Эмме, что всякое неодолимое влечение уходит корнями в прошлое.

— Взять хотя бы нас с вами,— говорил он,— почему мы познакомились? Какая случайность свела нас? Разумеется, наши личные склонности толкали нас друг к дру-

гу, преодолевая пространство,— так в конце концов сливаются две реки.

Он взял ее руку; она не отняла.

— «За разведение ценных культур...» — выкрикнул председатель.

— Вот, например, когда я к вам заходил...

— «...господину Бизе из Кенкампуа...»

— ...думал ли я, что сегодня буду с вами?

— «...семьдесят франков!»

— Несколько раз я порывался уйти и все-таки пошел за вами, остался.

— «За удобрение навозом...»

— И теперь уже останусь и на вечер, и на завтра, и на остальное время, на всю жизнь!

— «...господину Карону из Аргейля — золотая медаль!»

— Я впервые сталкиваюсь с таким неотразимым очарованием...

— «Господину Бену из Живри-Сен-Мартен...»

— ...и память о вас я сохраню навеки.

— «...за барана-мериноса...»

— А вы меня забудете, я пройду мимо вас, словно тень.

— «Господину Бело из Нотр-Дам...»

— Но нет, что-то от меня должно же остаться в ваших помыслах, в вашей жизни?

— «За породу свиней приз делится *ex aequo*[1] между господами Леэрисе и Кюлембуром: шестьдесят франков!»

---

[1] Поровну *(лат.)*.

Родольф сжимал ее горячую, дрожащую руку, и ему казалось, будто он держит голубку, которой хочется выпорхнуть. И вдруг то ли Эмма попыталась высвободить руку, то ли это был ответ на его пожатие, но она шевельнула пальцами.

— Благодарю вас! — воскликнул Родольф.— Вы меня не отталкиваете! Вы — добрая! Вы поняли, что я — ваш! Позвольте мне смотреть на вас, любоваться вами!

В раскрытые окна подул ветер, и сукно на столе собралось складками, а внизу, на площади, у всех крестьянок поднялись и крылышками белых мотыльков затрепетали оборки высоких чепцов.

— «За применение жмыхов маслянистых семян...» — продолжал председатель.

И зачастил:

— «За применение фламандских удобрений... за разведение льна... за осушение почвы при долгосрочной аренде... за услуги по хозяйству...»

Родольф примолк. Они смотрели друг на друга. Желание было так сильно, что и у него и у нее дрожали пересохшие губы. Их пальцы непроизвольно, покорно сплелись.

— «Катрине-Никезе-Элизабете Леру из Сасето-Лагерьер за пятидесятичетырехлетнюю службу на одной и той же ферме серебряную медаль ценой в двадцать пять франков!»

— Где же Катрина Леру? — спросил советник.

Катрина Леру не показывалась. В толпе послышался шепот:

— Да иди же!

— Не туда!

— Налево!

— Не бойся!

— Вот дура!

— Да где же она? — крикнул Тюваш.

— Вон... вон она!

— Так пусть подойдет!

На эстраду робко поднялась вся точно ссохшаяся старушонка в тряпье. На ногах у нее были огромные деревянные башмаки, бедра прикрывал длинный голубой передник. Ее худое, сморщенное, как печеное яблоко, лицо

выглядывало из простого, без отделки, чепца, длинные узловатые руки путались в рукавах красной кофты. От сенной трухи, от щелока, от овечьего жирового выпота руки у нее так разъело, так они заскорузли и загрубели, что казалось, будто они грязные, хотя она долго мыла их в чистой воде; натруженные пальцы всегда у нее слегка раздвигались, как бы скромно свидетельствуя о том, сколько ей пришлось претерпеть. В выражении ее лица было что-то монашески суровое. Ее безжизненный взгляд не смягчали оттенки грусти и умиления. Постоянно имея дело с животными, она переняла у них немоту и спокойствие. Сегодня она впервые очутилась в таком многолюдном обществе. Флаги, барабаны, господа в черных фраках, орден советника — все это навело на нее страх, и она стояла как вкопанная, не зная, что ей делать: подойти ближе или убежать, не понимая, зачем вытолкнули ее из толпы, почему ей улыбаются члены жюри. Прямо перед благоденствующими буржуа стояло олицетворение полувекового рабского труда.

— Подойдите, уважаемая Катрина-Никеза-Элизабета Леру! — взяв у председателя список награжденных, сказал г-н советник.

Глядя то на бумагу, то на старуху, он несколько раз повторил отеческим тоном:

— Подойдите, подойдите!

— Вы что, глухая? — подскочив в своем кресле, спросил Тюваш и стал кричать ей в ухо: — За пятидесятичетырехлетнюю службу! Серебряная медаль! Двадцать пять франков! Это вам, вам!

Получив медаль, старуха начала ее рассматривать.

Лицо ее расплылось при этом в блаженную улыбку, и, уходя, она пробормотала:

— Я ее священнику отдам, чтоб он за меня молился!

— Вот фанатизм! — наклонившись к нотариусу, воскликнул фармацевт.

Заседание кончилось, толпа разошлась, речи были произнесены, и теперь каждый вновь занял свое прежнее положение, все вошло в свою колею, хозяева стали ругать работников, а те стали бить животных — этих бесстрастных триумфаторов, возвращавшихся с зелеными венками на рогах к себе в стойла.

Между тем национальные гвардейцы, насадив на штыки булки, поднялись на второй этаж мэрии; батальонный барабанщик нес впереди корзину с вином. Г-жа Бовари

взяла Родольфа под руку, он довел ее до дому, они расстались у крыльца, и Родольф пошел прогуляться перед парадным обедом по лугу.

Плохо приготовленный обед был продолжителен и шумен. За столом было так тесно, что люди с трудом двигали локтями; узкие доски, служившие скамьями, казалось, вот-вот рухнут. Ели до отвала. Каждый старался наесть на весь свой взнос. По лбам катился пот. Над столом, среди висячих кенкетов, точно осенний утренний туман над рекой, курился белесый пар. Родольф, прислонившись к коленкоровой изнанке шатра, думал только об Эмме и ничего не слышал. Позади него слуги на траве составляли в стопки грязные тарелки; соседи заговаривали с ним — он не отвечал; ему подливали вина, и в то время как шум вокруг все усиливался, в сознании его ширилась тишина. Он вызывал в своем воображении ее слова, очертания ее губ; лицо ее, точно в волшебном зеркале, сверкало на шишках киверов, складки на стенах шатра превращались в складки ее платья, вереница грядущих дней любви уходила в бесконечную даль.

Вечером, во время фейерверка, он увидел ее еще раз, но она была с мужем, г-жой Оме и фармацевтом. Аптекарь, боясь, как бы ракеты не наделали бед, ежеминутно бросал своих спутников, подбегал к Бине и давал ему советы.

Так как пиротехнические приборы были присланы на имя г-на Тюваша, а тот из предосторожности сложил их до времени в погреб, то отсыревший порох не загорался, главный же эффект — дракон, кусающий свой собственный хвост,— не удался вовсе. Порою вспыхивала жалкая римская свеча, и глазеющая толпа поднимала крик, прорезаемый визгом девок, которых в темноте щупали парни. Эмма прижалась к плечу Шарля и, подняв голову, молча следила за тем, как в черном небе огнистыми брызгами рассыпаются ракеты. При свете плошек Родольфу хорошо было видно ее лицо.

Но плошки одна за другой погасали. Зажглись звезды. Упало несколько капель дождя. Эмма повязала голову косынкой.

В эту минуту из ворот трактира выехала коляска советника. Кучер был пьян и сейчас же заснул; над верхом экипажа, между двумя фонарями, виднелась бесформенная груда его тела, качавшаяся из стороны в сторону вместе с подпрыгивавшим на ремнях кузовом.

— Нет, как хотите, а с пьянством надо вести самую решительную борьбу! — заметил аптекарь.— Я бы каждую неделю вывешивал на дверях мэрии доску *ad hoc*[1], на которую были бы занесены фамилии тех, кто за истекший период времени отравлял себя алкоголем. С точки зрения статистической это были бы показательные таблицы, которые в случае надобности... Извините!

С этими словами он побежал к податному инспектору.

Бине спешил домой. Он соскучился по своему станку.

— Не худо было бы кого-нибудь послать,— заговорил Оме,— а то сходили бы сами...

— Да отстаньте вы от меня,— сказал податной инспектор,— ну чего вы боитесь?

— Успокойтесь! — вернувшись к своим друзьям, молвил аптекарь.— Бине уверил меня, что меры приняты. Ни одна искра не упадет. В насосах полно воды. Идемте спать.

— А меня и правда давно уже клонит ко сну,— сказала сладко зевавшая г-жа Оме.— Ну да это не беда, зато день мы провели чудесно.

Родольф, нежно глядя на Эмму, тихо повторил:

— О да, чудесно!

Все простились и разошлись по домам.

Два дня спустя в *Руанском светоче* появилась большая статья о выставке. В приливе вдохновения ее на другой же день после праздника написал Оме:

«Откуда все эти фестоны, гирлянды, цветы? Куда, подобно волнам бушующего моря, течет толпа, которую заливает потоками света жгучее солнце, иссушающее наши нивы?»

Затем он обрисовал положение крестьян.

Правительство, конечно, делает для них много, но все еще недостаточно! «Смелее! — взывал к нему фармацевт.— Необходим целый ряд реформ — осуществим же их!» Дойдя до появления советника, он не забыл упомянуть «нашу воинственную милицию», «наших деревенских резвушек» и лысых стариков, с видом патриархов стоявших в толпе,— «этих обломков наших бессмертных фаланг, почувствовавших, как сильно забились у них сердца при мужественных звуках барабана». Перечисляя

---

[1] Для этой цели *(лат.)*.

членов жюри, он одним из первых назвал себя, а в особом примечании напомнил, что это тот самый г-н Оме, фармацевт, который прислал в Агрономическое общество статью о сидре. Перейдя к раздаче наград, он в дифирамбических тонах описал радость лауреатов:

«Отец обнимал сына, брат — брата, супруг — супругу. Все с гордостью показывали свои скромные медали, и, разумеется, каждый, вернувшись домой к своей дорогой хозяйке, со слезами повесит медаль на стене своей смиренной хижины.

Около шести часов главнейшие участники празднества встретились за пиршественным столом, накрытым на пастбище г-на Льежара. Обед прошел в исключительно дружественной атмосфере. Г-н Льевен провозгласил здравицу за монарха! Г-н Тюваш — за префекта! Г-н Дерозере — за земледелие! Г-н Оме — за брата и сестру: за искусство и промышленность! Г-н Леплише — за мелиорацию! Вечером блестящий фейерверк внезапно озарил воздушное пространство. То был настоящий калейдоскоп, оперная декорация; на одно мгновение наш тихий городок был как бы перенесен в сказочную обстановку *Тысячи и одной ночи.*

Считаем своим долгом засвидетельствовать, что семейное торжество не было омрачено ни одним неприятным происшествием».

К этому г-н Оме прибавлял:

«Бросалось лишь в глаза блистательное отсутствие духовенства. По-видимому, в ризницах понимают прогресс по-своему. Вольному воля, господа Лойолы!»

IX

Прошло полтора месяца, Родольф не появлялся. Наконец однажды вечером он пришел.

На другой день после выставки он сказал себе:

«Устроим перерыв — иначе можно все испортить».

И в конце недели уехал на охоту. Вернувшись с охоты, он подумал, что уже поздно, а затем рассудил так:

«Ведь если она полюбила меня с первого дня, то разлука, наверное, усилила это чувство. Подождем еще немного».

И когда он вошел к ней в залу и увидел, что она побледнела, он убедился, что рассчитал правильно.

Эмма была одна. Вечерело. Муслиновые занавески на окнах сгущали сумрак; в зеркале, между зубчатых ветвей кораллового полипа, отражался блеск позолоты барометра, на который падал солнечный луч.

Родольф не садился. Видно было, что Эмме стоит большого труда отвечать на его первые учтивые фразы.

— Я был занят,— сказал он.— Потом болел.

— Опасно? — воскликнула она.

— Да нет! — садясь рядом с ней, ответил Родольф.— Просто я решил больше к вам не приходить.

— Почему?

— Вы не догадываетесь?

Родольф опять посмотрел на нее, и таким страстным взором, что она вспыхнула и опустила голову.

— Эмма...— снова заговорил он.

— Милостивый государь! — слегка подавшись назад, сказала Эмма.

— Ах, теперь вы сами видите, как я был прав, что не хотел больше к вам приходить! — печально сказал Родольф.— Ваше имя беспрерывно звучит у меня в душе, оно невольно срывается с моих уст, а вы мне запрещаете произносить его! Госпожа Бовари!.. Так вас называют все!.. Да это и не ваше имя — это имя другого человека! Другого! — повторил он и закрыл лицо руками.— Да, я все время о вас вспоминаю!.. Думы о вас не дают мне покою! О, простите!.. Мы больше не увидимся... Прощайте!.. Я уезжаю далёко... так далёко, что больше вы обо мне не услышите!.. И тем не менее... сегодня что-то потянуло меня к вам! С небом не поборешься, против улыбки ангела не устоишь! Все прекрасное, чарующее, пленительное увлекает невольно.

Эмма впервые слышала такие слова, и ее самолюбие нежилось в них, словно в теплой ванне.

— Да, я не приходил,— продолжал он,— я не мог вас видеть, но зато я любовался всем, что вас окружает. Ночами... каждую ночь я вставал, шел сюда, смотрел на ваш дом, на крышу, блестевшую при луне, на деревья, колыхавшиеся под вашим окном, на огонек вашего ночника, мерцавшего во мраке сквозь оконные стекла. А вы и не знали, что вон там, так близко и в то же время так далёко, несчастный страдалец...

Эмма повернулась к нему.

— Какой вы добрый! — дрогнувшим голосом проговорила она.

— Нет, я просто люблю вас — только и всего! А вы этого и не подозревали! Скажите же мне... одно слово! Одно лишь слово!

Родольф незаметно соскользнул с табурета на пол, но в это время в кухне послышались шаги, и он обратил внимание, что дверь не заперта.

— Умоляю вас,— сказал он, вставая,— исполните одно мое желание!

Ему хотелось осмотреть ее дом, знать, как она живет.

Госпожа Бовари решила, что ничего неудобного в этом нет, но, когда они оба встали, вошел Шарль.

— Здравствуйте, доктор,— сказал Родольф.

Лекарь, польщенный этим неожиданным для него титулом, наговорил кучу любезностей, а Родольф тем временем оправился от смущения.

— Ваша супруга жаловалась на здоровье...— начал было он.

Шарль перебил его: он в самом деле очень беспокоится за жену — у нее опять начались приступы удушья. Родольф спросил, не будет ли ей полезна верховая езда.

— Разумеется! Отлично, великолепно!.. Блестящая мысль! Непременно начни кататься.

Эмма на это возразила, что у нее нет лошади, Родольф предложил свою; она отказалась, он не настаивал. Потом в объяснение своего визита он сказал, что у его конюха, которому пускали кровь, головокружения еще не прошли.

— Я к вам заеду,— вызвался Бовари.

— Нет, нет, я пришлю его к вам. Мы приедем с ним вместе, зачем же вам беспокоиться?

— Прекрасно. Благодарю вас.

Когда супруги остались вдвоем, Шарль спросил Эмму:

— Почему ты отвергла предложение Буланже? Это так мило с его стороны!

Лицо Эммы приняло недовольное выражение; она придумала тысячу отговорок и в конце концов заявила, что «это может показаться странным».

— А, наплевать! — сказал Шарль и сделал пируэт.— Здоровье — прежде всего! Ты не права!

— Как же это я буду ездить верхом, когда у меня даже амазонки нет?

— Ну так закажи! — ответил Шарль.

Это ее убедило.

Когда костюм был сшит, Шарль написал Буланже, что жена согласна и что они рассчитывают на его любезность.

Ровно в двенадцать часов следующего дня у крыльца появился Родольф с двумя верховыми лошадьми. На одной из них было дамское седло оленьей кожи; розовые помпончики прикрывали ей уши.

Родольф надел мягкие сапоги,— он был уверен, что Эмма никогда таких не видала. В самом деле, когда он в бархатном фраке и белых триковых рейтузах вбежал на площадку лестницы, Эмма пришла в восторг от его вида. Она была уже готова и ждала.

Жюстен удрал из аптеки, чтобы поглядеть на Эмму; сам фармацевт — и тот соизволил выйти. Он обратился к Буланже с наставлениями:

— Будьте осторожны! Долго ли до беды? Лошади у вас не горячи?

Эмма услышала над головой стук: это, развлекая маленькую Берту, барабанила по стеклу Фелисите. Девочка послала матери воздушный поцелуй — та сделала ответный знак рукояткой хлыстика.

— Приятной прогулки! — крикнул г-н Сме.— Но только осторожней, осторожней!

И замахал им вслед газетой.

Вырвавшись на простор, лошадь Эммы тотчас понеслась галопом. Родольф скакал рядом. По временам Эмма и Родольф переговаривались. Слегка наклонив голову, высоко держа повод, а правую руку опустив, Эмма вся отдалась ритму галопа, подбрасывавшего ее в седле.

У подножья горы Родольф ослабил поводья; они пустили лошадей одновременно; на вершине лошади вдруг остановились, длинная голубая вуаль закрыла Эмме лицо.

Было самое начало октября. Над полями стоял туман. На горизонте, между очертаниями холмов, вился клочковатый пар — поднимался и таял. В прорывах облаков далеко-далеко виднелись освещенные солнцем крыши Ионвиля, сады, сбегавшие к реке, стены, дворы, колокольня. Эмма, щурясь, старалась отыскать свой дом, и никогда еще этот захудалый городишко не казался ей таким маленьким. С той высоты, на которой они находились, вся долина представлялась огромным молочно-белым озером, испаряющимся в воздухе. Леса, уходившие ввысь, были похожи на черные скалы, а линия встававших из тумана высоких тополей образовывала как бы береговую полосу, колыхавшуюся от ветра.

Поодаль, на лужайке, среди елей, в теплом воздухе струился тусклый свет. Рыжеватая, как табачная пыль, земля приглушала шаги. Лошади, ступая, разбрасывали подковами упавшие шишки. Родольф и Эмма ехали по краю леса. Временами она отворачивалась, чтобы не встретиться с ним взглядом, и видела лишь бесконечные ряды еловых стволов, от которых у нее скоро стало рябить в глазах. Храпели лошади. Поскрипывали кожаные седла.

В ту самую минуту, когда они въезжали в лес, показалось солнце.

— Бог благословляет нас! — воскликнул Родольф.

— Вы так думаете? — спросила Эмма.

— Вперед! Вперед!

Он щелкнул языком. Лошади побежали.

За стремена Эммы цеплялись высокие придорожные папоротники. Родольф, не останавливаясь, наклонялся и выдергивал их. Время от времени он, чтобы раздвинуть ветви, обгонял Эмму, и тогда она чувствовала, как его колено касается ее ноги. Небо разъяснилось. Листья деревьев были неподвижны. Родольф и Эмма проезжали просторные поляны, заросшие цветущим вереском. Эти лиловые ковры сменялись лесными дебрями, то серыми, то бурыми, то золотистыми, в зависимости от цвета листвы. Где-то под кустами слышался шорох крыльев, хрипло и нежно каркали вороны, взлетавшие на дубы.

Родольф и Эмма спешились. Он привязал лошадей. Она пошла вперед, между колеями, по замшелой дороге.

Длинное платье мешало ей, она подняла шлейф, и Родольф, идя сзади, видел между черным сукном платья и черным ботинком полоску тонкого белого чулка, которая, как ему казалось, заключала в себе частицу ее наготы.

Эмма остановилась.

— Я устала,— промолвила она.

— Ну еще немножко! — сказал Родольф.— Соберитесь с силами.

Пройдя шагов сто, она опять остановилась. Лицо ее, проглядывавшее сквозь прозрачную голубизну вуали, падавшей с ее мужской шляпы то на правое, то на левое бедро, точно плавало в лазури волн.

— Куда же мы идем?

Он не ответил. Она дышала прерывисто. Родольф посматривал вокруг и кусал себе усы.

Они вышли на широкую просеку, где была вырублена

молодая поросль, сели на поваленное дерево, и Родольф заговорил о своей любви.

Для начала он не стал отпугивать ее комплиментами. Он был спокоен, серьезен, печален.

Эмма слушала его, опустив голову, и носком ботинка шевелила валявшиеся на земле щепки.

И все же, когда он спросил:

— Разве пути наши теперь не сошлись?

Она ответила:

— О нет! Вы сами знаете. Это невозможно.

Она встала и пошла вперед. Он взял ее за руку. Она остановилась, посмотрела на него долгим влюбленным взглядом увлажнившихся глаз и неожиданно быстро произнесла:

— Ах, не будем об этом говорить!.. Где наши лошади? Поедем обратно.

У него вырвался жест досады и гнева. Она повторила:

— Где наши лошади? Где наши лошади?

Родольф как-то странно усмехнулся, стиснул зубы, расставил руки и, глядя на Эмму в упор, двинулся к ней. Эмма вздрогнула и отшатнулась.

— Ах, мне страшно! Мне неприятно! Едем! — лепетала она.

— Как хотите,— изменившись в лице, сказал Родольф.

Он опять стал почтительным, ласковым, робким. Она подала ему руку. Они пошли назад.

— Что это с вами было? — заговорил он.— Из-за чего? Ума не приложу. Вы, очевидно, не так меня поняли? В моей душе вы как мадонна на пьедестале, вы занимаете в ней высокое, прочное и ничем не загрязненное место! Я не могу без вас жить! Не могу жить без ваших глаз, без вашего голоса, без ваших мыслей. Будьте моим другом, моей сестрой, моим ангелом!

Он протянул руку и обхватил ее стан. Она сделала слабую попытку высвободиться. Но он не отпускал ее и продолжал идти.

Вдруг они услышали, как лошади щиплют листья.

— Подождите! — сказал Родольф.— Побудем здесь еще! Останьтесь!

И, увлекая ее за собой, пошел берегом маленького, покрытого зеленою ряскою пруда. Увядшие кувшинки, росшие среди камышей, были неподвижны. Лягушки, заслышав шаги людей, ступавших по траве, прыгали в воду.

— Что я, безумная, делаю? Что я делаю? — твердила Эмма.— Я не должна вас слушать.

— Почему?.. Эмма! Эмма!

— О Родольф! — медленно проговорила она и склонилась на его плечо.

Сукно ее платья зацепилось за бархат его фрака. Она запрокинула голову, от глубокого вздоха напряглась ее белая шея, по всему ее телу пробежала дрожь, и, пряча лицо, вся в слезах, она безвольно отдалась Родольфу.

Ложились вечерние тени. Косые лучи солнца, пробиваясь сквозь ветви, слепили ей глаза. Вокруг нее там и сям, на листьях и на земле, перебегали пятна света,— казалось, будто это колибри роняют на лету перья. Кругом было тихо. От деревьев веяло покоем. Эмма чувствовала, как опять у нее забилось сердце, как теплая волна крови прошла по ее телу. Вдруг где-то далеко за лесом, на другом холме, раздался невнятный протяжный крик, чей-то певучий голос, и она молча слушала, как он, словно музыка, сливался с замирающим трепетом ее возбужденных нервов. Родольф с сигарой во рту, орудуя перочинным ножом, чинил оборванный повод.

В Ионвиль они вернулись тою же дорогой. Они видели на грязи тянувшиеся рядом следы копыт своих лошадей, видели те же кусты, те же камни в траве. Ничто вокруг не изменилось. А между тем в самой Эмме произошла перемена, более для нее важная, чем если бы сдвинулись с места окрестные горы. Родольф время от времени наклонялся и целовал ей руку.

Верхом на лошади Эмма была сейчас обворожительна. В седле она держалась прямо, стан ее был гибок, согнутое колено лежало на гриве, лицо слегка раскраснелось от воздуха и от закатного багрянца.

В Ионвиле она загарцевала по мостовой. На нее смотрели из окон.

За обедом муж нашел, что она хорошо выглядит. Когда же он спросил, довольна ли она прогулкой, Эмма как будто не слыхала вопроса; она все так же сидела над тарелкой, облокотившись на стол, освещенный двумя свечами.

— Эмма! — сказал Шарль.

— Что?

— Знаешь, сегодня я заезжал к Александру. У него есть старая кобыла, очень неплохая, только вот колени облысели,— я уверен, что он отдаст ее за сто экю... Я ре-

шил сделать тебе удовольствие и оставил ее за собой... я ее купил...— прибавил он.— Хорошо я сделал? Ну? Что же ты молчишь?

Она утвердительно качнула головой. Четверть часа спустя она спросила:

— Вечером ты куда-нибудь идешь?

— Да. А что?

— Просто так, милый, ничего!

Отделавшись от Шарля, она сейчас же заперлась у себя в комнате.

Сначала это было какое-то наваждение: она видела перед собой деревья, дороги, канавы, Родольфа, все еще чувствовала его объятия, слышала шелест листьев и шуршание камышей.

Посмотрев на себя в зеркало, она подивилась выражению своего лица. Прежде не было у нее таких больших, таких черных, таких глубоких глаз. Что-то неуловимое, разлитое во всем облике, преображало ее.

«У меня есть любовник! Любовник!» — повторяла она, радуясь этой мысли, точно вновь наступившей зрелости. Значит, у нее будет теперь трепет счастья, радость любви, которую она уже перестала ждать. Перед ней открывалась область чудесного, где властвуют страсть, восторг, исступление. Лазоревая бесконечность окружала ее; мысль ее прозревала искрящиеся вершины чувства, а жизнь обыденная виднелась лишь где-то глубоко внизу, между высотами.

Ей припомнились героини прочитанных книг, и ликующий хор неверных жен запел в ее памяти родными, завораживающими голосами. Теперь она сама вступала в круг этих вымыслов как его единственно живая часть и убеждалась, что отныне она тоже являет собою образ влюбленной женщины, который прежде вызывал в ней такую зависть, убеждалась, что заветная мечта ее молодости сбывается. И еще она испытывала блаженство утоленной мести. Она так истомилась! Зато сейчас она торжествовала, и долго сдерживаемая страсть хлынула радостно бурлящим потоком. Эмма наслаждалась ею безудержно, безмятежно, бездумно.

Следующий день прошел в новых ласках. Родольф и Эмма дали друг другу клятву. Она поведала ему свои прежние горести. Он прерывал ее поцелуями, а она, глядя на него сквозь полуопущенные ресницы, просила еще раз назвать ее по имени и повторить, что он ее любит.

Это было, как и накануне, в лесу, в пустом шалаше башмачника. Стены шалаша были соломенные, а крыша такая низкая, что приходилось все время нагибаться. Они сидели друг против друга на ложе из сухих листьев.

С этого дня они стали писать друг другу каждый вечер. Эмма шла в самый конец сада, к реке, и засовывала свои письма в одну из трещин обрыва, Родольф приходил сюда за письмом и клал на его место свое, но оно всегда казалось Эмме слишком коротким.

Однажды Шарль уехал еще до рассвета, и Эмме захотелось повидаться с Родольфом сию же минуту. Можно было сбегать в Ла Юшет, пробыть там час и вернуться в Ионвиль, пока все еще спали. При одной этой мысли у нее захватило дух от страстного желания, и немного погодя она быстрыми шагами, не оглядываясь, уже шла лугом.

Занималась заря. Эмма, издали увидев два стрельчатых флюгера, черневших на фоне белеющего неба, догадалась, что это дом ее возлюбленного.

За фермой виднелся флигель,— по всей вероятности, помещик жил именно там. Эмма вошла туда так, словно стены сами раздвинулись при ее приближении. Длинная, без поворотов, лестница вела в коридор. Эмма отворила дверь и вдруг увидела в глубине комнаты спящего человека. Это был Родольф. Она вскрикнула.

— Это ты? Это ты? — повторял он.— Как тебе удалось?.. Смотри, у тебя мокрое платье.

— Я люблю тебя! — закидывая ему на шею руки, сказала она.

Эта смелая затея окончилась благополучно, и теперь всякий раз, когда Шарль уезжал рано, Эмма второпях одевалась и на цыпочках спускалась по каменной лестнице к реке.

Если досок, по которым переходили коровы, на месте не оказывалось, то надо было идти вдоль реки, у самой садовой ограды. Берег был скользкий. Чтобы не упасть, Эмма цеплялась за увядшие левкои. Затем она шла прямиком по вспаханному полю, увязая, спотыкаясь, пачкая свою изящную обувь. Она боялась быков и через выгон бежала опрометью; косынку ее трепал ветер. К Родольфу она входила тяжело дыша, раскрасневшаяся, и от нее веяло свежим ароматом молодости, зелени и вольного воздуха. Родольф обыкновенно еще спал. Вместе с ней в его комнату словно врывалось весеннее утро.

Желтые занавески на окнах смягчали густой золотистый свет, проникавший снаружи. Эмма шла ощупью, жмурясь, и капли росы сверкали у нее в волосах венцом из топазов. Родольф, смеясь, привлекал ее и прижимал к груди.

Потом она обводила глазами его комнату, выдвигала ящики, причесывалась его гребенкой, смотрелась в его зеркальце для бритья. Часто она даже брала в рот длинный чубук трубки, лежавшей на ночном столике, среди кусочков лимона и сахара, возле графина с водой.

Не менее четверти часа уходило у них на прощание. Эмма, расставаясь, плакала; ей хотелось всегда быть с Родольфом. Какая-то неодолимая сила влекла ее к нему. Но вот однажды, когда она пришла к нему неожиданно, он досадливо поморщился.

— Что с тобой? — спросила она.— Ты нездоров? Скажи!

В конце концов он внушительным тоном заметил, что она забыла всякую осторожность и что эти посещения бросают на нее тень.

X

С течением времени опасения Родольфа передались и ей. На первых порах она была упоена любовью и ни о чем другом не помышляла. Но теперь, когда эта любовь стала для нее жизненной необходимостью, она боялась утратить хотя бы частицу ее, хоть чем-нибудь ее потревожить. Возвращаясь от Родольфа, она пугливо озиралась, высматривая, нет ли какой-нибудь фигуры на горизонте, из какого окна ее могут увидеть. Она прислушивалась к шагам, к голосам, к стуку повозок и внезапно останавливалась, бледная, трепещущая, как листва тополей, колыхавшихся у нее над головой.

Однажды утром, идя домой, она неожиданно увидела длинное дуло карабина, наставленное как будто бы прямо на нее. Оно торчало из бочки, прятавшейся в траве на краю канавы. У Эммы подкашивались ноги от ужаса, но она все же продолжала идти вперед, как вдруг из бочки, точно чертик из коробочки, выскочил человек. Гетры на нем были застегнуты до самых колен, фуражку он надвинул на глаза. Губы у него дрожали, нос покраснел. Это капитан Бине охотился на дичь.

— Вам надо было меня окликнуть! — громко заговорил он.— Когда видишь ружье, непременно надо предупредить.

Так податной инспектор пытался объяснить напавший на него страх. Но дело было в том, что приказ префекта разрешал охоту на уток только с лодки, и, таким образом, блюститель законов г-н Бине сам же их и нарушал. Вот почему податному инспектору все время казалось, что идет сельский стражник. Но сознание опасности лишь усиливало удовольствие охоты, и, сидя в бочке, Бине блаженствовал и восхищался собственной изобретательностью.

Узнав Эмму, он почувствовал, что гора у него свалилась с плеч, и тотчас попытался завязать с ней разговор:

— А ведь нынче не жарко! Пощипывает!

Эмма ничего ему не ответила.

— Что это вы нынче спозаранку? — не унимался Бине.

— Так пришлось,— пролепетала она,— моя дочь у кормилицы — я ее навещала.

— Ах, вот как? Хорошее дело! Хорошее дело! А я в таком вот виде торчу здесь с самой зари. Но только погода до того скверная, что если дичь не пролетит у вас под самым...

— Всего доброго, господин Бине! — повертываясь к нему спиной, прервала его Эмма.

— Будьте здоровы, сударыня! — сухо отозвался он.

И опять полез в бочку.

Эмма пожалела, что так резко оборвала податного инспектора. Теперь он непременно начнет строить самые невыгодные для нее предположения. История с кормилицей была придумана неудачно: весь город знает, что уже год, как родители взяли Берту к себе. Да и потом поблизости нет никакого жилья. Эта дорога ведет только в Ла Юшет. Значит, Бине догадался, откуда она идет, и, уж конечно, молчать не станет — всем раззвонит! До самого вечера она ломала себе голову, придумывая, как бы ей получше вывернуться, и перед глазами у нее все стоял этот болван с ягдташем.

После обеда Шарль, видя, что жена чем-то расстроена, предложил ей пойти развлечься к фармацевту, и первый, кого она увидела в аптеке, был все тот же инспектор! Он стоял перед прилавком так, что на него падал свет от красного шара, и говорил:

— Дайте мне, пожалуйста, пол-унции купороса.

— Жюстен, принеси-ка нам сюда серной кислоты! — крикнул аптекарь и обратился к Эмме, которая хотела подняться к г-же Оме: — Нет, нет, побудьте здесь, не беспокойтесь, она сейчас сама к вам сойдет. Погрейтесь пока у печки... Вы уж меня извините... Здравствуйте, доктор!.. (Фармацевту очень нравилось называть Шарля доктором, точно это слово, обращенное к другому, бросало на него самого отблеск торжественности, какую он, Оме, в него вкладывал.) Смотри не опрокинь ступки! Принеси стулья из зальцы — ты же знаешь, что кресла в гостиной трогать нельзя.

С этими словами Оме выскочил из-за прилавка, чтобы поставить кресло на место, но тут Бине спросил у него пол-унции сахарной кислоты.

— Сахарной кислоты? — презрительно переспросил аптекарь. — Я такой не знаю, понятия не имею! Может быть, вы хотите щавелевой кислоты? Щавелевой, да?

Бине пояснил, что ему нужно едкое вещество, чтобы свести ржавчину с охотничьего снаряжения. Эмма вздрогнула.

— Да, в самом деле, погода вам не благоприятствует, — поспешил поддержать разговор фармацевт, — уж очень сыро.

— А вот некоторые сырости не боятся, — с лукавым видом заметил инспектор.

Эмме стало нечем дышать.

— Дайте мне еще...

«Он никогда отсюда не уйдет!» — подумала она.

— ...пол-унции канифоли и скипидару, четыре унции желтого воску и еще, пожалуйста, полторы унции жженой кости — я этим чищу лаковые ремни.

Аптекарь начал резать воск. В это время вошла г-жа Оме с Ирмой на руках, рядом с ней шел Наполеон, а сзади — Аталия. Г-жа Оме села на обитую бархатом скамейку у окна, мальчуган вскарабкался на табурет, а его старшая сестра подбежала к папочке и стала вертеться вокруг коробочки с ююбой. Аптекарь наливал жидкости через воронки, закупоривал склянки, наклеивал этикетки, завязывал свертки. Все кругом него молчали. Время от времени слышалось только звяканье разновесок да шепот фармацевта, который наставлял своего ученика.

— Ну как ваша малышка? — вдруг спросила г-жа Оме.

— Тише! — прикрикнул на нее г-н Оме, занося в черновую тетрадь какие-то цифры.

— Почему вы ее не взяли с собой? — снова, но уже вполголоса обратилась к Эмме с вопросом г-жа Оме.

— Тс! Тсс! — показывая пальцем на аптекаря, прошептала Эмма.

Но Бине углубился в чтение счета и, по-видимому, ничего не слышал. Наконец он ушел. Почувствовав облегчение, Эмма испустила глубокий вздох.

— Как вы тяжело дышите! — заметила г-жа Оме.

— Здесь у вас немного душно,— ответила Эмма.

На другой же день Родольф и Эмма решили, что их свидания должны быть обставлены по-иному. Эмма предложила подкупить каким-нибудь подарком свою служанку. Родольф, однако, считал, что самое благое дело — найти в Ионвиле укромный домик. И он обещал что-нибудь в этом роде подыскать.

Всю зиму он раза три-четыре в неделю глухою ночью приходил к ней в сад. Шарль думал, что ключ от калитки потерян; на самом же деле Эмма передала его Родольфу.

В виде условного знака Родольф бросал в окно горсть песку. Эмма мгновенно вскакивала с постели. Но иногда приходилось ждать, так как у Шарля была страсть подсесть к камельку и болтать без конца. Эмма сгорала от нетерпения; она готова была уничтожить своим взглядом Шарля. Наконец она принималась за свой ночной туалет; потом брала книгу и преспокойно усаживалась читать, делая вид, что увлечена чтением. Но в это время слышался голос Шарля, уже успевшего лечь в постель,— он звал ее спать:

— Иди, иди, Эмма, пора!

— Сейчас иду! — отзывалась она.

Свет мешал ему, он поворачивался к стене и засыпал. Тогда Эмма, полуодетая, дрожащая, улыбающаяся, убегала.

У Родольфа был широкий плащ. Он закутывал ее и, обхватив за талию, молча уводил в глубину сада.

Это происходило в беседке, на той же самой скамейке с трухлявыми столбиками, на которой летними вечерами сидел Леон и таким влюбленным взглядом смотрел на Эмму. Теперь она уже совсем забыла его!

Сквозь безлистые ветви жасмина сверкали звезды. Сзади шумела река, по временам слышался треск сухих стеблей камыша. Тьма кое-где сгущалась; порою по этим

скоплениям мрака пробегал мгновенный трепет, они выпрямлялись, потом склонялись, и тогда Эмме и Родольфу чудилось, будто на них накатывают огромные черные волны и вот сейчас захлестнут их. От ночного холода они еще тесней прижимались друг к другу; дыхание у них становилось как будто бы учащеннее; глаза, которых почти не было видно, в темноте казались больше, а каждое слово, шепотом произнесенное в тиши, падало в душу, хрустально звеня и будя бесконечные отголоски.

В ненастные ночи они укрывались между каретником и конюшней, во флигельке, где Шарль принимал больных. В кухонный подсвечник Эмма вставляла свечу, которая у нее была припрятана за книгами, и зажигала ее. Родольф располагался как у себя дома. Его смешил книжный шкаф, письменный стол, общий вид комнаты, и он то и дело подшучивал над Шарлем, чем приводил Эмму в смущение. Ей хотелось, чтобы он был серьезнее, даже трагичнее, особенно в тот раз, когда ей вдруг почудилось, что кто-то идет по дорожке к флигелю.

— Сюда идут! — сказала она.

Он потушил свет.

— У тебя есть пистолеты?

— Зачем?

— Ну, чтобы... чтобы защищаться,— пояснила Эмма.

— От твоего мужа? Ах он бедняга!

И Родольф сделал движение, означавшее: «Да я из него одним щелчком вышибу дух!»

В этой его храбрости, поразившей Эмму, было, однако, что-то неделикатное, наивно-грубое, отчего ее невольно покоробило.

Родольф потом долго думал над этим разговором о пистолетах. Если она говорила серьезно, рассуждал он, то это смешно и даже противно. Ведь он не испытывал так называемых мук ревности и не имел оснований ненавидеть добродушного лекаря,— вот почему, когда Эмма, заговорив о своих отношениях с Шарлем, дала Родольфу торжественную клятву, он расценил это как бестактность.

К тому же Эмма становилась чересчур сентиментальной. С ней непременно надо было обмениваться миниатюрами, срезать пряди волос, а теперь она еще требовала, чтобы он подарил ей кольцо, настоящее обручальное кольцо, в знак любви до гроба. Ей доставляло удовольствие говорить о вечернем звоне, о «голосах природы», потом она заводила разговор о своей и о его матери. Родольф

потерял ее двадцать лет тому назад. Это не мешало Эмме сюсюкать с ним по этому поводу так, точно Родольф был мальчик-сиротка. Иногда она даже изрекала, глядя на луну:

— Я убеждена, что они обе благословляют оттуда нашу любовь.

Но она была так хороша собой! Так редко попадалось на его пути столь простодушное существо! Ему, ветренику, ее чистая любовь была внове; непривычная для него, она льстила его самолюбию и будила в нем чувственность. Его мещанский здравый смысл презирал восторженность Эммы, однако в глубине души эта восторженность казалась ему очаровательной именно потому, что относилась к нему. Уверившись в любви Эммы, он перестал стесняться, его обращение с ней неприметным образом изменилось.

Он уже не говорил ей, как прежде, тех нежных слов, что трогали ее до слез, не расточал ей тех бурных ласк, что доводили ее до безумия. Великая любовь, в которую она была погружена, высыхала, точно река, и уже видна была тина. Эмма не хотела этому верить, она стала еще нежнее с Родольфом, а он все менее тщательно скрывал свое равнодушие.

Она сама не знала, жалеет ли она, что уступила тогда его домогательствам, или же, напротив, ее все сильнее тянет к нему. Унизительное сознание своей слабохарактерности вызывало в ней злобу, которую умеряло только сладострастие. Это была не привязанность, это был как бы непрерывный соблазн. Родольф порабощал ее. Эмма теперь уже почти боялась его.

На поверхности все, однако, было спокойнее, чем когда-либо; Родольфу удалось ввести этот роман в желаемое русло, и полгода спустя, когда пришла весна, они уже представляли собой что-то вроде супругов, которые поддерживают в домашнем очаге ровное пламя.

Весной обыкновенно папаша Руо в память о своей сросшейся ноге посылал Шарлю и Эмме индейку. К подарку неизменно прилагалось письмо. На сей раз Эмма, перерезав веревочку, которой оно было привязано к корзине, прочла следующее:

«Дорогие мои дети!

Надеюсь, вы оба здоровы, и еще я надеюсь, что эта моя индейка окажется не хуже прежних; осмеливаюсь

утверждать, что она будет даже понежнее, да и пожирнее. А на будущий год я для разнообразия пришлю вам индюка или, если хотите, каплуна, а вы мне верните, пожалуйста, мою корзину вместе с теми двумя. У меня случилась беда: ночью поднялся сильный ветер, сорвал с сарая крышу и забросил на деревья. Урожай тоже не так чтобы уж очень знатный. Одним словом, я не могу сказать, когда сумею вас проведать. Трудно мне стало выбираться из дому,— ведь я теперь совсем один, милая моя Эмма!»

В этом месте между строчками был оставлен пробел — бедный старик словно выронил перо и погрузился в раздумье.

«О себе скажу, что я здоров, вот только схватил на днях насморк, когда ездил на ярмарку в Ивето нанимать пастуха, а который был у меня раньше, того я прогнал: уж больно стал привередлив. Мученье с этими разбойниками! Вдобавок он еще нечист на руку.

От одного разносчика, который зимой побывал в ваших краях и вырвал там себе зуб, я слышал, что Бовари по-прежнему трудится не покладая рук. Это меня не удивило. Разносчик показал мне свою десну. Мы с ним выпили кофе. Я спросил, видел ли он тебя, Эмма; он сказал, что нет, зато он видел двух лошадей в вашей конюшне,— стало быть, дела у вас идут. Ну и отлично, милые детки, давай вам бог!

Мне очень грустно, что я еще не познакомился с моей любимой внучкой Бертой Бовари. Я посадил для нее в саду, как раз напротив твоей комнаты, Эмма, сливу и никому не позволяю ее трогать. Потом я наварю сливового варенья и спрячу в шкаф, а когда внучка ко мне приедет, то будет его кушать, сколько захочет.

Прощайте, славные мои детки! Целую тебя, дочурка, и Вас, дорогой зять, а малышку — в обе щечки.

Всего, всего вам хорошего!

Ваш любящий отец

Теодор Руо».

Эмма долго держала в руках этот листок грубой бумаги. В письме отца орфографические ошибки цеплялись одна за другую, но сквозь них до внутреннего слуха Эммы долетало невнятное биенье размягченного сердца, как

сквозь ветви кустарника до нас доходит квохтанье прячущейся наседки. Старик Руо присыпал чернила каминной золой, и когда Эмма заметила, что на ее платье село много серой пыли, она до осязаемости ясно представила себе, как отец тянется за щипцами. Давно-давно не сидела она с ним на скамеечке у камина и не помешивала потрескивающий дрок палкой, конец которой загорался от жаркого огня! Вспомнились ей светлые летние вечера. Идешь, бывало, мимо жеребят, а они ржут и резвятся, резвятся!.. Под ее окном стоял улей, и пчелы, кружась в лучах солнца, золотыми шариками ударялись об оконное стекло, а потом тут же отскакивали. Какое это было счастливое время! Беззаботное! Полное надежд! Как много было тогда иллюзий! А теперь не осталось ни одной. Эмма растратила их во время своих душевных бурь, растрачивала постепенно: в девичестве, в браке, в любви, на протяжении всей своей жизни, точно путешественник, оставляющий частицу своего состояния в каждой гостинице.

Но кто повинен в ее несчастье? Откуда налетел этот страшный, все вырвавший с корнем ураган? Эмма подняла голову и, словно высматривая источник своих страданий, обвела глазами комнату.

На фарфоровых вещицах, которыми была заставлена этажерка, переливчато блестел солнечный луч; в камине горели дрова; под туфлями прощупывался мягкий ковер; день был солнечный, воздух — теплый, слышался звонкий смех ее ребенка.

Девочка валялась на лужайке, на свежескошенной траве. Сейчас она лежала плашмя на копне. Няня придерживала ее за платьице. Тут же рядом сгребал сено граблями Лестибудуа, и всякий раз, как он приближался, Берта наклонялась и всплескивала ручонками.

— Приведите ее ко мне! — крикнула мать и, раскрыв объятия, бросилась ей навстречу.— Как я люблю тебя, ненаглядная моя девочка! Как я тебя люблю!

Заметив, что у нее не совсем чистые уши, Эмма позвонила, велела принести горячей воды, вымыла Берту, переменила ей белье, чулочки, башмачки, забросала няню вопросами о ее здоровье, как будто она только что вернулась из далекого путешествия, наконец со слезами на глазах еще раз поцеловала дочку и с рук на руки передала няне, оторопевшей от подобного прилива нежности.

Вечером Родольф нашел, что Эмма как-то особенно серьезна.

«Пройдет,— решил он.— Так просто, каприз».

И пропустил три свидания подряд. Когда же наконец пришел, она встретила его холодно, почти враждебно.

«Меня этим не возьмешь, моя деточка...» — сказал себе Родольф.

Он делал вид, что не замечает ни ее тяжелых вздохов, ни того, как она комкает в руке платок.

Вот когда Эмма раскаялась!

Она даже призадумалась: за что она так ненавидит Шарля, и не лучше ли все-таки попытаться полюбить его? Но Шарль не оценил этого возврата былого чувства, ее жертвенный порыв разбился, это повергло ее в полное смятение, а тут еще подвернулся аптекарь и нечаянно подлил масла в огонь.

XI

Он как раз недавно прочитал хвалебную статью о новом методе лечения искривления стопы, а так как он был поборником прогресса, то у него сейчас же родилась патриотическая мысль: дабы «поддержать честь города», необходимо начать производить в Ионвиле операции стрефоподии.

— Ну чем мы рискуем? — говорил он Эмме.— Подумайте (тут он принимался перебирать по пальцам выгоды этого предприятия): успех почти обеспечен, больной получает облегчение и избавляется от уродства, популярность хирурга быстро растет. Почему бы, например, вашему супругу не оказать помощь бедняге Ипполиту из «Золотого льва»? Примите во внимание, что он непременно станет рассказывать о том, как его вылечили, всем приезжающим, а кроме того,— понизив голос и оглядевшись по сторонам, добавлял Оме,— кто мне помешает послать об этом заметочку в газету? Господи боже мой! Статья нарасхват... всюду разговоры... все это растет, как снежный ком! И как знать? Как знать?..

Что же, может быть, Шарля и впрямь ждет удача? У Эммы нет ни малейших оснований сомневаться в его способностях. А какое удовлетворение получит она, если под ее влиянием он решится на такой шаг, который даст ему славу и деньги! Она ведь как раз ищет для себя опору, более прочную, чем любовь.

Шарль сдался на уговоры аптекаря и собственной су-

пруги. Он выписал из Руана книгу доктора Дюваля и теперь каждый вечер, сжав голову руками, углублялся в чтение.

Пока он изучал эквинусы, варусы и вальгусы, то есть стрефокатоподию, стрефеноподию и стрефекзоподию (проще говоря, различные случаи искривления стопы: книзу, внутрь и наружу), а также стрефипоподию и стрефаноподию (иными словами, выверт книзу и загиб кверху), г-н Оме всячески старался убедить трактирного слугу сделать себе операцию:

— Ну, может, будет больновато, только и всего. Просто-напросто укол, вроде легонького кровопускания. Удалить мозоль и то иногда бывает больнее.

Ипполит таращил свои глупые глаза и все раздумывал.

— Мне-то ведь безразлично! — продолжал фармацевт.— Для тебя стараемся! Только из человеколюбия! Я, друг мой, хочу, чтобы ты избавился от уродующего тебя прихрамывания, сопровождающегося колебанием поясничной области, а ведь, что ты там ни говори, это очень тебе мешает исполнять твои непосредственные обязанности.

Оме расписывал ему, насколько он станет живее, подвижнее, даже намекал, что он будет пользоваться большим успехом у женского пола, и тогда на лице у конюха появлялась сонная улыбка. Затем аптекарь пытался подействовать на его самолюбие:

— Какой же ты после этого мужчина, черт бы тебя побрал! А что, если б тебя призвали на военную службу, что, если б тебе пришлось сражаться под знаменами?.. Эх, Ипполит!

И, заявив, что ему не понятно такое упрямство, такое безрассудное нежелание воспользоваться благодеяниями науки, удалялся.

В конце концов несчастный Ипполит уступил, ибо против него образовался целый заговор. Бине, который никогда прежде не вмешивался в чужие дела, г-жа Лефрансуа, Артемиза, соседи, даже сам мэр, г-н Тюваш,— все к нему приставали, все его убеждали, стыдили, однако сломил его упорство довод, что «это ничего ему не будет стоить». Бовари взял на свой счет даже покупку прибора для операции. Идея этого широкого жеста принадлежала Эмме, и Шарль согласился, подумав при этом, что жена его ангел.

По заказу лекаря, слушавшегося советов фармацевта,

столяр с помощью слесаря в конце концов смастерил нечто вроде ящика фунтов на восемь весом, причем они троекратно переделывали этот прибор и не пожалели на него ни железа, ни дерева, ни жести, ни кожи, ни шурупов, ни гаек.

Но чтобы решить, какую связку перерезать, надо было сначала выяснить, каким именно видом искривления стопы страдает Ипполит.

На одной ноге у него стопа составляла почти прямую линию с голенью; в то же время она была вывернута и внутрь — следовательно, это был эквинус, осложненный небольшим варусом, или же слабый варус в сочетании с ярко выраженным эквинусом. Но на этом своем эквинусе, шириной, в самом деле, с лошадиное копыто, загрубелом, сухожилом, длиннопалом, с черными ногтями, похожими на гвозди от подковы, наш стрефопод день-деньской бегал быстрее лани. Вечно он, выбрасывая свою кривую подпорку, прыгал на площади вокруг повозок. Создавалось впечатление, что больная нога у него даже сильнее здоровой. От постоянного упражнения у нее точно появились душевные качества — терпение и настойчивость, и, исполняя какую-нибудь особенно тяжелую работу, Ипполит преимущественно ступал на нее.

Лекарь отказался делать две операции одновременно,— он и так уж дрожал от страха, что нечаянно заденет какую-нибудь ему не известную важную область,— он решил сначала разрезать ахиллесово сухожилие, то есть покончить с эквинусом, и только потом, чтобы устранить и варус, взяться за переднюю берцовую мышцу.

Ни у Амбруаза Паре, который впервые после Цельса, по прошествии пятнадцати столетий, осуществил непосредственную перевязку артерии; ни у Дюпюитрена, которому предстояло вскрыть нарыв внутри головного мозга; ни у Жансуля перед первой операцией верхней челюсти так не билось сердце, так не дрожала рука, так не было напряжено внимание, как у Бовари, когда он с тенотомом в руке приблизился к Ипполиту. Как в настоящей больнице, рядом, на столе, лежала куча корпии, вощеных ниток и великое множество бинтов, целая пирамида бинтов, все бинты, какие только нашлись у аптекаря. Все это еще с утра приготовил г-н Оме,— ему хотелось не только потрясти публику, но и пустить пыль в глаза самому себе. Шарль проткнул кожу; послышался сухой треск. Связка была перерезана, операция кончилась. Ипполит не

мог прийти в себя от изумления; он наклонился и стал целовать руку Бовари.

— Ну полно, полно! — сказал аптекарь.— У тебя еще будет время выразить признательность своему благодетелю!

Он вышел рассказать об исходе операции пяти-шести любопытным, которые, вообразив, что вот-вот появится Ипполит и, уже не хромая, пройдется перед ними, стояли во дворе. Шарль пристегнул больного к механическому приспособлению и пошел домой. На пороге его встретила взволнованная Эмма. Она бросилась ему на шею. Оба сели обедать. Шарль ел много, а за десертом даже попросил налить ему кофе, тогда как обыкновенно он позволял себе эту роскошь только по воскресеньям, если приходили гости.

Вечер прошел чудесно; супруги оживленно беседовали, сообща строили планы. Разговор шел об их будущем благосостоянии, о том, что нового заведут они в своем хозяйстве. Шарль рисовал себе такую картину: больные к нему все идут, доходы его все растут, по-прежнему любящая жена создает ему уют. Эмма между тем испытывала блаженство от нового, освежающего чувства, которое было и здоровее и чище прежнего, оттого что в ней наконец шевельнулось нечто похожее на нежность к этому бедному малому, так горячо любившему ее. Она вспомнила о Родольфе, но взгляд ее тотчас же обратился к Шарлю, и она с удивлением заметила, что у него довольно красивые зубы.

Шарль и Эмма были уже в постели, когда, не слушая кухарку, к ним в спальню влетел с только что исписанным листком бумаги в руках г-н Оме. Это была рекламная статья, предназначавшаяся фармацевтом для *Руанского светоча*. Он принес ее показать.

— Прочтите сами,— сказал Бовари.

Аптекарь начал читать:

— «Несмотря на сеть предрассудков, которая все еще опутывает часть Европы, свет начал проникать и в нашу глухую провинцию. Так, например, в прошедший вторник наш маленький городок Ионвиль оказался ареною хирургического опыта, который в то же время является актом высшего человеколюбия. Г-н Бовари, один из наших выдающихся практикующих врачей...»

— Ну, это уж чересчур! Это уж чересчур! — задыхаясь от волнения, проговорил Шарль.

— Да нет, что вы, нисколько!.. «...оперировал искривление стопы...» Я нарочно не употребил научного термина,— сами понимаете: газета... Пожалуй, не все поймут, а надо, чтобы массы...

— Вы правы,— сказал Шарль.— Продолжайте.

— Я перечту всю фразу,— сказал фармацевт: — «Г-н Бовари, один из наших выдающихся практикующих врачей, оперировал искривление стопы некоему Ипполиту Тотену, который вот уже двадцать пять лет исполняет обязанности конюха в трактире «Золотой лев», что́ на Оружейной площади, содержательницей коего является вдова г-жа Лефрансуа. Новизна опыта и участие к больному вызвали такое скопление народа, что у входа в заведение образовалась форменная давка. Сама операция совершилась словно по волшебству — выступило лишь несколько капель крови, как бы для того, чтобы возвестить, что усилия врачебного искусства восторжествовали над непокорной связкой. Удивительно, что больной (мы это утверждаем *de visu*[1]) нисколько не жаловался на боль. Его состояние пока что не внушает ни малейших опасений. Все говорит о том, что выздоровление пойдет быстро, и, кто знает, быть может, на ближайшем же деревенском празднике мы увидим, как славный наш Ипполит вместе с другими добрыми молодцами принимает участие в вакхических плясках, доказывая своим воодушевлением и своими прыжками, что он вполне здоров? Итак, слава нашим великодушным ученым! Слава неутомимым труженикам, которые не спят ночей для того, чтобы род человеческий стал прекраснее и здоровее! Слава! Трижды слава! Теперь уже можно сказать с уверенностью, что прозреют слепые и бодро зашагают хромые! Что фанатизм некогда сулил только избранным, то наука ныне дарует всем! Мы будем держать наших читателей в курсе последующих стадий этого замечательного лечения».

Однако пять дней спустя к Бовари прибежала перепуганная тетушка Лефрансуа.

— Помогите! Он умирает!..— кричала она.— Прямо не знаю, что делать!

Шарль кинулся в «Золотой лев»; вслед за ним фармацевт, видя, что он без шляпы бежит через площадь, бросил аптеку. Весь красный от волнения, с трудом переводя

---

[1] В качестве очевидца *(лат.)*.

дух, г-н Оме расспрашивал всех, кто попадался ему на трактирной лестнице:

— Что такое с нашим любопытным стрефоподом?

А стрефопод тем временем извивался в страшных судорогах, и механический прибор, в который была зажата его нога, казалось, мог проломить стену — с такой силой он об нее ударялся.

Лекарь с величайшей осторожностью, чтобы не изменить положения конечности, снял с нее ящик — и ему представилось ужасающее зрелище. Стопа вся заплыла опухолью, кожа натянулась до того, что могла, того и гляди, лопнуть, все кругом было в кровоподтеках от знаменитого прибора. Ипполит давно жаловался, что ему больно, но этому не придавали значения. Теперь уже невозможно было отрицать, что Ипполит имел для этого некоторые основания, и на несколько часов его ногу оставили в покое. Но едва лишь отек немного опал, оба ученых мужа нашли, что пора вновь поместить ногу в аппарат и, чтобы дело пошло скорее, как можно крепче его завинтить. Наконец через три дня Ипполит не выдержал, прибор снова пришлось снять, и результат получился сверхнеожиданный. Синеватая опухоль распространилась и на голень, и на опухоли местами образовались нарывчики, из которых сочилась черная жидкость. Дело принимало нешуточный оборот. Ипполит затосковал, и, чтобы у него было хоть какое-нибудь развлечение, тетушка Лефрансуа поместила его в зальцу около кухни.

Но податной инспектор, который там ежедневно обедал, взбунтовался против такого соседства. Тогда Ипполита перевели в бильярдную.

Бледный, обросший, с глубоко запавшими глазами, он лежал под толстыми одеялами, беспрерывно стонал и лишь изредка поворачивал потную голову на грязной, засиженной мухами подушке. Г-жа Бовари приходила его проведать. Она приносила ему чистые тряпки для припарок, утешала его, ободряла. Впрочем, у него не было недостатка в обществе, особенно в базарные дни, когда крестьяне толпились тут же, гоняли бильярдные шары, орудовали киями, курили, пили, пели, галдели.

— Как дела? — хлопая больного по плечу, говорили они.— Вид-то у тебя неважный! Ну да сам виноват. Тебе нужно было вот то-то и то-то.

Они рассказывали ему целые истории, как люди излечивались другими средствами, и в утешение прибавляли:

— Больно ты мнительный! А ну, вставай! Развалился тут, как барин! У, притворщик! А уж запашок от тебя!

В самом деле, гангрена поднималась все выше и выше. Бовари чуть сам от этого не заболел. Он прибегал к больному каждый час, каждую минуту. Ипполит смотрел на него глазами, полными ужаса, и, всхлипывая, бормотал:

— Когда же я выздоровлю?.. Ах, спасите меня!.. Что я за несчастный! Что я за несчастный!

Но лекарь, всякий раз рекомендуя ему диету, уходил.

— Не слушай ты его, сынок,— говорила тетушка Лефрансуа.— Довольно ты от них натерпелся! Ведь так ты и ног не потянешь. На, покушай.

И она предлагала ему то тарелочку крепкого бульона, то кусочек жареного мяса, то кусочек сала, а иной раз даже рюмку водки, однако больной не решался поднести ее ко рту.

Весть о том, что Ипполиту стало хуже, дошла до аббата Бурнизьена, и он пришел навестить больного. Прежде всего он посочувствовал ему, но тут же прибавил, что свои страдания Ипполит должен переносить с радостью, ибо такова воля божия, и что надо теперь же, не откладывая, примириться с небом.

— А то ведь ты иногда ленился исполнять свой долг,— отеческим тоном говорил священник.— Ты редко посещал храм божий. Сколько лет ты не причащался святых таин? Я понимаю, что от мыслей о спасении души тебя отвлекали дела, суета мирская. А теперь настала пора и о душе подумать. Только ты не отчаивайся: я знал великих грешников, и все же они, готовясь предстать перед господом (тебе-то еще до этого далеко, я знаю, знаю), взывали к его милосердию и, без сомнения, умирали просветленными. Будем надеяться, что и ты подашь благой пример! Отчего бы тебе на всякий случай не читать утром и вечером «Богородице, дево, радуйся» и «Отче наш, иже еси на небесех»? Начни-ка! Ради меня! Сделай мне такое одолжение! Что тебе стоит?.. Обещаешь?

Бедный малый обещал. Священник стал ходить к нему каждый день. Он болтал с трактирщицей, рассказывал ей разные истории, подъезжал к ней с шуточками и прибаутками, смысла которых Ипполит не понимал. Но при первом удобном случае аббат, придав своему лицу надлежащее выражение, заводил разговор с Ипполитом на религиозные темы.

Его рвение имело успех: вскоре стрефопод дал обет,

если только выздоровеет, сходить на богомолье в Бон-Секур. Аббат Бурнизьен сказал, что это не помешает,— кашу маслом, дескать, не испортишь. «А риска никакого».

Аптекаря возмущали эти, как он выражался, «поповские штучки». Он считал, что Ипполиту они вредны.

— Оставьте его в покое! Оставьте его в покое! — твердил он г-же Лефрансуа.— Вы ему только настроение портите своим мистицизмом!

Но добрая женщина не слушала его,— ведь он же тут был «главным зачинщиком»! Из духа противоречия она даже повесила над изголовьем больного чашу со святой водой и ветку букса.

Тем не менее религия оказалась такой же бессильной, как и хирургия,— неумолимый процесс заражения крови поднимался к животу. Какими только снадобьями ни пичкали Ипполита, сколько ни ставили ему припарок, разложение тканей шло полным ходом, и когда, наконец, тетушка Лефрансуа, видя, что никакие средства не помогают, спросила Шарля, не послать ли в Невшатель за местной знаменитостью, г-ном Каниве, то ему уже ничего иного не оставалось, как утвердительно кивнуть головой.

Пятидесятилетний доктор медицины, преуспевающий, самоуверенный, не счел нужным стесняться и при виде ноги, тронутой разложением до самого колена, презрительно рассмеялся. Потом он безапелляционным тоном заявил, что ногу необходимо отрезать, пошел к фармацевту и там начал ругательски ругать тех ослов, которые довели бедного малого до такого состояния. Дергая г-на Оме за пуговицу сюртука, он орал на всю аптеку:

— Вот они, парижские-то новшества! Вот они, выдумки столичных господ! Это вроде лечения косоглазия, или хлороформа, или удаления камней из мочевого пузыря. Правительству давно бы надо запретить эти безобразия! А они все мудрят, они пичкают больных лекарствами, совершенно не думая о последствиях. Нам, конечно, с ними не тягаться. Мы — не ученые, не франты, не краснобаи; мы — практики, лечащие врачи, нам в голову не придет оперировать человека, когда он здоровехонек! Выпрямлять искривление стопы! Да разве можно выпрямить искривление стопы? Это все равно что исправить горбатого!

Аптекарю такие речи не доставляли удовольствия, но свое замешательство он маскировал льстивой улыбкой; дело в том, что рецепты г-на Каниве доходили и до Ионвиля, и с ним надо было быть полюбезнее. Вот почему он

не выступил на защиту Бовари и ни разу даже не возразил доктору,— он пожертвовал своим достоинством ради более важных деловых интересов.

Ампутация, которую должен был сделать доктор Каниве, в жизни города явилась событием значительным. В этот день обыватели, все как один, встали рано, и на Большой улице, хотя она была полна народа, царила зловещая тишина как перед смертной казнью. У бакалейщика только и разговору было что о болезни Ипполита; во всех лавках торговля прекратилась; жена мэра г-жа Тюваш не отходила от окошка,— ей безумно хотелось посмотреть, как проедет мимо хирург.

Он ехал в собственном кабриолете и сам правил лошадью. На правую рессору так долго давил груз его мощного тела, что она в конце концов ослабла, и оттого экипаж всегда немного кренился набок. На подушке, рядом с доктором, стоял обтянутый красным сафьяном поместительный ящик с тремя внушительно блестевшими медными замками.

Доктор налетел на «Золотой лев», как ураган, еще в сенях зычным голосом велел распрячь его лошадь, а затем пошел в конюшню поглядеть, не мало ли задали ей овса. Надо заметить, что, приезжая к больным, он прежде всего проявлял заботу о своей лошади и о своем кабриолете. По этому поводу даже говорили: «Господин Каниве — оригинал!» Но за это несокрушимое спокойствие его только еще больше уважали. Если бы вымерла вселенная, вся до последнего человека, и тогда не изменил бы он самой пустячной своей привычке.

Явился Оме.

— Я рассчитываю на вас,— сказал доктор.— Вы готовы? Ну так за дело!

Но аптекарь, краснея, признался, что он человек чересчур впечатлительный и потому присутствовать при такой операции не может.

— Когда, понимаете ли, являешься простым зрителем, то это слишком сильно действует на воображение,— пояснил он.— Да и нервная система у меня в таком...

— А, будет вам! — прервал его Каниве.— По-моему, вы, наоборот, склонны к апоплексии. Впрочем, меня это не удивляет. Вы, господа фармацевты, вечно копошитесь в своей кухне, и с течением времени у вас даже темперамент меняется. Посмотрите-ка на меня: я встаю в четыре часа утра, для бритья употребляю холодную воду (мне

никогда не бывает холодно), фуфаек не ношу, ни при каких обстоятельствах не простужаюсь, желудок у меня в исправности! Живу я сегодня так, завтра этак, смотрю на вещи философски, питаюсь чем бог пошлет. Оттого-то я не такой неженка, как вы. Мне решительно все равно, кого ни резать,— крещеного человека или жареную дичь. Привычка — это великое дело!..

Ипполит, завернувшись в одеяло, потел от страха, а эти господа, не обращая на него ни малейшего внимания, завели длинный разговор, во время которого аптекарь сравнил хладнокровие хирурга с хладнокровием полководца. Такого рода сопоставление польстило доктору Каниве, и он стал развивать мысль, что медицина — это высокое призвание. Он считал, что сколько бы разные коновалы ни оскверняли искусство врачевания, на него нельзя иначе смотреть, как на священнодействие. Вспомнив наконец о больном, он осмотрел принесенные аптекарем бинты,— те самые, что были заготовлены еще для первой операции, и попросил дать ему в помощь человека, который подержал бы ногу пациента. Послали за Лестибудуа, г-н Каниве, засучив рукава, проследовал в бильярдную, а фармацевт остался с Артемизой и трактирщицей — обе они были белее своих передников и всё прикладывали ухо к двери.

А Бовари между тем затворился у себя дома. Он сидел внизу, в зале, у нетопленного камина, и, свесив голову на грудь, сложив руки, смотрел в одну точку. «Какая неудача! — думал он.— Какое разочарование!» А ведь он принял все меры предосторожности. Тут что-то прямо роковое. Так или иначе, если Ипполит умрет, убийца его — Шарль. А что ему отвечать больным, если они станут расспрашивать его во время визитов? Ну, а если тут было все-таки с его стороны какое-нибудь упущение? Он искал и не находил. Но ведь ошибались самые знаменитые хирурги. Этого-то как раз никто и не примет во внимание! Наоборот, все станут тыкать пальцем, судачить! Дойдет до Форжа! До Невшателя! До Руана! Куда угодно! Как бы еще коллеги не прохватили его в газетах! Начнется полемика, придется отвечать. Ипполит может подать на него в суд. Ему грозит позор, разорение, гибель. Его фантазию, преследуемую роем домыслов, швыряло то туда, то сюда, как пустую бочку с волны на волну.

Эмма сидела напротив Шарля и смотрела ему в лицо. Его унижение не находило в ней сочувствия — она тоже была унижена: откуда она взяла, будто этот человек на

что-то способен? Ведь она столько раз убеждалась в его никчемности!

Шарль стал ходить из угла в угол. Сапоги его скрипели.

— Сядь! — сказала Эмма.— Ты мне действуешь на нервы.

Он сел.

Как могла она (она, с ее умом!) еще раз в нем ошибиться! И вообще, какая это непростительная глупость — портить себе жизнь беспрестанными жертвами! Она подумала о своей любви к роскоши, о своей душевной пустоте, о своем неудачном замужестве, о неприглядности своей семейной жизни, о своих мечтах, что, как раненые ласточки, упали в грязь, обо всем, к чему она стремилась, чем могла бы обладать и в чем себе отказала. И ради чего? Ради чего?

Внезапно напряженную тишину городка прорезал душераздирающий крик. Бовари стал бледен как смерть. Эмма нервно сдвинула брови и снова ушла в свои мысли. Все ради него, ради этого существа, ради этого человека, который ничего не понимает, ничего не чувствует! Ведь он совершенно спокоен, ему и в голову не приходит, что, опорочив свое доброе имя, он осрамил и ее. А она еще старалась полюбить его, со слезами каялась, что отдалась другому!

— А может, это был вальгус? — вдруг выйдя из задумчивости, воскликнул Бовари.

Вопрос Шарля свалился на мысли Эммы, как свинцовый шар на серебряное блюдо; Эмма вздрогнула от этого неожиданного толчка и, силясь понять, что́ хотел этим сказать Шарль, подняла голову. Они обменялись безмолвным взглядом, как бы дивясь, что видят перед собой друг друга,— так они были сейчас внутренне далеки. Шарль смотрел на нее мутными глазами пьяницы и в то же время чутко прислушивался к последним воплям оперируемого — к этим тягучим переливам, которые вдруг переходили в тонкий визг, и тогда казалось, что где-то далеко режут животное. Эмма кусала свои побелевшие губы и, вертя в руке отломленный ею кусочек кораллового полипа, не сводила с Шарля острия горящих зрачков, похожих на огненные стрелы, которые вот-вот будут пущены из лука. Все в нем раздражало ее сейчас — раздражало его лицо, костюм, то, что он отмалчивался, весь его облик, наконец, самый факт его существования. Она раскаивалась

в том, что прежде была такой добродетельной,— теперь это казалось ей преступлением, и последние остатки ее целомудрия падали под сокрушительными ударами, которые наносило ему самолюбие. Упиваясь местью, она предвкушала торжество измены над верностью. Образ возлюбленного с такой неудержимой силой притягивал ее к себе, что у нее кружилась голова. Душа ее, вновь исполнившись обожания, рвалась к нему. А в Шарле она видела теперь нечто совершенно ей чуждое, нечто такое, с чем раз навсегда покончено, что уже перестало для нее существовать и кануло в вечность, как будто он умирал, как будто он отходил у нее на глазах.

На улице раздались шаги. Шарль посмотрел в окно. Сквозь щели в ставне был виден доктор Каниве — он шел мимо рынка, по солнечной стороне, и вытирал платком лоб. Следом за ним Оме тащил большой красный ящик. Оба направлялись в аптеку.

В порыве нежности и отчаяния Шарль повернулся к жене.

— Обними меня, моя хорошая! — сказал он.

— Оставь меня! — вся вспыхнув, проговорила Эмма.

— Что с тобой? Что с тобой? — растерянно забормотал он.— Не волнуйся! Успокойся!.. Ты же знаешь, как я тебя люблю!.. Поди ко мне!

— Довольно! — страшно закричала Эмма и, выбежав из комнаты, так хлопнула дверью, что барометр упал со стены и разбился.

Шарль рухнул в кресло; недоумевающий, потрясенный, он искал причину в каком-нибудь нервном заболевании, плакал, и тяжелое, необъяснимое предчувствие томило его.

Когда Родольф пришел вечером в сад, возлюбленная ждала его на нижней ступеньке террасы. Они обнялись, и от жаркого поцелуя вся их досада растаяла, как снежный ком.

XII

Они опять полюбили друг друга. Эмма часто писала ему днем записки, потом делала знак в окно Жюстену, и тот, мигом сбросив фартук, мчался в Ла Юшет. Родольф приходил; ей нужно было только высказать ему, как она без него соскучилась, какой у нее отвратительный муж и как ужасна ее жизнь.

— Что же я-то здесь могу поделать? — однажды запальчиво воскликнул Родольф.

— Ах, тебе стоит только захотеть!..

Эмма с распущенными волосами сидела у его ног и смотрела перед собой отсутствующим взглядом.

— Что захотеть? — спросил Родольф.

Она вздохнула.

— Мы бы отсюда уехали... куда-нибудь...

— Да ты с ума сошла! — смеясь, проговорил он.— Это невозможно!

Потом она снова вернулась к этой теме; он сделал вид, что не понимает, и переменил разговор.

Он не признавал осложнений в таком простом деле, как любовь. А у нее на все были свои мотивы, свои соображения, ее привязанность непременно должна была чем-то подогреваться.

Так, отвращение к мужу усиливало ее страсть к Родольфу. Чем беззаветнее отдавалась она любовнику, тем острее ненавидела мужа. Никогда еще Шарль, этот тяжелодум с толстыми пальцами и вульгарными манерами, не был ей так противен, как после свидания с Родольфом, после встречи с ним наедине. Разыгрывая добродетельную супругу, она пылала страстью при одной мысли о черных кудрях Родольфа, падавших на его загорелый лоб, об его мощном и в то же время стройном стане, об этом столь многоопытном и все же таком увлекающемся человеке! Для него она обтачивала свои ногти с тщательностью гранильщика, для него не щадила ни кольдкрема для своей кожи, ни пачулей для носовых платков. Она унизывала себя браслетами, кольцами, ожерельями. Перед его приходом она ставила розы в две большие вазы синего стекла, убирала комнату и убиралась сама, точно придворная дама в ожидании принца. Она заставляла прислугу то и дело стирать белье. Фелисите по целым дням не вылезала из кухни, а Жюстен, который вообще часто проводил с нею время, смотрел, как она работает.

Облокотившись на длинную гладильную доску, он с жадным любопытством рассматривал разложенные перед ним принадлежности дамского туалета: канифасовые юбки, косынки, воротнички, панталоны на тесемках, широкие в бедрах и суживавшиеся книзу.

— А это для чего? — указывая на кринолин или на застежку, спрашивал юнец.

— А ты что, первый раз видишь? — со смехом говори-

ла Фелисите.— Небось у твоей хозяйки, госпожи Оме, точь-в-точь такие же.

— Ну да, такие же! — отзывался Жюстен и задумчиво прибавлял: — Моя барыня разве что стояла рядом с вашей.

Служанку раздражало, что он все вертится около нее. Она была на шесть лет старше его, за нею уже начинал ухаживать работник г-на Гильомена Теодор.

— Отстань ты от меня! — переставляя горшочек с крахмалом, говорила она.— Поди-ка лучше натолки миндалю. Вечно трешься около женщин. Еще бороденка-то у паршивца не выросла, а туда же!

— Ну, ну, не сердитесь, я вам сейчас ботиночки ее в лучшем виде разделаю.

Он брал с подоконника Эммины башмачки, покрытые грязью свиданий, под его руками грязь превращалась в пыль, и он смотрел, как она медленно поднимается в луче солнца.

— Уж очень ты бережно с ними обращаешься! — говорила кухарка. Сама она с ними не церемонилась, когда чистила, так как барыня, заметив, что ботинки не имеют вида новых, сейчас же отдавала их ей.

У Эммы в шкафу было когда-то много обуви, но постепенно она вся почти перешла к служанке, и Шарль никогда не выговаривал за это жене.

Без возражений уплатил он и триста франков за искусственную ногу, которую Эмма сочла необходимым подарить Ипполиту. Протез был пробковый, с пружинными сочленениями,— это был сложный механизм, заправленный в черную штанину, с лакированным ботинком на конце. Однако Ипполит не мог себе позволить роскошь ходить каждый день на такой красивой ноге и выпросил у г-жи Бовари другую ногу, попроще. Лекарь, разумеется, оплатил и эту покупку.

Мало-помалу конюх опять начал заниматься своим делом. Снова он стал появляться то тут, то там на улицах городка, и Шарль, издали заслышав сухой стук костыля по камням мостовой, быстро переходил на другую сторону.

Все заказы брался выполнять торговец г-н Лере,— это давало ему возможность часто встречаться с Эммой. Он рассказывал ей о парижских новинках, обо всех диковинных женских вещицах, был чрезвычайно услужлив и никогда не требовал денег. Эмму соблазнил такой легкий способ удовлетворять свои прихоти. Так, например, ей

захотелось подарить Родольфу очень красивый хлыст, который она видела в одном из руанских магазинов. Через неделю г-н Лере положил ей этот хлыст на стол.

Но на другой день он предъявил ей счет на двести семьдесят франков и сколько-то сантимов. Эмма растерялась: в письменном столе было пусто, Лестибудуа задолжали больше чем за полмесяца, служанке — за полгода, помимо этого было еще много долгов, и Шарль с нетерпением ждал Петрова дня, когда г-н Дерозере обыкновенно расплачивался с ним сразу за целый год.

Эмме несколько раз удавалось спровадить торговца, но в конце концов он потерял терпение: его самого преследуют-де кредиторы, деньги у него все в обороте, и, если он не получит хоть сколько-нибудь, ему придется забрать у нее вещи.

— Ну и берите! — отрезала Эмма.

— Что вы? Я пошутил! — сказал он.— Вот только хлыстика жаль. Ничего не поделаешь, я попрошу вашего супруга мне его вернуть.

— Нет, нет! — воскликнула Эмма.

«Ага! Ты у меня в руках!» — подумал Лере.

Вышел он от Эммы вполне проникнутый этой уверенностью, по своему обыкновению насвистывая и повторяя вполголоса:

— Отлично! Посмотрим! Посмотрим!

Эмма все еще напрягала мысль в поисках выхода из тупика, когда появилась кухарка и положила на камин сверточек в синей бумаге «от г-на Дерозере». Эмма подскочила, развернула сверток. В нем оказалось пятнадцать наполеондоров. Значит, счет можно будет оплатить! На лестнице послышались шаги мужа — Эмма бросила золото в ящик письменного стола и вынула ключ.

Через три дня Лере пришел опять.

— Я хочу предложить вам одну сделку,— сказал он.— Если вам трудно уплатить требуемую сумму, вы можете...

— Возьмите,— прервала его Эмма и вложила ему в руку четырнадцать наполеондоров.

Торговец был изумлен. Чтобы скрыть разочарование, он рассыпался в извинениях и в предложениях услуг, но Эмма ответила на все решительным отказом. После его ухода она несколько секунд ощупывала в карманах две монеты по сто су, которые он дал ей сдачи. Она поклялась, что будет теперь экономить и потом все вернет.

«Э! Да Шарль про них и не вспомнит!» — поразмыслив, решила она.

Кроме хлыста с золоченой ручкой, Родольф получил в подарок печатку с девизом: *Amor nel cor* [1], шарф и, наконец, портсигар, точно такой же, какой был у виконта,— виконт когда-то обронил портсигар на дороге, Шарль поднял, а Эмма спрятала на память. Родольф считал для себя унизительным получать от Эммы подарки. От некоторых он отказывался, но Эмма настаивала, и в конце концов, придя к заключению, что Эмма деспотична и напориста, он покорился.

Потом у нее появились какие-то странные фантазии.

— Когда будет бить полночь, подумай обо мне! — просила она.

Если он признавался, что не думал, на него сыпался град упреков; кончалось же это всегда одинаково:

— Ты меня любишь?

— Конечно, люблю! — отвечал он.

— Очень?

— Ну еще бы!

— А других ты не любил?

— Ты что же думаешь, до тебя я был девственником? — со смехом говорил Родольф.

Эмма плакала, а он, мешая уверения с шуточками, пытался ее утешить.

— Да ведь я тебя люблю! — опять начинала она.— Так люблю, что жить без тебя не могу, понимаешь? Иной раз так хочется тебя увидеть -- кажется, сердце разорвется от муки. Думаешь: «Где-то он? Может, он сейчас говорит с другими? Они ему улыбаются, он к ним подходит...» Нет, нет, тебе никто больше не нравится, ведь правда? Есть женщины красивее меня, но любить, как я, никто не умеет! Я твоя раба, твоя наложница! Ты мой повелитель, мой кумир! Ты добрый! Ты прекрасный! Ты умный! Ты сильный!

Во всем том, что она говорила, для Родольфа не было уже ничего нового,— он столько раз это слышал! Эмма ничем не отличалась от других любовниц. Прелесть новизны постепенно спадала, точно одежда, обнажая вечное однообразие страсти, у которой всегда одни и те же формы и один и тот же язык. Сходство в оборотах речи за-

---

[1] Любовь в сердце *(ит.)*.

слоняло от этого слишком трезвого человека разницу в оттенках чувства. Он слышал подобные фразы из продажных и развратных уст и потому с трудом верил в искренность Эммы. «Высокопарными словами обычно прикрывается весьма неглубокая привязанность»,— рассуждал он. Как будто полнота души не изливается подчас в пустопорожних метафорах! Ведь никто же до сих пор не сумел найти точные слова для выражения своих чаяний, замыслов, горестей, ибо человеческая речь подобна треснутому котлу, и когда нам хочется растрогать своей музыкой звезды, у нас получается собачий вальс.

Однако даже при том критическом уме, который составляет преимущество всякого, кто не теряет головы в самой упоительной битве, Родольф находил для себя в этом романе нечто заманчивое. Теперь он уже ничуть не стеснялся Эммы. Он был с нею бесцеремонен. Он сделал из нее существо испорченное и податливое. Ее сумасшедшая страсть была проникнута восторгом перед ним, представляла для нее самой источник наслаждений, источник блаженного хмеля, душа ее все глубже погружалась в это опьянение и, точно герцог Кларенс в бочке с мальвазией, свертывалась комочком на самом дне.

Она уже приобрела опыт в сердечных делах, и это ее преобразило. Взгляд у нее стал смелее, речи — свободнее. Ей теперь уже было не стыдно гулять с Родольфом и курить папиросу, словно нарочно «дразня гусей». Когда же она в один прекрасный день вышла из «Ласточки» в жилете мужского покроя, у тех, кто еще сомневался, рассеялись всякие сомнения, и в такой же мере, как местных жительниц, возмутило это и г-жу Бовари-мать, сбежавшую к сыну после дикого скандала с мужем. Впрочем, ей не понравилось и многое другое: во-первых, Шарль не внял ее советам запретить чтение романов; потом ей не нравился самый *дух* этого дома. Она позволяла себе делать замечания, но это вызывало неудовольствие, а как-то раз из-за Фелисите у невестки со свекровью вышла крупная ссора.

Накануне вечером г-жа Бовари-мать, проходя по коридору, застала Фелисите с мужчиной — мужчиной лет сорока, в темных бакенбардах; заслышав шаги, он опрометью выскочил из кухни. Эмму это насмешило, но почтенная дама, вспылив, заявила, что только безнравственные люди не следят за нравственностью слуг.

— Где вы воспитывались? — спросила невестка.

Взгляд у нее был при этом до того вызывающий, что г-жа Бовари-мать сочла нужным спросить, уж не за себя ли вступилась Эмма.

— Вон отсюда! — крикнула невестка и вскочила с места.

— Эмма!.. Мама!..— стараясь помирить их, воскликнул Шарль.

Но обе женщины в бешенстве вылетели из комнаты. Эмма топала ногами и все повторяла:

— Как она себя держит! Мужичка!

Шарль бросился к матери. Та была вне себя.

— Нахалка! Вертушка! А может, еще и хуже! — шипела свекровь.

Она прямо сказала, что, если невестка не придет к ней и не извинится, она сейчас же уедет. Шарль побежал к жене — он на коленях умолял ее уступить. В конце концов Эмма согласилась:

— Хорошо! Я пойду!

В самом деле, она с достоинством маркизы протянула свекрови руку и сказала:

— Извините, сударыня.

Но, вернувшись к себе, бросилась ничком на кровать и по-детски расплакалась, уткнувшись в подушку.

У нее с Родольфом был уговор, что в каком-нибудь исключительном случае она прикрепит к оконной занавеске клочок белой бумаги: если Родольф будет в это время в Ионвиле, то по этому знаку сейчас же пройдет на задворки. Эмма подала сигнал. Прождав три четверти часа, она вдруг увидела Родольфа на углу крытого рынка. Она чуть было не отворила окно и не окликнула его, но он уже исчез. Эмма снова впала в отчаяние.

Вскоре ей, однако, послышались шаги на тротуаре. Конечно, это был он. Она спустилась с лестницы, перебежала двор. Он стоял там, в проулке. Она кинулась к нему в объятия.

— Ты неосторожна,— заметил он.

— Ах, если б ты знал! — воскликнула Эмма.

И тут она рассказала ему все — рассказала торопливо, бессвязно, сгущая краски, выдумывая, со множеством отступлений, которые окончательно сбили его с толку.

— Полно, мой ангел! Возьми себя в руки! Успокойся! Потерпи!

— Но я уже четыре года терплю и мучаюсь!.. Наша с тобой любовь такая, что я, не стыдясь, призналась бы в

ней перед лицом божиим! Они меня истерзали. Я больше не могу! Спаси меня!

Она прижималась к Родольфу. Ее мокрые от слез глаза блестели, точно огоньки, отраженные в воде; от частого дыхания вздымалась грудь. Никогда еще Родольф не любил ее так страстно. Совсем потеряв голову, он спросил:

— Что же делать? Чего ты хочешь?

— Возьми меня отсюда! — воскликнула она.— Увези меня!.. Я тебя умоляю!

И она потянулась к его губам как бы для того, чтобы вместе с поцелуем вырвать невольное согласие.

— Но...— начал Родольф.

— Что такое?

— А твоя дочь?

Эмма помедлила.

— Придется взять ее с собой! — решила она.

«Что за женщина!» — подумал Родольф, глядя ей вслед.

Она убежала в сад. Ее звали.

Все последующие дни Бовари-мать не могла надивиться перемене, происшедшей в невестке. И точно: Эмма стала покладистее, почтительнее, снизошла даже до того, что спросила свекровь, как надо мариновать огурцы.

Делалось ли это с целью отвести глаза свекрови и мужу? Или же это был своего рода сладострастный стоицизм, желание глубже почувствовать убожество всего того, что она покидала? Нет, она была далека от этой мысли, как раз наоборот: она вся ушла в предвкушение близкого счастья. С Родольфом она только об этом и говорила. Положив голову ему на плечо, она шептала:

— Ах, когда же мы будем с тобой в почтовой карете!.. Ты можешь себе это представить? Неужели это все-таки совершится? Когда лошади понесут нас стрелой, у меня, наверно, будет такое чувство, словно мы поднимаемся на воздушном шаре, словно мы возносимся к облакам. Знаешь, я уже считаю дни... А ты?

За последнее время г-жа Бовари как-то особенно похорошела. Она была красива тою не поддающейся определению красотой, которую питают радость, воодушевление, успех и которая, в сущности, есть не что иное, как гармония между темпераментом и обстоятельствами жизни. Вожделения, горести, опыт в наслаждениях, вечно юные мечты — все это было так же необходимо для ее постепенного душевного роста, как цветам необходимы удо-

брение, дождь, ветер и солнце, и теперь она вдруг раскрылась во всей полноте своей натуры. Разрез ее глаз был словно создан для влюбленных взглядов, во время которых ее зрачки пропадали, тонкие ноздри раздувались от глубокого дыхания, а уголки полных губ, затененных черным пушком, хорошо видным при свете, оттягивались кверху. Казалось, опытный в искушениях художник укладывал завитки волос на ее затылке. А когда прихоть тайной любви распускала ее волосы, они падали небрежно, тяжелой волной. Голос и движения Эммы стали мягче. Что-то пронзительное, но неуловимое исходило даже от складок ее платья, от изгиба ее ноги. Шарлю она представлялась столь же пленительной и неотразимой, как в первые дни после женитьбы.

Когда он возвращался домой поздно, он не смел ее будить. От фарфорового ночника на потолке дрожал световой круг, а в тени, у изножья кровати, белой палаткой вздувался полог над колыбелью. Шарль смотрел на жену и на дочку. Ему казалось, что он улавливает легкое дыхание девочки. Теперь она будет расти не по дням, а по часам; каждое время года означит в ней какую-нибудь перемену. Шарль представлял себе, как она с веселым личиком возвращается под вечер из школы, платьице на ней выпачкано чернилами, на руке она несет корзиночку. Потом надо будет отдать ее в пансион — это обойдется недешево. Как быть? Шарль впадал в задумчивость. Он рассчитывал арендовать где-нибудь поблизости небольшую ферму, с тем чтобы каждое утро по дороге к больным присматривать за ней самому. Доход от нее он будет копить, деньги положит в сберегательную кассу, потом приобретет какие-нибудь акции, а тем временем и пациентов у него прибавится. На это он особенно надеялся: ему хотелось, чтобы Берта была хорошо воспитана, чтобы у нее появились способности, чтобы она выучилась играть на фортепьяно. К пятнадцати годам это уже будет писаная красавица, похожая на мать, и летом, когда обе наденут соломенные шляпки с широкими полями, издали их станут принимать за сестер. Воображению Шарля рисовалось, как Берта, сидя подле родителей, рукодельничает при лампе. Она вышьет ему туфли, займется хозяйством, наполнит весь дом своей жизнерадостностью и своим обаянием. Наконец, надо будет подумать об устройстве ее судьбы. Они подыщут ей какого-нибудь славного малого, вполне обеспеченного, она будет с ним счастлива — и уже навек.

Эмма не спала, она только притворялась спящей, и в то время, как Шарль, лежа рядом с ней, засыпал, она бодрствовала в мечтах об ином.

Вот уже неделя, как четверка лошадей мчит ее в неведомую страну, откуда ни она, ни Родольф никогда не вернутся. Они едут, едут, молча, обнявшись. С высоты их взору внезапно открывается чудный город с куполами, мостами, кораблями, лимонными рощами и беломраморными соборами, увенчанными островерхими колокольнями, где аисты вьют себе гнезда. Они едут шагом по неровной мостовой, и женщины в красных корсажах предлагают им цветы. Гудят колокола, кричат мулы, звенят гитары, лепечут фонтаны, и водяная пыль, разлетаясь от них во все стороны, освежает груды плодов, сложенных пирамидами у пьедесталов белых статуй, улыбающихся сквозь водометы. А вечером они с Родольфом приезжают в рыбачий поселок, где вдоль прибрежных скал, под окнами лачуг, сушатся на ветру бурые сети. Здесь они и будут жить; они поселятся у моря, на самом краю залива, в низеньком домике с плоскою кровлей, возле которого растет пальма. Будут кататься на лодке, качаться в гамаке, и для них начнется жизнь легкая и свободная, как их шелковые одежды, теплая и светлая, как тихие звездные ночи, что зачаруют их взор. В том безбрежном будущем, которое она вызывала в своем воображении, ничто рельефно не выделялось; все дни, одинаково упоительные, были похожи один на другой, как волны, и этот бескрайний голубой, залитый солнцем, согласно звучащий простор мерно колыхался на горизонте. Но в это время кашляла в колыбельке девочка или же Бовари особенно громко всхрапывал,— и Эмма засыпала лишь под утро, когда стекла окон белели от света зари и Жюстен открывал в аптеке ставни.

Однажды она вызвала г-на Лере и сказала:

— Мне нужен плащ, длинный плащ на подкладке, с большим воротником.

— Вы отправляетесь в путешествие? — осведомился он.

— Нет, но... В общем, я рассчитываю на вас. Хорошо? Но только поскорее!

Он поклонился.

— Еще мне нужен чемодан...— продолжала она.— Не очень тяжелый... удобный.

— Так, так, понимаю. Приблизительно девяносто два на пятьдесят,— сейчас делают такие.

— И спальный мешок.

«Должно быть, рассорились»,— подумал Лере.

— Вот,— вынимая из-за пояса часики, сказала г-жа Бовари,— возьмите в уплату.

Но купец заявил, что это напрасно: они же знают друг друга, неужели он ей не поверит? Какая чепуха! Эмма, однако, настояла на том, чтобы он взял хотя бы цепочку. Когда же Лере, сунув ее в карман, направился к выходу, она окликнула его:

— Все это вы оставьте у себя. А плащ,— она призадумалась,— плащ тоже не приносите. Вы только дайте мне адрес портного и предупредите его, что плащ мне скоро может понадобиться.

Бежать они должны были в следующем месяце. Она поедет в Руан будто бы за покупками. Родольф возьмет билеты, выправит паспорта и напишет в Париж, чтобы ему заказали карету до Марселя, а в Марселе они купят коляску и уже без пересадок поедут по Генуэзской дороге. Она заранее отошлет свой багаж к Лере, оттуда его доставят прямо в «Ласточку», и таким образом ни у кого не возникнет подозрений. Во всех этих планах отсутствовала Берта. Родольф не решался заговорить о ней; Эмма, может быть, даже о ней и не думала.

Родольфу нужно было еще две недели, чтобы покончить с делами. Через восемь дней он попросил отсрочки еще на две недели, потом сказался больным, потом куда-то уехал. Так прошел август, и наконец, после всех этих оттяжек, был назначен окончательный срок — понедельник четвертого сентября.

Наступила суббота, канун кануна.

Вечером Родольф пришел раньше, чем обычно.

— Все готово? — спросила она.

— Да.

Они обошли клумбу и сели на закраину стены, над обрывом.

— Тебе грустно,— сказала Эмма.

— Нет, почему же?

А смотрел он на нее в эту минуту как-то особенно нежно.

— Это оттого, что ты уезжаешь, расстаешься со всем, к чему привык, со всей своей прежней жизнью? — допытывалась Эмма.— Да, да, я тебя понимаю... А вот у меня нет никаких привязанностей! Ты для меня все. И я тоже

буду для тебя всем — я заменю тебе семью, родину, буду заботиться, буду любить тебя.

— Какая же ты прелесть! — сжимая ее в объятиях, воскликнул он.

— Правда? — смеясь расслабленным смехом, спросила она.— Ты меня любишь? Поклянись!

— Люблю ли я тебя! Люблю ли я тебя! Я тебя обожаю, любовь моя!

На горизонте, за лугами, показалась круглая багровая луна. Она всходила быстро; кое-где, точно рваный черный занавес, ее прикрывали ветви тополей. Затем она, уже ослепительно-белая, озарила пустынный небосвод и, замедлив свое течение, обронила в реку огромный блик, тотчас же засиявший в воде мириадами звезд. Этот серебристый отблеск, точно безголовая змея, вся в сверкающих чешуйках, извивался в зыбях вплоть до самого дна. Еще это было похоже на гигантский канделябр, по которому стекали капли расплавленного алмаза. Кругом простиралась тихая ночь. Листья деревьев были окутаны покрывалами тени. Дул ветер, и Эмма, полузакрыв глаза, жадно вбирала в себя его свежесть. Они были так поглощены своими думами, что не могли говорить. К сердцу подступала былая нежность, многоводная и безмолвная, как река, что струилась там, за оградой, томящая, как благоухание росшего в саду жасмина, и отбрасывала в их памяти еще более длинные и еще более печальные тени, нежели те, что ложились от неподвижных ив на траву. Порой шуршал листьями, выходя на охоту, какой-нибудь ночной зверек: еж или ласка, а то вдруг в полной тишине падал созревший персик.

— Какая дивная ночь! — проговорил Родольф.

— У нас еще много будет таких! — подхватила Эмма и заговорила как бы сама с собой: — Да, ехать нам будет хорошо... Но отчего же все-таки у меня щемит сердце? Что это: боязнь неизвестности? Или оттого, что я покидаю привычный уклад?.. Или... Нет, это от избытка счастья! Какая я малодушная, правда? Прости меня!

— У тебя еще есть время! — воскликнул Родольф.— Обдумай! А то как бы потом не раскаяться.

— Никогда! — горячо отозвалась Эмма и прильнула к нему.— Ничего дурного со мной не может случиться. Раз я с тобой, то ни пустыни, ни пропасти, ни океаны мне уже не страшны. Я так рисую себе нашу совместную жизнь: это — объятие, которое день ото дня будет все тес-

нее и крепче! Нас ничто не смутит — ни препятствия, ни заботы! Мы будем одни, совершенно одни, навсегда... Ну скажи мне что-нибудь, говори же!

Он отвечал ей время от времени: «Да... да...» Она теребила его волосы, по щекам у нее катились крупные слезы, и она все повторяла с какой-то детской интонацией:

— Родольф! Родольф!.. Ах, Родольф, милый, дорогой Родольф!

Пробило полночь.

— Полночь! — сказала Эмма.— Наступило завтра! Значит, еще один день!

Он встал, и, словно это его движение было сигналом к их бегству, Эмма вдруг повеселела:

— Паспорта у тебя?

— Да.

— Ты ничего не забыл?

— Ничего.

— Наверное?

— Ну конечно!

— Итак, ты меня ждешь в отеле «Прованс»?.. В полдень?

Он кивнул головой.

— Ну, до завтра! — в последний раз поцеловав его, сказала Эмма и потом еще долго смотрела ему вслед.

Родольф не оборачивался. Эмма побежала за ним и, раздвинув кусты, наклонилась над водой.

— До завтра! — крикнула она.

Он был уже за рекой и быстро шагал по лугу.

Через несколько минут Родольф остановился. И когда он увидел, как она в белом платье, медленно, словно призрак, скрывается во мраке, у него сильно забилось сердце, и, чтобы не упасть, он прислонился к дереву.

— Какой же я дурак! — сказал он и скверно выругался.— Ну ничего, любовница она была очаровательная!

И тут он представил себе всю красоту Эммы, все радости этой любви. Сперва это его смягчило, но потом он взбунтовался.

— Чтобы я совсем уехал за границу! — размахивая руками, громко заговорил он.— Да еще с младенцем, с этакой обузой!

Так он хотел окончательно укрепиться в своем решении.

— И потом возня, расходы... Нет, нет, ни за что на свете! Это было бы глупее глупого!

XIII

Как только Родольф пришел домой, он, не теряя ни секунды, сел за свой письменный стол, под оленьей головой, висевшей на стене в виде трофея. Но стоило ему взять в руку перо, как все слова вылетели у него из головы, и, облокотившись на стол, он задумался. Эмма уже была для него как бы далеким прошлым; принятое им решение мгновенно образовало между ними громадное расстояние.

Чтобы не совсем утратить память о ней, Родольф, подойдя к шкафу, стоявшему у изголовья кровати, вынул старую коробку из-под реймских бисквитов, куда он имел обыкновение прятать женские письма,— от нее пахло влажною пылью и увядшими розами. Первое, что он увидел,— это носовой платок, весь в выцветших пятнышках. То был платок Эммы, которым она вытиралась, когда у нее как-то раз на прогулке пошла носом кровь. Родольф этого уже не помнил. Рядом лежал миниатюрный портрет Эммы; все четыре уголочка его обтрепались. Ее туалет показался Родольфу претенциозным, в ее взгляде — она делала глазки — было, по его мнению, что-то в высшей степени жалкое. Глядя на портрет, Родольф пытался вызвать в памяти оригинал, и черты Эммы постепенно расплывались, точно живое и нарисованное ее лицо терлись одно о другое и смазывались. Потом он стал читать ее письма. Они целиком относились к отъезду и были кратки, деловиты и настойчивы, как служебные записки. Ему хотелось почитать длинные ее письма — более ранней поры. Они хранились на самом дне коробки, и, чтобы извлечь их, он вывалил все остальные и машинально начал рыться в груде бумаг и вещиц, обнаруживая то букетик, то подвязку, то черную маску, то булавку, то волосы — темные, светлые... Иные волоски цеплялись за металлическую отделку коробки и рвались, когда она открывалась.

Скитаясь в воспоминаниях, он изучал почерк и слог писем, разнообразных, как их орфография. Были среди них нежные и веселые, шутливые и грустные: в одних просили любви, в других просили денег. Какое-нибудь одно слово воскрешало в его памяти лицо, движения, звук голоса; в иных случаях, однако, он ничего не в силах был припомнить.

Заполонив его мысль, женщины мешали друг другу, мельчали, общий уровень любви обезличивал их. Захватив в горсть перепутанные письма, Родольф некоторое время

с увлечением пересыпал их из руки в руку. Потом это ему надоело, навело на него дремоту, он убрал коробку в шкаф и сказал себе:

— Все это ерунда!..

Он и правда так думал; чувственные наслаждения вытоптали его сердце, точно ученики — школьный двор: зелени там не было вовсе, а то, что в нем происходило, отличалось еще большим легкомыслием, чем детвора, и в противоположность ей не оставляло даже вырезанных на стене имен.

— Ну-с, приступим! — сказал он себе и начал писать:

«Мужайтесь, Эмма, мужайтесь! Я не хочу быть несчастьем Вашей жизни...»

«В сущности это так и есть,— подумал Родольф,— я действую в ее же интересах, я поступаю честно».

«Тщательно ли Вы обдумали свое решение? Представляете ли Вы себе, мой ангел, в какую пропасть я увлек бы Вас за собой? О нет! Вы шли вперед доверчиво и безрассудно, в чаянии близкого счастья... О, как же мы все несчастны! Какие мы все безумцы!»

Родольф остановился,— надо было найти какую-нибудь важную причину.

«Не написать ли ей, что я потерял состояние?.. Нет, нет! Да ведь это ничего не изменит. Немного погодя все начнется сызнова. Разве таких женщин, как она, можно в чем-нибудь убедить?»

Подумав, он снова взялся за перо:

«Я никогда Вас не забуду, поверьте, моя преданность Вам останется неизменной, но рано или поздно наш пыл (такова участь всех человеческих чувств) все равно бы охладел! На смену пришла бы душевная усталость, и кто знает? Быть может, мне бы еще пришлось терзаться при виде того, как Вы раскаиваетесь, и меня бы тоже охватило раскаяние от сознания, что страдаете Вы из-за меня! Одна мысль о том, как Вам будет тяжело, приводит меня в отчаяние, Эмма! Забудьте обо мне! Зачем я Вас встретил? Зачем Вы так прекрасны? В чем же мое преступление? О боже мой! Нет, нет, всему виною рок!»

«Это слово всегда производит соответствующее впечатление»,— подумал Родольф.

«О, будь Вы одною из тех легкомысленных женщин, что встречаются на каждом шагу, я, конечно, мог бы на это пойти из чистого эгоизма, и тогда моя попытка была бы для Вас безопасна. Но Ваша очаровательная восторженность, составляющая тайну Вашего обаяния и вместе с тем служащая источником Ваших мучений, она-то и помешала Вам, волшебница, понять всю ложность нашего будущего положения! Я тоже сперва ни о чем не думал и, не предвидя последствий, отдыхал, словно под сенью манцениллы, под сенью безоблачного счастья».

«Еще, чего доброго, подумает, что я отказываюсь от нее из скупости... А, все равно! Пора кончать!»

«Свет жесток, Эмма. Он стал бы преследовать нас неотступно. Вам пришлось бы терпеть все: и нескромные вопросы, и клевету, и презрение, а может быть, даже и оскорбления. Оскорбление, нанесенное Вам! О!.. А ведь я уже мысленно возвел Вас на недосягаемый пьедестал! Память о Вас я буду носить с собой, как некий талисман! И вот, за все зло, которое я Вам причинил, я обрекаю себя на изгнание. Я уезжаю. Куда? Не знаю.. Я схожу с ума. Прощайте! Не поминайте лихом. Не забывайте несчастного, утратившего Вас. Научите Вашу дочь молиться за меня».

Пламя свечей колебалось. Родольф встал, затворил окно и опять сел за стол.

«Как будто все. Да, вот что еще надо прибавить, а то как бы она за мной не увязалась...»

«Когда Вы станете читать эти печальные строки, я буду уже далеко. Чтобы не поддаться искушению снова увидеть Вас, я решил бежать немедленно. Прочь, слабость! Я еще вернусь, и тогда — кто знает? — быть может, мы с Вами уже совершенно спокойно вспомним наше былое увлечение. Прощайте!..»

После слова «прощайте» он поставил восклицательный знак и многоточие — в этом он видел признак высшего шика.

«А как подписаться? — спросил он себя.— «Преданный Вам»? Нет. «Ваш друг»?.. Да, вот это хорошо».

«Ваш друг».

Он перечитал письмо и остался доволен.

«Бедняжка! — расчувствовавшись, подумал он.— Она решит, что я — твердокаменный. Надо бы тут слезу пролить, да вот беда: не умею я плакать. Чем же я виноват?»

Родольф налил в стакан воды и, обмакнув палец, капнул на бумагу — на ней тотчас же образовалось большое бледное чернильное пятно. Он поискал, чем запечатать письмо, и ему попалась печатка с *Amor nel cor*.

«Не очень это сюда подходит... А, ничего, сойдет!..»

Затем он выкурил три трубки и лег спать.

На другой день Родольф, как только встал (это было уже около двух часов — он заспался), велел набрать корзинку абрикосов. На самое дно он положил письмо, прикрыл его виноградными листьями и тут же отдал распоряжение своему работнику Жирару бережно отнести корзинку г-же Бовари. Родольф часто переписывался с ней таким образом — посылал ей, смотря по времени года, то фрукты, то дичь.

— Если она спросит обо мне, то скажи, что я уехал,— предупредил он.— Корзинку отдай прямо ей в руки... Понял? Ну, смотри!

Жирар надел новую блузу, завязал корзинку с абрикосами в платок и, тяжело ступая в своих грубых, с подковками, сапогах, преспокойно зашагал в Ионвиль.

Когда он вошел в кухню к Бовари, Эмма и Фелисите раскладывали на столе белье.

— Вот,— сказал посыльный,— это вам от моего хозяина.

У Эммы дрогнуло сердце. Ища в карманах мелочь, она растерянно смотрела на крестьянина, а тот с недоумением глядел на нее — он никак не мог понять, чем может взволновать человека такой подарок. Наконец он ушел. Фелисите оставалась на кухне. Эмма не выдержала — она бросилась в залу якобы затем, чтобы унести абрикосы, опрокинула корзинку, разворошила листья, нашла письмо, вскрыла его и, точно за спиной у нее полыхал страшнейший пожар, не помня себя, побежала в свою комнату.

Там был Шарль — Эмма увидела его сразу. Он заговорил с ней, но она его не слышала — ошеломленная, обезумевшая, тяжело дыша, она уже взбегала по ступенькам лестницы, а в руке у нее все еще гремел, точно лист жести, этот ужасный листок бумаги. На третьем этаже она остановилась перед затворенной дверью на чердак.

Тут она перевела дух и вспомнила про письмо; надо было дочитать его, но она не решалась. Да и где? Как? Ее могли увидеть.

«Ах нет, вот сюда! — подумала Эмма.— Здесь меня не найдут».

Она толкнула дверь и вошла.

Шиферная кровля накалилась, и на чердаке было до того душно, что у Эммы сразу застучало в висках, она задыхалась. Она еле дошла до запертой мансарды, отодвинула засов, и в глаза ей хлынул ослепительно яркий свет.

Прямо перед ней, за крышами, куда ни посмотришь, расстилались поля. Внизу была видна безлюдная площадь: сверкал на солнце булыжник, флюгера не вертелись, из углового дома, из нижнего этажа доносился скрежет. Это Бине что-то вытачивал на токарном станке.

Эмма прислонилась к стене в амбразуре мансарды и, усмехаясь недоброй усмешкой, стала перечитывать письмо. Но чем внимательнее она в него вчитывалась, тем больше путались у нее мысли. Она видела Родольфа, слышала его, обнимала. Сердце билось у нее в груди, как таран, билось неровно и учащенно. Она смотрела вокруг, и ей хотелось, чтобы под ней разверзлась земля. Почему она не покончит с жизнью все счеты? Что ее удерживает? Ведь она свободна! Эмма шагнула и, бросив взгляд на мостовую, сказала себе:

— Ну! Ну!

Свет, исходивший снизу, тянул в пропасть ее тело, ставшее вдруг невесомым. Ей казалось, что мостовая ходит ходуном, взбирается по стенам домов, что пол накреняется, будто палуба корабля во время качки. Эмма стояла на самом краю, почти перевесившись, лицом к лицу с бесконечным пространством. Синева неба обволакивала ее, в опустевшей голове шумел ветер,— Эмме надо было только уступить, сдаться. А токарный станок все скрежетал — казалось, будто кто-то звал ее злобным голосом.

— Жена! Жена! — крикнул Шарль.

Эмма подалась назад.

— Где же ты? Иди сюда!

При мысли о том, что она была на волосок от смерти, Эмма едва не лишилась чувств. Она закрыла глаза и невольно вздрогнула: кто-то тронул ее за рукав. Это была Фелисите.

— Сударыня, вас барин ждет. Суп на столе.

И пришлось ей сойти вниз! Пришлось сесть за стол!

Она пыталась есть, но кусок застревал у нее в горле. Наконец она развернула салфетку будто бы для того, чтобы посмотреть штопку, и в самом деле начала пересчиты-

вать нитки. Вдруг она вспомнила про письмо. Неужели она его потеряла? Надо найти! Но душевная усталость взяла верх, и Эмма так и не придумала, под каким бы предлогом ей встать из-за стола. Потом на нее напал страх — она боялась Шарля: он знает все, это несомненно! В самом деле, он как-то особенно многозначительно произнес:

— Должно быть, мы теперь не скоро увидим Родольфа.

— Кто тебе сказал? — встрепенувшись, спросила Эмма.

— Кто мне сказал? — переспросил Шарль, слегка озадаченный ее резким тоном.— Жирар — я его сейчас встретил около кафе «Франция». Родольф то ли уже уехал, то ли собирается уехать.

Эмма всхлипнула.

— А почему это тебя удивляет? Он часто уезжает развлечься, и я его понимаю. Человек состоятельный, холостой, что ему!.. А повеселиться наш друг умеет — он ведь у нас проказник!.. Мне рассказывал Ланглуа...

Тут вошла служанка, и Шарль из приличия замолчал.

Фелисите собрала в корзинку разбросанные на этажерке абрикосы. Шарль, не заметив, как покраснела жена, велел подать их на стол, взял один абрикос и надкусил.

— Хороши! — воскликнул он.— Возьми, попробуй!

Он протянул ей корзинку — Эмма слабым движением оттолкнула ее.

— Ты только понюхай! Какой аромат! — говорил Шарль, подставляя корзинку к самому ее лицу.

— Мне душно! — вскочив, крикнула Эмма. Все же ей удалось превозмочь себя.— Ничего, ничего! Это нервы! Сиди и ешь!

Она боялась, что Шарль примется расспрашивать ее, ухаживать за ней, не оставит ее в покое.

Шарль послушно сел. Косточки от абрикосов он сначала выплевывал себе в ладонь, а потом клал на тарелку.

Вдруг по площади крупной рысью пронеслось синее тильбюри. Эмма вскрикнула и упала навзничь.

После долгих размышлений Родольф решил съездить в Руан. Но из Ла Юшет в Бюши можно попасть только через Ионвиль — другой дороги нет, и Эмма мгновенно узнала экипаж Родольфа по свету фонарей, точно молния прорезавших сумерки.

На шум в доме Бовари прибежал фармацевт. Стол со всей посудой был опрокинут: соусник, жаркое, ножи, со-

лонка, судок с прованским маслом — все это валялось на полу. Шарль звал на помощь, перепуганная Берта кричала. Фелисите дрожащими руками расшнуровывала барыню. У Эммы по всему телу пробегала судорога.

— Я сейчас принесу из моей лаборатории ароматического уксусу,— сказал аптекарь.

Когда же Эмме дали понюхать уксусу и она открыла глаза, г-н Оме воскликнул:

— Я был уверен! От этого и мертвый воскреснет.

— Скажи что-нибудь! Скажи что-нибудь! — молил Шарль.— Пересиль себя! Это я, твой Шарль, я так тебя люблю! Ты меня узнаешь? А вот твоя дочка! Ну поцелуй ее!

Девочка тянулась к матери, пыталась обвить ручонками ее шею. Но Эмма отвернулась, прерывающимся голосом произнесла:

— Нет, нет... Никого!

И снова впала в беспамятство. Ее перенесли на кровать.

Она лежала вытянувшись, приоткрыв рот, смежив веки, раскинув руки, безжизненная, желтая, как восковая кукла. Из глаз у нее струились слезы и медленно стекали на подушку.

У ее кровати стояли Шарль и аптекарь; г-н Оме, как полагается в таких печальных обстоятельствах, с глубокомысленным видом молчал.

— Успокойтесь! — взяв Шарля под локоть, сказал он наконец.— По-моему, пароксизм кончился.

— Да, пусть она теперь отдохнет! — глядя, как Эмма спит, молвил Шарль.— Бедняжка!.. Бедняжка!.. Опять захворала!..

Оме спросил, как это с ней случилось. Шарль ответил, что припадок начался внезапно, когда она ела абрикосы.

— Странно!..— заметил фармацевт.— Но, может быть, именно абрикосы и вызвали обморок! Есть такие натуры, на которые очень сильно действуют определенные запахи. Интересно было бы рассмотреть это явление и с точки зрения патологической, и с точки зрения физиологической. Попы давно уже обратили на него внимание — недаром при совершении обрядов они пользуются ароматическими веществами. Так они одурманивают молящихся и вызывают экстаз, причем особенно легко этому поддаются представительницы прекрасного пола — ведь они же слабее мужчин. Нам известно, что некоторые женщины те-

ряют сознание от запаха жженого рога, от запаха свежеиспеченного хлеба...

— Не разбудите ее! — прошептал Бовари.

— И эта аномалия наблюдается не только у людей, но и у животных,— продолжал аптекарь.— Вы, конечно, знаете, что у породы кошачьих возбуждает похоть *nepeta cataria*, в просторечии именуемая котовиком. А вот вам другой пример,— ручаюсь, что это сущая правда: у моего старого товарища Бриду (он сейчас живет в Руане на улице Мальпалю) есть собака,— так вот, поднесите вы ей к носу табакерку, и она сейчас же забьется в судорогах. Бриду частенько показывает этот опыт друзьям в своей беседке, в Буа-Гильом. Ну кто бы мог подумать, что простое чихательное средство способно производить такие потрясения в организме четвероногого? Чрезвычайно любопытно, не правда ли?

— Да,— не слушая, отозвался Шарль.

— Это доказывает,— с добродушно-самодовольной улыбкой снова заговорил фармацевт,— что нервные явления многообразны. А что касается вашей супруги, то, признаюсь, я всегда считал, что у нее повышенная чувствительность. И я бы на вашем месте, дорогой друг, не стал применять к ней ни одного из новых хваленых средств,— болезнь они не убивают, а на темпераменте сказываются губительно. Нет, нет, долой бесполезные медикаменты! Режим — это все! Побольше болеутоляющих, мягчительных, успокоительных! А вы не находите, что, может быть, следует поразить ее воображение?

— Чем! Как? — спросил Бовари.

— Вот в этом-то и весь вопрос! Вопрос действительно сложный! *That is the question* [1], как было написано в последнем номере газеты.

Но тут Эмма очнулась.

— Письмо! Письмо! — закричала она.

Шарль и Оме решили, что это бред. В полночь Эмма и правда начала бредить. Стало ясно, что у нее воспаление мозга.

Сорок три дня Шарль не отходил от Эммы. Он забросил своих пациентов, не ложился спать, он только и делал, что щупал ей пульс, ставил горчичники и холодные компрессы. Он гонял Жюстена за льдом в Невшатель;

---

[1] Вот в чем вопрос *(англ.)* — слова Гамлета из трагедии Шекспира.

лед по дороге таял; Шарль посылал Жюстена обратно. Он пригласил на консультацию г-на Каниве, вызвал из Руана своего учителя, доктора Ларивьера. Он был в полном отчаянии. В состоянии Эммы его особенно пугал упадок сил. Она не произносила ни слова, она ничего не слышала. Казалось, она совсем не страдает: она словно отдыхала и душой и телом после всех треволнений.

И вот в середине октября она уже могла сидеть в постели, опершись на подушки. Когда она съела первый ломтик хлеба с вареньем, Шарль разрыдался. Силы возвращались к ней. Днем она на несколько часов вставала, а как-то раз, когда дело явно пошло на поправку, Шарль попробовал погулять с ней по саду. Песок на дорожках был сплошь усыпан палым листом. Эмма шла медленно, шаркая туфлями, всей тяжестью опираясь на Шарля, шла и улыбалась.

Так они добрели до конца сада — дальше начинался обрыв. Эмма с трудом подняла голову и из-под ладони посмотрела вокруг. Ей было видно далеко-далеко, но на всем этом пустынном просторе глаз различал лишь дымившиеся костры — это жгли траву на холмах.

— Ты устанешь, моя родная,— сказал Шарль.

Он осторожно подвел ее к беседке.

— Сядь на скамейку — здесь тебе будет хорошо.

— Нет, нет! Не хочу туда, не хочу! — упавшим голосом проговорила Эмма.

У нее закружилась голова. А вечером Эмма снова слегла в постель. Но только теперь болезнь ее с трудом поддавалась определению — слишком разнообразны были симптомы. У Эммы болело то сердце, то грудь, то голова, то руки и ноги. Появилась рвота, и Шарль счел это первым признаком рака.

В довершение всего у бедного Шарля стало туго с деньгами.

XIV

Во-первых, Шарль не знал, чем он будет расплачиваться с г-ном Оме за лекарства. Как врач, он имел право не платить вовсе, и, однако, он краснел при одной мысли об этом долге. Кроме того, бразды правления у них в доме перешли к кухарке, и хозяйственные расходы достигли ужасающих размеров; счета так и сыпались; поставщики ворчали; особенно донимал Шарля г-н Лере. В самый разгар болезни Эммы он, воспользовавшись этим обстоятель-

ством, чтобы увеличить счет, поспешил принести плащ, спальный мешок, два чемодана вместо одного и еще много разных вещей. Как ни убеждал его Шарль, что все это ему не нужно, купец нагло отвечал, что вещи были ему заказаны и что обратно он их не возьмет. Г-жу Бовари беспокоить нельзя — ей это вредно. Как г-н Бовари хочет, а только он, Лере, товар не унесет и в случае чего докажет свои права в суде. Шарль распорядился немедленно отослать ему вещи в магазин. Фелисите позабыла. Шарля одолевали другие заботы. Словом, вещи так тут и остались. Тогда г-н Лере предпринял еще одну попытку и мольбами и угрозами в конце концов вырвал у Бовари вексель сроком на полгода. Но едва Шарль поставил свою подпись, как у него явилась смелая мысль — занять у г-на Лере тысячу франков. С нерешительным видом он задал торгашу вопрос, где бы ему раздобыть такую сумму сроком на один год и под любые проценты. Лере сбегал к себе в лавку, принес деньги и продиктовал еще один вексель, согласно которому Бовари брал на себя обязательство уплатить к 1 сентября будущего года тысячу семьдесят франков, что составляло вместе с проставленными в первом векселе ста восемьюдесятью тысячу двести пятьдесят франков. Таким образом, дав деньги в рост из шести процентов, взяв четвертую часть всей суммы за комиссию и не менее трети всей суммы заработав на самих товарах, г-н Лере рассчитывал получить за год сто тридцать франков чистой прибыли. И он еще надеялся, что этим дело не кончится: Бовари не сможет уплатить деньги в срок, он вынужден будет переписать векселя, и денежки г-на Лере, подкормившись у доктора, как на курорте, в один прекрасный день вернутся к хозяину такой солидной, такой кругленькой суммой, что их некуда будет девать.

Господин Лере вообще последнее время шел в гору. Он получил с торгов поставку сидра для невшательской больницы, г-н Гильомен обещал ему акции грюменильских торфяных разработок, а сам он мечтал пустить между Аргейлем и Руаном дилижанс, который, конечно, очень скоро вытеснит колымагу «Золотого льва»: он будет ходить быстрее, стоить дешевле, багажа брать больше, и немного погодя все нити ионвильской торговли окажутся в руках у г-на Лере.

Шарль долго ломал себе голову, где ему на будущий год достать столько денег. Он перебирал в уме всевозможные способы — обратиться к отцу, продать что-нибудь. Но

отец ни за что не даст, а продать нечего. Положение было безвыходное, и он стал гнать от себя мрачные мысли. Он упрекал себя, что материальные заботы отвлекают его от Эммы, а между тем всеми помыслами он должен быть с ней; подумать о чем-нибудь постороннем — значит что-то отнять у нее.

Зима стояла суровая. Г-жа Бовари поправлялась медленно. В ясные дни ее подвозили в кресле к окну, выходившему на площадь,— окно в сад было теперь всегда завешено, г-жа Бовари не могла вспомнить о саде. Лошадь она велела продать,— все, что она прежде любила, разонравилось ей теперь. Мысли ее вращались вокруг нее самой. Лежа в постели, она принимала легкую пищу, звонила прислуге, спрашивала, не готов ли декокт, болтала с ней. От снега, лежавшего на рыночном навесе, в комнате с утра до вечера стоял матовый свет. Потом зарядили дожди. Каждый день Эмма не без волнения следила за ходом городских событий, хотя события происходили всё неважные, притом всегда одни и те же и не имели отношения к Эмме. Самым большим событием было возвращение «Ласточки», приезжавшей в Ионвиль вечером. Кричала трактирщица, ей отвечали другие голоса, фонарь Ипполита, доставившего с брезентового верха баулы, мерцал звездою во мраке. В полдень приходил домой Шарль, затем уходил, потом Эмма ела бульон, а под вечер, часов около пяти, возвращавшиеся из школы мальчишки топали деревянными башмаками и один за другим ударяли своими линейками по задвижкам ставен.

В этот час Эмму обычно навещал аббат Бурнизьен. Он спрашивал, как ее здоровье, сообщал новости, заводил непринужденный, неволнующий и вместе с тем довольно интересный для нее разговор и незаметно обращал ее мысли к религии. Один вид его сутаны действовал на нее успокаивающе.

В тот день, когда ей было особенно плохо, она подумала, что умирает, и захотела причаститься. Во время приготовлений к таинству, пока ее заставленный лекарствами комод превращали в престол, пока Фелисите разбрасывала по полу георгины, у Эммы было такое ощущение, будто на нее нисходит непостижимая сила и избавляет от всех скорбей, будто она уже ничего не воспринимает и ничего не чувствует. Освобожденная плоть ни о чем больше не помышляла — для Эммы как бы начиналась иная жизнь. И мнилось Эмме, что душа ее, возносясь к небу,

растворяется в божественной любви, подобно тому как дым от ладана расходится в воздухе. Постель окропили святой водой, священник вынул из дароносицы белую облатку, и, изнемогая от неземного блаженства, Эмма протянула губы, чтобы принять тело Христово. Вокруг нее, словно облака, мягко круглились занавески алькова, две горевшие на комоде свечи показались ей сияющими венцами нетления. Эмма уронила голову на подушки, и ей почудилось, будто где-то вдали зазвучали арфы серафимов, будто над нею раскинулось голубое небо, а в небе, на золотом престоле, окруженный святыми с зелеными пальмовыми ветвями в руках, ей привиделся бог-отец во всей его славе, и будто по его мановению огнекрылые ангелы спускаются на землю и вот сейчас унесут в своих объятиях ее душу.

Это чудное видение запечатлелось в ее памяти как нечто неизъяснимо прекрасное. Она старалась вызвать в себе чувство, которое она испытала тогда и которое с тех пор не переставало жить в ней,— чувство, лишенное прежней силы, но зато сохранившее всю свою пленительную глубину. Душа ее, сломленная гордыней, находила успокоение в христианской кротости. Наслаждаясь собственной слабостью, Эмма смотрела на свое безволие, как на широкие врата, через которые в нее войдет благодать. Значит, есть же на земле неизреченные блаженства, и перед ними земное счастье — прах, есть любовь превыше всякой другой, любовь непрерывная, бесконечная, неуклонно растущая! Лелея обманчивые надежды, Эмма представляла себе, что душа человеческая, достигнув совершенства, способна воспарить над землею и слиться с небесами. И она мечтала об этом. Ей хотелось стать святой. Она купила себе четки, стала носить ладанки; она думала о том, как хорошо было бы повесить у себя в комнате над изголовьем усыпанный изумрудами ковчежец и каждый вечер прикладываться к нему.

Священника радовало такое ее умонастроение, но он опасался, что Эмма из-за своей чрезмерной набожности может впасть в ересь и даже свихнуться. Богобоязненность Эммы не укладывалась в известные рамки, и это было уже вне его компетенции, поэтому он счел за благо написать торговцу книгами духовно-нравственного содержания г-ну Булару и попросить его прислать «что-нибудь достойное внимания для одной очень умной особы женского пола». Книгопродавец отнесся к его просьбе столь

же равнодушно, как если бы ему дали заказ на поставку скобяного товара неграм, и упаковал подряд все душеспасительные книги, которые были тогда в ходу. Он прислал и учебники в вопросах и ответах, и злобные памфлеты в духе г-на де Местра, и нечто приторное, романообразное, в розовых переплетах, состряпанное сладкопевцами-семинаристами или же раскаявшимися синими чулками. Чего-чего тут только не было: и *Предмет для неустанных размышлений*, и *Светский человек у ног Девы Марии, сочинение г-на де***, разных орденов кавалера*, и *Книга для юношества о заблуждениях Вольтера*, и т. п.

Госпожа Бовари была еще не в силах на чем-либо сосредоточиться — для этого у нее была недостаточно ясная голова, а на присланные книги она набросилась с излишней жадностью. К церковной догматике она сразу почувствовала отвращение; в сочинениях полемических ожесточенные нападки на лиц, о которых она не имела понятия, прискучили ей; наконец, в светских повестушках религиозного направления она обнаружила полнейшее незнание жизни; она надеялась, что душеполезные книги докажут ей непреложность некоторых истин, но они произвели как раз обратное действие: самые истины мало-помалу утратили для Эммы свое обаяние. Впрочем, она пока еще упорствовала, и когда книга выпадала у нее из рук, ей казалось, что такую красивую печаль способна чувствовать лишь настроенная на самый высокий лад католичка.

Между тем память о Родольфе ушла на самое дно ее души, и там она и покоилась, еще более величественная и неподвижная, нежели мумия земного владыки в какой-нибудь усыпальнице. Ее набальзамированная любовь источала некое благоухание и, пропитывая собою решительно все, насыщала нежностью ту безгрешную атмосферу, в которой стремилась жить Эмма. Преклонив колени на своей готической скамеечке, Эмма обращала к богу те же ласковые слова, которые она когда-то со всем пылом неверной жены шептала своему любовнику. Ей казалось, что так она укрепляет в себе веру, и все же она не находила отрады в молитве — вся разбитая, она вставала со скамейки, и внутренний голос шептал ей, что она — жертва какого-то грандиозного обмана. Но она утешала себя тем, что господь посылает ей испытание. В своей богомольной гордыне Эмма сравнивала себя с теми знатными дамами былых времен, славе которых она завидовала, глядя на

изображение де Лавальер: необыкновенно величественно выглядевшие в длинных платьях с расшитым шлейфом, они уединялись для того, чтобы у ног Христа выплакать слезы своей наболевшей души.

Эмма увлеклась благотворительностью. Шила платья для бедных, посылала дров роженицам. Однажды Шарль, придя домой, застал на кухне трех проходимцев — они сидели за столом и ели суп. На время болезни Эммы Шарль отправил дочку к кормилице — теперь Эмма взяла ее домой. Она начала учить ее читать, и слезы Берты уже не выводили Эмму из терпения. Это была внушенная самой себе кротость, это было полное всепрощение. О чем бы она ни говорила, речь ее становилась выспренной. Она спрашивала Берту:

— У тебя больше не болит животик, мой ангел?

Госпоже Бовари-старшей теперь уже не к чему было придраться; ей только не нравилось, что невестка помешалась на вязании фуфаек для сирот — лучше бы свое тряпье чинила. Но нелады с мужем извели почтенную даму, и она блаженствовала в тихом доме у сына; чтобы не видеть, как ее супруг, ярый безбожник, ест в Великую пятницу колбасу, она прожила здесь и Страстную, и Пасху.

Свекровь, ободряюще действовавшая на Эмму своей прямолинейностью и всей своей горделивой осанкой, была далеко не единственной ее собеседницей — почти каждый день она с кем-нибудь да встречалась. Ее навещали г-жа Ланглуа, г-жа Карон, г-жа Дюбрейль, г-жа Тюваш и, ежедневно с двух до пяти, милейшая г-жа Оме, единственная из всех не верившая ни одной сплетне про свою соседку. Бывали у Эммы и дети Оме; их сопровождал Жюстен. Он поднимался с ними на второй этаж и до самого ухода молча, не шевелясь, стоял у порога. Иной раз г-жа Бовари, не смущаясь его присутствием, принималась за свой туалет. Первым делом она вытаскивала из волос гребень и встряхивала головой. Когда бедный мальчик увидел впервые, как кольца ее волос раскрутились и вся копна спустилась ниже колен, то это было для него нечаянным вступлением в особый, неведомый мир, пугающий своим великолепием.

Эмма, конечно, не замечала его душевных движений, его робких взглядов. Она и не подозревала, что вот тут, около нее, под рубашкой из домотканого полотна, в юном сердце, открытом для лучей ее красоты, трепещет исчезнувшая из ее жизни любовь. Впрочем, Эмма была теперь до такой степени равнодушна ко всему на свете, так ла-

сково со всеми говорила, а взгляд ее в это же самое время выражал такое презрение, такие резкие бывали у нее переходы, что вряд ли кто-нибудь мог понять, где кончается ее эгоизм и начинается отзывчивость, где кончается порок и начинается добродетель. Так, однажды вечером, служанка тщетно пыталась найти благовидный предлог, чтобы уйти со двора, и Эмма на нее рассердилась, а потом вдруг спросила в упор:

— Ты что, любишь его?

И, не дожидаясь ответа от зардевшейся Фелисите, с грустным видом сказала:

— Ну поди погуляй!

В начале весны Эмма, не посчитавшись с мужем, велела перекопать весь сад. Муж, впрочем, был счастлив, что она хоть в чем-то проявляет настойчивость. А она заметно окрепла, и проявления настойчивости наблюдались у нее все чаще. Прежде всего ей удалось отделаться от кормилицы, тетушки Роле, которая, пока Эмма выздоравливала, с двумя своими питомцами и прожорливым, точно акула, пенсионером, зачастила к ней на кухню. Потом она сократила визиты семейства Оме, постепенно отвадила других гостей и стала реже ходить в церковь, заслужив этим полное одобрение аптекаря, который на правах друга однажды заметил ей:

— Вы уж было совсем замолились!

Аббат Бурнизьен по-прежнему приходил каждый день после урока катехизиса. Он любил посидеть на воздухе, в беседке, «в рощице», как называл он сад. К этому времени возвращался Шарль. Оба страдали от жары; им приносили сладкого сидру, и они пили за окончательное выздоровление г-жи Бовари.

Тут же, то есть внизу, как раз напротив беседки, ловил раков Бине. Бовари звал его выпить холодненького — тот уж очень ловко откупоривал бутылки.

— Бутылку не нужно наклонять,— самодовольным взглядом озирая окрестности, говорил Бине.— Сначала мы перережем проволочку, а потом осторожно, потихоньку-полегоньку, вытолкнем пробку — так открывают в ресторанах бутылки с сельтерской.

Но во время опыта сидр нередко обдавал всю компанию, и в таких случаях священник, смеясь утробным смехом, всегда одинаково острил:

— Его доброкачественность бросается в глаза!

Аббат Бурнизьен был в самом деле человек незлоби-

вый: когда однажды фармацевт посоветовал Шарлю развлечь супругу — повезти ее в руанский театр, где гастролировал знаменитый тенор Лагарди, он ничем не обнаружил своего неудовольствия. Озадаченный его невозмутимостью, г-н Оме прямо обратился к нему и спросил, как он на это смотрит; священник же ему ответил, что музыка не так вредна, как литература.

Фармацевт вступился за словесность. Он считал, что театр в увлекательной форме преподносит зрителям нравоучение и этим способствует искоренению предрассудков.

— *Castigat ridendo mores* [1], господин Бурнизьен! Возьмите, например, почти все трагедии Вольтера: они полны философских мыслей — для народа это настоящая школа морали и дипломатии.

— Я когда-то видел пьесу под названием *Парижский мальчишка*,— вмешался Бине.— Там выведен интересный тип старого генерала — ну прямо выхвачен из жизни! Какого звону задает этот генерал одному барчуку! Барчук соблазнил работницу, а та в конце концов...

— Бесспорно, есть плохая литература, как есть плохая фармацевтика,— продолжал Оме.— Но отвергать огулом все лучшее, что есть в искусстве,— это, по-моему, нелепость; в этом есть что-то средневековое, достойное тех ужасных времен, когда Галилей томился в заточении.

— Я не отрицаю, что есть хорошие произведения, хорошие писатели,— возразил священник.— Но уже одно то, что особы обоего пола собираются в дивном здании, обставленном по последнему слову светского искусства... И потом этот чисто языческий маскарад, румяна, яркий свет, томные голоса — все это в конце концов ведет к ослаблению нравов, вызывает нескромные мысли, нечистые желания. Так, по крайней мере, смотрели на это отцы церкви. А уж раз,— добавил священник, внезапно приняв таинственный вид, что́ не мешало ему разминать на большом пальце понюшку табаку,— церковь осудила зрелища, значит, у нее были для этого причины. Наше дело — исполнять ее веления.

— А знаете, почему церковь отлучает актеров? — спросил аптекарь.— Потому что в давнопрошедшие времена их представления конкурировали с церковными. Да, да! Прежде играли, прежде разыгрывали на хорах так называемые мистерии; в сущности же, это были не мисте-

---

[1] Он смехом бичует нравы *(лат.)*.

рии, а что-то вроде фарсов, да еще фарсов-то в большинстве случаев непристойных.

Священник вместо ответа шумно вздохнул, а фармацевт все не унимался.

— Это как в Библии. Там есть такие... я бы сказал... пикантные подробности, уверяю вас!.. Там все вещи называются своими именами!

Тут Бурнизьена всего передернуло, но аптекарь не дал ему рта раскрыть:

— Вы же не станете отрицать, что эта книга не для молодых девушек. Я бы, например, был не в восторге, если б моя Аталия...

— Да ведь Библию рекомендуют протестанты, а не мы! — выйдя из терпения, воскликнул аббат.

— Не все ли равно? — возразил Оме.— Я не могу примириться с мыслью, что в наш просвещенный век находятся люди, которые все еще восстают против такого вида умственного отдыха, хотя это отдых безвредный, более того — здоровый и в нравственном, и даже в физическом смысле. Не правда ли, доктор?

— Да, конечно,— как-то неопределенно ответил лекарь; то ли он, думая так же, как и Оме, не хотел обижать Бурнизьена, то ли он вообще никогда об этом не думал.

Разговор, собственно, был кончен, но фармацевт не удержался и нанес противнику последний удар:

— Я знал священников, которые переодевались в светское платье и ходили смотреть, как дрыгают ногами танцовщицы.

— А, будет вам! — возмутился аббат.

— Нет, я знал! — повторил Оме и еще раз произнес с расстановкой: — Нет — я — знал!

— Что ж, это с их стороны нехорошо,—заключил Бурнизьен: по-видимому, он твердо решил снести все.

— Да за ними, черт их побери, еще и не такие грешки водятся! — воскликнул аптекарь.

— Милостивый государь!..

Священник метнул при этом на фармацевта такой злобный взгляд, что тот струсил.

— Я хотел сказать,— совсем другим тоном заговорил Оме,— что нет более надежного средства привлечь сердца к религии, чем терпимость.

— А, вот это верно, вот это верно! — согласился добродушный аббат и опять сел на свое место.

Но он не просидел и трех минут. Когда он ушел, г-н Оме сказал лекарю:

— Это называется — жаркая схватка! Что, здорово я его поддел?.. Одним словом, послушайтесь вы моего совета, повезите госпожу Бовари на спектакль, хоть раз в жизни позлите вы этих ворон, черт бы их подрал! Если б меня кто-нибудь заменил, я бы поехал с вами. Но торопитесь! Лагарди дает только одно представление. У него ангажемент в Англию — ему там будут платить большие деньги. Говорят, это такой хапуга! Золото лопатой загребает! Всюду возит с собой трех любовниц и повара! Все великие артисты жгут свечу с обоих концов. Они должны вести беспутный образ жизни — это подхлестывает их фантазию. А умирают они в богадельне — в молодости им не приходит на ум, что надо копить про черный день. Ну-с, приятного аппетита! До завтра!

Мысль о спектакле засела в голове у Шарля. Он сейчас же заговорил об этом с женой, но она сперва отказалась, сославшись на то, что это утомительно, хлопотно, дорого. Шарль, против обыкновения, уперся,— он был уверен, что театр принесет ей пользу. Он полагал, что у нее нет серьезных причин для того, чтобы не ехать: мать недавно прислала им триста франков, на что он никак не рассчитывал, текущие долги составляли не очень значительную сумму, а до уплаты по векселям г-ну Лере было еще так далеко, что не стоило об этом и думать. Решив, что Эмма не хочет ехать из деликатности, Шарль донял ее своими приставаниями, и в конце концов она согласилась. На другой день в восемь утра они отбыли в «Ласточке».

Аптекаря ничто не удерживало в Ионвиле, но он считал своим долгом не покидать поста; выйдя проводить супругов Бовари, он тяжело вздохнул.

— Ну, добрый путь, счастливые смертные! — воскликнул Оме и, обратив внимание на платье Эммы — голубое, шелковое, с четырьмя воланами,— заметил: — Вы сегодня обворожительны. Вы будете иметь бешеный успех в Руане!

Дилижанс остановился на площади Бовуазин, у заезжего двора «Красный крест». На окраине любого провинциального города вы можете видеть такую же точно гостиницу: конюшни в таком добром старом трактире бывают просторные, номера — тесные, на дворе под забрызганными грязью колясками коммивояжеров подбирают овес куры, в деревянной подгнившей галерее зимними ночами потрескивают от мороза бревна; здесь всегда людно,

шумно, стены ломятся от снеди, черные столы залиты кофе с коньяком, влажные скатерти — все в пятнах от дешевого красного вина, толстые оконные стекла засижены мухами; здесь со стороны улицы — кофейная, а на задворках — огород, и здесь всегда пахнет деревней, как от вырядившихся по-городски батраков. Шарль сейчас же помчался за билетами. Он долго путал литерные ложи с галеркой, кресла партера с креслами ложи, подробно расспрашивал, ничего не понимал, когда ему объясняли, обе́гал всех, начиная с контролера и кончая директором, вернулся на постоялый двор, опять пошел в кассу — и так несколько раз он измерил расстояние от театра до гостиницы.

Госпожа Бовари купила себе шляпу, перчатки, бутоньерку. Г-н Бовари очень боялся опоздать к началу, и, не доев бульона, они подошли к театру, когда двери были еще заперты.

XV

Толпа, разделенная балюстрадами на равные части, жалась к стене. На громадных афишах, развешанных по углам ближайших улиц, затейливо выведенные буквы слагались в одни и те же слова: «*Лючия де Ламермур*... Лагарди... Опера...» День стоял погожий; было жарко; волосы слипались от пота; в воздухе мелькали носовые платки и вытирали красные лбы. Порою теплый ветер с реки чуть колыхал края тиковых навесов над дверями кабачков. А немного дальше было уже легче дышать — освежала ледяная струя воздуха, насыщенная запахом сала, кожи и растительного масла. То было дыхание улицы Шарет, застроенной большими темными складами, из которых выкатывали бочки.

Эмма, боясь оказаться в смешном положении, решила пройтись по набережной: все лучше, чем стоять перед запертыми дверями театра. Шарль из предосторожности зажал билеты в кулак, а руку опустил в карман брюк и потом все время держал ее на животе.

Уже в вестибюле у Эммы сильно забилось сердце. Толпа устремилась по другому фойе направо, а Эмма поднималась по лестнице в ложу первого яруса, и это невольно вызвало на ее лице тщеславную улыбку. Ей, как ребенку, доставляло удовольствие дотрагиваться до широких, обитых материей дверей, она жадно дышала театральною

пылью. Наконец она села на свое место в ложе и выпрямилась с непринужденностью герцогини.

Зал постепенно наполнялся. Зрители вынимали из футляров бинокли. Завзятые театралы еще издали узнавали друг друга и раскланивались. Эти люди смотрели на искусство как на отдых от тревог коммерции, но и здесь они не забывали про свои «дела» и вели разговор о хлопке, спирте, индиго. Виднелись невыразительные, малоподвижные головы стариков; бледность и седины придавали старикам сходство с серебряными медалями, которые покрылись тусклым свинцовым налетом. Г-жа Бовари любовалась сверху молодыми хлыщами, красовавшимися в первых рядах партера,— они выставляли напоказ в низком вырезе жилета розовые или же бледно-зеленые галстуки и затянутыми в желтые перчатки руками опирались на позолоченный набалдашник трости.

Между тем в оркестре зажглись свечи. С потолка спустилась люстра, засверкали ее граненые подвески, и в зале сразу стало веселее. Потом один за другим появились музыканты, и началась дикая какофония: гудели контрабасы, визжали скрипки, хрипели корнет-а-пистоны, пищали флейты и флажолеты. Но вот на сцене раздались три удара, загремели литавры, зазвучали трубы, занавес взвился, а за ним открылся ландшафт.

Сцена представляла опушку леса; слева протекал осененный ветвями дуба ручей. Поселяне и помещики с пледами через плечо спели хором песню охотников. Затем появился ловчий и, воздев руки к небу, стал вызывать духа зла. К нему присоединился другой, потом они ушли, и тогда снова запели охотники.

Эмма перенеслась в круг чтения своей юности, в царство Вальтера Скотта. Ей чудилось, будто из-за вересковых зарослей до нее сквозь туман долетает плач шотландской волынки, многократно повторяемый эхом. Она хорошо помнила роман, это облегчало ей понимание оперы, и она пыталась следить за развитием действия, но буря звуков рассеивала обрывки ее мыслей. Эмма была захвачена музыкой, все ее существо звучало в лад волнующим мелодиям, у нее было такое чувство, точно смычки ударяют по нервам. Глаза разбегались, и она не могла налюбоваться костюмами, декорациями, действующими лицами, нарисованными деревьями, дрожавшими всякий раз, когда кто-нибудь проходил мимо, бархатными беретами, плащами, шпагами,— всеми созданиями фантазии, колыхавшимися

на волнах гармонии, словно на воздушных волнах горнего мира. Но вот на авансцену вышла молодая женщина и бросила кошелек одетому в зеленое конюшему. Затем она осталась одна, и тут, подобно журчанию ручья или птичьему щебету, зазвучала флейта. Глядя перед собой сосредоточенным взглядом, Лючия начала каватину соль мажор. Она пела о том, как жестока любовь, молила бога даровать ей крылья. Эмма ведь тоже стремилась покинуть земную юдоль, унестись в объятиях ангела. И вдруг на сцену вышел Эдгар — Лагарди.

Он был бледен той очаровательной бледностью, которая придает лицам пылких южан строгость, чем-то напоминающую строгость мрамора. Его мощный стан облегала коричневая куртка. На левом боку у него болтался маленький кинжал с насечкой. Лагарди томно закатывал глаза и скалил белые зубы. Про него говорили, что когда-то давно он занимался починкой лодок на биаррицком пляже и что однажды вечером, послушав, как он поет песни, в него влюбилась польская панна. Она потратила на него все свое состояние. А он бросил ее ради других женщин, и слава сердцееда упрочила его артистическую репутацию. Хитрый комедиант непременно вставлял в рекламы какую-нибудь красивую фразу о своем обаянии и о своем чувствительном сердце. Дивный голос, несокрушимая самоуверенность, темперамент при отсутствии тонкого ума, напыщенность, прикрывавшая отсутствие истинного чувства,— вот чем брал этот незаурядный шарлатан, в котором было одновременно что-то от парикмахера и что-то от тореадора.

С первой же сцены он обворожил зрителей. Он душил в объятиях Лючию, уходил от нее, возвращался, разыгрывал отчаяние, вспышки гнева сменялись у него жалобными стонами, исполненными глубокой нежности, из его обнаженного горла излетали ноты, в которых слышались рыдания и звуки поцелуя. Эмма, перегнувшись через барьер и впившись ногтями в бархатную обивку ложи, глядела на него не отрываясь. Сердце ее полнилось этими благозвучными жалобами, и они всё лились и лились под аккомпанемент контрабасов, подобно стонам утопающих, которые не может заглушить вой урагана. Ей было знакомо это упоение, эта душевная мука — она сама чуть было не умерла от них. Голос певицы казался ей отзвуком ее собственных дум, во всем этом пленительном вымысле отражалась какая-то сторона ее жизни. Но в действительно-

сти никто ее так не любил. Родольф не плакал, как Эдгар, когда они в последний вечер при лунном свете говорили друг другу: «До завтра! До завтра!..» Зал гремел от рукоплесканий; пришлось повторить всю стретту: влюбленные пели о цветах на своей могиле, о клятвах, о разлуке, о воле судеб, о надеждах. Когда же раздалось финальное «Прощай!», у Эммы вырвался пронзительный крик, и этот ее вопль слился с дрожью последних аккордов.

— За что вон тот синьор преследует ее? — спросил Бовари.

— Да нет же, это ее возлюбленный,— ответила Эмма.

— Но ведь он клянется отомстить ее семье, а тот, который только что пришел, сказал: «Лючию я люблю и, кажется, взаимно». Да он и ушел под руку с ее отцом. Ведь уродец в шляпе с петушиным пером — это же ее отец?

Объяснения Эммы не помогли — во время речитативного дуэта, когда Гильберт сообщает своему господину, Эштону, какие адские козни он замышляет, Шарль увидел обручальное кольцо, которое должно было ввести в заблуждение Лючию, и решил, что это подарок Эдгара. Впрочем, он откровенно сознался: ему непонятно, что, собственно, происходит на сцене, из-за музыки он не улавливает слов.

— Не все ли тебе равно? — сказала Эмма.— Молчи!

— Ты же знаешь, я люблю, чтобы мне все было ясно,— наклонившись к ней, начал было Шарль.

— Молчи! Молчи! — сердито прошептала Эмма.

Лючию вели под руки служанки; в волосах у нее была ветка флёрдоранжа; она казалась бледнее своего белого атласного платья. Эмма вызвала в памяти день своей свадьбы. Она перенеслась воображением туда, в море хлебов, на тропинку, по которой все шли в церковь. Зачем она не сопротивлялась, не умоляла, как Лючия? Напротив, она ликовала, она не знала, что впереди — пропасть... О, если б в ту пору, когда ее красота еще не утратила своей первоначальной свежести, когда к ней еще не пристала грязь супружеской жизни, когда она ~~еще не~~ разочаровалась в любви запретной, кто-нибудь отдал ей свое большое, верное сердце, то добродетель, нежность, желание и чувство долга слились бы в ней воедино, и с высоты такого счастья она бы уже не пала! Но нет, это блаженство — обман, придуманный для того, чтобы разбитому сердцу было потом еще тяжелее. Искусство приукрашает страсти, но она-то изведала все их убожество! Эмма ста-

ралась об этом не думать; в воссоздании ее собственных горестей ей хотелось видеть лишь ласкающую взор фантазию, разыгрываемую в лицах, и когда в глубине сцены из-за бархатного занавеса появился мужчина в черном плаще, она внутренне даже улыбнулась снисходительной улыбкой.

От резкого движения его широкополая испанская шляпа упала на пол. Оркестр и певцы сейчас же начали секстет. Звонкий голос пылавшего гневом Эдгара покрывал все остальные. Баритон Эштона грозил Эдгару смертью, Лючия изливала свои жалобы на самых высоких нотах, Артур вел свою партию, модулируя в среднем регистре, первый бас священника гудел, точно орган, и слова его подхватывал чудесный хор женских голосов. Выстроившись в ряд, актеры повышенно жестикулировали. Из их уст излетали одновременно гнев, жажда мести, ревность, страх, сострадание и изумление. Оскорбленный любовник размахивал шпагой. От прерывистого дыхания вздымался кружевной воротник на его груди; звеня золочеными шпорами на мягких сапожках с раструбами у щиколоток, он большими шагами ходил по сцене. Глядя на певца, Эмма думала, что в душе у него, наверно, неиссякаемый источник любви, иначе она не била бы из него такой широкой струей. Все ее усилия принизить его были сломлены — ее покорил поэтический образ. Черты героя Эмма переносила на актера; она старалась представить себе его жизнь, жизнь шумную, необыкновенную, блистательную, и невольно думала о том, что таков был бы и ее удел, когда бы случай свел ее с ним. Они бы познакомились — и полюбили друг друга! Она путешествовала бы по всем европейским государствам, переезжая из столицы в столицу, деля с ним его тяготы и его славу, подбирая цветы, которые бросают ему, своими руками вышивая ему костюмы. Каждый вечер она пряталась бы в ложе, отделенной от зала позолоченною решеткою, и, замерев, слушала излияния его души, а душа его пела бы для нее одной; со сцены, играя, он смотрел бы на нее. Но Лагарди действительно на нее смотрел — это было какое-то наваждение! Она готова была броситься к нему, ей хотелось укрыться в объятиях этого сильного человека, этой воплощенной любви, хотелось сказать ему, крикнуть: «Увези меня! Умчи меня! Скорей! Весь жар души моей — тебе, все мечты мои — о тебе!»

Занавес опустился.

Запах газа смешивался с человеческим дыханием, вее-

ры только усиливали духоту. Эмма вышла в фойе, но там негде было яблоку упасть, и она с мучительным сердцебиением, ловя ртом воздух, вернулась в ложу и тяжело опустилась в кресло. Боясь, как бы у нее не было обморока, Шарль побежал в буфет за оршадом.

Немного погодя он с великим трудом протиснулся на свое место. Он держал обеими руками стакан, и его все время толкали под локти; кончилось тем, что он вылил почти весь оршад на плечи какой-то декольтированной руанки, а та, почувствовав, что по спине у нее течет жидкость, завопила так, словно ее резали. Ее супруг, владелец прядильной фабрики, напустился на косолапого медведя. Жена вытирала платком свое нарядное вишневого цвета платье из тафты, а он долго еще бурчал что-то насчет вознаграждения и возмещения убытков. Наконец Шарль снова очутился около своей жены.

— Честное слово, я уж думал, что не протолкаюсь! Народу!.. Народу!..— отдуваясь, еле выговорил он и обратился к Эмме с вопросом: — Угадай, кого я там встретил? Леона!

— Леона?

— Ну да! Он сейчас придет с тобой повидаться.

Не успел Шарль договорить, как в ложу вошел бывший помощник ионвильского нотариуса.

Он протянул Эмме руку с бесцеремонностью светского человека. Г-жа Бовари, как бы подчинившись более сильной воле, машинально подала ему свою. Она не касалась его руки с того весеннего вечера, когда они, стоя у окна, прощались под шум дождя в зеленой листве. Однако, подумав о приличиях, она мгновенно стряхнула с себя столбняк воспоминаний и заговорила отрывистыми фразами:

— А, здравствуйте!.. Вот неожиданно! Какими судьбами?

— Тише! — крикнул кто-то из партера: третье действие уже началось.

— Так вы в Руане?

— Да.

— И давно?

— Вон! Вон!

На них оглядывались. Они замолчали.

Но Эмма уже не слушала музыку. Хор гостей, сцена Эштона со слугой, большой ре-мажорный дуэт — все это доносилось до нее откуда-то издалека, точно инструменты утратили звучность, а певцы ушли за кулисы. Она

вспоминала игру в карты у фармацевта, поход к кормилице, чтения вслух в беседке, сидения у камелька, всю эту бедную событиями любовь, такую тихую и такую продолжительную, такую скромную, такую нежную и, однако, изгладившуюся из ее памяти. Зачем же он вернулся? Благодаря какому стечению обстоятельств он снова вошел в ее жизнь? Он сидел сзади, прижавшись плечом к перегородке. По временам его теплое дыхание шевелило ее волосы, и она вздрагивала.

— Вам это интересно? — спросил он, наклонившись к ней так близко, что кончик его уса коснулся ее щеки.

— О нет! Не очень! — небрежным тоном ответила она.

Леон предложил уйти из театра и поесть где-нибудь мороженого.

— Подождем немножко! — сказал Бовари.— Волосы у нее распущены — сейчас, наверно, начнется самая драма.

Но сцена безумия не потрясла Эмму, игра певицы казалась ей неестественной.

Шарль слушал внимательно.

— Уж очень она кричит,— обращаясь к нему, сказала Эмма.

— Да... пожалуй... слегка переигрывает...— согласился Шарль; ему явно нравилась игра певицы, но он привык считаться с мнениями жены.

— Ну и душно же здесь!..— со вздохом сказал Леон.

— Да, правда, невыносимо душно!

— Тебе нехорошо? — спросил Шарль.

— Я задыхаюсь. Пойдем!

Леон бережно набросил ей на плечи длинную кружевную шаль; все трое вышли на набережную и сели на вольном воздухе, перед кафе.

Сперва заговорили о болезни Эммы, причем она поминутно прерывала Шарля,—она уверяла, что г-ну Леону это скучно слушать. А Леон сказал, что в Нормандии через нотариуса проходят дела совсем иного характера, чем в Париже, и что он приехал на два года в Руан послужить в большой нотариальной конторе и набить себе руку. Затем спросил про Берту, про семейство Оме, про тетушку Лефрансуа. Больше в присутствии мужа говорить им было не о чем, и разговор скоро иссяк.

Мимо них шли по тротуару возвращавшиеся из театра зрители; некоторые из них мурлыкали себе под нос, а другие орали во все горло: «Ангел мой, Лючия!» Леон, желая блеснуть, заговорил о музыке. Он слышал Тамбурини, Ру-

бини, Персиани, Гризи; рядом с ними захваленный Лагарди ничего не стоил.

— А все-таки говорят, что в последнем действии он совершенно изумителен,— посасывая шербет с ромом, прервал его Шарль.— Я жалею, что ушел, не дождавшись конца. Мне он все больше и больше нравился.

— Так ведь скоро будет еще одно представление,— заметил Леон.

На это Шарль возразил, что они завтра же уезжают.

— А может быть, ты побудешь тут без меня, моя кошечка? — обратился он к Эмме.

Эта неожиданно открывшаяся возможность заставила молодого человека изменить тактику, и он стал восторгаться игрой Лагарди в последней сцене: это что-то волшебное, неземное! Тогда Шарль начал настаивать:

— Ты вернешься в воскресенье. Да ну, не упрямься! Раз это тебе хоть сколько-нибудь на пользу, значит, нечего отказываться.

Столики между тем пустели; неподалеку от них стоял официант — Шарль понял намек и полез за кошельком; Леон схватил его за руку, расплатился и оставил официанту на чай две серебряные монетки, нарочно громко звякнув ими о мраморную доску стола.

— Мне, право, неловко, что вы за нас...— пробормотал Шарль.

Леон остановил его радушно-пренебрежительным жестом и взялся за шляпу.

— Итак, решено: завтра в шесть?

Шарль снова начал уверять, что ему-то никак нельзя, а вот Эмма вполне может...

— Дело в том, что...— запинаясь, проговорила она с какой-то странной усмешкой,— я сама еще не знаю...

— Ну, ладно, у тебя есть время подумать, там посмотрим, утро вечера мудренее,— рассудил Шарль и обратился к Леону, который пошел их провожать: — Ну, вы теперь опять в наших краях,— надеюсь, будете приезжать к нам обедать.

Молодой человек охотно согласился, тем более что ему все равно надо было съездить в Ионвиль по делам конторы. Распрощался он с г-ном и г-жой Бовари у пассажа «Сент-Эрблан», как раз когда на соборных часах пробило половину двенадцатого.





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Леон, изучая право, довольно часто заглядывал в «Хижину» и даже пользовался большим успехом у гризеток, находивших, что он «очень мило себя держит». Самый приличный из всех студентов, он стриг волосы не слишком длинно и не слишком коротко, не проедал первого числа деньги, присланные на три месяца, и был в хороших отношениях с профессорами. Излишеств он себе не позволял по своему малодушию и из осторожности.

Когда Леон занимался днем у себя в комнате или вечером под липами Люксембургского сада, на память ему приходила Эмма, он задумывался и ронял Свод законов. Но мало-помалу его чувство к ней ослабело, на него наслоились иные желания, хотя и не совсем заглушили его. Леон еще не утратил надежду; неясное предчувствие манило его из далей будущего, точно золотой плод, качающийся на ветке сказочного дерева.

Когда же он встретился с Эммой после трехлетней разлуки, страсть его проснулась. Он решил, что пора сойтись с этой женщиной. К тому же веселые компании, в которых ему приходилось бывать, придали ему развязности, и теперь, вернувшись в провинцию, он уже смотрел свысока на всех, кто не ступал в лакированных ботинках по асфальту столичных улиц. Разумеется, перед парижанкой в кружевах или же войдя в салон знаменитого ученого, украшенного орденами и с собственным выездом, бедный помощник нотариуса трусил бы, как школьник. Но здесь, на руанской набережной, с женой лекаришки он не стеснялся, он знал заранее, что обольстит ее. Самонадеянность человека зависит от той среды, которая его окружает: на антресолях говорят иначе, нежели на пятом этаже, добродетель богатой женщины ограждена всеми ее

кредитными билетами, подобно тому как ее корсет поддерживают косточки, вставленные в подкладку.

Простившись вечером с супругами Бовари, Леон пошел за ними следом. Обнаружив, что они остановились в «Красном кресте», он вернулся домой и всю ночь потом обдумывал план.

На другой день, часов около пяти, чувствуя, как что-то давит ему горло, с помертвевшим лицом, исполненный решимости труса, той решимости, которая уже ни перед чем не останавливается, он вошел на кухню постоялого двора.

— Барина нет,— объявил слуга.

Леон решил, что это добрый знак. Он поднялся по лестнице. Его появление ничуть не смутило Эмму; напротив, она извинилась, что забыла сказать, где они сняли номер.

— А я догадался! — воскликнул Леон.

— То есть как?

Он ответил, что пошел наугад, что сюда его привело чутье. Эмма заулыбалась — тогда Леон, поняв, что сказал глупость, тут же сочинил другую версию: целое утро он искал ее по всем гостиницам.

— Итак, вы решили остаться? — спросил он.

— Да,— ответила она,— и напрасно. Нехорошо привыкать к недоступным удовольствиям, когда голова пухнет от забот...

— О, я вас понимаю!..

— Нет, вы этого понять не можете — вы не женщина!

Но ведь и у мужчин есть свои горести. Так, философствуя, втянулись они в беседу. Эмма долго говорила о том, как мелки земные страсти, и о том, что сердце человека обречено на вечное одиночество.

Чтобы порисоваться, а быть может, наивно подражая своим любимым меланхолическим героям, молодой человек сказал, что его занятия ему опротивели. Юриспруденцию он ненавидит, его влечет к себе другое поприще, а мать в каждом письме докучает ему своими наставлениями. Они все яснее говорили о том, почему им так тяжело, и это растущее взаимодоверие действовало на них возбуждающе. Но все же быть откровенными до конца они не решались — они старались найти такие слова, которые могли бы только навести на определенную мысль. Эмма так и не сказала, что любила другого; Леон не признался, что позабыл ее.

Быть может, Леон теперь и не помнил об ужинах с масками после бала, а Эмма, конечно, не думала о том, как она утром бежала по траве на свидание в усадьбу своего любовника. Уличный шум почти не долетал до них; в этом номерке, именно потому, что он был такой тесный, они чувствовали себя как-то особенно уединенно. Эмма, в канифасовом пеньюаре, откинулась на спинку старого кресла, желтые обои сзади нее казались золотым фоном, в зеркале отражались ее волосы с белой полоской прямого пробора, из-под прядей выглядывали мочки ушей.

— Ах, простите! — сказала она.— Вам, верно, наскучили мои вечные жалобы!

— Да нет, что вы, что вы!

— Если б вы знали, о чем я всегда мечтала! — воскликнула Эмма, глядя в потолок своими прекрасными глазами, в которых вдруг заблестели слезинки.

— А я? О, я столько выстрадал! Я часто убегал из дому, ходил, бродил по набережной, старался оглушить себя шумом толпы и все никак не мог отделаться от наваждения. На бульваре я видел у одного торговца эстампами итальянскую гравюру с изображением Музы. Муза в тунике, с незабудками в распущенных волосах, глядит на луну. Какая-то сила неудержимо влекла меня к ней. Я часами простаивал перед этой гравюрой. Муза была чуть-чуть похожа на вас,— дрогнувшим голосом добавил Леон.

Эмма, чувствуя, как губы у нее невольно складываются в улыбку, отвернулась.

— Я часто писал вам письма и тут же их рвал,— снова заговорил Леон.

Она молчала.

— Я мечтал: а вдруг вы приедете в Париж! На улицах мне часто казалось, что я вижу вас. Я бегал за всеми фиакрами, в которых мелькал кончик шали, кончик вуалетки, похожей на вашу...

Эмма, видимо, решила не прерывать его. Скрестив руки и опустив голову, она рассматривала банты своих атласных туфелек, и пальцы ее ног по временам шевелились.

Наконец она вздохнула.

— А все же нет ничего печальнее моей участи: моя жизнь никому не нужна. Если бы от наших страданий кому-нибудь было легче, то мы бы, по крайней мере, утешались мыслью о том, что жертвуем собой ради других.

Леон стал превозносить добродетель, долг и безмолв-

ное самоотречение; оказывается, он тоже ощущал неодолимую потребность в самопожертвовании, но не мог удовлетворить ее.

— Мне очень хочется быть сестрой милосердия,— сказала она.

— Увы! — воскликнул Леон.— У мужчин такого святого призвания нет. Я не вижу для себя занятия... пожалуй, кроме медицины...

Едва заметно пожав плечами, Эмма стала рассказывать о своей болезни: ведь она чуть не умерла! Как жаль! Смерть прекратила бы ее страдания. Леон поспешил признаться, что он тоже мечтает только о *покое могилы*. Однажды вечером ему будто бы даже вздумалось составить завещание, и в этом завещании он просил, чтобы к нему в гроб положили тот прелестный коврик с бархатной каемкой, который ему когда-то подарила Эмма. Обоим в самом деле хотелось быть такими, какими они себя изображали: оба создали себе идеал и к этому идеалу подтягивали свое прошлое. Слова — это волочильный стан, на котором можно растянуть любое чувство.

Однако выдумка с ковриком показалась ей неправдоподобной.

— Зачем же? — спросила она.

— Зачем?

Леон замялся.

— Затем, что я вас так любил!

Порадовавшись, что самый трудный барьер взят, Леон искоса взглянул на нее.

С ним произошло то же, что происходит на небе, когда ветер вдруг разгонит облака. Грустные думы, находившие одна на другую и омрачавшие голубые глаза Леона, как будто бы рассеялись; его лицо сияло счастьем.

Он ждал.

— Я и раньше об этом догадывалась...— наконец произнесла Эмма.

И тут они начали пересказывать друг другу мелкие события того невозвратного времени, все радости и горести которого сводились для них теперь к одному-единственному слову. Он вспомнил беседку, увитую ломоносом, платья Эммы, обстановку ее комнаты, весь ее дом.

— А наши милые кактусы целы?

— Померзли зимой.

— Как часто я о них думал, если б вы только знали! Я представлял их себе точно такими, как в те летние утра,

когда занавески на окнах были пронизаны солнечным светом... и когда ваши обнаженные руки мелькали в цветах.

— Милый друг! — сказала Эмма и протянула ему руку.

Леон прильнул к ней губами. Потом глубоко вздохнул.

— Внутри вас была тогда какая-то неведомая сила, и она действовала на меня неотразимо...— продолжал Леон.— Однажды я пришел к вам... Но вы, конечно, этого не помните.

— Нет, помню,— возразила Эмма.— Ну, дальше?

— Вы стояли внизу, в передней, на ступеньке, собирались уходить. На вас была шляпка с голубенькими цветочками. Вы мне не предложили проводить вас, а я все-таки, наперекор самому себе, пошел за вами. С каждой минутой мне все яснее становилось, что я допустил бестактность. Я плелся сзади, навязываться в провожатые мне было неловко, а уйти совсем я не мог. Когда вы заходили в лавки, я оставался на улице и смотрел в окно, как вы снимаете перчатки и отсчитываете деньги. Но вот вы позвонили к госпоже Тюваш, вам открыли, за вами захлопнулась большая тяжелая дверь, а я стою перед ней как дурак.

Госпожа Бовари слушала его и дивилась тому, какая она старая; ей казалось, что все эти восстанавливаемые в памяти подробности удлиняют прожитую жизнь; чувства, которые она сейчас вызывала в себе, росли до бесконечности.

— Да, правда!.. Правда!.. Правда!..— полузакрыв глаза, время от времени роняла Эмма.

На всех часах квартала Бовуазин, где что ни шаг — то пансион, церковь или заброшенный особняк, пробило восемь. Леон и Эмма молчали, но когда они обменивались взглядами, в ушах у них начинало шуметь, точно из их неподвижных зрачков исходил какой-то звук. Они взялись за руки, и прошлое, будущее, воспоминания и мечты — все для них слилось в одно ощущение тихого восторга. Стены в номере потемнели, но еще сверкали выплывавшие из мрака яркие краски четырех гравюр: на них были изображены сцены из *Нельской башни*, а под гравюрами давались пояснения на испанском и французском языках. В окно был виден клочок темного неба между островерхими кровлями.

Эмма встала, зажгла на комоде две свечи и опять села на свое место.

— Итак?..— спросил Леон.

— Итак? — в тон ему проговорила Эмма.

Он все еще думал, как вновь начать прерванный разговор, но вдруг она сама обратилась к нему с вопросом:

— Отчего никто до сих пор не выражал мне таких чувств?

Молодой человек на это заметил, что возвышенную натуру не так-то легко понять. Он, однако, полюбил ее с первого взгляда и потом не раз приходил в отчаяние при мысли о том, как бы они могли быть счастливы, если б волею судеб встретились раньше и связали себя неразрывными узами.

— Я тоже иногда об этом думала,— призналась Эмма.

— Какая отрадная мечта! — прошептал Леон и, осторожно перебирая синюю бахрому ее длинного белого пояса, добавил: — Кто же нам мешает все начать сызнова?..

— Нет, мой друг,— сказала Эмма.— Я уже стара... а вы еще молоды... Забудьте обо мне! Вас еще полюбят... полюбите и вы.

— Но не так, как вас! — вырвалось у Леона.

— Какое вы еще дитя! Ну будем же благоразумны! Я так хочу!

Она стала доказывать, что любить друг друга им нельзя, что они по-прежнему не должны выходить за пределы дружбы.

Искренне ли говорила Эмма? Этого она, конечно, и сама не знала — радость обольщения и необходимость обороны владели всем ее существом. Нежно глядя на молодого человека, она мягким движением отстраняла его дрожащие руки, робко пытавшиеся приласкать ее.

— Простите! — сказал он, отодвигаясь.

И в душу к Эмме закралась смутная тревога, внушенная этой его робостью, более опасной, нежели смелость Родольфа, который тогда, раскинув руки, двигался прямо к ней. Леон казался ей красивее всех на свете. От него веяло необыкновенной душевной чистотой. Его длинные тонкие загнутые ресницы поминутно опускались. Нежные щеки горели — Эмме казалось: желанием, и ее неудержимо тянуло дотронуться до них губами. Наконец Эмма посмотрела на часы.

— Боже, как поздно! — воскликнула она.— Заболтались мы с вами!

Он понял намек и стал искать шляпу.

— Я даже забыла о спектакле! А бедный Бовари нарочно меня здесь оставил! Я должна была пойти с Лормо и с его женой — они живут на улице Большого моста.

Возможность упущена: завтра она уезжает.

— В самом деле? — спросил Леон.

— Да.

— Мне необходимо увидеться с вами еще раз,— заявил он.— Мне надо вам сказать...

— Что сказать?

— Одну... серьезную, важную вещь. Да нет, вы не уедете, это невозможно! Если б вы знали... Выслушайте меня... Неужели вы меня не поняли? Неужели вы не догадались?..

— Вы же так прекрасно говорите! — сказала Эмма.

— А, вы шутите! Довольно, довольно! Сжальтесь, позвольте мне снова увидеться с вами... только один раз... один-единственный!

— Ну что ж!..— Эмма запнулась и, словно спохватившись, воскликнула: — Но только не здесь!

— Где вам угодно.

— Хотите...

Подумав, она произнесла скороговоркой:

— Завтра, в одиннадцать утра, в соборе.

— Приду! — воскликнул он и схватил ее руки, но она отняла.

Оба теперь стояли, он — сзади нее; вдруг Эмма опустила голову,— Леон сейчас же нагнулся и надолго припал губами к ее затылку.

— Да вы с ума сошли! Вы с ума сошли! — прерывисто и звонко смеясь, повторяла она, меж тем как Леон осыпал ее поцелуями.

Наконец Леон взглянул на нее через плечо — он словно искал в ее глазах одобрения. Но глаза ее выражали неприступное величие.

Леон сделал три шага назад, к выходу. Остановился на пороге. Дрожащим голосом прошептал:

— До завтра!

Она кивнула и, как птица, выпорхнула в соседнюю комнату.

Вечером Эмма написала Леону бесконечно длинное письмо, в котором отменяла свидание: между ними все кончено, для их же благополучия они не должны больше встречаться. Но, запечатав письмо, Эмма вспомнила, что не знает его адреса, и это поставило ее в тупик.

«Он придет на свидание, и я передам ему лично»,— решила она.

Наутро Леон отворил окно, вышел на балкон и, напевая, до блеска начистил свои туфли. Он надел белые панталоны, тонкие носки, зеленый фрак, вылил на носовой платок все свои духи, потом завился у парикмахера, но, чтобы придать своей прическе естественную элегантность, тут же взбил волосы.

«Еще очень рано»,— подумал он, посмотрев на висевшие в парикмахерской часы с кукушкой: они показывали девять.

Он прочел старый модный журнал, вышел, закурил сигару, прошел три улицы и, решив, что уже пора, быстрыми шагами направился к собору.

Было чудесное летнее утро. В витринах ювелиров отсвечивало серебро; лучи солнца, косо падавшие на собор, скользили по изломам серых камней; в голубом небе вокруг стрельчатых башен летали стрижи; на шумной площади пахло цветами, окаймлявшими мостовую: розами, жасмином, гвоздикой, нарциссами и туберозами, росшими в беспорядке среди влажной зелени котовика и воробьиного проса; в центре площади журчал фонтан; под широкими зонтами, окруженные пирамидами дынь, простоволосые торговки завертывали в бумагу букеты фиалок.

Молодой человек взял букет. Первый раз в жизни покупал он цветы для женщины; он понюхал фиалки и невольно приосанился, словно это не ей собирался он поднести цветы, а себе самому.

Подумав, однако, что его могут увидеть, он решительным шагом двинулся к собору.

У левых дверей на середине притвора под *Пляшущей Мариам* стоял в шляпе с султаном, при шпаге и с булавой, величественный, словно кардинал, и весь сверкающий, как дароносица, привратник.

Он шагнул навстречу Леону и с той приторно-ласковой улыбкой, какая появляется у церковнослужителей, когда они обращаются к детям, спросил:

— Вы, сударь, наверно, приезжий? Желаете осмотреть достопримечательности нашего храма?

— Нет,— ответил Леон.

Он обошел боковые приделы. Потом вышел на паперть. Эммы не было видно. Тогда он поднялся на хоры.

В чашах со святой водой отражался неф вместе с нижней частью стрельчатых сводов и кусочками цветных сте-

кол. Отражение росписи разбивалось о мраморные края чаш, а дальше пестрым ковром ложилось на плиты пола. От трех раскрытых дверей тянулись три огромные полосы света. Время от времени в глубине храма проходил ризничий и, как это делают богомольные люди, когда торопятся, как-то боком опускался на колени напротив престола. Хрустальные люстры висели неподвижно. На хорах горела серебряная лампада. Порой из боковых приделов, откуда-то из темных углов доносилось как бы дуновение вздоха, и вслед за тем стук опускающейся решетки гулко отдавался под высокими сводами.

Леон чинно прохаживался у самых стен. Никогда еще жизнь так не улыбалась ему, как сейчас. Вот-вот, украдкой ловя провожающие ее взгляды, взволнованная, очаровательная, войдет она, и он увидит ее золотую лорнетку, платье с воланами, прелестные ботинки, она предстанет перед ним во всем своем многообразном, чисто женском изяществе, которое ему еще внове, со всем невыразимым обаянием уступающей добродетели. Вся церковь расположится вокруг нее громадным будуаром; своды наклонятся, чтобы под их сенью она могла исповедаться в своей любви; цветные стекла засверкают еще ярче и осветят ее лицо; кадильницы будут гореть для того, чтобы она появилась, как ангел, в благовонном дыму.

Но она все не шла. Он сел на стул, и взгляд его уперся в синий витраж, на котором были изображены рыбаки с корзинами. Он долго, пристально разглядывал его, считал чешуйки на рыбах, пуговицы на одежде, а мысль его блуждала в поисках Эммы.

Привратник стоял поодаль и в глубине души злобствовал на этого субъекта за то, что тот смеет без него осматривать собор. Он считал, что Леон ведет себя непозволительно, что это в своем роде воровство, почти святотатство.

Но вот по плитам зашуршал шелк, мелькнули поля шляпки и черная накидка... Она! Леон вскочил и побежал навстречу.

Эмма была бледна. Она шла быстро.

— Прочтите!..— сказала Эмма, протягивая ему листок бумаги.— Ах нет, не надо!

Она отдернула руку, пошла в придел во имя божьей матери и, опустившись на колени подле стула, начала молиться.

Сначала эта ханжеская причуда возмутила молодого

человека, затем он нашел своеобразную прелесть в том, что Эмма, точно андалузская маркиза, явившись на свидание, вся ушла в молитву, но, это, видимо, затягивалось, и Леон скоро соскучился.

Эмма молилась или, вернее, старалась молиться; она надеялась, что вот сейчас ее осенит, и она примет решение. Уповая на помощь свыше, она точно впитывала глазами блеск дарохранительницы, вбирала в себя аромат белых ночных красавиц, распустившихся в больших вазах, и прислушивалась к тишине храма, но эта тишина лишь усиливала ее сердечную тревогу.

Наконец она встала с колен, и оба двинулись к выходу, как вдруг к ним подскочил привратник и спросил:

— Вы, сударыня, наверно, приезжая? Желаете осмотреть достопримечательности нашего храма?

— Нет! Нет! — крикнул Леон.

— Отчего же? — возразила Эмма.

Всей своей шаткой добродетелью она цеплялась за Деву Марию, за скульптуры, за могильные плиты, за малейший предлог.

Вознамерившись рассказать «все по порядку», привратник вывел их на паперть и показал булавой на выложенный из черных каменных плит большой круг, лишенный каких бы то ни было надписей и украшений.

— Вот это окружность замечательного амбуазского колокола,— торжественно начал привратник.— Он весил тысячу пудов. Равного ему не было во всей Европе. Мастер, который его отлил, умер от радости...

— Идемте! — прервал его Леон.

Привратник пошел дальше. Вступив в придел божьей матери, он сделал широкий, всеохватывающий, приглашающий любоваться жест и с гордостью сельского хозяина, показывающего фруктовый сад, опять начал объяснять:

— Под этой грубой плитой покоятся останки Пьера де Брезе, сеньора де ла Варен и де Брисак, великого маршала Пуату и нормандского губернатора, павшего в бою при Монлери шестнадцатого июля тысяча четыреста шестьдесят пятого года.

Леон кусал губы и переступал с ноги на ногу.

— Направо вы видите закованного в латы рыцаря на вздыбленном коне — это его внук, Луи де Брезе, сеньор де Бреваль и де Моншове, граф де Молеврие, барон де Мони, камергер двора, ордена кавалер и тоже норманд-

ский губернатор, скончавшийся, как удостоверяет надпись, в воскресенье двадцать третьего июля тысяча пятьсот тридцать первого года. Выше человек, готовый сойти в могилу,— это тоже он. Невозможно лучше изобразить небытие,— как ваше мнение?

Госпожа Бовари приставила к глазам лорнет. Леон смотрел на нее неподвижным взглядом; он даже не пытался что-нибудь сказать, сделать какое-нибудь движение — до того он был огорошен этой неудержимой и, в сущности, равнодушной болтовней.

— Рядом с ним,— продолжал, как заведенная машина, гид,— плачущая женщина на коленях: это его супруга Диана де Пуатье, графиня де Брезе, герцогиня де Валентинуа, родилась в тысяча четыреста девяносто девятом, умерла в тысяча пятьсот шестьдесят шестом году. Налево пресвятая дева с младенцем. Теперь посмотрите сюда — вот могилы Амбуазов. Оба они были руанскими архиепископами и кардиналами. Вот этот был министром при Людовике Двенадцатом. Он много сделал для собора. Завещал на бедных тридцать тысяч экю золотом.

Не умолкая ни на минуту, привратник втолкнул Леона и Эмму в ризницу и, раздвинув балюстрады, которыми она была заставлена, показал каменную глыбу, когда-то давно, по всей вероятности, представлявшую собой скверную статую.

— В былые времена,— с глубоким вздохом сказал привратник,— она украшала могилу Ричарда Львиное Сердце, короля Английского и герцога Нормандского. Это кальвинисты, сударь, привели ее в такое состояние. Они по злобе закопали ее в землю, под епископским креслом. Поглядите: через эту дверь его высокопреосвященство проходит в свои покои. Теперь посмотрите витражи с изображением дракона, сраженного Георгием Победоносцем.

Но тут Леон вынул второпях из кармана серебряную монету и схватил Эмму за руку.

Привратник остолбенел — такая преждевременная щедрость была ему непонятна: ведь этому приезжему столько еще надо было осмотреть! И он крикнул ему вслед:

— Сударь! А шпиль! Шпиль!

— Нет, благодарю вас,— ответил Леон.

— Напрасно, сударь! Высота его равняется четыремстам сорока футам, он всего на девять футов ниже самой большой египетской пирамиды. Он весь литой, он...

Леон бежал. Ему казалось, что его любовь, за два часа успевшая окаменеть в соборе, теперь, словно дым, улетучивается в усеченную трубу этой вытянутой в длину клетки, этого ажурного камина — трубу, причудливо высившуюся над собором, как нелепая затея сумасброда-медника.

— Куда же мы? — спросила Эмма.

Вместо ответа Леон прибавил шагу, и г-жа Бовари уже окунула пальцы в святую воду, как вдруг сзади них послышалось громкое пыхтенье, прерываемое мерным постукиванием палки. Леон обернулся.

— Сударь!

— Что еще?

Привратник нес около двадцати томов, поддерживая их животом, чтобы они не упали. Это были «труды о соборе».

— Болван! — буркнул Леон и выбежал из церкви.

На паперти шалил уличный мальчишка.

— Позови мне извозчика!

Мальчик полетел стрелой по улице Катр-Ван. На несколько минут Леон и Эмма остались вдвоем, с глазу на глаз, и оба были слегка смущены.

— Ах, Леон!.. Я, право, не знаю... Мне нельзя...

Она кокетничала. Потом сказала уже серьезно:

— Понимаете, это очень неприлично!

— Почему? — возразил Леон.— В Париже все так делают!

Это был для нее самый веский довод.

А извозчик все не показывался. Леон боялся, как бы она опять не пошла в церковь. Наконец подъехал извозчик.

— Выйдите хотя бы через северные двери! — крикнул им с порога привратник.— Увидите *Воскресение из мертвых, Страшный суд, Рай, Царя Давида* и *Грешников в геенне огненной.*

— Куда ехать? — осведомился кучер.

— Куда хотите! — подсаживая Эмму в карету, ответил Леон.

И громоздкая колымага пустилась в путь.

Она двинулась по улице Большого моста, миновала площадь Искусств, набережную Наполеона, Новый мост, и кучер осадил лошадь прямо перед статуей Пьера Корнеля.

— Пошел! — крикнул голос из кузова.

Лошадь рванула и, подхватив с горы, начинающейся на углу улицы Лафайета, галопом примчалась к вокзалу.

— Нет, прямо! — крикнул все тот же голос.

Выехав за заставу, лошадь затрусила по дороге, обсаженной высокими вязами. Извозчик вытер лоб, зажал между колен свою кожаную фуражку и, свернув к реке, погнал лошадь по берегу, мимо лужайки.

Некоторое время экипаж ехал вдоль реки, по вымощенному булыжником бечевнику, а потом долго кружил за островами, близ Уаселя.

Но вдруг он понесся через Катрмар, Сотвиль, Гранд-Шоссе, улицу Эльбеф и в третий раз остановился у Ботанического сада.

— Да ну, пошел! — уже злобно крикнул все тот же голос.

Снова тронувшись с места, экипаж покатил через Сен-Север, через набережную Кюрандье, через набережную Мёль, еще раз проехал по мосту, потом по Марсову полю и мимо раскинувшегося на зеленой горе больничного сада, где гуляли на солнышке старики в черных куртках. Затем поднялся по бульвару Буврёйль, пролетел бульвар Кошуаз и всю Мон-Рибуде до самого Городского спуска.

Потом карета повернула обратно и после долго еще колесила, но уже наугад, без всякой цели и направления. Ее видели в кварталах Сен-Поль и Лекюр, на горе Гарган, в Руж-Мар, на площади Гайярбуа, на улице Маладрери, на улице Динандери, у церквей св. Романа, св. Вивиана, св. Маклу, св. Никеза, возле таможни, возле нижней Старой башни, в Труа-Пип и у Главного кладбища. Извозчик бросал по временам со своих козел безнадежные взгляды на кабачки. Он не мог понять, что это за страсть — двигаться без передышки. Он несколько раз пробовал остановиться, но сейчас же слышал за собой грозный окрик. Тогда он снова принимался нахлестывать своих двух взмыленных кляч и уже не остерегался толчков, не разбирал дороги и все время на что-то наезжал; он впал в глубокое уныние и чуть не плакал от жажды, от усталости и от тоски.

А на набережной, загроможденной бочками и телегами, на всех улицах, на всех перекрестках взоры обывателей были прикованы к невиданному в провинции зрелищу — к беспрерывно кружившей карете с опущенными шторами, непроницаемой, точно гроб, качавшейся из стороны в сторону, словно корабль на волнах.

Только однажды, за городом, в середине дня, когда солнце зажигало особенно яркие отблески на старых посеребренных фонарях, из-под желтой полотняной занавески высунулась голая рука и выбросила мелкие клочки бумаги; ветер подхватил их, они разлетелись и потом белыми мотыльками опустились на красное поле цветущего клевера.

Было уже около шести часов, когда карета остановилась в одном из переулков квартала Бовуазин; из нее вышла женщина под вуалью и, не оглядываясь, пошла вперед.

II

Придя в гостиницу, г-жа Бовари, к своему удивлению, не обнаружила на дворе дилижанса. Ивер, прождав ее пятьдесят три минуты, уехал.

Спешить ей было, собственно, некуда, но она дала Шарлю слово вернуться домой в этот день к вечеру. Шарль ее ждал, и она уже ощущала ту малодушную покорность, которая для большинства женщин является наказанием за измену и в то же время ее искуплением.

Она быстро уложила вещи, расплатилась, наняла тут же, во дворе, кабриолет и, торопя кучера, подбадривая его, поминутно спрашивая, который час и сколько они уже проехали, в конце концов нагнала «Ласточку» на окраине Кенкампуа.

Прикорнув в уголке, Эмма тотчас закрыла глаза — и открыла их, когда дилижанс уже спустился с горы; тут она еще издали увидела Фелисите, стоявшую на часах подле кузницы. Ивер придержал лошадей, и кухарка, став на цыпочки, таинственно прошептала в окошко:

— Барыня, поезжайте прямо к господину Оме. Очень важное дело.

В городке, по обыкновению, все было тихо. На тротуарах дымились тазы, в которых розовела пена: был сезон варки варенья, и весь Ионвиль запасался им на год. Но перед аптекой стояла жаровня с самым большим тазом; он превосходил своими размерами все прочие — так же точно лаборатория при аптеке должна быть больше кухни в обывательских домах, так же точно общественная потребность должна господствовать над индивидуальными прихотями.

Эмма вошла в дом. Большое кресло было опрокинуто;

даже *Руанский светоч* валялся на полу между двумя пестиками. Эмма толкнула кухонную дверь и среди глиняных банок со смородиной, сахарным песком и рафинадом, среди весов на столах и тазов, поставленных на огонь, увидела всех Оме, от мала до велика, в передниках, доходивших им до подбородка, и с ложками в руках. Жюстен стоял, понурив голову, а фармацевт на него кричал:

— Кто тебя посылал в склад?

— Что такое? В чем дело?

— В чем дело? — подхватил аптекарь.— Мы варим варенье. Варенье кипит. В нем слишком много жидкости, того и гляди убежит, и я велю принести еще один таз. И вот он, лентяй, разгильдяй, снимает с гвоздя в моей лаборатории ключ от склада!

Так г-н Оме называл каморку под крышей, заваленную аптекарскими приборами и снадобьями. Нередко он пребывал там в одиночестве и целыми часами наклеивал этикетки, переливал, перевязывал склянки. И смотрел он на эту каморку не как на кладовую, а как на истинное святилище, ибо оттуда исходили собственноручно им приготовленные крупные и мелкие пилюли, декокты, примочки и присыпки, распространявшие славу о нем далеко окрест. Никто, кроме него, не имел права переступать порог святилища. Г-н Оме относился к нему с таким благоговением, что даже сам подметал его. Словом, если в аптеке, открытой для всех, он тешил свое тщеславие, то склад служил ему убежищем, где он с сосредоточенностью эгоиста предавался своим любимым занятиям. Вот почему легкомысленный поступок Жюстена он расценивал как неслыханную дерзость. Он был краснее смородины и все кричал:

— Да, от склада! Ключ от кислот и едких щелочей! Схватил запасной таз! Таз с крышкой! Теперь я, может быть, никогда больше им не воспользуюсь! Наше искусство до того тонкое, что здесь имеет значение каждая мелочь! Надо же, черт возьми, разбираться в таких вещах, нельзя для домашних, в сущности, надобностей употреблять то, что предназначено для надобностей фармацевтики! Это все равно что резать пулярку скальпелем, это все равно, как если бы судья...

— Да успокойся! — говорила г-жа Оме.

Аталия тянула его за полы сюртука:

— Папа! Папа!

— А, черт! Оставьте вы меня, оставьте! — не унимался аптекарь.— Ты бы лучше лавочником заделался, чест-

пое слово! Ну что ж, круши все подряд! Ломай! Бей! Выпусти пиявок! Сожги алтею! Маринуй огурцы в склянках! Разорви бинты!

— Вы меня...— начала было Эмма.

— Сейчас!.. Знаешь, чем ты рисковал?.. Ты ничего не заметил в левом углу, на третьей полке? Говори, отвечай, изреки что-нибудь!

— Нне... не знаю,— пролепетал подросток.

— Ах, ты не знаешь! Ну, а я знаю! Ты видел банку синего стекла, залитую желтым воском, банку с белым порошком, на которой я своей рукой написал: «Опасно!»? Ты знаешь, что в ней? Мышьяк! А ты до него дотронулся! Ты взял таз, который стоял рядом!

— Мышьяк? Рядом? — всплеснув руками, воскликнула г-жа Оме.— Да ты всех нас мог отравить!

Тут все дети заревели в голос, как будто они уже почувствовали дикую боль в животе.

— Или отравить больного! — продолжал аптекарь.— Ты что же, хотел, чтобы я попал на скамью подсудимых? Чтобы меня повлекли на эшафот? Разве тебе не известно, какую осторожность я соблюдаю в хранении товаров, несмотря на свой колоссальный опыт? Мне становится страшно при одной мысли о том, какая на мне лежит ответственность! Правительство нас преследует, а действующее у нас нелепое законодательство висит у нас над головой, как дамоклов меч!

Эмма уже не спрашивала, зачем ее звали, а фармацевт, задыхаясь от волнения, все вопил:

— Вот как ты нам платишь за нашу доброту! Вот как ты благодаришь меня за мою истинно отеческую заботу! Если б не я, где бы ты был? Что бы ты собой представлял? Кто тебя кормит, воспитывает, одевает, кто делает все для того, чтобы со временем ты мог занять почетное место в обществе? Но для этого надо трудиться до кровавого пота, как говорят — не покладая рук. *Fabricando fit faber, age puod agis*[1].

От злости он перешел на латынь. Он бы заговорил и по-китайски и по-гренландски, если б только знал эти языки. Он находился в таком состоянии, когда душа бессознательно раскрывается до самого дна — так в бурю океан взметает и прибрежные водоросли, и песок своих пучин.

— Я страшно жалею, что взял тебя на воспитание! —

---

[1] Трудом создается мастер, так делай, что делаешь *(лат.)*.

бушевал фармацевт.— Вырос в грязи да в бедности — там бы и коптел! Из тебя только пастух и выйдет. К наукам ты не способен! Ты этикетку-то путем не наклеишь! А живешь у меня на всем готовеньком, как сыр в масле катаешься!

Наконец Эмма обратилась к г-же Оме:

— Вы меня звали...

— Ах, боже мой! — с печальным видом прервала ее добрая женщина.— Уж и не знаю, как вам сказать... Такое несчастье!

Она не договорила. Аптекарь все еще метал громы и молнии:

— Вычисти! Вымой! Унеси! Да ну, скорей же!

С этими словами он так тряхнул Жюстена, что у того выпала из кармана книжка.

Мальчик нагнулся. Фармацевт опередил его, поднял книгу и, взглянув, выпучил глаза и разинул рот.

— *Супружеская... любовь!* — нарочито медленно произнес он.— Хорошо! Очень хорошо! Прекрасно! И еще с картинками!.. Нет, это уж слишком!

Госпожа Оме подошла поближе.

— Не прикасайся!

Детям захотелось посмотреть картинки.

— Уйдите! — властно сказал отец.

И дети ушли.

Некоторое время фармацевт с раскрытой книжкой в руке, тяжело дыша, весь налившись кровью, вращая глазами, шагал из угла в угол. Затем подошел вплотную к своему ученику и скрестил руки:

— Значит, ты еще вдобавок испорчен, молокосос несчастный? Смотри, ты на скользкой дорожке! А ты не подумал, что эта мерзкая книга может попасть в руки моим детям, заронить в них искру порока, загрязнить чистую душу Аталии, развратить Наполеона: ведь он уже не ребенок! Ты уверен, что они ее не читали? Можешь ты мне поручиться...

— Послушайте, господин Оме,— взмолилась Эмма,— ведь вы хотели мне что-то сказать...

— Совершенно верно, сударыня... Ваш свекор умер!

В самом деле, третьего дня старик Бовари, вставая из-за стола, скоропостижно скончался от апоплексического удара. Переусердствовав в своих заботах о впечатлительной натуре Эммы, Шарль поручил г-ну Оме как можно осторожнее сообщить ей эту страшную весть.

Фармацевт заранее обдумал, округлил, отшлифовал, ритмизовал каждую фразу, и у него получилось настоящее произведение искусства в смысле бережности, деликатности, постепенности переходов, изящества оборотов речи, но в последнюю минуту гнев разметал всю его риторику.

Подробности Эмму не интересовали, и она ушла, а фармацевт вновь принялся обличать Жюстена. Однако он понемногу успокаивался и, обмахиваясь феской, уже отеческим тоном читал нотацию:

— Я не говорю, что эта книга вредна во всех отношениях. Ее написал врач. Его труд содержит ряд научных положений, и мужчине их не худо знать. Я бы даже сказал, что мужчина должен их знать. Но всему свое время, всему свое время! Станешь мужчиной, выработается у тебя темперамент — тогда сделай одолжение!

Шарль поджидал Эмму. Как только она постучала в дверь, он, раскрыв объятия, бросился к ней навстречу, со слезами в голосе проговорил:

— Ах, моя дорогая!..

И осторожно наклонился поцеловать ее. Но прикосновение его губ напомнило ей поцелуи другого человека, и она, вздрогнув всем телом, закрыла лицо рукой.

Все же она нашла в себе силы ответить:

— Да, я знаю... я знаю...

Шарль показал ей письмо от матери, в котором та без всяких сантиментов извещала о случившемся. Она только жалела, что ее муж не причастился перед смертью: он умер в Дудвиле, на улице, на пороге кофейной, после кутежа со своими однокашниками—отставными офицерами.

Эмма отдала письмо Шарлю. За обедом она из приличия разыграла отвращение к пище. Шарль стал уговаривать ее — тогда она уже без всякого стеснения принялась за еду, а он с убитым видом, не шевелясь, сидел против нее.

По временам он поднимал голову и смотрел на нее долгим и скорбным взглядом.

— Хоть бы раз еще увидеть его! — со вздохом произнес Шарль.

Она молчала. Наконец, поняв, что надо же что-то сказать, спросила:

— Сколько лет было твоему отцу?

— Пятьдесят восемь!

— А!

На этом разговор кончился.

Через четверть часа Шарль проговорил:

— Бедная мама!.. Что-то с ней теперь будет!

Эмма пожала плечами.

Ее молчаливость Шарль объяснял тем, что ей очень тяжело; он был тронут ее мнимым горем и, чтобы не бередить ей рану, делал над собой усилие и тоже молчал. Наконец взял себя в руки и спросил:

— Тебе понравилось вчера?

— Да.

Когда убрали скатерть, ни Шарль, ни Эмма не встали из-за стола. Она вглядывалась в мужа, и это однообразное зрелище изгоняло из ее сердца последние остатки жалости к нему. Шарль казался ей невзрачным, слабым, никчемным человеком, короче говоря — полнейшим ничтожеством. Куда от него бежать? Как долго тянется вечер! Что-то сковывало все ее движения, точно она приняла опиуму.

В передней раздался сухой стук костыля. Это Ипполит тащил барынины вещи. Перед тем как сложить их на пол, он с величайшим трудом описал четверть круга своей деревяшкой.

«А он уже забыл!» — глядя, как с рыжих косм несчастного калеки стекают на лоб крупные капли пота, подумала про мужа Эмма.

Бовари рылся в кошельке, отыскивая мелочь. Он, видимо, не отдавал себе отчета, сколь унизителен для него один вид этого человека, стоявшего олицетворенным укором его непоправимой бездарности.

— Какой хорошенький букетик! — увидев на камине фиалки Леона, заметил лекарь.

— Да,— равнодушно отозвалась Эмма.— Я сегодня купила его у... у нищенки.

Шарль взял букет и стал осторожно нюхать фиалки, прикосновение к ним освежало его покрасневшие от слез глаза. Эмма сейчас же выхватила у него цветы и поставила в воду.

На другой день приехала г-жа Бовари-мать. Они с сыном долго плакали. Эмма, сославшись на домашние дела, удалилась.

Еще через день пришлось заняться трауром. Обе жен-

щины уселись с рабочими шкатулками в беседке, над рекой.

Шарль думал об отце и сам удивлялся, что так горюет о нем: прежде ему всегда казалось, что он не очень к нему привязан. Г-жа Бовари-мать думала о своем муже. Теперь она охотно бы вернула даже самые мрачные дни своей супружеской жизни. Бессознательное сожаление о том, к чему она давно привыкла, скрашивало все. Иголка беспрестанно мелькала у нее в руке, а по лицу старухи время от времени скатывались слезы и повисали на кончике носа. Эмма думала о том, что только двое суток назад они с Леоном, уединясь от всего света, полные любовью, не могли наглядеться друг на друга. Она пыталась припомнить мельчайшие подробности минувшего дня. Но ей мешало присутствие свекрови и мужа. Ей хотелось ничего не слышать, ничего не видеть; она боялась нарушить цельность своего чувства, и тем не менее вопреки ей самой чувство ее под напором внешних впечатлений постепенно рассеивалось.

Эмма распарывала подкладку платья, и вокруг нее сыпались лоскутки. Старуха, не поднимая головы, лязгала ножницами, а Шарль в веревочных туфлях и старом коричневом сюртуке, который теперь заменял ему халат, сидел, держа руки в карманах, и тоже не говорил ни слова. Берта, в белом переднике, скребла лопаткой усыпанную песком дорожку.

Внезапно отворилась калитка, и вошел торговец тканями г-н Лере.

Он пришел предложить свои услуги «в связи с печальными обстоятельствами». Эмма ответила, что она как будто ни в чем не нуждается. Однако на купца это не произвело впечатления.

— Простите великодушно,— сказал он Шарлю,— но мне надо поговорить с вами наедине.— И, понизив голос, добавил: — Относительно того дела... Помните?

Шарль покраснел до ушей.

— Ах да!.. Верно, верно! — пробормотал он и с растерянным видом обратился к жене: — А ты бы... ты бы не могла, дорогая?..

Эмма, видимо, поняла, о чем он ее просит. Она сейчас же встала, а Шарль сказал матери:

— Это так, пустяки! Какая-нибудь житейская мелочь.

Опасаясь выговора, он решил скрыть от нее всю историю с векселем.

Как только Эмма оказалась с г-ном Лере вдвоем, тот без особых подходов поздравил ее с получением наследства, а потом заговорил о вещах посторонних: о фруктовых деревьях, об урожае, о своем здоровье, а здоровье его было «так себе, ни шатко, ни валко». Да и с чего бы ему быть здоровым? Хлопот у него всегда полон рот, и все-таки он, что бы о нем ни болтали злые языки, еле сводит концы с концами.

Эмма не прерывала его. Она так соскучилась по людям за эти два дня!

— А вы уже совсем поправились? — продолжал Лере.— Что тогда ваш супруг из-за вас пережил! Я своими глазами видел! Славный он человек! Хотя неприятности у нас с ним были.

Эмма спросила, какие именно; надо заметить, что Шарль не сказал ей, как он был удивлен, узнав про ее покупки.

— Да вы же знаете! — воскликнул Лере.— Все из-за вашего каприза, из-за чемоданов.

Надвинув шляпу на глаза, заложив руки за спину, улыбаясь и посвистывая, он нагло смотрел ей в лицо. Она ломала себе голову: неужели он что-то подозревает?

— В конце концов мы с ним столковались,— снова заговорил он.— Я и сейчас пришел предложить ему полюбовную сделку.

Он имел в виду переписку векселя. А там — как господину Бовари будет угодно. Ему самому не стоит беспокоиться, у него и так голова кругом идет.

— Всего лучше, если б он поручил это кому-нибудь другому — ну хоть вам, например. Пусть он только напишет доверенность, а уж мы с вами сумеем обделать делишки...

Эмма не понимала. Лере замолчал. Потом он заговорил о своей торговле и вдруг заявил, что Эмма непременно должна что-нибудь у него взять. Он пришлет ей двенадцать метров черного барежа на платье.

— То, что на вас, хорошо для дома. А вам нужно платье для визитов. Я это понял с первого взгляда. Глаз у меня наметанный.

Материю он не прислал, а принес сам. Некоторое время спустя пришел еще раз, чтобы получше отмерить. А потом стал заглядывать под разными предлогами и каждый раз был обходителен, предупредителен, раболепствовал, как сказал бы Оме, и не упускал случая шепнуть Эмме

несколько слов насчет доверенности. Про вексель он молчал. Эмма тоже о нем не вспоминала. Еще когда она только начала выздоравливать, Шарль как-то ей на это намекнул, но Эмму одолевали в ту пору мрачные думы, и намеки Шарля мгновенно вылетели у нее из головы. Вообще она предпочитала пока не заводить разговора о деньгах. Свекровь была этим удивлена и приписывала такую перемену тем религиозным настроениям, которые появились у Эммы во время болезни.

Но как только свекровь уехала, Эмма поразила Бовари своей практичностью. Она предлагала ему то навести справки, то проверить закладные, то прикинуть, что выгоднее: продать имение с публичного торга или же не продавать, но взять на себя долги. Она кстати и некстати употребляла специальные выражения, произносила громкие фразы о том, что в денежных делах надо быть особенно аккуратным, что надо все предвидеть, надо думать о будущем, находила все новые и новые трудности, связанные со вступлением в права наследия, и в конце концов показала Шарлю образец общей доверенности на «распоряжение и управление всеми делами, производство займов, выдачу и передачу векселей, уплату любых сумм и т. д.». Уроки г-на Лере пошли ей на пользу.

Шарль с наивным видом спросил, кто ей дал эту бумагу.

— Гильомен,— ответила Эмма и, глазом не моргнув, добавила: — Я ему не доверяю. Вообще нотариусов не хвалят. Надо бы посоветоваться... Но мы знакомы только... Нет, не с кем!

— Разве что с Леоном...— подумав, проговорил Шарль.

Можно было бы написать ему, да уж очень это сложно. Эмма сказала, что она сама съездит в Руан. Шарль поблагодарил, но не согласился. Она стояла на своем. После взаимных учтивостей Эмма сделала вид, что сердится не на шутку.

— Оставь, пожалуйста, я все равно поеду! — заявила она.

— Какая ты милая! — сказал Шарль и поцеловал ее в лоб.

На другой же день Эмма, воспользовавшись услугами «Ласточки», отправилась в Руан советоваться с Леоном. Пробыла она там три дня.

III

Это были наполненные, упоительные, чудные дни — настоящий медовый месяц.

Эмма и Леон жили в гостинице «Булонь», на набережной: закрытые ставни, запертые двери, цветы на полу, сироп со льдом по утрам...

Перед вечером они брали крытую лодку и уезжали обедать на остров.

То был час, когда в доках по корпусам судов стучали молотки конопатчиков. Меж деревьев клубился дым от вара, а по воде плыли похожие на листы флорентийской бронзы большие жирные пятна, неравномерно колыхавшиеся в багряном свете заката.

Лодка двигалась вниз по течению, задевая ве́рхом длинные наклонно спускавшиеся канаты причаленных баркасов.

Городской шум, в котором можно было различить скрип телег, голоса, тявканье собак на палубах, постепенно удалялся. Эмма развязывала ленты шляпки, и вскоре лодка приставала к острову.

На дверях ресторанчика сохли рыбачьи сети, почерневшие от воды. Эмма и Леон усаживались в одной из комнат нижнего этажа, заказывали жареную корюшку, сливки, вишни. Потом валялись на траве, целовались под тополями. Здесь они, кажется, могли бы жить вечно, как два Робинзона,— им было так хорошо вдвоем, что они в целом мире не могли себе представить ничего прекраснее этого островка. Не в первый раз видели они деревья, голубое небо, траву, слышали, как плещут волны и как шелестит листьями ветер, но прежде они ничего этого не замечали; до сих пор природа для них как бы не существовала: вернее, они стали ценить ее красоту лишь после того, как были утолены их желания.

С наступлением темноты они возвращались в город. Лодка долго плыла мимо острова. Окутанные сумраком, они сидели в глубине и молчали. В железных уключинах, усиливая ощущение тишины, мерно, будто ход метронома, постукивали четырехугольные весла, а сзади под неподвижным рулем все время журчала вода.

Как-то раз показалась луна. Эмма и Леон не преминули сказать несколько подходящих к случаю фраз о том, какое это печальное и поэтичное светило. Эмма даже запела:

Ее слабый, но приятный голос тонул в шуме волн. Переливы его, точно бьющие крыльями птицы, пролетали мимо Леона, и ветер относил их вдаль.

Озаренная луной, светившей в раскрытое оконце, Эмма сидела напротив Леона, прислонившись к перегородке. Черное платье, расходившееся книзу веером, делало ее тоньше и выше. Голову она запрокинула, руки сложила, глаза обратила к небу. Порою тень прибрежных ракит закрывала ее всю, а затем, вновь облитая лунным светом, она, точно призрак, выступала из мрака.

На дне лодки около Эммы Леон подобрал пунцовую шелковую ленту.

Лодочник долго рассматривал ее и наконец сказал:

— Я на днях катал целую компанию — наверно, кто-нибудь из них и обронил. Такие всё озорники подобрались — что господа, что дамы, приехали с пирожными, с шампанским, с музыкой, и пошла потеха! Особенно один, высокий, красивый, с усиками — такой шутник! Они всё к нему: «Расскажи да расскажи нам что-нибудь!..» Как же это они его называли?.. Не то Адольф, не то Додольф...

Эмма вздрогнула.

— Ты не простудилась? — придвигаясь ближе, спросил Леон.

— Не беспокойся! Ночь прохладная,— наверно, от этого.

— И, по всему видать, женскому полу он спуску не дает,— должно быть, полагая, что невежливо обрывать разговор, тихо добавил старый моряк.

Затем он поплевал себе на руки и опять налег на весла.

И все же настал час разлуки! Расставаться им было нелегко. Условились, что Леон будет писать на имя тетушки Роле. Эмма дала ему совет относительно двойных конвертов и обнаружила при этом такое знание дела, что Леон не мог не подивиться ее хитроумию в сердечных делах.

— Так ты говоришь, там все в порядке? — поцеловав его в последний раз, спросила она.

— Да, конечно!

«Что ей далась эта доверенность?» — немного погодя, шагая по улице один, подумал Леон.

IV

Скоро Леон стал подчеркивать перед товарищами свое превосходство; он избегал теперь их общества и запустил дела.

Он ждал писем от Эммы, читал и перечитывал их. Писал ей. Воскрешал ее образ всеми силами страсти и воспоминаний. Разлука не уменьшила жажды видеть ее — напротив, только усилила, и вот однажды, в субботу утром, он удрал из конторы.

Увидев с горы долину, колокольню и вертящийся на ней жестяной флажок флюгера, он ощутил в себе то смешанное чувство удовлетворения, утоленного честолюбия и эгоистического умиления, которое, вероятно, испытывает миллионер, когда возвращается в родную деревню.

Он обошел ее дом. В кухне горел огонь. Он стал на часах: не мелькнет ли за занавесками ее тень? Но тень так и не показалась.

Тетушка Лефрансуа при виде его начала ахать и охать, нашла, что он «еще подрос и похудел»; Артемиза между тем нашла, что он «поздоровел и загорел».

По старой памяти он пообедал в маленькой зале, но на этот раз один, без податного инспектора: г-ну Бине «стало невмоготу» дожидаться «Ласточки», и обедал он теперь на целый час раньше, то есть ровно в пять, и все же постоянно ворчал, что «старая калоша запаздывает».

Наконец Леон набрался храбрости — он подошел к докторскому дому и постучал в дверь. Г-жа Бовари сидела у себя в комнате и вышла только через четверть часа. Г-н Бовари был, кажется, очень рад его видеть, но ни в тот вечер, ни на другой день не отлучился из дому.

Леон увиделся с Эммой наедине лишь поздно вечером, в проулке за садом, в том самом проулке, где она встречалась с другим! Они разговаривали под грозой, при блеске молний, прикрываясь зонтом.

Расставаться им было нестерпимо больно.

— Лучше смерть! — ломая руки и горько плача, говорила Эмма.— Прощай!.. Прощай!.. Когда-то мы еще увидимся?..

Они разошлись было в разные стороны и снова бросились друг другу в объятия. И тут она ему обещала придумать какой-нибудь способ, какой-нибудь постоянный предлог встречаться без помех, по крайней мере раз в не-

делю. Эмма не сомневалась в успехе. Да и вообще она бодро смотрела вперед. Скоро у нее должны были появиться деньги.

Имея это в виду, она купила для своей комнаты две желтые занавески с широкой каймой,— как уверял г-н Лере, «по баснословно дешевой цене». Она мечтала о ковре — г-н Лере сказал, что это «совсем не так дорого», и с присущей ему любезностью взялся раздобыть его. Теперь она уже никак не могла обойтись без его услуг. Она посылала за ним по двадцать раз на день, и он, ни слова не говоря, бросал ради нее все дела. Загадочно было еще одно обстоятельство: тетушка Роле ежедневно завтракала у г-жи Бовари, а иногда забегала к ней просто так.

В эту самую пору, то есть в начале зимы, Эмма начала увлекаться музыкой.

Однажды вечером ее игру слушал Шарль; она четыре раза подряд начинала одну и ту же вещь и всякий раз бросала в сердцах, а Шарль, не видя разницы, кричал:

— Браво!.. Превосходно!.. Что ж ты? Играй, играй!

— Нет, я играю отвратительно! Пальцы совсем не слушаются.

На другой день он попросил ее «сыграть что-нибудь».

— Если тебе это доставляет удовольствие, то пожалуйста!

Шарль вынужден был признать, что она несколько отстала. Эмма сбивалась в счете, фальшивила, потом вдруг прекратила игру.

— Нет, ничего не выходит! Мне бы надо брать уроки, да...— Эмма закусила губу.— Двадцать франков в месяц — это дорого! — добавила она.

— Да, правда дороговато...— глупо ухмыляясь, проговорил Шарль.— А все-таки, по-моему, можно найти и дешевле. Иные малоизвестные музыканты не уступят знаменитостям.

— Попробуй найди,— отозвалась Эмма.

На другой день, придя домой, Шарль с хитрым видом посмотрел на нее и наконец не выдержал.

— Экая же ты упрямая! — воскликнул он.— Сегодня я был в Барфешере. И что ж ты думаешь? Госпожа Льежар мне сказала, что все три ее дочки — они учатся в монастыре Милосердия — берут уроки музыки по пятьдесят су, да еще у прекрасной учительницы!

Эмма только пожала плечами и больше уже не открывала инструмента.

Но, проходя мимо, она, если Бовари был тут, всякий раз вздыхала:

— Бедное мое фортепьяно!

При гостях Эмма непременно заводила разговор о том, что она вынуждена была забросить музыку. Ей выражали сочувствие. Как обидно! А ведь у нее такой талант! Заговаривали об этом с Бовари. Все его стыдили, особенно — фармацевт:

— Это ваша ошибка! Врожденные способности надо развивать. А кроме того, дорогой друг, примите во внимание, что если вы уговорите свою супругу заниматься музыкой, то тем самым вы сэкономите на музыкальном образовании вашей дочери! Я лично считаю, что матери должны сами обучать детей. Это идея Руссо; она все еще кажется слишком смелой, но я уверен, что когда-нибудь она восторжествует, как восторжествовало кормление материнским молоком и оспопрививание.

После этого Шарль опять вернулся к вопросу о музыке. Эмма с горечью заметила, что лучше всего продать инструмент, хотя расстаться с милым фортепьяно, благодаря которому она столько раз тешила свое тщеславие, было для нее равносильно медленному самоубийству, умерщвлению какой-то части ее души.

— Ну так ты... время от времени бери уроки — это уж не бог весть как разорительно,— сказал Шарль.

— Толк бывает от постоянных занятий,— возразила она.

Так в конце концов она добилась от мужа позволения раз в неделю ездить в город на свиданье к любовнику. Уже через месяц ей говорили, что она делает большие успехи.

V

Это бывало по четвергам. Она вставала и одевалась неслышно, боясь разбудить Шарля, который мог выразить ей неудовольствие из-за того, что она слишком рано начинает собираться. Затем ходила по комнате, смотрела в окно на площадь. Бледный свет зари сквозил меж столбов, на которых держался рыночный навес; над закрытыми ставнями аптеки едва-едва проступали крупные буквы на вывеске.

Ровно в четверть восьмого Эмма шла к «Золотому льву», и Артемиза, зевая, отворяла ей дверь. Ради барыни

она разгребала в печке подернувшийся пеплом жар. Потом г-жа Бовари оставалась на кухне одна. Время от времени она выходила во двор. Ивер не спеша запрягал лошадей и одновременно слушал, что́ говорит тетушка Лефрансуа, а та, высунув в окошко голову в ночном чепце, давала кучеру всевозможные поручения и так подробно все объясняла, что всякий другой запутался бы неминуемо. Стуча деревянными подошвами, Эмма прохаживалась по мощеному двору.

Наконец Ивер, похлебав супу, накинув пыльник, закурив трубку и зажав в руке кнут, с невозмутимым видом усаживался на козлы.

Лошади полегоньку трусили. Первые три четверти мили «Ласточка» то и дело останавливалась — кучер брал пассажиров, поджидавших «Ласточку» у обочины дороги или же у калиток. Те, что заказывали места накануне, заставляли себя ждать. Иных никак нельзя было добудиться. Ивер звал, кричал, бранился, потом слезал с козел и изо всех сил стучал в ворота. Ветер дул в разбитые окна дилижанса.

Но вот все четыре скамейки заняты, дилижанс катит без остановки, яблони, одна за другой, убегают назад. Дорога, постепенно суживаясь, тянется между двумя канавами, полными желтой воды.

Эмма знала дорогу как свои пять пальцев, знала, что за выгоном будет столб, потом вяз, гумно и домик дорожного мастера. По временам, чтобы сделать себе сюрприз, она даже закрывала глаза. Но чувство расстояния не изменяло ей никогда.

Наконец приближались кирпичные дома, дорога начинала греметь под колесами, «Ласточка» катилась среди садов, и в просветах оград мелькали статуи, трельяжи, подстриженные тисы, качели. И вдруг глазам открывался весь город.

Уступами спускаясь с холмов, еще окутанный предрассветной мглой, он широко и беспорядочно раскинулся за мостами. Сейчас же за городом полого поднимались к горизонту поля и касались вдали неясно обозначавшегося края бледных небес. Отсюда, сверху, весь ландшафт представлялся неподвижным, как на картине. В одном углу теснились стоявшие на якоре корабли, у подошвы зеленых холмов извивалась река, продолговатые островки казались большими черными рыбами, замершими на воде. Фабричные трубы выбрасывали громадные бурые, обтре-

панные по краям султаны. Шумно дышали сталелитейные заводы, а с колоколен церквей, выступавших из тумана, несся радостный звон. Безлистые деревья бульваров лиловым кустарником темнели между домами; крыши, мокрые от дождя, отливали где ярким, где тусклым блеском, в зависимости от того, на какой высоте стояли дома. По временам ветер относил облака к холму Святой Катерины, и они воздушными волнами беззвучно разбивались об откос.

При взгляде на эти скученные жилища у Эммы кружилась голова, сердцу становилось тесно в груди: Эмма видела в каждой из этих ста двадцати тысяч жизней, биение которых она угадывала издалека, особый мир страстей, и все эти страсти, казалось, обдавали ее своим дыханием. Ее любовь росла от ощущения простора, полнилась смутным гулом. Эмма изливала ее вовне: на площади, на бульвары, на улицы. Она вступала в этот древний нормандский город, точно в некую необозримую столицу, точно в некий Вавилон. Держась обеими руками за раму, она высовывалась в окно и дышала ветром. Тройка неслась вскачь, под копытами скрежетали торчавшие из грязи камни, дилижанс качало, Ивер издали окликал ехавших впереди кучеров, руанские буржуа, проведя ночь в Буа-Гильом, чинно спускались в семейных экипажах с горы.

У заставы «Ласточка» делала остановку. Эмма снимала деревянные подошвы, меняла перчатки, оправляла шаль и, проехав еще шагов двадцать, выходила из «Ласточки».

Город между тем просыпался. Приказчики в фесках протирали витрины, торговки, стоя с корзинками у бедер на перекрестках, зычными голосами расхваливали свой товар.

Опустив черную вуаль, глядя под ноги, Эмма пробиралась у самых стен и улыбалась от счастья.

Боясь, как бы ее не узнали, она шла обычно не кратчайшим путем. Она устремлялась в глубь темных переулков, и когда она выходила туда, где кончается улица Насьональ, к фонтану, все тело у нее покрывалось потом. Это был квартал театра, квартал кабачков и девиц легкого поведения. Мимо Эммы часто проезжали телеги с трясущимися декорациями. Дворники в фартуках посыпали песком тротуары, обсаженные зелеными деревцами. Пахло абсентом, сигарами, устрицами.

Эмма поворачивала за угол и по кудрям, выбивавшимся из-под шляпы, сразу узнавала Леона.

Молодой человек шагал не останавливаясь. Она шла за ним к гостинице; он поднимался по лестнице, отворял дверь, входил... Что это было за объятие!

Вслед за поцелуями сыпались слова. Оба рассказывали о горестях прошедшей недели, о своих предчувствиях, о беспокойстве из-за писем. Немного погодя все это забывалось, и они обменивались долгим взглядом, смеясь от возбуждения и призывая друг друга к ласкам.

Кровать была большая, красного дерева, в виде челнока. Полог из красного левантина, спускавшийся с потолка, выгибался дугой у расширявшейся книзу спинки. И ничто не могло сравниться по красоте с темными волосами Эммы и ее белой кожей на пурпуровом фоне, когда она стыдливым движением прикрывала голыми руками грудь и опускала на ладони лицо.

Теплая комната, ковер, скрадывающий шаги, на стенах игривые картинки, мягкий свет — в этом уюте страсть чувствовала себя свободно. Палки для занавесок, имевшие форму стрел, медные кольца на этих палках и шишечки на каминной решетке сейчас же начинали отсвечивать, стоило солнцу заронить сюда луч. На камине между канделябрами лежали две большие розовые раковины, в которых, если приложить к ним ухо, слышался шум моря.

Как любили они эту милую и веселую комнату, несмотря на то, что блеск ее слегка потускнел! Каждый раз они убеждались, что все здесь на прежнем месте, и если Эмма забывала под часами шпильку, то она так до следующего четверга тут и лежала. Завтракали у камина, на маленьком палисандровом столике с инкрустацией. Эмма резала мясо и, ластясь к Леону, подкладывала ему куски на тарелку. А когда шампанское пенилось и выплескивалось через край тонкого бокала прямо ей на пальцы, унизанные кольцами, она смеялась звонким, чувственным смехом. Они так полно владели друг другом, что им казалось, будто это их собственный дом, где они вечно молодыми супругами будут жить до конца своих дней. Они говорили: «Наша комната, наш ковер, наше кресло»; Эмма даже говорила: «Мои домашние туфли». Это был ее каприз, подарок Леона — домашние туфли из розового атласа, отороченные лебяжьим пухом. Когда она садилась на колени к Леону, ее ноги не доставали до полу, они пови-

сали в воздухе, и изящные туфельки без задников держались только на голых пальцах.

Леон впервые наслаждался неизъяснимой прелестью женского обаяния. Изящные обороты речи, строгий вкус в туалетах, позы спящей голубки — все это было ему внове. Ему нравились и восторженность ее натуры, и кружевная отделка ее платья. И при всем том Эмма была «женщина из хорошего общества», да еще замужняя! Одним словом, настоящая любовница!

То самоуглубленная, то жизнерадостная, то словоохотливая, то неразговорчивая, то порывистая, то безучастная, Эмма этой сменой настроений рождала в нем вихрь желаний, будила инстинкты и воспоминания. Кто была для него Эмма? Главный женский образ всех романов, героиня всех драм, загадочная *она* всех сборников стихов. Он находил, что плечи ее своим янтарным отливом напоминают плечи *Купающейся одалиски,* что талия у нее длинная, как у владетельниц феодальных замков. Еще она походила на *бледную барселонку,* но прежде всего она была ангел.

Когда он смотрел на нее, ему часто казалось, что душа его устремляется к ней и, разлившись волной вокруг ее головы, низвергается на белую грудь.

Он садился на пол и, упершись локтями в ее колени, улыбался и подставлял лоб.

Эмма наклонялась к нему и голосом, прерывающимся от восторга, шептала:

— Не шевелись! Молчи! Смотри на меня! Твои глаза глядят так ласково! Мне так хорошо с тобой!

Она называла Леона «дитя»:

— Дитя, ты любишь меня?

Ответа она не слышала — его губы впивались в нее.

На часах маленький бронзовый купидон жеманно расставлял руки под позолоченной гирляндой. Эмма и Леон часто над ним смеялись. Но при расставании все рисовалось им в мрачном свете.

Стоя друг против друга как вкопанные, они твердили:

— До четверга!.. До четверга!..

Потом она вдруг брала Леона обеими руками за голову, на миг припадала губами к его лбу и, крикнув: «Прощай!» — выбегала на лестницу.

Она шла на Театральную улицу к парикмахеру приводить в порядок свою прическу. Темнело. В парикмахерской зажигали газ.

Эмма слышала звонок, созывавший актеров на представление. Мимо окна по той стороне двигались бледные мужчины, женщины в поношенных платьях и проходили за кулисы.

В низеньком и тесном помещении, где среди париков и помадных банок гудела железная печка, было жарко. Запах горячих щипцов и жирных рук, перебиравших локоны Эммы, действовал на нее одуряюще, и, закутавшись в халат, она скоро начинала дремать. Во время завивки мастер часто предлагал ей билет на бал-маскарад.

А потом она уезжала! Она шла обратно по тем же самым улицам, доходила до «Красного креста», опять привязывала деревянные подошвы, которые она прятала утром в дилижансе под скамейку, и пробиралась среди нетерпеливых пассажиров на свое место. Перед подъемом на гору все вылезали. Она оставалась одна в дилижансе.

С каждым поворотом все шире и шире открывался вид на огни уличных фонарей, образовывавших над хаосом зданий большое лучезарное облако. Эмма становилась коленями на подушки, и взор ее терялся в этом свечении. Она плакала навзрыд, звала Леона, шептала нежные слова, посылала ему поцелуи, и ветер развеивал их.

По горе между встречными дилижансами шагал нищий с клюкой. Его тело едва прикрывали лохмотья, старая касторовая шляпа без донышка, круглая, как таз, съезжала ему на глаза. Но когда он ее снимал, было видно, что на месте век у него зияют кровавые впадины. Живое мясо висело красными клоками; из глазниц до самого носа текла жидкость, образуя зеленую корку; черные ноздри судорожно подергивались. Когда он с кем-нибудь говорил, то запрокидывал голову и смеялся бессмысленным смехом, а его непрестанно вращавшиеся синеватые бельма закатывались под лоб и касались открытых ран.

Нищий бежал за экипажами и пел песенку:

Девчонке в жаркий летний день
Мечтать о миленьком не лень.

. . .

А дальше все в этой песне было полно птичьего гама, солнечного света и зеленой листвы.

Иногда нищий с непокрытой головой внезапно вырастал перед Эммой. Она вскрикивала и отшатывалась в глубь дилижанса. Ивер издевался над слепцом. Он советовал ему снять ярмарочный балаган или, заливаясь хохотом, спрашивал, как поживает его милашка.

Часто в окна дилижанса на полном ходу просовывалась шляпа слепца; свободной рукой нищий держался за складную лестницу; из-под колес на него летели комья грязи. Голос его, вначале слабый, как у новорожденного, постепенно становился пронзительным. В ночной темноте он звучал тягучим нечленораздельным воплем какого-то непонятного отчаяния. Что-то бесконечно одинокое было в этом щемящем звуке, как бы издалека доходившем до слуха Эммы сквозь шум деревьев, звон бубенцов и тарахтенье пустого кузова. Он врывался к ней в душу, как вихрь врывается в глубокую теснину, и уносил ее на бескрайние просторы тоски. Но в это время Ивер, заметив, что дилижанс накренился, несколько раз вытягивал слепого кнутом. Узелок на конце кнута бил его по ранам, и нищий с воем летел в грязь.

Затем пассажиры «Ласточки» мало-помалу погружались в сон: кто — с открытым ртом, кто — уронив голову на грудь, кто — привалившись к плечу соседа, кто, наконец, держась рукой за ремень, и все при этом мерно покачивались вместе с дилижансом, а мерцающий свет фонаря, скользя по крупу коренника, проникал внутрь дилижанса сквозь коленкоровые занавески шоколадного цвета и бросал на неподвижные лица спящих кровавый отсвет. Эмма, смертельно тоскуя, дрожала от холода; ноги у нее мучительно зябли; в душе царил беспросветный мрак.

Дома Шарль ждал ее с нетерпением — по четвергам «Ласточка» всегда запаздывала. Наконец-то «барыня» дома! Эмма рассеянно целует девочку. Обед еще не готов — не беда! Эмма не сердится на кухарку. В этот день служанке прощалось все.

Заметив, что Эмма бледна, муж спрашивал, как ее здоровье.

— Хорошо,— отвечала Эмма.

— А почему у тебя нынче какой-то странный вид?

— А, пустое, пустое!

Иной раз она, вернувшись домой, проходила прямо к себе в комнату. Там она заставала Жюстена — он двигался неслышно и прислуживал ей лучше вышколенной горничной: подавал спички, свечу, книгу, раскладывал ночную сорочку, стелил постель.

Затем, видя, что Жюстен стоит неподвижно и руки у него повисли как плети, а глаза широко раскрыты, точно его опутала бесчисленным множеством нитей какая-то внезапно налетевшая дума, Эмма обычно говорила:

— Ну, хорошо, а теперь ступай.

На другой день Эмма чувствовала себя ужасно, а затем с каждым днем муки ее становились все невыносимее: она жаждала вновь испытать уже изведанное блаженство, и этот пламень страсти, распаляемый воспоминаниями, разгорался неукротимо лишь на седьмой день под ласками Леона. А его сердечный пыл выражался в проявлениях восторга и признательности. Эмма упивалась любовью Леона, любовью сдержанной, глубокой, и, уже заранее боясь потерять ее, прибегала ко всем ухищрениям, на какие только способна женская нежность.

Часто она говорила ему с тихой грустью в голосе:

— Нет, ты бросишь меня!.. Ты женишься... Ты поступишь, как все.

— Кто все? — спрашивал он.

— Ну, мужчины вообще!..

С этими словами она, томно глядя на Леона, отталкивала его.

— Все вы обманщики!

Однажды, когда у них шел философский разговор о тщете всего земного, она, чтобы вызвать в нем ревность или, быть может, удовлетворяя назревшую потребность излить душу, призналась, что когда-то, еще до него, любила одного человека... «но не так, как тебя!» — поспешила она добавить и поклялась здоровьем дочери, что «не была с ним близка».

Леон поверил ей, но все же стал расспрашивать, чем тот занимался.

— Он был капитаном корабля, друг мой.

Не хотела ли она одной этой фразой пресечь дальнейшие расспросы и в то же время еще выше поднять себя в глазах Леона тем, что ее чары будто бы подействовали на человека воинственного и привыкшего к почестям?

Вот когда молодой человек понял всю невыгодность своего положения! Он стал завидовать эполетам, крестам, чинам. Расточительность Эммы доказывала, что все это должно ей нравиться.

Между тем Эмма еще умалчивала о многих своих прихотях: так, например, она мечтала завести для поездок в Руан синее тильбюри, английскую лошадку и грума в ботфортах с отворотами. На эту мысль навел ее Жюстен: он умолял взять его к себе в лакеи. И если отсутствие всего этого не уменьшало радости поездки на свидание, зато оно, разумеется, усиливало горечь обратного пути.

Когда они говорили о Париже, Эмма часто шептала:

— Ах, как бы нам с тобой там было хорошо!

— А разве здесь мы не счастливы? — проводя рукой по ее волосам, мягко возражал молодой человек.

— Конечно, счастливы! — говорила она.— Это я глупость сказала. Поцелуй меня.

С мужем она была особенно предупредительна, делала ему фисташковые кремы, играла после обеда вальсы. Он считал себя счастливейшим из смертных, и Эмма была спокойна до тех пор, пока однажды вечером он не спросил ее:

— Ведь ты берешь уроки у мадмуазель Ламперер?

— Да.

— Ну так вот,— продолжал Шарль,— я только что встретился с ней у госпожи Льежар. Заговорил о тебе, а она тебя не знает.

Это было как удар грома среди ясного неба. И все же Эмма самым естественным тоном ответила:

— Она просто забыла мою фамилию!

— А может быть, в Руане есть несколько Лампрер — учительниц музыки? — высказал предположение лекарь.

— Возможно,— согласилась Эмма и тут же добавила: — Да ведь у меня есть ее расписки. Сейчас я тебе покажу.

Она бросилась к своему секретеру, перерыла все ящики, свалила в одну кучу все бумаги и в конце концов так растерялась, что Шарль стал умолять ее не огорчаться из-за каких-то несчастных расписок.

— Нет, я найду их! — твердила она.

И точно: в следующую пятницу Шарль, натягивая сапоги в темной конурке, где было свалено все его платье, нащупал ногой листок бумаги и, вытащив его из сапога, прочел:

«Получено за три месяца обучения и за всякого рода покупки шестьдесят пять франков.

Преподавательница музыки
Фелиси Лампрер».

— Что за чертовщина! Как это могло попасть ко мне в сапог?

— Наверно, расписка выпала из старой папки со счетами — той, что лежит на полке с краю,— ответила Эмма.

С этого дня вся ее жизнь превратилась в сцепление

выдумок, которыми она, точно пеленами, укрывала свою любовь.

Это стало для нее потребностью, манией, наслаждением, и если она утверждала, что шла вчера по правой стороне, значит, на самом деле по левой, а не по правой.

Однажды утром она отправилась в Руан, по обыкновению довольно легко одетая, а тут неожиданно выпал снег. Выглянув в окно, Шарль увидел аббата Бурнизьена — тот в экипаже Тюваша ехал по направлению к Руану. Шарль сбежал по лестнице и попросил священника разыскать жену в «Красном кресте» и передать ей теплый платок. Заехав на постоялый двор, священник сейчас же спросил, где можно найти жену ионвильского доктора. Хозяйка ему на это ответила, что г-жа Бовари останавливается у нее крайне редко. Вечером, столкнувшись с Эммой в дилижансе, Бурнизьен рассказал ей, в каком он был затруднительном положении, но, по-видимому, не придал этому случаю особого значения, так как тут же принялся расхваливать соборного священника, который славился своими проповедями настолько, что все дамы сбегались послушать его.

Итак, Бурнизьен ни о чем ее не спросил, но ведь не все такие деликатные, как он. Поэтому она сочла за благо впредь останавливаться только в «Красном кресте», чтобы почтенные сограждане, встретившись с ней на лестнице, уже ни в чем не могли ее заподозрить.

Но в один прекрасный день, выйдя под руку с Леоном из «Булони», Эмма наткнулась на г-на Лере. Эта встреча напугала ее: она была уверена, что он начнет болтать. Но г-н Лере оказался умнее.

Он пришел к ней через три дня, затворил за собой дверь и сказал:

— Мне нужны деньги.

Эмма заявила, что у нее ничего нет. Тогда Лере стал канючить и перечислил все свои услуги.

Он имел основания быть недовольным: из двух выданных Шарлем векселей Эмма пока что уплатила по одному. Что касается второго, то купец по просьбе Эммы согласился заменить его двумя новыми, да и те уже были переписаны и платеж по ним перенесен на весьма далекий срок. Затем г-н Лере достал из кармана неоплаченный счет, где значились следующие предметы: занавески, ковер, обивка для кресел, отрезы на платья, принадлежности туалета — всего приблизительно тысячи на две франков.

Эмма опустила голову.

— Положим, наличных у вас нет, но ведь зато есть *имение*,— напомнил Лере.

Он имел в виду ветхую лачугу в Барневиле, близ Омаля, приносившую ничтожный доход. В былые времена она составляла часть небольшой усадьбы, но Бовари-отец усадьбу продал. Г-ну Лере было известно все, вплоть до того, сколько там гектаров земли и как зовут соседей.

— Я бы на вашем месте с этим имением развязался,— заметил г-н Лере.— После расплаты с долгами у вас еще останутся деньги.

Эмма сказала, что на этот дом трудно найти покупателя. Г-н Лере взялся за это дело сам. Тогда г-жа Бовари спросила, как ей получить право на продажу.

— Да разве у вас нет доверенности? — спросил Лере.

На Эмму словно повеяло свежим воздухом.

— Оставьте мне счет,— сказала она.

— Ну что вы! Зачем? — проговорил Лере.

Через неделю он пришел опять и похвалился, что после долгих поисков напал на некоего Ланглуа, который давно уже подбирается к этой недвижимости, но цену пока не говорит.

— Да я за ценой и не гонюсь! — воскликнула Эмма.

Лере, однако, советовал выждать, сначала прощупать этого молодчика. По его мнению, стоило даже побывать там, а так как Эмма не могла поехать сама, то он обещал туда съездить и переговорить с Ланглуа. Вернувшись, он сообщил, что покупатель дает четыре тысячи франков.

Эмма вся так и расцвела.

— Цена, по правде сказать, хорошая,— заметил Лере.

Половину всей суммы она получила наличными. Когда же она заговорила о счете, торговец прервал ее:

— Мне неприятно отхватывать у вас этакий куш, честное слово!

При этих словах Эмма бросила взгляд на ассигнации и невольно подумала о том, какое великое множество свиданий заключено в этих двух тысячах франков.

— Что вы! Что вы! — пролепетала она.

— Со счетом можно сделать все, что хотите, уверяю вас! — добродушно посмеиваясь, продолжал Лере.— Я знаю, что такое хозяйственные расходы.

Пропуская между пальцами два длинных листа бумаги, он пристально смотрел на нее. Затем вынул из бу-

мажника и разложил на столе четыре векселя на сумму в четыре тысячи франков каждый.

— Подпишите, а деньги возьмите себе,— сказал он.

У нее вырвался крик возмущения.

— Но ведь я же у вас не беру остатка,— нагло заявил г-н Лере.— Вы не находите, что это большая любезность с моей стороны?

Он взял перо и написал под счетом:

«Получено от г-жи Бовари четыре тысячи франков».

— Я не понимаю, что вас тут смущает. Через полгода вы получите все деньги за свою хибарку, а я проставил на последнем векселе более чем полугодовой срок.

Все эти сложные вычисления сбили г-жу Бовари с толку. В ушах у нее звенело, ей казалось, будто золото сыплется вокруг нее на пол. В конце концов Лере объяснил ей, что в Руане у него есть приятель — банкир, некто Венсар, который учтет эти четыре векселя, а то, что останется после уплаты реального долга, он, Лере, вернет г-же Бовари.

Однако вместо двух тысяч франков он принес тысячу восемьсот: дело в том, что его друг Венсар удержал «законно следуемые» двести франков за комиссию и за учет.

Затем г-н Лере с небрежным видом попросил расписку:

— Сами понимаете... коммерция — это такое дело... все может случиться. И дату, пожалуйста, дату!

Перед Эммой открылась широкая перспектива осуществления всевозможных прихотей. У нее, впрочем, хватило благоразумия отложить тысячу экю, и эти деньги она уплатила в срок по первым трем векселям, но четвертый якобы случайно свалился на голову Шарлю как раз в четверг, и Шарль в полном недоумении стал терпеливо ждать, когда вернется жена и все ему растолкует.

Да, правда, она ничего ему не сказала про этот вексель, но ей просто не хотелось путать его в домашние дрязги. Она села к нему на колени, ласкалась, ворковала, долго перечисляла необходимые вещи, которые ей пришлось взять в долг.

— Если принять во внимание, сколько я всего накупила, то выйдет совсем не так дорого.

Шарль с горя обратился все к тому же Лере, и торгаш обещал все уладить, если только господин доктор выдаст ему два векселя, в том числе один на сумму в семьсот

франков сроком на три месяца. В поисках выхода из положения Шарль написал матери отчаянное письмо. Г-жа Бовари-мать, не долго думая, приехала сама. На вопрос Эммы, удалось ли Шарлю уломать ее, Шарль ответил:

— Да, но только она требует, чтобы ей показали счет.

На другое утро Эмма чуть свет побежала к г-ну Лере и попросила его выписать другой счет — не больше чем на тысячу франков. Показать счет на четыре тысячи было равносильно признанию в том, что две трети этой суммы уже выплачены, следовательно — открыть продажу дома, а между тем торговец хранил эту сделку в такой строгой тайне, что про нее узнали много позднее.

Хотя на все товары были проставлены очень низкие цены, г-жа Бовари-мать нашла, что расходы непомерно велики.

— Неужели нельзя было обойтись без ковра? Для чего менять обивку на креслах? В мои времена полагалось только одно кресло — для пожилых людей. По крайней мере, так было заведено у моей матери, а она была, смею вас уверить, женщина порядочная. За богачами все равно не угонишься! Будете транжирить, так вам никаких денег не хватит! Я бы постыдилась так себя баловать, как вы, а ведь я старуха, за мной нужен уход... Вам только бы рядиться, только бы пыль в глаза пускать. Ведь это что ж такое: шелк на подкладку по два франка... когда есть отличный жаконет по десяти, даже по восьми су!

— Довольно, сударыня, довольно!..— раскинувшись на козетке, изо всех сил сдерживаясь, говорила Эмма.

Но свекровь продолжала отчитывать ее; она предсказывала, что Шарль с Эммой кончат свои дни в богадельне. Впрочем, Шарль сам виноват. Хорошо еще, что он обещал уничтожить доверенность...

— То есть как уничтожить?

— Он мне поклялся,— заявила почтенная дама.

Эмма открыла окно и позвала Шарля. Бедняга принужден был сознаться, что мать вырвала у него это обещание.

Эмма убежала, но сейчас же вернулась и с величественным видом протянула свекрови плотный лист бумаги.

— Благодарю вас,— сказала старуха и бросила доверенность в огонь.

Эмма засмеялась резким, громким, неудержимым смехом: у нее начался нервный припадок.

— Ах ты, господи! — воскликнул Шарль.— Ты тоже не права! Зачем ты устраиваешь ей сцены?..

Мать, пожав плечами, заметила, что «все это фокусы».

Но Шарль первый раз в жизни взбунтовался и так горячо стал защищать жену, что мать решила немедленно уехать. На другой день она и точно отправилась восвояси; когда же сын попытался удержать ее на пороге, она сказала:

— Нет, нет! Ее ты любишь больше, чем меня, и так и надо, это в порядке вещей. Тут уж ничего не поделаешь! Поживем — увидим... Будь здоров!.. Больше я, как ты выражаешься, не устрою ей сцены.

Шарль все же чувствовал себя виноватым перед Эммой, а та и не думала скрывать, что обижена на него за недоверие. Ему пришлось долго упрашивать ее, прежде чем она согласилась, чтобы на ее имя была составлена новая доверенность; с этой целью он даже пошел вместе с Эммой к г-ну Гильомену.

— Я вас понимаю,— сказал нотариус.— Человека, всецело преданного науке, не должны отвлекать мелочи практической жизни.

Эта лицемерная фраза ободрила Шарля — она прикрывала его слабость лестной для него видимостью каких-то важных занятий.

Чего только не вытворяла Эмма в следующий четверг, придя вместе с Леоном в их номер! Смеялась, плакала, пела, танцевала, заказывала шербет, пробовала курить, и Леон нашел, что она хоть и взбалмошна, но зато обворожительна, несравненна.

Он не догадывался, что́ происходило теперь у нее в душе, что́ заставляло ее так жадно ловить каждый миг наслаждения. Она стала раздражительна, плотоядна, сластолюбива. С гордо поднятой головой ходила она с ним по городу и говорила, что не боится себя скомпрометировать. Ее только пугала мысль о возможной встрече с Родольфом. Хотя они расстались навсегда, Эмма все еще чувствовала над собой его власть.

Однажды вечером Эмма не вернулась домой. Шарль совсем потерял голову, а маленькая Берта не хотела ложиться спать без мамы и неутешно рыдала. Жюстен на всякий случай пошел встречать барыню. Г-н Оме бросил аптеку.

Когда пробило одиннадцать, Шарль не выдержал, запряг свой шарабанчик, сел, ударил по лошади — и в два часа ночи подъехал к «Красному кресту». Эммы там не

было. Шарлю пришло на ум: не видел ли ее случайно Леон? Но где его дом? К счастью, Шарль вспомнил адрес его патрона и побежал к нему.

Светало. Разглядев дощечку над дверью, Шарль постучался. Кто-то, не отворяя, прорычал ему, где живет Леон, и обругал на чем свет стоит тех нахалов, которые беспокоят по ночам добрых людей.

В доме, где проживал Леон, не оказалось ни звонка, ни молотка, ни швейцара. Шарль изо всех сил застучал в ставни. Мимо прошел полицейский. Шарль испугался и поспешил удалиться.

«Я сошел с ума,— говорил он сам с собой.— Наверно, она пообедала у Лормо и осталась у них ночевать».

Но он тут же вспомнил, что семейство Лормо выехало из Руана.

«Значит, она ухаживает за госпожой Дюбрейль... Ах да! Госпожа Дюбрейль десять месяцев тому назад умерла!.. Так где же Эмма?»

Тут его осенило. Он спросил в кафе адрес-календарь, быстро нашел мадмуазель Лампрер и выяснил, что она живет в доме номер 74 по улице Ренель-де Марокинье.

Но, выйдя на эту улицу, он еще издали увидел Эмму — она шла ему навстречу. Шарль даже не обнял ее — он обрушился на нее с криком:

— Почему ты вчера не приехала?

— Я захворала.

— Чем захворала?.. Где?.. Как?..

— У Лампрер,— проведя рукой по лбу, ответила она.

— Я так и думал! Я шел к ней.

— Ну и напрасно,— сказала Эмма.— Она только что ушла. В другой раз, пожалуйста, не беспокойся. Если я буду знать, что ты сам не свой из-за малейшего моего опоздания, то я тоже стану нервничать, понимаешь?

Так она завоевала себе свободу похождений. И этой свободой она пользовалась широко. Соскучившись без Леона, она под любым предлогом уезжала в Руан, а так как Леон в тот день ее не ждал, то она приходила к нему в контору.

Первое время это было для него великим счастьем, но вскоре он ей признался, что патрон недоволен его поведением.

— А, не обращай внимания! — говорила она.

И он менял разговор.

Эмме хотелось, чтобы он сшил себе черный костюм и

отпустил бородку — так, мол, он будет похож на Людовика XIII. Она побывала у него и нашла, что комната неважная. Леон покраснел. Она этого не заметила и посоветовала ему купить такие же занавески, как у нее. Он сказал, что это ему не по карману.

— Экий ты жмот! — сказала она, смеясь.

Каждый раз Леон должен был докладывать ей, как он без нее жил. Она требовала, чтобы он писал стихи и посвящал ей, чтобы он сочинил «стихотворение о любви» и воспел ее. Но он никак не мог подобрать ни одной рифмы и в конце концов списал сонет из кипсека.

Руководило им не самолюбие, а желание угодить Эмме. Он никогда с ней не спорил, он подделывался под ее вкусы, скорее он был ее любовницей, чем она его. Она знала такие ласковые слова и так умела целовать, что у него захватывало дух. Как же проникла к Эмме эта скрытая порочность — проникла настолько глубоко, что ничего плотского в ней как будто бы не ощущалось?

VI

Когда Леон приезжал в Ионвиль повидаться с Эммой, он часто обедал у фармацевта и как-то из вежливости пригласил его к себе.

— С удовольствием,— сказал г-н Оме.— Мне давно пора встряхнуться, а то я здесь совсем закис. Пойдем в театр, в ресторан, кутнем!

— Что ты, друг мой! — нежно прошептала г-жа Оме — она боялась каких-нибудь непредвиденных опасностей.

— А ты думаешь, это не вредно для моего здоровья — постоянно дышать аптечным запахом? Женщины все таковы: сначала ревнуют к науке, а потом восстают против самых невинных развлечений. Ничего, ничего! Можете быть уверены: как-нибудь я нагряну в Руан, и мы с вами *тряхнем мошной.*

В прежнее время аптекарь ни за что не употребил бы подобного выражения, но теперь он охотно впадал в игривый парижский тон, что́ являлось для него признаком высшего шика. Как и его соседка, г-жа Бовари, он с любопытством расспрашивал Леона о столичных нравах и даже, на удивление обывателям, уснащал свою речь жаргонными словечками, вроде: *шушера, канальство, ферт, хлюст, Бред-гастрит* вместо *Бред-стрит* и *дернуть* вместо *уйти.*

И вот в один из четвергов Эмма, к своему удивлению, встретила в «Золотом льве», на кухне, г-на Оме, одетого по-дорожному, то есть в старом плаще, в котором он никогда прежде не появлялся, с чемоданом в одной руке и с грелкой из собственной аптеки в другой. Боясь всполошить своим отъездом клиентов, он отбыл тайно.

Всю дорогу он сам с собой рассуждал — видимо, его волновала мысль, что он скоро увидит места, где протекла его юность. Не успел дилижанс остановиться, а г-н Оме уже спрыгнул с подножки и помчался разыскивать Леона. Как тот ни отбивался, фармацевт затащил его в большое кафе «Нормандия» и с величественным видом вошел туда в шляпе, ибо он считал, что снимать шляпу в общественных местах способен лишь глубокий провинциал.

Эмма прождала Леона в гостинице три четверти часа. Наконец не выдержала — сбегала к нему в контору, вернулась обратно и, строя всевозможные предположения, мучаясь мыслью, что он к ней охладел, а себя самое осуждая за бесхарактерность, простояла полдня, прижавшись лбом к оконному стеклу.

В два часа дня Леон и г-н Оме все еще сидели друг против друга за столиком. Большой зал пустел; дымоход в виде пальмы раскидывал по белому потолку золоченые листья; недалеко от сотрапезников за стеклянной перегородкой маленькая струйка фонтана, искрясь на солнце, булькала в мраморном бассейне, где среди кресс-салата и спаржи три сонных омара, вытянувшись во всю длину, касались хвостами лежавших на боку перепелок, целые столбики которых высились на краю.

Оме блаженствовал. Роскошь опьяняла его еще больше, чем возлияние, но помардское тоже оказало на него свое действие, и, когда подали омлет с ромом, он завел циничный разговор о женщинах. Больше всего он ценил в женщинах «шик». Он обожал элегантные туалеты, хорошо обставленные комнаты, а что касается внешности, то он предпочитал «крохотулек».

Леон время от времени устремлял полный отчаяния взгляд на стенные часы. А фармацевт все ел, пил, говорил.

— В Руане у вас, наверно, никого нет,— ни с того ни с сего сказал он.— Впрочем, ваш предмет живет близко.

Леон покраснел.

— Ну, ну, не притворяйтесь! Вы же не станете отрицать, что в Монвиле...

Молодой человек что-то пробормотал.

— Вы ни за кем не волочитесь у госпожи Бовари?..
— Да за кем же?
— За служанкой!

Оме не шутил; в Леоне самолюбие возобладало над осторожностью, и он невольно запротестовал: ведь ему же нравятся брюнетки!

— Я с вами согласен,— сказал фармацевт.— У них темперамент сильнее.

Наклонившись к самому уху Леона, он стал перечислять признаки темперамента у женщин. Он даже приплел сюда этнографию: немки истеричны, француженки распутны, итальянки страстны.

— А негритянки? — спросил его собеседник.
— Это дело вкуса,— ответил Оме.— Человек! Две полпорции!
— Пойдем! — теряя терпение, сказал Леон.
— *Yes*[1].

Но перед уходом он не преминул вызвать хозяина и наговорил ему приятных вещей.

Чтобы отвязаться от Оме, молодой человек сказал, что у него есть дело.

— Ну что ж, я вас провожу! — вызвался Оме.

Дорогой он говорил о своей жене, о детях, об их будущем, о своей аптеке, о том, какое жалкое существование влачила она прежде и как он блестяще ее поставил.

Дойдя до гостиницы «Булонь», Леон неожиданно бросил аптекаря, взбежал по лестнице и застал свою возлюбленную в сильном волнении.

При имени фармацевта она вышла из себя. Но Леон стал приводить один веский довод за другим: чем же он виноват? Разве она не знает г-на Оме? Как она могла подумать, что он предпочел его общество? Она все отворачивалась от него; наконец он привлек ее к себе, опустился на колени и, обхватив ее стан, замер в сладострастной позе, выражавшей вожделение и мольбу.

Эмма стояла не шевелясь; ее большие горящие глаза смотрели на него до ужаса серьезно. Но вот ее взор затуманился слезою, розовые веки дрогнули, она перестала вырывать руки, и Леон уже подносил их к губам, как вдруг постучался слуга и доложил, что его спрашивает какой-то господин.

— Ты скоро вернешься? — спросила Эмма.

---

[1] Да *(англ.)*.

— Конечно.

— Когда именно?

— Да сейчас.

— Я схитрил,— сказал Леону фармацевт.— Мне показалось, что этот визит вам не по душе, и я решил вызволить вас. Пойдемте к Бриду, выпьем по стаканчику эликсира Гарюс.

Леон поклялся, что ему давно пора в контору. Тогда аптекарь стал посмеиваться над крючкотворством, над судопроизводством.

— Да пошлите вы к черту своих Куяциев и Бартолов! Чего вы боитесь? Наплевать! Пойдемте к Бриду! Он вам покажет собаку. Это очень любопытно!

Леон не сдавался.

— Ну так я тоже пойду в контору,— заявил фармацевт.— Пока вы освободитесь, я почитаю газету, просмотрю Свод законов.

Устав от гнева Эммы, от болтовни фармацевта, быть может, еще и осовев после сытного завтрака, Леон впал в нерешительность, а г-н Оме словно гипнотизировал его:

— Идемте к Бриду! Он живет в двух шагах, на улице Мальпалю.

И по своей мягкотелости, по глупости, подстрекаемый тем не поддающимся определению чувством, которое толкает нас на самые некрасивые поступки, Леон дал себя отвести к Бриду. Они застали его во дворе — он наблюдал за тремя парнями, которые вертели, пыхтя, тяжелое колесо машины для изготовления сельтерской воды. Оме начал давать им советы, потом стал обниматься с Бриду, потом все трое выпили эликсиру. Леон двадцать раз пытался уйти, но Оме хватал его за руку и говорил:

— Сейчас, сейчас! Я тоже иду. Мы с вами зайдем в *Руанский светоч*, посмотрим на журналистов. Я вас познакомлю с Томасеном.

В конце концов Леон все же избавился от него — и бегом в гостиницу: Эммы там уже не было.

Вне себя от ярости она только что уехала в Ионвиль. Теперь она ненавидела Леона. То, что он не пришел на свиданье, она воспринимала как личное оскорбление и выискивала все новые и новые причины, чтобы порвать с ним: человек он вполне заурядный, бесхарактерный, безвольный, как женщина, неспособный на подвиг да к тому же еще скупой и трусливый.

Несколько успокоившись, она поняла, что была к нему

несправедлива. Но когда мы черним любимого человека, то это до известной степени отдаляет нас от него. До идолов дотрагиваться нельзя — позолота пристает к пальцам.

С этого дня Эмма и Леон все чаще стали обращаться к посторонним предметам. В письмах Эмма рассуждала о цветах, о стихах, о луне и звездах, обо всех этих немудреных подспорьях слабеющей страсти, которая требует поддержки извне. От каждого нового свидания она ждала чего-то необыкновенного, а потому всякий раз признавалась себе, что захватывающего блаженства ей испытать не довелось. Но разочарование быстро сменялось надеждой, и Эмма возвращалась к Леону еще более пылкой, еще более жадной, чем прежде. Она срывала с себя платье, выдергивала из корсета тонкий шнурок, и шнурок скользящей змеей свистел вокруг ее бедер. Босиком, на цыпочках она еще раз подходила к порогу, убеждалась, что дверь заперта, мгновенно сбрасывала с себя оставшиеся на ней покровы, внезапно бледнела, молча, не улыбаясь, прижималась к груди Леона, и по всему ее телу пробегал долгий трепет.

Но на этом покрытом холодными каплями лбу, на этих лепечущих губах, в этих блуждающих зрачках, в сцеплении ее рук было что-то неестественное, что-то непонятное и мрачное, и Леону казалось, будто это *что-то* внезапно проползает между ними и разделяет их.

Леон не смел задавать ей вопросы, но он считал ее опытной женщиной, испытавшей в жизни все муки и все наслаждения. Что когда-то пленяло Леона, то теперь отчасти пугало. Кроме того, она все больше и больше порабощала его личность, и это вызывало в нем внутренний протест. Леон не мог простить Эмме ее постоянной победы над ним. Он пытался даже разлюбить ее, но, заслышав скрип ее туфелек, терял над собой власть, как пьяница — при виде крепких напитков.

Правда, она по-прежнему оказывала ему всевозможные знаки внимания, начиная с изысканных блюд и кончая модными туалетами и томными взглядами. Везла у себя на груди розы из Ионвиля и потом осыпала ими Леона, следила за его здоровьем, учила его хорошим манерам и, чтобы крепче привязать его к себе, в надежде на помощь свыше, повесила ему на шею образок богородицы. Как заботливая мать, она расспрашивала его о товарищах.

— Не встречайся с ними,— говорила она,— никуда не ходи, думай только о нашем счастье, люби меня!

Ей хотелось знать каждый его шаг; она даже подумала, нельзя ли нанять соглядатая, который ходил бы за ним по пятам. Около гостиницы к приезжающим вечно приставал какой-то оборванец — он бы, конечно, не отказался... Но против этого восстала ее гордость.

«А, бог с ним, пусть обманывает! Не очень-то я в нем нуждаюсь!»

Однажды они с Леоном расстались раньше, чем обыкновенно, и, когда Эмма шла одна по бульвару, перед ней забелели стены ее монастыря. Она села на скамейку под вязами. Как спокойно жилось ей тогда! Как она жаждала сейчас той несказанно прекрасной любви, которую некогда старалась представить себе по книгам!

Первые месяцы замужества, прогулки верхом в лес, вальсирующий виконт, Лагарди — все прошло перед ее глазами... Внезапно появился и Леон, но тоже вдалеке, как и остальные.

«Нет, я его люблю!» — говорила она себе.

Ну что ж, все равно! Счастья у нее нет и никогда не было прежде. Откуда же у нее это ощущение неполноты жизни, отчего мгновенно истлевало то, на что она пыталась опереться?.. Но если есть на земле существо сильное и прекрасное, благородная натура, пылкая и вместе с тем тонко чувствующая, ангел во плоти и с сердцем поэта, звонкострунная лира, возносящая к небу тихие гимны, то почему они не могут встретиться? О нет, это невозможно! Да и не стоит искать — все на свете обман! За каждой улыбкой кроется зевок от скуки, за каждой радостью — горе, за наслаждением — пресыщение, и даже после самых жарких поцелуев остается лишь неутоляемая жажда еще более упоительных ласк.

Внезапно в воздухе раздался механический хрип — это на монастырской колокольне ударили четыре раза. Только четыре часа! А ей казалось, что с тех пор, как она села на эту скамейку, прошла целая вечность. Но одно мгновение может вобрать в себя сонм страстей, равно как на небольшом пространстве может поместиться толпа. Эмму ее страсти поглощали всецело, и о деньгах она думала столько же, сколько эрцгерцогиня.

Но однажды к ней явился какой-то лысый, краснолицый, плюгавый человечек и сказал, что он из Руана, от г-на Венсара. Вытащив булавки, которыми был заколот боковой карман его длинного зеленого сюртука, он воткнул их в рукав и вежливо протянул Эмме какую-то бумагу.

Это был выданный Эммой вексель на семьсот франков — Лере нарушил все свои клятвы и подал его ко взысканию.

Эмма послала за торговцем служанку. Но Лере сказал, что он занят.

Любопытные глазки незнакомца, прятавшиеся под насупленными белесыми бровями, шарили по всей комнате.

— Что передать господину Венсару? — спросил он с наивным видом.

— Так вот...— начала Эмма,— скажите ему... что сейчас у меня денег нет... На той неделе... Пусть подождет... Да, да, на той неделе.

Посланец молча удалился.

Тем не менее на другой день в двенадцать часов Эмма получила протест. Один вид гербовой бумаги, на которой в нескольких местах было выведено крупными буквами: «Судебный пристав города Бюши господин Аран», так ее напугал, что она опрометью бросилась к торговцу тканями.

Господин Лере перевязывал у себя в лавке пакет.

— Честь имею! — сказал он.— К вашим услугам.

Но он все же до конца довел свое дело, в котором ему помогала горбатенькая девочка лет тринадцати — она была у него и за приказчика и за кухарку.

Потом, стуча деревянными башмаками по ступенькам лестницы, он повел Эмму на второй этаж и впустил ее в тесный кабинет, где на громоздком еловом письменном столе высилась груда конторских книг, придавленная лежавшим поперек железным бруском на висячем замке. У стены за ситцевой занавеской виднелся несгораемый шкаф таких громадных размеров, что в нем, по всей вероятности, хранились вещи более крупные, чем ассигнации и векселя. В самом деле, г-н Лере давал в долг под залог, и как раз в этот шкаф положил он золотую цепочку г-жи Бовари и серьги незадачливого дядюшки Телье, который в конце концов вынужден был продать свое заведение и купить в Кенкампуа бакалейную лавчонку, где он, еще желтее тех свечей, что ему приходилось отпускать покупателям, медленно умирал от чахотки.

Лере сел в большое соломенное кресло.

— Что скажете? — спросил он.

— Вот, полюбуйтесь.

Эмма показала ему бумагу.

— Что же я-то тут могу поделать?

Эмма в сердцах напомнила ему его обещание не опротестовывать ее векселя, но он этого и не оспаривал.

— Иначе я поступить не мог — мне самому позарез нужны были деньги.

— Что же теперь будет? — спросила она.

— Все пойдет своим порядком — сперва суд, потом опись имущества... И капут!

Эмма едва сдерживалась, чтобы не ударить его. Но все же она самым кротким тоном спросила, нельзя ли как-нибудь смягчить Венсара.

— Да, как же! Венсара, пожалуй, смягчишь! Плохо вы его знаете: это тигр лютый.

Но ведь у Эммы вся надежда на г-на Лере!

— Послушайте! По-моему, я до сих пор был достаточно снисходителен.

С этими словами он открыл одну из своих книг.

— Вот пожалуйста!

И стал водить пальцем по странице.

— Сейчас... сейчас... Третьего августа — двести франков... Семнадцатого июля — полтораста... Двадцать пятого марта — сорок шесть... В апреле...

Но тут он, словно боясь попасть впросак, запнулся.

— И это, не считая векселей, выданных господином Бовари, одного — на семьсот франков, а другого — на триста! А вашим мелким займам и процентам я давно счет потерял — тут сам черт ногу сломит. Нет, я — слуга покорный!

Эмма плакала, она даже назвала его один раз «милым господином Лере». Но он все валил на этого «зверюгу Венсара». К тому же он сейчас без гроша, долгов никто ему не платит, а он для всех — дойная корова; он — бедный лавочник, он не в состоянии давать взаймы.

Эмма умолкла; г-н Лере покусывал перо; наконец, встревоженный ее молчанием, он снова заговорил:

— Впрочем, если у меня на днях будут поступления... тогда я смогу...

— Во всяком случае, как только я получу остальную сумму за Барневиль...— сказала Эмма.

— Что такое?..

Узнав, что Ланглуа еще не расплатился, Лере сделал крайне удивленное лицо.

— Так вы говорите, мы с вами поладим?..— вкрадчивым тоном спросил он.

— О, это зависит только от вас!

Господин Лере закрыл глаза, подумал, написал несколько цифр, а затем, продолжая уверять Эмму, что он не оберется хлопот, что дело это щекотливое и что он «спускает с себя последнюю рубашку», продиктовал Эмме четыре векселя по двести пятьдесят франков каждый, причем все они должны были быть погашены один за другим, с месячным промежутком в платежах.

— Только бы мне уговорить Венсара! Ну да что там толковать, что сделано, то сделано, я на ветер слов не бросаю, я весь тут!

Затем он с небрежным видом показал ей кое-какие новые товары, ни один из которых, однако, не заслуживал, на его взгляд, внимания г-жи Бовари.

— Подумать только: вот эта материя — по семи су за метр да еще с ручательством, что не линяет! Берут нарасхват! Сами понимаете, я же им не говорю, в чем тут секрет.

Этим откровенным признанием, что он плутует с другими покупателями, он желал окончательно убедить ее в своей безукоризненной честности по отношению к ней.

После этого он предложил ей взглянуть на гипюр — три метра этой материи он приобрел на аукционе.

— Хорош! — восхищался он.— Теперь его много берут на накидочки для кресел. Модный товар.

Тут он ловкими, как у фокусника, руками завернул гипюр в синюю бумагу и вложил Эмме в руки.

— А сколько же?..

— Сочтемся! — прервал ее Лере и повернулся к ней спиной.

В тот же вечер Эмма заставила Бовари написать матери, чтобы она немедленно выслала им все, что осталось от наследства. Свекровь ответила, что у нее ничего больше нет: ликвидация имущества закончена, и, не считая Барневиля, на их долю приходится шестьсот ливров годового дохода, каковую сумму она обязуется аккуратно выплачивать.

Тогда г-жа Бовари послала кое-кому из пациентов счета и вскоре начала широко применять это оказавшееся действительным средство. В постскриптуме она неукоснительно добавляла: «Не говорите об этом мужу — вы знаете, как он самолюбив... Извините за беспокойство... Готовая к услугам...» Пришло несколько негодующих писем; она их перехватила.

Чтобы наскрести денег, она распродавала старые перчатки, старые шляпки, железный лом; торговалась она от-

чаянно — в ней заговорила мужицкая кровь. Этого мало: она придумала накупить в Руане всякой всячины — в расчете на то, что сумеет ее перепродать г-ну Лере, а может быть, и другим торговцам. Эмма набрала страусовых перьев, китайского фарфора, шкатулок. Она занимала у Фелисите, у г-жи Лефрансуа, в гостинице «Красный крест», у кого угодно. Получив наконец последние деньги за Барневиль, она уплатила по двум векселям, но тут подоспел срок еще одному — на полторы тысячи. Она опять влезла в долг — и так без конца!

Правда, время от времени она пыталась поверить счета. Но тогда открывались такие страшные вещи, что она вся холодела. Она пересчитывала, быстро запутывалась, бросала и больше уже об этом не думала.

Как уныло выглядел теперь ее дом! Оттуда постоянно выходили обозленные поставщики. На каминных полочках валялись Эммины носовые платочки. Маленькая Берта, к великому ужасу г-жи Оме, ходила в дырявых чулках. Когда Шарль робко пытался сделать жене замечание, она резко отвечала, что это не ее вина.

Что было причиной подобных вспышек? Шарль все объяснял ее давним нервным заболеванием. Он упрекал себя в том, что принимал болезненные явления за свойства характера, обвинял себя в эгоизме, ему хотелось приласкать ее, но он тут же себя останавливал:

«Нет, нет, не надо ей докучать!»

И так и не подходил к ней.

После обеда он гулял в саду один. Иногда брал к себе на колени Берту, открывал медицинский журнал и показывал ей буквы. Но девочка, не привыкшая учиться, смотрела на отца большими грустными глазами и начинала плакать. Отец утешал ее как мог: приносил в лейке воду и пускал ручейки по дорожке, обламывал бирючину и втыкал ветки в клумбы, как будто это деревья, что, однако, не очень портило общий вид сада — до того он был запущен: ведь они так давно не платили садовнику Лестибудуа! Потом девочка зябла и спрашивала, где мама.

— Позови няню,— говорил Шарль.— Ты же знаешь, детка: мама не любит, чтобы ей надоедали.

Уже наступала осень и падал лист — совсем как два года назад, во время болезни Эммы. Когда же все это кончится?.. Заложив руки за спину, Шарль ходил по саду.

Госпожа Бовари сидела у себя в комнате. К ней никто не смел войти. Она проводила здесь целые дни, полуодетая,

расслабленная, и лишь время от времени приказывала зажечь курильные свечи, которые она купила в Руане у алжирца. Чтобы ночью рядом с ней не лежал и не спал ее муж, она своими капризами довела его до того, что он перебрался на третий этаж, а сама читала до утра глупейшие романы с описаниями оргий и с кровавой развязкой. Временами ей становилось страшно; она вскрикивала; прибегал Шарль.

— Уйди! — говорила она.

А когда Эмму особенно сильно жег внутренний огонь — огонь запретной любви, ей становилось нечем дышать, и она, возбужденная, вся охваченная страстью, отворяла окно и с наслаждением втягивала в себя холодный воздух; ветер трепал ее тяжелые волосы, а она, глядя на звезды, жаждала той любви, о которой пишут в романах. Она думала о нем, о Леоне. В такие минуты она отдала бы все за одно утоляющее свидание с ним.

Эти свидания были для нее праздником. Ей хотелось обставить их как можно роскошнее. И если Леон не мог оплатить все расходы, то она швыряла деньги направо и налево, и случалось это почти всякий раз. Он пытался доказать ей, что в другой, более скромной гостинице им было бы не хуже, но она стояла на своем.

Как-то Эмма вынула из ридикюля полдюжины золоченых ложечек (это был свадебный подарок папаши Руо) и попросила Леона сейчас же заложить их на ее имя в ломбарде. Леон выполнил это поручение, но неохотно. Он боялся себя скомпрометировать.

По зрелом размышлении он пришел к выводу, что его любовница начинает как-то странно себя вести и что, в сущности, недурно было бы от нее отделаться.

Помимо всего прочего, кто-то уже написал его матери длинное анонимное письмо, ставившее ее в известность, что Леон «губит свою жизнь связью с замужней женщиной». Почтенная дама, нарисовав себе расплывчатый образ вечного пугала всех семей, некоего зловредного существа, сирены, чуда морского, таящегося в пучинах любви, немедленно написала патрону своего сына Дюбокажу, и Дюбокаж постарался. Он продержал Леона у себя в кабинете около часа и все открывал ему глаза и указывал на бездну. Такого рода связь может испортить карьеру. Он умолял Леона порвать — если не ради себя, то хотя бы ради него, Дюбокажа!

В конце концов Леон обещал больше не встречаться с

Эммой. И потом он постоянно упрекал себя, что не держит слова, думал о том, сколько еще будет разговоров и неприятностей из-за этой женщины, а сослуживцы, греясь по утрам у печки, подшучивали над ним. К тому же Леону была обещана должность старшего делопроизводителя — пора было остепениться. Он уже отказался от игры на флейте, от возвышенных чувств, от мечтаний. Нет такого мещанина, который в пору мятежной юности хотя бы один день, хотя бы одно мгновенье не считал себя способным на глубокое чувство, на смелый подвиг. Воображению самого обыкновенного развратника когда-нибудь являлись султанши, в душе у любого нотариуса покоятся останки поэта.

Теперь Леон скучал, когда Эмма на его груди внезапно разражалась слезами. Есть люди, которые выносят музыку только в известных дозах,— так сердце Леона стало глухо к голосам страсти, оно не улавливало оттенков.

Леон и Эмма изучили друг друга настолько, что уже не испытывали той ошеломленности, которая стократ усиливает радость обладания. Она им пресытилась, он от нее устал. Та самая пошлость, которая преследовала Эмму в брачном сожительстве, просочилась и в запретную любовь.

Но как со всем этим покончить? Всю унизительность этого убогого счастья Эмма сознавала отчетливо, и тем не менее она держалась за него то ли в силу привычки, то ли в силу своей порочности. С каждым днем она все отчаяннее цеплялась за него и отравляла себе всякое подобие блаженства тоскою о каком-то необыкновенном блаженстве. Она считала Леона виновным в том, что надежды ее не сбылись, как если бы он сознательно обманул ее. Ей даже хотелось, чтобы произошла катастрофа и повлекла за собой разлуку — разорвать самой у нее не хватало душевных сил.

Это не мешало ей по-прежнему писать Леону любовные письма: она была убеждена, что женщине полагается писать письма своему возлюбленному.

Но когда она сидела за письменным столом, ей мерещился другой человек, некий призрак, сотканный из самых ярких ее впечатлений, из самых красивых описаний, вычитанных в книгах, из самых сильных ее вожделений. Мало-помалу он становился таким правдоподобным и таким доступным, что она вздрагивала от изумления, хотя представить себе его явственно все-таки не могла: подобно богу, он был не виден за многоразличием своих свойств. Он жил в лазоревом царстве, где с балконов спускались шелковые

лестницы, среди душистых цветов, осиянный луною. Ей казалось, что он где-то совсем близко: сейчас он придет, и в едином лобзании она отдаст ему всю себя. И вдруг она падала как подкошенная: эти бесплодные порывы истощали ее сильнее самого безудержного разврата.

У нее не проходило ощущение телесной и душевной разбитости. Она получала повестки в суд, разные официальные бумаги, но просматривала их мельком. Ей хотелось или совсем не жить, или спать не просыпаясь.

В день середины Великого поста она не вернулась в Ионвиль, а пошла вечером на маскарад. На ней были бархатные панталоны, красные чулки, парик с косицей и цилиндр, сдвинутый набекрень. Всю ночь она проплясала под бешеный рев тромбонов; мужчины за ней увивались; под утро она вышла из театра в компании нескольких масок — «грузчиц» и «моряков», товарищей Леона,— они звали ее ужинать.

Ближайшие кафе были переполнены. Наконец они отыскали на набережной захудалый ресторанчик; хозяин провел их в тесный отдельный кабинет на пятом этаже.

Мужчины шептались в уголке, видимо, подсчитывая предстоящие расходы. Тут был один писец, два лекаря и один приказчик. Нечего сказать, в хорошее общество попала она! А женщины! Эмма сразу по звуку голоса определила, что все они самого низкого пошиба. Ей стало страшно, она отсела от них и опустила глаза.

Все принялись за еду. Она ничего не ела. Лоб у нее пылал, веки покалывало, по телу пробегал озноб. Ей казалось, что голова ее превратилась в бальную залу, и пол в ней трясется от мерного топота множества пляшущих ног. Потом ей стало дурно от запаха пунша и от дыма сигар. Она потеряла сознание; ее перенесли к окну.

Светало. По бледному небу, над холмом Святой Катерины, все шире растекалось пурпурное пятно. Посиневшая от холода река дрожала на ветру. Никто не шел по мостам. Фонари гасли.

Эмма между тем очнулась и вспомнила о Берте, которая спала сейчас там, в Ионвиле, в няниной комнате. В эту самую минуту мимо проехала телега с длинными листами железа; стенам домов передавалась мелкая дрожь оглушительно скрежетавшего металла.

Эмма вдруг сорвалась с места, переоделась в другой комнате, сказала Леону, что ей пора домой, и, наконец, осталась одна в гостинице «Булонь». Она испытывала от-

вращение ко всему, даже к себе самой. Ей хотелось вспорхнуть, как птица, улететь куда-нибудь далеко-далеко, в незагрязненные пространства, и обновиться душой и телом.

Она вышла на улицу и, пройдя бульвар и площадь Кошуаз, очутилась в предместье, на улице, где было больше садов, чем домов. Она шла быстрой походкой, свежий воздух действовал на нее успокаивающе, и постепенно лица, всю ночь мелькавшие перед ней, маски, танцы, люстры, ужин, девицы — все это исчезло, как подхваченные ветром хлопья тумана. Дойдя до «Красного креста», она поднялась в свой номерок на третьем этаже, где висели иллюстрации к *Нельской башне*, и бросилась на кровать. В четыре часа дня ее разбудил Ивер.

Дома Фелисите показала ей на лист серой бумаги, спрятанный за часами. Эмма прочла:

«Копия постановления суда...»

Какого еще суда? Она не знала, что накануне приносили другую бумагу, и ее ошеломили эти слова:

«Именем короля, закона и правосудия г-жа Бовари...»

Несколько строк она пропустила.

«...в двадцать четыре часа...»

Что в двадцать четыре часа?

«...уплатить сполна восемь тысяч франков».

И дальше:

«В противном случае на законном основании будет наложен арест на все ее движимое и недвижимое имущество».

Что же делать?.. Через двадцать четыре часа! Значит — завтра! Она решила, что Лере просто пугает ее. Ей казалось, что она разгадала все его маневры, поняла цель его поблажек. Громадность суммы отчасти успокоила ее.

А между тем, покупая и не платя, занимая, выдавая и переписывая векселя, суммы которых росли с каждой от-

срочкой, Эмма накопила г-ну Лере изрядный капитал, который был ему теперь очень нужен для всевозможных махинаций.

Эмма пришла к нему как ни в чем не бывало.

— Вы знаете, что произошло? Это, конечно, шутка?

— Нет.

— То есть как?

Он медленно повернулся к ней всем корпусом и, сложив на груди руки, сказал:

— Неужели вы думаете, милая барыня, что я до скончания века буду служить вам поставщиком и банкиром только ради ваших прекрасных глаз? Войдите в мое положение: надо же мне когда-нибудь вернуть мои деньги!

Эмма попыталась возразить против суммы.

— Ничего не поделаешь! Утверждено судом! Есть постановление! Вам оно объявлено официально. Да и потом, это же не я, а Венсар.

— А вы не могли бы...

— Ничего я не могу.

— Ну, а все-таки... Давайте подумаем.

И она замолола вздор: она ничего не знала, все это ей как снег на голову...

— А кто виноват? — поклонившись ей с насмешливым видом, спросил торговец.— Я из сил выбиваюсь, а вы веселитесь.

— Нельзя ли без нравоучений?

— Нравоучения всегда полезны,— возразил он.

Эмма унижалась перед ним, умоляла, даже дотронулась до его колена своими красивыми длинными белыми пальцами.

— Нет уж, пожалуйста! Вы что, соблазнить меня хотите?

— Подлец! — крикнула Эмма.

— Ого! Уж очень быстрые у вас переходы! — со смехом заметил Лере.

— Я выведу вас на чистую воду. Я скажу мужу...

— А я вашему мужу кое-что покажу!

С этими словами Лере вынул из несгораемого шкафа расписку на тысячу восемьсот франков, которую она ему выдала, когда Венсар собирался учесть ее векселя.

— Вы думаете, ваш бедный муженек не поймет, что вы сжульничали? — спросил он.

Эмму точно ударили обухом по голове. А Лере шагал от окна к столу и обратно и все твердил:

— Я непременно ему покажу... я непременно ему покажу...

Затем он приблизился к ней вплотную и вдруг перешел на вкрадчивый тон:

— Конечно, это не весело, я понимаю. Но в конце концов никто от этого не умирал, и поскольку другого пути вернуть мне деньги у вас нет...

— Где же мне их взять? — ломая руки, проговорила Эмма.

— А, будет вам! У вас же есть друзья!

И при этом он посмотрел на нее таким пронизывающим и таким страшным взглядом, что она содрогнулась.

— Я обещаю вам, я подпишу...— залепетала она.

— Довольно с меня ваших подписей!

— Я еще что-нибудь продам...

— Перестаньте! У вас ничего больше нет! — передернув плечами, прервал ее торговец и крикнул в слуховое окошко, выходившее в лавку:— Аннета! Принеси мне три отреза номер четырнадцать.

Появилась служанка. Эмма все поняла и только спросила, какая нужна сумма, чтобы прекратить дело.

— Поздно!

— А если я вам принесу несколько тысяч франков, четверть суммы, треть, почти все?

— Нет, нет, бесполезно!

Он осторожно подталкивал ее к лестнице.

— Заклинаю вас, господин Лере: еще хоть несколько дней!

Она рыдала.

— Ну вот еще! Слезы!

— Я в таком отчаянии!

— А мне наплевать! — запирая дверь, сказал г-н Лере.

VII

На другой день, когда судебный пристав г-н Аран явился к ней с двумя понятыми описывать имущество, она держала себя героически.

Начали они с кабинета Бовари, но френологическую голову описывать не стали, так как отнесли ее к «медицинским инструментам». Зато в кухне переписали блюда, горшки, стулья, подсвечники, а в спальне безделушки на этажерке. Осмотрели платья Эммы, белье, туалетную ком-

нату. Вся жизнь Эммы со всеми ее тайниками была выставлена напоказ этим трем мужчинам, точно вскрываемый труп.

Господин Аран в наглухо застегнутом черном фраке, в белом галстуке, в панталонах с туго натянутыми штрипками время от времени обращался к Эмме:

— Разрешите, сударыня! Разрешите!

Поминутно раздавались его восклицания:

— Какая хорошенькая вещица!.. Какая прелесть!

Потом г-н Аран опять принимался писать, макая перо в роговую чернильницу, которую он держал в левой руке.

Покончив с жилым помещением, поднялись на чердак.

Там у Эммы стоял пюпитр, где хранились письма Родольфа. Пришлось открыть и пюпитр.

— Ах, тут корреспонденция! — улыбаясь скромной улыбкой, сказал г-н Аран.— А все-таки разрешите мне удостовериться, что в ящике больше ничего нет.

Он стал осторожно наклонять конверты, словно для того, чтобы высыпать золото. При виде того, как эта жирная рука с красными, влажными, точно слизняки, пальцами касается тех страниц, над которыми когда-то сильно билось ее сердце, Эмма чуть было не вышла из себя.

Наконец они удалились. Вошла Фелисите. Эмма посылала ее перехватить Бовари и постараться отвлечь его внимание. Сторожа, оставленного караулить описанное имущество, они спровадили на чердак, взяв с него слово, что он оттуда не выйдет.

Вечером Эмме показалось, что Шарль чем-то озабочен. Она следила за ним встревоженным взглядом и в каждой складке на его лице читала себе обвинительный приговор. Когда же она переводила глаза на камин, заставленный китайским экраном, на широкие портьеры, на кресла, на все эти вещи, скрашивавшие ей жизнь, ее охватывало раскаяние, вернее — глубочайшее сожаление, от которого боль не только не утихала, а наоборот: становилась все мучительнее. Шарль, поставив ноги на решетку, спокойно помешивал угли в камине.

Сторож, видимо соскучившись в своем укромном уголке, чем-то стукнул.

— Там кто-то ходит? — спросил Шарль.

— Нет! — ответила Эмма.— Забыли затворить слуховое окно, и ветер хлопает рамой.

На другой день, в воскресенье, она поехала в Руан и обегала всех известных ей банкиров. Но они были за горо-

дом или в отлучке. Это ее не остановило. Она просила денег у тех немногих, кого ей удалось застать, и все твердила, что у нее сейчас крайность и что она отдаст. Иные смеялись ей в лицо. Отказом ответили все.

В два часа она побежала к Леону, постучалась. Ее не впустили. Наконец появился он сам.

— Зачем ты пришла?

— Тебе это неприятно?

— Нет... но...

Он признался, что хозяин не любит, когда у жильцов «бывают женщины».

— Мне надо с тобой поговорить,— сказала Эмма.

Он хотел было распахнуть перед ней дверь, но она остановила его:

— Нет, нет! Пойдем к нам!

И они пошли в свой номер, в гостиницу «Булонь». Войдя, Эмма выпила целый стакан воды. Она была очень бледна.

— Леон, окажи мне услугу,— обратилась она к нему.

Она стиснула ему руки и стала трясти их.

— Слушай: мне нужно восемь тысяч франков!

— Ты с ума сошла!

— Пока еще нет!

Она рассказала ему про опись, про свою беду: Шарль ничего не подозревает, свекровь ненавидит ее, отец ничем не в состоянии помочь. Но Леон должен похлопотать и во что бы то ни стало раздобыть требуемую сумму...

— Но как же я...

— Тряпка ты, а не мужчина! — крикнула она.

В ответ на это он сказал явную глупость:

— Ты сгущаешь краски. Наверное, твоему старикашке можно заткнуть рот и одной тысячей экю.

Казалось бы, тем больше у Леона оснований хоть что-нибудь предпринять. Никогда она не поверит, чтобы нельзя было достать три тысячи франков. Притом Леон может занять не для себя, а для нее.

— Ну иди! Попытайся! Это необходимо! Беги!.. Сделай все! Сделай все! Я так тебя буду любить!

Он ушел и, вернувшись через час, торжественно объявил:

— Я был у троих... Ничего не вышло.

Молча и неподвижно сидели они друг против друга по обе стороны камина. Эмма пожимала плечами, пристукивая от нетерпения каблуком. Вдруг он услышал ее шепот:

— Я бы на твоем месте, конечно, нашла.

— Да где же?

— У себя в конторе!

И она взглянула на него.

Глаза ее горели дикой отвагой, веки сладострастно и ободряюще смежались, и молодой человек чувствовал, что он не в силах противодействовать молчаливой воле этой женщины, толкающей его на преступление. Ему стало страшно, и, чтобы не ставить точек над *i*, он, хлопнув себя по лбу, воскликнул:

— Да ведь сегодня ночью должен вернуться Морель! Надеюсь, он мне не откажет. (Морель был сын богатого коммерсанта, приятель Леона.) Завтра я привезу тебе деньги,— добавил он.

Эмма, видимо, не очень обрадовалась. Быть может, она подозревала ложь? Леон покраснел.

— Но если до трех часов меня не будет, ты уж меня не жди, дорогая,— предупредил он.— А теперь прости — мне пора. Прощай!

Он пожал ей руку, но ответного пожатия не ощутил. Эмма уже ничего не чувствовала, кроме душевной пустоты.

Пробило четыре часа, и она по привычке, как автомат, встала с места — надо было ехать обратно в Ионвиль.

Погода стояла прекрасная. Был один из тех ясных и свежих мартовских дней, когда солнце сияет на белом-белом небе. Руанцы, нарядные ради воскресного дня, разгуливали и, казалось, наслаждались жизнью. Эмма дошла до соборной площади. Только что кончилась служба, и народ расходился. Толпа, словно река из трех пролетов моста, текла из трех церковных дверей, а у главного входа неподвижной скалой высился привратник.

И тут Эмма припомнила день, когда, полная надежд и сомнений, входила она под эти своды, а любовь ее в тот миг была еще глубже громадного храма. Она плохо сознавала, что с ней творится, но все же продолжала идти, хотя ноги у нее подкашивались, а из глаз текли под вуалью слезы.

— Берегись! — крикнул голос из распахнувшихся ворот.

Она остановилась и пропустила вороную лошадь, приплясывавшую в оглоблях тильбюри, которым правил какой-то джентльмен в собольей шубе. Кто бы это мог быть? Эмма его где-то видела... Лошадь рванула и укатила.

Да это же виконт! Эмма оглянулась — улица была пу-

ста. Подавленная, измученная, Эмма прислонилась к стене, чтобы не упасть.

Потом она подумала, что, вероятно, ошиблась. Вообще она уже ничего не понимала. Все в ней самой и вокруг нее было ненадежно. Она чувствовала, что погибает, чувствовала, что катится в пропасть. И она даже обрадовалась милому Оме,— держа в руке платок с полдюжиной «тюрбанчиков» для своей супруги, он стоял во дворе «Красного креста» и наблюдал за тем, как в «Ласточку» грузят большой ящик с аптекарскими товарами.

«Тюрбанчики» — тяжелые хлебцы в виде чалмы, которые принято есть постом и непременно — с соленым маслом,— г-жа Оме очень любила. Это единственный уцелевший образец средневековой кулинарии, восходящий, быть может, ко времени крестовых походов: такими хлебцами, вероятно, наедались досыта могучие нормандцы, которым при желтом свете факелов казалось, будто на столах среди кувшинов с вином и громадных окороков выставлены им на съедение головы сарацинов. Аптекарша, несмотря на скверные зубы, грызла тюрбанчики с героическим упорством, поэтому г-н Оме, всякий раз, когда бывал в Руане, покупал их для нее в лучшей булочной на улице Масакр.

— Какая приятная встреча! — сказал он, подсаживая Эмму в «Ласточку».

Затем привязал тюрбанчики к ремню багажной сетки, снял шляпу и, скрестив руки, принял наполеоновскую задумчивую позу. Но когда у подножья горы, по обыкновению, показался слепой, он воскликнул:

— Не понимаю, как это власти до сих пор терпят столь предосудительный промысел! Таких несчастных нужно отделить от общества и приучить к труду! Прогресс двигается черепашьим шагом, честное слово! Мы недалеко ушли от варваров!

Слепой протягивал шляпу, и она тряслась у края занавески, словно отставший клочок обоев.

— Последствие золотухи! — возгласил фармацевт.

Он прекрасно знал этого горемыку, но притворился, будто видит его впервые, и стал сыпать специальными выражениями: роговая оболочка, склера, габитус, фациес, а затем отеческим тоном заговорил с ним:

— И давно ты, мой друг, болеешь этой ужасной болезнью? Вместо того чтобы шататься по кабакам, ты бы лучше придерживался определенного режима.

Он советовал ему пить хорошее вино, хорошее пиво,

есть хорошее жаркое. Слепой все тянул свою песенку. Вообще он казался полуидиотом. Наконец г-н Оме открыл кошелек.

— На вот тебе су, дай мне два лиара сдачи. И не забывай моих советов — они тебе пригодятся.

Ивер не постеснялся выразить по этому поводу сомнение. Но аптекарь, заявив, что берется вылечить слепого с помощью противовоспалительной мази собственного приготовления, дал ему свой адрес:

— Господин Оме, возле рынка, меня все знают.

— Ну, а теперь за то, что побеспокоил господ, представь нам комедию,— сказал Ивер.

Слепой присел на корточки, запрокинул голову, высунул язык и, вращая глазами, затекшими зеленоватым гноем, стал тереть обеими руками живот и глухо, как голодная собака, завыл. Почувствовав отвращение, Эмма бросила ему через плечо пятифранковую монету. Это было все ее достояние. Она тут же подумала, что лучше нельзя было его промотать.

Дилижанс поехал дальше, но г-н Оме вдруг высунулся в окошко и крикнул:

— Ни мучного, ни молочного! Носить шерстяное белье и подвергать пораженные участки действию можжевелового дыма!

Знакомые предметы, мелькавшие перед глазами Эммы, отвлекали ее от мрачных дум. Она чувствовала во всем теле страшную усталость; домой она вернулась в каком-то отупении, изнеможении, полусне.

«Будь что будет!» — решила она.

— А потом, кто знает? Всегда может произойти что-нибудь необычайное. Например, скоропостижно умрет Лере.

В девять часов утра ее разбудил шум на площади. У рынка, около столба, на котором было наклеено большое объявление, собрался народ, а Жюстен, стоя на тумбе, срывал объявление. Но в эту минуту его схватил за шиворот сельский стражник. Из аптеки вышел г-н Оме. В центре толпы стояла и, по-видимому, о чем-то распространялась тетушка Лефрансуа.

— Барыня! Барыня! — крикнула, вбегая, Фелисите.— Вот безобразие!

С этими словами бедная девушка, вся дрожа от волнения, протянула Эмме лист желтой бумаги, который она сейчас сорвала с двери. Эмма, только взглянув, поняла все: это объявление о распродаже ее имущества.

Барыня и служанка молча переглянулись. У них не было тайн друг от друга. Фелисите вздохнула.

— Я бы на вашем месте, барыня, пошла к Гильомену.

— Ты думаешь?

Этим вопросом она хотела сказать:

«Через слугу тебе известно все. Разве хозяин говорил когда-нибудь обо мне?»

— Да, да, пойдите к нему, это самое лучшее.

Госпожа Бовари надела черное платье и шляпку с отделкой из стекляруса. Чтобы ее не увидели (на площади все еще толпился народ), она пошла задворками, берегом реки.

Добежав до калитки нотариуса, она еле перевела дух. Было пасмурно, падал снежок.

На звонок вышел Теодор в красном жилете; он встретил Эмму почти фамильярно, как свою приятельницу, и провел прямо в столовую.

Под кактусом, который заполнял всю нишу, гудела большая изразцовая печь; на стенах, оклеенных обоями под цвет дуба, висели в черных деревянных рамах *Эсмеральда* Штейбена и *Жена Потифара* Шопена. Накрытый стол, две серебряные грелки, хрустальная дверная ручка, паркет, обстановка — все сверкало безукоризненной, английской чистотой. В уголки окон были вставлены для красоты цветные стекла.

«Мне бы такую столовую»,— подумала Эмма.

Вошел нотариус; левой рукой он придерживал расшитый пальмовыми листьями халат, а другой рукой то приподнимал, то опять надевал коричневую бархатную шапочку, кокетливо сдвинутую на правый бок — туда, где свисали три белесые пряди, которые, расходясь на затылке, обвивали его голый череп.

Предложив Эмме кресло, Гильомен извинился за бесцеремонность и сел завтракать.

— У меня к вам просьба...— так начала Эмма.

— Какая просьба, сударыня? Я вас слушаю.

Она начала излагать суть дела.

Господин Гильомен все уже знал от самого торговца тканями, с которым он не раз под шумок обделывал дела: когда нотариуса просили устроить ссуду под закладные, г-н Лере охотно давал ему деньги.

Таким образом вся эта длинная история представлялась ему яснее, чем самой Эмме: ее векселя, сначала мелкие, бланкированные разными лицами, надолго отсрочен-

ные, без конца переписывались, пока в один прекрасный день купец не собрал все протесты и не поручил своему приятелю подать в суд, но только от своего имени, ибо прослыть у своих сограждан живоглотом он считал для себя невыгодным.

Эмма перебивала свой рассказ упреками по адресу Лере, на которые нотариус время от времени отвечал ничего не значащими словами. Синий галстук, заколотый двумя брильянтовыми булавками, соединенными золотой цепочкой, подпирал ему подбородок, он ел котлету, пил чай и все улыбался какой-то странной улыбкой, слащавой и двусмысленной. Потом вдруг обратил внимание, что у посетительницы промокли ноги:

— Сядьте поближе к печке... А ноги повыше... Поближе к кафелям.

Эмма боялась их запачкать.

— Красивое ничего не может испортить,— галантно заметил нотариус.

Эмма попыталась растрогать его и, постепенно проникаясь жалостью к самой себе, заговорила с ним о своем скудном достатке, о домашних дрязгах, о своих потребностях. Он все это понимал: еще бы, такая элегантная женщина! Не переставая жевать, он повернулся к ней всем корпусом, так что колено его касалось теперь ее ботинка, от приставленной к теплой печке и коробившейся подошвы которого шел пар.

Но когда Эмма попросила у него тысячу экю, он поджал губы и сказал, что напрасно она раньше не уполномочила его распорядиться ее состоянием,— ведь есть же много приемлемых и для женщины способов получать прибыль. Можно было почти без всякого риска отлично заработать на грюменильских торфяных разработках, на гаврских земельных участках. Он называл сногсшибательные цифры ее возможных доходов, и это приводило ее в бешенство.

— Почему же вы не обратились ко мне? — спросил он.

— Сама не знаю,— ответила она.

— Почему же все-таки?.. Неужели вы меня боялись? Значит, это я должен жаловаться на судьбу, а не вы! Мы с вами были едва знакомы! А между тем я вам всей душой предан. Надеюсь, теперь вы в этом не сомневаетесь?

Он взял ее руку, припал к ней жадными губами, потом положил себе на колено и, бережно играя пальцами Эммы, стал рассыпаться в изъявлениях нежности.

Его монотонный голос журчал, как ручей, сквозь отсве-

чивавшие очки было видно, как в его зрачках вспыхивают искры, а пальцы все выше забирались к Эмме в рукав. Она чувствовала на своей щеке его прерывистое дыхание. Он был ей мерзок.

— Милостивый государь, я жду! — вскочив с места, сказала она.

— Чего ждете? — спросил нотариус; он был сейчас бледен как смерть.

— Денег.

— Но...

Искушение было слишком велико.

— Ну, хорошо!..— сказал г-н Гильомен.

Не обращая внимания на халат, он пополз к ней на коленях:

— Останьтесь, умоляю! Я вас люблю!

Он обхватил рукой ее стан.

Вся кровь бросилась Эмме в голову. Она дико посмотрела на него и отпрянула.

— Как вам не стыдно, милостивый государь! — крикнула она.— Воспользоваться моим бедственным положением!.. Меня можно погубить, но меня нельзя купить!

И выбежала из комнаты.

Господин Гильомен тупо уставился на свои прекрасные ковровые туфли — это был дар любящего сердца. Наглядевшись на них, он понемногу утешился. А кроме того, он подумал, что такого рода похождение могло бы слишком далеко его завести.

«Негодяй! Хам!.. Какая низость!» — шептала Эмма, идя нервной походкой под придорожными осинами. К чувству оскорбленной стыдливости примешивалось горестное сознание, что последняя ее надежда рухнула. Ей пришло на ум, что ее преследует само провидение, и мысль эта наполнила ее гордостью — никогда еще не была она такого высокого мнения о себе и никогда еще так не презирала людей. На нее нашло какое-то исступление. Ей хотелось бить всех мужчин, плевать им в лицо, топтать их ногами. Бледная, дрожащая, разъяренная, она быстро шла вперед, глядя сквозь слезы в пустынную даль, испытывая какое-то злобное наслаждение.

Завидев свой дом, она вдруг почувствовала полный упадок сил. Ноги не слушались ее, а не идти она не могла — куда же ей было деваться?

Фелисите ждала ее у входа.

— Ну что?

— Сорвалось! — сказала Эмма.

Минут пятнадцать перебирали они всех ионвильцев, которые могли бы ей помочь. Но стоило Фелисите назвать кого-нибудь, как у Эммы тотчас находились возражения.

— Ну что ты! Разве они согласятся!

— А ведь сейчас барин придет!

— Я знаю... Оставь меня.

Она испробовала все. Круг замкнут. Когда Шарль придет, она скажет ему начистоту:

— Уходи отсюда. Ковер, по которому ты ступаешь, уже не наш. От всего твоего дома у тебя не осталось ни одной вещи, ни одной булавки, ничего как есть, и это я разорила тебя, несчастный ты человек!

Тут Шарль разрыдается, а когда выплачется, когда первый порыв отчаяния пройдет, он простит ее.

— Да,— шептала она, скрежеща зубами,— он простит меня, а я и за миллион не простила бы Шарлю того, что я досталась ему... Никогда! Никогда!

Эта мысль о моральном превосходстве Шарля выводила ее из себя. Как бы то ни было, созна́ется она или не сознается, все равно — сейчас, немного погодя или завтра, но он узнает о катастрофе. Значит, мучительного разговора не избежать, она неминуемо должна будет принять на себя всю тяжесть его великодушия. Не сходить ли еще раз к Лере? Но какой смысл? Написать отцу? Поздно. Быть может, она уже теперь жалела, что отказала нотариусу, но тут внезапно послышался конский топот. Это подъехал Шарль, он уже отворил калитку; он был белее мела. Эмма пустилась стрелой, вниз по лестнице, перебежала площадь. Жена мэра, остановившаяся у церкви с Лестибудуа, видела, как она вошла к податному инспектору.

Госпожа Тюваш побежала к г-же Карон поделиться новостью. Обе дамы поднялись на чердак и, спрятавшись за развешанным на жердях бельем, устроились так, чтобы видеть все, что происходит у Бине.

Сидя один в своей мансарде, он вытачивал из дерева копию одного из тех не поддающихся описанию и никому не нужных костяных изделий, которые состоят из полумесяцев, шариков, вставленных один в другой, а вместе образуют сооружение прямое, точно обелиск. Податному инспектору осталось выточить последнюю деталь, он был почти у цели! В полумраке мастерской из-под резца летела белая пыль, похожая на искровой фонтан, бьющий из-под копыт скакуна. Колеса крутились, скрипели. Склонившись

над станком, Бине раздувал ноздри и улыбался; по-видимому, он испытывал чувство полного удовлетворения, того удовлетворения, какое могут дать только примитивные занятия, радующие легкими трудностями и заставляющие успокаиваться на достигнутом, ибо дальше стремиться уже не к чему.

— Ага! Вот она! — сказала г-жа Тюваш.

Но станок так скрежетал, что слов Эммы не было слышно.

Наконец обеим дамам показалось, что до них долетело слово «франки».

— Она просит его не брать с нее сейчас налогов,— шепнула г-жа Тюваш.

— Это предлог! — заметила г-жа Карон.

Им было видно, как Эмма ходила по мастерской, рассматривала висевшие на стенах кольца для салфеток, подсвечники, шары для перил и с каким самодовольным выражением лица поглаживал подбородок Бине.

— Может, она хочет что-нибудь ему заказать? — высказала предположение г-жа Тюваш.

— Да он ничего не продает! — возразила соседка.

Податной инспектор, видимо, слушал, но, как ни таращил глаза, ничего не мог взять в толк. Эмма продолжала говорить, смотря на него нежным, умоляющим взором. Потом она подошла к нему вплотную; грудь ее высоко поднималась; оба не произносили ни слова.

— Неужели она с ним заигрывает? — спросила г-жа Тюваш.

Бине покраснел до ушей. Эмма взяла его за руку.

— Это уж бог знает что такое!

Эмма, бесспорно, делала ему какое-то гнусное предложение, потому что податной инспектор — а он был не из робких: он сражался за родину под Баутценом и Лютценом и был даже «представлен к кресту» — вдруг, точно завидев змею, шарахнулся от Эммы и крикнул:

— Милостивая государыня! Да вы в своем уме?..

— Таких женщин сечь надо! — сказала г-жа Тюваш.

— Да где же она? — спросила г-жа Карон.

А Эммы уже и след простыл. Некоторое время спустя они снова увидели ее: она бежала по Большой улице, а потом повернула направо, как будто бы к кладбищу, и это окончательно сбило их с толку.

— Тетушка Роле, мне душно!..— войдя к кормилице, сказала Эмма.— Распустите мне шнуровку.

Эмма рухнула на кровать. Она рыдала. Тетушка Роле накрыла ее юбкой и стала возле кровати. Но г-жа Бовари не отвечала ни на какие вопросы, и кормилица опять села за прялку.

— Ох! Перестаньте! — вообразив, что это станок Бине, прошептала Эмма.

«Что с ней? — думала кормилица.— Зачем она ко мне пришла?»

Эмму загнал сюда страх — она не в силах была оставаться дома.

Лежа на спине, она неподвижным, остановившимся взглядом смотрела прямо перед собой, и хотя разглядывала предметы с каким-то тупым вниманием, а все же различала их неясно. Она не отрывала глаз от трещин на стене, от двух дымящихся головешек и от продолговатого паука, сновавшего у нее над головой по щели в балке. Наконец ей удалось привести мысли в порядок. Она вспомнила... Однажды она шла с Леоном... О, как это было давно!.. Река сверкала на солнце, благоухал ломонос... Воспоминания понесли ее, как бурный поток, и она припомнила вчерашний день.

— Который час? — спросила она.

Тетушка Роле вышла во двор, протянула руку к самой светлой части неба и не спеша вернулась домой.

— Скоро три,— объявила она.

— Спасибо! Спасибо!

Сейчас приедет Леон. Наверное приедет! Он достал денег. Но ведь он не знает, что она здесь,— скорее всего он пройдет прямо к ней. Эмма велела кормилице сбегать за ним.

— Только скорей!

— Иду, иду, милая барыня!

Теперь Эмма не могла понять, почему она не подумала о нем с самого начала. Вчера он дал слово, он не подведет. Она живо представила себе, как она войдет к Лере и выложит на стол три кредитных билета. Потом еще надо будет как-нибудь объяснить Бовари. Но что можно придумать?

Кормилица между тем все не шла. Часов в лачуге не было, и Эмма успокоила себя, что это для нее так тянется время. Она решила прогуляться по саду, медленным шагом прошлась мимо изгороди, а затем, в надежде, что

кормилица шла обратно другой дорогой, быстро вернулась. Наконец, истерзанная ожиданием, отбиваясь от роя сомнений, не зная, как долго томится она здесь — целый век или одну минуту, она села в уголок, закрыла глаза, заткнула уши. Скрипнула калитка. Она вскочила. Не успела она задать кормилице вопрос, как та уже выпалила:

— К вам никто не приезжал!

— Как?

— Никто, никто! А барин плачет. Он вас зовет. Вас ищут.

Эмма ничего не сказала в ответ. Ей было трудно дышать, она смотрела вокруг блуждающим взглядом. Кормилица, увидев, какое у нее лицо, невольно попятилась: ей показалось, что г-жа Бовари сошла с ума. Вдруг Эмма вскрикнула и ударила себя по лбу: точно яркая молния во мраке ночи, прорезала ей сознание мысль о Родольфе. Он был такой добрый, такой деликатный, такой великодушный! Если даже он начнет колебаться, она заставит его оказать ей эту услугу: довольно одного ее взгляда, чтобы в душе у Родольфа воскресла любовь. И она отправилась в Ла Юшет, не отдавая себе отчета, что теперь она сама идет на то, что еще так недавно до глубины души возмутило ее,— не помышляя о том, какой это для нее позор.

VIII

«Что ему сказать? С чего начать?» — думала она дорогой. Все ей здесь было знакомо: каждый кустик, каждое дерево, бугор, поросший дроком, усадьба вдали. Она вновь ощущала в себе первоначальную нежность, ее бедное пустовавшее сердце наполнялось влюбленностью. Теплый ветер дул ей в лицо; снег таял и по капле стекал на траву с еще не развернувшихся почек.

Она, как прежде, вошла в парк через калитку, оттуда во двор, окаймленный двумя рядами раскидистых лип. Их длинные ветви качались со свистом. На псарне залаяли дружно собаки. Но как они ни надрывались, на крыльцо не вышел никто.

Эмма поднялась по широкой, без поворотов, лестнице с деревянными перилами; наверху был коридор с грязным плиточным полом: туда, точно в монастыре или в гостинице, выходил длинный ряд комнат. Комната Родольфа была в самом конце, налево. Когда Эмма взялась за ручку две-

ри, силы внезапно оставили ее. Она боялась, что не застанет Родольфа, и вместе с тем как будто бы хотела, чтобы его не оказалось дома, хотя это была ее единственная надежда, последний якорь спасения. Она сделала над собой усилие и, черпая бодрость в сознании, что это необходимо, вошла.

Он сидел у камина, поставив ноги на решетку, и курил трубку.

— Ах, это вы! — сказал он, вскакивая со стула.

— Да, это я!.. Родольф, я хочу с вами посоветоваться.

Но слова застряли у нее в горле.

— А вы не изменились, все такая же очаровательная!

— Значит, не настолько уж сильны мои чары, если вы ими пренебрегли,— с горечью заметила она.

Родольф стал объяснять, почему он так поступил с ней, и, не сумев придумать ничего убедительного, напустил туману.

Эмму подкупали не столько слова Родольфа, сколько его голос и весь его облик. Она притворилась, будто верит, а может быть, и в самом деле поверила, что причиной их разрыва была некая тайна, от которой зависела честь и даже жизнь третьего лица.

— Все равно я очень страдала,— глядя на него грустными глазами, сказала она.

— Такова жизнь! — с видом философа изрек Родольф.

— По крайней мере, жизнь улыбалась вам с тех пор, как мы расстались? — спросила Эмма.

— Ни улыбалась, ни хмурилась...

— Пожалуй, нам лучше было бы не расставаться?..

— Да, пожалуй!

— Ты так думаешь? — придвинувшись к нему, сказала она со вздохом.— О Родольф! Если б ты знал!.. Я тебя так любила!

Только тут решилась она взять его за руку, и на некоторое время их пальцы сплелись — как тогда, в первый раз, на выставке. Он из самолюбия боролся с прихлынувшей к его сердцу нежностью. А Эмма, прижимаясь к его груди, говорила:

— Как я могла жить без тебя! Нельзя отвыкнуть от счастья! Я была в таком отчаянии! Думала, что не переживу! Я потом все тебе расскажу. А ты... ты не хотел меня видеть!..

В самом деле, все эти три года, из трусости, характерной для сильного пола, он старательно избегал ее.

— Ты любил других, признайся! — покачивая головой и ластясь к нему, точно ласковая кошечка, говорила Эмма.— О, я их понимаю, да! Я им прощаю. Ты, верно, соблазнил их так же, как меня. Ты — настоящий мужчина! Ты создан для того, чтобы тебя любили. Но мы начнем сначала, хорошо? Мы опять полюбим друг друга! Смотри: я смеюсь, я счастлива... Ну, говори же!

В глазах у нее дрожали слезы: так после грозы в голубой чашечке цветка дрожат дождевые капли,— в эту минуту Эммой нельзя было не залюбоваться.

Он посадил ее к себе на колени и начал осторожно проводить тыльной стороной руки по ее гладко зачесанным волосам, по которым золотою стрелкою пробегал в сумерках последний луч заходящего солнца. Она опустила голову. Родольф едва прикоснулся губами к ее векам.

— Ты плачешь! — проговорил он.— О чем?

Эмма разрыдалась. Родольф подумал, что это взрыв накопившихся чувств. Когда же она затихла, он принял это за последний приступ стыдливости.

— О, прости меня! — воскликнул он.— Ты — моя единственная. Я был глуп и жесток! Я люблю тебя и буду любить всегда!.. Скажи мне, что с тобой?

Он стал на колени.

— Ну так вот... Я разорилась, Родольф! Дай мне взаймы три тысячи франков!

— Но... но...— уже с серьезным лицом начал он, медленно вставая с колен.

— Понимаешь,— быстро продолжала она,— мой муж поместил все свои деньги у нотариуса, а тот сбежал. Мы наделали долгов, пациенты нам не платили. Впрочем, ликвидация еще не кончена, деньги у нас будут. Но пока что не хватает трех тысяч, нас описали, описали сегодня, сейчас, и я, в надежде на твое дружеское участие, пришла к тебе.

«Ах, так вот зачем она пришла!» — мгновенно побледнев, подумал Родольф.

А вслух совершенно спокойно сказал:

— У меня нет таких денег, сударыня.

Он говорил правду. Будь они у него, он бы, конечно, дал, хотя вообще делать такие широкие жесты не очень приятно: из всех злоключений, претерпеваемых любовью, самое расхолаживающее, самое убийственное — это денежная просьба.

Некоторое время она смотрела на него не отрываясь.

— У тебя таких денег нет!

Она несколько раз повторила:

— У тебя таких денег нет!.. Зачем же мне еще это последнее унижение? Ты никогда не любил меня! Ты ничем не лучше других.

Она выдавала, она губила себя.

Родольф, прервав ее, начал доказывать, что он сам «в стесненных обстоятельствах».

— Мне жаль тебя! — сказала Эмма.— Да, очень жаль!..

На глаза ей попался блестевший на щите карабин с насечкой.

— Но бедный человек не отделывает ружейный приклад серебром! Не покупает часов с перламутровой инкрустацией! — продолжала она, указывая на булевские часы.— Не заводит хлыстов с золочеными рукоятками! — Она потрогала хлысты.— Не вешает брелоков на цепочку от часов! О, у него все есть! Даже погребец! Ты за собой ухаживаешь, живешь в свое удовольствие, у тебя великолепный дом, фермы, лес, псовая охота, ты ездишь в Париж... Ну вот хотя бы это! — беря с камина запонки, воскликнула Эмма.— Здесь любой пустяк можно превратить в деньги!.. Нет, мне их не надо! Оставь их себе!

И тут она с такой силой швырнула запонки, что когда они ударились об стену, то порвалась золотая цепочка.

— А я бы отдала тебе все, я бы все продала, я бы работала на тебя, пошла бы милостыню просить за одну твою улыбку, за один взгляд, только за то, чтобы услышать от тебя спасибо. А ты спокойно сидишь в кресле, как будто еще мало причинил мне горя! Знаешь, если б не ты, я бы еще могла быть счастливой! Кто тебя просил? Или, чего доброго, ты бился об заклад? Но ведь ты же любил меня, ты сам мне говорил... Только сейчас... Ах, лучше бы ты выгнал меня! У меня еще руки не остыли от твоих поцелуев. Вот здесь, на этом ковре, ты у моих ног клялся мне в вечной любви. И ты меня уверил. Ты целых два года погружал меня в сладкий, волшебный сон!.. А наши планы путешествия ты позабыл? Ах, твое письмо, твое письмо! И как только сердце у меня не разорвалось от горя!.. А теперь, когда я прихожу к нему — к нему, богатому, счастливому, свободному — и молю о помощи, которую оказал бы мне первый встречный, когда я заклинаю его и вновь приношу ему в дар всю свою любовь, он меня отвергает, оттого что это ему обойдется в три тысячи франков!

— У меня таких денег нет! — проговорил Родольф с тем невозмутимым спокойствием, которое словно щитом прикрывает сдержанную ярость.

Эмма вышла. Стены качались, потолок давил ее. Потом она бежала по длинной аллее, натыкаясь на кучи сухих листьев, разлетавшихся от ветра. Вот и канава, вот и калитка. Второпях отворяя калитку, Эмма обломала себе ногти о засов. Она прошла еще шагов сто, совсем задохнулась, чуть не упала и поневоле остановилась. Ей захотелось оглянуться, и она вновь охватила взглядом равнодушный дом, парк, сады, три двора и окна фасада.

Она вся точно окаменела; она чувствовала, что еще жива, только по сердцебиению, которое казалось ей громкой музыкой, разносившейся далеко окрест. Земля у нее под ногами колыхалась, точно вода, борозды вставали перед ней громадными бушующими бурыми волнами. Все впечатления, все думы, какие только были у нее в голове, вспыхнули разом, точно огни грандиозного фейерверка. Она увидела своего отца, кабинет Лере, номер в гостинице «Булонь», другую местность. Она чувствовала, что сходит с ума; ей стало страшно, и она попыталась переломить себя, но это ей удалось только отчасти: причина ее ужасного состояния — деньги — выпала у нее из памяти. Она страдала только от своей любви, при одном воспоминании о ней душа у нее расставалась с телом — так умирающий чувствует, что жизнь выходит из него через кровоточащую рану.

Ложились сумерки, кружились вороны.

Вдруг ей почудилось, будто в воздухе взлетают огненные шарики, похожие на светящиеся пули; потом они сплющивались, вертелись, вертелись, падали в снег, опушивший ветви деревьев, и гасли. На каждом из них возникало лицо Родольфа. Их становилось все больше, они вились вокруг Эммы, пробивали ее навылет. Потом все исчезло. Она узнала мерцавшие в тумане далекие огни города.

И тут правда жизни разверзлась перед ней, как пропасть. Ей было мучительно больно дышать. Затем, в приливе отваги, от которой ей стало почти весело, она сбежала с горы, перешла через речку, миновала тропинку, бульвар, рынок и очутилась перед аптекой.

Там было пусто. Ей хотелось туда проникнуть, но на звонок кто-нибудь мог выйти. Затаив дыхание, держась за стены, она добралась до кухонной двери — в кухне на

плите горела свеча. Жюстен, в одной рубашке, нес в столовую блюдо.

«А, они обедают! Придется подождать».

Жюстен вернулся. Она постучала в окно. Он вышел к ней.

— Ключ! От верха, где...

— Что вы говорите?

Жюстен был поражен бледностью ее лица — на фоне темного вечера оно вырисовывалось белым пятном. Ему показалось, что она сейчас как-то особенно хороша собой, величественна, точно видение. Он еще не понимал, чего она хочет, но уже предчувствовал что-то ужасное.

А она, не задумываясь, ответила ему тихим, нежным, завораживающим голосом:

— Мне нужно! Дай ключ!

Сквозь тонкую переборку из столовой доносился стук вилок.

Она сказала, что ей не дают спать крысы и что ей необходима отрава.

— Надо бы спросить хозяина!

— Нет, нет, не ходи туда! — встрепенулась Эмма и тут же хладнокровно добавила: — Не стоит! Я потом сама ему скажу. Посвети мне!

Она вошла в коридор. Из коридора дверь вела в лабораторию. На стене висел ключ с ярлычком: «От склада».

— Жюстен!— раздраженно крикнул аптекарь.

— Идем!

Жюстен пошел за ней.

Ключ повернулся в замочной скважине, и, руководимая безошибочной памятью, Эмма подошла прямо к третьей полке, схватила синюю банку, вытащила пробку, засунула туда руку и, вынув горсть белого порошка, начала тут же глотать.

— Что вы делаете? — кидаясь к ней, крикнул Жюстен.

— Молчи! А то придут...

Он был в отчаянии, он хотел звать на помощь.

— Не говори никому, иначе за все ответит твой хозяин!

И, внезапно умиротворенная, почти успокоенная сознанием исполненного долга, Эмма удалилась.

Когда Шарль, потрясенный вестью о том, что у него описали имущество, примчался домой, Эмма только что вышла. Он кричал, плакал, он потерял сознание, а она все не приходила. Где же она могла быть? Он посылал

Фелисите к Оме, к Тювашу, к Лере, в «Золотой лев», всюду. Как только душевная боль утихала, к нему тотчас же возвращалась мысль о том, что он лишился прежнего положения, потерял состояние, что будущее дочери погублено. Из-за чего? Полная неясность. Он прождал до шести вечера. Наконец, вообразив, что Эмма уехала в Руан, он почувствовал, что не может больше сидеть на месте, вышел на большую дорогу, прошагал с полмили, никого не встретил, подождал еще и вернулся.

Она была уже дома.

— Как это случилось?.. Почему? Объясни!..

Эмма села за свой секретер, написала письмо и, проставив день и час, медленно запечатала.

— Завтра ты это прочтешь,— торжественно заговорила она.— А пока, будь добр, не задавай мне ни одного вопроса!.. Ни одного!

— Но...

— Оставь меня!

С этими словами она вытянулась на постели.

Ее разбудил терпкий вкус во рту. Она увидела Шарля, потом снова закрыла глаза.

Она с любопытством наблюдала за собой, старалась уловить тот момент, когда начнутся боли. Нет, пока еще нет! Она слышала тиканье часов, потрескиванье огня и дыханье Шарля, стоявшего у ее кровати.

«Ах, умирать совсем не страшно! — подумала она.— Я сейчас засну, и все будет кончено».

Она выпила воды и повернулась лицом к стене.

Отвратительный чернильный привкус все не проходил.

— Хочу пить!.. Ах, как я хочу пить! — со вздохом вымолвила она.

— Что с тобой? — подавая ей стакан воды, спросил Шарль.

— Ничего!.. Открой окно... Мне душно.

И тут ее затошнило — так внезапно, что она едва успела вытащить из-под подушки носовой платок.

— Унеси! Выбрось! — быстро проговорила она.

Шарль стал расспрашивать ее — она не отвечала. Боясь, что от малейшего движения у нее опять может начаться рвота, она лежала пластом. И в то же время чувствовала, как от ног к сердцу идет пронизывающий холод.

— Ага! Началось! — прошептала она.

— Что ты сказала?

Эмма томилась; она медленно вертела головой, все вре-

мя раскрывая рот, точно на языке у нее лежало что-то очень тяжелое. В восемь часов ее опять затошнило.

Шарль обратил внимание, что к стенкам фарфорового таза пристали какие-то белые крупинки.

— Странно! Непонятно! — несколько раз повторил он.

Но она громко произнесла:

— Нет, ты ошибаешься!

Тогда он осторожно, точно гладя, дотронулся до ее живота. Она дико закричала. Он в ужасе отскочил.

Потом она начала стонать, сперва еле слышно. Плечи у нее ходили ходуном, а сама она стала белее простыни, в которую впивались ее сведенные судорогой пальцы. Ее неровный пульс был теперь почти неуловим.

При взгляде на посиневшее лицо Эммы, все в капельках пота, казалось, что оно покрыто свинцовым налетом. Зубы у нее стучали, расширенные зрачки, должно быть, неясно различали предметы, на все вопросы она отвечала кивками; впрочем, нашла в себе силы несколько раз улыбнуться. Между тем кричать она стала громче. Внезапно из груди у нее вырвался глухой стон. После этого она объявила, что ей хорошо, что она сейчас встанет. Но тут ее схватила судорога.

— Ах, боже мой, как больно! — крикнула она.

Шарль упал перед ней на колени.

— Скажи, что ты ела? Ответь мне, ради всего святого!

Он смотрел на нее с такой любовью, какой она никогда еще не видела в его глазах.

— Ну, там... там!..— сдавленным голосом проговорила она.

Он бросился к секретеру, сорвал печать, прочитал вслух: «Прошу никого не винить...» — остановился, провел рукой по глазам, затем прочитал еще раз.

— Что такое?.. На помощь! Сюда!

Он без конца повторял только одно слово: «Отравилась! Отравилась!» Фелисите побежала за фармацевтом — у него невольно вырвалось это же самое слово, в «Золотом льве» его услышала г-жа Лефрансуа, жители вставали и с тем же словом на устах бежали к соседям,— городок не спал всю ночь.

Спотыкаясь, бормоча, Шарль как потерянный метался по комнате. Он натыкался на мебель, рвал на себе волосы — аптекарю впервые пришлось быть свидетелем такой душераздирающей сцены.

Потом Шарль прошел к себе в кабинет и сел писать

г-ну Каниве и доктору Ларивьеру. Но мысли у него путались — он переписывал не менее пятнадцати раз. Ипполит поехал в Невшатель, а Жюстен загнал лошадь Бовари по дороге в Руан и бросил ее, околевающую, на горе Буа-Гильом.

Шарль перелистывал медицинский справочник, но ничего не видел: строчки прыгали у него перед глазами.

— Не волнуйтесь! — сказал г-н Оме.— Нужно только ей дать какое-нибудь сильное противоядие. Чем она отравилась?

Шарль показал письмо — мышьяком.

— Ну так надо сделать анализ,— заключил Оме.

Он знал, что при любом случае отравления рекомендуется делать анализ. Шарль машинально подхватил:

— Сделайте, сделайте! Спасите ее...

Он опять подошел к ней, опустился на ковер и, уронив голову на кровать, разрыдался.

— Не плачь! — сказала она.— Скоро я перестану тебя мучить!

— Зачем? Что тебя толкнуло?

— Так надо, друг мой,— возразила она.

— Разве ты не была со мной счастлива? Чем я виноват? Я делал все, что мог!

— Да... правда... ты — добрый!

Она медленно провела рукой по его волосам. От этой ласки ему стало еще тяжелее. Он чувствовал, как весь его внутренний мир рушится от одной нелепой мысли, что он ее теряет — теряет, как раз когда она особенно с ним нежна; он ничего не мог придумать, не знал, как быть, ни на что не отваживался, необходимость принять решительные меры повергала его в крайнее смятение.

А она в это время думала о том, что настал конец всем обманам, всем подлостям, всем бесконечным вожделениям, которые так истомили ее. Теперь она уже ни к кому не питала ненависти, мысль ее окутывал сумрак, из всех звуков земли она различала лишь прерывистые, тихие, невнятные жалобы своего бедного сердца, замиравшие, точно последние затихающие аккорды.

— Приведите ко мне дочку,— приподнявшись на локте, сказала она.

— Тебе уже не больно? — спросил Шарль.

— Нет, нет!

Няня принесла хмурую со сна девочку в длинной ночной рубашке, из-под которой выглядывали босые ножки.

Берта обводила изумленными глазами беспорядок, царивший в комнате, и жмурилась от огня свечей, горевших на столах. Все это, вероятно, напоминало ей Новый год или середину поста, когда ее тоже будили при свечах, раным-рано, и несли в постель к матери, а та ей что-нибудь дарила.

— Где же игрушки, мама? — спросила Берта.

Все молчали.

— Я не вижу моего башмачка!

Фелисите поднесла Берту к кровати, а она продолжала смотреть в сторону камина.

— Его кормилица взяла? — спросила девочка.

Слово «кормилица» привело г-же Бовари на память все ее измены, все ее невзгоды, и с таким видом, точно к горлу ей подступила тошнота от еще более сильного яда, она отвернулась. Берта сидела теперь на кровати.

— Какие у тебя большие глаза, мама! Какая ты бледная! Ты вся в поту!

Мать смотрела на нее.

— Я боюсь! — сказала девочка и отстранилась.

Эмма взяла ее руку и хотела поцеловать. Берта начала отбиваться.

— Довольно! Унесите ее! — крикнул Шарль, рыдавший в алькове.

Некоторое время никаких последствий отравления не наблюдалось. Эмма стала спокойнее. Каждое ее слово, хотя бы и ничего не значащее, каждый ее более легкий вздох вселяли в Шарля надежду. Когда приехал Каниве, он со слезами кинулся ему на шею.

— Ах, это вы! Благодарю вас! Какой вы добрый! Но ей уже лучше. Вы сейчас сами увидите...

У коллеги, однако, сложилось иное мнение, и так как он, по его собственному выражению, не любил гадать на кофейной гуще, то, чтобы как следует очистить желудок, велел дать Эмме рвотного.

Эмму стало рвать кровью. Губы ее вытянулись в ниточку. Руки и ноги сводила судорога, по телу пошли бурые пятна, пульс напоминал дрожь туго натянутой нитки, дрожь струны, которая вот-вот порвется.

Немного погодя она начала дико кричать. Она проклинала яд, бранила его, потом просила, чтобы он действовал быстрее, отталкивала коченеющими руками все, что давал ей выпить Шарль, переживавший не менее мучительную агонию, чем она. Прижимая платок к губам, он стоял

у постели больной и захлебывался слезами, все его тело, с головы до ног, сотрясалось от рыданий. Фелисите бегала туда-сюда. Оме стоял как вкопанный и тяжело вздыхал, а г-н Каниве хотя и не терял самоуверенности, однако в глубине души был озадачен.

— Черт возьми!.. Ведь... ведь желудок очищен, а раз устранена причина...

— Ясно, что должно быть устранено и следствие,— подхватил Оме.

— Да спасите же ее! — крикнул Бовари.

Каниве, не слушая аптекаря, который пытался обосновать гипотезу: «Быть может, это спасительный кризис»,— только хотел было дать ей териаку, но в это мгновение за окном раздалось щелканье бича, все стекла затряслись, и из-за крытого рынка вымахнула взмыленная тройка, впряженная в почтовый берлин. Приехал доктор Ларивьер.

Если бы в доме Бовари появился бог, то все же это произвело бы не такое сильное впечатление. Шарль взмахнул руками, Каниве замер на месте, а Оме задолго до прихода доктора снял феску.

Ларивьер принадлежал к хирургической школе великого Биша́, к уже вымершему поколению врачей-философов, которые любили свое искусство фанатической любовью и отличались вдохновенной прозорливостью. Когда Ларивьер гневался, вся больница дрожала; ученики боготворили его и, как только устраивались на место, сейчас же начинали во всем ему подражать. Дело доходило до того, что в Руанском округе врачи носили такое же, как у него, стеганое пальто с мериносовым воротником и такой же, как у него, широкий черный фрак с расстегнутыми манжетами, причем у самого Ларивьера всегда были видны его пухлые, очень красивые руки, не знавшие перчаток, как бы в любую минуту готовые погрузиться в глубь человеческих мук. Он презирал чины, кресты, академии, славился щедростью и радушием, для бедных был родным отцом, в добродетель не верил, а сам на каждом шагу делал добрые дела и, конечно, был бы признан святым, если бы не его дьявольская проницательность, из-за которой все его боялись пуще огня. Взгляд у него был острее ланцета, он проникал прямо в душу; удаляя обиняки и прикрасы, Ларивьер вылущивал ложь. Так шел он по жизни, исполненный того благодушного величия, которое порождают большой талант, благосостояние и сорокалетняя непорочная служба.

Еще у дверей, обратив внимание на мертвенный цвет лица Эммы, лежавшей с раскрытым ртом на спине, он нахмурил брови. Потом, делая вид, что слушает Каниве, и потирая пальцем нос, несколько раз повторил:

— Хорошо, хорошо!

Но при этом медленно повел плечами. Бовари наблюдал за ним. Глаза их встретились, и у Ларивьера, привыкшего видеть страдания, скатилась на воротничок непрошеная слеза.

Он увел Каниве в соседнюю комнату, Шарль пошел за ними.

— Она очень плоха, да? А если поставить горчичники? Я не знаю, что нужно делать. Придумайте что-нибудь! Вы же стольких людей спасли!

Шарль обхватил его обеими руками и, почти повиснув на нем, смотрел на него растерянным, умоляющим взглядом.

— Мужайтесь, мой дорогой! Тут ничего поделать нельзя.

И с этими словами доктор Ларивьер отвернулся.

— Вы уходите?

— Я сейчас приду.

Вместе с Каниве, который тоже не сомневался, что Эмма протянет недолго, он вышел якобы для того, чтобы отдать распоряжения кучеру.

На площади их догнал фармацевт. Отлипнуть от знаменитостей — это было выше его сил. И он обратился к г-ну Ларивьеру с покорнейшей просьбой почтить его своим посещением и позавтракать у него.

Супруги Оме нимало не медля послали в «Золотой лев» за голубями, скупили в мясной лавке мясо на котлеты, какое там еще оставалось, у Тювашей — весь запас сливок, у Лестибудуа — весь запас яиц. Аптекарь помогал накрывать на стол, а г-жа Оме, теребя завязки своей кофты, говорила:

— Вы уж нас извините, сударь. В нашем захолустье если накануне не предупредить...

— Рюмки!!! — шипел Оме.

— В городе мы на худой конец всегда могли бы приготовить фаршированные ножки.

— Замолчи!.. Пожалуйте к столу, доктор.

Когда все съели по кусочку, аптекарь счел уместным сообщить некоторые подробности несчастного случая:

— Сперва появилось ощущение сухости в горле, потом

начались нестерпимые боли в надчревной области, рвота, коматозное состояние.

— А как она отравилась?

— Не знаю, доктор. Ума не приложу, где она могла достать мышьяковистой кислоты.

В эту минуту вошел со стопкой тарелок в руках Жюстен и, услыхав это название, весь затрясся.

— Что с тобой? — спросил фармацевт.

Вместо ответа юнец грохнул всю стопку на пол.

— Болван! — крикнул Оме.— Ротозей! Увалень! Осел!

Но тут же овладел собой.

— Я, доктор, решил произвести анализ и, *primo* [1], осторожно ввел в трубочку...

— Лучше бы вы ввели ей пальцы в глотку,— заметил хирург.

Его коллега молчал; Ларивьер только что, оставшись с ним один на один, закатил ему изрядную проборку за рвотное, и теперь почтенный Каниве, столь самоуверенный и речистый во время истории с искривлением стопы, сидел скромненько, в разговор не встревал и только одобрительно улыбался.

Оме был преисполнен гордости амфитриона, а от грустных мыслей о Бовари он бессознательно приходил в еще лучшее расположение духа, едва лишь, повинуясь чисто эгоистическому чувству, обращал мысленный взор на себя. Присутствие хирурга вдохновляло его. Он блистал эрудицией, сыпал всякими специальными названиями, вроде шпанских мушек, анчара, манцениллы, змеиного яда.

— Я даже читал, доктор, что были случаи, когда люди отравлялись и падали, как пораженные громом, от самой обыкновенной колбасы, которая подвергалась слишком сильному копчению. Узнал я об этом из великолепной статьи, написанной одним из наших фармацевтических светил, одним из наших учителей, знаменитым Каде де Гасикуром.

Госпожа Оме принесла шаткую спиртовку — ее супруг требовал, чтобы кофе варилось тут же, за столом; мало того: он сам обжаривал зерна, сам молол, сам смешивал.

— *Saccharum,* доктор! — сказал он, предлагая сахар.

Затем созвал всех своих детей,— ему было интересно, что́ скажет хирург об их телосложении.

Господин Ларивьер уже собрался уходить, но тут г-жа

---

[1] Прежде всего *(лат.)*.

Оме обратилась к нему за советом относительно своего мужа. Ему вредно раздражаться, а он, вспылив, прямо с ума сходит.

— Да не с чего ему сходить!

Слегка улыбнувшись этому прошедшему незамеченным каламбуру, доктор отворил дверь. Но в аптеке было полно народу. Хирург еле-еле отделался от г-на Тюваша, который боялся, что у его жены воспаление легких, так как она имеет обыкновение плевать в камин; потом от г-на Бине, который иногда никак не мог наесться; от г-жи Карон, у которой покалывало в боку; от Лере, который страдал головокружениями; от Лестибудуа, у которого был ревматизм; от г-жи Лефрансуа, у которой была кислая отрыжка. Наконец тройка умчалась, и все в один голос сказали, что доктор вел себя неучтиво.

Но тут внимание ионвильцев обратил на себя аббат Бурнизьен — он шел по рынку, неся сосуд с миром.

Оме, верный своим убеждениям, уподобил священников вóронам, которых привлекает трупный запах. Он не мог равнодушно смотреть на духовных особ: дело в том, что сутана напоминала ему саван, а савана он боялся и отчасти поэтому не выносил сутану.

Однако Оме, неуклонно выполняя то, что он называл своей «миссией», вернулся к Бовари вместе с Каниве, которого очень просил сходить туда г-н Ларивьер. Фармацевт хотел было взять с собой своих сыновей, дабы приучить их к тяжелым впечатлениям, показать им величественную картину, которая послужила бы им уроком, назиданием, навсегда врезалась бы в их память, но мать решительно воспротивилась.

В комнате, где умирала Эмма, на всем лежал отпечаток мрачной торжественности. На рабочем столике, накрытом белой салфеткой, у большого распятья с двумя зажженными свечами по бокам стояло серебряное блюдо с комочками хлопчатой бумаги. Эмма, уронив голову на грудь, смотрела перед собой неестественно широко раскрытыми глазами, а ее ослабевшие руки ползали по одеялу — неприятное, бессильное движение всех умирающих, которые точно заранее натягивают на себя саван! Бледный, как изваяние, с красными, как горящие угли, глазами, Шарль уже не плача стоял напротив Эммы, у изножья кровати, а священник, опустившись на одно колено, шептал себе под нос молитвы.

Эмма медленно повернула голову и, увидев лиловую

епитрахиль, явно обрадовалась: в нечаянном успокоении она, наверное, вновь обрела утраченную сладость своих первых мистических порывов, это был для нее прообраз вечного блаженства.

Священник встал и взял распятье. Эмма вытянула шею, как будто ей хотелось пить, припала устами к телу богочеловека и со всей уже угасающей силой любви напечатлела на нем самый жаркий из всех своих поцелуев. После этого священник прочел *Misereatur*[1] и *Indulgentiam*[2], обмакнул большой палец правой руки в миро и приступил к помазанию: умастил ей сперва глаза, еще недавно столь жадные до всяческого земного великолепия; затем — ноздри, с упоением вдыхавшие теплый ветер и ароматы любви; затем — уста, откуда исходила ложь, вопли оскорбленной гордости и сладострастные стоны; затем — руки, получавшие наслаждение от нежных прикосновений, и, наконец, подошвы ног, которые так быстро бежали, когда она жаждала утолить свои желания, и которые никогда уже больше не пройдут по земле.

Священник вытер пальцы, бросил в огонь замасленные комочки хлопчатой бумаги, опять подсел к умирающей и сказал, что теперь ей надлежит подумать не о своих муках, а о муках Иисуса Христа и поручить себя милосердию божию.

Кончив напутствие, он попытался вложить ей в руки освященную свечу — символ ожидающего ее неземного блаженства, но Эмма от слабости не могла ее держать, и если б не аббат, свеча упала бы на пол.

Эмма между тем слегка порозовела, и лицо ее приняло выражение безмятежного спокойствия, словно таинство исцелило ее.

Священнослужитель не преминул обратить на это внимание Шарля. Он даже заметил, что господь в иных случаях продлевает человеку жизнь, если так нужно для его спасения. Шарль припомнил, что однажды она уже совсем умирала и причастилась.

«Может быть, еще рано отчаиваться»,— подумал он.

В самом деле: Эмма, точно проснувшись, медленно обвела глазами комнату, затем вполне внятно попросила подать ей зеркало и, нагнувшись, долго смотрелась, пока из глаз у нее не выкатились две крупные слезы. Тогда она вздохнула и откинулась на подушки.

---

[1] «Да смилуется» *(лат.)*.
[2] «Отпущение» *(лат.)*.

В ту же минуту она начала задыхаться. Язык вывалился наружу, глаза закатились под лоб и потускнели, как абажуры на гаснущих лампах; от учащенного дыхания у нее так страшно ходили бока, точно из тела рвалась душа, а если б не это, можно было бы подумать, что Эмма уже мертва. Фелисите опустилась на колени перед распятьем; фармацевт — и тот слегка подогнул ноги; г-н Каниве невидящим взглядом смотрел в окно. Бурнизьен, нагнувшись к краю постели, опять начал молиться; его длинная сутана касалась пола. Шарль стоял на коленях по другую сторону кровати и тянулся к Эмме. Он сжимал ей руки, вздрагивая при каждом биении ее сердца, точно отзываясь на грохот рушащегося здания. Чем громче хрипела Эмма, тем быстрее священник читал молитвы. Порой слова молитв сливались с приглушенными рыданиями Бовари, а порой все тонуло в глухом рокоте латинских звукосочетаний, гудевших, как похоронный звон.

Внезапно на тротуаре раздался топот деревянных башмаков, стук палки, и хриплый голос запел:

Девчонке в жаркий летний день
Мечтать о миленьком не лень.

Эмма, с распущенными волосами, уставив в одну точку расширенные зрачки, приподнялась, точно гальванизированный труп.

За жницей только поспевай!
Нанетта по полю шагает
И, наклоняясь то и знай,
С земли колосья подбирает.

— Слепой! — крикнула Эмма и вдруг залилась ужасным, безумным, исступленным смехом — ей привиделось безобразное лицо нищего, пугалом вставшего перед нею в вечном мраке.

Вдруг ветер налетел на дол
И мигом ей задрал подол.

Судорога отбросила Эмму на подушки. Все обступили ее. Она скончалась.

IX

Когда кто-нибудь умирает, настает всеобщее оцепенение — до того трудно бывает осмыслить вторжение небытия, заставить себя поверить в него. Но как только Шарль

убедился, что Эмма неподвижна, он бросился к ней с криком:

— Прощай! Прощай!

Оме и Каниве вывели его из комнаты.

— Успокойтесь!

— Хорошо,— говорил он, вырываясь.— Я буду благоразумен, я ничего с собой не сделаю. Только пустите меня! Я хочу к ней! Ведь это моя жена!

Он плакал.

— Поплачьте,— разрешил фармацевт,— этого требует сама природа, вам станет легче!

Шарль, слабый, как ребенок, дал себя увести вниз в столовую; вскоре после этого г-н Оме пошел домой.

На площади к нему пристал слепец: уверовав в противовоспалительную мазь, он притащился в Ионвиль и теперь спрашивал каждого встречного, где живет аптекарь.

— Да, как же! Есть у меня время с тобой возиться! Ну да уж ладно, приходи попозднее,— сказал г-н Оме и вбежал в аптеку.

Ему предстояло написать два письма, приготовить успокоительную микстуру для Бовари, что-нибудь придумать, чтобы скрыть самоубийство, сделать из этой лжи статью для *Светоча* и дать отчет о случившемся своим согражданам, которые ждали, что он сделает им сообщение. Только когда ионвильцы, все до единого, выслушали его рассказ о том, как г-жа Бовари, приготовляя ванильный крем, спутала мышьяк с сахаром, Оме опять побежал к Шарлю.

Тот сидел в кресле у окна (г-н Каниве недавно уехал), бессмысленно глядя в пол.

— Вам надо бы самому назначить час церемонии,— сказал фармацевт.

— Что такое? Какая церемония? — переспросил Шарль и залепетал испуганно: — Нет, нет, пожалуйста, не надо! Она должна быть со мной.

Оме, чтобы замять неловкость, взял с этажерки графин и начал поливать герань.

— Очень вам благодарен! Вы так добры...— начал было Шарль, но под наплывом воспоминаний, вызванных этим жестом фармацевта, сейчас же умолк.

Чтобы он хоть немного отвлекся от своих мыслей, Оме счел за благо поговорить о садоводстве, о том, что растения нуждаются во влаге. Шарль в знак согласия кивнул головой.

— А теперь скоро опять настанут теплые дни.
— Да, да! — подтвердил Шарль.
Не зная, о чем говорить дальше, аптекарь слегка раздвинул оконные занавески.
— А вон Тюваш идет.
— Тюваш идет,— как эхо, повторил за ним Шарль.
Оме так и не решился напомнить ему о похоронах. Его уговорил священник.
Шарль заперся у себя в кабинете, вволю наплакался, потом взял перо и написал:

«Я хочу, чтобы ее похоронили в подвенечном платье, в белых туфлях, в венке. Волосы распустите ей по плечам. Гробов должно быть три: один —дубовый, другой — красного дерева, третий — металлический. Со мной ни о чем не говорите. У меня достанет сил перенести все. Сверху накройте ее большим куском зеленого бархата. Это мое желание. Сделайте, пожалуйста, так».

Романтические причуды Бовари удивили тех, кто его окружал. Фармацевт не преминул возразить:
— По-моему, бархат — это лишнее. Да и стоит он...
— Какое вам дело? — крикнул Бовари.— Оставьте меня! Я ее люблю, а не вы! Уходите!
Священник взял его под руку и увел в сад. Там он заговорил о бренности всего земного. Господь всемогущ и милосерд; мы должны не только безропотно подчиняться его воле, но и благодарить его.
Шарль начал богохульствовать:
— Ненавижу я вашего господа!
— Это дух отрицания в вас говорит,— со вздохом молвил священник.
Бовари был уже далеко. Он быстро шел между оградой и фруктовыми деревьями и, скрежеща зубами, взглядом богоборца смотрел на небо, но вокруг не шелохнул ни один листок.
Моросил дождь. Ворот у Шарля был распахнут, ему стало холодно, и, придя домой, он сел в кухне.
В шесть часов на площади что-то затарахтело: это приехала «Ласточка». Прижавшись лбом к стеклу, Шарль смотрел, как один за другим выходили из нее пассажиры. Фелисите положила ему в гостиной тюфяк. Он лег и заснул.

Господин Оме хоть и был философом, но к мертвым относился с уважением. Вот почему, не обижаясь на бедного Шарля, он, взяв с собой три книги и папку с бумагой для выписок, пришел к нему вечером, чтобы провести всю ночь около покойницы.

Там он застал аббата Бурнизьена. Кровать вытащили из алькова; в возглавии горели две большие свечи.

Тишина угнетала аптекаря, и он поспешил заговорить о том, как жаль «несчастную молодую женщину». Священник на это возразил, что теперь нам остается только молиться за нее.

— Но ведь одно из двух,— вскинулся Оме,— либо она упокоилась «со духи праведных», как выражается церковь, и в таком случае наши молитвы ей ни на что не нужны, либо она умерла без покаяния (кажется, я употребляю настоящий богословский термин), и в таком случае...

Аббат, перебив его, буркнул, что молиться все-таки надо.

— Но если бог сам знает, в чем мы нуждаемся, то зачем же тогда молиться? — возразил фармацевт.

— Как зачем молиться? — воскликнул священнослужитель.— Так вы, стало быть, не христианин?

— Простите! — сказал Оме.— Я преклоняюсь перед христианством. Прежде всего оно освободило рабов, оно дало миру новую мораль.

— Да я не о том! Все тексты...

— Ох, уж эти ваши тексты! Почитайте историю! Всем известно, что их подделали иезуиты.

Вошел Бовари и, подойдя к кровати, медленно отдернул полог.

Голова Эммы склонилась к правому плечу. В нижней части лица черной дырой зиял приоткрытый уголок рта. Большие пальцы были пригнуты к ладоням, ресницы точно посыпаны белой пылью, а глаза подернула мутная пленка, похожая на тонкую паутину. Между грудью и коленями одеяло провисло, а от колен поднималось к ступням. И показалось Шарлю, что Эмму давит какая-то страшная тяжесть, какой-то непомерный груз.

На церковных часах пробило два. Под горою во мраке шумела река. Время от времени громко сморкался Бурнизьен, да Оме скрипел по бумаге пером.

— Послушайте, друг мой, подите к себе,— сказал он Шарлю.— Это зрелище для вас невыносимо.

Тотчас по уходе Шарля спор между фармацевтом и священником возгорелся с новой силой.

— Прочтите Вольтера! — твердил один.— Прочтите Гольбаха! Прочтите *Энциклопедию!*

— Прочтите *Письма португальских евреев!* — стоял на своем другой.— Прочтите *Сущность христианства* бывшего судейского чиновника Никола́!

Оба разгорячились, раскраснелись, говорили одновременно, не слушая друг друга. Бурнизьена возмущала «подобная дерзость»; Оме удивляла «подобная тупость». Еще минута —и они бы повздорили, но тут опять пришел Бовари. Какая-то колдовская сила влекла его сюда, он то и дело поднимался по лестнице.

Чтобы лучше видеть покойницу, он становился напротив и погружался в созерцание, до того глубокое, что скорби в эти минуты не чувствовал.

Он припоминал рассказы о каталепсии, о чудесах магнетизма, и ему казалось, что если захотеть всем существом своим, то, быть может, удастся ее воскресить. Один раз он даже наклонился над ней и шепотом окликнул: «Эмма! Эмма!» Но от его сильного дыхания только огоньки свечей заколебались на столе.

Рано утром приехала г-жа Бовари-мать. Шарль обнял ее и опять горькими слезами заплакал. Она, как и фармацевт, попыталась обратить его внимание на то, что похороны будут стоить слишком дорого. Шарля это взорвало — старуха живо осеклась и даже вызвалась сейчас же поехать в город и купить все, что нужно.

Шарль до вечера пробыл один; Берту увели к г-же Оме; Фелисите сидела наверху с тетушкой Лефрансуа.

Вечером Шарль принимал посетителей. Он вставал, молча пожимал руку, и визитер подсаживался к другим, образовавшим широкий полукруг подле камина. Опустив голову и заложив нога на ногу, ионвильцы пошевеливали носками и по временам шумно вздыхали. Им было смертельно скучно, и все-таки они старались пересидеть друг друга.

В девять часов пришел Оме (эти два дня он без устали сновал по площади) и принес камфары, росного ладана и ароматических трав. Еще он прихватил банку с хлором для уничтожения миазмов. В это время служанка, г-жа Лефрансуа и старуха Бовари кончали убирать Эмму — они опустили длинную негнущуюся вуаль, и она закрыла ее всю, до атласных туфелек.

— Бедная моя барыня! Бедная моя барыня! — причитала Фелисите.

— Поглядите, какая она еще славненькая! — вздыхая, говорила трактирщица.— Так и кажется, что вот сейчас встанет.

Все три женщины склонились над ней, чтобы надеть венок.

Для этого пришлось слегка приподнять голову, и тут изо рта у покойницы хлынула, точно рвота, черная жидкость.

— Ах, боже мой, платье! Осторожней! — крикнула г-жа Лефрансуа.— Помогите же нам! — обратилась она к фармацевту.— Вы что, боитесь?

— Боюсь? — пожав плечами, переспросил тот.— Ну вот еще! Я такого навидался в больнице, когда изучал фармацевтику! В анатомическом театре мы варили пунш! Философа небытие не пугает. Я уже много раз говорил, что собираюсь завещать мой труп клинике,— хочу и после смерти послужить науке.

Пришел священник, осведомился, как себя чувствует г-н Бовари, и, выслушав ответ аптекаря, заметил:

— У него, понимаете ли, рана еще слишком свежа.

Оме на это возразил, что священнику хорошо, мол, так говорить: он не рискует потерять любимую жену. Отсюда возник спор о безбрачии священников.

— Это противоестественно! — утверждал фармацевт.— Из-за этого совершались преступления...

— Да как же, нелегкая побери,— вскричал священник,— женатый человек может, например, сохранить тайну исповеди?

Оме напал на исповедь. Бурнизьен принял ее под защиту. Он начал длинно доказывать, что исповедь совершает в человеке благодетельный перелом. Привел несколько случаев с ворами, которые стали потом честными людьми. Многие военные, приближаясь к исповедальне, чувствовали, как с их глаз спадает пелена. Во Фрибуре некий священнослужитель...

Его оппонент спал. В комнате было душно; аббату не хватало воздуха, он отворил окно и разбудил этим фармацевта.

— Не хотите ли табачку? — предложил Бурнизьен.— Возьмите, возьмите! Так и сон пройдет.

Где-то далеко выла собака.

— Слышите? Собака воет,— сказал фармацевт.

— Говорят, будто они чуют покойников,— отозвался священник.— Это как все равно пчелы: если кто умрет, они сей же час покидают улей.

Этот предрассудок не вызвал возражений со стороны Оме, так как он опять задремал.

Аббат Бурнизьен был покрепче фармацевта и еще некоторое время шевелил губами, но потом и у него голова свесилась на грудь, он выронил свою толстую черную книгу и захрапел.

Надутые, насупленные, они сидели друг против друга, выпятив животы; после стольких препирательств их объединила наконец общечеловеческая слабость — и тот и другой были теперь неподвижны, как лежавшая рядом покойница, которая тоже, казалось, спала.

Приход Шарля не разбудил их. Он пришел в последний раз — проститься с Эммой.

Еще курились ароматические травы, облачка сизого дыма сливались у окна с туманом, вползавшим в комнату. На небе мерцали редкие звезды, ночь была теплая.

Свечи оплывали, роняя на простыни крупные капли воска. Шарль до боли в глазах смотрел, как они горят, как лучится их желтое пламя.

По атласному платью, матовому, будто свет луны, пробегали тени. Эммы не было видно под ним, и казалось Шарлю, что душа ее неприметно для глаз разливается вокруг и что теперь она во всем: в каждом предмете, в ночной тишине, в пролетающем ветерке, в запахе речной сырости.

А то вдруг он видел ее в саду в Тосте, на скамейке, возле живой изгороди, или на руанских улицах, или на пороге ее родного дома в Берто. Ему слышался веселый смех пляшущих под яблонями парней. Комната была для него полна благоухания ее волос, ее платье с шуршаньем вылетающих искр трепетало у него в руках. И это все была она!

Он долго припоминал все исчезнувшие радости, все ее позы, движения, звук ее голоса. За одним порывом отчаяния следовал другой — они были непрерывны, как волны в часы прибоя.

Им овладело жестокое любопытство: весь дрожа, он медленно, кончиками пальцев приподнял вуаль. Вопль ужаса, вырвавшийся у него, разбудил обоих спящих. Они увели его вниз, в столовую.

Потом пришла Фелисите и сказала, что он просит прядь ее волос.

— Отрежьте! — позволил аптекарь.

Но служанка не решалась — тогда он сам с ножницами в руках подошел к покойнице. Его так трясло, что он в нескольких местах проткнул на висках кожу. Наконец, превозмогая волнение, раза два-три, не глядя, лязгнул ножницами, и в прелестных черных волосах Эммы образовалась белая прогалина.

Затем фармацевт и священник вернулись к своим занятиям, но все-таки время от времени оба засыпали, а когда просыпались, то корили друг друга. Аббат Бурнизьен неукоснительно кропил комнату святой водой, Оме посыпал хлором пол.

Фелисите догадалась оставить им на комоде бутылку водки, кусок сыру и большую булку. Около четырех часов утра аптекарь не выдержал.

— Я не прочь подкрепиться,— сказал он со вздохом.

Священнослужитель тоже не отказался. Он только сходил в церковь и, отслужив, сейчас же вернулся. Затем они чокнулись и закусили, ухмыляясь, сами не зная почему,— ими овладела та беспричинная веселость, какая нападает на человека после долгого унылого бдения. Выпив последнюю, священник хлопнул фармацевта по плечу и сказал:

— Кончится тем, что мы с вами поладим!

Внизу, в прихожей, они столкнулись с рабочими. Шарлю пришлось вынести двухчасовую пытку — слушать, как стучит молоток по доскам. Потом Эмму положили в дубовый гроб, этот гроб — в другой, другой — в третий. Но последний оказался слишком широким — пришлось набить в промежутки шерсть из тюфяка. Когда же все три крышки были подструганы, прилажены, подогнаны, покойницу перенесли поближе к дверям, доступ к телу был открыт, и сейчас же нахлынули ионвильцы.

X

Приехал папаша Руо. Увидев черное сукно у входной двери, он замертво свалился на площади.

Письмо аптекаря Руо получил только через полтора суток после печального события, а кроме того, боясь чересчур взволновать его, г-н Оме составил письмо в таких туманных выражениях, что ничего нельзя было понять.

Сначала бедного старика чуть было не хватил удар. Потом он пришел к заключению, что Эмма еще жива. Но

ведь она могла и... Словом, он надел блузу, схватил шапку, прицепил к башмаку шпору и помчался вихрем. Дорогой грудь ему теснила невыносимая тоска. Один раз он даже слез с коня. Он ничего не видел, ему чудились какие-то голоса, рассудок у него мутился.

Занялась заря. Вдруг он обратил внимание, что на дереве спят три черные птицы. Он содрогнулся от этой приметы и тут же дал обещание царице небесной пожертвовать в церковь три ризы и дойти босиком от кладбища в Берто до Васонвильской часовни.

В Мароме он, не дозвавшись трактирных слуг, вышиб плечом дверь, схватил мешок овса, вылил в кормушку бутылку сладкого сидра, потом опять сел на свою лошадку и припустил ее так, что из-под копыт у нее летели искры.

Он убеждал себя, что Эмму, конечно, спасут. Врачи найдут какое-нибудь средство, это несомненно! Он припоминал все чудесные исцеления, о которых ему приходилось слышать.

Потом она ему представилась мертвой. Вот она лежит плашмя посреди дороги. Он рванул поводья, и видение исчезло.

В Кенкампуа он для бодрости выпил три чашки кофе.

Вдруг у него мелькнула мысль, что письмо написано не ему. Он поискал в кармане письмо, нащупал его, но так и не решился перечесть.

Минутами ему даже казалось, что, быть может, это «милая шутка», чья-нибудь месть, чей-нибудь пьяный бред. Ведь если бы Эмма умерла, это сквозило бы во всем! А между тем ничего необычайного вокруг не происходит: на небе ни облачка, деревья колышутся, вон прошло стадо овец. Вдали показался Ионвиль. Горожане видели, как он промчался, пригнувшись к шее своей лошадки и нахлестывая ее так, что с подпруги капала кровь.

Опомнившись, он, весь в слезах, бросился в объятия Шарля.

— Дочь моя! Эмма! Дитя мое! Что случилось?..

Шарль, рыдая, ответил:

— Не знаю, не знаю! Какое-то несчастье!

Аптекарь оторвал их друг от друга.

— Все эти ужасные подробности ни к чему. Я сам все объясню господину Руо. Вон люди подходят. Ну, ну, не роняйте своего достоинства! Смотрите на вещи философски!

Бедняга Шарль решил проявить мужество.

— Да, да... надо быть твердым! — несколько раз повторил он.

— Хорошо, черт бы мою душу драл! Я тоже буду тверд! — воскликнул старик.— Я провожу ее до могилы.

Звонил колокол. Все было готово. Предстоял вынос.

В церкви мимо сидевших рядом на передних скамейках Бовари и Руо ходили взад и вперед три гнусавивших псаломщика. Трубач не щадил легких. Аббат Бурнизьен в полном облачении пел тонким голосом. Он склонялся перед престолом, воздевал и простирал руки. Лестибудуа с пластинкой китового уса, которою он поправлял свечи, ходил по церкви. Подле аналоя стоял гроб, окруженный четырьмя рядами свечей. Шарлю хотелось встать и погасить их.

Все же он старался настроиться на молитвенный лад, перенестись на крыльях надежды в будущую жизнь, где он увидится с ней. Он воображал, что она уехала, уехала куда-то далеко и давно. Но стоило ему вспомнить, что она лежит здесь, что все кончено, что ее унесут и зароют в землю,— его охватывала дикая, черная, бешеная злоба. Временами ему казалось, что он стал совсем бесчувственный; называя себя мысленно ничтожеством, он все же испытывал блаженство, когда боль отпускала.

Внезапно послышался сухой стук, точно кто-то мерно ударил в плиты пола палкой с железным наконечником. Этот звук шел из глубины церкви и вдруг оборвался в одном из боковых приделов. Какой-то человек в плотной коричневой куртке с трудом опустился на одно колено. Это был Ипполит, конюх из «Золотого льва». Сегодня он надел свою новую ногу.

Один из псаломщиков обошел церковь. Тяжелые монеты со звоном ударялись о серебряное блюдо.

— Нельзя ли поскорее? Я больше не могу! — крикнул Бовари, в бешенстве швыряя пятифранковую монету.

Причетник поблагодарил его низким поклоном.

Снова пели, становились на колени, вставали — и так без конца! Шарль вспомнил, что когда-то давно они с Эммой были здесь у обедни, но только сидели в другом конце храма, справа, у самой стены. Опять загудел колокол. Задвигали скамьями. Носильщики подняли гроб на трех жердях, и народ повалил из церкви.

В эту минуту на пороге аптеки появился Жюстен. Потом вдруг побледнел и, шатаясь, сейчас же ушел.

На похороны смотрели из окон. Впереди всех, держась прямо, выступал Шарль. Он бодрился и даже кивал тем,

что, вливаясь из дверей домов или из переулков, присоединялись к толпе.

Шестеро носильщиков, по трое с каждой стороны, шли мелкими шагами и тяжело дышали. Духовенство и двое певчих,— это были два мальчика,— пели *De profundis* [1], и голоса их, волнообразно поднимаясь и опускаясь, замирали вдалеке. Порою духовенство скрывалось за поворотом, но высокое серебряное распятье все время маячило между деревьями.

Женщины шли в черных накидках с опущенными капюшонами; в руках у них были толстые зажженные свечи. Шарлю становилось нехорошо от бесконечных молитв, от огней, от позывающего на тошноту запаха воска и облачения. Дул свежий ветер, зеленели рожь и сурепица, по обочинам дороги на живой изгороди дрожали капельки росы. Все кругом полнилось веселыми звуками: гремела нырявшая в колдобинах телега, пел петух, несся вскачь под яблони жеребенок. Чистое небо лишь кое-где было подернуто розовыми облачками; над соломенными кровлями с торчащими стеблями ириса стлался сизый дым. Шарлю был тут знаком каждый домик. В такое же ясное утро он, навестив больного, выходил, бывало, из калитки и возвращался к Эмме.

Черное сукно, все в белых слезках, временами приподнималось, и тогда виден был гроб. Носильщики замедляли шаг от усталости, поэтому гроб двигался беспрестанными рывками, точно лодка, которую подбрасывает на волнах.

Вот и конец пути.

Мужчины вошли на кладбище, раскинувшееся под горой,— там, посреди лужайки, была вырыта могила.

Все сгрудились вокруг ямы. Священник читал молитвы, а в это время по краям могилы непрерывно, бесшумно осыпалась глина.

Под гроб пропустили четыре веревки. Шарль смотрел, как он стал опускаться. А он опускался все ниже и ниже.

Наконец послышался стук. Веревки со скрипом выскользнули наверх. Бурнизьен взял у Лестибудуа лопату. Правой рукой кропя могилу, левой он захватил на лопату ком земли, с размаху бросил его в яму, и камешки, ударившись о гроб, издали тот грозный звук, который нам, людям, представляется гулом вечности.

Священник передал кропило стоявшему рядом с ним.

---

[1] «Из глубины [взываю к тебе, господи]» *(лат.)*.— Псалом 129.

Это был г-н Оме. Он с важным видом помахал им и передал Шарлю — тот стоял по колено в глине, бросал ее пригоршнями и кричал: «Прощай!» Он посылал воздушные поцелуи, он все тянулся к Эмме, чтобы земля поглотила и его.

Шарля увели, и он скоро успокоился — быть может, он, как и все, сам того не сознавая, испытывал чувство удовлетворения, что с этим покончено.

Папаша Руо, вернувшись с похорон, закурил, как ни в чем не бывало, трубку. Оме в глубине души нашел, что это неприлично. Он отметил также, что Бине не показался на похоронах, что Тюваш «удрал» сейчас же после заупокойной обедни, а слуга нотариуса Теодор явился в синем фраке,— «как будто, черт побери, нельзя было надеть черный, раз уж так принято!». Он переходил от одной кучки обывателей к другой и делился своими наблюдениями. Все оплакивали кончину Эммы, в особенности — Лере, который не преминул прийти на похороны:

— Ах, бедная дамочка! Несчастный муж!

— Вы знаете, если б не я, он непремено учинил бы над собой что-нибудь недоброе! — ввернул аптекарь.

— Такая милая особа! Кто бы мог подумать! Еще в субботу она была у меня в лавке!

— Я хотел было произнести речь на ее могиле, но так и не успел подготовиться,— сказал Оме.

Дома Шарль разделся, а папаша Руо разгладил свою синюю блузу. Она была совсем новенькая, но по дороге он то и дело вытирал глаза рукавами, и они полиняли и выпачкали ему лицо, на котором следы слез прорéзали слой пыли.

Госпожа Бовари-мать была тут же. Все трое молчали. Наконец старик вздохнул:

— Помните, друг мой? Я приехал в Тост вскоре после того, как вы потеряли свою первую жену. Тогда я вас утешал! Я находил слова, а теперь...— Из его высоко поднявшейся груди вырвался протяжный стон.— Очередь за мной, понимаете? Я похоронил жену... потом сына, а сегодня дочь!

Он решил сейчас же ехать в Берто — ему казалось, что в этом доме он не уснет. Он даже отказался поглядеть на внучку.

— Нет, нет! Мне это слишком больно. Вы уж поцелуйте ее покрепче за меня! Прощайте!.. Вы хороший человек! А потом, я вам никогда не забуду вот этого,— добавил

он, хлопнув себе по ноге. — Не беспокойтесь! Я по-прежнему буду посылать вам индейку.

Но с горы он все-таки оглянулся, как оглянулся в давнопрошедшие времена, расставаясь с дочерью на дороге в Сен-Виктор. Окна домов, освещенные косыми лучами солнца, заходившего за лугом, были точно объяты пламенем. Руо, приставив руку щитком к глазам, увидел тянувшиеся на горизонте сады: сплошную белокаменную стену, а над ней — темные купы деревьев. Лошадь у старика хромала, и он затрусил рысцой.

Шарль и его мать, несмотря на усталость, проговорили весь вечер. Вспоминали прошлое, думали, как жить дальше. Порешили на том, что она переедет в Ионвиль, будет вести хозяйство, и они больше никогда не расстанутся. Она была предупредительна, ласкова; в глубине души она радовалась, что вновь обретает сыновнюю любовь. Пробило полночь. В городке, как всегда, было тихо, но Шарль не мог заснуть и все думал об Эмме.

Родольф от нечего делать весь день шатался по лесу и теперь спал крепким сном у себя в усадьбе. В Руане спал Леон.

Но был еще один человек, который не спал в эту пору.

У свежей могилы, осененной ветвями елей, стоял на коленях подросток; он исходил слезами, в груди его теснилась бесконечная жалость, нежная, как лунный свет, и бездонно глубокая, как ночной мрак. Внезапно скрипнула калитка. Это был Лестибудуа. Он позабыл лопату и пришел за ней. Подросток взобрался на ограду, но Лестибудуа успел разглядеть, что это Жюстен, — теперь он по крайней мере знал, какой разбойник лазает к нему за картошкой.

XI

На другой день Шарль послал за дочкой. Она спросила, где мама. Ей ответили, что мама уехала и привезет ей игрушек. Берта потом еще несколько раз вспоминала о ней, но с течением времени позабыла. Ее детская жизнерадостность надрывала душу Бовари, а ему еще приходилось выносить нестерпимые утешения фармацевта.

Вскоре перед Шарлем опять встал денежный вопрос: г-н Лере снова натравил своего друга Венсара, а Шарль ни за что не соглашался продать хотя бы одну вещицу из тех, что принадлежали ей, и предпочел наделать чудовищ-

ных долгов. Мать на него рассердилась. Он на нее еще пуще. Он очень изменился. Она от него уехала.

Тут-то все и поспешили «воспользоваться случаем». Мадмуазель Лампрер потребовала уплатить ей за полгода, хотя Эмма, несмотря на расписку, которую она показала Бовари, не взяла у нее ни одного урока — так между ними было условлено. Владелец библиотеки потребовал деньги за три года. Тетушка Роле потребовала деньги за доставку двадцати писем. Когда же Шарль спросил, что это за письма, у нее хватило деликатности ответить:

— Я знать ничего не знаю! Я в ее дела не вмешивалась.

Уплатив очередной долг, Шарль всякий раз надеялся, что это последний. Но затем объявлялись новые кредиторы, и конца им не предвиделось.

Он обратился к пациентам с просьбой уплатить за прежние визиты. Но ему показали письма жены. Пришлось извиниться.

Фелисите носила теперь платья своей покойной барыни, но только не все: некоторые Шарль оставил себе — он запирался в гардеробной и рассматривал их. Фелисите была почти одного роста с Эммой, и когда Шарль смотрел на нее сзади, то иллюзия была так велика, что он нередко восклицал:

— Не уходи! Не уходи!

Но на Троицын день Фелисите бежала из Ионвиля с Теодором, захватив все, что еще оставалось от гардероба Эммы.

Тогда же вдова Дюпюи имела честь уведомить г-на Бовари о «бракосочетании своего сына, г-на Леона Дюпюи, нотариуса города Ивето, с девицею Леокадией Лебеф из Бондвиля». Шарль, поздравляя ее, между прочим написал:

«Как была бы счастлива моя бедная жена!»

Однажды, бродя без цели по дому, он поднялся на чердак и там нащупал ногой комок тонкой бумаги. Он развернул его и прочел: «Мужайтесь, Эмма, мужайтесь! Я не хочу быть несчастьем Вашей жизни!» Это было письмо Родольфа — оно завалилось за ящики, пролежало там некоторое время, а затем ветром, подувшим в слуховое окно, его отнесло к двери. Шарль остолбенел на том самом месте, где когда-то Эмма, такая же бледная, как он сейчас, в порыве отчаяния хотела покончить с собой. Наконец на второй странице, внизу, он разглядел едва заметную про-

писную букву Р. Кто бы это мог быть? Он припомнил, как Родольф сначала ухаживал за Эммой, как потом внезапно исчез и как натянуто себя чувствовал после при встречах. Однако почтительный тон письма ввел Шарля в заблуждение.

«Они, наверно, любили друг друга платонически»,— решил он.

Шарль был не охотник добираться до сути. Он не стал искать доказательств, и его смутная ревность потонула в пучине скорби.

«Она невольно заставляла себя обожать,— думал он.— Все мужчины, конечно, мечтали о близости с ней». От этого она стала казаться ему еще прекраснее. Теперь он испытывал постоянное бешеное желание, доводившее его до полного отчаяния и не знавшее пределов, оттого что его нельзя было утолить.

Все ее прихоти, все ее вкусы стали теперь для него священны: как будто она и не умирала, он, чтобы угодить ей, купил себе лаковые ботинки, стал носить белые галстуки, фабрил усы и по ее примеру подписывал векселя. Она совращала его из гроба.

Ему пришлось постепенно распродать серебро, потом обстановку гостиной. Комнаты одна за другой пустели. Только в ее комнате все оставалось по-прежнему. Шарль поднимался туда после обеда. Придвигал к камину круглый столик, подставлял ее кресло, а сам садился напротив. В позолоченном канделябре горела свеча. Тут же, рядом, раскрашивала картинки Берта.

Шарль, глубоко несчастный, страдал еще оттого, что она так бедно одета, что башмачки у нее без шнурков, что кофточки рваные,— служанка о ней не заботилась. Но девочка была тихая, милая, она грациозно наклоняла головку, на ее розовые щеки падали белокурые пряди пушистых волос, и, глядя на нее, отец испытывал несказанное наслаждение, радость, насквозь пропитанную горечью,— так плохое вино отдает смолой. Он чинил ей игрушки, вырезал из картона паяцев, зашивал ее куклам прорванные животы. Но если на глаза ему попадалась рабочая шкатулка, валявшаяся где-нибудь лента или хотя бы застрявшая в щели стола булавка, он внезапно задумывался, и в такие минуты у него был до того печальный вид, что и девочка невольно делила с ним его печаль.

Теперь никто у него не бывал. Жюстен сбежал в Руан и поступил мальчиком в бакалейную лавку; дети фарма-

цевта приходили к Берте все реже и реже,— г-н Оме, приняв во внимание, что Берта им уже не ровня, не поощрял этой дружбы.

Слепого он так и не вылечил своей мазью, и тот, вернувшись на гору Буа-Гильом, рассказывал всем путешественникам о неудачной попытке фармацевта, так что Оме, когда ехал в Руан, прятался от него за занавесками дилижанса. Он ненавидел слепого. Для спасения своей репутации он поставил себе задачу устранить его любой ценой и повел исподтишка против него кампанию, в которой ясно обозначились все хитроумие аптекаря и та подлость, до которой доходило его тщеславие. На протяжении полугода в *Руанском светоче* печатались такого рода заметки:

«Все, кто держит путь в хлебородные области Пикардии, наверное, видели на горе Буа-Гильом несчастного калеку с ужасной язвой на лице. Он ко всем пристает, всем надоедает, собирает с путешественников самую настоящую дань. Неужели у нас все еще длится мрачное средневековье, когда бродяги могли беспрепятственно заражать общественные места принесенными из крестовых походов проказой и золотухой?»

Или:

«Несмотря на законы против бродяжничества, окрестности наших больших городов все еще наводнены шайками нищих. Некоторые из них скитаются в одиночку, и это, быть может, как раз наиболее опасные. И куда только смотрят наши эдилы?»

Иногда Оме выдумывал целые происшествия:

«Вчера на горе Буа-Гильом пугливая лошадь...»

За этим следовал рассказ о том, как из-за слепого произошел несчастный случай.

В конце концов фармацевт добился, что слепого арестовали. Впрочем, его скоро выпустили. Нищий взялся за свое, Оме за свое. Это была ожесточенная борьба. Победил в ней фармацевт: его противника приговорили к пожизненному заключению в богадельне.

Успех окрылил фармацевта. С тех пор, если только он узнавал, что в его округе задавили собаку, сгорел сарай, избили женщину, то, движимый любовью к прогрессу и ненавистью к попам, он немедленно доводил это до всеоб-

щего сведения. Он рассуждал о преимуществах учеников начальной школы перед братьями-игнорантинцами; в связи с каждой сотней франков, пожертвованной на церковь, напоминал о Варфоломеевской ночи; раскрывал злоупотребления, пускал шпильки. Оме подкапывался; он становился опасен.

И тем не менее ему было тесно в узких рамках журналистики — его подмывало выпустить в свет книгу, целый труд! И он написал *Общие статистические сведения об Ионвильском кантоне, с приложением климатологических наблюдений,* а затем от статистики перешел к философии. Он заинтересовался вопросами чрезвычайной важности: социальной проблемой, распространением нравственности среди неимущих классов, рыбоводством, каучуком, железными дорогами и пр. Дело дошло до того, что он устыдился своих мещанских манер. Он попытался усвоить «артистический пошиб», он даже начал курить! Для своей гостиной он приобрел две «шикарные» статуэтки в стиле Помпадур.

Но он не забывал и аптеку. Напротив: он был в курсе всех новейших открытий. Он следил за стремительным ростом шоколадного производства. Он первый ввел в департаменте Нижней Сены «шо-ка» и реваленцию. Он сделался ярым сторонником гидроэлектрических цепей Пульвермахера. Он сам носил такие цепи. По вечерам, когда он снимал свой фланелевый жилет, г-жу Оме всякий раз ослепляла обвивавшая ее мужа золотая спираль; в такие минуты этот мужчина, облаченный в доспехи, точно скиф, весь сверкающий, точно маг, вызывал в ней особый прилив страсти.

У фармацевта были замечательные проекты памятника Эмме. Сначала он предложил обломок колонны с драпировкой, потом —пирамиду, потом — храм Весты, нечто вроде ротонды... или же «груду руин». И в каждом его проекте неизменно фигурировала плакучая ива в качестве неизбежной, с его точки зрения, эмблемы печали.

Он отправился с Шарлем в Руан и там, захватив с собой художника, друга Бриду, некоего Вофрилара, так и сыпавшего каламбурами, пошел посмотреть памятники в мастерской надгробий. Ознакомившись с сотней проектов, заказав смету и потом еще раз съездив в Руан, Шарль в конце концов выбрал мавзолей, на котором и спереди и сзади должен был красоваться «гений с угасшим факелом».

Что касается надписи, то фармацевту больше всего нравилось: *Sta, viator*[1], но дальше дело у него не шло. Он долго напрягал воображение, без конца повторял: *Sta, viator*... Наконец его осенило: *Amabilem conjugem calcas!*[2] И это было одобрено.

Странно, что Бовари, постоянно думая об Эмме, тем не менее забывал ее. Он с ужасом видел, что, несмотря на все его усилия, образ ее расплывается. Но снилась она ему каждую ночь. Это был всегда один и тот же сон: он приближался к ней, хотел обнять, но она рассыпалась у него в руках.

Целую неделю он каждый вечер ходил в церковь. Аббат Бурнизьен на первых порах раза два навестил его, а потом перестал бывать. Между прочим, по словам фармацевта, старик сделался нетерпимым фанатиком, обличал дух века сего и раз в две недели, обращаясь к прихожанам с проповедью, неукоснительно рассказывал о том, как Вольтер, умирая, пожирал собственные испражнения, что, мол, известно всем и каждому.

Бовари урезал себя во всем, но так и не погасил своих старых долгов. Лере не пошел на переписку векселей. Над Шарлем вновь нависла угроза аукциона. Тогда он обратился к матери. Та написала ему, что позволяет заложить ее имение, но не преминула отвести душу по поводу Эммы. В награду за свое самопожертвование она просила у него шаль, уцелевшую от разграбления, которое учинила Фелисите. Шарль отказал. Они рассорились.

Первый шаг к примирению был сделан ею — она написала, что хотела бы взять к себе девочку, что уж очень ей одиноко. Шарль согласился. Но в самый момент расставания у него не хватило духу. За этим последовал полный и уже окончательный разрыв.

Вокруг Шарля никого не осталось, и тем сильнее привязался он к своей девочке. Вид ее внушал ему, однако, тревогу: она покашливала, на щеках у нее выступали красные пятна.

А напротив благоденствовала цветущая, жизнерадостная семья фармацевта, которому везло решительно во всем. Наполеон помогал ему в лаборатории, Аталия вышивала ему феску, Ирма вырезала из бумаги кружочки, чтобы накрывать банки с вареньем, Франклин отвечал без запин-

---

[1] Стой, путник *(лат.)*.

[2] Стой, путник... Ты попираешь [останки] любимой жены! *(лат.)*.

ки таблицу умножения. Аптекарь был счастливейшим отцом, удачливейшим человеком.

Впрочем, не совсем! Он был снедаем честолюбием: ему хотелось получить крестик. Основания у него для этого были следующие:

Во-первых, во время холеры он трудился не за страх, а за совесть; во-вторых, он напечатал, и притом за свой счет, ряд трудов, имеющих общественное значение, как например... (Тут он припоминал свою работу: *Сидр, его производство и его действие,* затем посланный в Академию наук отчет о своих наблюдениях над шерстоносной травяной вошью, затем свой статистический труд и даже свою университетскую диссертацию на фармацевтическую тему.) А кроме того, он являлся членом нескольких ученых обществ! (На самом деле — только одного.)

— Наконец,— несколько неожиданно заключал он,— я бываю незаменим на пожарах!

Из этих соображений он переметнулся на сторону власти. Во время выборов он тайно оказал префекту важные услуги. Словом, он продался, он себя растлил. Он даже подал на высочайшее имя прошение, в котором умолял «обратить внимание на его заслуги», называл государя «наш добрый король» и сравнивал его с Генрихом IV.

Каждое утро аптекарь набрасывался на газету — нет ли сообщения о том, что он награжден, но сообщения все не было. Наконец он не выдержал и устроил у себя в саду клумбу в виде орденской звезды, причем от ее вершины шли две узенькие полоски травы, как бы напоминавшие ленту. Фармацевт, скрестив руки, разгуливал вокруг клумбы и думал о бездарности правительства и о человеческой неблагодарности.

Шарль, то ли из уважения к памяти жены, то ли потому, что медлительность обследования доставляла ему некое чувственное наслаждение, все еще не открывал потайного ящика того палисандрового стола, на котором Эмма обычно писала. Наконец однажды он подсел к столу, повернул ключ и нажал пружину. Там лежали все письма Леона. Теперь уже никаких сомнений быть не могло! Он прочитал всё до последней строчки, обыскал все уголки, все шкафы, все ящики, смотрел за обоями; он неистовствовал, он безумствовал, он рыдал, он вопил. Случайно он наткнулся на какую-то коробку и ногой вышиб у нее дно. Оттуда вылетел портрет Родольфа и высыпался ворох любовных писем.

Его отчаяние всем бросалось в глаза. Он целыми днями сидел дома, никого не принимал, не ходил даже на вызов к больным. И в городе пришли к заключению, что он «пьет горькую».

Все же иной раз кто-нибудь из любопытных заглядывал через изгородь в сад и с удивлением наблюдал за опустившимся, обросшим, неопрятным человеком, который бродил по дорожкам и плакал навзрыд.

В летние вечера он брал с собой дочку и шел на кладбище. Возвращались они поздно, когда на всей площади было освещено только одно окошечко у Бине.

Однако он еще не вполне насладился своим горем — ему не с кем было поделиться. Изредка он захаживал к тетушке Лефрансуа только для того, чтобы поговорить о *ней*. Но трактирщица в одно ухо впускала, в другое выпускала — у нее были свои невзгоды: Лере наконец открыл заезжий двор «Любимцы коммерции», а Ивер, который славился как отличный исполнитель любых поручений, требовал прибавки и все грозил перейти к «конкуренту».

Как-то раз Бовари отправился в Аргейль на базар продавать лошадь,— больше ему продавать было нечего,— и встретил там Родольфа.

Увидев друг друга, оба побледнели. После смерти Эммы Родольф прислал только свою визитную карточку, и теперь он пробормотал что-то в свое оправдание, но потом обнаглел до того, что даже пригласил Шарля (был жаркий августовский день) распить в кабачке бутылку пива.

Он сидел напротив Шарля и, облокотившись на стол, жевал сигару и болтал, а Шарль, глядя ему в лицо, упорно думал, что это вот и есть тот самый человек, которого она любила. И казалось Шарлю, будто что-то от Эммы передалось Родольфу. В этом было какое-то колдовство. Шарлю хотелось сейчас быть этим человеком.

Родольф говорил о земледелии, о скотоводстве, об удобрениях, затыкая общими фразами все щели, в которые мог проскочить малейший намек. Шарль не слушал. Родольф видел это и наблюдал, как на лице Шарля отражаются воспоминания: щеки у него багровели, ноздри раздувались, губы дрожали. Была даже минута, когда Шарль такими жуткими глазами посмотрел на Родольфа, что у того промелькнуло нечто похожее на испуг, и он смолк. Но мгновенье спустя черты Шарля вновь приняли то же выражение угрюмой пришибленности.

— Я на вас не сержусь,— сказал он.

Родольф окаменел. А Шарль, обхватив голову руками, повторил слабым голосом, голосом человека, свыкшегося со своей безысходной душевной болью:

— Нет, я на вас больше не сержусь!

И тут он первый раз в жизни прибегнул к высокому слогу:

— Это игра судьбы!

Этой игрой руководил Родольф, и сейчас он думал о Бовари, думал о том, что нельзя быть таким благодушным в его положении, что он смешон и даже отчасти гадок.

На другой день Шарль вышел в сад и сел на скамейку в беседке. Через решетку пробивались солнечные лучи, на песке вычерчивали свою тень листья дикого винограда, благоухал жасмин, небо было безоблачно, вокруг цветущих лилий гудели шпанские мухи, и Шарль задыхался, как юноша, от невнятного прилива любви, переполнявшей его тоскующую душу.

В семь часов пришла звать его обедать дочка. Она не виделась с ним целый день.

Голова у него была запрокинута, веки опущены, рот открыт, в руках он держал длинную прядь черных волос.

— Папа, иди обедать! — сказала девочка.

Думая, что он шутит, она тихонько толкнула его. Он рухнул наземь. Он был мертв.

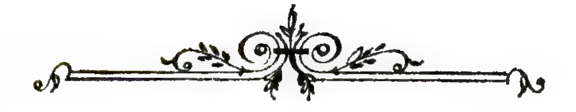
Через полтора суток приехал по просьбе аптекаря г-н Каниве. Он вскрыл труп и никакого заболевания не обнаружил.

После распродажи имущества осталось двенадцать франков семьдесят пять сантимов, которых мадмуазель Бовари хватило на то, чтобы доехать до бабушки. Старуха умерла в том же году, дедушку Руо разбил паралич,— Берту взяла к себе тетка. Она очень нуждается, так что девочке пришлось поступить на прядильную фабрику.

После смерти Бовари в Ионвиле сменилось уже три врача — их всех забил г-н Оме. Пациентов у него тьма. Власти смотрят на него сквозь пальцы, общественное мнение покрывает его.

Недавно он получил орден Почетного легиона.

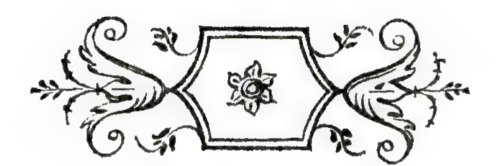




САЛАМБО



Перевод
Н. Минского





I

ПИР

Это было в Мегаре, предместье Карфагена, в садах Гамилькара.

Воины, которыми он предводительствовал в Сицилии, устроили большое пиршество, чтобы отпраздновать годовщину Эрикской битвы, и так как хозяин отсутствовал, а их было много, они ели и пили без всякого стеснения.

Начальники, обутые в бронзовые котурны, поместились в среднем проходе под пурпуровым навесом с золотой бахромой, который тянулся от стены конюшен до первой террасы дворца. Простые ратники расположились под деревьями; оттуда видно было множество строений с плоскими крышами — давильни, погреба, амбары, хлебопекарни, арсеналы, а также двор для слонов, рвы для диких зверей и тюрьма для рабов.

Фиговые деревья окружали кухни; лес смоковниц доходил до зеленых кущ, где меж белых хлопчатников рдели гранаты; отягченные гроздьями виноградные лозы поднимались к ветвям сосен; под платанами цвело поле роз; на лужайках покачивались лилии; дорожки были посыпаны черным песком с примесью кораллового порошка, а посредине шла аллея кипарисов, как двойная колоннада зеленых обелисков.

Дворец Гамилькара, построенный из нумидийского мрамора с желтыми крапинками, громоздился в отдалении на широком фундаменте; четыре этажа его выступали террасами один над другим. Монументальная прямая лестница из черного дерева, на каждой ступеньке которой стояли сбоку носовые части захваченных вражеских галер, красные двери, помеченные черным крестом, медные решетки, служившие защитой от скорпионов, легкие золотые переплеты в верхних окнах — все это придавало дворцу

суровую пышность, и он казался солдатам столь же торжественным и непроницаемым, как лицо Гамилькара.

Совет предоставил им этот дворец для пира. Выздоравливавшие воины, которые ночевали в храме Эшмуна, вышли оттуда на заре, плетясь на своих костылях. Толпа росла с каждым мгновеньем. Люди беспрерывно стекались ко дворцу по всем дорожкам, точно потоки, устремляющиеся в озеро. Между деревьями сновали кухонные рабы, испуганные, полунагие; газели на лугах убегали с громким блеянием. Солнце близилось к закату, и от запаха лимонных деревьев зловоние потной толпы казалось еще более тягостным.

Тут были люди разных наций — лигуры, лузитанцы, балеары, негры и беглецы из Рима. Слышался то тяжелый дорийский говор, то кельтские слова, грохотавшие, как боевые колесницы, ионийские окончания сталкивались с согласными пустыни, резкими, точно крики шакала. Грека можно было отличить по тонкому стану, египтянина — по высоким сутулым плечам, кантабра — по толстым икрам. На шлемах у карийцев горделиво покачивались перья; каппадокийские стрелки расписали свое тело большими цветами; несколько лидийцев с серьгами в ушах сели за трапезу в женских одеждах и туфлях. Иные намазались для праздника киноварью и походили на коралловые статуи.

Они разлеглись на подушках, ели, сидя на корточках вокруг больших блюд, или же, лежа на животе, хватали куски мяса и насыщались в мирной позе львов, разрывающих добычу. Прибывшие позже других стояли, прислонившись к деревьям, смотрели на низкие столы, наполовину скрытые пунцовыми скатертями, и ждали своей очереди.

Совет послал рабов, посуду, ложа для пирующих; так как кухонь Гамилькара не хватало, среди сада, как на поле битвы, когда сжигают мертвецов, горели яркие костры, и на них жарили быков. Хлебы, посыпанные анисом, высились вперемежку с огромными сырами, тяжелее дисков. Около золотых плетеных корзин с цветами стояли чаши с вином и сосуды с водой. Гости широко улыбались от радости, что наконец могут наесться досыта. Слышалось пение.

Прежде всего им подали на красных глиняных тарелках с черными узорами дичь под зеленым соусом, потом всякие ракушки, какие собирают на карфагенских бере-

гах, улитки с тмином, похлебки из пшеницы, ячменя, бобов, налитые в желтые янтарные блюда.

Вслед за тем столы уставили мясными блюдами. Подали антилоп с рогами, павлинов в перьях, целых баранов, сваренных в сладком вине, верблюжьи и буйволовые окорока, ежей, с приправой из рыбьих внутренностей, жареную саранчу и сонь в маринаде. В деревянных чашках из Тамрапании плавали в шафране большие куски жира. Все было залито рассолом, приправлено трюфелями и асафетидой. Уложенные пирамидами плоды, рассыпаясь, падали на медовые пряники. Было, конечно, и жаркое из маленьких собачек с толстыми животами и розовой шерстью, которых откармливали выжимками из маслин,— карфагенское блюдо, вызывавшее отвращение у других народов. Неожиданность новых яств возбуждала жадность пирующих. Галлы с длинными волосами, собранными на макушке кверху, вырывали друг у друга арбузы и лимоны и съедали их с коркой. Негры, никогда не видавшие лангуст, раздирали себе лица об их красные колючки. Бритые греки, у которых лица были белее мрамора, бросали за спину остатки со своих тарелок, а пастухи из Бруттиума, одетые в волчьи шкуры, ели молча, уткнувшись в тарелки.

Наступила ночь. Сняли велариум, протянутый над аллеей из кипарисов, и принесли факелы.

Дрожащее пламя нефти, горевшей в порфировых вазах, испугало на вершинах кипарисов обезьян, посвященных Луне. Их резкие крики смешили солдат.

Продолговатые отсветы пламени дрожали на медных панцирях. Блюда с инкрустацией из драгоценных камней сверкали разноцветными огнями. Чаши с краями из выпуклых зеркал умножали увеличенные отражения предметов. Толпясь вокруг них, воины изумленно гляделись в зеркала и гримасничали, чтобы посмеяться. Они бросали друг в друга через столы табуреты из слоновой кости и золотые лопатки. Они пили вволю греческие вина, которые хранятся в бурдюках, вина Кампании, заключенные в амфоры, кантабрийское вино, которое привозят в бочках, и вина из ююбы, киннамона и лотоса. На земле образовались скользкие винные лужи, пар от мяса поднимался к листве деревьев вместе с дыханием пирующих. Слышны были громкое чавканье, шум речей, песни, звон чаш, грохот кампанских ваз, которые, падая, разбивались на тысячи кусков, и чистый звук больших серебряных блюд.

По мере того как воины пьянели, они все больше думали

о несправедливости к ним Карфагена. Республика, истощенная войной, допустила скопление в городе отрядов, возвращавшихся из похода. Гискон, начальник наемных войск, умышленно отправлял их частями, чтобы облегчить выплату им денег, но Совет полагал, что они в конце концов согласятся на уменьшение жалованья. Теперь же наемников возненавидели за то, что им нечем было уплатить. Этот долг смешивался в представлении народа с тремя тысячами двумястами эвбейских талантов, которые требовал Лутаций, и в глазах Карфагена наемники стали такими же врагами, как и римляне. Воины это понимали, и возмущение их выражалось в угрозах и гневных выходках. Они, наконец, потребовали разрешения собраться, чтобы отпраздновать одну из своих побед, и партия мира уступила им, мстя этим Гамилькару, который упорно стоял за войну. Теперь война кончилась вопреки его воле, и он, разочаровавшись в Карфагене, передал командование над наемниками Гискону. Дворец Гамилькара отвели для приема солдат, чтобы направить на него часть той ненависти, которую те испытывали к Карфагену. К тому же устройство пиршества влекло за собой огромные расходы, и все они падали на Гамилькара.

Гордясь тем, что они подчинили своей воле Республику, наемники рассчитывали, что смогут наконец вернуться в свою страну, увозя в капюшонах плащей плату за пролитую ими кровь. Но под влиянием винных паров их заслуги стали казаться им безмерными и недостаточно вознагражденными. Они показывали друг другу свои раны, рассказывали о сражениях, о странствиях и об охоте у себя на родине. Они подражали крикам диких зверей, их прыжкам. Потом начались отвратительные пари: погружали голову в амфоры и пили без перерыва, как изнывающие от жажды дромадеры. Один лузитанец огромного роста держал на вытянутых руках по человеку и обходил так столы, извергая из ноздрей горячее дыхание. Лакедемоняне, не снявшие лат, тяжело прыгали. Одни подражали женской походке и делали непристойные жесты, другие обнажались, чтобы состязаться среди чаш, как гладиаторы; греки плясали вокруг вазы с изображением нимф, в то время как один из негров ударял бычьей костью по медному щиту.

Вдруг воины услышали жалобное пение, громкое и нежное: оно то стихало, то усиливалось, как хлопанье крыльев раненой птицы.

Это были голоса рабов в эргастуле. Солдаты вскочили и бросились освобождать заключенных.

Они вернулись, с криком гоня перед собой около двадцати человек, окутанных пылью и выделявшихся бледностью лиц. На бритых головах у них были остроконечные шапочки из черного войлока; все были обуты в деревянные сандалии; они громыхали цепями, как колесницы на ходу.

Рабы прошли до кипарисовой аллеи и расселись в толпе; их стали расспрашивать. Один из них остановился поодаль. Сквозь разорванную тунику видны были его плечи с длинными рубцами. Ослепленный факелами, опустив голову, он боязливо озирался и щурился. Когда он увидел, что никто из этих вооруженных людей не выказывает к нему ненависти, из груди его вырвался глубокий вздох; он стал что-то бормотать и засмеялся сквозь радостные слезы, которые текли у него по лицу; потом схватил за ручки полную чашу и поднял ее, вытянув руки, с которых свисали цепи; глядя на небо и продолжая держать чашу, он произнес:

— Привет прежде всего тебе, освободитель Ваал-Эшмун, которого на моей родине зовут Эскулапом! Привет вам, духи источников, света и лесов! И вам, боги, сокрытые в недрах гор и в земляных пещерах! И вам, мощные воины в блестящих доспехах, освободившие меня!

Потом он бросил чашу и стал рассказывать о себе. Его звали Спендием. Карфагеняне захватили его в плен во время Эгинусской битвы. Изъясняясь на греческом, лигурийском и пуническом языках, он принялся снова благодарить наемников, целовал им руки и, наконец, поздравил с празднеством, выражая при этом удивление, что не видит чаш Священного легиона. Чаши эти, с изумрудной виноградной лозой на каждой из шести золотых граней, принадлежали гвардии, состоящей исключительно из молодых патрициев самого высокого роста, и обладание ими было привилегией, почти жреческой почестью; ничто среди сокровищ Республики так не возбуждало алчности наемников, как эти чаши. Из-за них они ненавидели Легион; иные рисковали жизнью ради неизъяснимого наслаждения выпить из такой чаши.

Они тотчас послали за чашами, хранившимися у Сисситов — купцов, объединенных в общества, которые собирались для совместных трапез. Рабы вернулись ни с чем: в этот час все члены сисситских обществ уже спали.

— Разбудить их! — приказали наемники.

Вторично посланные рабы вернулись с ответом, что чаши заперты в одном из храмов.

— Отпереть храм! — ответили они.

И когда рабы, трепеща, признались, что чаши в руках начальника Легиона Гискона, они воскликнули:

— Пусть принесет!

Вскоре в глубине сада появился Гискон с охраной из воинов Священного легиона. Широкий черный плащ, прикрепленный на голове к золотой митре, усеянной драгоценными камнями, окутывал его всего, спускаясь до подков коня, и сливался издали с ночным мраком. Видны были только его белая борода, сверкание головного убора и тройная цепь из широких синих пластин, которая подпрыгивала у него на груди.

Когда он приблизился, солдаты встретили его криками:

— Чаши, чаши!

Он начал с заявления, что своей храбростью они, несомненно, их заслужили. Толпа заревела от радости, рукоплеща ему.

Он прибавил, что ему это хорошо известно, так как он командовал ими в походе и вернулся с последней когортой на последней галере.

— Верно, верно! — подтвердили они.

Республика, продолжал Гискон, блюдет их разделение по племенам, их обычаи, их верования; они пользуются в Карфагене свободой. Что же касается чаш Священного легиона, то это частная собственность.

Тогда один из галлов, стоявший около Спендия, перепрыгнул неожиданно через столы и подбежал к Гискону, грозя ему двумя обнаженными мечами.

Гискон, не прерывая своей речи, ударил его по голове тяжелой палкой из слоновой кости. Варвар упал. Галлы зарычали, и бешенство их, сообщаясь другим, вызвало гнев легионеров. Гискон пожал плечами. Отвага его была бы бесполезна в схватке с этими разъяренными, грубыми животными. Позже он отомстит им какой-нибудь хитростью. Он сделал поэтому знак своим воинам и медленно удалился. Дойдя до ворот, он обернулся к наемникам и крикнул им, что они раскаются.

Пир возобновился. Но ведь Гискон мог вернуться и, обойдя предместье, доходившее до последних укреплений, раздавить наемников, прижать их к стенам. Они почувствовали себя одинокими, несмотря на то, что их было много.

Большой город, спавший внизу в темноте, испугал их своим нагромождением лестниц, своими высокими черными домами и неясными очертаниями богов, еще более жестоких, чем здешний народ. Вдали над водой скользили сигнальные огни, и виден был свет в храме Камона. Они вспомнили про Гамилькара. Где он? Почему он покинул их после заключения мира? Его пререкания с Советом были, наверное, только уловкой, чтобы их погубить. Неутоленная злоба перенеслась на него, и они стали проклинать Гамилькара, возбуждая друг друга своим гневом. В эту минуту под платанами собралась толпа; она окружила негра, который бился в судорогах на земле; взор его был неподвижен, шея вытянута, у рта показалась пена. Кто-то крикнул, что он отравлен. Всем стало казаться, что отравлены и они. Воины бросились на рабов; раздались дикие вопли, и над пьяным войском пронесся вихрь разрушения. Воины разили направо и налево, уничтожали, убивали, одни бросали факелы в листву, другие, облокотившись на перила, за которыми находились львы, поражали их стрелами; более храбрые кинулись к слонам; воинам хотелось отрубить им хоботы и грызть слоновую кость.

Тем временем балеарские пращники обогнули угол дворца, чтобы удобнее было приступить к грабежу. Но им преградила путь высокая изгородь из индийского камыша. Они перерезали кинжалами ремни затвора и очутились перед фасадом дворца, обращенным к Карфагену, в другом саду, с подстриженной растительностью. Полосы белых цветов, следуя одна за другой, описывали на земле, посыпанной голубым песком, длинные кривые, похожие на снопы звезд. От кустов, окутанных мраком, исходило теплое медовое благоухание. Стволы некоторых деревьев были обмазаны киноварью и походили на колонны, залитые кровью. Посреди сада на двенадцати медных подставках стояли стеклянные шары; внутри их мерцал красноватый свет, и они казались гигантскими глазами, в которых еще трепетала жизнь. Воины освещали себе путь факелами, спотыкаясь на глубоко вскопанном спуске.

Они увидели небольшое озеро, разделенное на несколько бассейнов стенками из синих камней. Вода была такая прозрачная, что отражение факелов дрожало на самом дне из белых камешков и золотой пыли. На воде показались пузырьки, сверкали блестящие чешуйки, толстые рыбы с пастью, украшенной драгоценными камнями, выплыли на поверхность.

Воины схватили рыб, просунули пальцы под жабры и с громким хохотом принесли их на столы.

То были рыбы, принадлежащие роду Барка. Происходили эти рыбы от первобытных налимов, породивших мистическое яйцо, в котором таилась богиня. Мысль, что они свершают святотатство, вновь разожгла алчность наемников; они быстро развели огонь под медными сосудами и стали с любопытством глядеть, как диковинные рыбы извиваются в кипятке.

Воины теснились, толкая друг друга. Они забыли страх и снова принялись пить. Благовония стекали у них со лба и падали крупными каплями на разодранные туники. Опираясь кулаками на столы, которые, как им казалось, качались подобно кораблям, они осматривались налитыми кровью пьяными глазами и пытались поглотить взорами то, что уже не могли съесть. Другие ходили между блюд по столам, покрытым пурпуровыми скатертями, и давили ногами подставки из слоновой кости и тирские стеклянные сосуды. Песни сливались с хрипеньем рабов, умиравших возле разбитых чаш. Воины требовали вина, мяса, золота, женщин. Они бредили на сотне различных наречий. Иные, видя вокруг себя пар, думали, что они в бане, или же, глядя на листву, воображали себя на охоте и набрасывались на своих собутыльников, как на диких зверей. Пламя переходило с дерева на дерево, охватывало сад, и высокие кроны, откуда вырывались длинные белые спирали, казались задымившим вулканом. Гул усиливался. В темноте выли раненые львы.

Вдруг осветилась самая верхняя терраса дворца; средняя дверь открылась, и на пороге показалась женщина в черных одеждах. Это была дочь Гамилькара. Она спустилась с первой лестницы, которая шла наискось от верхнего этажа, потом со второй и с третьей и остановилась на последней террасе, на верхней площадке лестницы, украшенной галерами. Не двигаясь, опустив голову, смотрела женщина на солдат.

За нею, по обе стороны, стояли двумя длинными рядами бледные люди в белых одеждах с красной бахромой, спадавшей им прямо на ноги. У них не было ни бород, ни волос, ни бровей. Они держали в руках, унизанных сверкающими кольцами, огромные лиры и пели тонкими голосами гимн в честь карфагенской богини. То были евнухи, жрецы храма Танит; Саламбо часто призывала их к себе.

Наконец она спустилась по лестнице с галерами. Жрецы следовали за нею. Она вступила в аллею кипарисов и стала медленно проходить между столами военачальников, которые при виде ее слегка расступались.

Волосы ее, посыпанные фиолетовым порошком, по обычаю дев Ханаана, были уложены наподобие башни, и от этого она казалась выше ростом. Сплетенные нити жемчуга спускались от висков к углам рта, розового, как полуоткрытый плод граната. На груди сверкало множество камней, пестрых, как чешуя мурены. Руки, покрытые алмазами, были обнажены до плеч, туника расшита красными цветами по черному фону; щиколотки соединены золотой цепочкой, чтобы походка была ровнее, и широкий пурпурный плащ, скроенный из неведомой ткани, тянулся следом за ней, мерно колыхаясь при каждом ее шаге.

Время от времени жрецы брали на лирах приглушенные аккорды; в промежутках слышался легкий звон цепочки и мерный стук сандалий из папируса.

Никто еще не знал Саламбо. Известно было только, что она благочестива и живет уединенно. Солдаты видели ее ночью на кровле дворца коленопреклоненной перед звездами, в дыму возженных курильниц. Ее бледность была порождена луной; духовность овевала ее, точно нежной дымкой. Глаза ее казались устремленными далеко за земные пределы. Она шла, опустив голову, и держала в правой руке маленькую лиру из черного дерева.

Воины слышали, как она шептала:

— Погибли! Все погибли! Вы не будете больше подплывать, покорные моему зову, как прежде, когда, сидя на берегу озера, я бросала вам в пасть арбузные семена! Тайна Танит жила в глубине ваших глаз, более прозрачных, чем пузырьки воды на поверхности рек...

Она стала звать их по именам (то были названия месяцев):

— Сив! Сиван! Таммуз! Элул! Тишри! Шебар! О, сжалься надо мною, богиня!

Солдаты, не понимая, что она говорит, толпились вокруг нее. Они восторгались ее нарядом. Она оглядела их долгим испуганным взором, потом, втянув голову в плечи и простирая руки, повторила несколько раз:

— Что вы сделали! Что вы сделали!.. Ведь вам даны были для услады и хлеб, и мясо, и растительное масло, и все пряности со складов! Я посылала за быками в Гекатомпиль, я отправляла охотников в пустыню!

Голос ее становился все громче, щеки зарделись.

Она продолжала:

— Где вы находитесь? В завоеванном городе или во дворце повелителя? И какого повелителя? Суффета Гамількара, отца моего, служителя Ваалов. Это он отказался выдать Лутецию ваше оружие, обагренное кровью его рабов. Знаете ли вы у себя на родине лучшего полководца, чем он? Взгляните: ступени дворца загромождены нашими трофеями! Продолжайте бесчинствовать! Сожгите дворец! Я увезу с собой духа — покровителя моего дома, черную змею, которая спит наверху, на листьях лотоса. Я свистну, и она за мной последует. Когда я сяду на галеру, змея поплывет за мной в пене вод, по следам корабля...

Тонкие ноздри девушки трепетали. Она судорожно сжимала драгоценные камни у себя на груди. Глаза ее затуманились. Она продолжала:

— О бедный Карфаген! Жалкий город! Нет у тебя прежних могучих защитников, мужей, которые отправлялись за океан строить храмы на дальних берегах. Все страны работали на тебя, и равнины морей, избороздненные твоими веслами, колыхались под грузом твоих жатв.

Затем она стала петь о деяниях Мелькарта, бога сидонского и праотца их рода.

Она рассказала о восхождении на горы эрсифонийские, о путешествии в Тартес и о войне против Мазизабала в отмщение за царицу змей:

— Он преследовал в лесу чудовище с женским телом, с хвостом, извивавшимся по сухой листве, как серебряный ручей. И он дошел до луга, где какие-то существа, полуженщины, полудраконы, сидели вокруг большого костра, опираясь на свои хвосты. Кровавая луна пылала, окруженная бледным сиянием; их красные языки, рассеченные, точно багры рыбаков, вытягивались, извиваясь, до самого пламени...

Потом Саламбо рассказала, как Мелькарт, победив Мазизабала, укрепил на носу своего корабля его отрубленную голову.

При каждом всплеске волн голова исчезала под пеной: солнце опалило ее, и она сделалась тверже золота; она плакала, и слезы непрерывно капали в воду.

Саламбо пела на старом ханаанском наречии, которого варвары не понимали. Они недоумевали, о чем она им рассказывает, сопровождая свои речи грозными жестами.

Взгромоздившись вокруг нее на столы, на пиршественные ложа, на ветви сикомор, раскрыв рты и вытянув шеи, они старались угадать смысл странных рассказов, встававших перед их воображением сквозь мрак теогоний, как призраки в облаках.

Только безбородые жрецы понимали Саламбо. Их морщинистые руки, державшие лиры, дрожали и время от времени извлекали из струн мрачные аккорды. Они были слабее старых женщин и трепетали от мистического возбуждения и от страха, который вызывали у них солдаты. Варвары не обращали на них внимания; они слушали поющую деву.

Пристальнее, чем кто-либо, смотрел на нее молодой нумидийский вождь, сидевший за столом военачальников среди воинов своего племени. Пояс его был утыкан стрелами и образовывал как бы горб под его широким плащом, привязанным к голове кожаным ремешком. Расходившийся на плечах плащ окружал тенью его лицо; виден был только огонь его глаз. Он случайно попал на пир,— отец поселил его в доме Барки, как это было принято у царей, посылавших своих наследников в знатные семьи, чтобы подготовить брачные союзы. Нар Гавас жил во дворце уже полгода, но еще ни разу не видал Саламбо; сидя на корточках, опустив бороду на древки своих дротиков, он разглядывал ее, и его ноздри раздувались, как у леопарда, притаившегося в камышах.

По другую сторону столов расположился ливиец огромного роста, с короткими черными курчавыми волосами. Он снял доспехи — на нем была только военная куртка; медные нашивки ее раздирали пурпур ложа. Ожерелье из серебряных полумесяцев запуталось в волосах на его груди. Лицо было забрызгано кровью. Он сидел, опершись на левый локоть, и улыбался широко раскрытым ртом.

Саламбо перестала петь. Она заговорила на варварских наречиях, с женской чуткостью старалась смягчить гнев воинов. С греками она говорила по-гречески, а потом обратилась к лигурам, к кампанийцам, к неграм, и каждый из них, слушая ее, находил в ее голосе сладость своей родины. Увлеченная воспоминаниями о прошлом Карфагена, Саламбо запела о былых войнах с Римом. Варвары рукоплескали. Ее воспламеняло сверкание обнаженных мечей; она вскрикивала, простирая руки. Лира ее упала, и она умолкла; затем, прижимая обе руки к сердцу, она несколько мгновений стояла, опустив веки и наслаждаясь волнением воинов.

Ливиец Мато всем телом подался к ней. Она невольно подошла к нему и, тронутая его восхищением, налила ему вина в золотую чашу, чтобы примириться с войском.

— Пей! — сказала она.

Он взял чашу и поднес ее к губам, но в это время один из галлов, тот, которого ранил Гискон, хлопнул его по плечу с веселой шуткой на своем родном наречии. Находившийся поблизости Спендий взялся перевести его слова.

— Говори! — сказал Мато.

— Да хранят тебя боги, ты будешь богат. Когда свадьба?

— Чья свадьба?

— Твоя! — сказал галл.— У нас, когда женщина наливает вино солдату, она тем самым предлагает ему разделить с ней ложе.

Он не успел кончить, как Нар Гавас вскочил, выхватил из-за пояса дротик и, упершись правой ногой в край стола, метнул его в Мато.

Дротик просвистел между чашами и, пронзив руку ливийца, с такой силой пригвоздил ее к скатерти, что рукоятка его задрожала.

Мато быстро высвободил руку: но у него не было оружия. Подняв обеими руками стол со всем, что на нем стояло, он кинул его в Нар Гаваса, в самую гущу толпы, бросившейся их разнимать. Солдаты и нумидийцы так тесно сгрудились, что не было возможности обнажить мечи. Мато продвигался, нанося удары головой. Когда он поднял голову, Нар Гавас исчез. Он стал искать его глазами. Саламбо тоже не было.

Тогда он взглянул на дворец и увидел, как закрылась наверху красная дверь с черным крестом. Он ринулся туда.

На виду у всех он побежал вверх по ступеням, украшенным галерами, поднялся по трем лестницам и, достигнув красной двери, толкнул ее изо всех сил. Задыхаясь, он прислонился к стене, чтобы не упасть.

Кто-то следовал за ним, и во мраке — огни пиршества были скрыты выступом дворца — он узнал Спендия.

— Уходи,— сказал ливиец.

Раб ничего не ответил, разорвал зубами свою тунику, потом опустился на колени перед Мато, нежно взял его руку и стал ощупывать ее в темноте, отыскивая рану.

При свете луны, выглянувшей из-за облаков, Спендий увидел на середине руки зияющую рану. Он обмотал ее куском ткани; но Мато с раздражением повторял:

— Оставь меня, оставь!

— Нет,— возразил раб.— Ты освободил меня из темницы. Я принадлежу тебе. Ты мой повелитель! Приказывай!

Мато, скользя вдоль стен, обошел террасу. На каждом шагу он прислушивался, и в промежутки между золочеными прутьями решеток взгляд его проникал в тихие покои. Наконец он в отчаянии остановился.

— Послушай! — сказал ему раб.— Не презирай меня за слабость! Я жил во дворце. Я могу, как змея, проползти между стен. Идем! В комнате предков под каждой плитой лежит слиток золота, подземный ход ведет к их гробницам.

— Зачем мне богатство! — сказал Мато.

Спендий умолк.

Они стояли на террасе. Перед ними был мрак, в котором, казалось, скрывались какие-то громады, подобные волнам окаменевшего черного океана.

Но вот в восточной стороне неба появилась светлая полоса. Слева, внизу, каналы Мегары прочертили белыми извилинами зелень садов. В свете бледной зари стали понемногу вырисовываться конические крыши семиугольных храмов, лестницы, террасы, укрепления; вдоль всего карфагенского полуострова задрожала кайма белой пены, а изумрудное море точно застыло в утренней прохладе. По мере того, как розовело небо, все яснее обозначались на склонах высокие дома, похожие на стадо черных коз, которое спускается с гор. Пустынные улицы удлинялись, уходили вдаль; пальмы, кое-где выглядывавшие из-за стен, стояли неподвижно. Полные доверху водоемы казались серебряными щитами, брошенными во дворах. Маяк Гермейского мыса побледнел. На верху акрополя, в кипарисовой роще, кони Эшмуна, чувствуя близость утра, становились копытами на мраморную ограду и ржали, повернув головы в сторону солнца.

Солнце взошло; Спендий, воздев руки, испустил крик.

Все зашевелилось в разлившемся багрянце — бог, точно раздирая себя, в потоке лучей изливал на Карфаген свой золотой дождь. Сверкали тараны галер, крыша Камона казалась охваченной пламенем, засветились огни в открывшихся храмах. Колеса возов, прибывших из окрестностей, катились по каменным плитам улиц. Навьюченные поклажей верблюды спускались по тропам. Менялы открывали на перекрестках ставни своих лавок. Улетали аисты, трепетали белые паруса. В роще Танит ударяли в тамбурины

священные блудницы, у околицы Маппал задымились печи для обжигания глиняных гробов.

Спендий наклонился над перилами террасы; у него стучали зубы, и он повторял:

— Да... да... повелитель! Я понимаю, отчего ты отказался грабить дом.

Мато, точно пробужденный его свистящим голосом, казалось, не понимал, что он говорит. Спендий продолжал:

— Какие богатства! А у тех, кто владеет ими, нет даже оружия, чтобы их защищать!

Он указал ему правой рукой на бедняков, которые ползли по песку за молом в поисках золотых песчинок.

— Посмотри! — сказал он.— Республика подобна этим жалким людям: склонившись над океаном, она простирает свои жадные руки ко всем берегам, и шум волн так заполняет ее слух, что она не услышала бы шагов подступающего к ней сзади властителя!

Он увлек Мато на другой конец террасы и показал ему сад, где сверкали на солнце мечи солдат, висевшие на деревьях.

— Но здесь собрались сильные люди, исполненные великой ненавистью! Ничто не связывает их с Карфагеном — ни семья, ни клятвенные обеты, ни общие боги!

Мато стоял как прежде, прислонясь к стене. Спендий продолжал, понизив голос:

— Понимаешь ли ты меня, ратник? Мы станем ходить в пурпуре, как сатрапы. Нас будут умащать благовониями. У меня самого будут рабы. Разве тебе не надоело спать на твердой земле, пить кислое вино в лагерях и постоянно слышать звуки трубы? Или ты надеешься отдохнуть потом, когда с тебя сорвут латы и бросят твой труп коршунам? Или когда, опираясь на посох, слепой, хромой и немощный, ты будешь ходить от двери к двери и рассказывать про свою молодость малым детям и продавцам рассола? Вспомни о несправедливости вождей, о стоянках в снегу, о переходах под палящими лучами солнца, о суровой дисциплине и вечной угрозе казни на кресте! После стольких мытарств ты получил почетное ожерелье,— так на осла надевают нагрудник с погремушками, чтобы оглушить его в пути и не дать почувствовать усталости. А ведь ты более доблестный воин, чем Пирр! Если бы ты только захотел! Как будет хорошо в больших прохладных покоях, когда под звуки лир ты будешь возлежать, окруженный шутами и женщинами! Не говори, что предприятие это неосуществимо! Разве на-

емники не владели Регием и другими крепостями в Италии? Кто воспротивится тебе? Гамилькар отсутствует, народ ненавидит богатых, Гискон бессилен поднять окружающих его трусов. А ты отважен, тебе будут повиноваться. Прими на себя начальство над ними. Карфаген наш — завладеем им!

— Нет,— сказал Мато,— надо мной тяготеет проклятие Молоха. Я это почувствовал по ее глазам, а только что я видел в одном храме пятящегося черного барана.

Он прибавил оглядываясь:

— Где же она?

Спендий понял, что Мато охвачен сильным волнением, и побоялся продолжать.

Деревья за ними еще дымились; с почерневших ветвей время от времени падали на блюда наполовину обгоревшие скелеты обезьян. Пьяные ратники храпели рядом с трупами, раскрыв рты, а те, что не спали, сидели, опустив голову, ослепленные дневным светом. Истоптанная земля была залита кровью. Слоны раскачивали между кольями загонов свои окровавленные хоботы. В открытых амбарах виднелись продырявленные мешки пшеницы, у ворот стоял плотный ряд колесниц, брошенных варварами; павлины, усевшись на ветвях кедров, распускали хвосты и пронзительно кричали.

Спендия удивляла неподвижность Мато: ливиец еще больше побледнел и следил остановившимся взглядом за чем-то вдали, опираясь обеими руками на перила террасы. Спендий, наклонившись, понял наконец, что рассматривал Мато. По пыльной дороге в Утику вращалась золотая точка. То была ось колесницы, запряженной двумя мулами; раб бежал перед дышлом, держа поводья. В колеснице сидели две женщины. Гривы мулов были взбиты на персидский лад между ушей и покрыты сеткой из голубого бисера. Спендий узнал женщин и едва сдержал крик.

Сзади развевалось по ветру широкое покрывало.

II

В СИККЕ

Два дня спустя наемники выступили из Карфагена. Каждому из них дали по золотому с условием, чтобы они расположились лагерем в Сикке, при этом им было сказано много льстивых слов:

— Вы спасители Карфагена. Но, оставаясь в нем, вы разорите город и оголодите его: Карфагену нечем будет платить. Удалитесь! Республика вознаградит вас за уступчивость. Мы тотчас же введем новый налог. Жалованье будет выплачено вам полностью, мы снарядим галеры, которые отвезут вас на родину.

Они не знали, что отвечать на такие речи. Привыкнув к войне, люди эти скучали в городе. Поэтому их нетрудно было уговорить; народ поднялся на городские стены, чтобы видеть, как они уходят.

Они прошли по Камонской улице, миновали Циртские ворота и продолжали путь вперемешку: стрелки с гоплитами, начальники с простыми солдатами, лузитанцы с греками. Они шли бодрым шагом, и каменные плиты мостовой звенели под их тяжелыми котурнами. Доспехи их пострадали от катапульт, лица почернели в битвах. Хриплые крики вылетали из уст людей с густой бородой. Разорванные кольчуги звенели о рукоятки мечей; сквозь продырявленные латы виднелись голые тела, устрашающие, как боевые машины. Пики, топоры, рогатины, войлочные шапки, медные шлемы — все мерно колыхалось. Они наводнили улицы; казалось, что стены раздвинутся от напора, когда длинные ряды вооруженных солдат проходили между высокими семиэтажными домами, покрытыми битумом. За железными или камышовыми оградами стояли женщины в покрывалах и безмолвно глядели на проходящих варваров.

Террасы, укрепления, стены были усеяны карфагенянами в черных одеждах. Туники матросов казались кровавыми пятнами на этом темном фоне; полунагие дети с лоснящейся кожей махали руками в медных браслетах среди зелени, обвивавшей колонны, и в ветвях пальм. Старейшины вышли на площадки башен, и, неизвестно почему, то тут, то там задумчиво стояли эти люди с длинными бородами. Они вырисовывались вдали на фоне неба, смутные, как привидения, неподвижные, как камни.

Всех охватила тревога. Опасались, как бы варвары, поняв свою силу, не вздумали вдруг остаться. Но они так доверчиво покидали город, что карфагеняне воспрянули духом и присоединились к солдатам. Они обнимали их, забрасывали клятвами, давали им благовония, цветы и даже серебряные деньги. Варварам дарили амулеты против болезней, предварительно, однако, трижды плюнув на амулеты, чтобы привлечь смерть, или же прятали внутрь во-

лоски шакала, чтобы сердце носящего преисполнилось трусости. Вслух призывали благословения Мелькарта, а втихомолку — его проклятия.

Потом потянулись обозы, убойный скот и все отставшие.

Больные, посаженные на дромадеров, стонали; хромые опирались на обломки пик. Пьяницы тащили с собой мехи с вином; обжоры несли мясные туши, пироги, плоды, масло, завернутое в виноградные листья, лед в полотняных мешках. Одни шли под зонтами, другие с попугаями на плече; третьи вели за собою собак, газелей или пантер. Ливийские женщины, сидя на ослах, ругали негритянок, покинувших лупанары Малки, чтобы следовать за солдатами; некоторые из них кормили грудью младенцев, привязанных к их шее кожаными ремнями. Мулы, которых понукали остриями мечей, сгибались под тяжестью свернутых палаток. Затем шли слуги и водоносы, бледные, пожелтевшие от лихорадки, покрытые паразитами; это были подонки карфагенской черни, примкнувшие к варварам.

Когда прошли и они, ворота были заперты, но народ не спускался со стен. Вскоре войско рассеялось по всему перешейку.

Оно разбилось на неровные отряды. Потом копья стали казаться издали высокими стеблями трав, и наконец все исчезло в облаке пыли. Воины, оборачиваясь к Карфагену, не видели ничего, кроме длинных стен, зубцы которых вырисовывались на фоне неба.

Тут варвары услышали громкий крик. Они подумали, что солдаты, оставшиеся в городе (они не знали в точности, сколько их всего), вздумали разграбить какой-нибудь храм. Это их позабавило, и они, смеясь, продолжали путь.

Им весело было шагать, как прежде, всем вместе, в открытом поле. Греки пели старую мамертинскую песню: «Своим копьем и своим мечом я вспахиваю землю и собираю жатву: я — хозяин дома! Обезоруженный противник падает к моим ногам и называет меня властелином и царем».

Солдаты кричали, прыгали, а самые веселые принимались рассказывать смешные истории; время бедствий миновало. Когда они дошли до Туниса, кто-то заметил, что исчез отряд балеарских пращников. Они, верно, были неподалеку. О них тотчас же забыли.

Одни отправились на ночлег в дома, другие расположи-

лись у подножия стен, и горожане пришли поговорить с солдатами.

Всю ночь на горизонте со стороны Карфагена видны были огни; отсветы, подобные гигантским факелам, тянулись вдоль неподвижного озера. Никто из солдат не знал, какой там справляли праздник.

На следующий день варвары прошли по возделанным полям. Вдоль дороги тянулся ряд патрицианских ферм; по пальмовым рощам протекали водоотводные каналы; масличные деревья стояли длинными зелеными рядами; в ущельях, между холмами, плыл розовый туман; сзади высились синие горы. Дул теплый ветер. По широким листьям кактусов ползли хамелеоны.

Варвары замедлили шаг.

Они шли разрозненными отрядами или же плелись поодиночке на далеком расстоянии друг от друга. Проходя мимо виноградников, они ели виноград. Они ложились на траву и с изумлением смотрели на закрученные рога быков, на овец, покрытых шкурами для защиты их шерсти, на то, как скрещивались в виде ромбов борозды; их удивляли лемехи, похожие на корабельные якоря, а также гранатовые деревья, которые поливались сильфием. Щедрость земли и мудрые измышления человека поражали их.

Вечером солдаты легли на палатки, не развернув их; засыпая, они смотрели на звезды и жалели, что кончился пир во дворце Гамилькара.

На следующий день, после полудня, был сделан привал на берегу реки, среди олеандровых кустов. Воины сбросили наземь щиты, копья, сняли пояса. Они мылись с криками, набирали воду в шлемы, а некоторые, лежа на животе, пили вместе с вьючными животными, которых освободили от поклажи.

Спендий, сидя на дромадере, украденном во владениях Гамилькара, увидел издали Мато с подвязанной рукой и непокрытой головой; он поил своего мула и, склонившись, глядел, как течет вода. Спендий тут же протиснулся сквозь толпу и стал звать его:

— Господин! Господин!

Мато едва поблагодарил его за благословения. Спендий не обратил на это внимания и пошел за ним, время от времени беспокойно оглядываясь в сторону Карфагена.

Он был сыном греческого ритора и кампанской блудницы. Сначала он обогатился, торгуя женщинами, потом, разоренный кораблекрушением, воевал против римлян

в рядах пастухов Самниума. Его взяли в плен, но он бежал.

Его поймали, и после этого он работал в каменоломнях, задыхался в сушильнях, кричал, когда его истязали, переменил много хозяев, испытал неистовство их гнева. Однажды, придя в отчаяние, он бросился в море с триремы, где был гребцом. Матросы спасли его и привезли умирающим в Карфаген; там его заключили в мегарский эргастул. Но так как предстояло вернуть римлянам их перебежчиков, он воспользовался сумятицей и убежал вместе с наемниками.

В течение всего пути он не отставал от Мато, приносил ему еду, поддерживал его на спусках, а вечером подстилал ему под голову ковер. Мато наконец тронули его заботы, и мало-помалу он заговорил.

Мато родился в Сиртском заливе. Отец водил его на богомолье в храм Аммона. Потом он охотился на слонов в гарамантских лесах. Затем поступил на карфагенскую службу.

При взятии Дрепана его возвели в звание тетрарха. Республика осталась ему должна четыре лошади, двадцать три медины пшеницы и жалованье за целую зиму. Он страшился богов и желал умереть у себя на родине.

Спендий говорил ему о своих странствиях, о народах и храмах, которые он посетил. Он многому научился, умел изготовлять сандалии и рогатины, плести сети, приручать диких зверей и готовить рыбу.

Иногда он останавливался и издавал хриплый крик; мул Мато ускорял шаг, и другие мулы тоже быстрее шли за ними; затем Спендий снова принимался говорить, попрежнему обуреваемый тревогой. Она улеглась вечером на четвертый день.

Они поднимались рядом, с правой стороны войска, по склону холма; долина внизу уходила вдаль, теряясь в ночной мгле; шеренги солдат, шедших под ними, колыхались в темноте. Временами войска проходили по возвышенности, освещенной луной. Тогда на остриях копий как будто вспыхивала звезда, шлемы начинали сверкать, затем все исчезало, и на смену ушедшим являлись другие. Вдали слышалось блеяние разбуженных стад; казалось, что на землю спускается бесконечная тишина.

Спендий, запрокинув голову, полузакрыл глаза и, глубоко вздыхая, впитывал в себя свежесть ветра. Он раздвигал руки и шевелил пальцами, чтобы лучше чувство-

вать негу, струившуюся по телу. Его душила жажда мщения. Он прижимал руку ко рту, чтобы остановить рыдания, и, трепеща от ненависти, отпускал недоуздок своего дромадера, который шел большими ровными шагами. Мато снова погрузился в печаль; ноги его свисали до земли, травы, стегая по котурнам, издавали непрерывный свистящий звук.

Путь все удлинялся: казалось, ему не будет конца. Равнина неизменно переходила в круглое плоскогорье, затем снова надо было спускаться в долину; горы, которые только что вставали стеной, как бы отступали, когда к ним приближались. Время от времени среди зелени тамарисков показывалась река, а затем пропадала за холмами. Иногда появлялся огромный утес, подобный носу корабля или подножию исчезнувшего колосса.

По пути встречались на равном расстоянии один от другого маленькие четырехугольные храмы; ими пользовались странники, направлявшиеся в Сикку. Храмы были заперты, как гробницы. Ливийцы громко стучались в двери, требуя, чтобы им открыли. Никто изнутри не отвечал.

Возделанные поля попадались все реже. Потянулись песчаные полосы земли с редкими тернистыми кустами. Среди камней паслись стада овец; за ними присматривали женщины в синих овечьих шкурах. Они с криком пускались бежать, едва завидев копья солдат между скалами.

Воины шли точно по длинному коридору с вереницей красноватых холмов по бокам, как вдруг их остановило страшное зловоние, и они увидели необычайное зрелище: на верхушке одного из рожковых деревьев среди листьев торчала львиная голова.

Они подбежали к дереву. Перед ними был лев, распятый, точно преступник, на кресте. Его мощная голова опустилась на грудь, и передние лапы, наполовину скрытые гривой, были распростерты, как крылья птицы. Ребра выступали под натянутой кожей; задние лапы, прибитые одна к другой, были слегка поджаты, черная кровь, стекая по шерсти, образовала сосульки на конце хвоста, который свисал до земли. Ратников это зрелище позабавило. Они обращались ко льву, называя его римским гражданином и консулом, и бросали ему в голову камешки, чтобы прогнать мошкару.

Пройдя сто шагов, они увидели еще два креста, а дальше появился внезапно целый ряд крестов с распятыми львами. Некоторые околели так давно, что на крестах ви-

сели только остатки их скелетов. Другие, наполовину обглоданные, искривили пасть в страшной гримасе. Среди них были громадные львы. Кресты гнулись под их тяжестью, и они качались на ветру, в то время как над их головой неустанно кружили стаи воронов. Так мстили карфагенские крестьяне, захватив какого-нибудь хищного зверя. Они надеялись отпугнуть этим примером других. Варвары уже не смеялись, они пришли в изумление. «Что это за народ,— думали они,— который для потехи распинает львов!»

Большинство наемников, особенно северяне, были охвачены тревогой, измучены, больны. Они раздирали себе руки о колючки алоэ; большие комары своим писком терзали им слух; то тот, то другой заболевал кровавым поносом. Воинов беспокоило, что все еще не видно Сикки. Они боялись заблудиться, попасть в пустыню, страну песков и всяких ужасов. Многие не хотели идти дальше. Иные повернули назад, в Карфаген.

Наконец, на седьмой день после того как они долго шли у подножия гор, дорога резко повернула вправо; их глазам представилась линия стен, воздвигнутых на белых утесах и сливавшихся с ними. Затем вдруг открылся весь город; в багровом свете заката на стенах развевались синие, желтые и белые покрывала. То были жрецы Танит, прибежавшие встречать воинов. Выстроившись вдоль укреплений, они ударяли в бубны, играли на лирах, потрясали кроталами, и лучи солнца, заходившего позади них в нумидийских горах, скользили по струнам арф, к которым прикасались их обнаженные руки. По временам инструменты внезапно умолкали, и раздавался резкий, пронзительный, долгий крик, похожий на лай: они издавали его, ударяя языком об углы рта. Иные стояли, подперев подбородок рукой, неподвижнее сфинксов, и устремив большие черные глаза на поднимавшееся войско.

Хотя Сикка был священным городом, все же он не мог дать приют такому количеству людей; один только храм со своими строениями занимал половину города. Поэтому варвары расположились на равнине по своему усмотрению, дисциплинированная часть войска — правильными отрядами, а другие — по национальностям или как попало.

Греки разбили шатры из звериных шкур параллельными рядами, иберийцы поставили кругом свои холщовые палатки, галлы построили шалаши из досок, ливийцы — хижины из камней, а негры вырыли ногтями в песке

углубления для ночлега. Многие, не зная, где поместиться, бродили среди поклажи, а ночью укладывались на землю, завернувшись в рваные плащи.

Вокруг них лежала равнина, окаймленная горами. Коегде над песчаным холмом склонялась пальма, а по откосам пропастей выступали пятнами сосны и дубы. Иногда в грозу дождь повисал длинным пологом, в то время как небо над полями оставалось лазурным, ясным; потом теплый ветер гнал вихри пыли, ручей спускался каскадами с высот Сикки, где под золотой крышей стоял на медных колоннах храм Венеры Карфагенской, владычицы страны. Ее душа как бы наполняла все вокруг. Волнистой линией холмов, сменой холода и тепла, а также игрой света она являла бесконечность своей силы и красоту своей вечной улыбки. Вершины гор были похожи то на рога полумесяца, то на сосцы полных женских грудей, и варвары при всей своей усталости чувствовали полное сладости томление.

Спендий, продав дромадера, купил на вырученные деньги раба. Он весь день спал, растянувшись перед палаткой Мато. Иногда он просыпался; во сне ему мерещился свист бича, и, улыбаясь, он проводил руками по рубцам на ногах, на том месте, где долго носил кандалы. Потом снова засыпал.

Мато мирился с его обществом, и Спендий, с длинным мечом у бедра, сопровождал его, как ликтор, или же Мато небрежно опирался рукой на его плечо: Спендий был низкорослый.

Однажды вечером, проходя вместе по улицам лагеря, они увидели людей в белых плащах; среди них был Нар Гавас, вождь нумидийцев. Мато вздрогнул.

— Дай меч,— воскликнул он,— я его убью!

— Подожди,— сказал Спендий, останавливая друга.

Нар Гавас уже подходил. Он прикоснулся губами к большим пальцам обеих рук в знак приязни и объяснил свой гнев опьянением на пиру. Потом долго обвинял Карфаген, но не сказал, зачем пришел к варварам.

«Кого он хочет предать: их или Республику?» — спрашивал себя Спендий; он надеялся извлечь пользу из всяких смут и потому был благодарен Нар Гавасу за будущие предательства, в которых он его подозревал.

Вождь нумидийцев остался жить среди наемников. Казалось, он хотел заслужить расположение Мато. Он посылал ему жирных коз, золотой песок и страусовые перья.

Ливиец удивлялся его любезности и не знал, отвечать тем же или дать волю раздражению. Но Спендий успокаивал его, и Мато подчинялся рабу. Он все еще пребывал в нерешительности и не мог стряхнуть с себя непобедимое оцепенение, как человек, некогда выпивший напиток, от которого ему суждено умереть.

Однажды они отправились с утра охотиться на львов, и Нар Гавас спрятал под плащом кинжал. Спендий следовал за ним по пятам, и за все время охоты Нар Гавас ни разу не вынул кинжала.

В другой раз Нар Гавас завел их очень далеко, до границ своего королевства. Они очутились в узком ущелье. Нар Гавас с улыбкой заявил, что заблудился, Спендий нашел дорогу.

Но чаще всего Мато, печальный, как авгур, уходил на заре и бродил по полям. Он ложился где-нибудь на песок и до вечера не двигался с места.

Он обращался за советом ко всем колдунам в войске, к тем, кто наблюдает за движением змей, и к тем, кто читает по звездам, и к тем, кто дует на пепел сожженных трупов. Он глотал смолу, горный укроп и яд гадюк, леденящий сердце; негритянки пели при лунном свете заклинания на варварском языке и в это время кололи ему лоб золотыми стилетами; он навешивал на себя ожерелья и амулеты, взывал по очереди к Ваал-Камону, к Молоху, к семи Кабирам, к Танит и к греческой Венере. Он вырезал некое имя на медной пластине и зарыл ее в песок на пороге своей палатки. Спендий слышал, как он стонал и говорил сам с собой.

Однажды ночью Спендий вошел к нему.

Мато, голый, как труп, лежал плашмя на львиной шкуре, закрыв лицо обеими руками; висячая лампа освещала оружие, висевшее на срединном шесте палатки.

— Что тебя томит? — спросил раб.— Что тебе нужно? Ответь мне.

Он стал трясти его за плечо и несколько раз окликнул:

— Господин! Господин!..

Мато поднял на него широко открытые, печальные глаза.

— Слушай! — сказал он тихим голосом, приложив палец к губам.— Гнев богов обрушился на меня! Меня преследует дочь Гамилькара! Я боюсь ее, Спендий!

Он прижимался к груди раба, как ребенок, напуганный призраком.

— Скажи мне что-нибудь! Я болен. Я хочу излечиться! Я испробовал все средства! Но, быть может, ты знаешь более могущественных богов или какое-нибудь неодолимое заклинание?

— Для чего? — спросил Спендий.

Мато стал бить себя кулаками по голове.

— Чтобы избавиться от нее,— ответил он.

Потом, обращаясь к самому себе, он продолжал с расстановкой:

— Я, наверное, та жертва, которую она обещала принести богам в искупление чего-то. Она привязала меня к себе цепью, невидимой для глаз. Когда я хожу, это идет она; когда я останавливаюсь, значит, и она отдыхает! Ее глаза жгут меня, я слышу ее голос. Она окружает меня, проникает в меня. Мне кажется, она сделалась моей душой! И все же нас как будто разделяют невидимые волны безбрежного океана! Она далека и недоступна. Сияние красоты окружает ее светящимся облаком. Иногда мне кажется, что я ее никогда не видел... что она не существует, что все это сон!

Так причитал Мато во мраке. Варвары спали. Спендий, глядя на него, вспоминал юношей с золотыми сосудами в руках — юношей, которые обращались к нему в былое время с мольбами, когда он водил по улицам городов толпу блудниц. Его охватила жалость, и он сказал:

— Не падай духом, господин мой! Призывай на помощь свою волю, но не моли богов: они не снисходят на призывы людей! Вот ты теперь малодушно плачешь. Тебе не стыдно страдать из-за женщины?

— Что я, по-твоему, дитя? — возразил Мато.— Ты думаешь, меня еще трогают женские лица и песни женщин? У нас в Дрепане их посылали чистить конюшни. Я обладал женщинами среди набегов, под рушившимися сводами и когда еще дрожали катапульты!.. Но эта женщина, Спендий, эта!

Раб прервал его:

— Не будь она дочь Гамилькара...

— Нет! — воскликнул Мато.— Она не такая, как остальные, другой такой женщины нет на свете. Ты видел, какие у нее большие глаза и густые брови,— глаза, подобные солнцам под арками триумфальных ворот? Вспомни: когда она появилась, свет факелов потускнел. Под алмазами ожерелья блистала ее обнаженная грудь. Следом за нею точно неслось благоухание храма, и от всего ее суще-

ства исходило нечто более сладостное, чем вино, и более страшное, чем смерть. Она шла, а потом остановилась...

Он умолк. Глаза его были устремлены вдаль, взгляд неподвижен.

— Я жажду обладать ею! Я умираю от желания! При мысли о том, что я сожму ее в своих объятиях, меня охватывает неистовый восторг. И все же я ненавижу ее! Мне бы хотелось избить ее, Спендий! Что мне делать? Я хочу продать себя, чтобы стать ее рабом. Ты ведь был ее рабом! Ты иногда видел ее. Расскажи мне что-нибудь о ней! Ведь она каждую ночь поднимается на террасу дворца, правда? Камни, наверно, трепещут под ее сандалиями, и звезды нагибаются, чтобы взглянуть на нее.

Он в бешенстве упал и захрипел, точно раненый бык.

Потом Мато запел: «Он преследовал в лесу чудовище с женским телом, с хвостом, извивавшимся по сухой листве, как серебряный ручей...»

Растягивая слова, Мато подражал голосу Саламбо, его вытянутые руки как бы скользили по струнам лиры.

В ответ на все утешения Спендия он говорил одно и то же. Ночи проходили среди стонов и увещаний.

Мато хотел заглушить свои страдания вином. Но опьянение только усиливало его печаль. Тогда, чтобы развлечься, он стал играть в кости и проиграл одну за другой все золотые бляхи своего ожерелья. Он согласился пойти к прислужницам богини, но, спускаясь с холма, рыдал, точно шел с похорон.

Спендий в противоположность ему становился все отважнее и веселее. Он вел беседы с солдатами в кабачках под деревьями, чинил старые доспехи, жонглировал кинжалами, собирал травы для больных. Он шутил, был умен, находчив, общителен; варвары привыкли к его услугам и полюбили его.

Они ждали посла из Карфагена, который должен был привезти им на мулах корзины, груженные золотом; производя наново все те же расчеты, они чертили пальцами на песке цифры за цифрами. Каждый строил планы на будущее, рассчитывал иметь наложниц, рабов, землю. Некоторые намеревались зарыть свои сокровища или рискнуть увезти их на кораблях. Но полное безделье стало раздражать солдат; начались споры между конницей и пехотой, между варварами и греками; беспрестанно раздавались озлобленные женские голоса.

Каждый день к ним являлись полчища почти нагих

людей, покрывавших себе голову травами для защиты от солнца. Это были должники богатых карфагенян; их заставили обрабатывать землю заимодавцы, и они спаслись бегством. Приходило множество ливийцев, крестьян, разоренных налогами, изгнанников, преступников. Затем прибыла орда торговцев: все продавцы вина и растительного масла, взбешенные тем, что им не уплатили, и враждебно настроенные против Республики. Спендий ораторствовал, обвиняя Карфаген. Вскоре стали истощаться припасы. Начали поговаривать о том, чтобы, сплотившись, идти всем на Карфаген или же призвать римлян.

Однажды в час ужина раздались приближающиеся низкие надтреснутые звуки: вдалеке на холмистой равнине показалось что-то красное.

То были большие носилки пурпурового цвета, украшенные по углам пучками страусовых перьев. Хрустальные цепи и нити жемчуга ударялись о стянутые занавеси. За носилками следовали верблюды, позванивая колокольчиками, висевшими у них на груди. Верблюдов окружали наездники в чешуйчатых золотых латах от плеч до самых пят.

Они остановились в трехстах шагах от лагеря и вынули из чехлов, привязанных к седлам, круглые щиты, широкие мечи и беотийские шлемы. Часть всадников осталась при верблюдах, остальные двинулись вперед. Наконец показались эмблемы Республики — синие деревянные шесты с конской головой или сосновой шишкой наверху. Варвары поднялись со своих мест и стали рукоплескать; женщины подбегали к легионерам и целовали им ноги.

Носилки приближались, покоясь на плечах двенадцати негров, которые шли в ногу мелкими быстрыми шагами. Они отклонялись то вправо, то влево, натыкаясь на веревки палаток, на скот, разбредшийся во все стороны, на треножники, где жарилось мясо. Время от времени высовывалась жирная рука в кольцах; хриплый голос выкрикивал ругательства. Тогда носильщики останавливались и меняли направление.

Пурпуровые занавеси носилок приподнялись; на широкой подушке покоилась голова человека с одутловатым равнодушным лицом; брови вырисовывались на лице, как две дуги из черного дерева, соединенные между собой; золотые блестки сверкали в курчавых волосах, лицо было очень бледное, точно осыпанное мраморным порошком.

Тела не было видно под овечьими шкурами, покрывавшими его.

Воины узнали в лежащем человеке суффета Ганнона, того, что своей медлительностью содействовал поражению в битве при Эгатских островах; что касается победы над ливийцами при Гекатомпиле, его тогдашнее милосердие к побежденным было вызвано, как полагали варвары, корыстолюбием: он продал всех пленных, а деньги взял себе, хотя заявил Совету, что умертвил их.

Некоторое время Ганнон искал удобного места, откуда можно было бы обратиться с речью к солдатам; наконец он сделал знак; носилки остановились, и суффет, поддерживаемый двумя рабами, шатаясь, спустил ноги на землю.

На нем были черные войлочные башмаки, усеянные серебряными полумесяцами. Ноги были стянуты перевязками, как у мумий, между скрещивающимися полосами холста проступало местами тело. Живот свешивался из-под красной куртки, покрывавшей бедра; складки шеи лежали на груди, как подгрудок у быка; туника, расписанная цветами, трещала под мышками; на суффете был шарф, пояс и длинный черный плащ с двойными зашнурованными рукавами. Чрезмерное количество одеяний, большое ожерелье из синих камней, золотые застежки и тяжелые серьги делали его уродство еще более отвратительным. Он казался грубым идолом, высеченным из камня; бледные пятна, покрывавшие все его тело, придавали ему вид неживого. Только нос, крючковатый, как клюв ястреба, раздувался, вдыхая воздух, а маленькие глаза со слипшимися ресницами сверкали жестким, металлическим блеском. Он держал в руке лопаточку из алоэ, для того чтобы почесываться.

Наконец два глашатая затрубили в серебряные рога; шум смолк, и Ганнон заговорил.

Он начал с прославления богов и Республики; варвары должны радоваться, что служили ей. Но необходимо выказать больше благоразумия, ибо времена пришли тяжелые: «Когда у хозяина всего три маслины, разве не справедливо, если он оставит две для себя?»

Так старик суффет уснащал свою речь пословицами и притчами, кивая головой, чтобы вызвать одобрение слушателей.

Он говорил на пуническом наречии, а те, кто окружал его (самые проворные прибежали без оружия), были кампанийцы, галлы и греки,— воины не понимали его. Заме-

тив это, Ганнон умолк и, раздумывая, стал тяжело переминаться с ноги на ногу.

Наконец он решил созвать военачальников. Глашатаи возвестили его приказ по-гречески — этот язык со времен Ксантиппа был принят в карфагенском войске для приказов.

Стража отстранила ударами бича толпу воинов, и вскоре явились начальники фаланг, построенных по спартанскому образцу, а также вожди варварских когорт со знаками своего ранга и в доспехах своего племени. Спустилась ночь, равнина огласилась смутным гулом, кое-где засверкали огни; все засуетились, спрашивали, что случилось, почему суффет не раздает деньги.

Он разъяснил военачальникам затруднительное положение Республики. Казна ее иссякла. Дань, уплачиваемая римлянам, разоряет ее.

— Мы не знаем, как быть!... Республика в плачевном положении!

Время от времени он почесывал тело лопаточкой из алоэ или же прерывал свою речь, чтобы поднести ко рту серебряную чашу, которую протягивал ему раб, и отхлебнуть питья, приготовленного из пепла ласки и спаржи, вываренной в уксусе. Потом он вытирал губы пурпуровой салфеткой и продолжал:

— То, что стоило прежде сикль серебра, стоит теперь три шекеля золотом, и земли, запущенные во время войны, ничего не приносят!.. Улов пурпура ничтожный, жемчуг — и тот стоит баснословно дорого, у нас едва хватает благовонных масел для служения богам! Что касается съестных припасов, то о них лучше не говорить: настоящее бедствие! Из-за недостатка галер у нас нет пряностей, очень трудно добывать сильфий вследствие мятежей на киренской границе. Сицилия, откуда прежде вывозили столько рабов, теперь для нас закрыта! Еще вчера за одного банщика и четырех кухонных слуг я заплатил больше, чем прежде за двух слонов!

Он развернул длинный свиток папируса и прочел, не пропуская ни одной цифры, все расходы, произведенные правительством: столько-то за работы в храмах, за мощение улиц, за постройку кораблей, столько-то ушло на ловлю кораллов, столько-то — на расширение сисситских торговых обществ, столько-то стоили сооружения на рудниках в Кантабрии.

Военачальники, как и воины, не понимали по-гречески,

хотя наемники обменивались приветствиями на этом языке. Обыкновенно в войска варваров отряжали нескольких карфагенских чиновников, чтобы они служили там переводчиками. Но после войны они скрылись, боясь, что им будут мстить. Ганнон не подумал о том, чтобы взять с собою переводчика, к тому же голос у него был слабый и ветер заглушал его.

Греки, стянутые железными поясами, напрягали слух, стараясь уловить слова оратора, а горцы, покрытые мехом, как медведи, недоверчиво смотрели на Ганнона или зевали, опираясь на тяжелые дубины с медными гвоздями. Галлы не обращали внимания на то, что говорилось, и насмешливо встряхивали пучком высоко зачесанных волос; жители пустыни слушали неподвижно, закутавшись в серые шерстяные одежды. Прибывали новые воины: стражники, которых теснила толпа, шатались, сидя на лошадях; негры держали в вытянутых руках горящие сосновые ветви, а толстый карфагенянин продолжал свою речь, стоя на поросшем травою пригорке.

Варвары, однако, стали терять терпение; поднялся ропот, все заговорили с Ганноном. Он потрясал своей лопаточкой; те, кто хотел принудить к молчанию других, кричали еще громче, и от этого шум только усиливался.

Вдруг к Ганнону подскочил невзрачный с виду человек и затрубил, выхватив рог у одного из глашатаев; этим Спендий (ибо это был он) возвестил, что собирается объявить нечто важное. На его возвещение, быстро произнесенное на пяти разных языках — греческом, латинском, галльском, ливийском и балеарском, военачальники, посмеиваясь и изумляясь, ответили:

— Говори! Говори!

С минуту Спендий колебался, он весь дрожал; наконец, обращаясь к ливийцам, которых было больше всего в толпе, он сказал:

— Вы все слышали страшные угрозы этого человека?

Ганнон не возмутился — значит, он не понимал по-ливийски. Продолжая свой опыт, Спендий повторил ту же фразу на других наречиях варваров.

Слушатели с удивлением переглядывались; потом, точно по молчаливому сговору, а может быть, думая, что они все поняли, опустили головы в знак согласия.

Тогда Спендий заговорил горячась:

— Он сказал прежде всего, что боги других народов — призраки по сравнению с богами Карфагена! Он назвал

вас трусами, ворами, лгунами, псами и собачьими сынами! Если бы не вы, Республике (так он и сказал) не пришлось бы платить дань римлянам: своими набегами вы лишили ее ароматов и благовоний, рабов и сильфия, ибо вы вошли в соглашение с кочевниками на киренской границе! Но виновных покарают! Он прочел список наказаний, которым их подвергнут: их заставят мостить улицы, снаряжать корабли, украшать сисситские дома, а других пошлют рыть землю на рудниках в Кантабрии.

Спендий повторил то же самое галлам, грекам, кампанийцам, балеарам. Узнав несколько имен, донесшихся до их слуха, наемники были убеждены, что он точно передает речь суффета. Несколько человек крикнули ему: «Ты лжешь!»,— но их голоса потонули в общем гуле. Спендий прибавил:

— Разве вы не заметили, что он оставил у входа в лагерь часть своей конницы? По его знаку воины примчатся, чтобы всех нас умертвить.

Варвары повернулись в сторону входа; толпа расступилась, и в центре ее оказался человек, двигавшийся медленно, точно призрак, сгорбленный, худой, совершенно голый, покрытый до пояса длинными взъерошенными волосами с торчащими в них сухими листьями и шипами, весь в пыли. Бедра и колени его были обмотаны соломой, смешанной с глиной, и холщовым тряпьем; сморщенная землистая кожа свисала с костлявого тела, как мох с сухих веток; руки непрерывно дрожали, и шел он, опираясь на палку из оливкового дерева.

Он приблизился к неграм, державшим факелы. Тупая, бессмысленная усмешка обнажила его бледные десны. Он рассматривал широко раскрытыми, испуганными глазами толпу варваров.

Вдруг он отскочил и спрятался за их спины.

— Вот они, вот они! — бормотал он, указывая на охрану суффета, неподвижно застывшую в своих сверкающих латах.

Лошади вздымались на дыбы, ослепленные факелами, с треском пылавшими во мраке. Человек, казавшийся призраком, бился и вопил:

— Они их убили!

При этих словах, которые он выкрикивал на балеарском наречии, прибежали балеары и узнали его; не отвечая им, он повторял:

— Да, убили, всех убили! Раздавили, как виноград!

Таких молодых, таких красивых! Метателей из пращи! Моих товарищей и ваших!

Ему дали вина, и он заплакал; потом начал говорить без умолку.

Спендий едва сдерживал свою радость, объясняя грекам и ливийцам, о каких ужасах рассказывал Зарксас. Он боялся верить его словам, до того все это было кстати. Балеары бледнели, слушая о том, как погибли их товарищи.

Речь шла об отряде в триста пращников, прибывших накануне ухода наемников и слишком поздно вставших в то утро. Когда они пришли на площадь к храму Камона, варваров уже не было; и они очутились без всяких средств защиты, так как их глиняные ядра были навьючены на верблюдов вместе с остальной поклажей. Им дали вступить в Сатебскую улицу и дойти до дубовых ворот, обшитых изнутри медью; тогда население сразу ринулось на них.

Воины действительно вспомнили, что до них донесся страшный крик; Спендий, бежавший во главе колонн, ничего не слышал.

Потом трупы положили на руки богов Патэков, которые стояли вокруг храма Камона. На убитых взвели все преступления наемников: обжорство, воровство, безбожие, глумление, а также убийство рыб в саду Саламбо. Над их телами надругались; жрецы жгли им волосы, чтобы мучились их души; затем их развесили по кускам в мясных; кое-кто вонзил в них зубы; а вечером, чтобы покончить с ними, на перекрестках зажгли костры.

Это и были те огни, что светились вдали на озере. Но так как от костров загорелось несколько домов, остальные трупы, так же как и умирающих, сбросили со стен. Зарксас прятался до следующего дня в камышах на берегу озера; потом он долго шел, отыскивая войско по следам в пыли. Утром он скрывался в пещерах, а вечером снова отправлялся в путь. Из его ран струилась кровь, он был голоден, болен, питался кореньями и падалью. Наконец он увидел в отдалении копья и пошел следом за ними; разум его помутился от ужаса и страданий.

Возмущение солдат разразилось, как буря, когда Зарксас замолчал; они хотели тотчас же уничтожить охрану вместе с суффетом. Однако кое-кто воспротивился этому, говоря, что нужно выслушать суффета и, по крайней мере, узнать, заплатят ли им. Тогда все закричали:

— Наше жалованье!

Ганнон ответил, что привез деньги.

Все бросились к аванпостам, и при участии варваров поклажу суффета привезли в лагерь; не дожидаясь рабов, они сами развязали корзины; там находились одежды из фиолетовых тканей, губки, лопаточки для почесывания, щетки, благовония, палочки из сурьмы, чтобы подводить глаза; все это принадлежало конной охране, людям богатым и изнеженным. Среди клади оказался также большой бронзовый чан, навьюченный на верблюда; дорогой суффет мылся в этом чане. Суффет принимал всякие предосторожности, заботясь о своем здоровье; он вез в клетках даже ласок из Гекатомпиля, которых сжигали живыми для изготовления лекарственного питья. А так как болезнь Ганнона вызывала у него большой аппетит, то он взял с собой много съестных припасов и вина, рассолы, мясо и рыбу в меду, а также горшочки из Коммагена с топленым гусиным жиром, покрытые снегом и рубленой соломой. Таких горшочков припасено было очень много; их находили в каждой корзине, что вызывало каждый раз взрыв смеха.

Что же касается жалованья наемников, оно занимало не более двух плетеных корзин; в одной из них были обнаружены просто кожаные кружочки, которыми Республика пользовалась, чтобы тратить поменьше звонкой монеты; когда же варвары выразили крайнее изумление, Ганнон объяснил, что ввиду сложности расчетов старейшины еще не успели их произвести и пока посылают вот это.

Тогда наемники стали бить и опрокидывать все, что попадалось им под руку: мулов, слуг, носилки, провизию, поклажу. Они брали пригоршнями деньги из мешков и побивали ими Ганнона. Он с трудом сел на осла и, уцепившись за его шерсть, пустился в бегство, рыдая, вопя, изнемогая от тряски и призывая на войско проклятие всех богов. Широкое ожерелье из драгоценных камней прыгало у него на груди, подскакивая до самых ушей. Он придерживал зубами длинный плащ, который волочился вслед за ним, а варвары кричали ему издали:

— Убирайся, трус! Боров! Клоака Молоха! Улепетывай со своим золотом, со своей заразой! Скорей! Скорей!

Охрана скакала за ним в беспорядке.

Но бешенство варваров не утихало. Они вспомнили, что несколько человек, ушедшие в Карфаген, не вернулись обратно: их, наверное, убили. Несправедливость кар-

фагенян привела наемников в неистовство, и они стали вырывать шесты палаток, свертывать плащи, седлать лошадей; каждый брал свой шлем и копье — в одну минуту все было готово к походу. У кого не нашлось оружия, те бежали в лес, чтобы нарезать палок.

Занимался день; население Сикки проснулось и высыпало на улицу.

— Они идут на Карфаген! — говорили горожане, и этот слух вскоре распространился по всей стране.

На каждой тропинке, из каждого рва появлялись люди. Пастухи бегом спускались с гор.

Когда варвары ушли, Спендий объехал равнину, сидя верхом на пуническом жеребце; рядом с ним раб вел третью лошадь.

Из всех палаток осталась только одна. Спендий вошел в нее.

— Вставай, господин! Мы выступаем!

— Куда? — спросил Мато.

— Идем на Карфаген! — крикнул Спендий.

Мато вскочил на лошадь, которую раб держал наготове у входа в палатку.

III

САЛАМБО

Луна вышла из-за моря, и в городе, еще покрытом мраком, заблестели светлые точки и выступили белые пятна; дышло колесницы во дворе, полотняная ветошь, развешанная на веревке, часть стены, золотое ожерелье на груди идола. Стеклянные шары на крышах храмов засверкали, как огромные алмазы. Но смутные очертания развалин, насыпи черной земли и сады все еще казались темными глыбами во мраке; в нижней части Малки сети рыбаков тянулись из дома в дом, словно гигантские летучие мыши, распростершие свои крылья. Уже не слышно было скрипа гидравлических колес, поднимавших воду в верхние этажи дворцов; верблюды спокойно отдыхали на террасах, лежа на животе, как страусы. Привратники спали на улицах у порогов домов. Тень колоссов удлинялась на пустынных площадях; вдали, над бронзовыми плитками крыш, вился дым пылающей жертвы; морской ветер приносил вместе с ароматами запах водорослей и стен, нагретых солнцем. Вокруг Карфагена блестели недвижные

воды, ибо луна лила свет на окруженный горами залив и на Тунисское озеро, где среди песчаных отмелей виднелись длинные ряды розовых фламинго; а дальше, ниже катакомб, широкая соленая лагуна сверкала, как серебро. Свод синего неба сливался вдали с пылью равнин по одну сторону, с морскими туманами — по другую; на вершине акрополя пирамидальные кипарисы, окружившие храм Эшмуна, покачивались с тихим рокотом, подобным шуму волн, набегавших на мол у подножия крепостных стен.

Саламбо поднялась на террасу своего дворца; ее поддерживала рабыня, которая несла на железном подносе горящие угли.

Посреди террасы стояло небольшое ложе из слоновой кости, покрытое рысьими шкурами, с подушками из перьев попугая — ве́щей птицы, посвященной богам; по углам были расставлены высокие курильницы, наполненные нардом, ладаном, киннамоном и миррой. Рабыня зажгла благовония. Пол был посыпан голубым порошком и усеян золотыми звездами наподобие неба. Саламбо обратила взор к Полярной звезде; она медленно поклонилась на все четыре стороны и стала на колени. Потом, прижав локти к бокам, отведя руки и раскрыв ладони, она запрокинула голову под лучами луны и возвысила голос:

— О Раббет!... Ваалет!.. Танит!..

Голос ее звучал жалобно, протяжно, точно призыв.

— Анаитис! Астарта! Дерсето! Астроет! Миллитта! Атара! Элисса! Тирата!.. Скрытыми символами, звонкими систрами, бороздами земли, вечным молчанием и вечным плодородием приветствую тебя, властительница темного моря и голубых берегов, царица всей влаги мира!

Она два-три раза качнулась всем телом, потом, вытянув руки, пала ниц в пыли.

Рабыня быстро подняла ее — обряд требовал, чтобы кто-нибудь поднял молящегося человека: это значило, что боги вняли его мольбе, и кормилица Саламбо неуклонно исполняла этот благочестивый долг.

Торговцы из Гетулии Даритийской привезли ее еще ребенком в Карфаген; отпущенная на свободу, она не пожелала оставить своих господ, что было видно по широкому отверстию в ее проколотом правом ухе. Пестрая полосатая юбка, обтягивавшая ее бока, спускалась до щиколоток, где звенели два оловянных кольца. Плоское лицо рабыни было желтое, как и ее туника. Длинные серебряные иглы образовали ореол на затылке. В одну ноздрю

была вдета коралловая серьга. Опустив глаза, рабыня стояла подле ложа прямее гермы.

Саламбо подошла к краю террасы. Она окинула взором дали, потом устремила его на спящий город, и от глубокого вздоха заколыхалась ее длинная белая симмара, без застежек и пояса, свободно ниспадавшая до полу. Ее сандалии с загнутыми носками были покрыты изумрудами, распущенные волосы подобраны в пурпуровую сетку.

Она подняла голову и, созерцая луну, зашептала, примешивая к своим словам обрывки гимнов:

— Как легко ты кружишься, поддерживаемая тончайшим эфиром! Он становится еще невесомее вокруг тебя; это ты своим движением распределяешь ветры и плодоносные росы. По мере того как ты нарастаешь или убываешь, удлиняются или сужаются глаза кошек и пятна пантер. Жены с воплем называют твое имя среди мук деторождения! Ты наполняешь раковины! Благодаря тебе бродит вино! Ты вызываешь гниение трупов! Ты творишь жемчужины в глубине морей!.. И все зародыши, о богиня, исходят из тьмы твоих влажных глубин.

Стоит тебе появиться — и по земле разливается покой, чашечки цветов закрываются, волны утихают, усталые люди ложатся, повернувшись грудью к тебе, и мир со своими океанами и горами глядится, точно в зеркало, тебе в лицо. Ты чистая, нежная, лучезарная, непорочная, безмятежная, всех очищающая, всем помогающая!

Серп луны поднялся по другую сторону залива, над горой Горячих источников между двумя ее вершинами. Под луной светилась небольшая звездочка, окруженная бледным сиянием. Саламбо продолжала:

— Но ты и грозна, владычица! Это ты создаешь чудовища, страшные призраки, обманчивые сны. Глаза твои пожирают камни зданий, обезьяны болеют при каждом твоем обновлении.

Куда ты стремишься? Зачем постоянно меняешь свой лик? Изогнутая и тонкая, ты скользишь в пространстве, точно галера без снастей, и кажешься среди звезд пастухом, стерегущим стадо. Сияющая и круглая, ты катишься по вершинам гор, точно колесо колесницы.

О Танит! Ведь ты меня любишь, я знаю! Я неустанно гляжу на тебя! Но нет! Ты носишься по лазури, а я остаюсь на неподвижной земле...

Таанах, возьми небал и тихо сыграй что-нибудь на серебряной струне, ибо сердце мое печально!

Рабыня взяла в руки инструмент из черного дерева, вроде арфы, но только выше и треугольной формы.

Глухие и быстрые звуки напоминали жужжание пчел и, нарастая, улетали в ночной мрак вместе с жалобной песнью волн и шелестом высоких деревьев на верху акрополя.

— Перестань! — воскликнула Саламбо.

— Что с тобой, госпожа? Дуновение ветра, облачко на небе — все тебя тревожит, волнует.

— Не знаю,— сказала Саламбо.

— Ты изнуряешь себя долгими молитвами!

— О Таанах, я хотела бы раствориться в молитве, как цветок в вине!

— Может быть, дым курений вреден тебе?

— Нет,— возразила Саламбо,— в благовониях обитает дух богов.

Рабыня заговорила об отце Саламбо. Думали, что он уехал в страны янтаря, за Мелькартовы столпы.

— Но если он не вернется,— сказала она,— тебе придется — такова его воля — избрать себе супруга среди сыновей старейшин, и печаль твоя пройдет в объятиях мужа.

— Почему? — спросила девушка.

Все мужчины, которых она видела до сих пор, внушали ей ужас своим животным смехом и грубым телом.

— Иногда, Таанах, из глубины моего существа поднимаются горячие струи, более жаркие, чем дыхание вулкана. Меня зовут какие-то голоса. Огненный шар распирает мне грудь и подступает к горлу: он душит меня, и мне кажется, что я умираю. А потом что-то сладостное пронизывает меня всю, пробегает по моему телу... Меня обволакивает какая-то ласка, и я изнемогаю, точно надо мной распростерся бог. О, как бы я хотела раствориться в ночном тумане, в струях ручья, в древесном соке, покинуть свое тело, быть лишь дыханием, лучом и, скользя, вознестись к тебе, о моя мать!

Она высоко подняла руки и выпрямилась, бледная и легкая, как луна, в своей длинной одежде. Потом снова опустилась на ложе из слоновой кости, с трудом переводя дыхание. Таанах надела ей на шею янтарное ожерелье с дельфиновыми зубами, которое рассеивает страхи, и Саламбо проговорила еле слышно:

— Пойди позови Шагабарима.

Отец Саламбо не желал, чтобы она сделалась жрицей или даже знала, каково народное представление о Танит.

Он берег дочь для брачного союза, который служил бы его политическим целям. Поэтому Саламбо вела во дворце одинокую жизнь; мать ее давно умерла.

Она выросла среди лишений, постов, постоянных очищений, окруженная изысканными торжественными предметами; тело ее было пропитано благовониями, душа полна молитв. Она никогда не пробовала вина, не ела мяса, не дотрагивалась до нечистого животного, не переступала порога дома, где лежал покойник.

Она не знала непристойных изображений; каждый бог принимал всевозможные обличья, одно и то же божественное начало славили по-разному. Саламбо поклонялась богине в ее лунном образе, и луна оказывала влияние на девственницу; когда она убывала, Саламбо слабела. Она томилась весь день и оживала только к вечеру. Во время одного лунного затмения она чуть не умерла.

Но ревнивая Раббет мстила за то, что девственность Саламбо не посвятили служению ей, и мучила Саламбо искушениями, тем более сильными, что они были смутные, сливались с ее верой и загорались от молитв.

Все мысли дочери Гамилькара занимала Танит. Она узнала про все ее приключения и скитания, выучила все ее имена и повторяла их, не понимая, что каждое имеет особый смысл. Чтобы проникнуть в глубину учения богини, Саламбо хотелось увидеть в тайнике храма старинную Танит и ее пышное покрывало, от которого зависели судьбы Карфагена. Представление о божестве не было отчетливо отделено от его изображения, и держать в руках или даже глядеть на изображение божества значило как бы овладевать частицей его могущества и до некоторой степени подчинять его себе.

Саламбо обернулась. Она узнала звон колокольчиков, которыми был обшит нижний край одежды Шагабарима.

Он поднимался по лестнице; взойдя на террасу, он остановился и скрестил руки.

Глубоко сидевшие глаза его сверкали, как светильники во мраке гробницы; длинное, худое тело тряслось в льняной одежде, сзади отягченной бубенчиками вперемежку с изумрудными шариками. У него было хилое тело, скошенный череп, острый подбородок. Кожа казалась холодной на ощупь, желтое лицо с глубокими морщинами точно сжалось от страстного желания, от вечной печали.

То был верховный жрец Танит, воспитатель Саламбо.

— Говори,— сказал он.— Чего ты хочешь?

— Я надеялась... Ты мне почти обещал..

Она запиналась от волнения, потом вдруг сказала твердым голосом:

— Почему ты меня презираешь? Что я упустила в исполнении обрядов? Ты мой учитель, и ты мне сказал, что никто не умеет служить богине так, как я. Но есть в этом служении нечто, чего ты не хочешь мне открыть. Это правда, отец?

Шагабарим вспомнил приказания Гамилькара и ответил:

— Нет, мне нечего больше открывать тебе!

— Какой-то дух,— продолжала она,— преисполняет меня любовью к Танит. Я поднималась по ступеням Эшмуна, бога планет и духов, я спала под золотым масличным деревом Мелькарта, покровителя тирских колоний, мне открывались двери Ваал-Камона, бога света и плодородия, я приносила жертвы подземным Кабирам, богам лесов, ветров, рек и гор. Но все они слишком далеки, слишком высоки, слишком бесчувственны. Ты понимаешь меня? Танит же, я чувствую, причастна к моей жизни, она наполняет мою душу, и я вздрагиваю от стремления ввысь, точно это она пытается высвободиться. Мне кажется, что еще немного, и я услышу ее голос, увижу ее лицо. Меня ослепляют молнии, и потом я снова погружаюсь во мрак.

Шагабарим молчал. Она устремила на него умоляющий взгляд.

Наконец он знаком велел удалить рабыню, которая не принадлежала к ханаанскому племени. Таанах исчезла; Шагабарим, подняв руку, заговорил.

— До того как явились боги,— сказал он,— был только мрак, и в нем носилось дыхание, тяжелое и смутное, как сознание человека во сне. Потом мрак сплотился, создав Желание и Облако, а из Желания и Облака вышла первобытная Материя. То была грязная, черная, ледяная, глубокая вода. Она заключала в себе бесчувственных чудовищ, разрозненные части будущих форм, которые изображены на стенах святилищ.

Потом Материя сгустилась. Она сделалась яйцом. Яйцо разбилось. Одна половина образовала землю, другая — небесный свод. Появились солнце, луна, ветры, тучи, под ударами грома проснулись разумные существа. Тогда в звездном пространстве распростерся Эшмун, Камон засверкал в солнечном диске. Мелькарт толкнул его за Гадес, Кабиры ушли вниз под вулканы, и Раббет, точно кор-

милица, наклонилась над миром, изливая свой свет, как молоко, и расстилая ночь, как плащ.

— А потом? — спросила Саламбо.

Он рассказал ей о тайне рождения мира, чтобы внушить ей более высокие помыслы, но вожделения девственницы загорелись от его последних слов, и Шагабарим, наполовину уступая ей, сказал:

— Она рождает в людях любовь и управляет ею.

— Любовь в людях! — мечтательно повторила Саламбо.

— Она — душа Карфагена,— продолжал жрец,— и хотя она разлита повсюду, но живет здесь, под священным покрывалом.

— Скажи, отец,— воскликнула Саламбо,— я увижу ее? Ты поведешь меня к ней? Я долго колебалась. Я сгораю от желания увидеть облик Танит. Сжалься! Помоги мне! Идем к ней!

Он оттолкнул ее гневным и гордым движением.

— Никогда! Разве ты не знаешь, что при виде ее люди умирают! Ваалы-гермафродиты открываются только нам, потому что мы наделены мужским умом и женской слабостью. Твое желание нечестиво. Удовлетворись знанием, которым ты владеешь!

Она упала на колени, заткнув уши пальцами в знак раскаяния, и долго рыдала, подавленная словами жреца, возмущенная им, преисполненная ужаса и чувства унижения. Шагабарим стоял перед ней неподвижно. Он глядел на нее, распростертую у его ног, испытывая странную радость при мысли, что она страдает из-за богини, которую даже он не мог до конца постигнуть. Запели птицы, подул холодный ветер, по побледневшему небу неслись облачка.

Вдруг он заметил на горизонте, за Тунисом, как бы легкий туман, стлавшийся по земле; потом в воздухе повисла большая завеса из серой пыли, и в вихрях ее показались головы дромадеров, копья, щиты. Это войско варваров шло на Карфаген.

IV

У СТЕН КАРФАГЕНА

В город примчались из окрестных селений верхом на ослах или пешком обезумевшие от страха, бледные, запыхавшиеся люди. Они бежали от надвигавшегося войска.

Оно в три дня вернулось из Сакки в Карфаген, чтобы все уничтожить.

Карфагеняне закрыли городские ворота. Варвары уже подступали, но остановились посредине перешейка, на берегу озера. Сначала они не проявили никаких признаков враждебности. Иные приблизились с пальмовыми ветвями в руках. Их отогнали стрелами — до того был велик страх перед наемниками.

Утром и под вечер вдоль стен бродили пришельцы. Особенно обращал на себя внимание маленький человек, старательно кутавшийся в плащ и скрывавший лицо под надвинутым забралом. Он часами пристально разглядывал акведук, очевидно, желая ввести карфагенян в заблуждение относительно своих истинных намерений. Его сопровождал другой человек, великан с непокрытой головой.

Но Карфаген был хорошо защищен во всю ширину перешейка — сначала рвом, затем валом, поросшим травой, наконец, стеной высотою в тридцать локтей, из тесаных камней, в два этажа. В стене были устроены помещения для трехсот слонов и склады для их попон, пут и корма. Затем шли конюшни для четырех тысяч лошадей с запасами ячменя и упряжки, а также казармы для двадцати тысяч воинов с оружием и боевыми припасами. Над вторым этажом возвышались башни с бойницами: снаружи башни были защищены висевшими на крючьях бронзовыми щитами.

Эта первая линия стен служила непосредственным прикрытием для квартала Малки, где жили моряки и красильщики. Издали видны были шесты, на которых сушились пурпуровые ткани, а на последних террасах — глиняные печи для варки красильных растворов.

Сзади расположился амфитеатром город с высокими домами кубической формы. Дома были выстроены из камня, досок, морских валунов, камыша, раковин и глины. Рощи храмов казались озерами зелени на этой горе из разноцветных глыб. Город разделен был площадями на неравные участки. Бесчисленные узкие улочки, скрещиваясь, разрезали гору сверху донизу. Виднелись ограды трех старых кварталов, примыкавшие одна к другой; они возвышались в виде огромных рифов или развалин, наполовину покрытых цветами, почерневших, исполосованных нечистотами; улицы проходили через зиявшие в них проломы, как реки под мостами.

Холм акрополя, в центре Бирсы, исчезал в хаосе об-

щественных зданий. Там были храмы с витыми колоннами, с бронзовыми капителями и металлическими цепями, каменные конусы сухой кладки с лазурными полосами, медные купола, мраморные архитравы, вавилонские контрфорсы, обелиски, стоявшие на своей верхушке, как опрокинутые факелы. Перистили достигали фронтонов; между колоннадами извивались волюты, кирпичные переборки поддерживались гранитными стенами; все это, наполовину скрытое, громоздилось одно над другим причудливо и непостижимо. Чувствовалось чередование веков и как бы память о далеких отчизнах.

Позади акрополя, среди полей с красной почвой, тянулась прямой линией от берега к катакомбам маппальская дорога, окаймленная могилами. Дальше шли просторные дома, окруженные садами, и этот третий квартал, вернее новый город Мегара, простирался вплоть до скалистого берега, где стоял гигантский маяк, который зажигали каждую ночь.

Таким представился Карфаген воинам, занявшим равнину.

Они узнавали издали рынки, перекрестки и спорили о местонахождении храмов. Храм Камона, против Сисситов, выделялся своими золотыми черепицами; на крыше храма Малькарта, слева от холма Эшмуна, виднелись ветви кораллов. За ним стоял храм Танит, и среди пальм круглился его медный купол; черный храм Молоха высился возле водоемов со стороны маяка. Наверху фронтонов, на стенах, на углах площадей — всюду ютились божества с уродливыми головами, гигантских размеров или приземистые, с огромными животами или чрезмерно плоские, с раскрытой пастью, с распростертыми руками; они держали вилы, цепи или копья. В конце улиц сверкала синева моря, отчего они казались еще более крутыми. С утра до вечера их наполняла суетливая толпа. У входа в бани кричали, звеня колокольчиками, мальчишки; в лавках, где продавались горячие напитки, стоял густой пар; воздух оглашался звоном наковален; на террасах пели белые петухи, посвященные Солнцу; в храмах раздавался рев закалываемых быков; рабы бегали с корзинами на головах, а под портиками проходили жрецы, босые, в темных плащах и остроконечных шапках.

Зрелище Карфагена раздражало варваров. Они восхищались городом и в то же время ненавидели его; им хотелось и разрушить Карфаген, и жить в нем. А что скры-

валось в военной гавани, защищенной тройной стеной? Там, дальше, за городом, в глубине Мегары, возвышался над акрополем дворец Гамилькара.

Глаза Мато ежеминутно устремлялись туда. Он взбирался на масличные деревья и нагибался, прикладывая руку к глазам. В садах никого не было, красная дверь с черным крестом оставалась закрытой.

Более двадцати раз обошел Мато укрепления, выискивая брешь, через которую можно было бы проникнуть в город. Однажды ночью он бросился в залив и в течение трех часов плыл без остановки. Приплыв к подножию Маппал, он хотел вскарабкаться на утес, но изранил до крови колени, сломал ногти, вновь кинулся в волны и вернулся обратно.

Он приходил в бешенство от своего бессилия и чувствовал ревность к Карфагену, скрывающему Саламбо, как будто это был человек, владевший ею. Прежний упадок сил сменился безумной, неустанной жаждой деятельности. С разгоревшимся лицом, с воспаленными глазами, что-то глухо бормоча, он быстро шагал по полю или же, сидя на берегу, чистил песком свой большой меч. Он метал стрелы в пролетавших коршунов. Ярость свою он изливал в проклятиях.

— Дай волю своему гневу, как разгоряченному коню,— сказал Спендий.— Кричи, проклинай, безумствуй и убивай. Горе утоляется кровью, и так как ты не можешь насытить свою любовь, насыть свою ненависть, она тебя ободрит!

Мато вновь принял начальство над своими ратниками, мучил их воинскими упражнениями. Его почитали за отвагу и в особенности за силу. К тому же он внушал какой-то мистический страх; думали, что он говорит по ночам с призраками. Другие начальники воодушевились его примером. Вскоре воинская подчиненность упрочилась. Карфагеняне слышали из своих домов звуки букцин, которыми сопровождались воинские упражнения. Наконец варвары приблизились.

Чтобы раздавить врагов на перешейке, следовало оцепить их одновременно двум армиям, одной — сзади, высадившись в глубине Утического залива, другой — у подножия горы Горячих источников. Но что можно было предпринять с одним Священным легионом, в котором числилось не более шести тысяч человек? Если бы варвары направились на восток, они соединились бы с кочев-

никами и отрезали киренскую дорогу и сообщение с пустыней. Если бы они отступили к западу, взбунтовались бы нумидийцы. Наконец, нуждаясь в съестных припасах, они рано или поздно опустошили бы окрестности, как саранча. Богачи дрожали за свои замки, виноградники, посевы.

Ганнон предложил принять жестокие и невыполнимые меры: назначить большое денежное вознаграждение за каждую голову варвара или же поджечь лагерь наемников при помощи кораблей и машин. Его соратник Гискон, напротив, требовал уплатить им все, что следовало. Старейшины ненавидели Гискона за его славу: они боялись, как бы случай не навязал им нового властителя; страшась монархии, они старались ослабить все, что от нее оставалось или могло ее восстановить.

За укреплениями Карфагена жили люди другой расы и неведомого происхождения, которые охотились на дикобразов и питались моллюсками и змеями. Они ловили в пещерах живых гиен и по вечерам ради забавы гоняли их по пескам Мегары между могильными памятниками. Их хижины из ила и морских трав лепились по скалам, как гнезда ласточек. У них не было ни правителей, ни богов; они жили скопом, голые, слабые и вместе с тем свирепые, испокон веков ненавистные народу за свою нечистую пищу. Часовые заметили однажды, что все они исчезли.

Наконец члены Великого совета приняли решение. Они явились в лагерь наемников как соседи, без ожерелий и поясов, в открытых сандалиях. Они шли спокойным шагом, кланяясь начальникам, останавливаясь, чтобы поговорить с воинами, и заявляли, что теперь с раздорами покончено и все требования наемников будут удовлетворены.

Многие из них впервые видели лагерь вблизи. Вместо суеты, которой они ожидали, в лагере царили порядок и грозное молчание. Земляная насыпь укрывала войско, как высокая стена, неприступная для катапульт. Улицы внутри лагеря были политы свежей водой; в отверстиях палаток горели среди мрака чьи-то темные глаза. Связки пик и развешанное оружие ослепляли своим блеском, как зеркала. Пришедшие говорили между собой вполголоса. Они боялись задеть и опрокинуть что-нибудь своими длинными одеждами.

Воины стали требовать съестных припасов, обязуясь уплатить за них из тех денег, что им были должны.

Им послали быков, цесарок, сушеные плоды, волчьи бобы и копченую скумбрию, ту превосходную скумбрию, которую Карфаген отправлял во все гавани. Однако воины глядели с пренебрежением на великолепный скот и нарочно хулили соблазнявшие их припасы; они предлагали за барана стоимость голубя, а за трех коз — цену одного граната. Пожиратели нечистой пищи выступали в качестве оценщиков и объявляли, что их обманывают. Тогда наемники обнажали мечи, угрожая резней.

Посланцы Великого совета записали, за сколько лет службы следовало заплатить каждому солдату. Но никак нельзя было установить, сколько взято было на службу наемников; старейшины пришли в ужас, когда выяснилось, какую огромную сумму они должны уплатить. Пришлось бы продать запасы сильфия и обложить податью торговые города. А тем временем наемники потеряли бы терпение; Тунис уже перешел на их сторону. Богачи, оглушенные неистовством Ганнона и попреками его соратника, посоветовали горожанам отправиться к знакомым им варварам, чтобы вновь завоевать их расположение дружескими увещаниями. Такое доверие должно было успокоить наемников.

Купцы, писцы, рабочие из арсенала целыми семьями пришли к варварам.

Наемники впускали к себе всех карфагенян, но только через один вход, и такой узкий, что в нем едва могли поместиться рядом четыре человека. Спендий ждал у ограды и подвергал всех внимательному обыску. Мато, стоя против него, рассматривал пришедших, стремясь найти среди них кого-нибудь из приближенных Саламбо.

Лагерь походил на город — столько там было людей и такое там царило оживление. Две разные толпы смешивались в нем, отнюдь не сливаясь; одна была в полотняных или шерстяных одеждах, в войлочных шапках, похожих на еловые шишки, а другая — в латах и шлемах. Среди слуг и уличных торговцев бродили женщины всех племен, смуглые, как спелые финики, зеленоватые, как маслины, желтые, как апельсины; это были женщины, проданные моряками, взятые из притонов, украденные у караванов, захваченные при разгроме городов; их изнуряли любовью, пока они были молоды, а потом, когда они старели, нещадно избивали. При отступлениях они умирали на дорогах среди поклажи вместе с брошенными вьючными животными. Жены кочевников в прямых одеждах из рыжей верб-

люжьей шерсти покачивались на каблуках; певицы из Киренаики в прозрачных фиолетовых одеждах, с насурмленными бровями, пели, сидя с поджатыми ногами на циновках; старые негритянки с отвисшими грудями собирали помет животных и сушили его на солнце, чтобы развести огонь; у сиракузянок в волосах были золотые бляхи; женщины лузитанского племени носили ожерелье из раковин; галльские женщины кутали в волчьи шкуры свою белую грудь; крепыши-мальчики, покрытые паразитами, голые, необрезанные, норовили ударить прохожего головой в живот или же, подойдя сзади, кусали ему руки, как тигрята.

Карфагеняне ходили по лагерю, удивляясь обилию и разнообразию всего, что они видели. Более робкие были печальны, другие скрывали свою тревогу.

Солдаты, пошучивая, хлопали их по плечу. Заметив кого-нибудь из видных карфагенян, они приглашали его развлечься. Играя в диск, они старались отдавить ноги противнику, а в кулачном бою тотчас же сворачивали ему челюсть. Пращники пугали карфагенян своими пращами, заклинатели — своими змеями, наездники — своими лошадьми. Мирные карфагеняне сносили обиды, понуря голову, и старались улыбаться. Некоторые, чтобы выказать храбрость, давали понять знаками, что хотят быть воинами. Им предлагали рубить дрова и чистить мулов. Их заковывали в латы и катали, как бочки, по улицам лагеря. Потом, когда они собирались уходить, наемники, кривляясь, делали вид, что в отчаянии рвут на себе волосы.

Многие из них по глупости или в силу предрассудков наивно считали всех карфагенян очень богатыми и шли за ними следом, выпрашивая подачку. Они зарились на все, что им казалось красивым: на кольца, пояса, сандалии, бахрому на платье, и когда ограбленный карфагенянин восклицал: «У меня больше ничего нет! Что тебе еще нужно?» — они отвечали: «Твою жену!» Другие говорили: «Твою жизнь!»

Военные счета были сданы начальникам, прочитаны воинам и окончательно утверждены. Тогда наемники потребовали палаток; им дали палатки. Греческие полемархи попросили красивые доспехи, которые изготовлялись в Карфагене. Великий совет постановил выдать им определенную сумму для приобретения доспехов. Затем наездники объявили, что Республика по справедливости должна заплатить им за потерю коней. Один утверждал, что у

него пало три копя при какой-то осаде, другой — будто потерял пять коней во время такого-то похода, а у третьего, по его словам, погибло в пропастях четырнадцать коней. Им предложили гекатомпильских жеребцов; они предпочли деньги.

Потом они потребовали, чтобы им заплатили серебром (серебряной монетой, а не кожаными деньгами) за весь хлеб, не выданный им, и по той высокой цене, по которой он продавался во время войны,— другими словами, они требовали за меру муки в четыреста раз больше, чем платили сами за мешок пшеницы. Эта несправедливость всех возмутила; пришлось, однако, уступить.

Тогда представители воинства и посланцы Великого совета примирились, призывая в свидетели своих клятв духа — хранителя Карфагена и богов варварских племен. Они принесли взаимные извинения и наговорили друг другу любезностей с чисто восточной горячностью и многоречивостью. После этого солдаты потребовали в знак дружбы, чтобы были наказаны все предатели, которые вооружили их против Республики.

Карфагеняне сделали вид, что не понимают. Тогда наемники сказали прямо, что требуют головы Ганнона.

Они по нескольку раз в день выходили из лагеря и, прогуливаясь перед стенами, кричали, чтобы им бросили голову суффета; они подставляли края одежд, чтобы ее поймать.

Великий совет, вероятно, уступил бы, если б не было предъявлено еще одно условие, оскорбительнее всех прочих: они пожелали, чтобы их вождям были отданы в жены девственницы из лучших карфагенских семей. Это придумал Спендий, и многие из наемников считали его предложение простым и приемлемым. Но дерзостное желание породниться с пунической знатью возмутило карфагенян; они решительно объявили, что больше ничего не дадут. Тогда наемники стали кричать, что их обманули и что если через три дня им не выдадут жалованья, они сами отправятся за ним в Карфаген.

Вероломство наемников, однако, не было так безгранично, как думали их враги. Гамилькар многократно брал на себя чрезмерные обязательства. Обещания его были, правда, неопределенные, но весьма торжественные. Наемники имели право ожидать, что, когда они высадятся в Карфагене, им отдадут весь город и они поделят между собой его сокровища. Когда же оказалось, что им выпла-

тили жалованье, и то неохотно, их гордость и алчность были разочарованы.

Ведь являли же собою Дионисий, Пирр, Агафокл и военачальники Александра пример сказочных воинских удач. Идеал Геркулеса, которого хананеяне смешивали с богом солнца, манил войска. Известно было, что простые ратники становились иногда венценосцами, и слухи о крушении империй пробуждали честолюбивые мечты галлов, обитавших в дубовых лесах, эфиопов, живших среди песков. И были еще люди, всегда готовые продать свою отвагу. Воры, изгнанные соплеменниками, убийцы, скитавшиеся по дорогам, преступники, преследуемые богами за святотатство, все голодные, все отчаявшиеся старались добраться до гавани, где карфагенский вербовщик набирал войско. Обыкновенно Карфаген выполнял свои обещания. На этот раз, однако, неистовая жадность карфагенян вовлекла его в опасное предприятие. Нумидийцы, ливийцы и вся Африка собирались напасть на Карфаген. Только море оставалось свободным. Но там были римляне. И, подобно человеку, на которого со всех сторон набросились убийцы, Карфаген чувствовал вокруг себя смерть.

Пришлось обратиться к помощи Гискона; варвары согласились на его посредничество. Однажды утром опустились цепи гавани, и три плоскодонных судна, пройдя через канал Тении, вошли в озеро.

На носу первого судна стоял Гискон. За ним возвышался, точно катафалк, огромный ящик, снабженный кольцами наподобие висящих венков. Затем появилось множество переводчиков со сфинксообразными головными уборами; у каждого на груди был вытатуирован попугай. За ними следовали друзья и рабы, все безоружные; их было столько, что они стояли плечом к плечу. Три длинных судна, едва не тонувших под тяжестью груза, подвигались вперед среди приветствий глядевшего на них войска.

Как только Гискон сошел на берег, воины побежали ему навстречу. По его приказу соорудили нечто вроде трибуны из мешков, и он объявил, что не уедет, прежде чем не заплатит всем сполна.

Раздались рукоплескания; он долго не мог произнести ни слова.

Затем он стал обвинять и Республику, и варваров, говоря, что во всем виноваты несколько бунтовщиков, испугавших Карфаген своей дерзостью. Лучшим доказатель-

ством добрых намерений Карфагена служило, по его словам, то, что к ним послали именно его, всегдашнего противника суффета Ганнона. Нечего поэтому приписывать Карфагену глупое намерение раздражать храбрецов или же черную неблагодарность, нежелание признать заслуги наемников. И Гискон принялся за выплату воинам жалованья, начав с ливийцев. Но так как представленные счета были лживы, он не пользовался ими.

Воины проходили перед ним по племенам, показывая каждый на пальцах, сколько лет он служил; их поочередно метили на левой руке зеленой краской; писцы вынимали пригоршни денег из раскрытого ящика, а другие пробуравливали кинжалом отверстия на свинцовой пластинке.

Прошел человек тяжелой поступью, наподобие быка.

— Поднимись ко мне,— сказал суффет, подозревая обман.— Сколько лет ты служил?

— Двенадцать,— ответил ливиец.

Гискон просунул ему пальцы под челюсть, где ремень от каски натирал всегда две мозоли — их называли рогами; иметь рога значило быть ветераном.

— Вор! — воскликнул суффет.— Я, наверное, найду у тебя на плечах то, чего нет на лице.

Разорвав его тунику, он обнажил спину, покрытую кровоточивой коростой: это был землепашец из Гиппо-Зарита. Поднялся шум; ему отрубили голову.

Наступила ночь. Спендий пошел к ливийцам, разбудил их и сказал:

— Когда лигуры, греки, балеары, так же как и италийцы, получат свое жалованье, они вернутся домой. Вы же останетесь в Африке, рассеянные среди своих племен и совершенно беззащитные. Тогда-то Карфаген и начнет вам мстить! Берегитесь обратного пути! Неужели вы верите их словам? Оба суффета действуют согласно! Гискон вас обманывает! Вспомните про Остров Костей, про Ксантиппа, которого они отправили обратно в Спарту на негодном судне!

— Что же нам делать? — спросили они.

— Подумайте,— сказал Спендий.

Следующие два дня прошли в уплате жалованья солдатам из Магдалы, Лептиса, Гекатомпиля. Спендий стал часто заходить к галлам.

— Теперь расплачиваются с ливийцами,— говорил он им,— а потом заплатят грекам, балеарам, азиатам и всем

другим! Вас же немного, и вы ничего не получите! Вы не увидите больше родины! Вам не дадут кораблей! Они вас убьют, чтобы не тратиться на вашу еду.

Галлы отправились к суффету. Автарит — тот, которого Гискон ранил у Гамилькара,— стал предлагать ему вопросы. Рабы вытолкали его, но, уходя, он поклялся отомстить.

Требований и жалоб становилось все больше и больше. Наиболее упрямые проникали в палатку суффета; чтобы разжалобить Гискона, они хватали его за руки, заставляли щупать свои беззубые рты, худые руки и рубцы старых ран. Те, кому еще не уплатили, возмущались, а те, кто получил жалованье, требовали еще денег за лошадей. Бродяги, изгнанники, захватив оружие воинов, утверждали, что про них забыли. Каждую минуту вваливались новые люди, палатки трещали, падали; сдавленные между укреплениями лагеря, солдаты с криками подвигались от входов к центру. Когда шум становился нестерпимым, Гискон опирался локтем на свой скипетр из слоновой кости и, глядя на море, стоял неподвижно, запустив пальцы в бороду.

Мато часто отходил в сторону и говорил со Спендием; потом снова глядел в лицо суффету, и Гискон непрерывно чувствовал направленные на него глаза, точно две пылающие стрелы. Они осыпали друг друга ругательствами через головы толпы, не слыша, однако, произносимых слов.

Тем временем выплата продолжалась, и суффет умело справлялся со всеми препятствиями.

Греки придирались к нему из-за различия монет. Он представил им такие убедительные разъяснения, что они удалились, не выражая недовольства. Негры требовали, чтобы им дали белые раковины, которые употреблялись для торговых сделок внутри Африки. Гискон предложил послать за ними в Карфаген. Тогда они, как все остальные, согласились принять деньги.

Балеарам обещали нечто лучшее — женщин. Суффет ответил, что для них ожидается целый караван девственниц, но путь далек и нужно ждать еще полгода. Он сказал, что, когда женщины достаточно располнеют, их натрут благовонными маслами и отправят на кораблях в балеарские гавани.

Вдруг Зарксас, вновь окрепший, статный, вскочил, как фокусник, на плечи друзей.

— Ты что ж, приберег их для трупов? — крикнул он, показывая на Камонские ворота в Карфагене.

В лучах заходящего солнца сверкали медные дощечки, украшавшие сверху донизу ворота. Варварам казалось, что они видят на них следы крови. Каждый раз, как Гискон собирался говорить, они поднимали крик. Наконец он спустился медленной поступью с трибуны и заперся у себя в палатке.

Когда он вышел оттуда на заре, его переводчики, спавшие на воздухе, не шевельнулись; они лежали на спине с остановившимся взглядом, высунув языки, и лица у них посинели. Беловатая слизь текла у них из носу, тела окоченели, точно замерзли за ночь. У каждого виднелся на шее тонкий камышовый шнурок.

Мятеж стал разрастаться. Убийство балеаров, о котором напомнил Зарксас, укрепило подозрения, возбуждаемые Спендием. Солдаты уверили себя, что Республика, как всегда, хочет обмануть их. Пора с этим покончить. Можно обойтись без переводчиков! Зарксас, с повязкой на голове, пел военные песни, Автарит потрясал большим мечом, Спендий одному что-то шептал на ухо, другому доставал кинжал. Более сильные старались сами добыть себе жалованье, менее решительные просили продолжать раздачу. Никто не снимал оружия; возмущение, которое вызывал у всех Гискон, вылилось в бешеную злобу.

Некоторые наемники, вскарабкавшись на трибуну, стали рядом с ним; пока они выкрикивали ругательства, соратники терпеливо слушали; если же они пытались заступиться за суффета, их немедленно побивали камнями или сносили им головы ударом сабли. Груда мешков была краснее жертвенника.

После еды, выпив вина, они приходили в неистовство. В карфагенских войсках вино было запрещено под страхом смертной казни, и они поднимали чаши в сторону Карфагена, высмеивая воинское подчинение. Потом они возвращались к рабам, хранившим казну, и возобновляли резню. Слово «Бей!», звучавшее на разных языках, было всем понятно.

Гискон знал, что родина отступилась от него, но не хотел опозорить ее. Когда воины напомнили ему, что им обещаны корабли, он поклялся Молохом, что сам, на собственные средства, доставит их; сорвав с шеи ожерелье из синих камней, он бросил его в толпу как залог. Тогда африканцы потребовали, чтобы им выдали хлеба, согласно обещаниям Великого совета. Гискон разложил счета Сисситов, написанные фиолетовой краской на овечьих шкурах. Он прочел

список всего ввезенного в Карфаген месяц за месяцем и день за днем.

Вдруг он остановился, широко раскрыв глаза, точно прочел среди цифр свой смертный приговор.

Он увидел, что старейшины жульнически снизили все цифры; хлеб, проданный в самую тяжелую пору войны, был помечен по такой низкой цене, что только слепые могли поверить приведенным цифрам.

— Говори громче! — кричали ему.— Он придумывает, как лучше солгать, негодяй! Не верьте ему!

Гискон колебался, потом продолжал чтение.

Воины, не подозревая, что их обманывают, принимали на веру счета Сисситов. Изобилие земных благ в Карфагене вызвало у них бешеную зависть. Они разбили ящик из сикоморового дерева, но он оказался на три четверти пуст. На их глазах оттуда вынимали такие суммы, что они считали ящик неисчерпаемым и решили, что Гискон зарыл деньги у себя в палатке. Они взобрались на груды мешков. Мато шел во главе их. На крики «Денег, денег!» Гискон наконец ответил:

— Пусть вам даст деньги ваш предводитель!

Он безмолвно глядел на них своими большими желтыми глазами, и длинное лицо его было белее бороды. Стрела, задержанная перьями, торчала у него за ухом, воткнувшись в широкое золотое кольцо; струйка крови стекала с его тиары на плечо.

По знаку Мато все двинулись вперед. Гискон распростер руки, Спендий стянул ему кисти рук затяжной петлей, кто-то другой повалил его, и он исчез в беспорядочной толпе, бросившейся на мешки.

Толпа разгромила его палатку; там оказались только необходимые предметы обихода; после более тщательного обыска нашли три изображения богини Танит, а также завернутый в обезьяню шкуру черный камень, упавший с луны. Гискона сопровождали по собственному желанию множество карфагенян; все это были люди, занимавшие высокие посты, принадлежавшие к военной партии.

Карфагенян вывели из палаток и бросили в яму для нечистот. Привязав их железными цепями за живот к толстым кольям, им протягивали пищу на остриях копий.

Автарит, сторожевший пленных, осыпáл их ругательствами; они не понимали его языка и ничего не отвечали; галл время от времени бросал им в лицо камешки, чтобы слышать крики боли.

На другой день какое-то томление охватило войско. Гнев улегся, людей объяла тревога. Мато ощущал смутную печаль. Он как бы косвенно оскорбил Саламбо. Точно эти богачи карфагеняне были связаны с нею. Он садился ночью на край ямы и слышал в их стонах что-то напоминавшее голос, которым полно было его сердце.

Все обвиняли ливийцев, потому что только им одним уплатили жалованье. Но вместе с оживавшей национальной рознью, наряду с враждой к отдельным лицам укреплялось сознание, что опасно предаваться таким чувствам. Наемников ожидало страшное возмездие за то, что они совершили, нужно было предотвратить месть Карфагена. Происходили бесконечные совещания, произносились длинные речи. Все говорили, не слушая друг друга, а Спендий, обыкновенно словоохотливый, только качал головой в ответ на все предложения.

Однажды вечером он как бы невзначай спросил Мато, нет ли источников в городе.

— Ни одного! — ответил Мато.

На следующий день Спендий увлек его на берег озера.

— Господин! — сказал бывший раб.— Если сердце твое отважно, я проведу тебя в Карфаген.

— Каким образом? — задыхаясь, спросил Мато.

— Поклянись выполнять все мои распоряжения и следовать за мной, как тень.

Мато, подняв руку к светилу Хабар, воскликнул:

— Клянусь тебе именем Танит!

Спендий продолжал:

— Завтра после заката солнца жди меня у акведука, между девятой и десятой аркой. Возьми с собой железный лом, каску без перьев и кожаные сандалии.

Водопровод, о котором он говорил, наискось пересекал перешеек. Это было замечательное сооружение, впоследствии увеличенное римлянами. Несмотря на свое презрение к другим народам, Карфаген с присущей ему неуклюжестью позаимствовал у них это новое изобретение, так же как Рим позаимствовал у Карфагена пуническую галеру. Пять этажей арок тяжеловесной архитектуры, с контрфорсами внизу и львиными головами наверху, доходили до западной части акрополя, где они спускались под город, выливая почти целую реку в мегарские цистерны.

В условленный час Спендий встретился там с Мато.

Он привязал нечто вроде багра к концу веревки и завертел им, как пращой; железное орудие зацепилось за стену, и они стали друг за другом карабкаться по веревке.

Когда они поднялись на высоту первого этажа, крюк, который они бросали вверх, несколько раз падал обратно. Чтобы найти какую-нибудь расщелину, приходилось идти по краю выступа; но он становился все у́же по мере того, как они поднимались. Потом веревка стала ослабевать и раз чуть не порвалась.

Наконец они добрались до верхней площадки. Спендий время от времени наклонялся и щупал рукой камни.

— Здесь,— сказал он.— Начнем!

Налегая на лом, захваченный Мато, они подняли одну из плит.

Вдали они увидели всадников, мчавшихся на невзнузданных конях. Золотые запястья прыгали на фоне широких плащей. Впереди скакал человек в головном уборе со страусовыми перьями; он держал по копью в каждой руке.

— Нар Гавас! — воскликнул Мато.

— Ну так что же! — возразил Спендий и вскочил в отверстие, образовавшееся под плитой.

Мато попытался по его приказу поднять одну из каменных глыб. Но ему не хватало места, чтобы работать ломом.

— Мы вернемся сюда,— сказал Спендий.— Иди первый.

Они вступили в водопровод.

Сначала вода доходила им до живота, но вскоре дно ушло у них из-под ног; пришлось пуститься вплавь, беспрестанно стукаясь о стенки узкого канала. Вода почти достигала верхней плиты; они расцарапали себе лица. Потом их увлек поток. Тяжелый могильный воздух теснил им грудь; прикрывая голову руками, сжимая колени, вытягиваясь, насколько было возможно, они неслись во мраке, как стрелы, задыхаясь, храпя, еле живые. Вдруг все почернело перед ними, течение стало сильнее. Они ушли под воду.

Поднявшись на поверхность, они пролежали несколько мгновений на спине, с наслаждением вдыхая воздух. Арки следовали одна за другой между широких стен, разделявших водоемы. Все водоемы были полны, вода текла сплошным потоком во всю длину цистерн. Из отверстий

в куполообразном потолке струилось бледное сияние и круглыми бликами ложилось на поверхность воды; мрак, сгущаясь у стен, отодвигал их бесконечно далеко. Малейший звук будил громкое эхо.

Спендий и Мато снова пустились вплавь и проплыли под арками еще несколько бассейнов. Два ряда меньшей величины водоемов шли параллельно с каждой стороны. Пловцы сбились с дороги, кружили, возвращались обратно; наконец они почувствовали упор под ногами — то был мощеный пол галереи, тянувшейся вдоль водоемов.

Продвигаясь с величайшей осторожностью, они стали ощупывать стену, чтобы найти выход. Но их ноги скользили; они падали в глубокие бассейны, поднимались и снова падали в полном изнеможении. Их тела точно растаяли в воде во время плавания. Чувствуя близость смерти, они закрыли глаза.

Спендий ударился рукой о решетку. Вместе с Мато он стал ее расшатывать, и решетка подалась. Они очутились на ступеньках лестницы. Сверху ее замыкала бронзовая дверь. Они отодвинули острием кинжала засов, открывавшийся снаружи, и вдруг их окутал свежий воздух.

Ночь была объята молчанием, небо казалось неизмеримо высоким. Над длинными стенами высились верхушки деревьев. Весь город спал. Огни передовых постов сверкали, как блуждающие звезды.

Спендий провел три года в эргастуле и плохо знал расположение городских кварталов. Мато полагал, что путь к дворцу Гамилькара должен идти налево, через Маппалы.

— Нет,— сказал Спендий,— проведи меня в храм Танит.

Мато хотел что-то возразить.

— Помни! — молвил бывший раб и указал ему на сверкающую планету Хабар.

Мато безмолвно направился к акрополю.

Они ползли вдоль кактусовых изгородей, окаймлявших дорожки. Вода стекала с их тел на песок. Влажные сандалии скользили бесшумно. Спендий, у которого глаза сверкали, как факелы, осматривал на каждом шагу кустарники. Он шел за Мато, положив руки на два кинжала, которые держал под мышками на кожаных ремнях.

V

ТАНИТ

Выйдя из садов, Мато и Спендий очутились перед оградой Мегары; они нашли пролом в толстой стене и прошли в него.

Перед ними был отлогий склон холма, нечто вроде широкой ложбины. Место здесь было открытое.

— Выслушай меня,— сказал Спендий,— и прежде всего ничего не бойся! Я исполняю свое обещание...

Он умолк и задумался, как бы подыскивая слова.

— Помнишь, однажды в час восхода солнца я показал тебе Карфаген с террасы Саламбо? Мы были тогда сильные, но ты не хотел меня слушать!

И добавил торжественно:

— Господин! В святилище Танит есть таинственное покрывало, упавшее с неба и покрывающее богиню.

— Я знаю,— сказал Мато.

Спендий продолжал:

— Само это покрывало священно, ибо оно — часть богини. Боги обитают там, где находится их подобие. Карфаген могуществен только потому, что владеет этим покрывалом.

И, нагнувшись к Мато, сказал ему на ухо:

— Я привел тебя сюда для того, чтобы ты похитил покрывало.

Мато в ужасе отпрянул.

— Уходи! Поищи кого-нибудь другого! Я не желаю помогать тебе в этом гнусном преступлении.

— Танит — твой враг,— возразил Спендий.— Она тебя преследует, и ты умираешь от ее гнева. Ты отомстишь ей. Она будет тебе повиноваться. Ты станешь почти бессмертным, непобедимым.

Мато опустил голову; Спендий продолжал:

— Мы потерпим поражение, войско погибнет. Нам нечего надеяться на бегство, на помощь или на прощение! Какого наказания со стороны богов страшишься ты? Ведь у тебя в руках будет вся их сила! Неужели ты предпочитаешь, проиграв битву, погибнуть, как жалкий раб, где-нибудь под кустом или под насмешливые крики черни, в пламени костра? Господин мой! Наступит день, когда ты войдешь в Карфаген, окруженный жрецами, кото-

рые будут целовать твои сандалии, и, если покрывало Танит все еще будет тяготить тебя, ты снова водворишь его в храм. Следуй за мной и возьми его!

Страшный соблазн терзал Мато. Ему хотелось, не совершая святотатства, захватить покрывало. «Нельзя ли завладеть чарами покрывала, не похищая его?» — думал он и, не решаясь проникнуть в глубь своих мыслей, медлил на краю пугавшей его опасности.

— Идем! — сказал он, и они молча, быстрым шагом продолжали путь.

Дорога опять пошла вверх; здесь дома стояли теснее. Путники кружили во мраке по узким улицам. Рваные циновки, закрывавшие входы, ударялись о стены. На одной из площадей перед охапками нарезанной травы медленно жевали жвачку верблюды. Потом Мато и Спендий прошли по увитой зеленью галерее. Стая собак громко залаяла. Вдруг стены домов как бы расступились, и путники увидели перед собой западную часть акрополя. У подножия Бирсы тянулась длинная черная громада: то был храм Танит — совокупность строений, садов, дворов, палисадников, обнесенных низкой каменной стеной сухой кладки. Спендий и Мато перелезли через нее.

В этой первой ограде была платановая роща, насаженная для предохранения от чумы и заражения воздуха. Местами раскинуты были палатки, где днем продавали мазь для уничтожения волос на теле, духи, одежду, пирожки в виде месяца, а также алебастровые изображения богини и ее храма.

Путникам нечего было бояться, ибо в те ночи, когда луна не показывалась, богослужений в храме не совершали; все же Мато замедлил шаг и остановился перед тремя ступенями из черного дерева, которые вели ко второй ограде.

— Вперед! — сказал Спендий.

Гранатовые и миндальные деревья, кипарисы и мирты, неподвижные, точно бронзовые, росли в саду вперемешку; устилавшие дорогу синие камешки шуршали под ногами; распустившиеся розы свисали над головой, образуя навес вдоль всей аллеи. Они пришли к овальному отверстию, загражденному решеткой. Мато, пугаясь тишины, сказал Спендию:

— Здесь мешают пресные воды с горькими.

— Я все это видел в Сирии, в городе Мафуге,— ответил бывший раб.

Поднявшись по лестнице из шести серебряных ступенек, они дошли до третьей ограды.

Там стоял посредине огромный кедр. Нижние ветви его исчезали под кусками тканей и ожерельями, которые повесили молящиеся. Путники прошли еще несколько шагов, и перед ними открылся фасад храма.

Два длинных портика, архитравы которых покоились на низких пилястрах, были расположены по обе стороны четырехугольной башни; кровлю башни украшало изображение лунного серпа. На углах портиков и по углам башни стояли сосуды с возженными курениями. Гранаты и колоквинты отягчали капители. На стенах лепные украшения — завитки, косоугольники — чередовались с нитями жемчуга; серебряная ограда филигранной работы расположена была большим полукругом перед бронзовой лестницей, спускавшейся вниз из переднего зала.

У входа, между двумя стелами — золотой и изумрудной — стоял каменный конус; проходя мимо него, Мато поцеловал свою правую руку.

Первая комната была очень высокая, со сводом, прорезанным бесчисленными отверстиями; подняв голову, можно было видеть звезды. Вдоль всей стены в тростниковых корзинах лежали кучей волосы и бороды — дары юношей, достигших возмужалости; в середине круглого помещения, из оболочки, украшенной скульптурными изображениями грудей, поднималась статуя женщины. Тучная бородатая богиня с полузакрытыми глазами как будто улыбалась, скрестив руки внизу, на толстом животе, отполированном поцелуями толпы.

Потом они снова очутились на свежем воздухе, в поперечном коридоре, где у двери из слоновой кости стоял маленький жертвенник. Дальше идти запрещалось — только жрецы имели право открывать дверь в храм, так как он был не местом сборищ, а жилищем божества.

— Наш замысел неосуществим! — сказал Мато.— Ты не подумал об этом! Вернемся назад!

Спендий стал осматривать стены.

Ему хотелось овладеть покрывалом не потому, что он верил в его чары (Спендий верил только прорицаниям), но он был убежден, что карфагеняне, лишившись покрывала, падут духом. Чтобы найти какой-нибудь вход, они обошли башню сзади.

В роще фисташковых деревьев виднелись небольшие здания различной формы. Кое-где стояли каменные фал-

лосы; большие олени спокойно бродили, толкая раздвоенными копытами упавшие сосновые шишки.

Они пошли обратно между двумя длинными параллельными галереями. По краям открывались маленькие кельи. Их кедровые колонны были увешаны тамбуринами и кимвалами. Женщины спали, растянувшись на циновках перед кельями. Тела их, лоснившиеся от притираний, распространяли запах пряностей и погасших курений; они были покрыты татуировкой, увешаны кольцами, ожерельями, нарумянены и насурьмлены так, что если бы не вздымавшаяся грудь, их можно было бы принять за лежащих на земле идолов. Лотосы окружали водоем, где плавали рыбы, подобные рыбам Саламбо. А в отдалении вдоль стены храма тянулся виноградник со стеклянными лозами, с изумрудными гроздьями винограда; лучи драгоценных камней играли между раскрашенными колоннами на лицах спящих женщин.

Мато задыхался в горячем застоявшемся воздухе. Все эти символы оплодотворения, эти благовония, сверкание драгоценных камней, дыхание спящих удручали его. Среди мистических озарений он думал о Саламбо; она сливалась для него с самой богиней, и любовь его от этого раскрывалась, подобно большим лотосам, распускающимся над глубокими водами.

Спендий высчитывал, сколько денег он заработал бы прежде, торгуя этими женщинами; быстрым взглядом определял он, проходя мимо, вес золотых ожерелий.

И с этой стороны нельзя было проникнуть в храм. Они вернулись назад. В то время как Спендий все оглядывал и обшаривал, Мато, распростершись перед дверью в храм, взывал к Танит. Он молил ее не допускать святотатства, он старался умилостивить ее ласковыми словами, точно разгневанного человека.

Спендий увидел узкое отверстие над дверью.

— Встань! — сказал он Мато и велел ему прислониться к стене.

Став одной ногой ему на руки, а другой на голову, он добрался до отдушины и исчез в ней. Потом Мато почувствовал, что ему на плечи упала веревка с узлами, та, которую Спендий обмотал вокруг своего тела, прежде чем спуститься в водопровод; ухватившись за нее обеими руками, Мато вскоре оказался около Спендия в большом зале, полном мрака.

Подобное вторжение казалось чем-то совершенно не-

мыслимым. Меры предосторожности были недостаточны именно потому, что его считали невозможным. Страх охранял святилище вернее, чем стены.

Мато на каждом шагу ожидал, что он вот-вот умрет. В глубине мрака дрожал свет, и они приблизились к нему. То был светильник, горевший в раковине на подножии статуи в кабирском головном уборе. Алмазные диски были рассыпаны по длинной синей одежде статуи; цепи, спускавшиеся под плиты пола, держали ее за каблуки. Мато чуть не вскрикнул.

— Вот она, вот!..— сказал он шепотом.

Спендий взял светильник, чтобы освещать дорогу.

— Нечестивец! — прошептал Мато, но все же последовал за ним.

В помещении, куда они вошли, не было ничего, кроме огромного черного изображения женщины. Ноги ее занимали всю стену доверху. Тело тянулось вдоль потолка. С ее пупка свисало на шнурке огромное яйцо; она опрокидывалась на другую стену головой вниз, до самых плит пола, которых касались ее заостренные пальцы.

Чтобы пройти дальше, они раздвинули занавеску; но в это время подул ветер и загасил светильник.

Они заблудились в этом запутанном сооружении. Вдруг они почувствовали под ногами что-то необыкновенно мягкое. Сверкали, сыпались искры; они ступали точно среди пламени. Спендий ощупал пол и догадался, что он устлан рысьими шкурами. Потом им показалось, что по их ногам скользнула толстая мокрая веревка, холодная и липкая. Сквозь расселины в стене проникали внутрь слабые белые лучи, и они шли, руководствуясь этим неровным светом; вдруг они увидели большую черную змею, которая тут же исчезла.

— Бежим! — воскликнул Мато.— Это она! Я чувствую ее близость.

— Да нет же! — ответил Спендий.— Храм теперь пуст.

Сноп ослепительного света заставил их опустить глаза. Они увидели вокруг себя бесконечное количество животных, изнуренных, задыхавшихся, выпускавших когти и сплетавшихся в таинственном беспорядке, наводившем ужас. У змей оказались ноги, у быков — крылья; рыбы с человечьими головами пожирали плоды, цветы распускались в пасти у крокодилов, а слоны с поднятыми хоботами гордо носились по глазури неба, подобно орлам. Страшное напряжение чувствовалось во всех этих причудливых или

искалеченных телах. Многие животные высовывали язык, точно собирались испустить дух. Тут были собраны все формы жизни: казалось, что зародыши ее вырвались из разбившегося сосуда и очутились здесь, в стенах этого зала.

Двенадцать шаров из синего хрусталя окаймляли залу; их поддерживали чудовища, похожие на тигров, пучеглазые, как улитки; подобрав под себя короткие лапы, чудовища смотрели в глубь зала, туда, где на колеснице из слоновой кости сияла верховная Раббет, всеоплодотворяющая, последняя в сонме измышленных божеств.

Чешуя, перья, цветы и птицы доходили ей до живота. В ушах у нее висели наподобие серег серебряные кимвалы, касавшиеся щек. Она глядела пристальным взором; сверкающий камень в форме непристойного символа, прикрепленный к ее лбу, освещал весь зал, отражаясь над дверью в зеркалах из красной меди.

Мато сделал шаг вперед; под ногами его подалась одна из плит, и вдруг все шары закружились, все чудовища зарычали; раздалась музыка, благозвучная и торжествующая, как гармония небесных сфер; в ней изливалась бурная душа Танит. Казалось, она поднимается, раскрыв объятия, огромная, во всю залу. Но тут чудовища закрыли пасти, и хрустальные шары перестали кружиться.

Мрачные переливы звуков еще слышались некоторое время и наконец затихли.

— Где же покрывало? — спросил Спендий.

Покрывала нигде не было. Как его найти? А что, если жрецы его спрятали? У Мато разрывалось сердце; ему казалось, что вера его обманута.

— Иди за мной! — прошептал Спендий.

Его озарило вдохновение. Он увлек Мато за колесницу Танит, где щель шириной в локоть рассекала стену сверху донизу.

Они проникли через нее в маленький круглый зал такой высоты, что он казался внутренностью колонны. Посредине находился большой полукруглый черный камень, похожий на тамбурин. На нем пылал огонь; позади возвышался конус из черного дерева, с головой и двумя руками.

Дальше виднелось нечто вроде облака, на нем сверкали звезды; в глубине складок вырисовывались фигуры: Эшмун с Кабирами, несколько виденных ими до того чудовищ, священные животные вавилонян, потом другие, которых они не знали. Все это расстилалось, как плащ, перед лицом

идола, тянулось вверх по стене, зацеплялось углами о закрепы и казалось синим, как ночь, и в то же время желтым, как заря, пурпуровым, как солнце, нескончаемым, прозрачным, сверкающим, легким. То было покрывало богини, священный заимф; он должен был оставаться сокрытым от взоров.

Оба они побледнели.

— Возьми его! — сказал наконец Мато.

Спендий ни минуты не колебался; он оперся на идола и сдернул покрывало, покрывало упало на землю. Мато коснулся заимфа, потом просунул голову в его отверстие, закутался весь с головы до ног и раздвинул руки, чтобы лучше разглядеть покрывало.

— Идем! — сказал Спендий.

Мато стоял неподвижно, задыхаясь, и пристально глядел на плиты пола.

Вдруг он воскликнул:

— Почему бы мне не отправиться к ней? Я больше не боюсь ее красоты! Что она может мне сделать? Я теперь превыше человека. Я мог бы пройти сквозь огонь, шагать по волнам. Мощный порыв уносит меня. Саламбо! Я твой господин!

Голос у него звучал, как гром, и Спендию казалось, что Мато стал выше ростом и весь преобразился.

Послышались шаги, дверь открылась, и показался человек. То был жрец в высоком колпаке, глаза его были широко раскрыты. Прежде чем он успел сделать хоть одно движение, Спендий ринулся к нему, обхватил обеими руками и вонзил ему в тело два кинжала. Голова жреца громко стукнулась о каменные плиты.

Неподвижные, как лежавший перед ними труп, они застыли на месте, прислушиваясь: из полуоткрытой двери доносился только шум ветра.

Эта дверь вела в узкий проход. Спендий направился туда, Мато пошел за ним, и они почти тотчас же очутились в третьей ограде, между боковыми портиками, где расположены были жилища жрецов.

За кельями находился, наверное, более краткий путь к выходу. Они заторопились.

Спендий, присев на корточки у края водоема, вымыл окровавленные руки. Здесь спали женщины. Сверкал изумрудный виноград. Они пошли дальше.

Кто-то под деревьями бежал за ними; Мато, неся покрывало, чувствовал, что его тихонько дергают снизу. То

был большой павиан из тех, что жили на свободе в ограде храма. Точно почуяв совершенную кражу, он цеплялся за покрывало. Они не решались отогнать его из боязни, что он поднимет крик: внезапно гнев его улегся, и, раскачиваясь, он пошел рядом с ними, свесив длинные руки. Подойдя к решетке, он одним прыжком очутился на пальме.

Выйдя из последней ограды, они направились ко дворцу Гамилькара. Спендий понял, что Мато не удержишь.

Они миновали улицу Кожевников, площадь Мутумбала, Овощной рынок и Синасинский перекресток. На повороте какой-то прохожий отскочил от них, испуганный сверканием, пронизавшим мрак.

— Спрячь заимф! — сказал Спендий.

Другие прохожие не обратили на них внимания.

Наконец они узнали дома Мегары.

Маяк, стоявший позади, на вершине утеса, освещал небо большим красным заревом; тень дворца с его нависавшими террасами падала на сады чудовищной пирамидой. Они прошли сквозь изгородь из ююбы, обрубая ветви кинжалом.

Всюду виднелись следы пиршества наемников. Ограды были снесены, канавы высохли, двери эргастула раскрыты настежь. Никого не было видно ни у кухонь, ни у кладовых. Они удивились этой тишине, лишь изредка прерываемой хриплым дыханием слонов, которые метались в путах, и треском огня на маяке, где пылал костер из ветвей алоэ.

Мато все повторял:

— Где она? Я хочу ее видеть. Проведи меня!

— Это безумие! — сказал Спендий.— Она поднимет крик, прибегут ее рабы, и, несмотря на твою силу, ты погибнешь!

Они дошли до лестницы с галерами. Мато поднял голову, и ему показалось, что он видит на самом верху мягкое лучистое сияние. Спендий хотел его удержать, но Мато побежал вверх по лестнице.

Вернувшись в места, где он впервые увидел Саламбо, Мато сразу забыл о времени, протекшем с тех пор. Вот она только что пела, переходя от стола к столу. Потом она исчезла, и с тех пор он все поднимается по этой лестнице. Небо над его головой покрыто огнями, море заполняет дали, с каждым шагом пространство вокруг него ширится, а он продолжает идти вверх с той странной легкостью, которую испытываешь во сне.

Шорох покрывала, скользившего по камням, напомнил

Мато о его новом могуществе; от избытка надежд он не знал, что делать; эта нерешительность смущала его.

Время от времени он прижимался лицом к четырехугольным отверстиям запертых помещений, и ему казалось, что в некоторых он видит спящих людей.

Последний этаж, самый узкий, стоял в виде наперстка на вершине террас. Мато медленно обошел его кругом.

Молочный свет пронизывал пластинки талька, которые прикрывали небольшие отверстия в стене; симметрично расположенные, они похожи были во мраке на нити жемчуга. Мато узнал красную дверь с черным крестом. Сердце у него забилось. Ему захотелось убежать. Он толкнул дверь; она открылась.

В глубине комнаты горела висячая лампа в форме галеры. Три пучка света, исходившие из ее серебряного киля, дрожали на высокой обшивке стен, красных с черными полосами. Потолок состоял из маленьких золоченых балок, посреди которых были вставлены аметисты и топазы. По обеим сторонам длинной комнаты тянулось низкое ложе из белых ремней; над ним раскрывались в углублении стен полукруги наподобие раковин, откуда свешивались по полу женские одежды.

Ониксовый выступ окружал овальный бассейн; тонкие туфли из змеиной кожи стояли на краю бассейна рядом с алебастровым кувшином. Дальше виднелись следы влажных ног. В воздухе носились тонкие благоухания.

Мато касался ногами плит, выложенных золотом, перламутром и стеклом; несмотря на полировку пола, ему казалось, что ноги его увязают, точно он идет среди песков.

За серебряной лампой он увидел большой голубой четырехугольник, висевший на четырех шнурах, и пошел вперед, сгибаясь, раскрыв рот.

Веера из крыльев фламинго с черными коралловыми ручками валялись среди пурпуровых подушек, ящичков из кедрового дерева, черепаховых гребней и маленьких лопаточек из слоновой кости. Кольца и браслеты были нанизаны на рога антилопы; глиняные сосуды выставлены для охлаждения в расселину стены, на камышовую плетенку. Мато несколько раз спотыкался, ибо пол шел уступами, образуя в комнате как бы ряд отдельных помещений. Серебряная балюстрада окружала в глубине ее ковер, пестревший цветами. Наконец он подошел к висячей постели, подле которой стояла скамеечка из черного дерева, служившая лестницей.

Свет замирал здесь; тень, точно большая занавесь, открывала только угол красной постели и кончик маленькой обнаженной ноги. Мато тихонько приблизил лампу.

Саламбо спала, подперев щеку одной рукой и вытянув другую. Кудри рассыпались вокруг нее в таком изобилии, что она лежала точно на черных перьях; широкая белая туника спускалась мягкими складками до ступней ног, следуя изгибам тела. Глаза девушки чуть-чуть виднелись из-под полузакрытых век. Прямые складки полога как бы окружали ее синеватым светом; дыхание, сообщаясь шнурам, словно качало ее в воздухе. Звенел длинноногий комар.

Мато недвижно стоял подле нее, держа в руке серебряную галеру; вдруг кисейный полог, защищавший ее от комаров, вспыхнул и исчез. Саламбо проснулась.

Огонь погас сам собой. Она молчала. Лампа бросала на обшивку стен колеблющиеся пятна света.

— Что это? — спросила она.

Он ответил:

— Это покрывало богини!

— Покрывало богини! — воскликнула Саламбо.

Опираясь на сжатые кулаки, она, дрожа, наклонилась вперед.

Он продолжал:

— Я добыл его для тебя из глубин святилища! Смотри!

Заимф сверкал, весь залитый лучами.

— Помнишь? — сказал Мато.— По ночам ты являлась мне во сне, но я не понимал безмолвного приказания твоих глаз!

Она поставила ногу на скамеечку из черного дерева.

— Если бы понял, я прибежал бы. Я покинул бы войско, я не ушел бы из Карфагена. По твоему велению я спустился бы в пещеру Гадрумета, в царство теней. Прости! Точно горы давили меня, и все же что-то влекло меня вдаль! Я искал пути к тебе! Но разве я дерзнул бы без помощи богов?.. Идем! Следуй за мной, или, если не хочешь, я останусь здесь. Мне все равно... Утопи мою душу в своем дыхании! Пусть уста мои сотрутся, целуя твои руки!

— Покажи! — сказала она.— Ближе, ближе!

Занималась заря; свет винного оттенка пронизывал тальковые пластинки в стенах. Саламбо прислонилась, обессиленная, к подушкам своего ложа.

— Я тебя люблю! — воскликнул Мато.

Она прошептала:
— Дай его мне!
И они приблизились друг к другу.
Она шла к нему в своей симарре, тянувшейся за нею по полу, и ее большие глаза устремлены были на покрывало. Мато глядел на нее, ослепленный ее красотой, и, протягивая ей заимф, как бы пытался заключить ее в свои объятия. Она отстранила его. Вдруг Саламбо остановилась, и они взглянули широко раскрытыми глазами друг на друга.
Она не понимала, чего он хотел от нее, но все же почувствовала ужас. Ее тонкие брови поднялись, губы раскрылись; она вся дрожала. Наконец она ударила в одну из медных чаш, висевших в углах красной постели, и крикнула:
— На помощь! На помощь! Назад, дерзновенный! Будь проклят, осквернитель! На помощь! Таанах! Крум! Эва! Миципса! Шаул!
Испуганное лицо Спендия показалось в стене среди глиняных кувшинов, и он быстро проговорил:
— Беги! Сюда идут!
Поднялось великое смятение; сотрясая лестницы, в комнату ворвался поток людей — женщин, слуг, рабов, вооруженных палками, дубинами, ножами, кинжалами. Они точно окаменели от негодования, увидев Мато; служанки подняли вой, как на похоронах, черная кожа евнухов побелела.
Мато стоял за перилами. Завернутый в заимф, он казался звездным божеством, вокруг которого расстилалось небо. Рабы бросились к нему; Саламбо их остановила:
— Не трогайте его! На нем покрывало богини!
Она отступила в угол; потом сделала шаг к Мато и, протягивая обнаженную руку, крикнула:
— Проклятие тебе, ограбившему Танит! Гнев и месть, смертоубийство и скорбь на твою голову! Да растерзает тебя Гурзил, бог битв! Да задушит тебя Матисман, бог мертвых! И да сожжет тебя тот, другой, которого нельзя называть!
Мато испустил крик, точно раненый копьем. Она повторила несколько раз:
— Прочь отсюда! Прочь отсюда!
Толпа слуг расступилась, и Мато, опустив голову, медленно прошел среди них; у двери он остановился: бахрома заимфа зацепилась за одну из золотых звезд на плитках

пола. Он дернул покрывало движением плеч и спустился по лестнице.

Спендий, прыгая с террасы на террасу, перескакивая через заборы и канавы, выбежал из садов. Он подошел к подножию маяка. Стена не доходила до этого места — так недоступен был здесь утес. Спендий приблизился к его краю, лег на спину и соскользнул до самого низа; потом он доплыл до мыса Могил и кружным путем вдоль морской лагуны вернулся вечером в лагерь варваров.

Взошло солнце. Как удаляющийся лев, шел Мато вниз по дороге, грозно озираясь по сторонам.

Смутный гул доносился до его слуха. Он исходил из дворца и возобновлялся вдали, у акрополя. Одни говорили, что кто-то похитил сокровище Республики в храме Молоха; другие утверждали, что убит жрец; иные были уверены, что в город вошли варвары.

Мато, не зная, как выбраться из оград, шел прямо вперед. Его заметили; поднялся крик. Толпа поняла, что случилось. Ее охватил ужас, сменившийся безграничной яростью.

Люди сбегались из отдаленных мест Маппал, с высоты акрополя, из катакомб, с берегов озера. Патриции выходили из дворцов, продавцы — из своих лавок; женщины оставляли детей. Все вооружались мечами, топорами, палками, но препятствие, которое помешало Саламбо, удерживало теперь толпу. Как взять покрывало? Даже глядеть на него было преступлением, ибо оно было частью божества и прикосновение к нему грозило смертью.

В перистилях храмов жрецы ломали себе руки от отчаяния. Легионеры скакали наудачу в разные стороны; народ поднимался на крыши, на террасы, взбирался на плечи громадных статуй, на мачты кораблей. Мато продолжал идти, и с каждым его шагом усиливался общий гнев и вместе с тем ужас. Улицы пустели при его приближении, поток бегущих людей вздымался с двух сторон до верхушек стен. Перед ним мелькали глаза, как бы готовые его поглотить, оскаленные зубы, грозно поднятые кулаки, проклятия Саламбо продолжали раздаваться, подхваченные толпой.

Вдруг в воздухе просвистала длинная стрела, за ней — другая, загрохотали пущенные в Мато камни, но плохо направленные удары (все боялись попасть в заимф) проносились над его головой. Пользуясь покрывалом, как щитом, Мато простирал его направо и налево, перед собою, позади

себя, и нападающие не знали, как с ним справиться. Он шел все быстрее, сворачивая в свободные улицы. В конце они были перегорожены веревками, повозками, засадами, и ему приходилось возвращаться назад. Наконец он дошел до Камонской площади, где погибли балеары. Мато остановился и побледнел, точно увидел перед собой смерть. На этот раз он погиб. Толпа громко рукоплескала.

Он добежал до больших запертых ворот. Они были очень высокие, из сердцевины дуба, с железными гвоздями и бронзовой обшивкой. Мато налег на ворота. Толпа неистовствовала от радости, видя его бессилие. Наконец он взял сандалию, плюнул на нее и стал бить ею по неподвижным створам ворот. Весь город зарычал. Про покрывало забыли — все ринулись, чтобы размозжить ему голову. Мато взглянул на толпу широко раскрытыми, блуждающими глазами. В висках у него стучало до головокружения; сознание было притуплено, как у пьяного. Вдруг он увидел длинную цепь; чтобы открыть ворота, нужно было ее потянуть. Он прыгнул, уцепился за нее, напрягая руки, упираясь ногами; наконец огромные створы раскрылись.

Очутившись на свободе, Мато снял с себя покрывало и поднял его высоко над головой. Разноцветная ткань, раздуваемая морским ветром, сверкала на солнце всеми своими красками, драгоценными камнями, изображениями богов. Он пронес таким образом покрывало через всю равнину до воинских палаток, а народ, собравшийся на стенах, смотрел, как исчезало вдали счастье Карфагена.

VI

ГАННОН

— Я должен был похитить ее! — сказал он вечером Спендию.— Нужно было схватить ее и унести из дому. Никто бы не посмел остановить меня.

Спендий не слушал его. Он лежал на спине и наслаждался отдыхом; рядом с ним стоял большой кувшин с медовой водой; время от времени он погружал туда голову, чтобы утолить жажду.

Мато продолжал:

— Что делать? Как вернуться в Карфаген?..

— Не знаю,— сказал Спендий.

Спокойствие Спендия раздражало Мато; он воскликнул:

— Это все твоя вина! Ты меня увлек за собой; а теперь, как трус, покидаешь! Зачем мне повиноваться тебе? Ты считаешь себя моим господином? Сводник, раб, сын раба!

Скрежеща зубами, он поднял над Спендием свою огромную руку.

Грек ничего не ответил. Глиняный светильник освещал мягким светом шест палатки, где сиял среди висевшего оружия заимф.

Вдруг Мато надел котурны, застегнул куртку с бронзовыми пластинками, взял шлем.

— Ты куда? — спросил Спендий.

— Обратно, в Карфаген. Пусти меня! Я приведу ее сюда. Если они нападут на меня, я их раздавлю, как гадюк! Я убью ее, Спендий!

Он повторил:

— Да, убью! Вот увидишь, убью!

Спендий прислушался, потом вдруг сорвал с шеста заимф, кинул его в угол, а на него набросал множество шкур. Послышался говор, блеснули факелы, вошел Нар Гавас и с ним еще человек двадцать.

На них были белые шерстяные плащи, длинные кинжалы, кожаные ожерелья, деревянные серьги, обувь из кожи гиены. Остановившись на пороге, они оперлись на копья в позе отдыхающих пастухов. Нар Гавас был самый красивый. Ремни, расшитые жемчугом, обхватывали его тонкие руки; золотой обруч, прикреплявший к голове широкую одежду, украшен был страусовым пером, спускавшимся на спину; глаза его казались острыми, как стрелы; во всем его существе было что-то настороженное и вместе с тем развязное.

Он заявил, что хочет присоединиться к наемникам, ибо Республика уже давно угрожает его владениям. Поэтому ему выгодно стать на сторону варваров, да и он будет им полезен.

— Я вам доставлю слонов — их много в моих лесах,— вино, древесное масло, ячмень, финики, смолу и серу для осад, двадцать тысяч пехоты и десять тысяч коней. Я обращаюсь к тебе, Мато, потому, что обладание заимфом сделало тебя первым в войске.— Он прибавил: — К тому же мы старые друзья.

Мато смотрел на Спендия — тот слушал, сидя на овечьих шкурах, и кивал головой в знак согласия. Нар Гавас продолжал говорить. Он призывал в свидетели богов и про-

клинал Карфаген. В порыве негодования он сломал дротик. Воины его испустили громкий, протяжный крик. Мато, увлеченный его гневом, воскликнул, что готов заключить с ним союз.

Привели белого быка и черную овцу — символ дня и символ ночи. Их зарезали на краю рва. Когда ров наполнился кровью, они погрузили в него руки. Потом Нар Гавас положил свою руку на грудь Мато, а Мато свою — на грудь Нар Гаваса. После этого они такой же знак наложили на холст своих палаток и пропировали всю ночь; остатки мяса сожгли вместе с кожей, костями, рогами и копытами.

Когда Мато вернулся с покрывалом богини, его встретили долгими приветственными криками; даже воины, которые не исповедовали ханаанскую веру, почувствовали смутный восторг оттого, что появился гений-хранитель. Никто не помышлял о том, чтобы завладеть заимфом. Для варваров довольно было таинственности, с какой Мато добыл покрывало, чтобы узаконить обладание им. Так думали африканские воины. Другие, менее закоренелые в своей злобе, не знали, на что решиться. Будь у них корабли, они тотчас же уплыли бы на них.

Спендий, Нар Гавас и Мато послали гонцов ко всем племенам карфагенской земли.

Карфаген истощал все эти народы чрезмерными податями; железные цепи, топор и крест карали любое опоздание в уплате и даже ропот недовольства. Приходилось возделывать то, в чем нуждалась Республика, доставлять ей то, что она требовала. Никто не имел права владеть оружием. Когда деревни поднимали бунт, жителей продавали в рабство. На управителей смотрели как на давильный пресс и ценили их по количеству доставляемой дани. Дальше, за непосредственно подвластными карфагенянам областями, жили их союзники, платившие лишь небольшую дань, еще дальше бродили кочевники, которых можно было натравить на союзников. Благодаря такой системе жатвы были всегда обильные, коневодство процветало, плантации великолепно возделывались. Катон Старший, знаток по части земледелия и рабовладельчества, девяносто два года спустя поражался этим успехам; призывы к уничтожению Карфагена, столь часто повторяемые в Риме, были скорее всего криком завистливой жадности.

В течение последней войны поборы удвоились, вследствие чего почти все ливийские города перешли на сторону

Регула. В наказание с них потребовали тысячу талантов, двадцать тысяч быков, триста мешков золотого песка, значительные запасы зерна, а предводители племен были распяты или брошены на растерзание львам.

Особую ненависть к Карфагену питал Тунис. Он был древнее метрополии и не мог простить Карфагену его величия. Расположенный против стен Карфагена в грязи, у самой воды, он глядел на него, как ядовитое животное. Изгнания, избиения и эпидемии не ослабили Туниса. Он стал на сторону Архагата, сына Агафокла. Пожиратели нечистой пищи тотчас же нашли в Тунисе оружие.

Посланцы наемников не успели еще отбыть, как провинции возликовали. Не долго думая, долговых управителей и должностных лиц Республики задушили в банях, достали из пещер спрятанное старое оружие, из железных плугов стали ковать мечи. Дети оттачивали дротики о косяки дверей, а женщины отдавали свои ожерелья, кольца и серьги — все, что могло послужить на гибель Карфагену. Каждый старался содействовать разрушению Республики. Связки копий лежали в городах грудами, точно снопы кукурузы. В лагерь отправлены были скот и деньги. Мато поспешил, по совету Спендия, уплатить наемникам невыданное жалованье и за это был провозглашен главным начальником, шалишимом варваров.

Между тем прибывали на помощь люди. Сначала явились местные жители, потом рабы из деревень. Захватили также караваны негров и вооружили их; направлявшиеся в Карфаген купцы тоже присоединились к варварам в надежде на верную прибыль. Непрерывно подходили многочисленные отряды. С высот акрополя видно было, как увеличивалась армия варваров.

На верху акведука стояли на страже легионеры. Около них расставлены были на небольшом расстоянии один от другого медные котлы, в которых кипел асфальт. Внизу, на равнине, волновалась густая толпа. Она была в нерешительности; ею владела тревога, которую всегда будит в варварах вид возвышающихся перед ними стен.

Утика и Гиппо-Зарит отказались вступить в союз. Это были такие же финикийские колонии, как Карфаген; они пользовались самоуправлением и заставляли Республику вводить во все договоры параграфы, подтверждающие их самостоятельность. Все же они относились с почтением к этой покровительствовавшей им старшей сестре и не верили, что скопище варваров способно победить Карфаген;

напротив, они были убеждены в конечном поражении наемников. Они предпочитали сохранять нейтралитет и жить спокойно.

Но содействие обеих колоний вследствие их географического положения было необходимо варварам. Утика, лежащая в глубине залива, была очень удобна для подвоза подкреплений Карфагену. Если бы была взята одна Утика, ее мог заменить Гиппо-Зарит, расположенный в шести часах пути на побережье. Пользуясь их услугами, Карфаген был бы непобедим.

Спендий настаивал на том, чтобы тотчас же начать осаду Карфагена, но Нар Гавас воспротивился: сначала следовало двинуться на границы Республики. Таково было мнение ветеранов, а также самого Мато, а потому решили, что Спендий отправится осаждать Утику, а Мато — Гиппо-Зарит; третий корпус армии, опираясь на Тунис, должен был занять карфагенскую долину; это взял на себя Автарит. Что же касается Нар Гаваса, то было условлено, что он вернется в свое царство, приведет оттуда слонов и займет со своей конницей дороги.

Женщины решительно возражали против этого; они зарились на драгоценности карфагенянок. Ливийцы тоже возмущались: их звали сражаться против Карфагена, а теперь складывают оружие. В поход выступили почти одни наемники. Мато начальствовал над своими сородичами, а также над иберийцами, лузитанцами, пришельцами с запада и с островов. Все, кто говорил по-гречески, требовали в начальники Спендия, ценя его ум.

В Карфагене были крайне изумлены, когда войско тронулось в путь; оно выстроилось под горой Ариадны, вдоль дороги в Утику со стороны моря. Часть воинов осталась под Тунисом, остальные исчезли и вновь появились на другом берегу залива, на опушке леса, в глубь которого они устремились.

Всех варваров было около восьмидесяти тысяч. Без сомнения, оба тирских города не устоят против них и войско снова повернет на Карфаген. Значительный отряд уже отрезал Карфаген от материка, заняв перешеек, и вскоре город должен был погибнуть от голода. Карфаген не мог обойтись без помощи провинций, ибо жители его не платили налогов, как в Риме. Карфагену недоставало политического чутья. Вечная жажда наживы лишала его той осторожности, какую порождают более возвышенные стремления. Точно огромная галера, бросившая якорь в ливийских

песках, Карфаген держался благодаря своему трудолюбию. Народы, как волны, бушевали вокруг Республики,— малейшая буря потрясала ее грозную машину.

Казна была истощена римской войной и всем, что было растрачено и потеряно, пока торговались с варварами. Между тем нужны были воины, а ни одно правительство не доверяло Карфагенской республике! Птолемей недавно отказал ей в двух тысячах талантов. В довершение всего похищение покрывала угнетало карфагенян. Спендий все это предвидел.

Но, чувствуя общую ненависть к себе, Карфаген уповал на свои деньги, на своих богов; любовь народа к родине поддерживалась самим государственным строем.

Прежде всего власть зависела от всех, никто не был достаточно силен, чтобы захватить ее. Частные долги рассматривались как долги общественные; монопольное право торговли принадлежало людям ханаанского племени. Умножая ростовщичеством поживу, которую доставляло пиратство, истощая землю, эксплуатируя рабов и бедняков, люди иногда богатели, и только богатство открывало путь ко всем должностям. И хотя власть и деньги оставались постоянным достоянием одних и тех же семей, эту олигархию терпели, потому что всякий мог надеяться вступить в нее.

Торговые общества, где вырабатывались законы, избирали финансовых инспекторов, которые, закончив срок своей службы, назначали сто членов Совета старейшин, зависевших, в свою очередь, от Великого собрания — объединения всех богачей. Что же касается двух суффетов — этого пережитка царской власти,— занимавших положение ниже консульского, то их назначали в один и тот же день и брали из двух разных народов. Суффетов всячески старались рассорить, чтобы они ослабляли друг друга. Они не имели права высказываться по вопросам о войне, а когда терпели поражение, Великий совет распинал их на кресте.

Сила Карфагена исходила, таким образом, от Сисситов, то есть из большого двора в центре Малки, того места, куда, по преданию, причалила первая лодка финийских моряков,— море с тех пор отступило далеко. Двор состоял из целого ряда комнаток, построенных по старинному способу из пальмовых стволов и обособленных одна от другой, чтобы в них могли собираться отдельно разные общества. Богачи проводили там целые дни, обсуждая свои, а равно и

государственные дела, начиная с добывания перца и кончая уничтожением Рима. Три раза в течение каждого лунного месяца их ложа выносили на верхнюю террасу, шедшую вдоль стены, которой был обнесен двор; снизу видно было, как они сидели на воздухе за столом, без котурнов и плащей, как их пальцы, унизанные драгоценными перстнями, брали еду, а большие серьги качались, когда они наклонялись к кувшинам. Сильные, тучные, полураздетые сотрапезники весело смеялись и ели под голубым небом, точно большие акулы, играющие в море.

Но теперь они не могли скрыть своей тревоги: ее выдавала необычайная бледность их лиц. Толпа, которая поджидала у дверей, провожала их до дворцов, стараясь что-нибудь выведать. Все дома были заперты, как во время чумы; улицы быстро наполнялись людьми, потом вдруг пустели: горожане поднимались на акрополь, бегали к гавани; каждую ночь собирался Великий совет. Наконец народ был созван на площадь Камона; решено было обратиться к Ганнону, победителю при Гекатомпиле.

Он был хитрец, ханжа, беспощадный к африканцам, настоящий карфагенянин. Его богатство равнялось богатствам рода Барки. Он считался опытным администратором, не имевшим себе равных в вопросах управления.

Ганнон велел призвать к оружию всех здоровых граждан, поставил катапульты на всех башнях, потребовал непомерного количества оружия, даже выстроил четырнадцать галер, в сущности совершенно не нужных, и приказал, чтобы все было подсчитано и тщательно записано. Его носили в арсенал, на маяк, в сокровищницы храмов; все время мелькали его большие носилки: покачиваясь со ступени на ступень, они поднимались по лестнице акрополя. У себя во дворце, ночью, страдая от бессонницы, он готовился к битве, выкрикивая страшным голосом военные приказы.

Под влиянием страха все становились храбрыми. Богачи выстраивались с самой зари вдоль Маппал; подбирая одежду, они упражнялись в обращении с пиками, но то и дело вступали в споры, так как не имели учителей; задыхаясь от усталости, они садились отдыхать на могилы, потом снова принимались за дело. Некоторые даже соблюдали диету. Одни воображали, что нужно много есть и тогда у них прибавится сил, а потому объедались; другие, страдая от тучности, морили себя постом, чтобы похудеть.

Утика уже несколько раз обращалась к Карфагену за помощью, но Ганнон не хотел выступать, пока в оружиях не будет прилажено все до последней гайки. Он потерял еще три месяца на снаряжение ста двенадцати слонов, которые помещались в городских стенах. Слоны эти победили Регула; народ их любил, и нужно было выказать как можно больше внимания к этим старым друзьям. Ганнон велел переплавить бронзовые дощечки, которые украшали их грудь, позолотить им бивни, расширить башни и выкроить из лучшей багряницы попоны, обшитые тяжелой бахромой. Затем, так как вожатых называли индусами (очевидно, потому, что первые из них были родом из Индии), он приказал одеть их всех на индусский образец, то есть в белые тюрбаны и короткие шаровары из виссона с поперечными складками, придававшими им вид двух половинок раковины, прикрепленных к бедрам.

Войско Автарита все еще стояло под Тунисом. Оно пряталось за стеной из ила, добытого в озере, и защищенной сверху колючим кустарником. Негры расставили на больших шестах пугала в виде человеческих масок, сделанных из птичьих перьев, из голов шакалов и змей, которые раскрывали свои пасти навстречу врагу, чтобы привести его в ужас, и считали себя поэтому непобедимыми, а варвары плясали, боролись, жонглировали в полной уверенности, что Карфаген должен неминуемо погибнуть. Всякий другой на месте Ганнона легко раздавил бы эту толпу, обремененную животными и женщинами. Кроме того, варвары не понимали воинских распоряжений; Автарит пал духом и ничего от них не требовал.

Когда он проходил, они расступались, широко раскрыв большие синие глаза. Подойдя к берегу озера, он снимал куртку из тюленьей кожи, развязывал шнур, которым были стянуты его длинные рыжие волосы, и мочил их в воде. Он жалел, что не бежал к римлянам с двумя тысячами галлов, которые были потом в храме на Эриксе.

Часто среди дня солнце вдруг меркло. Залив и море казались неподвижными, точно расплавленный свинец. Облако темной пыли поднималось столбом и набегало, крутясь вихрем; пальмы сгибались, небо исчезало; слышно было, как отскакивали камни, падая на спины животных. Прижимаясь губами к отверстию в своей палатке, галл хрипел от изнеможения и от тоски. Он вспоминал запах пастбищ осенним утром, хлопья снега, мычание зубров, заблудившихся в тумане; стоило ему закрыть глаза, как он видел

перед собой среди болот, в лесных дебрях дрожащие огни хижин, крытых соломой.

Другие тоже тосковали по родине, хотя и не такой далекой. Пленные карфагеняне видели за заливом, на склонах Бирсы, полотняные навесы во дворах своих домов. Но вокруг пленных беспрерывно ходила стража. Их всех привязали к одной цепи, у каждого на шее был железный обруч. Толпа непрестанно собиралась глядеть на них. Женщины указывали маленьким детям на некогда богатую одежду пленных, висевшую лохмотьями на исхудавших телах.

Всякий раз при взгляде на Гискона Автарит приходил в бешенство, вспоминая нанесенное ему оскорбление. Он убил бы его, если бы не клятва, которую он дал Нар Гавасу. И он шел к себе в палатку, упивался настойкой из ячменя и тмина. Он просыпался в палящий зной, терзаемый страшной жаждой.

Тем временем Мато осаждал Гиппо-Зарит.

Город был защищен озером, соединившимся с морем, и тремя рядами укреплений; кроме того, на окружавших его высотах тянулась крепостная стена с башнями. Никогда еще Мато не начальствовал в подобных походах. А еще ливийца мучила мысль о Саламбо, обладание ее красотой становилось в его мечтах радостью мести, тешившей его гордость. Он чувствовал острое, неистовое, беспрестанное желание снова ее увидеть. Он собирался предложить себя в парламентеры — он надеялся, попав в Карфаген, добраться до нее. Он часто отдавал приказы трубить атаку и, никого не дожидаясь, бросался на мол, который пытались построить на море. Он выворачивал руками камни, опрокидывал все вокруг, все разрушал, крошил своим мечом. Варвары устремлялись за ним в беспорядке; лестницы с треском ломались, толпы людей падали в воду, и теперь уже красные волны били о стены города; шум утихал, и нападавшие отходили, чтобы затем все начать сызнова.

Мато садился у входа в палатку; он вытирал рукой лицо, забрызганное кровью, и, обернувшись в сторону Карфагена, вглядывался в горизонт.

Перед ним, среди оливковых деревьев, пальм, мирт и платанов, лежали два больших пруда, связанные с третьим, который был скрыт от взора. За горой виднелись другие горы, посредине огромного озера высился черный остров пирамидальной формы. Слева, в конце залива, песчаные наносы казались остановившимися большими светлыми вол-

нами, а море, гладкое, точно пол, мощенный плитами ляпис-лазури, мягко поднималось к краю неба. Зелень полей чередовалась с широкими желтыми полосами; рожковые плоды сверкали наподобие кораллов; виноградные лозы спускались с вершин смоковниц; слышно было журчание воды, прыгали хохлатые жаворонки, последние лучи солнца золотили щиты черепах, выползавших из камышей, чтобы подышать прохладой.

Мато тяжко вздыхал. Он ложился на живот, впивался ногтями в землю и плакал — он чувствовал себя несчастным, жалким, брошенным. Никогда Саламбо не будет принадлежать ему; он даже не может овладеть городом.

Ночью, оставшись один в палатке, он рассматривал заимф. Что ему дала эта святыня? В голове варвара зародились сомнения. Потом ему стало казаться, что одеяние богини прикосновенно к Саламбо и что от него веет частицей ее души, еще более нежной, чем дыхание. Он касался заимфа, впитывал его запах, зарывался лицом в складки и целовал их, рыдая. Он накидывал покрывало на плечи, чтобы вообразить себе, будто Саламбо рядом с ним.

Иногда он выбегал из своей палатки, переступал через спящих солдат, закутанных в плащи, вскакивал на лошадь и через два часа приезжал в Утику и входил в палатку Спендия.

Мато говорил об осаде, но приезжал он затем, чтобы излить свою тоску по Саламбо. Спендий старался образумить его:

— Не поддавайся унизительным страданиям! Прежде ты подчинялся другим, а теперь ты сам командуешь войском. Даже если Карфаген не будет побежден, нам отдадут какие-нибудь провинции: мы будем царями!

Не может быть, чтобы обладание заимфом не дало им победы! По мнению Спендия, следовало ждать. Мато полагал, что покрывало имеет прямое отношение к ханаанской расе, и с подлинным коварством варвара говорил себе: «Значит, мне заимф добра не принесет. Но так как карфагеняне его утратили, им он тоже не поможет».

Затем его смутила мысль: он боялся, что, поклоняясь богу ливийцев Аптукносу, он оскорбляет Молоха, и робко спросил Спендия, которому из двух следовало бы принести человеческую жертву.

— На всякий случай принеси жертвы обоим! — сказал со смехом Спендий.

Мато, не понимавший такого равнодушия, заподозрил

грека в том, что у него есть свой дух-покровитель, о котором он не хочет говорить.

В варварских войсках сталкивались все верования, как и все племена, и воины всячески старались умилостивить чужих богов, испытывая перед ними страх. Иные соединяли с верой своей родины чужеземные обряды. Даже те, кто не поклонялся звездам, приносили жертвы тому или другому светилу, влияние которого могло быть благотворным или пагубным. Неведомый амулет, случайно найденный в минуту опасности, становился святыней. Или же они обоготворяли какое-нибудь имя, только имя, и повторяли его, даже не стараясь понять, что оно означает. Но, разграбив много храмов, насмотревшись на множество народов и кровопролитий, иные переставали верить во что-либо, кроме рока и смерти, и засыпали вечером с безмятежностью хищных животных. Спендий готов был плевать на изображение олимпийца Юпитера, но он боялся громко говорить в темноте и по утрам никогда не забывал обуваться с правой ноги.

Спендий сооружал против Утики длинную четырехугольную террасу. Но по мере того как она поднималась, росли также и укрепления Утики; то, что одни разрушали, тотчас же воздвигали другие. Спендий бережно относился к солдатам и, придумывая новые планы, старался припомнить военные хитрости, о которых он наслышался во время своих странствий.

Почему не возвращается Нар Гавас? Все это вызывало сильную тревогу.

Наконец Ганнон закончил приготовления. Однажды в безлунную ночь он переправил на плотах через Карфагенский залив своих слонов и солдат. Затем они обогнули гору Горячих источников, чтобы не столкнуться с Автаритом, и продолжали путь так медленно, что не только не нагрянули к варварам ранним утром, как рассчитал суффет, а прибыли лишь на третий день, когда солнце уже высоко стояло в небе.

К Утике с восточной стороны примыкала равнина, которая тянулась до большой карфагенской лагуны; за нею, под прямым углом между двумя низкими горами, начиналась долина; варвары расположились лагерем дальше, влево, чтобы обложить порт; они еще спали в палатках (в этот день оба войска так устали, что не могли сражаться и устроили себе отдых), когда на повороте за холмами показалось карфагенское войско.

Обозная прислуга, вооруженная пращами, размещена была на флангах. Впереди ехала гвардия легионеров в золотых чешуйчатых латах, верхом на толстых лошадях без грив, без ушей и шерсти, украшенных серебряным рогом посередине лба, чтобы сделать их похожими на носорогов. Между эскадронами легионеров юноши в маленьких касках раскачивали в каждой руке по дротику из ясеневого дерева; длинные пики тяжелой пехоты двигались сзади. Все эти купцы нацепили на себя как можно больше оружия: у некоторых было по два меча и, кроме того, копье, топор и палица; другие были, как дикобразы, утыканы стрелами, руки их оттопыривались от панцирей из роговых полос или железных блях. Наконец, появились громоздкие, высокие военные машины; карробаллисты, «онагры», катапульты и «скорпионы» покачивались на повозках, запряженных мулами и четверками быков.

По мере того как войско развертывалось, начальники, задыхаясь, бегали взад и вперед, отдавая приказы, соединяя ряды и сохраняя нужное расстояние между ними. Старейшины, назначенные полководцами, явились в пурпуровых шлемах с пышной бахромой, которая цеплялась за ремни котурнов. Их лица, вымазанные румянами, лоснились под огромными касками, украшенными изображениями богов; щиты были отделаны по краям слоновой костью, покрытой драгоценными камнями, казалось, будто это солнца двигаются вдоль медных стен.

Карфагеняне ступали так тяжело, что солдаты насмешливо приглашали их присесть. Варвары кричали, что немедленно выпустят кишки из их толстых животов, сорвут позолоту с кожи и дадут им напиться железа.

На шесте, вбитом перед палаткой Спендия, взвился кусок зеленого холста: это был сигнал. Карфагенское войско ответило на него грохотом труб, кимвалов, тимпанов и флейт из ослиных костей. Варвары уже перескочили через ограду. Сражающиеся очутились лицом к лицу на расстоянии полета дротика.

Тогда один балеарский пращник выступил на шаг вперед, вложил в ремень глиняное ядро и завертел рукой; раздался треск щита из слоновой кости, и войска вступили в бой.

Греки остриями копий кололи вражеским лошадям ноздри, и те опрокидывались на всадников. Рабы, которые должны были метать камни, брали слишком крупные, и они падали подле них. Карфагенские пехотинцы, размахи-

вая длинными мечами, оставляли без прикрытия свой правый бок. Варвары прорвали их ряды и рубили сплеча, топтали умирающих и убитых, ослепленные кровью, брызгавшей им в лицо. Груда копий, шлемов, панцирей, мечей и сплетающихся тел кружилась, то расширяясь, то сжимаясь. Карфагенские когорты редели, машины увязали в песках; наконец носилки суффета (его большие носилки с хрустальными подвесками), которые были на виду с самого начала боя и покачивались среди солдат, как лодка на волнах, куда-то исчезли. Не значило ли это, что он убит? Варвары остались одни.

Пыль вокруг них опадала, и они уже начали петь, когда появился Ганнон на слоне. Он был с непокрытой головой, под зонтом из виссона, который держал сидевший за ним негр. Ожерелье из синих блях ударялось о цветы его черной туники; алмазные обручи сжимали его толстые руки. Раскрыв рот, он потрясал огромным копьем, которое расширялось к концу в виде лотоса и сверкало, точно зеркало.

Земля тотчас же содрогнулась, и варвары увидели бегущих на них сплоченным строем всех карфагенских слонов. Бивни у них были позолочены, уши выкрашены в синий цвет и покрыты бронзой; на ярко-красных попонах раскачивались кожаные башни, и в каждой башне сидело по три стрелка с натянутыми луками.

Не все солдаты варваров были при оружии, ряды их уже распались. Ужас парализовал их; они не знали, что делать.

С высоты башен в них уже бросали дротики, простые и зажигательные стрелы, лили расплавленный свинец; иные, чтобы взобраться на башни, хватались за бахрому попон. Им отрубали руки ножами, и они падали навзничь на острие мечей. Непрочные пики ломались; слоны двигались по флангам, как вепри по густой траве; вырывали хоботами колья, опрокидывали палатки, пробегая лагерь из конца в конец. Варвары спасались бегством. Они прятались за холмами, окаймлявшими долину, через которую пришли карфагеняне.

Победитель Ганнон подошел к воротам Утики. Он приказал затрубить в трубы. Трое городских судей появились на вершине башни между бойницами.

Но жители Утики не пожелали принять у себя столь мощно вооруженных гостей. Ганнон вспылил. Наконец они согласились впустить его с небольшой свитой.

Улицы были слишком узки для слонов, пришлось оставить их у ворот.

Как только суффет вступил в город, к нему явились с поклоном городские власти. Он отправился в бани и призвал своих поваров.

Три часа спустя он еще сидел в бассейне, наполненном маслом киннамона, и, купаясь, ел на разостланной перед ним бычьей шкуре языки фламинго с приправой из мака и меда. Лекарь Ганнона, в длинной желтой одежде, время от времени приказывал подогреть ванну, но сам оставался неподвижен; двое мальчиков, наклонившись над ступеньками бассейна, растирали суффету ноги. Заботы о теле не мешали ему размышлять о государственных делах. Он диктовал письмо Великому совету и, кроме того, придумывал, как бы наказать с наибольшей жестокостью взятых в плен варваров.

— Подожди! — крикнул он рабу, который стоя писал на ладони.— Пусть пленных приведут сюда! Я хочу на них посмотреть.

С другого конца залы, наполненной белесым паром, пронизанной красными пятнами факелов, вытолкнули вперед трех варваров: самнита, спартанца и каппадокийца.

— Продолжай! — сказал Ганнон.— «Радуйтесь, светочи Ваалов! Ваш суффет уничтожил прожорливых псов! Да будет благословенна Республика! Прикажите вознести благодарственные молитвы!»

Он увидел пленников и расхохотался.

— А, это вы, храбрецы из Сикки! Сегодня вы уже не так громко кричите! Это я! Узнаете меня? Где же ваши мечи? Ай-ай, какие грозные воины!

Он сделал вид, будто хочет спрятаться от страха.

— Вы требовали лошадей, женщин, земель и уж, наверное, судейских и жреческих должностей! Почему бы вам их и не потребовать? Хорошо, будут вам земли, да еще какие, оттуда вы уже не уйдете! И поженят вас на новеньких виселицах! Жалованья просите? Вам его вольют в горло расплавленным свинцом! И я вам дам отличные места, очень высоко, среди облаков, поближе к орлам!

Три волосатых варвара в лохмотьях смотрели на него, не понимая, что он говорит. Они были ранены в колени; их схватили, набросив на них веревки. Толстые цепи, которыми им заковали руки, волочились по плитам пола. Ганнона раздражала их невозмутимость.

— На колени! На колени, шакалы, нечисть, прах, дерьмо! Они смеют не отвечать? Довольно! Молчать! Содрать с них кожу живьем! Нет, подождите!

Он пыхтел, как гиппопотам, дико вращая глазами. Благоуханное масло переливалось через край бассейна под грузом его тела и прилипало к покрытой струпьями коже, которая при свете факелов казалась розовой.

Он продолжал диктовать:

— «Мы сильно страдали от солнца целых четыре дня. При переходе через Макар погибли мулы. Несмотря на выгодное положение варваров и чрезвычайную их храбрость...» О Демонад, как я страдаю! Вели нагреть кирпичи, да чтобы их накалили докрасна!

Послышался стук лопаток и треск разводимого огня. Курения еще сильнее задымились в широких курильницах, голые массажисты, потевшие, как губки, стали втирать в тело Ганнона мазь, приготовленную из пшеницы, серы, красного вина, собачьего молока, мирры, гальбана и росного ладана. Нестерпимая жажда мучила суффета, но человек в желтой одежде не дал ему утолить ее, а протянул золотую чашу, в которой дымился змеиный отвар.

— Пей! — сказал он.— Пей для того, чтобы сила змей, рожденных от солнца, проникла в мозг твоих костей. Мужайся, отблеск богов! Ты ведь знаешь, что жрец Эшмуна следит за жестокими звездами вокруг созвездия Пса, от которых исходит твоя болезнь. Они бледнеют, как струпья у тебя на теле, и ты не умрешь.

— Да, да, конечно,— подхватил суффет.— Я не умру!

Дыхание, вырывавшееся из его посиневших губ, было более смрадно, чем зловоние трупа. Точно два угля, горели его глаза, лишенные бровей. Бугорчатые складки кожи свисали надо лбом; уши распухли и оттопыривались, а глубокие морщины вокруг ноздрей придавали ему странный, пугающий вид дикого зверя. Его хриплый голос похож был на вой. Он сказал:

— Ты, может быть, прав, Демонад. Действительно, много язв уже зажило. Я чувствую себя отлично. Смотри, как я ем!

Не столько из жадности, сколько для того, чтобы убедить самого себя, что ему лучше, Ганнон стал пробовать начинку из сыра и маерана, рыбу, очищенную от костей, тыкву, устрицы, яйца, хрен, трюфели и жареную мелкую дичь. Поглядывая на пленников, он с наслаждением придумывал муки, которым их подвергнет. Но он вспомнил

Сикку, свои мучения, и все его бешенство излилось в ругательствах на трех варваров:

— Предатели! Негодяи! Подлецы! Проклятые! Вы осмелились оскорбить меня, меня! Суффета! «Заслуги наемников, цена их крови»,— говорили они! Ах да! Их кровь!

И продолжал, обращаясь к самому себе:

— Всех прикончим! Ни одного не продадим! Лучше бы отвезти их в Карфаген! Сограждане увидели бы у меня... Но я, кажется, не привез с собой достаточно цепей? Пиши: «Пришлите мне...» Сколько их? Пошли спросить Мутумбала. Никакой пощады! Принесите мне в корзинках отрезанные у пленных руки!

Но вдруг странные крики, хриплые и в то же время резкие, донеслись до зала, заглушая голос Ганнона и звон посуды, которую расставляли возле него. Крики усилились, и вдруг раздался неистовый рев слонов. Можно было подумать, что возобновилось сражение. Что-то страшное творилось вокруг города.

Карфагеняне и не подумали преследовать варваров. Они расположились у подножия стен со своим добром, слугами, со всей роскошью сатрапов и веселились в великолепных палатках, обшитых жемчугом, в то время как лагерь наемников представлял собою груду развалин. Спендий, однако, вскоре воспрянул духом. Он отправил Заркcаса к Мато, обошел леса и собрал своих людей (потери были незначительны). Разъяренные тем, что их победили без боя, они вновь сплотили свои ряды; в это время был найден чан с нефтью, несомненно оставленный карфагенянами. Спендий велел взять свиней на фермах, обмазал их нефтью, зажег и пустил по направлению к Утике.

Слоны, испуганные пламенем, бросились бежать. Дорога шла вверх; в них стали бросать дротики. Слоны повернули назад, круша карфагенян. Они рвали их бивнями, топтали. Вслед за слонами с холмов спустились варвары. Пунический лагерь, не защищенный рвами, был разрушен после первой же атаки, а карфагеняне оказались раздавленными у городских стен, так как им не хотели открывать ворот из боязни наемников.

Стало светать; с запада приближалась пехота Мато. Одновременно показалась конница: это был Нар Гавас со своими нумидийцами. Перескакивая через рвы и кусты, они гнались за беглецами, как борзые, травящие зайцев. Эта измена воинского счастья и прервала разглагольствования суффета. Он крикнул, чтобы ему помогли выйти из

паровой ванны. Три пленника все еще стояли перед ним. Негр (тот самый, который держал зонт над суффетом во время боя) наклонился к его уху.

— Так что же? — медленно проговорил Ганнон.— Убить их! — отрывисто прибавил он.

Эфиоп вынул засунутый за пояс длинный кинжал, и три головы скатились. Одна из них, подпрыгивая среди остатков пира, попала в бассейн и там некоторое время плавала с открытым ртом и остановившимися глазами. Утренний свет проникал в расщелины стены; из трех тел, упавших ниц, кровь била фонтаном, кровавая пелена расплывалась по мозаичному полу, посыпанному синим порошком. Суффет опустил руку в эту горячую грязь и стал растирать кровью колени: это было целебное средство.

Вечером он бежал со свитой из города и направился в горы, чтобы нагнать свое войско.

Ганнону удалось найти его остатки.

Четыре дня спустя он был в Горзе, над ущельем, когда внизу показалось войско Спендия. Двадцать надежных копий, атаковав фронт колонны, легко остановили бы наступавшее войско; карфагеняне, пораженные появлением наемников, пропустили их мимо себя. Ганнон узнал в арьергарде царя нумидийцев. Нар Гавас поклонился, приветствуя его, и сделал знак, которого Ганнон не понял.

Возвращение в Карфаген сопровождалось всякими страхами. Подвигались вперед только ночью; днем прятались в оливковых рощах. На каждом переходе по нескольку человек умирало; воинам часто казалось, что они погибли. Наконец они добрались до Гермейского мыса, куда за ними прибыли корабли.

Ганнон так устал и был в таком отчаянии, в особенности от потери слонов, что просил Демонада дать ему яду. Он боялся, что его распнут на кресте.

Карфаген был не в силах негодовать на Ганнона. Потеряно было четыреста тысяч девятьсот семьдесят два шекеля серебра, пятнадцать тысяч шестьсот двадцать три шекеля золота, погибло восемнадцать слонов, убито четырнадцать членов Великого совета, триста человек богачей, восемь тысяч граждан, пропал хлеб, которого хватило бы на три месяца, много клади и все военные машины! Измена Нар Гаваса была несомненна. Обе осады возобновились. Войско Автарита растянулось от Туниса до Радеса. С высоты акрополя виден был расстилавшийся по небу дым пожарищ: то горели замки богачей.

Только один человек мог бы спасти Республику. Теперь все раскаивались, что недостаточно ценили его; даже партия мира постановила приносить жертвы богам, молясь о возвращении Гамилькара.

Вид заимфа потряс Саламбо. Ей слышались ночью шаги богини, и она просыпалась с криками ужаса. Она посылала каждый день пищу в храмы. Таанах изнемогала, исполняя приказания своей госпожи, и Шагабарим не покидал ее.

VII

ГАМИЛЬКАР БАРКА

Глашатай лунных смен, который бодрствовал все ночи на кровле храма Эшмуна, чтобы возвещать звуками трубы о движениях светила, увидел однажды утром с западной стороны нечто вроде птицы, касавшейся длинными крыльями поверхности моря.

Это был корабль с тремя рядами гребцов; нос корабля был украшен резной фигурой лошади. Всходило солнце. Глашатай лунных смен приставил руку к глазам, потом схватил рожок и затрубил на весь Карфаген.

Из домов выбежали люди; они не хотели верить слухам, спорили; мол был усеян людьми. Наконец все узнали трирему Гамилькара.

Она приближалась, гордая и суровая, с прямой реей, со вздувшимся парусом, разрезая вокруг себя пену. Гигантские весла мерно ударяли по волнам; время от времени край киля, имевшего форму плуга, показывался на поверхности, а над волнорезом вздыбленная лошадь с головой из слоновой кости как бы неслась стремительным бегом по равнине моря.

Когда корабль огибал мыс, парус спустили, так как ветер стих, и рядом с кормчим показался человек с непокрытой головой: то был сам суффет Гамилькар! На нем сверкали железные латы; красный плащ, скрепленный на плечах, не закрывал рук, длинные жемчужины висели в ушах, черная густая борода касалась груди.

Галера шла, покачиваясь, вдоль мола; толпа следовала за нею по каменным плитам и кричала, приветствуя Гамилькара:

— Привет тебе! Благословение! Око Камона, спаси нас!

Во всем виноваты богачи! Они хотят твоей смерти! Берегись, Барка!

Он ничего не отвечал — его точно оглушил шум морей и битв. Но когда трирема проходила под лестницей, спускавшейся с акрополя, Гамилькар поднял голову и, скрестив руки, посмотрел на храм Эшмуна. Взгляд его поднялся еще выше, к широкому ясному небу; он суровым голосом отдал приказ матросам; трирема подпрыгнула, задев идола, поставленного в конце мола, чтобы останавливать бури. Она вошла в торговую гавань, загрязненную отбросами, щепками и шелухой от плодов, отталкивая, пробивая другие корабли, пришвартованные к сваям, с пастью крокодила на носу. Сбегались люди, некоторые пустились вплавь. Трирема была уже в глубине гавани и подходила к воротам, утыканным гвоздями. Ворота поднялись, и трирема исчезла под длинным сводом.

Военная гавань была отделена от города; когда прибывали послы, им приходилось идти между двумя стенами по проходу, который вел налево и заканчивался у храма Камона. Вокруг круглой, как чаша, гавани шли набережные, где были построены помещения для кораблей. Перед каждым из них возвышались две колонны с капителями в виде рогов Аммона,— таким образом портики опоясывали весь бассейн. Посредине, на острове, стоял дом морского суффета.

Вода была такая прозрачная, что виднелось дно, вымощенное белыми камешками. Уличный шум сюда не доходил; проезжая мимо, Гамилькар узнавал суда, которыми он некогда командовал.

Их оставалось не более двадцати; они стояли на суше, накренившись, или прямо на киле, с высокими кормами и выгнутыми носами, украшенными позолотой и мистическими символами. У химер пропали крылья, у богов Патэков — руки, у быков — серебряные рога. Полинявшие, гниющие, недвижные, они еще дышали прошлым, еще хранили запах былых странствований; подобно искалеченным солдатам, вновь повстречавшим своего повелителя, они как бы говорили: «Это мы, да, это мы! Но и ты потерпел поражение!»

Никто, кроме морского суффета, не имел права вступать в адмиральский дом. До тех пор пока не была доказана его смерть, он считался живым. Старейшины избавлялись этим от лишнего начальства. И по отношению к Гамилькару они не отступили от старинного обычая.

Суффет вошел в пустынные покои; всюду он находил на прежнем месте оружие, мебель, знакомые предметы; это его удивляло; под лестницей еще сохранился в курильнице пепел благовоний, зажженных при его отъезде для заклинания Мелькарта. Не таким представлял он себе свое возвращение! Все, что он совершил, все, что видел, воскресало в его памяти: штурмы, пожары, легионы, бури, Дрепан, Сиракузы, Лилибей, гора Этна, Эрикс, пять лет сражения,— все, вплоть до того рокового дня, когда, сложив оружие, Карфаген потерял Сицилию. Потом он вспомнил лимонные рощи, пастухов со стадами коз на склонах гор, и у него забилось сердце, когда он представил себе другой Карфаген, который он мечтал там воздвигнуть. Все замыслы, все воспоминания проносились у него в голове, еще оглушенной качкой корабля. Им овладела тревога, и, неожиданно, сознав свою слабость, он почувствовал потребность общения с богами.

Он поднялся на верхний этаж своего дома. Потом, вынув из золотой раковины, висевшей у него на руке, лопаточку, утыканную гвоздями, открыл маленькую овальную комнату.

Вставленные в стену тонкие темные диски, прозрачные, как стекло, освещали комнату мягким светом. Между их рядами были просверлены ниши, точно для урн в колумбариях. В каждой из них находился круглый черный камень, с виду очень тяжелый. Только люди высокого ума поклонялись этим абаддирам, упавшим с луны. Своим пребыванием на земле они напоминали о светилах, о небе, об огне; своим цветом — о темной ночи, своею плотностью — о внутренней связи всего сущего. Воздух в таинственном обиталище был удушливый. От морского песка, занесенного, очевидно, ветром, на круглых камнях и в нишах лежал белый налет. Гамилькар пересчитал камни, потом набросил на лицо покрывало шафранного цвета и распростерся на полу, вытянув обе руки.

Дневной свет проникал сюда сквозь пластины из темного обсидиана. В их незамутненной толще вырисовывались деревья, горы, неясные очертания животных; свет этот был одновременно жуткий и спокойный, каким он должен быть по ту сторону солнца, в угрюмых пространствах грядущего созидания. Гамилькар старался изгнать из своих мыслей все формы, все символы и все наименования богов, чтобы лучше постигнуть непреложный дух, скрытый за внешними явлениями. В него как бы проникала

жизнь планет, и более глубоким и мудрым становилось его презрение к смерти и ко всему случайному. Когда Гамилькар поднялся с колен, он был преисполнен спокойного мужества, неподвластного ни жалости, ни страху. Чувствуя стеснение в груди, он направился к вершине башни, которая господствовала над Карфагеном.

Город спускался по пологому склону со своими куполами, храмами, золотыми кровлями, домами, пальмовыми рощами, с расставленными кое-где стеклянными шарами, которые искрились на солнце. Укрепления были как бы гигантской оправой этого рога изобилия, раскрывавшегося ему навстречу. Он видел внизу гавани, площади, дворы, узор улиц, людей, казавшихся совсем маленькими, почти вровень с мостовой. О, если бы Ганнон не опоздал в утро сражения у Эгатских островов! Глаза Гамилькара устремились вдаль, и он протянул трепещущие руки в сторону Рима.

Толпа расположилась на ступеньках акрополя. На площади Камона люди толкались, стараясь увидеть суффета. Террасы были полны народа; некоторые узнавали его и кланялись. Он удалился, чтобы усилить нетерпение сограждан.

Внизу, в зале, Гамилькар застал самых важных своих сторонников: Истатена, Субельдия, Гиктамона, Ейюба и других. Они рассказали ему обо всем, что произошло со времени заключения мира: о скупости старейшин, об уходе солдат, их возвращении, требованиях, о взятии в плен Гискона, о похищении заимфа, о помощи Утике и о том, как от нее отступились, но никто не решался поведать о событиях, касавшихся его самого. Наконец все разошлись, чтобы снова свидеться ночью на собрании старейшин в храме Молоха.

Когда они ушли, у дверей поднялся шум. Кто-то, невзирая на сопротивление слуг, пытался войти. Крики усилились. Гамилькар приказал впустить человека, желавшего его видеть.

В залу вошла старая негритянка, сгорбленная, морщинистая, дрожащая, придурковатая, закутанная до пят в широкое синее покрывало. Она приблизилась к суффету, и они взглянули друг другу в глаза. Гамилькар вздрогнул. Он поднял руку, и рабы удалились. Сделав знак негритянке, чтобы она осторожно следовала за ним, он повел ее за руку в дальнюю комнату.

Негритянка бросилась на землю и стала целовать ему ноги. Он резким движением поднял ее.

— Где ты его оставил, Иддибал?

— Там, господин.

Сняв покрывало, негритянка отерла себе рукавом лицо: черный цвет кожи, старческая дрожь и согбенная спина — все исчезло. Перед Гамилькаром стоял сильный старик с лицом, продубленным песками, бурями и морем. Пучок белых волос торчал у него на голове, как хохолок птицы; старик насмешливо показал взглядом на женские одежды, которые он сбросил на пол.

— Это ты хорошо придумал, Иддибал. Очень хорошо! — молвил Гамилькар, и, пронизав его острым взглядом, прибавил: — Никто не догадывается?

Старик поклялся ему Кабирами, что свято хранит тайну. Они не покидают своей хижины, в трех днях пути от Гадрумета, на берегу, где кишат черепахи, а на дюнах растут пальмы.

— По твоему приказу, господин, я учу его метать копье и править лошадьми.

— Он ведь сильный, правда?

— Да, господин, и очень отважный! Не боится ни змей, ни грома, ни призраков. Бегает босиком, как пастух, по краю пропастей.

— Ну, ну!

— Он устраивает западни для диких зверей. В прошлом месяце,— поверишь ли,— он поймал орла и притащил его. Кровь птицы и кровь ребенка падала крупными каплями, и они мелькали в воздухе, точно лепестки розы, подхваченные ветром. Разъяренная птица закрывала его бьющимися крыльями, он прижимал ее к груди; орел умирал, а смех мальчика звучал все громче, звонкий, раскатистый, как стук мечей.

Гамилькар опустил голову, ослепленный этими предзнаменованиями величия.

— Но с некоторых пор мальчиком овладела тревога: он следит взором за парусами на море, грустит и отталкивает пищу, спрашивает про богов и хочет увидеть Карфаген.

— Нет, нет, время еще не пришло! — воскликнул суффет.

Старый раб, видимо, знал, какую опасность предвидит Гамилькар, и продолжал:

— Как его удержать? Мне приходится тешить его обе-

щаниями, и в Карфаген я пришел сегодня только для того, чтобы купить ему кинжал с серебряной рукоятью, осыпанной жемчугом.

Потом он рассказал, что, увидев суффета на террасе, выдал себя портовой страже за одну из служанок Саламбо и только таким образом смог к нему проникнуть.

Гамилькар погрузился в долгое раздумье и наконец сказал:

— Явись завтра на закате солнца в Мегару, пройди за мастерские, где изготовляют пурпур, и крикни три раза шакалом. Если меня не увидишь, приходи в Карфаген каждое первое число. Не забудь ничего! Люби его! Теперь ты можешь говорить ему о Гамилькаре.

Раб снова надел одежду, в которой явился, и они вместе вышли из дому, а затем — из гавани.

Гамилькар продолжал путь один, без свиты, ибо в чрезвычайных обстоятельствах собрания старейшин были тайными и туда шли крадучись.

Сначала он двигался вдоль восточного фасада акрополя, затем миновал Овощной рынок, галереи Кинсидо, квартал торговцев благовониями. Редкие огни гасли, широкие улицы пустели; потом появились тени, скользившие во мраке. Они следовали за Гамилькаром, к ним присоединились другие — все шли по направлению к Маппалам.

Храм Молоха построен был в мрачном месте у подножия крутой горы. Снизу видны были только высокие стены, поднимавшиеся ввысь и напоминавшие стены чудовищной гробницы. Ночь была темная, над морем навис туман; волны били об утес с шумом, в котором слышались рыданья и хрипы. Тени постепенно исчезали, точно пройдя сквозь стены.

За воротами пришедшие попадали в большой четырехугольный двор, окруженный аркадами. Посредине стояло восьмигранное строение с куполами вокруг третьего этажа, служившего опорой круглой башне; на ее конусообразную кровлю с вогнутыми краями был насажен шар.

Огонь горел в цилиндрах филигранной работы, приложенных к шестам, которые держали служители. Пламя колыхалось от порывов ветра и бросало красные отсветы на золотые гребни, которые поддерживали на затылке заплетенные в косы волосы рабов; рабы суетились и окликали друг друга, готовясь к приему старейшин.

На каменных плитах пола сфинксами лежали громадные львы, живые символы всепожирающего солнца. Они

дремали, полузакрыв глаза. Проснувшись от шума, они медленно вставали, подходили к старейшинам, которых узнавали по платью, и терлись об них, выгибая спины и звучно зевая. При свете факелов видно было, как из их пасти вырывается пар. Волнение усилилось, двери были затворены, все жрецы разбежались, старейшины исчезли за круглой колоннадой, служившей преддверием храма.

Колонны были расположены наподобие колец Сатурна — один круг в другом: сначала круг, обозначающий год, в нем — месяцы, а в месяцах — дни; последний круг примыкал к стене святилища.

Там старейшины оставляли свои палки из рога нарвала, ибо закон, неукоснительно соблюдавшийся, наказывал смертью того, кто осмеливался бы сюда прийти с оружием. У многих одежда была разорвана снизу в каком-нибудь одном месте, отмеченном пурпуровой нашивкой,— этим они хотели показать, что, оплакивая смерть близких, не жалели платья. Этот знак печали служил еще и для того, чтобы одежда не рвалась дальше. Другие прятали бороду в мешочек из фиолетовой кожи, который прикреплялся двумя шнурками к ушам. Все обнимались при встрече, прижимая друг друга к груди. Они окружили Гамилькара, поздравили его; их можно было принять за братьев, встречающих брата после долгой разлуки.

Люди эти в большинстве своем были приземисты, с горбатыми носами, как у ассирийских колоссов. У некоторых, однако, сказывались африканская кровь и происхождение от предков — кочевников. Об этом говорили широкие скулы, высокий рост и узкие ступни. Те, кто проводил весь день в конторах, были бледны; другие носили на себе печать суровой жизни в пустыне; редкостные драгоценности сверкали на пальцах их смуглых рук, обожженных солнцем неведомых стран. Мореплавателей можно было отличить по походке вразвалку; от землепашцев исходил запах виноградного пресса, сена и пота вьючных животных. Но теперь старые пираты возделывали поля руками наемников; купцы, накопившие деньги, снаряжали суда, а земледельцы кормили рабов, обученных разным ремеслам. Все они обладали глубоким знанием религиозных обрядов, были хитры, беспощадны и богаты. Они казались уставшими от долгих забот. Их глаза, полные огня, смотрели недоверчиво, а привычка к странствованиям и ко лжи, к торговле и к власти наложила на них отпечаток коварства и грубости, исступленной, хотя и скрытой, жестокости.

Влияние бога, которому они поклонялись, омрачало их душу.

Сначала они миновали сводчатую яйцевидную залу. Семь дверей, соответствовавшие семи планетам, вычерчивались на стенах разноцветными квадратами. Пройдя еще одну длинную комнату, они вошли в другую такую же залу.

В глубине залы горел канделябр, сплошь покрытый резными цветами; на каждой из его восьми золотых ветвей плавал в алмазной чашечке фитиль из виссона. Канделябр стоял на последней из длинных ступенек, которые вели к большому алтарю с бронзовыми рогами по углам. Две боковые лестницы поднимались к плоской вершине алтаря. Камней его не было видно; алтарь походил на гору скопившегося пепла, на нем что-то дымилось. Дальше, над канделябром и гораздо выше алтаря, стоял Молох, весь из железа, с человеческой грудью, в которой зияли отверстия. Его раскрытые крылья простирались по стене, вытянутые руки доходили до земли; три черных камня, окаймленных желтым кругом, изображали три глаза на лбу; со страшным усилием поднимал он свою бычью голову, точно собирался замычать.

Вокруг комнаты расставлены были табуреты из черного дерева. За каждым из них на бронзовом стержне, покоящемся на трех когтистых лапах, был подвешен светильник. Свет отражался в перламутровых ромбах, которыми был вымощен пол. Зала была так высока, что красный цвет стен по мере приближения к своду казался черным; три глаза идола вырисовывались на самом верху, как звезды, наполовину исчезающие во мраке.

Старейшины расположились на табуретках из черного дерева, накинув на голову полы своих одежд; они сидели неподвижно, скрестив руки в широких рукавах: перламутровый пол казался светящейся рекой, которая, струясь от алтаря к двери, текла под их голыми ногами.

Четыре верховных жреца находились посредине, спиной друг к другу, на четырех крестообразно расположенных сиденьях из слоновой кости. Верховный жрец Эшмуна был в лиловой одежде, верховный жрец Танит — в одежде из белого льна, верховный жрец Камона — в рыжем шерстяном одеянии, верховный жрец Молоха — в пурпуровом.

Гамилькар направился к канделябру. Он обошел его кругом, осмотрел горевшие фитили, затем посыпал их душистым порошком; вспыхнуло фиолетовое пламя. И тут раздался резкий голос, ему стал вторить другой, и сто старей-

шин вместе с четырьмя жрецами и Гамилькаром запели гимн. Повторяя одни и те же слова, они подчеркивали их; голоса возвышались, гремели, становились грозными и вдруг умолкли.

Несколько минут прошло в ожидании. Наконец Гамилькар вынул спрятанную на груди маленькую статуэтку с тремя головами, синюю, как сапфир, и поставил ее перед собой. Это было изображение Истины, вдохновительницы его речей. Потом он снова спрятал ее на груди, и все закричали, точно охваченные внезапным гневом:

— Варвары — твои друзья! Изменник! Бесстыдный предатель! Ты вернулся, чтобы присутствовать при нашей гибели? Дайте ему сказать! Нет! Нет!..

Они мстили ему за сдержанность, которую вынуждены были соблюдать во время церемониала. И хотя они желали возвращения Гамилькара, но возмущались тем, что он не предотвратил их поражения или, вернее, не претерпел его вместе с ними.

Когда шум затих, поднялся с места верховный жрец Молоха.

— Мы спрашиваем тебя: почему ты не вернулся в Карфаген?

— Вам что за дело? — презрительно ответил суффет.

Крики усилились.

— В чем вы меня обвиняете? Разве я плохо вел войну? Вы видели планы моих сражений, вы, спокойно предоставившие варварам...

— Довольно! Довольно!

Он продолжал тихим голосом, чтобы его лучше слушали:

— Да, правда. Я ошибаюсь, светочи Ваалов! Среди вас есть бесстрашные люди! Встань, Гискон!

Прищуренными глазами, осматривая ступеньки алтаря, точно он отыскивал кого-то, Гамилькар повторил:

— Встань, Гискон! Теперь ты можешь выступить против меня. Они тебя поддержат. Но где же он?

И добавил, точно поправляя себя:

— Ну да, конечно, Гискон у себя дома! Он окружен сыновьями и отдает приказы своим рабам. Он счастлив и пересчитывает на стене почетные ожерелья, которыми наградило его отечество!

Передергивая плечами, точно под ударами хлыста, присутствующие беспокойно задвигались.

— Вы даже не знаете, жив он или мертв!

Не обращая внимания на их возгласы, Гамилькар говорил им, что, предав суффета, они предали Республику и что мир с римлянами при всей его кажущейся выгоде был пагубнее, чем двадцать битв.

Несколько человек стали рукоплескать ему, но это были наименее богатые члены Совета, которых вечно подозревали в тяготении к народу или к тирании. Противники, начальники Сисситов и администраторы, превосходили их числом; наиболее влиятельные поместились около Ганнона, который сидел в другом конце залы, у высокой двери, завешенной фиолетовой драпировкой.

Он скрыл под румянами язвы на лице. Золотая пудра осы́палась с его волос на плечи двумя блестящими пятнами; видно было, что они белесые, жидкие и вьющиеся, как шерсть. Повязки, пропитанные жирными благовониями, которые просачивались наружу и капали на пол, скрывали его руки. Здоровье Ганнона, видимо, ухудшилось; глаза прятались за опухшими веками. Чтобы хоть что-нибудь видеть, он должен был откидывать голову. Сторонники убеждали его ответить Гамилькару. Наконец он заговорил хриплым, гнусавым голосом:

— Не будь таким надменным, Барка! Мы побеждены! Нужно мириться с несчастьем! Покорись и ты!

— Расскажи нам лучше,— возразил с улыбкой Гамилькар,— как ты повел свои галеры на римские корабли?

— Меня гнал ветер,— ответил Ганнон.

— Ты, точно носорог, топчешься в собственных нечистотах — лишь бы выставить напоказ свою глупость! Уж лучше молчи!

Заспорив о битве у Эгатских островов, они стали обвинять друг друга.

Ганнон упрекал Гамилькара в том, что Гамилькар не двинулся ему навстречу.

— Но я оставил бы без прикрытия Эрикс. Кто тебе мешал выйти в море? Да, я и забыл, слоны боятся моря!

Сторонникам Гамилькара так понравилась эта шутка, что они громко захохотали. Свод гудел от их смеха, точно от ударов в кимвалы.

Ганнон запротестовал против несправедливого оскорбления, утверждая, что он простудился во время осады Гекатомпиля. Слезы текли по его лицу, как зимний дождь по развалившейся стене.

Гамилькар продолжал:

— Если бы вы меня любили так, как Ганнона, в Карфа-

гене царила бы теперь великая радость! Сколько раз я взывал к вам, а вы всегда отказывали мне в деньгах!

— Они были нужны нам самим,— ответили начальники Сисситов.

— А когда у меня было отчаянное положение и мы пили мочу мулов и грызли ремни наших сандалий, когда мне хотелось, чтобы каждая былинка превратилась в солдата и я готов был составлять батальоны из гниющих трупов наших людей, вы отозвали последние мои корабли!

— Мы не могли рисковать всем нашим имуществом,— ответил Баат-Баал, владевший золотыми приисками в Гетулии Даритийской.

— А что вы делали тем временем здесь, в Карфагене, укрывшись за стенами ваших домов? Нужно было оттеснить галлов за Эридан, хананеяне могли явиться из Кирены, и в то время как римляне посылали послов к Птолемею...

— Теперь он уже восхваляет римлян!

Кто-то крикнул ему:

— Сколько они заплатили тебе, чтобы ты их защищал?

— Спроси об этом равнины Бруттиа, развалины Локр, Метапонта и Гераклеи! Я сжег там все деревья, ограбил храмы и даже предал смерти внуков их внуков...

— Ты высокопарен, как ритор,— сказал Капурас, именитый купец.— Чего ты хочешь?

— Я говорю, что нужно быть либо более хитроумным, либо более грозным! Если вся Африка хочет сбросить ваше иго, то потому, что вы слабосильны и не умеете укрепить свое господство! Агафоклу, Регулу, Цепиону — всем этим смельчакам стоит только высадиться, чтобы отвоевать Африку. Когда ливийцы на востоке столкуются с нумидийцами на западе, когда кочевники придут с юга, а римляне с севера...

Раздался крик ужаса.

— Да, тогда вы будете бить себя в грудь, валяться в пыли и рвать на себе плащи! Но будет поздно! Придется вертеть жернова в Субурре и собирать виноград на холмах Лациума.

Они хлопали себя по правому бедру в знак негодования, рукава их одежд взвивались, как большие крылья испуганных птиц. Гамилькар, охваченный неистовством, весь дрожа, продолжал говорить, стоя на верхней ступеньке

алтаря, и вид у него был грозный. Он поднимал руки, и лучи светильника, горевшего за ним, проходили между его пальцами, точно золотые копья.

— У вас отнимут корабли, земли, колесницы! Не будет у вас висячих постелей и рабов, растирающих вам тело! Шакалы будут спать в ваших дворцах, плуг разроет ваши гробницы. Ничего не останется, кроме крика орлов и развалин. Ты падешь, Карфаген!

Четыре главных жреца протянули руки, как бы ограждая себя от проклятий. Все поднялись с мест. Но морской суффет, священнослужитель, находился под покровительством Солнца и был неприкосновенен до тех пор, пока его не осудило собрание богачей. Вид алтаря наводил ужас, и жрецы отступили.

Гамилькар умолк. Взгляд его остановился, лицо было бледнее жемчуга на его тиаре. Он ловил ртом воздух; он как бы испугался собственных слов, он как бы видел перед собой что-то страшное. С возвышения, на котором он стоял, светильники на бронзовых стержнях казались ему широким венцом огней вровень с полом; черный дым, исходивший от них, поднимался к темным сводам; несколько мгновений стояла такая глубокая тишина, что слышен был далекий шум моря.

Потом старейшины стали совещаться между собой. Их интересы, все их существование было в опасности из-за варваров. Но победить врагов без помощи суффета нельзя. При всей их гордыне это соображение вытесняло всякие другие. Они отвели в сторону друзей Гамилькара. Начались примирения в корыстных целях, намеки, обещания. Гамилькар сказал, что отказывается чем-либо управлять. Все стали его упрашивать, умолять. В их речах, однако, повторялось слово «предательство», и это вывело суффета из себя. Единственным предателем был, по его словам, Великий совет, ибо обязательства наемников ограничивались сроком войны и они становились свободными, как только война кончалась. Он восхвалял их храбрость и говорил о выгоде, которую можно было бы извлечь, примирив их с Республикой дарами и обещаниями льгот.

Магдасан, бывший правитель провинций, сказал, вращая желтыми глазами:

— Право, Барка, ты, кажется, слишком долго путешествовал и сделался не то греком, не то римлянином. О каких наградах может идти речь? Пусть лучше погибнет десять тысяч варваров, чем один из нас!

Старейшины кивали головами в знак одобрения, бормоча:

— Конечно, чего там стесняться? Наемников всегда можно набрать сколько угодно!

— И к тому же от них легко избавиться, не правда ли? Стоит их бросить, как вы это сделали в Сардинии. А еще можно уведомить неприятеля о том, по какой дороге они пойдут, как вы поступили с галлами в Сицилии. Или же высадить их среди моря. На обратном пути в Карфаген я видел утес, покрытый их побелевшими костями!

— Это не беда! — нагло воскликнул Капурас.

— Не переходили они, что ли, сто раз на сторону неприятеля? — возражали другие.

— Зачем же вы вопреки законам вызвали их обратно в Карфаген? — воскликнул Гамилькар.— А когда они, неимущие и многочисленные, очутились у вас в городе среди ваших богатств, почему вам не пришло в голову ослабить их раздорами? А потом вы их выпроводили с женами и детьми, не оставив ни одного заложника! Неужто вы надеялись, что они перебьют друг друга, чтобы избавить вас от неприятной обязанности сдержать ваши клятвы? Вы ненавидите их, потому что они сильны. И еще больше ненавидите меня, их бывшего полководца! Я это почувствовал, когда вы целовали мне руки и с трудом сдерживались, чтобы не искусать их!

Если бы львы, спавшие на дворе, с ревом вбежали в зал, не поднялось бы такого шума, как при словах Гамилькара. Но тут поднялся верховный жрец Эшмуна; сдвинув колени, прижав локти к бокам, выпрямившись и разжав кулаки, он сказал:

— Барка! Карфагену нужно, чтобы ты принял начальство над всеми пуническими силами против наемников.

— Я отказываюсь! — ответил Гамилькар.

— Мы предоставим тебе полную власть! — крикнули начальники Сисситов.

— Нет!

— Власть без раздела и отчета, сколько захочешь денег, всех пленников, всю добычу, пятьдесят зеретов земли за каждый неприятельский труп.

— Нет, нет! С вами победа невозможна!

— Он их боится!

— Вы бесчестны, скупы, неблагодарны, малодушны и безумны!

— Он их щадит!

— Он хочет стать во главе их,— проговорил кто-то.
— И пойти с ними на нас,— сказал другой.
С дальнего конца зала Ганнон завопил:
— Он намерен провозгласить себя царем!
Все повскакивали с мест, опрокидывая сиденья и светильники. Они бросились толпой к алтарю, размахивая кинжалами. Но Гамилькар, поискав в своих рукавах, вынул оттуда два больших ножа. Пригнувшись, выставив левую ногу, стиснув зубы, сверкая глазами, он вызывающе глядел на них, не двигаясь с места под золотым канделябром.
Оказалось, что все из предосторожности принесли оружие. Это было преступлением, и они с ужасом глядели друг на друга. Но быстро успокоились, убедившись, что виновны все. Мало-помалу, повернувшись спиной к суффету, они спустились со ступенек алтаря, взбешенные своим унижением. Уже второй раз отступают они перед ним. Несколько мгновений они стояли неподвижно. Иные, поранив пальцы, подносили их ко рту или осторожно заворачивали в полу плаща и уже направлялись к выходу, когда Гамилькар услышал следующие слова:
— Он отказывается из боязни огорчить свою дочь!
Кто-то громким голосом подхватил:
— Конечно! Ведь она выбирает себе возлюбленных из среды наемников!
Гамилькар зашатался, потом стал искать глазами Шагабарима. Один только жрец Танит остался на месте — Гамилькар увидел издали его высокий колпак. Все смеялись Гамилькару в лицо. По мере того как возрастало его волнение, они становились веселее; и среди гула насмешек стоявшие позади кричали:
— Его видели, когда он выходил из ее опочивальни!
— Это было утром, в месяце Таммузе!
— Он и есть похититель заимфа!
— Красивый мужчина!
— Выше тебя ростом!
Гамилькар сорвал с себя тиару, знак своего сана,— тиару из восьми мистических кругов с изумрудной раковиной посредине,— и обеими руками швырнул ее наземь. Золотые обручи, подскочив, разбились, жемчужины покатились по плитам пола. И тут все увидели на белом лбу Гамилькара длинный шрам, извивавшийся между бровями, как змея. Он весь дрожал. Он поднялся по одной из боковых лестниц и приблизился к алтарю. Он посвящал себя богу,

он отдавал себя на заклание как искупительную жертву. Плащ Гамилькара колебал пламя канделябра, стоявшего ниже его сандалий; тонкая пыль, поднятая его ногами, окутывала его облаком до живота. Он остановился между ног бронзового колосса и, взяв в руки по пригоршне пыли, один вид которой вызывал дрожь ужаса у всех карфагенян, сказал:

— Клянусь ста светильниками вашего духа! Клянусь восемью огнями Кабиров! Клянусь звездами, метеорами, вулканами и всем, что горит! Клянусь жаждой пустыни и соленостью океана, пещерой Гадрумета и царством душ! Клянусь убиением! Клянусь прахом ваших сыновей и прахом братьев ваших предков, с которым я смешиваю теперь и свой прах! Вы, сто членов карфагенского Совета, солгали, обвинив мою дочь! И я, Гамилькар Барка, морской суффет, начальник богачей и властитель народа, клянусь перед Молохом с бычьей головой...

Все ждали чего-то страшного; он закончил более громким и более спокойным голосом:

— Клянусь, что даже я не скажу ей об этом!

Вошли служители храма с золотыми гребнями в волосах — одни с пурпуровыми губками, другие с пальмовыми ветвями. Они подняли фиолетовую завесу, скрывавшую дверь, и за другими залами открылось широкое розовое небо, которое как бы продолжало свод, сливаясь на горизонте с ярко-синим морем. Выйдя из волн, поднималось солнце. Внезапно оно озарило грудь бронзового колосса, разделенную на семь помещений за семью решетками. Его пасть с красными зубами страшно зияла, огромные ноздри раздувались; яркий свет оживлял его, придавая ему грозный и нетерпеливый вид, точно он хотел выскочить из этих стен и слиться со светилом, с богом, чтобы вместе с ним блуждать по бесконечным просторам.

Светильники, брошенные наземь, еще горели, отбрасывая на перламутровый пол блики, похожие на пятна крови. Старейшины шатались от изнеможения; они вдыхали полной грудью свежий воздух; пот струился по их помертвелым лицам. Они уже не понимали друг друга. Но их гнев против суффета не улегся; они осыпали его на прощание угрозами. Гамилькар отвечал им тем же.

— До следующей ночи, Барка, в храме Эшмуна!

— Я явлюсь туда!

— Мы добьемся твоего осуждения богачами!

— А я — вашего осуждения народом!

— Ты кончишь жизнь на кресте!

— А вас как бы не растерзал народ на улицах!

Выйдя за порог храма, во двор, они тотчас же приняли спокойный вид.

Старейшин ждали у ворот скороходы и возницы. Почти все взобрались на белых мулов. Суффет вскочил в свою колесницу и взял в руки вожжи; две лошади, выгнув шеи и легонько ударяя копытами по камешкам, разлетавшимся в разные стороны, помчались по дороге в Маппалы; казалось, серебряный коршун на конце дышла летел по воздуху — так быстро неслась колесница.

Дорога шла полем, усеянным каменными надгробными памятниками с заостренной вершиной наподобие пирамид; посредине каждого из них была высечена раскрытая рука, как бы требовательно протянутая к небу летящим под плитой мертвецом. Далее шли землянки из глины, ветвей или тростника, все конической формы. Низкие каменные стены, ручейки, веревки из дрока, изгороди из кактуса разделяли жилища, которые лепились все теснее и теснее, по мере того как они поднимались к садам суффета. Гамилькар устремил взор на большую трехэтажную башню, как бы составленную из трех громадных цилиндров: первый был построен из камня, второй — из кирпича, третий — из цельного кедрового дерева. Они поддерживали медный купол, зиждившийся на двадцати четырех колоннах из можжевелового дерева, с которых спускались гирляндами переплетенные бронзовые цепочки. Это высокое здание господствовало над строениями, тянувшимися справа,— складами и торговым домом. В отдалении, за кипарисами, выстроившимися как две бронзовые стены, высился дворец для женщин.

Грохочущая колесница въехала в узкие ворота и остановилась под широким навесом, где лошади на привязи жевали охапки свежескошенной травы.

Слуги выбежали навстречу хозяину. Их было множество, ибо рабов, обычно трудившихся в полях, привезли обратно в Карфаген из страха перед наемниками. Землепашцы, одетые в шкуры, влачили за собой цепи, заклепанные у щиколоток; у рабочих, занятых изготовлением пурпура, руки были красные, как у палачей; на моряках были зеленые шапки, у рыбаков — коралловые ожерелья, у охотников перекинуты через плечо тенета; мегарцы были в бе-

лых или черных туниках, в кожаных штанах, в соломенных войлочных или полотняных шапочках — соответственно роду службы и промыслу.

Сзади толпились люди в лохмотьях. Не имея определенных занятий, они жили где придется, спали ночью в садах, питались отбросами; то была человеческая плесень, прозябавшая под сенью дворца. Гамилькар терпел их скорее из предусмотрительности, чем из пренебрежения. Все в знак радости заткнули за ухо цветок, хотя многие никогда не видали суффета.

Тотчас же явились люди в головных уборах, как у сфинксов, с большими палками в руках и бросились в толпу, нанося удары направо и налево. Они отгоняли рабов, сбежавшихся взглянуть на господина, для того чтобы те не напирали на него и не раздражали своим запахом.

Все пали ниц с криком:

— Око Ваала, да процветает твой дом!

Проходя среди этих людей, лежавших на земле в аллее кипарисов, главный управитель дворца Абдалоним в белой митре направился к Гамилькару, держа в руках кадильницу.

Саламбо сходила как раз по лестнице галер. Все прислужницы спускались вслед за нею со ступеньки на ступеньку. Головы негритянок казались черными пятнами среди золотых повязок, стягивавших лоб римлянок. У других были в волосах серебряные стрелы, изумрудные бабочки или длинные булавки в виде солнца. Среди всех этих желтых, белых и синих одежд сверкали кольца, пряжки, ожерелья, бахрома и браслеты; слышался шелест легких тканей; стучали сандалии, шлепали босые ноги; рослые евнухи, возвышаясь над женщинами, улыбались, задрав голову кверху. Когда стихли приветствия рабов, женщины, закрывшись рукавами, испустили странный крик, подобный вою волчиц, такой громкий и пронзительный, что большая лестница из черного дерева, на которой они столпились, зазвенела точно лира.

Ветер шевелил их покрывала, тихо покачивались тонкие стебли папируса. Был месяц Шебат, середина зимы. Гранатовые деревья в цвету вырисовывались на синеве неба, между ветвей виднелось море, а вдалеке — остров, окутанный туманом.

Увидев Саламбо, Гамилькар остановился. Она родилась у него после смерти нескольких сыновей. У всех солнцепоклонников рождение дочерей считалось несчастьем. Бо-

ги послали ему потом сына, но в душе его все же остался след обманутой надежды, а также воспоминание о проклятии, которое он произнес при рождении дочери. Саламбо шла к нему навстречу.

Жемчуга разных оттенков спускались длинными гроздьями с ее ушей на плечи вплоть до локтей, волосы были завиты наподобие облака. На шее висели маленькие золотые квадратики с изображением женщины между двумя поднявшимися на дыбы львами; одежда была полным воспроизведением наряда богини. Лиловое платье с широкими рукавами, облегая талию, расширялось книзу. Ярко накрашенные губы подчеркивали белизну зубов, а насурьмленные веки удлиняли глаза. На ней были сандалии из птичьих перьев на очень высоких каблуках. Лицо — бледное-бледное, очевидно от холода.

Наконец она дошла до Гамилькара и, не глядя на него, не поднимая головы, сказала:

— Приветствую тебя, Око Ваала! Вечная слава тебе! Победа! Покой! Довольство! Богатство! Давно уже сердце мое печалилось и дом твой томился. Но возвращающийся домой господин подобен воскресшему Таммузу. Под твоим взором, отец, расцветут радость и новая жизнь!

Взяв из рук Таанах маленький продолговатый сосуд, в котором дымилась смесь муки, масла, кардамона и вина, она сказала:

— Выпей до дна питье, приготовленное твоей служанкой в честь твоего возвращения!

— Будь благословенна! — ответил он и машинально взял в руки золотую чашу, которую она ему протягивала.

Но при этом он посмотрел на нее так пристально, что Саламбо в смятении пробормотала:

— Тебе сказали, господин?..

— Да, я знаю, — тихо проговорил Гамилькар.

Что это было — признание? Или же она имела в виду варваров? В туманных выражениях он заговорил о трудностях, которые претерпевает государство и которые он надеется преодолеть один, без чужой помощи.

— Отец! — воскликнула Саламбо.— Ты не можешь исправить непоправимое!

Он отшатнулся, ужас, написанный на его лице, удивил Саламбо; она думала не о Карфагене, а лишь о том святотатстве, в котором была как бы соучастницей. Этот человек, при виде которого дрожали легионы и которого она

почти не знала, пугал ее, как божество; ему все известно, он обо всем догадался, и вот сейчас должно произойти нечто ужасное.

— Пощади! — воскликнула она.

Гамилькар медленно опустил голову.

Ей хотелось признать свою вину, но она не решалась открыть уста; вместе с тем ей хотелось, чтобы ее пожалели, она испытывала потребность в утешении. Гамилькар боролся с желанием нарушить свою клятву; он не нарушал ее не то из гордости, не то из боязни, что перестанет сомневаться; он смотрел ей в лицо и напрягал силы, чтобы понять, какие помыслы таятся в глубине ее сердца.

Саламбо задыхалась; она вся съежилась под тяжелым взглядом отца. Это убедило его, что дочь отдалась варвару. Он задрожал и поднял кулаки. Она испустила крик и упала на руки женщин, поспешно ее окруживших.

Гамилькар повернулся и ушел. Управители последовали за ним.

Суффету открыли двери складов, и он вошел в большую круглую залу, куда сходились, как спицы колеса к ступице, длинные коридоры, которые вели в другие залы. Посредине возвышался каменный круг, обнесенный перилами, которые поддерживали подушки, наваленные кучей на ковры.

Суффет стал ходить большими быстрыми шагами; он шумно дышал, стучал каблуками и проводил рукой по лбу, точно отгоняя назойливых мух. Потом покачал головой и, посмотрев на груды своих сокровищ, успокоился. При виде уходивших вдаль переходов он стал мысленно обозревать другие залы, полные редкостных драгоценностей. Бронзовые плиты, слитки серебра и полосы железа перемежались с кругами олова, привезенными с Касситерид по Туманному морю; камедь, добытая в стране чернокожих, вываливалась из мешков, сшитых из пальмовой коры. Золотой песок, набитый в мехи, незаметно сыпался через протершиеся швы. Тонкие волокна, извлеченные из морских трав, висели между льном из Египта, Греции, Тапробаны и Иудеи; кораллы поднимались кустами у нижнего края стен; в воздухе носился смешанный запах духов, кожи, пряностей и страусовых перьев, висевших большими пучками на самом верху свода. Перед каждым коридором стояли слоновые бивни, концы которых соединялись над дверью в виде арки.

Наконец он поднялся на каменный круг. Все управи-

тели скрестили руки и опустили головы; только Абдалоним гордо носил свою остроконечную митру.

Гамилькар стал расспрашивать начальника кораблей. Это был старый моряк с вывороченными ветром веками и седой бородой, которая белыми кольцами спускалась ему до бедер, точно на ней остались клочки морской пены.

Он ответил, что отправил флот через Гадес и Тимиамату, вокруг Южного рога и мыса Благоуханий, к Эционгабару. Другие корабли плыли на запад четыре месяца и ни разу не видели берега; носы кораблей, однако, застревали в водорослях, вдали слышался неумолчный шум водопадов, туманы цвета крови затемняли солнце, ветер, отягощенный ароматами, усыплял матросов, и теперь они ничего не могут рассказать — так ослабела их память. Все же они поднялись на своих судах по скифским рекам, проникли в Колхиду, к угрийцам, к эстам, похитили в Архипелаге тысячу пятьсот дев и потопили все чужеземные корабли, миновавшие мыс Эстримон, чтобы те не обнаружили тайну морских путей. Царь Птолемей не сдал шезбарский ладан; Сиракузы, Элатия, Корсика и острова ничего не доставили. Понизив голос, старый моряк сообщил, что одна трирема была захвачена в Рузикаде нумидийцами.

— Они на их стороне, господин.

Гамилькар нахмурил брови. Потом он знаком потребовал отчета у начальника путешествий, облаченного в коричневую одежду без пояса; голова его была обмотана длинным белым шарфом, конец которого, закрывая подбородок, падал сзади на плечо.

Он сообщил, что караваны выступили, как полагается, в зимнее равноденствие. Но из тысячи пятисот человек, отправившихся в глубь Эфиопии с отличными верблюдами, новыми мехами и большими запасами крашеного холста, только один вернулся в Карфаген. Остальные умерли от изнурения или лишились рассудка, не выдержав всех ужасов пустыни. Уцелевший рассказывал, что за горной цепью Черный Гаруш, за племенем атарантов и страной больших обезьян он видел огромные царства, где все, даже мельчайшая домашняя утварь, сделано из золота, где течет река молочного цвета, широкая, как море, где есть леса с синими деревьями, холмы благоуханий и живущие на скалах чудовища с человеческими лицами, чьи глаза распускаются, как цветы, чтобы лучше рассмотреть человека; дальше за озерами, которые охраняют драконы, возвышаются хрустальные горы, поддерживающие солнце. Другие

караваны вернулись из Индии с павлинами, перцем и новыми тканями. А те, кто отправился покупать халцедон по дороге через Сирты и храм Аммона, наверно, погибли в песках. Караваны, посланные в Гетулию и Фаццану, доставили свою обычную добычу, но теперь он, начальник путешествий, не решается снаряжать новые караваны.

Гамилькар понял, что дороги заняты наемниками. Он оперся с глухим стоном на локоть. Начальник ферм дрожал от страха, хотя это был широкоплечий человек с большими, налитыми кровью глазами. Лицо у него было курносое, похожее на морду дога, на лоб спускалась сетка из древесных волокон. За поясом из леопардовой шкуры сверкали два огромных ножа.

Как только Гамилькар обернулся к нему, начальник ферм стал громко призывать Ваалов. Он не виноват! Он ничего не мог сделать! Он сообразовался с погодой, с условиями почвы, со звездами, сеял во время зимнего солнцестояния, обрезал ветви, когда луна была на ущербе, следил за рабами, берег их одежду.

Гамилькара раздражала его болтливость. Он щелкнул языком, и человек с ножами заторопился:

— Они все разграбили, господин! Все изломали, все уничтожили! Три тысячи деревьев срублены в Масшале, в Убаде сломаны амбары, засыпаны водоемы! Из Тедеса они увезли тысячу пятьсот гоморов муки, в Мараццане убили пастухов, съели целые стада, сожгли твой дом, твой красивый дом из кедра, куда ты приезжал на лето! В Тубурбо рабы, жавшие ячмень, убежали в горы; не осталось ни одного осла, онагра, мула, тавроменийского быка, орингского коня — всех увели! Проклятые! Я этого не переживу.

Он продолжал плача:

— Если бы ты знал, как полны были кладовые и как сверкали плуги! Какие чудесные бараны, какие дивные быки!..

Гнев душил Гамилькара, и он перестал сдерживать себя:

— Молчи! Бедняк я, что ли? Не лгать! Говорите правду! Я хочу знать свои потери до последнего сикля, до последнего каба! Абдалоним! Принеси мне счета кораблей и караванов, а также счета ферм и дома. И если ваша совесть нечиста, горе вам! Ступайте!

Управители вышли, пятясь и опустив кулаки до земли.

Абдалоним вынул из ящика, вделанного в стену, веревки с узлами, полоски холста и папируса, бараньи лопаточные кости, исписанные мелким письмом. Все это он сложил к ногам Гамилькара, потом дал ему в руки деревянную раму с тремя натянутыми на нее шнурами, по которым скользили золотые, серебряные и роговые шары. Наконец сказал:

— Сто девяносто два дома в Маппалах сданы внаем новым карфагенским гражданам по одному беку в месяц.

— Слишком дорого. Щади бедных! И запиши имена тех, кто покажется тебе наиболее смелым. Постарайся также узнать, преданы ли они Республике. Продолжай!

Абдалоним колебался, удивленный такой щедростью.

Гамилькар вырвал у него из рук холщовые полосы.

— Это что такое? Три дворца вокруг Камона по двенадцати кезит в месяц! Ставь двадцать! Я не хочу, чтобы меня сожрали богачи.

Главный управитель продолжал, отвесив низкий поклон:

— Дана ссуда Тигилласу до конца работ: два киккара из трех, обычный морской процент. Бар-Мелькарту — тысяча пятьсот сиклей под залог тридцати рабов. Но двенадцать из них умерли в солончаках.

— Значит, хилый народ был! — со смехом сказал суффет. — Ну ничего! Если ему понадобятся деньги, ссужай! Нужно всегда давать взаймы и под разные проценты, смотря по тому, сколько у кого богатств.

Тогда Абдалоним поспешил доложить о доходах, которые принесли железные рудники Аннабы, коралловый промысел, производство пурпура, откуп на взимание налога с проживавших в Карфагене греков, вывоз серебра в Аравию, где оно стоило в десять раз дороже золота, захват кораблей, за вычетом десятины на храм богини.

— Я всякий раз уменьшал доходы на четверть, господин!

Гамилькар считал на шарах, которые звенели под его пальцами.

— Довольно! Что выплачено?

— Стратониклу коринфскому и трем александрийским купцам вот по этим обязательствам (они возвращены) десять тысяч аттических драхм и двенадцать талантов сирийского золота. Продовольствие экипажа обошлось по двадцать мин в месяц на трирему...

— Знаю. Сколько погибло?

— Вот счет, на этих свинцовых пластинках, — сказал Абдалоним. — Что же касается кораблей, зафрахтованных сообща, то часто приходилось бросать груз в море, поэтому неравные потери были распределены по числу участников. За снасти, взятые напрокат из арсенала и не возвращенные из-за гибели судов, Сисситы потребовали перед походом на Утику по восемьсот кезит.

— Опять они! — сказал Гамилькар и опустил голову.

Несколько минут он сидел, как бы раздавленный тяжестью общей злобы против него.

— Но где же мегарские счета? — спросил он. — Я их не вижу.

Абдалоним, побледнев, взял в другом ящике дощечки из дерева смоковницы, нанизанные пачками на кожаные шнуры.

Гамилькар слушал его, вникая в подробности домашнего хозяйства; его успокаивал однообразный голос, произносивший цифру за цифрой, но речь Абдалонима почему-то стала замедляться. Вдруг он выронил деревянные дощечки и бросился на пол, вытянув руки в позе осужденного. Гамилькар спокойно поднял дощечки; губы его раскрылись и глаза расширились, когда он увидел среди расходов за один день огромные количества мяса, рыбы, дичи, вина и благовоний, а также много разбитых ваз, умерших рабов, испорченных ковров.

Абдалоним, по-прежнему распростертый на полу, рассказал ему про пиршество варваров. Он не мог ослушаться старейшин. Саламбо тоже требовала, чтобы он не жалел денег и хорошо принял солдат.

При имени дочери Гамилькар вскочил. Потом, сжав губы, он сел на подушки и стал обрывать их бахрому ногтями, тяжело дыша, устремив неподвижный взгляд в пространство.

— Встань, — сказал он и спустился вниз с каменного круга.

Абдалоним последовал за ним; колени его дрожали. Вдруг, схватив железный прут, он в неистовстве принялся взламывать пол. Одна из деревянных плит подалась — под ней обнаружились вдоль всего коридора несколько широких крышек над ямами, куда ссыпали хлеб.

— Видишь, Око Ваала, — сказал управитель, дрожа, — они не все взяли! Каждая яма имеет в глубину пятьдесят локтей, и все наполнены доверху! В твое отсутствие такие же ямы были вырыты по моему приказу в арсеналах, в са-

дах, повсюду! Твой дом так же полон хлеба, как твое сердце — мудрости.

Улыбка пробежала по лицу Гамилькара.

— Хорошо, Абдалоним! — проговорил он.

Потом, наклонившись, сказал ему на ухо:

— Вывези еще хлеба из Этрурии, из Бруттиума, откуда хочешь и по какой угодно цене! Накопи и спрячь! Я хочу, чтобы весь хлеб Карфагена был в моих руках.

Когда они дошли до конца коридора, Абдалоним открыл одним из ключей, висевших у него на поясе, большую квадратную комнату, разделенную посредине кедровыми колоннами. Золотые, серебряные и медные монеты лежали на столах или в нишах, поднимаясь вдоль четырех стен до стропил. По углам в огромных корзинах из гиппопотамовой кожи были уложены рядами маленькие мешки, а разменная монета навалена кучами на полу; рассыпавшиеся местами груды имели вид рухнувших колонн. Большие карфагенские монеты с изображением Танит и лошади под пальмой смешались с монетами колоний, носившими изображения быков, звезд, шара или полумесяца. Дальше шли монеты разных достоинств, разных размеров, разных эпох — начиная со старинных ассирийских, тонких, как ноготь, до старинных латинских, толще руки, и от эгинских монет в виде пуговиц до бактрианских дощечек и коротких брусков древнего Лакедемона; некоторые были ржавые, грязные, позеленевшие от воды, почерневшие от огня; их захватили сетями или нашли после осады городов среди развалин. Суффет быстро подсчитал, соответствуют ли наличные суммы представленным ему счетам прибыли и потерь. Перед уходом он увидел три медных кувшина, совершенно пустых. Абдалоним в ужасе отвернулся; Гамилькар, примирившись с потерями, ничего не сказал.

Миновав несколько коридоров и зал, они подошли наконец к двери, где на страже стоял человек, для верности обвязанный вокруг туловища длинной цепью, вделанной в стену. Это был римский обычай, недавно введенный в Карфагене. У раба чудовищно отросли борода и ногти; похожий на зверя в клетке, он качался из стороны в сторону. Завидев Гамилькара, он бросился к нему с криком:

— Сжалься надо мной, Око Ваала! Смилуйся и умертви меня! Вот уже десять лет, как я не видел солнца. Во имя твоего отца, сжалься надо мной!

Гамилькар несколько раз молча ударил в ладоши; по-

явились три человека, и все четверо, напрягшись, вынули из колец огромный засов, замыкавший дверь. Гамилькар взял светильник и исчез во мраке.

Можно было предположить, что там находились семейные гробницы, на самом же деле это был большой колодезь, вырытый, чтобы обмануть воров, — в нем ничего не хранилось. Гамилькар обошел его, потом, наклонившись, повернул на валиках тяжелый жернов и проник через открывшееся отверстие в конусообразное помещение.

Стены его были покрыты медной чешуей; посредине на гранитном пьедестале стояла статуя Кабира, носившего имя Алета, основателя рудников в Кельтиберии. У подножия статуи были крестообразно сложены большие золотые щиты и серебряные вазы чудовищных размеров с закрытыми горлышками странной формы и непригодные к употреблению; много металла отливалось таким образом, чтобы сделать невозможным похищение и даже перемещение сокровищ.

Гамилькар зажег своим светильником рудничную лампу, прикрепленную к головному убору идола; зеленые, желтые, синие, фиолетовые, винного и кроваво-красного цвета огни осветили залу. Она была полна драгоценных камней, заключенных в золотые сосуды в форме тыквенных бутылок, которые были подвешены, как лампы, к бронзовым крюкам. Отдельно лежали вдоль стен самородки. Среди камней были калаисы, извлеченные из недр горы с помощью пращей; карбункулы, образовавшиеся из мочи рысей, глоссопетры, упавшие с луны, тианы, алмазы, сандастры, бериллы, три рода рубинов, четыре породы сапфиров и двенадцать разновидностей изумруда. Камни сверкали подобно брызгам молока, синим льдинкам, серебряной пыли и излучали свет в виде полос, лучей, звезд. Нефриты, порожденные громом, сверкали рядом с халцедонами, исцеляющими от яда. Были там и топазы с горы Забарки для предотвращения ужасов, и бактрианские опалы, спасавшие от выкидышей, и рога Аммона, которые кладут под кровать, чтобы вызывать приятные сны.

Огни камней и свет ламп отражались в больших золотых щитах. Гамилькар стоял, улыбаясь, скрестив руки; он наслаждался не столько зрелищем, сколько сознанием своего богатства. Сокровища были недоступны, неисчерпаемы, бесчисленны. Предки, спавшие под его ногами, посылали его сердцу частицу своей вечности. Он чувствовал свою близость к подземным духам. Его охватила радость,

подобная радости Кабира; лучи, касавшиеся его лица, казались ему кончиками невидимой сети, которая через бездны привязывала его к центру мира.

Мелькнувшая в голове мысль вызвала у него дрожь; обойдя идола, он направился прямо к стене. Потом стал рассматривать в татуировке на своей руке горизонтальную линию с двумя другими, перпендикулярными, что на ханаанском счислении означало тринадцать. Он пересчитал до тринадцатой бронзовые пластинки и еще раз поднял свой широкий рукав; вытянув правую руку, он прочел в другом ее месте линии более сложные; одновременно легким движением пальцев он касался стены, будто играл на лире. Наконец он ударил семь раз большим пальцем, и целая часть стены мгновенно повернулась.

Она скрывала склеп, где хранилось много таинственного, безымянного, бесценного. Гамилькар спустился по трем ступенькам, взял в серебряном тазу кожу ламы, плававшую в черной жидкости, и снова поднялся наверх.

Абдалоним опять пошел впереди него. Он ударял о плиты пола своей высокой палкой с колокольчиками на набалдашнике и перед каждым отделением громко произносил имя Гамилькара, сопровождая его хвалами и благословениями.

В круглой галерее, куда сходились все проходы, нагромождены были вдоль стен бруски сандалового дерева, мешки с лавзонией, лепешки лемносской земли и черепаховые щиты, наполненные жемчугом. Суффет, проходя мимо, касался их своим платьем, даже не глядя на огромные куски амбры — вещества почти божественного, созданного лучами солнца.

Из одного отделения вырывался благоуханный пар.

— Отвори дверь!

Они вошли.

Голые люди месили тесто, выжимали травы, мешали угли, разливали масло по кувшинам, открывали и закрывали выдолбленные в стенах маленькие продолговатые ячейки, столь многочисленные, что помещение походило на внутренность улья. Ячейки были полны до краев миробаланом, бделием, шафраном и фиалками. Всюду лежали камедь, порошки, корни, стеклянные пузырьки, ветки таволги, лепестки роз; трудно было дышать среди этих ароматов, несмотря на росный ладан, который курился посредине на бронзовом треножнике.

Хранитель благовоний, бледный и длинный, как воско-

вая свеча, подошел к Гамилькару, чтобы растереть в его руках шарик метопиона, в то время как двое других натирали ему пятки листьями комарника. Гамилькар оттолкнул их; это были киренейцы, люди порочных нравов, почитаемые, однако, за их тайны.

Чтобы выказать усердие, хранитель благовоний поднес суффету в янтарной ложке немного маловатра, чтобы тот отведал его; потом он проткнул шилом три индийских сосуда. Гамилькар, знавший все уловки мастеров, взял рог, полный бальзама, поднес его к углям и наклонил над своей одеждой: на платье появилось коричневое пятно — доказательство подделки. Он пристально посмотрел на хранителя благовоний и молча бросил ему рог в лицо.

Однако, несмотря на возмущение подделкой, наносившей ему ущерб, Гамилькар, взглянув на ящики нарда, приготовленные для отправки за море, велел положить туда сурьмы для увеличения веса.

Потом он спросил, где три коробки персидской эссенции для его личного потребления.

Хранитель благовоний сознался, что не знает, так как солдаты пришли с ножами, подняли вой, и он открыл им все ящики.

— Значит, их ты боишься больше, чем меня! — воскликнул суффет, и глаза его сверкнули в дыму, как факелы, впившись в большого бледного человека, который понял, что его ждет.

— Абдалоним! Прогнать его до заката сквозь строй! Растерзать его!

Этот убыток, менее значительный, чем другие, привел Гамилькара в бешенство, — при всем старании забыть о варварах он всюду натыкался на них. Их разнузданность сливалась в его представлении с позором дочери, и он негодовал на всех в доме за то, что они ничего ему не сказали. Но что-то заставляло его растравлять свою рану. Охваченный яростным желанием все разведать, он обошел торговый дом, склады дегтя, дерева, якорей и снастей, меда и воска, хранилища тканей, запасы съестных продуктов, мастерскую мрамора и амбар, где хранился сильфий.

Гамилькар миновал сады, чтобы осмотреть хижины, где работали на дому ремесленники, изделия которых поступали в продажу. Портные вышивали плащи, другие занимались плетением сетей, расписывали подушки, кроили сандалии; рабочие из Египта полировали раковиной папи-

рус; гудел челнок ткачей; звенели наковальни оружейных мастеров.

Гамилькар сказал им:

— Куйте мечи! Куйте без устали! Мне они будут нужны.

Он вынул спрятанную у него на груди кожу антилопы, пропитанную ядами, и велел изготовить из нее для себя панцирь крепче медного, непроницаемый ни для огня, ни для железа.

Как только Гамилькар подходил к рабочим, Абдалоним, желавший отвратить от себя гнев хозяина, принимался ворчать на их нерадивость.

— Плохая работа! Позор! Ты слишком добр к ним, господин.

Гамилькар, не слушая его, шел дальше.

Он должен был замедлить шаги, потому что дороги были загромождены большими деревьями, обожженными во всю длину, как в лесах, где расположились на ночлег пастухи. Заборы были сломаны, вода в канавах высохла, в грязных лужах валялись осколки и скелеты обезьян. На кустах повисли лоскутья материи; под лимонными деревьями лежали желтой гниющей кучей увядшие цветы. В самом деле, слуги все бросили на произвол судьбы, полагая, что хозяин не вернется.

На каждом шагу Гамилькар открывал какое-нибудь новое бедствие, новое доказательство того, о чем ему не хотелось знать. Вот теперь он загрязнил свои пурпуровые сапоги, ступая по нечистотам. И эти люди не здесь, он не может направить на них катапульту, чтобы от них полетели клочья. Ему было стыдно, что он их защищал; его обманули, предали. Но он не мог отомстить ни воинам, ни старейшинам, ни Саламбо, никому, а так как он ощущал потребность сорвать зло, то приговорил к работам в рудниках всех садовых рабов.

Абдалоним вздрагивал каждый раз, как Гамилькар приближался к зверинцу. Но суффет направился к мельнице, откуда доносились монотонные, унылые звуки.

Там вращались среди пыли тяжелые жернова — два порфировых конуса, один над другим, причем верхний, снабженный воронкой, приводился в движение при помощи толстых брусьев. Одни рабочие толкали жернов, напирая на него грудью, другие тянули его лямками. От трения под мышками у рабов образовались гнойники, какие бывают на холке у ослов; черные лохмотья, едва прикры-

вавшие их поясницу, свисали, точно длинный хвост. Глаза у них были красные, кандалы на ногах звенели; тяжелое дыхание вырывалось из их груди одновременно. На них были надеты намордники, чтобы они не могли есть муку, а железные перчатки без пальцев сжимали руки, чтобы они не брали ее.

Когда вошел Гамилькар, деревянные брусья заскрипели еще громче. Зерно хрустело при размоле. Несколько человек упало на колени, другие, продолжая работать, переступали через них.

Гамилькар вызвал Гиденема, начальника над рабами. Тот явился, разодетый из чванства в богатые одежды. Его туника с прорезями на боках была из тонкой багряницы, тяжелые серьги оттягивали уши; скрепляя полосы тканей, которыми были обмотаны ноги, золотой шнур извивался от щиколоток до бедер, как змея вокруг дерева. Его пальцы, унизанные кольцами, держали гагатовое ожерелье, помогавшее узнавать, кто подвержен падучей болезни.

Гамилькар знаком велел ему снять намордники. Рабы с воем голодных зверей бросились на муку и стали ее пожирать, уткнувшись лицами в насыпанные груды.

— Ты их изнуряешь! — сказал суффет.

Гиденем ответил, что это единственное средство держать их в повиновении.

— Не стоило посылать тебя в Сиракузы учиться в школе рабов. Созови остальных.

Повара, виночерпии, конюхи, скороходы, носильщики, банщики и женщины с детьми — все выстроились цепочкой в саду от торгового дома до помещений для зверей. Рабы затаили дыхание. Глубокое молчание воцарилось в Мегаре. Солнце спускалось над лагуной у катакомб. Павлины жалобно кричали. Гамилькар медленно шел вдоль вереницы рабов.

— На что мне эти старики? — сказал он. — Продай их! Слишком много галлов, они пьяницы! И слишком много критян, они лгуны! Купи мне каппадокийцев, азиатов и негров.

Его удивило, что здесь так мало детей.

— Нужно, чтобы каждый год в доме рождались дети, Гиденем! Оставляй на ночь открытыми двери хижин для свободы сношений.

Затем он велел показать воров, лентяев, мятежников. Он распределил наказания, попрекая Гиденема, и Гиде-

нем, как бык, опустил низкий лоб, на котором соединялись густые брови.

— Посмотри, Око Ваала, — сказал он, указывая на коренастого ливийца, — вот этого схватили с веревкой на шее.

— Ты что же, хочешь умереть? — презрительно спросил суффет.

Раб бестрепетно ответил:

— Да!

Не думая ни о плохом примере для других, ни о денежной потере, Гамилькар сказал слугам:

— Умертвить его!

Может быть, у Гамилькара мелькнуло желание принести искупительную жертву, и он намеренно причинил себе ущерб, чтобы предупредить более грозные беды.

Гиденем спрятал калек за другими. Гамилькар увидел их.

— Кто тебе отрубил руку?

— Воины, Око Ваала.

Потом он спросил самнита, который шатался, как раненый журавль:

— А тебя кто искалечил?

Оказалось, что сам начальник сломал ему ногу железной палкой. Такая бессмысленная жестокость возмутила суффета, вырвав из рук Гиденема гагатовое ожерелье, он крикнул:

— Проклятье собаке, которая уродует стадо! Калечить рабов? Помилуй, Танит! Ты разоряешь своего господина! Зарыть его в навозную кучу! А те, которых здесь нет, где они? Ты убил их с помощью воинов?

Лицо Гамилькара было так страшно, что женщины разбежались. Рабы, отступая, образовали большой круг, посредине которого они остались вдвоем. Гиденем покрывал поцелуями его сандалии. Гамилькар стоял, подняв на него руку.

Сохраняя ясность мыслей, как в разгар битвы, он вспомнил множество гнусностей и тот позор, о котором ему не хотелось думать. При свете гнева, как при сверкании молнии, перед ним предстали постигшие его беды. Правители деревень убежали из страха перед воинами, а быть может, по соглашению с ними. Все его обманывали. Он слишком долго сдерживал свой гнев.

— Привести их сюда! — крикнул он. — Заклеймить им лбы раскаленным железом, как трусам!

В сад принесли и разложили оковы, железные ошейники, ножи, цепи для приговоренных к работам в рудниках, колодки для ног, клешни для плеч и «скорпионы» — плети-треххвостки, заканчивавшиеся медными крючками.

Подлежавших наказанию положили против солнца, лицом к Молоху-всепожирателю, на живот или на спину, приговоренных к бичеванию прислонили к деревьям; около каждого поставили двух человек: один считал удары, а другой их наносил.

Бичующий бил обеими руками; бичи со свистом срывали кору платанов. Кровь брызгала дождем на листья, окровавленные тела корчились с воем у подножия деревьев. Те, кого клеймили железом, разрывали себе лицо ногтями. Слышен был треск деревянных винтов; раздавались глухие удары; по временам воздух оглашался пронзительным криком. У кухонь, среди разорванных одежд и срезанных волос, люди раздували огонь опахалами, чувствовался запах горелого тела. Истязуемые слабели, но, привязанные за руки, они не падали, а только, закрыв глаза, качали головой. Рабы, глядевшие на истязания, стали испускать вопли ужаса; львы, вспомнив, быть может, о пире, расположились, зевая, на краю рва.

Неожиданно показалась Саламбо и заметалась по террасе. Гамилькар увидел дочь. Ему почудилось, что она простирает к нему руки с мольбой о пощаде. С отчаяния он направился в загон для слонов.

Слоны составляли гордость знатных карфагенян. Они носили на себе их предков, побеждали в войнах; этих животных почитали, как любимцев Солнца.

Мегарские слоны были самыми сильными в Карфагене. Перед отъездом Гамилькар взял с Абдалонима клятву, что он будет держать их в холе, но они пали от увечий; осталось только три, — они лежали среди двора в пыли, перед обломками своих кормушек. Слоны узнали Гамилькара и подошли к нему.

У одного были страшно рассечены уши, у другого — большая рана на колене, у третьего — отрезан хобот.

Они смотрели на хозяина грустным осмысленным взглядом; тот, который лишился хобота, наклонил огромную голову и согнул колени, стараясь ласково погладить Гамилькара уродливым обрубком.

При этой ласке слона у Гамилькара потекли слезы. Он бросился на Абдалонима.

— Презренный! Распять его! Распять!

Абдалоним лишился чувств и упал навзничь. Из-за фабрик пурпура, откуда медленно поднимался к нему синий дым, раздался вой шакала. Гамилькар замер на месте.

Мысль о сыне, точно прикосновение бога, сразу его успокоила. Сын был продолжением его силы, нескончаемым продлением его существа. Рабы не понимали, почему он вдруг затих.

Направляясь к фабрикам пурпура, он прошел мимо эргастула — длинного здания из черного камня, выстроенного в четырехугольной яме с узкой дорожкой по краю и четырьмя лестницами по углам.

Иддибал, по-видимому, ждал наступления ночи, чтобы подать знак. «Еще не поздно»,— подумал Гамилькар и спустился в тюрьму. Несколько человек крикнули ему: «Вернись!» Наиболее отважные последовали за ним.

Ветер хлопал растворенной дверью. Сумерки проникали в узкие бойницы, внутри видны были разбитые цепи, висевшие на стенах. Это было все, что осталось от военнопленных!

Гамилькар смертельно побледнел; те, кто склонился над ямой, увидели, как он оперся рукой о стену, чтобы не упасть.

Шакал провыл три раза кряду. Гамилькар поднял голову; он не произнес ни слова, не сделал ни одного движения. Потом, когда солнце село, он исчез за изгородью из кактусов, а вечером, на собрании богатых в храме Эшмуна, произнес входя:

— Светочи Ваалов! Я принимаю начальство над карфагенскими войсками против войска варваров.

VIII

МАКАРСКАЯ БИТВА

На другой же день Гамилькар взял с Сисситов двести двадцать три тысячи кикаров золота и наложил налог в четырнадцать шекелей на богачей. Женщины и те должны были внести свою долю; налог взимался и за детей, и — самое чудовищное в глазах карфагенян — он обложил податью жрецов.

Гамилькар потребовал сдачи всех лошадей, всех мулов, всего оружия. Некоторые хотели скрыть свое богатство, — их имущество было продано. Борясь со скупостью

других, он сам дал шестьдесят доспехов и тысячу пятьсот гоморов муки, то есть столько же, сколько все товарищество торговцев слоновой костью.

Он послал в Лигурию нанять солдат — три тысячи горцев, привыкших ходить на медведей; им заплатили вперед за полгода по четыре мины в день.

Нужно было войско. Гамилькар не брал в него всех граждан, как это делал Ганнон. Он браковал людей сидячего образа жизни, людей с толстыми животами, трусливых по виду. Он принимал обесчещенных людей, чернь Малки, сыновей варваров, вольноотпущенников; в награду он обещал новым карфагенянам все права гражданства.

Первой его заботой было преобразовать Легион. Красивые молодые люди — члены Легиона — считали себя воинской славой Республики и пользовались самоуправлением. Он сместил их начальников, стал сурово обращаться с воинами, заставлял их бегать, прыгать, подниматься единым духом на Бирсу, метать копья, бороться, спать ночью на площадях. Семьи приходили смотреть на легионеров и жалели их.

Он заказал более короткие мечи, более крепкую обувь, точно определил число слуг легионеров и ограничил количество клади; в храме Молоха хранилось триста римских метательных копий — он забрал все, несмотря на протесты верховного жреца.

Из числа слонов, которые вернулись из Утики и которые были у частных владельцев, он составил фалангу в семьдесят два слона и превратил ее в грозную военную силу. Каждый погонщик имел молот и долото, чтобы во время битвы раскроить череп слону, если тот взбесится и понесет.

Гамилькар уничтожил право Великого совета выбирать военачальников. Старейшины ссылались на законы, но он не посчитался с ними. Никто не решался роптать, все покорялись его властному нраву.

Он взял на себя одного руководство военными действиями, общее управление, финансы и, предотвращая нарекания, потребовал, чтобы счетами заведовал суффет Ганнон.

Он производил работы на укреплениях и, чтобы иметь достаточно камня, приказал снести старые внутренние стены, ставшие ненужными. Но различие в имущественном состоянии, заменившее племенную иерархию, продолжало разделять сыновей побежденных и сыновей-завоевателей.

Патриции были возмущены тем, что сносят развалины, а народ, сам не зная почему, радовался этому.

Вооруженные отряды с утра до вечера шагали по улицам; ежеминутно раздавался звук труб; на повозках возили щиты, палатки, пики; дворы были полны женщин, которые разрывали холст; воодушевление сделалось общим; душа Гамилькара стала душой Республики.

Он разделил солдат на четные количества и расставил их так, чтобы сильные чередовались со слабыми, — таким образом, наименее отважные и наиболее малодушные шли вперед под напором других. Но, слив три тысячи лигуров с лучшими солдатами Карфагена, он смог образовать лишь простую фалангу из четырех тысяч девяноста шести гоплитов, защищенных бронзовыми шлемами и вооруженных деревянными копьями длиною в четырнадцать локтей.

Две тысячи молодых людей имели пращи, кинжалы и носили сандалии. Он присоединил к ним еще восемьсот солдат, вооруженных круглыми щитами и римскими мечами.

Тяжелая кавалерия состояла из тысячи девятисот прежних легионеров, одетых в латы из золоченой бронзы, как ассирийские клинабарии. Кроме того, у него было четыреста конных лучников, тех, кого называли тарентинцами, в шапках из меха ласки, с обоюдоострыми топорами, в кожаных туниках. Наконец, тысяча двести негров из квартала караванов вместе с клинабариями должны были бежать рядом с жеребцами, держась одной рукой за их гриву. Все было готово, однако Гамилькар не выступал.

По ночам он часто один уходил из Карфагена и шел за лагуну, к устьям Макара. Не собирался ли он присоединиться к наемникам? Лигуры, расположившиеся в Маппалах, охраняли его дом.

Опасения богачей как будто оправдались, когда однажды триста варваров подошли к стенам. Суффет открыл им ворота. То были перебежчики; они явились к своему прежнему господину то ли из страха, то ли из преданности.

Возвращение Гамилькара не удивило наемников; этот человек, по их мнению, не мог умереть. Он вернулся, чтобы исполнить свои обещания. В этой надежде не было ничего безрассудного — до того глубока была пропасть между Республикой и войском. К тому же они не считали себя виновными. Все забыли про пир.

Шпионы, которых перехватили наемники, рассеяли их заблуждения. Это было торжеством для наиболее ожесточенных, и даже самые безразличные пришли в ярость. К тому же две осады навели на них скуку. Ничто не двигалось с места. Лучше уж вступить в открытый бой! Много солдат разбежалось и бродило по окрестностям. При известии, что войска противника вооружаются, они вернулись. Мато прыгал от радости.

— Наконец-то, наконец! — восклицал он.

Обида, которую он затаил против Саламбо, перешла теперь на Гамилькара, — у ненависти Мато была наконец жертва. Месть его стала более осязаемой, он почти поверил, что она осуществится, и заранее ликовал. Его охватили и глубокая нежность, и острое вожделение. То он видел себя среди солдат потрясающим головой суффета на копье, то в комнате с пурпуровым ложем, где он сжимает в объятиях Саламбо, покрывает ее лицо поцелуями, проводит рукой по ее густым черным волосам. Эта мечта, невозможность которой он понимал, терзала его. Мато поклялся себе, что коль скоро его провозгласили шалишимом, он поведет открытую войну. Твердая уверенность, что он не вернется с этой войны, побуждала его вести ее беспощадно.

Он пришел к Спендию и сказал ему:

— Возьми своих солдат, а я приведу своих. Предупреди Автарита. Мы погибнем, если Гамилькар нападет на нас! Слышишь? Вставай!

Спендий был поражен его властным тоном. Мато обыкновенно подчинялся ему, и если у него и бывали вспышки гнева, то быстро проходили. Но теперь он казался и более спокойным, и более грозным. Гордая воля сверкала в его глазах, как пламя жертвенника.

Грек не соглашался с его доводами. Он жил в одной из карфагенских палаток, с каймой из жемчуга, пил прохладительные напитки из серебряных чаш, играл в коттабу, отпустил волосы и не спеша продолжал осаду. К тому же он завел тайные сношения с городом и не хотел уходить, уверенный, что через несколько дней ему отворят ворота.

Нар Гавас, переходивший от одного войска к другому, был как раз поблизости. Нумидийский царь поддержал Спендия и даже выразил порицание ливийцу за то, что от избытка храбрости он хочет снять осаду.

— Уходи от нас, если ты боишься! — воскликнул Ма-

то.— Ты обещал нам смолу, серу, слонов, пехоту, коней! Где все это?

Нар Гавас напомнил, что он истребил последние когорты Ганнона. Что же касается слонов, то на них охотятся в лесах. Пехоту он вооружает, а кони уже в пути. И, поглаживая страусовое перо, спускавшееся ему на спину, поводил глазами, как женщина, и раздражающе улыбался. Мато не нашелся, что ему ответить.

Вошел незнакомый человек, в поту, растерянный, с окровавленными ногами, с развязанным поясом; от быстрого бега ходуном ходила его тощая грудь. Говоря на непонятном наречии, он широко раскрывал глаза, точно рассказывал о битве. Нар Гавас выскочил из палатки и созвал своих всадников.

Они выстроились полукругом на равнине.

Нар Гавас, сидя перед ними на коне, опустил голову и кусал губы. Наконец он разделил свое войско на две части и велел первой ждать его; потом, властным жестом позвав других за собой, исчез вдали по направлению к горам.

— Господин! — молвил Спендий. — Мне не нравится эта странная случайность: суффет вернулся, а Нар Гавас оставляет нас...

— Что за беда! — пренебрежительно ответил Мато.

Необходимо было опередить Гамилькара, соединившись с Автаритом. Но если они снимут осаду городов, население может выйти и напасть на них сзади, а спереди окажутся карфагеняне. После долгих споров были придуманы и сейчас же приняты следующие меры.

Спендий с пятнадцатью тысячами солдат отправился к мосту, построенному на Макаре в трех милях от Утики. Для охраны моста соорудили по углам четыре огромные башни, снабженные катапультами. С помощью срубленных деревьев, обломков скал, плетений из терновника и каменных стен загородили в горах все горные тропы, все лощины, на вершинах сложили кучами сучья для сигнальных огней; там же поместили на некотором расстоянии один от другого зорких пастухов.

Конечно, рассуждали варвары, Гамилькар не пойдет, как Ганнон, через гору Горячих источников; он сообразит, что Автарит, владея этой позицией, загородит ему путь. К тому же неудача в начале кампании погубила бы его, между тем как победа повела бы к дальнейшим битвам — ведь наемники встретились бы ему и дальше. Он мог бы,

кроме того, высадиться у Виноградного мыса и двинуться оттуда на один из городов. Но тогда он очутился бы между двумя войсками, а такой неосторожности он не совершит при малочисленности его сил. Следовательно, он должен идти низом вдоль Арианы, потом повернуть налево, чтобы обогнуть устье Макара, и подойти прямо к мосту. Там Мато и ждал его. Ночью, при свете факелов, он следил за работой землекопов, мчался в Гиппо-Зарит, где велись работы в горах, потом, не зная отдыха, возвращался обратно. Спендий завидовал его неутомимости. Но что касалось сношений со шпионами, выбора часовых, пользования машинами и всеми орудиями обороны, то тут Мато беспрекословно слушался Спендия. Они перестали говорить о Саламбо. Один о ней не думал, другого удерживала стыдливость.

Мато часто ходил в сторону Карфагена, стараясь увидеть войска Гамилькара. Он смотрел вдаль, ложился плашмя на землю, и шум крови в ушах казался ему гулом приближающегося войска.

Он сказал Спендию, что если Гамилькар не появится через три дня, он выйдет со всем своим войском навстречу ему и даст бой. Прошло еще два дня. Спендий удерживал его. На утро шестого дня Мато выступил в поход.

Карфагеняне с таким же нетерпением, как и варвары, ждали, чтобы началась война. В палатках и в домах было одно и то же желание, одна и та же тревога; все недоумевали, почему Гамилькар медлит.

Время от времени он поднимался на купол храма Эшмуна, становился рядом с глашатаем лунных смен и наблюдал за направлением ветра.

Однажды — это был третий день месяца Тибби — он на глазах у всех стремительно спустился с акрополя. В Маппалах поднялся оглушительный шум. Вскоре улицы наполнились людьми, воины, окруженные плачущими женщинами, которые бросались им на грудь, начали вооружаться; потом они быстрым шагом шли на Камонскую площадь и становились в ряды. Не разрешалось ни следовать за солдатами, ни говорить с ними, ни подходить к укреплениям. В течение нескольких минут в городе стояла гробовая тишина. Воины призадумались, опершись на свои копья, а в домах грустили родные.

На закате войско выступило из западных ворот, но,

вместо того чтобы направиться в Тунис или идти горным путем по направлению к Утике, солдаты продолжали путь по берегу моря. Вскоре они дошли до лагуны, где белые круги соли сверкали, как огромные серебряные блюда, забытые на песке.

Луж попадалось все больше. Почва становилась топкой, ноги в ней вязли. Гамилькар не оборачивался. Он все время ехал впереди войска, и его конь, весь в желтых пятнах, точно дракон, шел по морскому илу, разбрасывая брызги пены и напрягая мышцы. Наступила безлунная ночь. Несколько солдат крикнули, что все погибнут; Гамилькар выхватил у них оружие и передал слугам. Ил становился все глубже. Пришлось сесть на вьючных животных. Некоторые ухватились за хвосты лошадей, сильные тянули за собой слабых, корпус лигуров подгонял пехоту остриями пик. Мрак сгустился. Войско сбилось с пути. Все остановились.

Рабы суффета отправились вперед искать вехи, вбитые по его приказанию в определенных местах. Они кричали во мраке, войско на расстоянии следовало за ними.

Наконец под ногами оказалась твердая почва. Смутно обрисовалась белая излучина — войско очутилось на берегу Макара. Несмотря на холод, огней не зажигали.

Ночью поднялся сильный ветер. Гамилькар велел разбудить воинов, но трубных звуков не было: начальники слегка ударяли спящих по плечу.

Человек высокого роста вошел в воду. Вода не доходила ему до пояса; значит, можно было перейти реку вброд.

Суффет приказал расставить тридцать двух слонов поперек реки, в ста шагах вверх по ее течению; остальные слоны были выстроены ниже, чтобы задержать воинов в случае, если их унесет течением. Так все воины, держа оружие над головой, перешли вброд Макар, точно между двумя стенами. Гамилькар заметил еще раньше, что западный ветер нагоняет в этом месте песок, перегораживая реку как бы естественной насыпью.

Гамилькар очутился на левом берегу Макара, против Утики, и к тому же на широкой равнине, что было чрезвычайно удобно для пользования слонами, составлявшими главную силу его войска.

Эта искусная переправа восхитила воинов. К ним вернулась безграничная вера в Гамилькара. Воинам не терпелось идти на варваров, но суффет велел им отдохнуть два

часа. Как только показалось солнце, войско двинулось по равнине тремя рядами: сперва слоны, затем легкая пехота с конницей, потом фаланга.

Варвары, расположившиеся в Утике, а также пятнадцать тысяч варваров, стоявших у моста, были поражены тем, как колебалась земля вдали. Сильный ветер гнал песчаные вихри; они вздымались, точно вырванные из земли, взлетали вверх огромными светлыми лоскутьями, потом разрывались и снова сплачивались, скрывая от наемников карфагенское войско. При виде рогов на шлемах одни думали, что к ним приближается стадо быков; развевавшиеся плащи казались другим крыльями; те же, кто много странствовал, пожимали плечами и объясняли все миражем. А надвигалось нечто огромное. Клочья тумана, неуловимые, как дыхание, неслись по пустыне. Солнце, уже высоко поднявшееся, ярко блестело. От его резкого и как бы дрожащего света небо казалось глубже; он отдалял предметы на расстояние, не поддававшееся определению. Огромная равнина уходила в беспредельную даль; едва заметные неровности почвы тянулись до самого горизонта, замкнутого широкой синей чертой; все знали, что там море.

Оба войска, выйдя из палаток, устремили взоры в эту сторону. Жители Утики теснились на валах, чтобы лучше видеть.

Наконец люди различили несколько поперечных полос, ощетинившихся черными иглами. Полосы постепенно уплотнялись, увеличивались; покачивались какие-то темные бугорки, и вдруг выросли как бы четырехугольные кустарники: то были слоны и пики. Раздался общий крик: «Карфагеняне!»

Без сигнала, не дожидаясь команды, воины, осаждавшие Утику, и воины, стоявшие у моста, стали беспорядочно собираться, чтобы напасть на Гамилькара.

При этом имени Спендий вздрогнул. Он повторял, тяжело дыша:

— Гамилькар! Гамилькар!

А Мато был далеко! Что делать? Бежать невозможно! Неожиданность нападения, ужас перед суффетом и в особенности необходимость немедленно принять решение потрясли его. Он уже видел себя пронзенным тысячью мечей, обезглавленным, мертвым. Но его звали: тридцать тысяч воинов готовы были следовать за ним. Спендий был зол на себя. Он уцепился за надежду на победу, которая

сулила ему довольство, счастье, и почувствовал себя отважнее Эпаминондаса. Чтобы скрыть свою бледность, он нарумянил щеки, потом застегнул кнемиды, панцирь, выпил залпом чашу чистого вина и побежал за своим войском, которое спешило к осаждавшим Утику.

Оба войска соединились так быстро, что суффет не успел выстроить своих воинов в боевом порядке. Он задержал движение войска. Слоны остановились; они качали тяжелыми головами с пучками страусовых перьев и ударяли себя хоботами по спине.

Между слонами виднелись когорты велитов, а дальше большие шлемы клинабариев, железные наконечники копий, сверкавшие на солнце панцири, развевавшиеся перья и знамена. Карфагенское войско, состоявшее из одиннадцати тысяч трехсот девяноста шести человек, казалось гораздо малочисленнее, так как оно выстроилось длинным, узким, сжатым прямоугольником.

Когда варвары убедились в слабости противника, их охватила безудержная радость. Гамилькара не было видно. Уж не остался ли он сзади? Не все ли равно! Презрение, которое они чувствовали к этим торгашам, поднимало их дух; прежде чем Спендий успел подать команду, они поняли, что он от них хочет, и поспешили выполнить маневр.

Чтобы окружить карфагенское войско с обеих сторон, они развернулись по прямой линии, вытянувшейся далеко за его фланги. Но когда они подошли к карфагенянам на расстояние трехсот шагов, слоны, вместо того чтобы двинуться вперед, повернули назад; за слонами последовали клинабарии. Наемники еще больше изумились, увидев, что побежали и стрелки. Значит, карфагеняне испугались и отступают. Оглушительное гиканье поднялось в войсках варваров; сидя на дромадере, Спендий воскликнул:

— Я так и знал! Вперед! Вперед!

Полетели дротики, стрелы, камни из пращей. Слоны, которым стрелы вонзались в крупы, поскакали вперед; их окружила густая пыль, и они скрылись в ее облаках.

Между тем в отдалении раздавался громкий топот, заглушаемый резкими, неистовыми звуками труб. Пространство, лежавшее перед варварами, было наполнено вихрями пыли, смутным гулом и притягивало их, как бездна. Кое-кто бросился вперед. Они увидели, что когорты перестраиваются, бежит пехота, галопом мчится конница.

Гамилькар приказал фаланге рассредоточиться, а сло-

нам, легкой пехоте и коннице пройти в образовавшиеся промежутки и спешно стать на флангах. Он так правильно определил расстояние, отделявшее его от варваров, что когда их силы приблизились, карфагенское войско уже выстроилось длинным прямым фронтом.

Посредине щетинилась фаланга, состоявшая из синтагм, или правильных четырехугольников по шестнадцати человек с каждой стороны. Начальники всех шеренг виднелись между неровно торчавшими железными остриями — шесть первых рядов, скрестив копья, держали их за середину, а десять следующих рядов опирались ими на плечи тех, кто шел впереди. Лица наполовину исчезали под забралами шлемов; бронзовые кнемиды покрывали правые ноги; широкие цилиндрические щиты спускались до колен. Эта грозная четырехугольная громада двигалась как один человек, она казалась живой, как зверь, и действовала, как машина. Две когорты слонов выступали по ее бокам; животные, вздрагивая, сбрасывали осколки стрел, приставшие к их темной коже. Сидя на их загривках среди пучков белых перьев, индусы сдерживали слонов баграми, в то время как солдаты, скрытые до плеч башнями, спускали с туго натянутых луков железные стержни, обмотанные зажженной паклей.

Справа и слева от слонов неслись пращники с тремя пращами у бедер, на голове и в правой руке. Клинабарии, каждый в сопровождении негра, выставили копья между ушами лошадей, покрытых золотом, как и они сами. Далее шли на некотором расстоянии друг от друга легко вооруженные воины со щитами из рысьих шкур; из-за щитов торчали острия метательных копий, которые они держали в правой руке. Тарентинцы, ведущие по две лошади, замыкали с обеих сторон эту стену солдат.

Войско варваров в противоположность карфагенскому не сумело сохранить строй. На его чрезмерно вытянутом фронте образовались выемки и пустоты. Воины задыхались от быстрого бега.

Фаланга грузно перешла в атаку, ударив сразу всеми своими копьями. Под этим сокрушительным напором тонкий фронт наемников дрогнул посредине.

Тогда крылья карфагенского войска развернулись, чтобы охватить неприятеля; за ними последовали слоны. Наступая с копьями наперевес, фаланга разрезала войско варваров; два его огромных обрубка пришли в смятение; действуя пращами и стрелами, фланговые группы карфа-

геняи погнали их в сторону тяжелой пехоты. Чтобы отбить атаку, нужна была конница, а от нее уцелели только двести нумидийцев, которые сражались против правого эскадрона клинабариев. Остальные всадники были окружены и не могли вырваться. Гибель была неминуемой, следовало немедленно принять решение.

Спендий отдал приказ напасть одновременно на оба карфагенских крыла и отрезать их от главных сил. Наиболее узкие ряды варваров проскользнули мимо наиболее длинных и заняли указанные позиции, но фаланга встала перед ними, такая же устрашающая с боков, какой была ранее с фронта.

Варвары ударили по древкам копий, но конница мешала их наступлению. Под прикрытием слонов фаланга сплачивалась и удлинялась, принимая форму то четырехугольника, то конуса, то ромба, то трапеции, то пирамиды. Двойное внутреннее движение происходило неустанно по всей фаланге от головы к хвосту; те, что находились в задних рядах, бежали в передние, а из первых рядов уставшие или раненые воины отступали. Варвары оказались прижатыми к фаланге, не имевшей возможности двинуться вперед. Поле сражения было похоже на океан, на поверхности которого подпрыгивали красные султаны с бронзовой чешуей, в то время как светлые щиты сверкали, точно завитки серебряной пены. От одного его конца до другого пробегали порой как бы широкие волны, потом они снова текли обратно, в середине же оставалась неподвижная тяжелая масса войск. Копья то наклонялись, то поднимались. Кое-где так быстро вращались обнаженные мечи, что мелькали только их острия; вокруг эскадронов конницы возникали пустоты и тотчас же смыкались.

Покрывая голоса начальников, звуки труб и звон лир, свистели свинцовые шары и глиняные ядра; они вырывали мечи из рук, извлекали мозг из черепов. Раненые, одной рукой ограждая себя щитом, опускали мечи рукоятью к земле. Другие, валяясь в лужах крови, поворачивались, чтобы укусить врагов в пятку. Люди так сгрудились, пыль была такая густая, гул такой сильный, что ничего нельзя было различить. Малодушных, которые предлагали сдаться, даже не слышали. Когда в руках не было оружия, сцеплялись телами. Груди трещали под латами, в судорожно сжатых руках висели трупы с запрокинутой головой. Отряд в шестьдесят умбрийцев, твердо стоя на ногах, держа перед глазами пики и скрежеща зубами, был несо-

крушим и обратил в бегство сразу две синтагмы. Эпирские пастухи подбежали к левому эскадрону клинабариев и, вращая палками, начали хватать коней за гривы; лошади сбросили седоков и помчались по полю. Карфагенские пращники, отброшенные в разных местах, пришли в смятение. Фаланга дрогнула, начальники бегали растерянные, блюстители строя толкали солдат, выравнивая ряды. Варвары тем временем снова выстроились; они возвращались; победа склонялась на их сторону.

Но в это время раздался страшный крик — вопль бешенства и боли. Семьдесят два слона ринулись вперед двойным рядом. Гамилькар ждал, чтобы наемники скучились в одном месте, и тогда пустил на них слонов; индусы с такой силой вонзили свои багры, что у слонов потекла по ушам кровь. Хоботы, вымазанные суриком, торчали вверх, похожие на красных змей. Грудь была защищена рогатиной, спина — панцирем, бивни удлинены железными клинками, кривыми, как сабли; а чтобы сделать животных еще свирепее, их опоили смесью перца, чистого вина и ладана. Они потрясали ожерельями из погремушек и оглушительно ревели; погонщики наклоняли головы под потоком огненных стрел, которые сыпались с башен.

Чтобы устоять, варвары ринулись вперед сплоченной массой; слоны с яростью врезались в толпу. Железные острия их нагрудных ремней рассекали когорты, как нос корабля рассекает волны; когорты стремительно отхлынули. Слоны душили людей хоботами или же, подняв с земли, заносили их над головами и передавали в башни. Они распарывали людям животы, бросали их на воздух; человеческие внутренности висели на бивнях, как пучки веревок на мачтах. Варвары пытались выколоть им глаза, перерезать сухожилия на ногах. Подползая под слонов, они всаживали им в живот меч до рукоятки и, раздавленные, погибали; наиболее отважные цеплялись за их кожаные ремни. Среди пламени, под ядрами и стрелами, они перепиливали эти ремни, и башня из ивняка грузно рушилась, точно каменная. Четырнадцать слонов на крайнем правом фланге, рассвирепевшие от боли в ранах, повернули вспять, наступая на вторую шеренгу. Индусы схватили молоты и долота и со всего размаху ударили слонов по затылку.

Огромные животные осели и начали падать друг на друга. Образовалась гора, и на эту груду трупов и оружия поднялся чудовищный слон, которого звали «Гневом Ваа-

ла»; нога его застряла между цепями, и он ревел до вечера. В глазу у него торчала стрела.

Другие слоны, как завоеватели, которые наслаждаются резней, сшибали с ног, давили, топтали варваров, набрасывались на трупы и на обломки.

Чтобы оттеснить окружавшие их отряды, слоны вставали на задние ноги и, непрерывно поворачиваясь, подвигались вместе с тем вперед. Силы карфагенян удвоились, битва возобновилась.

Варвары слабели; греческие гоплиты побросали оружие, ужас объял остальных. Все заметили Спендия: согнувшись на своем дромадере, он гнал его прочь, вонзая в спину животного два копья. Воины отхлынули к флангам и побежали по направлению к Утике.

Клинабарии, чьи кони совсем обессилели, даже не пытались настигнуть их. Лигуры, изнемогавшие от жажды, требовали отступить к реке. Но менее пострадавшие карфагеняне, помещенные среди синтагм, топали ногами от бешенства, видя, что месть ускользает от них; они уже бросились нагонять наемников. Но тут появился Гамилькар.

Он сдерживал серебряными поводьями пятнистого коня; конь был весь в мыле. Повязки у рогов его шлема развевались на ветру; овальный щит он подложил под левое бедро. Одним движением пики с тремя остриями он остановил войско.

Тарентинцы быстро перескочили каждый со своей лошади на вторую, запасную, и помчались направо и налево, к реке и к городу.

Фаланга без труда истребила все, что оставалось от войска варваров. Когда над ранеными заносили меч, одни, закрыв глаза, сами подставляли горло; другие отчаянно защищались; их побивали издали камнями, как бешеных собак; Гамилькар приказал брать как можно больше пленных, но карфагеняне неохотно повиновались ему — уж очень отрадно было вонзать мечи в тела варваров. Им стало жарко, и они обнажили руки, точно жнецы. Они прервали резню, чтобы передохнуть, и увидели всадника, который мчался за убегавшим солдатом. Всадник схватил его за волосы, некоторое время подержал так, затем сразил ударом топора.

Спустилась ночь, карфагеняне и варвары исчезли. Убежавшие слоны бродили вдали с горящими башнями на спине. Они пылали среди мрака, как маяки, наполовину скрытые в тумане. На равнине все было неподвижно;

только вздымалась река, полная трупов, которые она несла в море.

Два часа спустя явился Мато. Он увидел при свете звезд груды людей, лежавших на земле.

То были варвары. Он наклонился — все были мертвы. Он громко крикнул — никто не отозвался.

Утром того же дня он выступил из Гиппо-Зарита со своими воинами, чтобы идти на Карфаген. Из Утики только что ушло войско Спендия, и жители стали сжигать осадные машины. Битва была жаркая. Но когда шум и смятение, доносившиеся со стороны моста, непонятно почему усилились, Мато двинулся кратчайшей дорогой через горы, а так как варвары бежали равниной, он никого не встретил.

Перед ним поднимались в темноте маленькие пирамидальные холмики, а за рекой светились вровень с землей недвижные огни. Карфагеняне отступили за мост, и, чтобы обмануть варваров, суффет установил много сторожевых постов на другом берегу реки.

Мато, продолжая идти, стал различать карфагенские знамена,— в воздухе появились неподвижные конские головы, прикрепленные к древкам, которых не было видно. Издалека доносились шум, пение и звон чаш.

Не зная, где он очутился и как ему найти Спендия, испуганный, растерявшийся Мато стремительно повернул назад по той же дороге. Заря уже занималась, когда он увидел с горы Утику и остовы машин, почерневшие от огня и похожие на скелеты великанов, прислоненные к стенам.

Все отдыхали среди тишины, в полном изнеможении. В палатках почти совсем голые люди спали на спине или подложив под руку панцирь и прижавшись к ней лбом. Некоторые сдирали с ног окровавленные повязки. Умиравшие слабо покачивали головами, другие, еле передвигаясь, приносили им напиться. Часовые, чтобы согреться, ходили по узким дорожкам; некоторые из них стояли с суровыми лицами, повернувшись к горизонту и держа пики на плече.

Мато нашел Спендия под обрывком холста, натянутым на две палки; он сидел, обхватив колени руками и опустив голову.

Они долго молчали.

Наконец Мато прошептал:

— Мы разбиты?

Спендий мрачно проговорил:

— Да, разбиты!

На другие вопросы он в отчаянии отвечал жестами.

До них доносились стоны и предсмертные хрипы. Мато приоткрыл шатер. Вид мертвых солдат напомнил ему другое бедствие на этом же месте, и, скрежеща зубами, он проговорил:

— Презренный! Ты уже раз...

Спендий прервал его:

— Ты и тогда отсутствовал.

— Проклятие! — воскликнул Мато. — Но когда-нибудь я его настигну! Я его одолею! И убью! О, если бы я был тут!..

Мысль о том, что он пропустил битву, приводила его в еще большее отчаяние, чем самое поражение. Он выхватил меч и бросил его на землю.

— Как же карфагеняне разбили вас?

Бывший раб стал рассказывать ему о военных действиях. Картины, одна другой возмутительнее, проходили перед глазами Мато. Вместо того чтобы бежать к мосту, нужно было обойти Гамилькара сзади.

— Знаю, знаю! — сказал Спендий.

— Следовало удвоить глубину расположения войска, не посылать велитов против фаланги и открыть проходы слонам. В последнюю минуту еще можно было все поправить. Не было необходимости бежать.

Спендий ответил:

— Я видел, как он проехал в большом красном плаще, с поднятыми руками, возвышаясь над столбами пыли, точно орел, летевший рядом с когортами. Повинуясь каждому его кивку, когорты сплачивались, устремлялись вперед. Толпа столкнула нас. Он взглянул на меня — я почувствовал в сердце точно холод лезвия.

— Он, может быть, нарочно выбрал этот день? — тихо проговорил Мато.

Они расспрашивали друг друга, старались понять, почему суффет выступил в самых неблагоприятных условиях. Чтобы смягчить свою вину или ободрить себя, Спендий заметил, что еще не все потеряно.

— Да хоть бы и потеряно, мне все равно! — сказал Мато. — Я буду продолжать войну один!

— Я тоже! — воскликнул грек и вскочил с места.

Он ходил крупными шагами, глаза его сверкали, странная улыбка морщила лицо, делая его похожим на шакала.

— Мы начнем все сначала! Не покидай меня! Я не создан для битв при солнечном свете, сверкание мечей слепит меня. Это как болезнь, я слишком долго жил в эргастуле. Но мне ничего не стоит влезть на стены ночью, проникнуть в крепость, и тогда трупы убитых мною охладеют прежде, нежели пропоет петух! Укажи мне кого-нибудь, что-нибудь — врага, сокровище, женщину.

Он повторил:

— Да, женщину, и будь она царской дочерью, я положу у твоих ног желанную. Ты упрекаешь меня в том, что я проиграл Ганнону битву, но ведь я снова победил его. Признайся, мое свиное стадо принесло нам больше пользы, чем фаланга спартанцев.

Уступая потребности похвастать и утешить себя в поражении, он стал перечислять все, что сделал для наемников.

— Это я подтолкнул галла в садах суффета! А потом, в Сикке, это я привел их всех в неистовство, пугая коварством Республики! Гискон готов был рассчитаться с ними, но я помешал говорить переводчикам. Как у них чесался язык! Помнишь? Я указал тебе путь в Карфаген, я украл заимф. Я провел тебя к ней. Я сделаю еще больше, вот увидишь!

Он засмеялся смехом безумца.

Мато смотрел на него, широко раскрыв глаза. Ему было не по себе в присутствии человека, такого трусливого и вместе с тем такого страшного.

Щелкая пальцами, грек снова заговорил — на этот раз весело:

— Эвоэ! После дождика проглянет солнце! Я работал в каменоломнях, и я же пил массик на своем корабле под золотым навесом, как Птолемей. Несчастье должно обострять ум. Настойчивость смягчает судьбу. Она любит ловких людей. Она уступит!

Он опять подошел к Мато и взял его за руку.

— Господин! Карфагеняне уверены в победе. У тебя есть целое войско, которое еще не сражалось, твои воины послушны тебе. Пусти их вперед. Мои тоже пойдут, чтобы отомстить карфагенянам. У меня осталось три тысячи карийцев, тысяча двести пращников и целые когорты стрелков. Можно даже составить фалангу. Возобновим бой!

Мато, потрясенный разгромом, еще не знал, что предпринять. Он слушал с раскрытым ртом; бронзовые латы,

которые сжимали ему бока, приподнимались от бурного биения сердца. Он взял меч и крикнул:

— Следуй за мной! Идем!

Разведчики, вернувшись, сообщили, что трупы карфагенян убраны, мост разрушен, а Гамилькар исчез.

IX

ПОХОД

Гамилькар полагал, что наемники будут ждать его в Утике или же сами выступят против него. Считая свои силы недостаточными ни для наступления, ни для обороны, он направился на юг по правому берегу реки, что обезопасило его от внезапного нападения.

Временно закрыв глаза на мятеж туземных племен, он хотел, чтобы они прежде всего порвали с варварами; потом, когда они останутся одни в своих провинциях, он сможет на них напасть и истребить.

За две недели он умиротворил область между Тукабером и Утикой с городами Тиньикаба, Тессура, Вакка и другими — на западе, Зунгар, построенный в горах, Ассурас, знаменитый своим храмом, Джераадо, славившийся можжевельником, Тапитис и Гагур отправили к нему послов. Жители деревень приносили в дар съестные припасы, умоляли о защите, целовали ему и воинам ноги и жаловались на варваров. Некоторые приносили ему в мешках головы наемников, говоря, что это они их убили; на самом деле они отрубали голову у мертвецов. Много солдат сбилось с дороги во время бегства, трупы их находили в разных местах, под оливковыми деревьями и в виноградниках.

Чтобы поразить народ, Гамилькар на следующий же день после победы послал в Карфаген две тысячи пленных, взятых на поле битвы. Они прибывали длинными колоннами по сто человек; их скрученные назади руки были привязаны к бронзовой перекладине, которая давила им на затылок. Раненые, истекавшие кровью, тоже бежали; конница, ехавшая сзади, всех погоняла бичами.

Карфаген ликовал! Говорили, что убито шесть тысяч варваров, что остальные недолго продержатся, что война кончена; люди обнимались на улицах и в храмах, натирали маслом и киннамоном лица богов Патэков, выражая им

свою благодарность. Пучеглазые, с толстыми животами и поднятыми до уровня плеч руками, идолы казались живыми под свежей краской и как бы принимали участие в народном торжестве. Богачи раскрыли двери своих домов; город гудел от барабанного боя; храмы были освещены всю ночь; прислужницы богини, сойдя в Малку, соорудили на перекрестках подмостки из сикоморового дерева и отдавались мужчинам. Победителям дарили земли, давали обеты принести жертвы Мелькарту. Суффету назначено было выдать сто золотых венцов; сторонники Гамилькара предлагали воздать ему новые почести и предоставить новые преимущества.

Он просил старейшин вступить в переговоры с Автаритом, чтобы обменять всех захваченных варваров на старика Гискона и других карфагенян, попавших в плен. Ливийцы и кочевники, составлявшие войско Автарита, почти не знали этих наемников — италийцев и греков. Если Республика предлагает столько варваров в обмен за такое малое количество карфагенян, думали они, — значит, варвары не имеют никакой цены, а карфагеняне, напротив, представляют большую ценность. Они побоялись ловушки. Автарит отказал.

Тогда старейшины постановили казнить пленных, хотя суффет писал, чтобы их не предавали смерти. Он намеревался включить лучших из них в свое войско и этим привлечь к себе других. Но ненависть одержала верх над благоразумием.

Две тысячи пленных варваров приведены были в Маппалы, где их привязали к надгробным стелам. Торговцы, кухонная челядь, вышивальщики и даже женщины, вдовы погибших солдат, вместе со своими детьми, — все, кто только хотел, приходили побивать их стрелами. В них целились медленно, чтобы продлить душевную пытку; лук то опускали, то поднимали; толпа горланила, толкаясь вокруг. Расслабленных приносили на носилках; многие предусмотрительно запаслись пищей и не уходили до вечера; другие оставались на всю ночь. Сооружены были палатки, и в них пили вино. Многие заработали большие деньги, отдавая луки внаем.

Истерзанные трупы были оставлены в стоячем положении и казались красными статуями на могилах. Возбуждение охватило даже жителей Малки, в обычное время равнодушных к судьбам родины. Из благодарности за доставленное им удовольствие они стали интересоваться делами

Республики, почувствовали себя карфагенянами; старейшины полагали, что поступили очень мудро, слив весь народ в общем чувстве мести.

Благословение богов не заставило себя ждать, ибо со всех сторон слетелись вороны. Они кружили в воздухе с громким карканьем, образуя огромное облако, которое находилось в непрестанном движении. Оно видно было из Клипеи, из Радеса и с Гермейского мыса. Временами облако вдруг разрывалось, разметав далеко вокруг черные спирали. Это случалось, когда в стаю врезáлся орел, который потом снова улетал; на террасах, на куполах, на остриях обелисков и на фронтонах храмов сидели разжиревшие птицы, они держали в покрасневших клювах куски человечьего мяса.

Зловоние заставило наконец карфагенян убрать мертвецов. Карфагеняне жгли трупы, бросали их в море, и волны, гонимые северным ветром, несли их в глубину залива на берег, к лагерю Автарита.

Кара, которой подверглись пленные, ужаснула варваров: с высоты Эшмуна видно было, как они сложили палатки, согнали стада, навьючили поклажу на ослов, и к вечеру войско удалилось.

Идя от горы Горячих источников до Гиппо-Зарита, оно должно было преградить суффету путь к тирским городам и в то же время не терять возможности вернуться в Карфаген.

Предполагалось, что два других войска обойдут Гамилькара, находившегося на юге: Спендий — с востока, Мато — с запада, потом они соединятся с Автаритом и постараются втроем окружить его. А тут еще подоспело подкрепление, на которое варвары перестали надеяться: вернулся Нар Гавас с тремястами верблюдов, нагруженных смолой, с двадцатью пятью слонами и шестью тысячами всадников.

Чтобы ослабить наемников, суффет счел благоразумным создать затруднения Нар Гавасу в его собственных владениях. Он вошел в соглашение с гетульским разбойником Маскабаем, который вознамерился стать царем. С помощью карфагенских денег этот искатель приключений поднял нумидийцев, пообещав им свободу. Нар Гавас, предупрежденный сыном своей кормилицы, вернулся в Цирту, отравил победителей водою из цистерн, снес несколько голов, восстановил порядок и после этого сильнее варваров возненавидел суффета.

Начальники четырех войск договорились о способах

ведения войны. Предполагалось, что она продлится очень долго; надо было предвидеть все.

Решили просить содействия у римлян и предложили Спендию взять на себя эту миссию, но он был перебежчиком и не отважился на это. Двенадцать человек из греческих колоний отплыли из Аннабы на нумидийской ладье. Потом предводители потребовали, чтобы варвары дали клятву, что они будут им подчиняться беспрекословно. Каждый день начальники осматривали одежду и обувь воинов. Часовым запрещено было иметь при себе щиты, потому что они часто подпирали их копьями и засыпали стоя; тех, кто вез с собой поклажу, заставили бросить ее, — по римскому образцу, все полагалось носить на спине. Для защиты от слонов Мато учредил отряд конников — катафрактов; в этом отряде и человек и конь исчезали под панцирем из гиппопотамовой шкуры, утыканной гвоздями. Чтобы кони не стерли себе копыта, для них изготовили плетеную обувь.

Запрещено было грабить города, запрещено было истреблять народы, не принадлежавшие к пунической расе. Но съестные припасы истощались, и Мато приказал распределять еду между воинами, не заботясь о женщинах. Сначала воины делили пищу с женщинами. Но они слабели от недоедания. Это было постоянным поводом для ссор и попреков; некоторые сманивали подруг у товарищей обещанием поделиться своей долей съестного. Мато приказал выгнать всех женщин. Они убежали в лагерь Автарита; галльские женщины и ливийки заставили их удалиться. Тогда они отправились к стенам Карфагена молить Цереру и Прозерпину о покровительстве — в Бирсе был храм, посвященный этим богиням во искупление зверств при осаде Сиракуз. Сисситы, предъявив свои права на воинскую добычу, выбрали самых молодых, чтобы продать их, а новые карфагенские граждане взяли себе в жены белокурых лакедемонянок.

Некоторые женщины упрямо продолжали следовать за наемниками. Они бежали около синтагм, рядом с начальниками. Они звали своих сожителей, тянули их за край плаща, били себя в грудь, проклиная их и протягивая к ним плачущих голых детей. Это зрелище ослабляло варваров; женщины были обузой, опасностью. Их отгоняли, но они возвращались. Мато приказал обратить против них пики, поручив это коннице Нар Гаваса. А когда балеары стали кричать ему, что им нужны женщины, он ответил:

— У меня их нет!

Дух Молоха овладел Мато. Несмотря на угрызения совести, он совершал чудовищные злодеяния, воображая, что повинуется велениям бога. Когда ему не удавалось опустошить поля, Мато забрасывал их камнями, чтобы земля ничего больше не родила.

Он слал гонцов к Автариту и Спендию, чтобы их поторопить. Но действия суффета были непостижимы. Он располагался лагерем то в Эйдусе, то в Моншаре, то в Тегенте; лазутчики говорили, что видели его в окрестностях Ишиила, близ владений Нар Гаваса, и вскоре стало известно, что он переправился через реку к северу от Тебурбы, словно намеревался вернуться в Карфаген. Едва прибыв в одно место, он переходил в другое. Пути, по которым он шел, оставались неведомыми. Не давая сражения, суффет сохранял выгодное положение: преследуемый варварами, он как будто вел их за собою.

Эти бесконечные переходы изматывали карфагенян; силы Гамилькара не только не пополнялись, но уменьшались с каждым днем. Теперь деревенские жители несли ему съестные припасы уже не с такой охотой, как прежде. Он всюду наталкивался на нерешительность и затаенную ненависть; несмотря на все его мольбы, обращенные к Великому совету, из Карфагена не было никакой помощи. Карфагеняне утверждали — и, может быть, они в самом деле так думали, — что он в ней не нуждается, что его жалобы напрасны или что он хитрит. Желая повредить Гамилькару, сторонники Ганнона преувеличивали значение его победы. Карфаген готов был пожертвовать войсками, которыми командовал суффет, но считал, что нельзя постоянно выполнять его требования. Война и так слишком обременительна, слишком дорого стоит! А патриции, сторонники Гамилькара, из гордости очень вяло поддерживали его.

Отчаявшись в Республике, Гамилькар отобрал у племен то, что ему нужно было для войны: зерно, масло, лес, скот и людей. Население вскоре разбежалось. Города, через которые проходило войско, оказывались пустыми; обыскивая дома, воины ничего в них не находили. Чувство полной оторванности охватило войско Гамилькара.

Карфагеняне стали в ярости громить провинции; они закапывали водоемы, жгли дома. Искры, уносимые ветром, разлетались далеко вокруг, и на горах горели леса, окру-

жая долины венцом пламени. Приходилось ждать. Потом воины вновь пускались в путь под палящим солнцем и шли по горячему пеплу.

В придорожных кустах то тут, то там сверкали блестящие, как у тигра, глаза. Это были варвары, присевшие на корточки и выпачкавшиеся в пыли, чтобы не выделяться на фоне листьев. Проходя вдоль оврага, фланговые слышали стук катившихся камней и замечали бегущего босоногого человека.

С уходом наемников осада была снята с Утики и Гиппо-Зарита. Гамилькар приказал этим городам идти к нему на помощь. Не решаясь стать на его сторону, оба города ответили невразумительными оправданиями и любезностями.

Тогда Гамилькар круто повернул на север, решив открыть себе один из тирских городов, даже если бы для этого понадобилось прибегнуть к осаде. Ему нужна была точка опоры на берегу моря, чтобы получать с островов или из Кирены воинов и продовольствие; больше всего ему хотелось овладеть Утикой, которая была ближе других городов к Карфагену.

Суффет ушел из Зуитина и осторожно обогнул Гиппо-Заритское озеро. Вскоре ему пришлось построить свои полки колонной, чтобы подняться на гору, разделявшую две долины. Когда на закате солнца войско спускалось в воронкообразное углубление на вершине горы, все увидели как бы бронзовых волчиц, бегущих по траве.

Вдруг показались развевавшиеся на шлемах перья, раздалось грозное пение под аккомпанемент флейт. То было войско Спендия; кампанийцы и греки из ненависти к Карфагену облачились в римские доспехи. В то же время слева возникли длинные копья, щиты из леопардовых шкур, холщовые панцири, оголенные плечи. Это были иберийцы Мато, лузитанцы, балеары, гетулы. Послышалось ржание коней Нар Гаваса, конница которого рассыпалась вокруг холма. Далее шло сборное полчище под начальством Авторита. Оно состояло из галлов, ливийцев и кочевников; среди них можно было узнать по рыбьим костям в волосах пожирателей нечистой пищи.

Таким образом, варвары, точно рассчитав свои маневры, соединились. Но, сбитые с толку неожиданной встречей с врагом, стали и начали совещаться.

Суффет построил свое войско кругообразно, чтобы дать со всех сторон одинаковой силы отпор. Высокие заост-

ренные щиты, укрепленные на лугу один подле другого, окружали пехоту. Клинабарии стояли вне круга, а дальше разместили слонов. Наемники очень устали — решено было ждать утра. Уверенные в победе, они провели всю ночь за едой.

Варвары зажгли большие яркие костры; ослепляя наемников, костры оставляли в тени карфагенское войско, расположенное внизу. Гамилькар по римскому образцу окопал свой лагерь рвом шириной в пятнадцать шагов, глубиной в десять локтей; внутри устроена была насыпь, на которой укрепили скрещенные острые колья. На восходе солнца наемники с изумлением увидели, что карфагеняне засели в своем лагере, как в крепости.

Они заметили Гамилькара, который ходил среди палаток и отдавал приказания. На нем был темный чешуйчатый панцирь; за ним следовал его конь. Время от времени он останавливался, указывая на что-то вытянутой рукой.

Многие варвары вспомнили такие же утра, когда при громких звуках труб он медленно проходил перед ними и взгляд его укреплял их силы, как чаша вина. Они были почти растроганы его видом. Те же, кто не знал Гамилькара, были вне себя от радости, что скоро захватят его.

Решили, что не следует нападать всем вместе: воины мешали бы друг другу на таком узком пространстве. Нумидийцы могли бы врезаться в неприятельские ряды, но клинабарии, защищенные панцирями, раздавили бы их. Кроме того, как перебраться через ограды? Да и слоны еще не были достаточно обучены.

— Все вы трусы! — воскликнул Мато.

Взяв с собой наиболее отважных, он двинулся на укрепления. Град камней отразил атаку: суффет захватил на мосту оставленные наемниками катапульты.

Эта неудача быстро изменила неустойчивый дух варваров. Чрезмерная храбрость, воодушевлявшая их вначале, исчезла; они хотели победить, не особенно рискуя жизнью. По мнению Спендия, следовало твердо стоять на своих позициях и взять пуническое войско измором. Карфагеняне стали рыть колодцы, и так как вокруг были горы, то вскоре они обнаружили воду.

С высоты своих частоколов они метали стрелы, бросали комья земли, навоз, вырытые камни; безотказно действовали все шесть катапульт.

Но источники могли иссякнуть, продовольствие должно было истощиться, катапульты — испортиться. Наемники,

в десять раз превосходившие своей численностью карфагенян, в конце концов одержали бы победу. Чтобы выиграть время, суффет сделал вид, будто хочет начать переговоры; однажды утром варвары нашли в своих рядах баранью шкуру, покрытую письменами. Гамилькар оправдывался в своей победе — к войне его принудили, мол, старейшины; желая показать, что он готов сдержать слово, он предлагал наемникам разграбить Утику или Гиппо-Зарит. В конце послания Гамилькар заявлял, что не боится наемников, так как благодаря предателям в их войсках он легко одолеет всех остальных.

Варвары были смущены; предложение немедленной добычи прельщало их; они поверили в чье-то предательство, не подозревая, что суффет лишь бахвалится, готовя им западню, и перестали доверять друг другу. Каждый стал следить за словами и действиями соседа, и от страха они не могли спать по ночам. Иные покидали своих соратников и уходили в другое войско наемников. Галлы с Автаритом присоединились к цизальпинским воинам, чей язык они понимали.

Четыре начальника собирались каждый вечер в палатке Мато и, сидя на корточках вокруг положенного на землю щита, усердно передвигали маленькие деревянные фигурки, придуманные Пирром для воспроизведения маневров. Спендий наглядно показывал, каковы силы и возможности Гамилькара, и молил, клянясь всеми богами, не упускать удобного случая. Мато нервно шагал, размахивая руками. Война с Карфагеном была его личным делом; он возмущался, что другие вмешиваются в нее и не хотят его слушаться. Автарит угадывал по выражению лица то, что говорит Мато, и рукоплескал ему. Нар Гавас откидывал голову в знак презрения; все принятые меры он считал пагубными; он уже не улыбался, как прежде. У него вырывались вздохи, точно он старался подавить скорбь об утраченной мечте и отчаяние, вызванное неудачным предприятием.

В то время как варвары обсуждали сделанные предложения и ни на что не решались, суффет укреплял оборону. Он приказал вырыть за частоколом второй ров, возвести вторую стену, выстроить на углах деревянные башни; рабы его доходили до аванпостов противника и расставляли западни. Но слоны, которым уменьшили корм, старались вырваться из пут. Чтобы тратить поменьше сена, он велел клинабариям убить слабосильных коней; некоторые отка-

зались выполнить приказ; он снес им головы. Коней съели. Несколько дней после этого среди клинабариев царило уныние.

Со своей укрепленной площадки карфагеняне видели на возвышенностях четыре лагеря варваров — там жизнь била ключом. Женщины ходили взад и вперед с бурдюками на головах; козы, блея, прыгали вокруг связок копий; сменялись часовые; воины садились за еду вокруг треножников. Племена доставляли им достаточно продовольствия, и наемники даже не подозревали, насколько их бездействие пугало войско Гамилькара.

На другой же день карфагеняне заметили в лагере кочевников группу человек в триста, в стороне от других. Это были богачи, содержавшиеся в плену с начала войны. Ливийцы расставляли их на краю рва и метали копья из-за спин пленных, пользуясь их телами как заграждением. Несчастных нельзя было узнать; лица их были покрыты грязью и паразитами. Там, где у них вырвали волосы, гноились язвы; они до того исхудали и так были страшны на вид, что их можно было принять за мумии в дырявых саванах. Некоторые рыдали, но выражение лица у них было бессмысленное. Другие кричали друзьям, чтобы они убивали варваров. Один из них, неподвижный, с опущенной головой, все время молчал. Его длинная белая борода доходила до скованных рук. Карфагеняне узнали Гискона и почувствовали как бы угрозу гибели, нависшую над Республикой. И хотя опасно было находиться против места, где он стоял, воины толкались, чтобы лучше разглядеть его. На Гискона надели в насмешку тиару из кожи гиппопотама со вставленными в нее камешками. Это придумал Автарит, вызвав, однако, неудовольствие Мато.

Гамилькар вышел из себя и велел открыть частокол, решив во что бы то ни стало вырваться наружу. Карфагеняне домчались до половины горы, пробежав около трехсот шагов. Навстречу им ринулся такой поток варваров, что их отбросило назад, к своим рядам. Один из легионеров, не успевший скрыться за оградой, споткнулся о камень. К нему подбежал Зарксас и, повалив наземь, вонзил ему в горло кинжал, вынул клинок и, прильнув к ране, с радостным воем, вздрагивая от головы до пят, стал сосать кровь. Затем он спокойно сел на труп, откинув голову, чтобы глубже дышать, как это делает серна, напившись воды из потока, и пронзительным голосом запел песню балеаров; странная мелодия перекатывалась, как эхо в горах.

Он приглашал своих убитых братьев на пир; потом руки его повисли между колен, он понурил голову и заплакал. Это ужасное зрелище привело варваров в трепет, особенно греков.

Карфагеняне больше не пытались делать вылазки. Но они не думали сдаваться — они знали, что если сдадутся, то погибнут в муках.

Между тем, несмотря на меры, принятые Гамилькаром, припасы убывали со страшной быстротой. Оставалось на каждого не более чем по десяти хомеров хлеба, по три гина пшена и по двенадцать бетц сушеных плодов. Не было ни мяса, ни оливкового масла, ни солений, ни овса для коней. Опустив худые шеи, лошади искали втоптанные в землю соломинки. Часовые, стоя на насыпи, часто примечали при лунном свете собаку варваров, бродившую возле укрепленной площадки, среди кучи отбросов. Собаку убивали камнем, при помощи ремней от щитов спускались за ограду, а затем молча съедали ее. Иногда поднимался громкий лай, и часовой не возвращался. В четвертой дилохии двенадцатой синтагмы три фалангита, подравшись из-за крысы, зарезали друг друга ножами.

Все тосковали о своих семьях, о домах: бедняки вспоминали свои похожие на ульи хижины, раковины у порога, развешанные сети; патриции — свои большие залы, погруженные в голубоватый сумрак; там они отдыхали в самое жаркое время дня, внимая смутному гулу улиц и трепету листьев в садах. Чтобы глубже погрузиться в воспоминания и полнее ими насладиться, они прикрывали веки; боль от ран выводила их из забытья. Постоянно происходили схватки или поднималась какая-нибудь новая тревога; горели башни, пожиратели нечистой пищи вскакивали на частокол; им отрубали руки топорами; следом за ними прибегали другие; железный дождь падал на палатки. Карфагеняне построили галереи из камыша для защиты от метательных снарядов, заперлись в них и не двигались с места.

Каждый день солнце, взойдя, обходило гору, а затем покидало ущелье и оставляло карфагенян в тени. Спереди и сзади поднимались серые скаты, усеянные камнями, обросшими мхом, а вверху раскинулось небо, всегда чистое, холодное и глаже металлического купола. Гамилькар был так возмущен поведением Карфагена, что ему хотелось перейти к варварам и повести их на Карфаген. Возроптали носильщики, маркитанты и рабы, а ни народ, ни Вели-

кий совет не подавали ни малейшей надежды! Положение становилось невыносимым; особенно тяжела была мысль, что оно должно ухудшиться.

Узнав о поражении, Карфаген вскипел гневом; может быть, суффета не так возненавидели бы, если бы он дал разбить себя с самого начала.

Теперь не было ни времени, ни денег, чтобы взять других наемников. Если же произвести новый набор в городе, то чем снарядить воинов? Гамилькар забрал все оружие! И кому поручить командование? Лучшие начальники были там, у Гамилькара! Гонцы, отправленные суффетом, появлялись на улицах и оглашали их криками. Великий совет обеспокоился и постарался их убрать.

Это была излишняя предосторожность; горожане были против Барки и обвиняли его в чрезмерной мягкости. Следовало после победы истребить наемников. И к чему было разорять союзные племена? Ведь, казалось бы, принесены достаточно тяжелые жертвы! Патриции жалели о внесенных ими четырнадцати шекелях. Сисситы — о своих двухстах двадцати трех тысячах киккаров золота. Те, которые ничего не дали, роптали не меньше других. Народ был возмущен тем, что новым карфагенянам Республика обещала все права гражданства; доблестно сражавшихся лигуров проклинали, смешивая их с варварами; принадлежность к их племени становилась преступлением — это было равносильно сообщничеству с врагами. Купцы на порогах своих лавок, рабочие, проходившие со свинцовыми линейками в руках, торговцы рассолом, полоскавшие свои кувшины, банщики в банях, продавцы горячих напитков — все обсуждали военные действия. Рисовали пальцами на песке планы сражений; даже самые ничтожные люди исправляли на словах ошибки Гамилькара.

Жрецы говорили, что это ему наказание за безбожие. Гамилькар не принес жертв, не подверг очищению свои войска и даже отказался взять с собою авгуров. Обвинение в святотатстве усиливало затаенную злобу против него и ярость, вызванную разбитыми надеждами. Вспоминали поражения в Сицилии и гордыню морского суффета, которую приходилось так долго сносить. Жрецы не могли простить ему захват их казны и требовали, чтобы Великий совет торжественно обещал распять его, если он когда-либо вернется.

Другим бедствием была страшная жара, наступившая в тот год в месяце Элуле. С берегов озера поднималось зловоние; оно носилось в воздухе вместе с дымом курений, который клубился на углах улиц. Все время слышалось пение гимнов. Толпы народа теснились на ступенях храмов; их стены были покрыты черными завесами; восковые свечи озаряли богов Патэков; кровь верблюдов, зарезанных для жертвоприношения, текла по лестницам, образуя красные водопады. Мрачное неистовство охватило Карфаген. Из самых узких переулков, из самых мрачных притонов выходили бледные фигуры, люди со змеиным профилем, и скрежетали зубами. Жители, занятые разговорами на площадях, оборачивались на пронзительный вопль женщин, наполнявший дома и вырывавшийся за ограды. Ходили слухи, что варвары уже близко; их видели за горой Горячих источников, будто бы они расположились лагерем в Тунисе. Шум голосов усиливался, нарастал и сливался в общий гул. Затем наступала тишина; одни застывали на фронтонах зданий, куда они карабкались, чтобы обозреть окрестности, другие, лежа на животе у подножия укреплений, прислушивались. Страх сменялся гневом. Но сознание своей беспомощности снова погружало людей в уныние.

Особенно тоскливо становилось горожанам вечерами, когда они выходили на террасы и приветствовали громким криком Солнце, склоняясь перед ним по девять раз. Оно медленно спускалось за лагуной, потом исчезало в горах, в той стороне, где находились варвары.

Приближался трижды священный праздник, когда с высоты костра взлетал к небу орел, символ воскресшего года, знаменуя послание народа верховному Ваалу и как бы его союз с силой Солнца. Однако, охваченные чувством ненависти, люди наивно поклонялись теперь Молоху-губителю и отвернулись от Танит. Лишенная покрывала Раббет как бы утратила часть своего могущества. Исчезла благотворная сила ее вод, она покинула Карфаген, сделалась перебежчицей, врагом. Некоторые бросали в богиню камнями, чтобы оскорбить ее. Но, понося Танит, многие ее жалели и, быть может, любили даже глубже, чем прежде.

Значит, причиной всех несчастий была утрата заимфа. Саламбо косвенно участвовала в похищении покрывала, и общий гнев распространился на нее — она должна понести кару. Вскоре в народе возникла смутная мысль об искупительной жертве. Чтобы умилостивить Ваалов, следовало

без колебаний принести в жертву нечто бесконечно драгоценное: прекрасную юную девственницу старинного рода, происходящую от богов, звезду мира человеческого. Ежедневно какие-то неизвестные вторгались в самые Мегары — рабы, дрожавшие за собственную жизнь, не решались оказать им сопротивление. Люди эти, однако, не шли дальше лестницы, украшенной галерами. Они стояли внизу, вперив взгляд в верхнюю террасу: они ждали Саламбо и кричали целыми часами, изливая свой гнев против нее, как собаки, воющие на луну.

X

ЗМЕЯ

Крики черни не пугали дочь Гамилькара.

Она была поглощена более важной заботой: занемогла ее большая змея, черный пифон, который был для Карфагена общенародным и вместе с тем его личным фетишем. Змею считали порождением ила, так как она выходит из недр земли и ей не нужно ног, чтобы перемещаться; движения ее подобны струистому течению рек, холод ее тела напоминает вязкий плодородный мрак глубокой древности, а круг, который она описывает, кусая свой хвост, подобен кругу планет, разуму Эшмуна.

Пифон Саламбо несколько раз отказался съесть четырех живых воробьев, которых ему преподносили каждое полнолуние и каждое новолуние. Его великолепная кожа, покрытая, подобно небесному своду, золотыми пятнами на черном фоне, пожелтела, сделалась дряблой, сморщенной и чересчур просторной; мохнатая плесень распространялась вокруг головы, а в углах век показались маленькие красные точки — они как будто двигались. Время от времени Саламбо подходила к корзинке, сплетенной из серебряной проволоки. Она отдергивала пурпуровую занавеску, раздвигала листья лотоса, птичий пух; змея лежала свернувшись, неподвижная, как увядшая лиана. Саламбо так долго смотрела на пифона, что ей начало казаться, будто в сердце ее вонзается, подступает к горлу неведомая спираль и какая-то другая змея душит ее.

Саламбо была в отчаянии оттого, что видела заимф; вместе с тем она испытывала как бы радость и затаенную гордость. Сверкавшие складки таили неведомое: то было облако, окутывавшее богов, то была тайна мировой жизни,

и Саламбо, приходя в ужас от самой себя, жалела, что не коснулась покрывала.

Она почти все время сидела с остановившимся взглядом на корточках в глубине своей комнаты, обхватив руками свое левое колено, полуоткрыв рот и опустив голову. Она со страхом вспоминала лицо своего отца; ей хотелось уйти в финикийские горы, совершить паломничество в храм Афаки, куда Танит спустилась в виде звезды. Ее воображению рисовались манящие и вместе с тем пугающие образы, чувство одиночества с каждым днем все сильнее охватывало ее. Она даже не знала ничего о Гамилькаре.

Утомленная своими мыслями, она поднималась, с трудом передвигая ноги в маленьких сандалиях с постукивавшими на каждом шагу каблучками, и бродила по большой тихой комнате. Сверкающие пятна аметистов и топазов дрожали на потолке, и Саламбо, продолжая ходить, слегка поворачивала голову, чтобы их видеть. Она пила прямо из горлышка висевших амфор, обмахивала грудь большими опахалами или развлекалась тем, что сжигала киннамон в выдолбленных жемчужинах. В час заката Таанах вынимала ромбовидные куски черного войлока, закрывавшие отверстия в стене; тогда в комнату влетали голуби, натертые мускусом, подобно голубям Танит; их розовые лапки скользили по стеклянным плитам пола среди зерен ячменя, которые Саламбо бросала им полными пригоршнями, как сеятель в поле. Порой она разражалась рыданиями и недвижно лежала на широком ложе из кожаных ремней, неустанно повторяя одно и то же слово, мертвенно-бледная, с широко раскрытыми глазами, бесчувственная, холодная. Все же она слышала крики обезьян на верхушках пальм и непрерывный скрип большого колеса, накачивавшего воду в порфировый бассейн.

Иной раз Саламбо отказывалась от пищи. Ей снилось, что потускневшие звезды падают к ее ногам. Она призывала Шагабарима, но, когда он приходил, ей нечего было ему сказать.

Присутствие верховного жреца было для нее облегчением, Саламбо не могла без него обойтись. Но она внутренне восставала против его власти над нею. В ее чувстве к жрецу был страх, смешанный с ревностью и ненавистью. Но вместе с тем Саламбо по-своему любила своего наставника из благодарности за странное наслаждение, какое она испытывала в его присутствии.

Он сразу увидел в страданиях Саламбо влияние Раббет, ибо умел искусно распознавать, какие боги посылают болезни. Чтобы исцелить Саламбо, он приказывал кропить ее покои водою, настоянной на вербене и руте; она ела по утрам мандрагору; на ночь ей клали под голову мешочек со смесью из ароматных трав, приготовленной жрецами. Он примешивал к ним баарас — огненного цвета корень, который гонит на север злых духов. Наконец, повернувшись к Полярной звезде, он трижды произносил шепотом таинственное имя Танит, но Саламбо все не выздоравливала, и тревога его возрастала.

В Карфагене не было никого ученее Шагабарима. В молодости он учился в школе могбедов в Борзиппе, близ Вавилона, потом побывал в Самофракии, в Пессинунте, Эфесе, Фессалии и Иудее, посетил храмы набатейцев, затерянные в песках, и пешком прошел по берегу Нила — от порогов до моря. Закрыв лицо покрывалом и потрясая факелами, он бросал черного петуха в костер из сандарака перед грудью Сфинкса, отца ужасов. Он спускался в пещеры Прозерпины, он видел пятьсот вращающихся колонн лемносского лабиринта, сияющий тарентский светильник, на стержне которого столько огней, сколько дней в году; по ночам он иногда принимал у себя греков и расспрашивал их. Строение мира занимало его не менее, чем природа богов; при помощи астрономических сооружений, установленных в Александрийском портике, он наблюдал равноденствия и сопровождал до Кирены бематистов Эвергета, которые измеряют небо, считая число своих шагов. И в мыслях его возникала своеобразная религия, без определенных догматов, и именно вследствие этого головокружительная и пламенная. Он перестал верить, что земля имеет вид сосновой шишки; он считал ее круглой и вечно несущейся в пространстве с такой непостижимой быстротой, что ее движение незаметно.

Из того, что солнце расположено над луной, он приходил к выводу о превосходстве Ваала, считая, что солнце — лишь отражение и облик божества. И все наблюдения над жизнью земли приводили его к признанию верховной власти истребляющего мужского начала. Втайне он обвинял Раббет в несчастье своей жизни. Не ради ли нее верховный жрец, шествуя среди бряцания кимвалов, лишил его некогда мужественности? И он следил печальным взглядом за мужчинами, которые уходили с жрицами в гущу фисташковых деревьев.

Дни его проходили в осмотре кадильниц, золотых сосудов, щипцов и лопаток для алтарного пепла и всех одеяний, приготовленных для статуй, вплоть до бронзовой иглы, которой завивали волосы на старой статуе Танит в третьей храмовой пристройке, вблизи виноградника с гроздьями из изумруда. В одни и те же часы он приподнимал большие ковры на тех же дверях и вновь опускал их; в одной и той же позе он воздевал руки; на одних и тех же плитах пола, распростершись, молился, в то время как вокруг него множество жрецов ходило босиком по коридорам, окутанным вечным мраком.

В бесплодной его жизни Саламбо была как бы цветком в расщелине гробницы. Он все же был суров с воспитанницей, не щадил ее, назначал покаяния и говорил ей горькие слова. Жреческий сан Шагабарима устанавливал между ними как бы равенство пола; он сетовал на девушку не столько за то, что не мог обладать ею, сколько за то, что она так прекрасна, в особенности же — так чиста. Он часто замечал, что она устает следить за ходом его мыслей. Тогда он уходил опечаленный, чувствуя себя еще более покинутым и одиноким, и жизнь его становилась еще более пустой.

Иногда у него вырывались странные слова, которые мелькали перед Саламбо, как молнии, озаряющие пропасти. Это бывало ночью, на террасе, когда, оставшись вдвоем, они созерцали звезды. Карфаген расстилался внизу, у их ног, а залив и море сливались с окружающим мраком.

Он излагал ей свое учение о душах, спускающихся на землю тем же путем, каким проходит солнце среди знаков зодиака. Простирая руку, он указывал ей в созвездии Овна врата рождения человеческого, а в созвездии Козерога — врата возвращения к богам. Саламбо напрягала взор, чтобы увидеть их, так как принимала эти отвлеченные представления за действительность; ей казались истинными в своей сущности все символы и даже форма, в которой он выражал свои мысли, да и для самого жреца различие между символом и действительностью не было вполне ясным.

— Души мертвых, — говорил он, — растворяются на луне, как трупы на земле. Их слезы образуют влагу луны. Там обиталище, полное мрака, обломков и бурь.

Она спросила, что ждет ее там.

— Сначала ты будешь томиться, легкая, как туман, который колышется над водами, а после испытаний и дли-

тельных мук ты уйдешь к очагу Солнца, к самому источнику разума!

Однако он не говорил о Раббет. Саламбо думала, что он умалчивает о ней из чувства стыда за побежденную богиню; называя ее общим именем, обозначавшим луну, она славила нежное покровительствующее плодородию светило. Наконец он воскликнул:

— Нет, нет! Свое плодородие земля получает от дневного светила! Разве ты не видишь, что луна бродит вокруг него, как влюбленная женщина, которая гонится по полю за мужчиной?

И он долго славил благость солнечного света. Шагабарим не только не убивал в ней мистические порывы, напротив — он вызывал их с каким-то торжеством, терзая ее своим безжалостным учением. Саламбо, несмотря на страдания любви, страстно внимала этим откровениям.

Но чем больше Шагабарим сомневался в Танит, тем больше он жаждал верить в нее. Его томили угрызения совести. Он нуждался в доказательствах, в проявлениях воли богов и, надеясь увидеть их, придумал нечто такое, что должно было одновременно спасти и его родину, и его веру.

Он стал сокрушаться при Саламбо о совершенном святотатстве и о несчастиях, которые оно вызывает даже в небесах. Потом неожиданно сообщал ей о том, в какой опасности находится суффет, осажденный тремя войсками под предводительством Мато. В глазах карфагенян Мато, после того как он похитил покрывало, сделался как бы царем варваров. Шагабарим прибавил, что спасение Республики и отца зависит от нее одной.

— От меня? — воскликнула Саламбо.— Что же я могу...

Но жрец презрительно усмехнулся:

— Ты никогда не согласишься!

Она стала умолять Шагабарима, и он наконец сказал:

— Ты должна пойти к варварам и взять у них заимф!

Саламбо опустилась на табурет из черного дерева и сидела, бессильно положив руки на колени, трепещущая, как жертва у подножия алтаря в ожидании смертоносного удара. У нее стучало в висках, в глазах пошли огненные круги, и в своем оцепенении дочь Гамилькара понимала только одно — она обречена на близкую смерть.

«Если Раббет восторжествует, если заимф будет возвращен и Карфаген избавится от врагов, за это стоит за-

платить жизнью одной женщины, — думал Шагабарим. — К тому же, быть может, ей отдадут заимф, и она вернется невредимой».

Он не приходил к ней три дня. Вечером четвертого дня она послала за ним.

Чтобы еще больше воспламенить сердце Саламбо, он рассказал ей, какой бранью осыпали Гамилькара в Совете; он утверждал, что Саламбо виновата и должна искупить свое преступление и что Раббет требует от нее этой жертвы.

Часто громкий гул голосов, проносясь над Маппалами, доходил до Мегары. Шагабарим и Саламбо поспешно выходили из покоев и, стоя на лестнице, украшенной галерами, смотрели вниз.

На Камонской площади народ кричал, требовал оружия.

Старейшины отказывались выполнить это требование, считая всякое усилие бесполезным. Отряды, ушедшие на войну без начальников, были разбиты и уничтожены. Наконец людям разрешили идти, и, как бы отдавая дань Молоху или просто испытывая смутную жажду разрушения, они с корнем вырвали в рощах храмов большие кипарисы, зажгли их от факелов Кабиров и с песнями стали носить по улицам. Чудовищные огни двигались, медленно раскачиваясь и освещая ярким светом стеклянные шары на верхушках храмов, украшения колоссов, тараны судов; они возвышались над террасами и казались солнцами, катящимися по городу. Они спустились с акрополя. Раскрылись ворота Малки.

— Ты готова? — спросил Шагабарим. — Или, быть может, поручишь им сказать отцу, что ты отрекаешься от него?

Она спрятала лицо в складках покрывала. Огни удалились, постепенно спускаясь к воде.

Ее удерживал смутный страх; она боялась Молоха, боялась Мато. Этот человек исполинского роста, завладевший заимфом, властвовал теперь над Раббет, как Ваал, и представлялся ей окруженным таким же сверканием. Ведь души богов вселялись иногда в тела людей. Разве Шагабарим, говоря о нем, не сказал ей, что она должна побороть Молоха? Мато слился с Молохом, и она соединила их в одном образе; они оба преследовали ее.

Она хотела узнать, что́ ее ожидает, и подошла к змее,

ибо будущее можно определить по ее движениям. Корзина была пуста, и это встревожило Саламбо.

Хвост пифона обвился вокруг колонки серебряных перил, у подвесной постели, и терся о нее, чтобы высвободиться из старой, пожелтевшей кожи; светлое, сверкающее тело змеи обнажилось, как меч, наполовину вынутый из ножен.

В следующие дни, по мере того как Саламбо склонялась на уговоры, соглашаясь прийти на помощь Танит, пифон выздоравливал, толстел и, видимо, оживал.

Она убедилась, что Шагабарим выражает волю богов. Однажды утром она проснулась, полная решимости, и спросила, что нужно сделать, чтобы Мато вернул покрывало.

— Потребовать его, — сказал Шагабарим.

— А если он откажет?

Жрец пристально взглянул на нее с улыбкой, какой она никогда еще не видела у него.

— Как быть тогда? — повторила Саламбо.

Он вертел в пальцах концы повязок, спускавшихся с его тиары, и, недвижимый, молчал, опустив глаза. Наконец, видя, что она не понимает, сказал:

— Ты останешься с ним наедине.

— И что же? — сказала она.

— Наедине в его палатке.

— А затем?

Шагабарим закусил губу. Он придумывал, что ей ответить.

— Если тебе и суждено умереть, то потом,— сказал он.— Потом! Не бойся! И что бы ни случилось, не зови на помощь, не пугайся! Ты должна быть покорной, понимаешь? Должна подчиниться его желаниям, в которых выражается воля неба!

— А покрывало?

— Об этом позаботятся боги,— ответил Шагабарим. Она спросила:

— Может быть, ты пойдешь со мной, отец?

— Нет.

Шагабарим велел ей стать на колени; подняв левую руку и вытянув правую, он поклялся за нее, что она принесет обратно в Карфаген покрывало Танит. Со страшными заклинаниями Саламбо посвящала себя богам и повторяла, обессиленная, каждое слово, которое произносил Шагабарим.

Он назначил ей очищение, сказал, какие она должна соблюдать посты, а затем объяснил, как пробраться к Мато, прибавив, что с ней пойдет человек, который знает дорогу.

Она почувствовала себя освобожденной, радовалась, что вновь увидит заимф, и благословляла Шагабарима за его увещания.

То была пора, когда карфагенские голуби улетали в Сицилию, на гору Эрикс, к храму Венеры. Перед отлетом они в течение нескольких дней искали и звали друг друга, чтобы собраться вместе; однажды вечером они улетели. Их гнал ветер, и, как большое белое облако, они плыли по небу высоко над морем.

Горизонт был залит кровавым светом. Казалось, что голуби спускаются к волнам, затем они исчезли, точно добровольно ввергли себя в пасть солнца. Саламбо, следившая за их полетом, опустила голову, и Таанах, думая, что угадывает причину ее печали, тихо сказала:

— Они вернутся, госпожа.

— Я знаю.

— И ты снова увидишь их.

— Может быть,— сказала она со вздохом.

Саламбо никому не поведала своего решения. Из осторожности она послала Таанах купить в предместье Кинидзо (вместо того чтобы обратиться к дворцовым управителям) все, что ей было нужно: киноварь, благовония, льняной пояс и новые одежды. Старую рабыню удивляли эти приготовления, но она не осмеливалась предлагать вопросы госпоже. Наконец наступил назначенный Шагабаримом день, когда Саламбо должна была отправиться за покрывалом.

В двенадцатом часу она увидела в глубине аллеи смоковниц слепого старца — старец приближался, опираясь рукой на плечо шедшего перед ним мальчика; другой рукой он прижимал к бедру род кифары из черного дерева. Евнухи, рабы и женщины были заранее удалены, и никто не знал о том, что готовилось.

По углам покоя Таанах зажгла на четырех треножниках огонь из стробуса и кардамона; потом развернула большие вавилонские ковры и натянула их на веревки вокруг комнаты; Саламбо не хотела, чтобы даже стены видели ее. У входа в покой сидел старик музыкант, а маль-

чик, стоя, прижимал к губам камышовую флейту. Вдали утихал уличный шум, фиолетовые тени у колоннад храмов удлинялись; с другой стороны залива подножие гор, оливковые кущи и желтые невозделанные земли, уходившие волнами в бесконечную даль, терялись в голубоватой дымке. Не слышно было ни звука; несказанное уныние нависло в воздухе.

Саламбо присела на ониксовую ступеньку возле бассейна; она подняла широкие рукава, завязала их на спине и стала медленно совершать омовение по священному ритуалу.

Затем Таанах принесла ей в алебастровом сосуде свернувшуюся жидкость; то была кровь черной собаки, зарезанной бесплодными женщинами в зимнюю ночь на развалинах гробниц. Саламбо натерла себе ею уши, пятки, большой палец правой руки; даже на ногте остался красноватый след, точно она раздавила гранат.

Поднялась луна, и одновременно зазвучали кифара и флейта.

Саламбо сняла серьги, ожерелья, браслеты и длинную белую симарру. Она распустила волосы и некоторое время тихонько встряхивала ими, чтобы освежиться. Музыка у входа продолжалась; она состояла из трех нот, быстрых и яростных; струны бряцали, заливалась флейта; Таанах мерно ударяла в ладоши. Саламбо, покачиваясь всем телом, шептала молитвы, и одежды падали одна за другой к ее ногам.

Тяжелая завеса дрогнула, и над шнуром, поддерживавшим ее, показалась голова пифона. Он медленно спустился, подобно капле воды, стекающей по стене, прополз между разостланными тканями, потом, упираясь хвостом в пол, выпрямился; глаза его, сверкавшие ярче карбункулов, уставились на Саламбо.

Боязнь холодного прикосновения или, быть может, чувство стыдливости остановило ее на мгновение. Но она вспомнила повеления Шагабарима и сделала шаг вперед. Пифон припал к Саламбо и, прижавшись телом к ее затылку, опустил голову и хвост, точно разорванное ожерелье, концы которого ниспадают до земли. Саламбо обернула змею вокруг бедер, под мышками и между колен; потом, взяв ее за челюсти, приблизила маленькую треугольную пасть к своим зубам и, полузакрыв глаза, откинула голову под лучами луны. Белый свет обволакивал ее серебристым туманом, следы влажных ног сверкали на

плитах пола, звезды дрожали в воде; пифон сжимал ее своими черными кольцами в золотых пятнах. Саламбо задыхалась от тяжести, ноги у нее подкашивались; ей казалось, что она умирает. А пифон мягко ударял ее кончиком хвоста по бедрам; потом, когда музыка смолкла, он свалился на пол.

Таанах опять вошла к Саламбо; она принесла два светильника, пламя которых проходило сквозь стеклянные шары, наполненные водой, и выкрасила лавзонией ладони Саламбо, нарумянила ей щеки, насурьмила брови и удлинила их составом из камеди, мускуса, эбенового дерева и толченых мушиных лапок.

Саламбо, сидя на кресле из слоновой кости, отдалась заботам рабыни. Строгий пост изнурил ее — легкие движения руки Таанах и запах благовоний совсем ее обессилили. Она так побледнела, что Таанах остановилась.

— Продолжай! — приказала Саламбо.

Преодолев слабость, она оживилась. Ею овладело нетерпение; она стала торопить Таанах, и старая рабыня проворчала:

— Сейчас, сейчас, госпожа!.. Тебя ведь никто не ждет!

— Нет,— возразила Саламбо,— меня ждут.

Таанах отшатнулась, пораженная ее словами, и проговорила, стараясь что-нибудь выведать:

— Что же ты прикажешь мне, госпожа? Ведь если ты уйдешь...

Саламбо зарыдала. Рабыня воскликнула:

— Ты страдаешь? Что с тобой? Не уходи или возьми меня с собой! Когда ты была совсем маленькая и плакала, я прижимала тебя к сердцу и забавляла своими сосцами. Ты иссушила их, госпожа!

Она ударила себя в высохшую грудь.

— Теперь я стара! Я не могу утешить тебя! Ты меня больше не любишь! Ты скрываешь от меня свою печаль, пренебрегаешь старой кормилицей!

От нежности и обиды слезы текли у нее по щекам, по шрамам татуировки.

— Нет,— сказала Саламбо,— нет, я люблю тебя! Успокойся!

Таанах снова принялась за дело с улыбкой, похожей на гримасу старой обезьяны. Следуя советам Шагабарима, Саламбо приказала одеть себя с большой пышностью,

и Таанах нарядила ее во вкусе варваров — изысканно и в то же время наивно.

На тонкую тунику винного цвета Саламбо накинула вторую, расшитую перьями. Золотой чешуйчатый пояс обхватывал ее бедра, и из-под него спускались пышные голубые шаровары с серебряными звездами. Поверх этого Таанах надела на нее парадное полотняное платье, изготовленное в стране серийцев, белое с зелеными узорами. К плечу она прикрепила пурпуровый четырехугольник, отягощенный снизу камешками сандастра, и на все эти одежды набросила черный плащ с длинным шлейфом. Она оглядела Саламбо и, гордясь своим искусством, не удержалась и сказала:

— Ты не будешь прекраснее и в день твоей свадьбы!

— Моей свадьбы! — повторила задумчиво Саламбо, опираясь локтем на ручку кресла из слоновой кости.

Таанах поставила перед нею медное зеркало, такое широкое и высокое, что Саламбо увидела себя всю. Она встала и легким движением приподняла низко спустившийся локон.

Волосы ее, осыпанные золотым порошком, взбитые на лбу, падали на спину длинными волнами и были убраны внизу жемчугом. Пламя светильников оживляло румяна на ее щеках, золото одежд и белизну кожи; на поясе, на руках и пальцах ног сверкало столько драгоценностей, что зеркало, подобно солнцу, бросало на нее отсветы лучей. Стоя рядом с Таанах, наклонявшейся, чтобы поглядеть на нее, Саламбо улыбалась среди этого ослепительного сверкания.

Потом она стала ходить по комнате, не зная, куда девать время.

Пропел петух; Саламбо набросила на голову длинное желтое покрывало, на шею надела шарф, сунула ноги в сапожки из синей кожи и сказала Таанах:

— Пойди посмотри, не стоит ли в миртовой роще человек с двумя лошадьми.

Когда Таанах вернулась, Саламбо уже спускалась по лестнице, украшенной галерами.

— Госпожа! — крикнула кормилица.

Саламбо обернулась и приложила палец к губам в знак безмолвия и неподвижности.

Таанах тихо соскользнула мимо галер до низа террасы; издали при свете луны она увидела в аллее кипарисов

огромную тень, двигавшуюся вкось, слева от Саламбо; это предвещало смерть.

Таанах вернулась в комнату своей госпожи. Она бросилась на пол, царапая лицо ногтями; она рвала на себе волосы и испускала пронзительные крики.

Подумав, что ее могут услышать, она перестала кричать. И продолжала рыдать совсем тихо, опустив голову на руки и прижимаясь лицом к плитам пола.

XI

В ПАЛАТКЕ

Проводник Саламбо проехал с нею вверх, за маяк, по направлению к катакомбам; потом они спустились по длинному предместью Молуя с крутыми уличками. Небо начинало бледнеть. Кое-где из стен торчали пальмовые балки — приходилось наклонять голову. Кони, ступая шагом, скользили. Так они доехали до Тевестских ворот.

Тяжелые створы были приотворены; всадники выехали из города, и ворота затворились за ними.

Сначала они следовали вдоль укреплений, а достигнув цистерн, свернули на узкую полосу желтой земли, которая тянется до Радеса, отделяя залив от озера.

Никого не было видно вокруг Карфагена — ни на море, ни на суше. Море аспидного цвета тихо плескалось, легкий ветер, разгоняя пену, покрывал волны белыми хлопьями. Укутанная в покрывало и плащ, Саламбо все же дрожала от утренней прохлады; движение и воздух вызывали у нее головокружение. Потом взошло солнце, пригрело ее, и она задремала. Лошади шли иноходью, увязая во влажном песке.

Миновав гору Горячих источников, путники поехали быстрее — почва становилась тверже.

Несмотря на пору сева, поля были пустынны на всем пространстве, открытом взгляду. Местами виднелись кучи зерна: кое-где осыпался перезрелый ячмень. На светлом фоне неба выступали черные, причудливые очертания деревень.

Время от времени на краю дороги виднелась часть обгоревшей стены. Крыши хижин провалились, внутри домов видны были осколки глиняной посуды, отрепья, утварь, разбитые, утратившие форму вещи. Часто из раз-

валин выходили люди в лохмотьях, с землистым лицом и горящим взором. Они сейчас же убегали или прятались в какой-нибудь дыре. Саламбо и ее проводник ехали дальше, не останавливаясь.

Одна за другой тянулись покинутые людьми равнины. На светлой земле лежала неровным слоем угольная пыль, которую вздымал за всадниками бег коней. Иногда они попадали в мирные уголки, где среди высоких трав протекал ручей; перебираясь на другой берег, Саламбо срывала влажные листья и освежала ими руки. Когда они проезжали по роще олеандров, конь ее шарахнулся перед лежавшим на земле трупом.

Невольник тотчас же снова усадил Саламбо на подушки. Он был одним из служителей храма, и ему Шагабарим поручал все опасные предприятия.

От избытка осторожности он шел теперь пешком рядом с нею, между конями, и хлестал их кожаным ремнем, обернутым вокруг руки. Время от времени он вынимал из сумки, висевшей у него на груди, шарики из пшеничного теста, финики и яичные желтки, завернутые в листья лотоса, и молча, на ходу предлагал их Саламбо.

Днем им встретились на дороге три варвара в звериных шкурах. Потом стали появляться другие, бродившие кучками в десять, двенадцать, двадцать пять человек; некоторые из них гнали перед собой коз или хромую корову. У них были толстые палки с медными остриями; на омерзительно грязной одежде сверкали ножи; они смотрели на путников с изумлением и угрозой. Некоторые произносили обычные благословения, другие посылали вслед проезжающим грубые шутки; раб Шагабарима отвечал каждому на его собственном наречии. Он говорил им, что сопровождает больного мальчика, который едет искать исцеления в далеком храме.

День догорал. Послышался собачий лай, и они направились в ту сторону, откуда он доносился.

При свете заходящего солнца они увидели сложенную из камней ограду, а за ней здание неопределенной формы. По верху ограды бегала собака. Невольник отогнал ее камнем, и они вошли в высокое помещение со сводами.

Посредине комнаты сидела женщина, поджав под себя ноги, и грелась у горевшего в очаге хвороста; дым выходил через отверстия в потолке. Седые волосы доходили женщине до колен и наполовину скрывали ее; не желая

им отвечать, она бессмысленно бормотала что-то о мести варварам и карфагенянам.

Невольник стал шарить по комнате, потом снова подошел к хозяйке и потребовал пищи. У старухи тряслась голова, и, не сводя глаз с пылающих углей, она бормотала:

— Я была рукой. Десять пальцев отрезали. Рот перестал есть.

Невольник показал ей пригоршню золота. Она схватила деньги и окаменела вновь.

Он вынул из-за пояса кинжал и приставил ей к горлу. Тогда она встала, дрожа, подняла большой камень и принесла амфору с вином и рыб из Гиппо-Зарита, сваренных в меду.

Саламбо отвернулась от этой нечистой пищи и легла спать на конских попонах, разостланных в углу комнаты.

День еще не занялся, когда спутник разбудил ее.

Завыла собака. Раб тихонько подкрался и ударом кинжала отрубил ей голову. Потом натер ее кровью ноздри лошадей, чтобы подбодрить их. Старуха послала ему вслед проклятие. Саламбо услышала ее слова и сжала амулет на груди.

Они продолжали свой путь.

Время от времени Саламбо спрашивала, скоро ли они приедут. Дорога извивалась по низким холмам. В тишине был слышен лишь треск цикад. Солнце жгло пожелтевшую траву; земля была в трещинах, которые как бы делили ее на огромные плиты. Порой проползала гадюка, пролетали орлы. Невольник продолжал бежать. Саламбо грезила, укутавшись в покрывала: несмотря на жару, она их не сняла, боясь загрязнить свой прекрасный наряд.

На равных расстояниях одна от другой возвышались башни, выстроенные карфагенянами для наблюдения за племенами. Саламбо и ее проводник входили туда, чтобы отдохнуть в тени, потом снова пускались в путь.

Накануне они из осторожности сделали большой крюк. Но теперь им никто больше не встречался; местность была бесплодная, и варвары здесь не проходили.

Потом снова стали появляться следы опустошения. Иногда среди поля лежал кусок мозаики — единственный уцелевший от разрушенного дворца. Голые оливковые деревья казались издали большими кустами терновника. Путники проехали через город, все дома которого были сожжены. У стен лежали человеческие скелеты; попада-

лись кости дромадеров и мулов. Обглоданная падаль валялась на улицах.

Спускалась ночь. Низкое небо было покрыто тучами.

Они поднимались по дороге на запад еще два часа и вдруг увидели перед собою множество светлых точек.

Огоньки светились в глубине амфитеатра. Порой сверкали золотые бляхи, передвигавшиеся с места на место. То были панцири клинабариев в карфагенском лагере; потом путники заметили вокруг лагеря другие, более многочисленные огни — войска наемников, наконец соединившиеся, расположились на большом пространстве.

Саламбо поехала прямо, но раб Шагабарима повернул ее коня, и они двинулись вдоль насыпи, замыкавшей лагерь варваров. Показалась брешь — невольник исчез в ней. По насыпи ходил часовой с пикой на плече и луком в руках.

Саламбо подъезжала все ближе; варвар опустился на колено, длинная стрела пронзила край ее плаща. Она не отпрянула — она лишь что-то крикнула ему; варвар спросил, что ей нужно.

— Я хочу видеть Мато,— сказала она.— Я перебежчик из Карфагена.

Варвар свистнул, и свист его несколько раз повторился вдали.

Саламбо ждала. Ее испуганный конь крутил головой и громко фыркал.

Когда появился Мато, за Саламбо выглянула луна. Но лицо девушки было скрыто под желтой вуалью с черными разводами, и она была так укутана, что не представлялось возможности разглядеть ее. С высоты насыпи Мато смотрел на неясные очертания ее фигуры — в вечернем полумраке она казалась призраком.

Наконец она сказала ему:

— Отведи меня в свою палатку! Я так хочу!

Смутное воспоминание пробудилось в Мато. У него забилось сердце. Ее властный вид смущал его.

— Следуй за мной! — сказал он.

Ворота отворились, и Саламбо оказалась в лагере варваров.

Он был многолюден и шумен. Яркие костры горели под висящими котлами; их багровые отсветы озаряли отдельные места, оставляя другие в полном мраке. Раздавались крики, призывы; кони, привязанные к перекладинам, стояли длинными рядами между палаток; палатки

были круглые, четырехугольные, кожаные или холщовые; тут же были хижины из камыша и просто ямы в песке наподобие собачьих нор. Воины таскали фашины, лежали, упершись локтями в землю, или заворачивались в циновки, готовясь ко сну; конь Саламбо перешагивал через них.

Саламбо вспоминала, что уже видела этих людей, но теперь бороды у них были длиннее, лица еще больше почернели, голоса охрипли. Мато, идя впереди, отстранял воинов рукой, отчего поднимался его красный плащ. Воины целовали ему руку или, низко кланяясь, подходили за приказаниями. Он был теперь подлинным, единственным предводителем варваров; Спендий, Автарит и Нар Гавас пали духом, а он обнаружил столько отваги и упорства, что все ему покорялись.

Следуя за Мато, Саламбо проехала через весь лагерь. Его палатка была в самом конце, в трехстах шагах от окопов Гамилькара.

Она заметила справа большой ров, и ей показалось, что к краю его, вровень с землей, прильнули лица. Можно было подумать, что это отрубленные головы, но глаза их жили, а из полуоткрытых губ вырывались жалобы на пуническом наречии.

Два негра со смоляными светильниками в руках стояли по обе стороны входа. Мато порывистым движением раздвинул холст палатки. Саламбо последовала за ним.

Палатка была длинная, с шестом посредине. Освещал ее большой светильник в виде лотоса, наполненный желтоватым маслом, в котором плавали клочки пакли; в полумраке блестели доспехи. Обнаженный меч был прислонен к табурету рядом со щитом; на циновках были свалены бичи из гиппопотамовой кожи, кимвалы, бубенцы, ожерелья; на войлочном одеяле рассыпаны крошки черного хлеба; в углах на круглом камне лежали кучки небрежно брошенной медной монеты. Через разорванный холст палатки ветер доносил пыль лагеря и запах слонов; слышно было, как они ели, лязгая цепями.

— Кто ты? — спросил Мато.

Не отвечая, она медленно оглядывалась по сторонам, потом взор ее устремился в глубину, где над ложем из пальмовых ветвей спускалось на пол нечто синее и сверкающее.

Девушка быстро направилась туда, невольно вскрикнув. Мато, стоявший за нею, топнул ногой.

— Кто тебя привел? Что тебе нужно?

Она ответила, указывая в глубь палатки:

— Я пришла взять заимф!

Саламбо сорвала с головы покрывало. Раскрыв рот, он в ужасе отступил.

Она почувствовала, что ее поддерживает сила богов; глядя в лицо Мато, она потребовала, чтобы он вернул ей заимф, властно и красноречиво настаивая на исполнении своего требования.

Мато не слышал; он глядел на нее, и ему казалось, что одежда сливается с ее телом. Переливчатое сияние тканей и ослепительный цвет кожи были чем-то особым, присущим ей одной. Ее глаза лучились подобно брильянтам; блеск ногтей длил впечатление от игры каменьев на ее пальцах; две пряжки туники, слегка приподнимая груди, приближали их одна к другой. Мысли Мато устремились в узкое пространство между ними, куда спускалась цепочка с изумрудом, видневшимся ниже, под фиолетовым газом.

На ней были серьги в виде маленьких сапфировых весов, на которых лежало по выдолбленной жемчужине, наполненной благовониями. Из отверстия жемчужин время от времени падала капелька и смачивала обнаженное плечо. Мато следил, как падали капли.

Неудержимое любопытство влекло его к ней; как ребенок, который трогает запрещенный плод, он дрожа коснулся пальцем ее груди; холодное тело упруго уступило давлению.

Это едва ощутимое прикосновение потрясло Мато. Он устремился к Саламбо всем своим существом. Ему хотелось охватить, поглотить, выпить ее всю. Грудь его тяжело вздымалась, зубы стучали.

Взяв ее за обе руки, он мягко притянул ее к себе и сел на панцирь у ложа из пальмовых ветвей, покрытого львиной шкурой. Она стояла. Он глядел на нее снизу вверх и, сжимая ее коленями, повторял:

— Как ты прекрасна! Как ты прекрасна!

Саламбо с трудом выносила его взгляд, неотступно устремленный на нее; ей хотелось кричать от страха и острого отвращения к нему, но она вспомнила слова Шагабарима и решила покориться.

Мато продолжал держать ее маленькие руки в своих; время от времени вопреки приказанию жреца она отворачивалась и пыталась отстранить его.

Он раздувал ноздри, чтобы глубже вдохнуть благоухание, исходившее от нее. То был неопределимый аромат, свежий и вместе с тем одуряющий, как дым курений. От нее пахло медом, перцем, ладаном, розами.

Но как она очутилась здесь, в палатке, в полной его власти? Наверное, кто-нибудь послал ее! Не пришла же она за покрывалом? Руки его опустились, и, погрузившись в тяжелое раздумье, он уронил голову на грудь.

Чтобы растрогать его, Саламбо жалобным голосом спросила:

— Что я тебе сделала? Почему ты хочешь моей смерти?

— Твоей смерти?

Она продолжала:

— Я увидела тебя однажды вечером при свете моих горящих садов, среди дымящихся кубков, среди трупов моих рабов, и твой гнев был так велик, что ты кинулся на меня, и я от тебя убежала! Ужас овладел Карфагеном. Отовсюду шли вести об опустошенных городах, о сожженных деревнях, об истреблении воинов. Это ты губил их, ты их убивал! Я ненавижу тебя! Самое имя твое терзает меня, как угрызения совести! Ты хуже чумы и войны с римлянами! Все провинции потрясены твоей яростью, все поля усеяны трупами! Я шла по следам зажженных тобою пожаров, точно по следам Молоха!

Мато вскочил; великая гордыня обуяла его; он чувствовал себя вознесенным, равным богу.

С трепещущими ноздрями, стиснув губы, она продолжала:

— Мало того что ты совершил святотатство, ты еще явился ко мне, когда я спала, закутанный в заимф! Я не поняла твоих речей; но ясно видела, что ты влечешь меня к чему-то страшному, на дно пропасти.

Мато воскликнул, ломая руки:

— Нет, нет! Я пришел, чтобы отдать, чтобы вернуть тебе заимф! Мне казалось, что богиня сняла свое одеяние и оно принадлежит тебе. Не все ли равно, где хранится покрывало, в ее храме или в твоем доме? Ведь ты всевластна, девственно чиста и лучезарно прекрасна, как Танит! Если только ты не сама Танит? — глядя на нее с беспредельным обожанием, спросил он.

«Я — Танит!» — сказала себе Саламбо.

Они замолчали. Вдали грохотал гром. Доносилось блеяние овец, испуганных грозой.

— О, подойди ко мне! — снова заговорил Мато.— Подойди, не бойся! Прежде я был простым воином в толпе наемников, таким смиренным, что носил на спине дрова для соратников. Что мне Карфаген! Полчища его исчезают в пыли твоих сандалий. Все его сокровища, провинции, корабли и острова привлекают меня меньше, чем свежесть твоих уст и твоих плеч. Я хотел снести стены Карфагена только для того, чтобы проникнуть к тебе, чтобы обладать тобой! А в ожидании этого я предавался мести! Я давлю людей, как раковины, я бросаюсь на фаланги, сбиваю рукой пики, останавливаю коней, хватая их за ноздри. Меня не убить из катапульты! О, если бы ты знала! Даже в бою мои мысли полны тобою! Иногда воспоминание о каком-нибудь движении, о складке твоей одежды охватывает меня и опутывает, точно сетью! Я вижу твои глаза в пламени зажигательных стрел, в позолоте щитов, слышу твой голос в звуке кимвалов! Я оборачиваюсь, но тебя нет, и я снова бросаюсь в бой!

Он поднял руки — вены переплетались на них, точно плющ на ветвях дерева. Пот стекал на его грудь между могучими мышцами; тяжелое дыхание вздымало бока, стянутые бронзовым поясом с длинными ремнями, свисавшими до колен, а колени были у него тверже мрамора. Саламбо, привыкшая к евнухам, была поражена его силой. Что это было? Кара, ниспосланная ей богиней, или влияние Молоха, реявшее вокруг среди пяти войск? Она изнывала от слабости и прислушивалась в оцепенении к перекличке часовых.

Пламя светильника колебалось от порывов жаркого ветра. Временами вспыхивали яркие молнии, потом мрак сгущался, и она видела перед собою только глаза Мато, сверкавшие в темноте, как два раскаленных угля. Она ясно чувствовала, что свершается рок, что близко неотвратимое. Сделав над собой усилие, она снова направилась к заимфу и протянула руки, чтобы взять его.

— Что ты делаешь? — воскликнул Мато.

Она кротко ответила:

— Я вернусь с ним в Карфаген.

Он подошел к ней, скрестив руки; его лицо было так страшно, что она остановилась, как пригвожденная.

— Вернешься с ним в Карфаген?

Голос его прерывался, и он повторил, скрежеща зубами:

— Вернешься с ним в Карфаген? А, так ты пришла,

чтобы взять заимф, победить меня и потом исчезнуть? Нет! Ты в моих руках, и теперь никто не вырвет тебя отсюда. Я не забыл дерзкого взгляда твоих больших спокойных глаз, не забыл, как ты подавляла меня высокомерием своей красоты! Теперь мой черед! Ты моя пленница, моя рабыня, моя служанка! Призови, если хочешь, своего отца с его войском, старейшин, богачей и весь свой проклятый народ! Я властвую над тремястами тысяч воинов! Я наберу новых ратников в Лузитании, в Галлии, в глубине пустынь и разрушу твой город, сожгу его храмы. Триремы будут носиться по волнам крови! Я не оставлю ни одного дома, ни одного камня, ни одной пальмы! А если не хватит людей, я приведу медведей с гор, пригоню львов! Не пытайся бежать, я тебя убью!

Бледный, со сжатыми кулаками, он дрожал, точно арфа, струны которой вот-вот лопнут. Но вдруг Мато стали душить рыдания, ноги у него подкосились.

— Прости меня! Я низкий человек, я презреннее скорпионов, презреннее грязи и пыли! Когда ты только что говорила, дыхание твое коснулось моего лица, и я упивался им, как умирающий, который пьет воду, припав к ручью. Раздави меня, лишь бы я чувствовал на себе твои ноги! Проклинай меня — я хочу только одного: слышать твой голос! Не уходи! Сжалься надо мной! Я люблю тебя, люблю!

Он опустился перед нею на колени, охватив ее стан обеими руками, откинув голову; руки его блуждали по ее телу. Золотые кольца, продетые в уши, сверкали на его бронзовой шее. Слезы стояли у него в глазах, точно крупные серебряные капли. Он мягко вздыхал и бормотал неясные слова, и слова эти были легче ветерка и сладостны, как поцелуи.

Саламбо была охвачена истомой, в которой потонуло все ее существо. Что-то затаенное и вместе с тем властное, казавшееся волей богов, принуждало ее отдаться этой истоме; голова ее затуманилась, и, обессиленная, она упала на львиную шкуру ложа. Мато потянул ее за ступни, золотая цепочка порвалась, и оба конца ее, отскочив, как две змейки, ударились о холст палатки. Заимф упал и окутал ее; она увидела лицо Мато, склонившееся к ее груди.

— Молох, ты сжигаешь меня! — крикнула она.

По телу ее пробегали поцелуи воина, пожиравшие ее сильнее пламени, ее точно подхватил ураган, покорила власть солнца.

Он целовал ее пальцы, плечи, ноги и длинные косы.

— Возьми заимф! — говорил он.— На что он мне? Возьми меня вместе с ним! Я покину войско, откажусь от всего! За Гадесом в двадцати днях пути по морю есть остров, покрытый золотым песком и зеленью, населенный птицами. На горах большие благоуханные цветы качаются, как вечные кадильницы. В лимонных деревьях, выше кедров, живут змеи молочного цвета и своими алмазными пастями стряхивают на траву плоды. Воздух на острове такой мягкий, что там нельзя умереть. Я найду этот остров, вот увидишь! Мы будем жить в хрустальных гротах, высеченных в скалах у подножия холмов. Никого нет на этом острове, и я буду его царем.

Он стер пыль с ее котурнов, упросил ее съесть кусочек граната, положил ей под голову груду одежды вместо подушек. Ему хотелось услужить ей, унизиться перед нею, и он накрыл ей ноги заимфом, точно это было простое покрывало.

— Они еще у тебя,— спросил он,— маленькие рога газели, на которые ты вешаешь ожерелья? Подари мне их, они мне нравятся!

Он говорил так, как будто войны не было и в помине, и весело смеялся. Наемники, Гамилькар, все препятствия исчезли для него. Луна скользила между облаками. Она была видна сквозь отверстие в палатке.

— Сколько ночей провел я, глядя на нее! Она казалась мне завесой, скрывавшей твое лицо. Ты глядела на меня сквозь нее. Воспоминание о тебе сливалось с ее лучами, и я уже не отличал тебя от луны!

Прильнув головой к ее груди, он проливал обильные слезы.

«Так вот каков,— подумала она,— этот страшный человек, наводящий трепет на карфагенян!»

Он заснул. Высвободившись из его объятий, она ступила ногой на землю и заметила, что цепочка ее порвана.

Девушек знатных домов приучили считать эти путы почти священными, и Саламбо покраснела, обвивая вокруг ног обрывки золотой цепочки.

Карфаген, Мегара, ее дом, опочивальня и места, по которым она ехала, проносились в памяти Саламбо несвязанными и в то же время ясными картинами. Но разверзлась бездна и отделила ее от всего минувшего.

Гроза утихала; редкие капли дождя стучали по палатке.

Мато спал, как пьяный, вытянувшись на боку; одна его рука спустилась с края ложа. Жемчужная перевязь сдвинулась и обнажила его лоб, губы сложились в улыбку. Зубы сверкали, оттененные черной бородой, в полузакрытых глазах таилась тихая, почти оскорбительная радость.

Саламбо глядела на него, не двигаясь, опустив голову и скрестив руки.

Ей бросился в глаза кинжал, лежавший у изголовья на кипарисовом столе; при виде сверкающего лезвия в ней вспыхнула жажда крови. Откуда-то из мрака доносились жалобные голоса, призывавшие ее к действию, подобно хору духов. Она подошла к столу и схватила кинжал за рукоятку. Шорох ее платья разбудил Мато; он приоткрыл глаза, коснулся губами ее руки, и кинжал упал.

Раздались крики; страшный свет вспыхнул за палаткой. Мато отдернул холст, и они увидели пламя, окутавшее лагерь ливийцев.

Горели их камышовые хижины; стебли, извиваясь, трескались в дыму и разлетались, как стрелы; на фоне багрового зарева метались обезумевшие черные тени. Доносились вопли людей, оставшихся в хижинах; слоны, быки и кони скакали среди толпы, давя людей вместе с поклажей и съестными припасами, которые они вытаскивали из пламени. Слышались звуки труб и крики «Мато! Мато!» Воины хотели ворваться в палатку.

— Выходи! Гамилькар поджег лагерь Автарита!

Мато выбежал к ним. Саламбо осталась одна.

Она стала рассматривать заимф и удивилась, что не чувствует того блаженства, о котором когда-то грезила. Мечта ее осуществилась, а ей было грустно.

Низ палатки приподнялся, и показалось чудовище. Саламбо различила сначала только глаза и длинную белую бороду, свисавшую до земли; тело, путаясь в отрепьях рыжей одежды, ползло по земле; при каждом движении руки вцеплялись в бороду и снова опускались. Так чудовище доползло до ее ног, и Саламбо узнала старика Гискона.

Для того чтобы давнишние пленники не могли бежать, наемники переламывали им ноги железными палками, и они погибали, сбившись в кучу во рву, среди нечистот. Более выносливые, услышав звон котелков, приподнимались и кричали; так, высунувшись из рва, Гискон увидел

Саламбо. Он угадал в ней карфагенянку по маленьким шарикам из сандастра, которые ударялись о котурны. В предвидении какой-то важной тайны он с помощью товарищей вылез из рва. Двигаясь на руках, он прополз двадцать шагов и добрался до палатки Мато. Там разговаривали двое. Он прислушался и все понял.

— Это ты? — спросила она наконец, охваченная ужасом.

Приподнявшись на руках, он ответил:

— Да, я! Все думают, что я умер?

Она опустила голову. Он продолжал:

— О, почему Ваалы не сжалились надо мной и не послали мне смерти!

Приблизившись к ней вплотную, Гискон добавил:

— Они избавили бы меня от необходимости проклясть тебя!

Саламбо отшатнулась — ее испугало это существо, покрытое нечистотами, отвратительное, как червь, и грозное, как призрак.

— Мне скоро исполнится сто лет,— сказал он.— Я видел Агафокла, видел Регула, видел, как римские орлы проносились по карфагенским полям! Я видел все ужасы битв, видел море, покрытое обломками наших кораблей. Варвары, которыми я командовал, сковали мне цепями руки и ноги, как рабу, совершившему убийство. Мои товарищи один за другим умирают подле меня, зловоние, исходящее от их трупов, не дает мне спать. Я отгоняю птиц, которые прилетают выклевывать им глаза. И все же не было дня, чтобы я усомнился в победе Карфагена! Даже если бы все войска, какие только есть на свете, пошли против него, если бы пламя осады поднялось выше холмов, я продолжал бы верить в вечность Карфагена. Но теперь все кончено, все потеряно! Боги возненавидели его! Проклятие тебе, ускорившей его падение своим позором!

Она хотела что-то сказать.

— Я был тут, у палатки! — воскликнул он.— Я слышал, как ты задыхалась от любви, блудница! Потом он говорил тебе о своих деяниях, и ты позволяла целовать себе руки! Но если тобой и овладела постыдная страсть, то надо было брать пример с диких зверей, которые спариваются втайне, а не выставлять свой позор на глазах у отца!

— Отца? — спросила она.

— А ты не знала, что окопы варваров отстоят от карфагенских всего на шестьдесят локтей и что твой Мато от избытка гордости расположился прямо против Гамилькара! Твой отец тут, у тебя за спиной. Если бы я мог подняться по тропинке, которая ведет на площадку, я крикнул бы ему: «Пойди, посмотри на свою дочь в объятиях варвара! Чтобы понравиться ему, она облеклась в одежды богини. Отдавая свое тело, она отдает на поругание славу твоего имени, величие богов, поступается местью за родину и даже спасением Карфагена!»

Движения его беззубого рта сотрясали длинную бороду; глаза, устремленные на Саламбо, пожирали ее, он повторял, задыхаясь от пыли:

— Нечестивая! Будь ты проклята, проклята, проклята!

Саламбо отодвинула край палатки и, высоко подняв его, молча смотрела в сторону лагеря Гамилькара.

— Это там, да? — спросила она.

— Не все ли тебе равно? Отвернись, уходи! Пади ниц! То место священно, и твое присутствие осквернило бы его!

Она обернула заимф вокруг стана, взяла покрывало, шарф и плащ.

— Я бегу туда! — крикнула она и, выскользнув из палатки, исчезла.

Сначала она шла в темноте, никого не встречая, потому что все бросились на пожар; крики становились все громче, позади нее пламя обагряло небо. Длинная насыпь преградила путь Саламбо.

Она пошла обратно, пошла наугад, ища лестницу, веревку, камень, какую-нибудь опору, которая помогла бы ей взобраться на насыпь. Она боялась Гискона; ей казалось, что ее преследуют чьи-то шаги и крики. Светало. Она увидела дорожку, идущую вверх, ухватила зубами край мешавшей ей одежды и в три прыжка очутилась на насыпи.

У ее ног раздался в темноте крик петуха, тот самый, который она услышала, когда спустилась с лестницы, украшенной галерами. Наклонившись, она узнала невольника Шагабарима и его коней.

Он пробродил всю ночь между двумя лагерями. Потом, встревоженный пожаром, пошел назад, стараясь разглядеть, что происходит в лагере Мато. Он знал, что место, где он стоял, ближе всего к палатке Мато, и остановился там, покорный велению жреца.

Он встал на одного из коней. Саламбо спустилась к нему, и они умчались, объезжая карфагенский лагерь в поисках выхода.

Мато вернулся в палатку. Дымящийся светильник слабо озарял ее; ему показалось, что Саламбо спит. Осторожным движением ощупал он львиную шкуру на постели из пальмовых ветвей, потом окликнул Саламбо. Ответа не было. Он оторвал кусок холста, чтобы стало светлее. Заимф исчез.

Земля дрожала от топота ног. Раздавались громкие крики, ржание, лязг оружия; трубили тревогу. Вокруг Мато точно кружился вихрь. Обезумев от ярости, он схватил оружие и выскочил из палатки.

Варвары один за другим бежали с горы; карфагеняне шли на них тяжело и ровно колышущимися рядами. Туман, разрываемый лучами солнца, поднимался маленькими легкими облачками — постепенно открывались взору знамена, шлемы и острия копий. От быстроты движений казалось, что перемещаются пространства земли, еще окутанные мраком. Создавалось впечатление скрещивающихся по временам потоков, а между ними — неподвижных колючих масс. Мато различал начальников, воинов, глашатаев и даже слуг позади, верхом на ослах. Вместо того чтобы сохранять свою позицию и прикрывать пехоту, Нар Гавас вдруг повернул направо, точно хотел дать Гамилькару возможность смять его.

Его конница опередила замедливших ход слонов; кони, вытянув шеи, не стесненные уздой, мчались так быстро, что касались животами земли. Нар Гавас решительно направился к одному из часовых. Он бросил свой меч, копье, дротики и исчез в толпе карфагенян.

Царь нумидийцев вошел в палатку Гамилькара и сказал ему, указывая на свою конницу, остановившуюся поодаль:

— Барка, я привел тебе мое войско! Отныне оно твое.

Он простерся перед Гамилькаром в знак того, что отдает себя в рабство, и в доказательство верности напомнил о своем поведении с начала войны.

Прежде всего он воспрепятствовал осаде Карфагена и избиению пленных; затем он не воспользовался победой над Ганноном после поражения в Утике. Что касается тирских городов, то ведь они расположены на границе его

владений. Наконец, он не участвовал в битве при Макаре и не явился туда нарочно, чтобы избежать необходимости сражаться против суффета.

На самом деле Нар Гавас хотел расширить свои владения за счет карфагенских провинций, и, смотря по тому, на чьей стороне был перевес, то помогал наемникам, то изменял им. Видя, что в конце концов победит Гамилькар, он перешел на его сторону. Это предательство, вероятно, было вызвано также злобой на Мато за то, что он командовал войском, или за его любовь к Саламбо.

Суффет слушал Нар Гаваса, не прерывая его. Тот, кто переходит в войско, где ему имеют право мстить за прежнюю измену, может оказаться нужным человеком. Гамилькар сразу увидел пользу от союза с ним для своих широких замыслов. Вместе с нумидийцами он сумеет избавиться от ливийцев. Потом он увлечет за собою Запад и завоюет Иберию. Не спрашивая Нар Гаваса, почему он не явился раньше, и не уличая его во лжи, Гамилькар поцеловал его и три раза стукнулся с ним грудью.

Он поджег лагерь ливийцев только от отчаяния и чтобы положить всему конец. Войско Нар Гаваса было для него как бы помощью, посланной богами, и, скрывая свою радость, он сказал:

— Да покровительствуют тебе Ваалы! Не знаю, что сделает для тебя Республика, но Гамилькар не бывает неблагодарным.

Шум усиливался; входили военачальники. Гамилькар стал облекаться в доспехи.

— Отправляйся! — сказал он.— С твоей конницей ты можешь отбросить их пехоту в промежуток между твоими слонами и моими. Мужайся! Истреби их!

Нар Гавас бросился исполнять приказ, но в это время появилась Саламбо.

Она спрыгнула с коня, раскрыла свой широкий плащ и во всю ширину развернула заимф.

Кожаная палатка, приподнятая по углам, позволяла видеть склоны горы, сплошь занятые воинами; Саламбо стояла посреди палатки, и ее было видно отовсюду. Раздался нескончаемый гул торжества и надежды. Те, кто шел, остановились; умирающие приподнимались на локтях, благословляя ее. Варвары убедились, что Саламбо унесла заимф; они видели ее издали или думали, что видят. И тут другие крики — вопли ярости и призывы к отмщению — слились с приветственными возгласами карфа-

геням. Пять войск, расположенных одно над другим по склонам горы, топали ногами и выли вокруг Саламбо.

Гамилькар не мог говорить и благодарил ее кивками. Глаза его останавливались то на заимфе, то на ней; цепочка на ее ногах была разорвана. Он вздрогнул от ужасного подозрения, но, быстро овладев собой, не поворачивая головы, искоса взглянул на Нар Гаваса.

Царь нумидийцев скромно стоял в стороне; на лбу у него были следы пыли, которой он коснулся, простершись перед Гамилькаром. Наконец суффет подошел к нему.

— В награду за услуги, которые ты мне оказал, я отдаю тебе мою дочь, Нар Гавас,— торжественно произнес он и прибавил: — Будь мне сыном и защити отца!

Нар Гавас изумленно взглянул на него и бросился целовать ему руки.

Саламбо, неподвижная, как статуя, словно ничего не понимала; она только слегка покраснела и опустила взор; длинные, загнутые кверху ресницы бросали тень на ее щеки.

Гамилькар изъявил желание немедленно наложить на них нерушимые узы. Он дал Саламбо копье, и она подарила его Нар Гавасу; ремнем из бычьей кожи им связали большие пальцы, потом стали сыпать на голову зерно. Зерна падали вокруг, подпрыгивая и звеня, точно град.

XII
АКВЕДУК

Двенадцать часов спустя от наемников осталась только груда раненых, мертвых и умирающих.

Гамилькар, выйдя неожиданно из глубины ущелья, вновь спустился туда по западному склону, обращенному к Гиппо-Зариту; и так как в этом месте было просторнее, он постарался завлечь туда варваров. Нар Гавас окружил врагов своей конницей, а суффет в это время теснил их и истреблял. Впрочем, поражение их было предопределено потерей заимфа. Даже те, кто не придавал этому значения, были охвачены тревогой и ослабели. Гамилькар не стремился овладеть полем битвы — он отошел влево, на высоты, господствовавшие над расположением противника.

Очертание лагерей угадывалось по наклонному частоколу. Длинная полоса черного пепла дымилась там, где были расположены ливийцы; изрытая почва вздымалась,

как морские волны, а разодранные в клочья палатки казались подобием кораблей, разбившихся о подводные камни. Панцири, вилы, рожки, куски дерева, железа и меди, зерно, солома, одежда валялись между трупами; огненные стрелы тлели здесь и там около груд поклажи; местами земли не было видно под грудой щитов; павшие кони лежали бесконечными рядами; то и дело попадались ноги, сандалии, руки, кольчуги, головы в касках с подбородниками, которые катались, как шары; на шипах кустарников висели пряди волос; в лужах крови хрипели слоны с распоротыми животами, упавшие вместе со своими башнями; ноги ступали по чему-то липкому, и всюду виднелись лужи грязи, хотя дождя не было.

Трупы покрывали гору сверху донизу.

Оставшиеся в живых не шевелились, как и мертвецы. Они сидели группами, поджав под себя ноги, растерянно глядели друг на друга и молчали.

В конце длинной поляны сверкало под лучами заходящего солнца озеро Гиппо-Зарит. Справа, над поясом стен, поднимались белые дома; за ними было море, уходившее в безграничную даль. Подперев голову рукой, варвары вздыхали, вспоминая свою отчизну. Поднявшаяся серая пыль медленно оседала.

Подул вечерний ветер; все облегченно вздохнули; по мере того как свежело, черви переползали с холодеющих трупов на горячий песок. На верхушках скал недвижные вороны не сводили глаз с умирающих.

Когда спустилась ночь, отвратительные желтые собаки, которые следовали за войсками, тихонько подкрались к варварам. Сначала они стали лизать запекшуюся кровь на еще теплых искалеченных телах, а потом принялись пожирать трупы, начиная с живота.

Беглецы возвращались один за другим, как тени. Отважились вернуться и женщины; их еще было немало, особенно у ливийцев, несмотря на то, что многих перерезали нумидийцы.

Одни воины брали обрывки канатов и зажигали их вместо факелов, другие скрещивали копья, клали на эти носилки трупы и относили в сторону.

Трупы укладывали длинными рядами; они лежали на спине, с открытыми ртами, и копья их были тут же, при них; кое-где они были свалены в кучу — чтобы найти пропавших, приходилось разрывать целую груду мертвецов; над ними медленно проводили факелами. Страшное ору-

жие врагов нанесло им разнообразные раны. У одних зеленоватые лоскуты кожи свисали со лба; другие были рассечены на куски или раздавлены, третьи посинели от удушья или были распороты клыками слонов. Хотя смерть настигла их почти одновременно, трупы разлагались по-разному. Воины севера побелели и вздулись, в то время как африканцы, более мускулистые, как бы прокоптились и уже ссохлись. Наемников можно было узнать по татуировке на руках: у старых солдат Антиоха были изображены ястребы; у тех, кто служил в Египте,— головы павлинов; у азиатских принцев — топор, гранат, молоток; у воинов из греческих республик — силуэт крепости или имя архонта; у некоторых руки были усеяны множеством знаков, перекрещивавшихся со старыми рубцами и свежими ранами.

Для воинов латинской расы — самнитов, этрусков, уроженцев Кампании и Труттиа — были разложены четыре больших костра. Греки вырыли рвы остриями мечей. Спартиаты завернули мертвецов в свои красные плащи; афиняне положили их лицом к востоку; кантабры погребли под грудой камней; назамоны согнули вдвое ремнями из бычьей кожи, а гараманты зарыли на берегу, чтобы их неустанно омывали волны. Латиняне были в отчаянии, что не могли собрать в урны пепел своих мертвецов; кочевники жалели, что тут не было горячего песка, где тела превращаются в мумии, а кельтам недоставало трех необтесанных камней под дождливым небом, в глубине залива, усеянного островками.

Послышались стенания, затем надолго воцарилась тишина. Живые хотели воздействовать молчанием на души умерших и заставить их вернуться. Потом, через одинаковые промежутки времени, возобновлялся все тот же вопль.

Воины просили прощения у мертвых за то, что не могли почтить их тела по установленному обряду; лишая почестей своих соратников, они обрекали их на бесконечное скитание среди различных случайностей и перевоплощений. Мертвых призывали, спрашивали, чего они желают; иные же осыпали их бранью за то, что они дали себя победить.

Пламя больших костров придавало еще большую бледность бескровным лицам тех, кто лежал на обломках оружия; слезы одних вызывали плач других, рыдания усиливались, вопли прощавшихся с опознанными мертвецами становились все исступленнее. Женщины ложились на

покойников, прижимались губами к их губам, лбом к их лбу; когда трупы засыпáли землей, приходилось бить несчастных, чтобы они ушли. Вдовы чернили себе щеки, отрезали волосы, пускали себе кровь и направляли ее струю в могилу павшего воина; многие наносили себе порезы наподобие ран, изуродовавших мертвецов.

Сквозь гром кимвалов прорывались крики. Некоторые срывали с себя амулеты и плевали на них. Умирающие катались по грязи, пропитанной кровью, в бешенстве кусая свои изуродованные руки, а сорок три самнита — целый священный отряд юношей — побивали друг друга, как гладиаторы. Вскоре кончились дрова, костры погасли, мест для отдыха не хватало. Уставшие от криков, шатающиеся, обессиленные воины заснули рядом со своими мертвыми братьями, одни — с желанием продлить свою жизнь, полную тревог, другие — предпочитая больше не просыпаться.

При бледном свете зари на границе лагеря появились воины; они проходили, подняв шлемы на острия копий; приветствуя наемников, они спрашивали, не хотят ли те передать что-нибудь на родину.

За ними подошли другие, среди которых варвары узнавали своих бывших соратников.

Суффет предложил всем пленным служить в его войсках. Некоторые мужественно отказались; не желая кормить пленников и не желая отдавать их во власть Великого совета, Гамилькар отпустил их с условием, чтобы они не воевали больше против Карфагена. Тем же, кто смирился из боязни пыток, роздали оружие врага, и они пришли к побежденным не столько для того, чтобы соблазнить их своим примером, сколько из желания похвастать, а также из любопытства.

Они рассказали про хорошее обращение с ними суффета. Варвары слушали с завистью, хотя и презирали их. Но при первых же словах упрека малодушные перебежчики пришли в бешенство; они стали показывать варварам их же копья и панцири и звать с собой. Варвары закидали их камнями; те обратились в бегство; вскоре на вершине горы остались только острия копий, выступавших над краем частокола.

Варваров охватила печаль, более тяжкая, чем позор поражения. Задумавшись над бесполезностью своего мужества, они сидели с остановившимся взглядом, скрежеща зубами.

Одна и та же мысль возникала у всех варваров. Они кинулись толпой к карфагенским пленным. Воинам суффета случайно не удалось их найти, а так как Гамилькар покинул поле битвы, те все еще находились в своем глубоком рву.

Карфагенян положили на ровном месте. Часовые расположились вокруг них и стали пропускать женщин, по традиции — сорок сразу. Пользуясь недолгим временем, которое им предоставлялось, женщины взволнованно бегали от одного к другому; потом, склонившись над их жалкими телами, стали колотить их, как прачки колотят белье; выкрикивая имена своих мужей, они царапали их ногтями и выкалывали им глаза иглами, которые носили в волосах. Затем пришли мужчины, и начались новые истязания: пленным отрезали ноги, со лба у них сдирали куски кожи и украшали ими свои головы. Пожиратели нечистой пищи были особенно жестоки в своих выдумках. Они растравляли раны уксусом, сыпали в них пыль и осколки глиняных сосудов; когда они уходили, другие сменяли их; текла кровь; варвары веселились, как сборщики винограда вокруг дымящихся чанов.

Мато сидел на земле, на том же месте, где он оказался, когда кончилась битва; опустив голову на руки, он ничего не видел, ни о чем не думал.

Услышав радостный гул толпы, он встрепенулся. Обрывок холста, прикрепленный к шесту и волочившийся по земле, прикрывал сваленные в кучу корзины, ковры и львиную шкуру. Он узнал свою палатку, и глаза его устремились вниз, точно дочь Гамилькара, исчезнув, провалилась сквозь землю.

Порванный холст развевался на ветру, и обрывки его касались порою губ Мато; он заметил красную пометку, похожую на отпечаток руки. То была рука Нар Гаваса, знак их союза. Мато поднялся. Он взял дымящуюся головню и с презрением бросил ее на обломки своей палатки. Потом кончиком котурна столкнул в огонь все, что лежало вокруг, чтобы ничего не оставалось.

Вдруг неизвестно откуда появился Спендий.

Бывший раб привязал себе к бедру два обломка копья и хромал с жалобным видом, испуская стоны.

— Сними все это,— сказал Мато.— Я не сомневаюсь в твоей храбрости!

Он был так подавлен несправедливостью богов, что не имел силы возмущаться людьми.

Спендий подал ему знак и повел в углубление на небольшом холме, где спрятались Зарксас и Автарит.

Они бежали так же, как и раб: один — несмотря на свою жестокость, другой — вопреки своей храбрости. Но кто бы мог ожидать, говорили они, измены Нар Гаваса, поджога лагеря ливийцев, потери заимфа, неожиданного нападения Гамилькара и в особенности маневра, которым он заставил их вернуться в глубь горы, прямо под удары карфагенян? Спендий не признавался, что струсил, и продолжал утверждать, что сломал ногу.

Трое начальников и шалишим стали обсуждать положение.

Гамилькар преградил им дорогу на Карфаген; они были зажаты между его войском и владениями Нар Гаваса; тирские города, конечно, перейдут на сторону победителей, так что наемники будут прижаты к морскому берегу, и соединенные силы неприятеля должны вскоре их раздавить. Это неминуемо.

Не было никакой возможности избежать войны — приходилось вести ее не на жизнь, а на смерть. Но как убедить в необходимости нескончаемого боя всех этих людей, павших духом, с не зажившими еще ранами?

— Я беру это на себя! — сказал Спендий.

Два часа спустя человек, появившийся со стороны Гиппо-Зарита, взбежал на гору. Он размахивал какими-то дощечками и так громко кричал, что варвары окружили его.

Дощечки были посланы греческими солдатами из Сардинии. Они советовали своим африканским соратникам зорко следить за Гисконом и другими пленными. Некий Гиппонакт, торговец из Самоса, приехавший из Карфагена, сообщил им, что составляется заговор, чтобы устроить пленным побег. Варварам советовали быть предусмотрительными ввиду могущества Карфагена.

План, задуманный Спендием, сперва не удался, вопреки его надеждам. Близость новой опасности, вместо того чтобы поднять дух воинов, только усилила их боязнь; вспоминая прежние угрозы Гамилькара, они ждали чего-то непредвиденного и страшного. Ночь протекла в тревоге; некоторые даже сняли оружие, чтобы разжалобить суффета, когда он явится.

На следующий день, в третью смену дневной стражи, прибежал второй гонец, еще более запыхавшийся и почерневший от пыли. Грек вырвал у него из рук свиток

папируса, покрытый финикийскими письменами. В нем наемников умоляли не падать духом; тунисские храбрецы прибудут к ним на помощь с большими подкреплениями.

Сначала Спендий прочел письмо три раза подряд; затем, с помощью двух каппадокийцев, которые посадили его к себе на плечи, он переправлялся с места на место и всюду читал послание. Целых семь часов он неустанно ораторствовал.

Он напоминал наемникам обещания Великого совета, африканцам говорил о жестокости управителей, всем варварам — о несправедливости Карфагена. Мягкость суффета была приманкой, на которую их хотят поймать. Тех, кто перейдет к Карфагену, продадут в рабство, побежденных замучают. Бежать некуда. Ни один народ не примет их. Если же они будут продолжать войну, то впереди — свобода, отмщение, деньги. Им не придется долго ждать — Тунис и Ливия спешат им на помощь. Он показал им развернутый свиток папируса.

— Смотрите, читайте! Вот их обещания! Я не лгу.

Бродили собаки с окровавленными черными мордами. Знойное солнце жгло обнаженные головы. Страшное зловоние поднималось от плохо зарытых трупов. Иные высунулись из земли до половины. Спендий призывал мертвецов в свидетели своей правоты, потом сжимал кулаки, угрожая Гамилькару.

Мато наблюдал за ним, и Спендий, чтобы скрыть свою трусость, начал проявлять гнев, который мало-помалу стал казаться подлинным ему самому. Предавая себя богам, он призывал на карфагенян проклятия. Пытки, учиненные над пленными,— детская игра. Зачем щадить их и тащить за собой этот ненужный скот?

— Нет, покончим с ними! Мы знаем, что они замышляют. Если уцелеет хоть один, он может нас погубить. Никакой пощады! Лучших видно будет по быстроте ног и силе удара.

Они вновь вернулись к пленным. Несколько человек еще хрипели; их прикончили, всовывая им в рот клинок ножа или же добивая острием копий.

Затем они вспомнили о Гисконе; его нигде не было видно, и варваров охватила тревога. Они хотели убедиться в его смерти, а также участвовать в его убийстве. Три самнитских пастуха обнаружили его в пятнадцати шагах от места, где стояла палатка Мато. Узнав его по длинной бороде, они позвали других.

Он лежал на спине, вытянув руки вдоль бедер и сжав колени, похожий на мертвеца, которого обрядили для погребения. Но его тощие бока опускались и поднимались, глаза, широко раскрытые на бледном лице, глядели упорным взглядом, который невозможно было выдержать.

Варвары смотрели на Гискона с изумлением. С тех пор как он жил во рву, о нем почти забыли; смущенные старыми воспоминаниями, они держались поодаль и не решались поднять на него руку.

Но те, кто стоял позади, ворчали и подталкивали один другого; наконец из толпы вышел гарамант, размахивая серпом; все поняли его намерение. Лица у всех раскраснелись; охваченные стыдом, они заревели:

— Да, да!

Человек с серпом подошел к Гискону. Он взял его за голову, и, прижав ее к своему колену, стал быстро отпиливать. Голова упала; две широкие струи крови пробуравили дыру в пыли. Зарксас схватил голову и легче леопарда побежал по направлению к карфагенянам.

Поднявшись на две трети горы, он вынул спрятанную на груди голову Гискона и, схватив ее за бороду, быстро завертел; брошенная голова, описав длинную параболу, исчезла за карфагенским окопом.

Вскоре у края частокола показались два крестообразно укрепленных знамени — это было требование выдачи трупов.

В ответ четыре глашатая, выбранные за ширину груди, подошли к лагерю противника с медными трубами и провозгласили, что отныне между карфагенянами и варварами нет ни согласия, ни жалости, ни общности богов; что они заранее отказываются от переговоров, и если им пошлют послов, то они отправят их обратно с отрубленными руками.

Спендия послали в Гиппо-Зарит за съестными припасами. Тирский город выслал их в тот же вечер; наемники жадно набросились на еду. Насытившись, они поспешили собрать остатки поклажи и свое изломанное оружие; женщины столпились посредине. Не заботясь о плакавших раненых, они быстро двинулись по берегу реки, как убегающая стая волков.

Они шли на Гиппо-Зарит с решением взять его, ибо им нужен был город.

Завидев их издали, Гамилькар пришел в отчаяние, хотя бегство варваров и льстило его самолюбию. Следова-

ло напасть на них тотчас же со свежими силами. Еще один такой день — и война была бы окончена! Если медлить, они вернутся с подкреплением, так как тирские города присоединятся к ним; его милосердие к побежденным оказалось бесполезным. Отныне он решил быть беспощадным.

В тот же вечер он отправил Великому совету дромадера, нагруженного браслетами, снятыми с мертвых варваров, и со страшными угрозами потребовал, чтобы ему прислали еще одно войско.

Гамилькара уже давно считали погибшим, и весть о его победе всех поразила и привела в ужас. Неопределенное упоминание о возвращении заимфа довершало впечатление чуда. Значит, боги и сила Карфагена отныне принадлежат ему.

Никто из врагов Гамилькара не решался жаловаться или обвинять его. Благодаря преклонению перед ним одних и трусости других войско в пять тысяч человек было готово еще до назначения срока.

Оно быстро пришло в Утику с целью укрепить тыл суффета, в то время как три тысячи лучших солдат сели на корабли, чтобы отплыть в Гиппо-Зарит, где они должны были отразить варваров.

Командование взял на себя Ганнон, но он поручил войско своему помощнику Магдасану, а сам отправился с десантным отрядом, так как не мог выносить передвижения на носилках. Недуг, изъевший ему губы и ноздри, распространился еще дальше: глубокое отверстие появилось на щеке; в десяти шагах можно было заглянуть ему в горло; он знал, что вид его отвратителен, и, как женщина, закрывал себе лицо покрывалом.

Гиппо-Зарит не исполнил его требований, как, впрочем, и требований варваров. Но каждое утро жители спускали варварам съестные припасы с высоты башен и, ссылаясь на угрозы Республики, умоляли их уйти. Ту же самую просьбу они передавали знаками карфагенянам, которые стояли на море.

Ганнон довольствовался блокадой порта — он не решался на приступ. Он только убедил судей Гиппо-Зарита пустить в город триста воинов. Потом он направился к Виноградному мысу и сделал большой крюк, чтобы окружить варваров, хотя это было не нужно и даже опасно. Из зависти к суффету он не хотел идти к нему на помощь: он останавливал лазутчиков Гамилькара, мешал

выполнению его планов и тормозил кампанию. Наконец Гамилькар написал Великому совету, прося убрать Ганнона, и тот вернулся в Карфаген, взбешенный низостью старейшин и безумием Гамилькара. Ни одна из надежд не сбылась, положение стало еще более плачевным; об этом старались не думать и даже не говорить.

К довершению несчастий узнали, что сардинские наемники распяли своего военачальника, овладели крепостями и поубивали людей ханаанского племени. Рим угрожал Республике немедленной войной, если она не уплатит тысячу двести талантов и не уступит всей Сардинии. Рим вошел в союз с варварами и послал им плоскодонные суда, груженные мукой и сушеным мясом. Карфагеняне погнались за судами и захватили пятьсот человек, но три дня спустя корабли, шедшие из Бизацены с грузом съестных припасов для Карфагена, потонули во время бури. Боги явно были против Карфагена.

Тогда жители Гиппо-Зарита, подняв фальшивую тревогу, вызвали на стены города трехсот солдат Ганнона, схватили их за ноги и сбросили вниз. За теми, кто не убился, была снаряжена погоня, и они, бросившись в море, потонули.

Утика терпела воинов в своих стенах, потому что Магдасан выполнил приказ Ганнона и окружил город, не внимая просьбам Гамилькара. Но этих воинов опоили вином с мандрагорой и зарезали. В то же время подступили варвары; Магдасан бежал, ворота отворились, и с тех пор тирские города проявляли стойкую преданность своим новым друзьям и необычайно враждебно относились к прежним союзникам.

Эта измена делу карфагенян послужила примером для других. Надежды на избавление вновь пробудились. Самые нерешительные племена перестали колебаться. Все пришло в движение. Суффет об этом узнал. Теперь он уже больше не ждал помощи. Казалось, все для него было кончено.

Он поспешил отпустить Нар Гаваса, чтобы тот мог охранять границы своих владений. Сам же решил вернуться в Карфаген, набрать воинов и возобновить войну.

Варвары, укрепившиеся в Гиппо-Зарите, увидели его войско, когда оно спускалось с горы.

Куда направлялись карфагеняне? Их, вероятно, толкал голод, и, обезумевшие от страданий, они, несмотря на слабость, решили дать сражение. Но нет, карфагеняне по-

вернули направо: они бегут. Можно их настигнуть, смять всех сразу. Варвары бросились в погоню.

Карфагенян остановила река, широкая в этом месте, а западного ветра не было. Одни пустились вплавь, другие переправились на щитах; затем продолжали путь. Спустилась ночь и скрыла отступавшее войско.

Варвары не остановились; они двинулись дальше в поисках более узкого места реки. Прибыли люди из Туниса и увлекли с собой жителей Утики. Число варваров все увеличивалось, и карфагеняне, прильнув ухом к земле, слышали в темноте их шаги. Время от времени, чтобы задержать преследователей, Барка давал приказ пустить в них град стрел. Многие были убиты. Когда занялась заря, варвары очутились в Арианских горах, на повороте дороги.

Мато, возглавлявший войско, заметил вдали, на возвышенности, что-то зеленое. Путь пошел под уклон, показались обелиски, купола, дома. Это был Карфаген!

Мато прислонился к дереву, чтобы не упасть,— так сильно забилось у него сердце.

Он думал о том, что произошло в его жизни со времени, когда он последний раз был в Карфагене. Он был изумлен неожиданным возвращением, у него кружилась голова. Потом его охватила радость при мысли, что он вновь увидит Саламбо. Он вспомнил, что имел все основания питать к ней ненависть, но тотчас же отбросил эту мысль. Весь дрожа, напрягая зрение, он глядел на высокую террасу дворца за Эшмуном, над пальмами; улыбка восторга светилась на его лице, точно великий свет озарял его. Он раскрывал объятия, посылал поцелуи и шептал: «Приди ко мне! Приди!» Из груди его вырвался вздох, две слезы, подобные продолговатым жемчужинам, упали на бороду.

— Что ты медлишь? — воскликнул Спендий.— Скорей! Вперед! Не то суффет ускользнет от нас!.. Но у тебя дрожат колени, ты смотришь на меня, как пьяный!

Он топал ногами от нетерпения и торопил Мато. Щуря глаза, точно при виде давно намеченной цели, он воскликнул:

— Мы настигли их! Настигли! Они у меня в руках!

У Спендия был такой уверенный и торжествующий вид, что он вывел Мато из забытья и увлек своим воодушевлением. Мато чувствовал себя глубоко несчастным, отчаяние овладело им, а слова Спендия возбуждали в нем

чувство мести, давали пищу его гневу. Он вскочил на одного из верблюдов, которые находились в обозе, и сорвал с него недоуздок; длинной веревкой он хлестал отстававших воинов и носился направо и налево в тылу войска, как собака, подгоняющая стадо.

При звуках его громового голоса ряды сплотились, даже хромые ускорили шаг. Посредине перешейка расстояние, разделявшее войска, сократилось. Передовые ряды варваров шли в пыли, поднятой карфагенянами. Войска сближались; варвары настигли карфагенян. Но в это время растворились ворота Малки, Тагаста, а также большие ворота Камона. Карфагенское войско разделилось; три колонны вошли в ворота и сгрудились под их сводами. Вскоре сплоченная масса войска вынуждена была остановиться; острия копий сталкивались, стрелы варваров звенели, ударяясь о стены.

На пороге Камонских ворот показался Гамилькар. Он обернулся и крикнул солдатам, чтобы они расступились; потом сошел с коня и, ткнув его мечом в круп, погнал на варваров.

То был орингский жеребец, которого кормили скатанными из муки шариками, и он умел сгибать колени, чтобы хозяину легче было садиться в седло. Почему Гамилькар погнал его? Не было ли это намеренной жертвой?

Огромный конь мчался среди копий, опрокидывал солдат, путался среди них, падал, потом в бешенстве вскакивал; пока они пытались остановить жеребца или изумленно на него смотрели, карфагеняне перестроились и вошли в город. Тяжелые ворота гулко захлопнулись за ними.

Ворота не уступили напору варваров — варвары были прижаты к ним; в течение нескольких минут все их войско колыхалось, затем колыхание стало стихать и наконец прекратилось.

Карфагеняне выставили войска на акведуке. Воины стали бросать в неприятеля камни, ядра, балки. Спендий убедил варваров не упорствовать. Они расположились в отдалении с твердым намерением начать осаду Карфагена.

Весть о войне вышла за границы пунических владений; от Геркулесовых столпов и далеко за пределами Кирены мечтали о войне пастухи, сторожившие стада, о ней же говорили в караванах ночью при свете звезд. Нашлись люди, которые осмелились напасть на великий Карфаген, властвующий над морями, блистательный, как солнце, и

страшный, как бог! Не раз утверждали, что Карфаген пал, и слухам верили, потому что этого желали все: покоренные племена, обложенные данью деревни, присоединившиеся провинции и независимые орды — те, кто ненавидел Карфаген за тиранию, завидовал его власти или же зарился на его богатства. Самые храбрые поспешили присоединиться к наемникам. Поражение при Макаре остановило остальных. Но они снова воспрянули духом, выступили, приблизились; жители из восточных областей скрывались в клипейских дюнах, по ту сторону залива, и, как только показались варвары, они вышли к ним.

То были не ливийцы из окрестностей Карфагена — те уже давно составляли третье войско,— а кочевники с плоскогорья Барки, разбойники с мыса Фиска и мыса Дернэ, из Фаццаны и Мармарики. Они прошли через пустыню, утоляя жажду из солоноватых колодцев, выложенных верблюжьими костями; зуаеки, украшавшие себя страусовыми перьями, явились на квадригах; гараманты, закрывавшие лицо черным покрывалом, ехали, сидя на крупах раскрашенных кобыл; другие — на ослах, на онаграх, зебрах и буйволах; некоторые тащили за собой вместе с семьями и идолами кровли своих хижин, имевшие форму лодок. Пришли также амонийцы, у которых кожа сморщилась от горячей воды источников; атаранты, проклинавшие солнце; троглодиты, которые со смехом хоронили своих мертвецов под ветвями деревьев; отвратительные авзейцы, поедавшие саранчу; ахирмахиды, которые едят вшей, и вымазанные киноварью гизанты, которые едят обезьян.

Все они выстроились вдоль взморья и двинулись вперед, точно вихри песка, поднимаемые ветром. На середине перешейка пришельцы остановились,— наемники, расположившиеся перед ними у стен, не хотели двинуться с места.

Со стороны Арианы показались обитатели запада — нумидийцы. Нар Гавас правил только массилийцами; к тому же обычай позволял им покинуть царя после поражения; поэтому они собрались на берегах Заина и переправились через реку при отступлении Гамилькара. Прежде всего примчались охотники из Малетут-Ваала и из Гарафа, одетые в львиные шкуры, они погоняли древками копий тощих лошадок с длинными гривами; за ними шли гетулы в панцирях из змеиной кожи; затем фарусийцы в высоких венцах из воска и древесной смолы; сзади всех

следовали коны, макары, тиллабары; у каждого были в руках два метательных копья и круглый щит из гиппопотамовой кожи. Они остановились близ катакомб у начала лагуны.

Но когда передвинулись ливийцы, на месте, которое они занимали, показались, подобно облаку, стелющемуся по земле, полчища негров. Они пришли из Гаруша-белого и Гаруша-черного, из пустыни авгилов и даже из большой страны Агазимбы, расположенной в четырех месяцах пути на юг от гарамантов, и даже из более отдаленных мест. Несмотря на то, что на них были украшения из красного дерева, грязная черная кожа делала их похожими на вывалянные в пыли тутовые ягоды. Они носили штаны из волокон коры, туники из высушенных трав, а на голову надевали морды диких зверей. Завывая, как волки, они потрясали железными прутьями, снабженными кольцами, и размахивали коровьими хвостами, привязанными к палкам наподобие знамен.

За нумидийцами, маврузийцами и гетулами теснились желтые люди, жившие в кедровых лесах за пределами Тагира. Колчаны из кошачьих шкур висели у них за плечами, и они вели на привязи огромных, как ослы, собак, которые не умели лаять.

Наконец, как будто Африка была еще недостаточно широко представлена и для скопления диких страстей требовалось присутствие низших племен, появились люди с звериным профилем, смеявшиеся бессмысленным смехом,— несчастные существа, изъеденные отвратительными болезнями, уродливые пигмеи, мулаты смешанного пола, альбиносы, мигавшие на солнце красными глазами; они произносили невнятные звуки и клали в рот пальцы, чтобы показать, что хотят есть.

Смесь оружия была не меньшей, чем разнообразие племен и одежд. Здесь имелись все орудия смерти, начиная с деревянных кинжалов, каменных топоров и трезубцев из слоновой кости до длинных сабель, зазубренных, как пилы, очень тонких, сделанных из гнувшегося медного клинка. У многих были ножи, разделенные на несколько ответвлений наподобие рогов антилопы, а также резаки, привязанные к веревке, железные треугольники, дубины, шила. Эфиопы из Бамбота носили в волосах маленькие отравленные стрелы. Некоторые притащили мешки с камнями. Другие, явившиеся невооруженными, щелкали зубами.

Это скопище все время находилось в движении. Дро-

мадеры, вымазанные дегтем, как корабли, опрокидывали женщин, которые несли детей у бедер. Провизия вываливалась из корзин; люди давили куски соли, свертки камеди, гнилые финики, орехи гуру. У иных на груди, покрытой паразитами, висел на тонком шнурке драгоценный камень — из тех, за которыми охотились сатрапы,— алмаз баснословной ценности, на который можно было купить царство. Большинство даже не знали, чего они хотят. Этих людей гнало вперед ослепление, любопытство. Кочевые племена, никогда не видавшие города, пугались тени крепостных стен.

Перешеек был теперь усеян людьми; эта длинная полоса земли, где палатки казались хижинами, затопленными водой, тянулась до первых рядов наемников, сверкавших железным оружием и симметрично расположенных по обе стороны акведука.

Карфагеняне не оправились еще от испуга, вызванного появлением африканцев, как увидели двигавшиеся прямо на них не то чудовища, не то целые здания. Это были осадные машины с мачтами, коромыслами, веревками, коленами, карнизами и щитами — осадные машины, посланные тирскими городами: шестьдесят карробаллист, восемьдесят «онагров», тридцать «скорпионов», пятьдесят толленонов, двенадцать таранов и три огромные катапульты, которые метали камни весом в пятнадцать талантов. Массы людей толкали их, уцепившись за низ; каждый их шаг сотрясал машины, которые остановились наконец против стен.

Понадобилось еще много дней, чтобы закончить приготовления к осаде. Наемники, наученные прежними поражениями, не хотели вступать в бесполезные схватки. Обе стороны не спешили, хорошо зная, что должен начаться страшный бой, который приведет к победе или к полному разгрому.

Карфаген мог долго сопротивляться; его широкие стены представляли собой целый ряд входящих и выходящих углов, очень удобных для отражения приступов.

Со стороны катакомб часть стены обрушилась, и в темные ночи между ее глыбами виднелся свет в лачугах Малки, иные из которых стояли выше крепостных валов. Там жили со своими новыми супругами жены наемников, выгнанные Мато. Увидев варваров, они не могли сдержать свои чувства, махали им издали шарфами, потом приходили в темноте поговорить с ними сквозь щели в стене,

и Великий совет вскоре узнал, что все женщины сбежали. Одни пробрались между камнями, другие, более отважные, спустились вниз при помощи веревок.

Наконец Спендий решил осуществить свой давнишний замысел. До сих пор ему мешала война, которая держала его вдали от Карфагена. Теперь, когда войско варваров вновь было перед городом, Спендию казалось, что население догадывается о его намерении. Но вскоре стражи на акведуке стало меньше: не хватало людей для защиты стен.

Бывший раб упражнялся несколько дней, пуская стрелы во фламинго на озере. Потом однажды, лунным вечером, он попросил Мато зажечь ночью большой костер из соломы; одновременно воины должны были поднять крик. Взяв с собой Зарксаса, он направился вдоль залива в сторону Туниса.

На высоте последних арок они свернули прямо к акведуку; место было открытое, пришлось ползти до подножия столбов.

Часовые спокойно ходили взад и вперед по площадке.

Показались высокие языки пламени, зазвучали трубы; караульные, думая, что начинается приступ, бросились в сторону Карфагена.

Один из них, однако, остался, и его черный силуэт вырисовывался на фоне неба. За спиной часового светила луна, и его огромная тень падала на равнину, точно движущийся обелиск.

Друзья подождали, когда он пройдет мимо них.

Зарксас схватил пращу. Спендий из осторожности, а может быть в силу своей жестокости, остановил его.

— Нет, свист ядра могут услышать! Предоставь это дело мне!

Он изо всех сил натянул лук, прижав нижний его конец к большому пальцу левой ноги; затем прицелился, и стрела полетела.

Человек на стене не упал, а исчез.

— Если б он был ранен, мы бы услышали! — сказал Спендий и стал быстро подниматься наверх, так же как в первый раз, при помощи веревки и багра. Когда он очутился на площадке подле трупа, он спустил веревку. Балеар привязал к ней кирку с долбнем и ушел.

Трубы замолкли. Все снова затихло. Спендий поднял одну из плит, вошел в воду и опустил за собой плиту.

Рассчитав расстояние по количеству своих шагов, он

дошел до того места, где заметил раньше косую трещину; в течение трех часов, пока не рассвело, он без устали, до ожесточения трудился, едва дыша, вбирая в себя воздух из скважин между верхними плитами, преисполненный ужаса, думая, что умирает. Наконец раздался треск: огромный камень полетел вниз, отскакивая от нижних арок,— и вдруг водопад, целая река низринулась с неба на равнину. Акведук, разрезанный посредине, стал изливать всю воду. Это была смерть для Карфагена и победа для варваров.

В одно мгновение проснувшиеся карфагеняне появились на стенах, на домах, на храмах. Варвары толкались, кричали. Они в исступлении плясали вокруг огромного водопада и от избытка радости окунали в него головы.

На верху акведука показался человек в разорванной коричневой тунике. Он наклонился над самым краем, упершись руками в бока, и глядел вниз, словно пораженный плодами своих усилий.

Наконец он выпрямился, торжествующим взором окинул окрестность, как бы говоря: «Теперь все это мое». Варвары рукоплескали, карфагеняне, поняв наконец, какое несчастье их постигло, выли от отчаяния. А Спендий бегал по площадке и, как возница победившей на Олимпийских играх колесницы, вздымал руки, обезумев от горделивой радости.

XIII
МОЛОХ

Варвары не нуждались в окопах со стороны Африки — она принадлежала им. Чтобы облегчить себе доступ к крепостным стенам, они разрушили укрепление, окаймлявшее ров. Мато построил войско двумя большими полукругами, чтобы лучше окружить Карфаген. Гоплиты наемников стояли впереди, за ними находились пращники и конница; сзади разместился обоз, повозки, кони; в трехстах шагах от башен вздымались машины.

Названия этих машин менялись несколько раз в течение веков, устройство же их было двоякое: одни действовали, как пращи, другие — как луки.

Катапульты состояли из четырехугольной рамы с двумя вертикальными подпорами и горизонтальной перекладиной. В передней части цилиндр, снабженный канатами, придерживал большое дышло с желобом для снарядов;

низ цилиндра был опутан кручеными нитями; когда отпускали канаты, цилиндр поднимался и ударял по перекладине; от сотрясения ее метательная сила увеличивалась.

Машины второго типа были сложнее: на маленькой колонке лежала перекладина, от середины которой шло под прямым углом нечто вроде канала; на концах перекладины находились два шлема с канатами из конских волос; здесь укреплены были две небольшие балки, поддерживавшие концы веревки, которую спускали вниз канала, на бронзовую пластинку. Посредством пружины металлическая пластинка отделялась и, скользя по желобкам, выталкивала стрелы.

Катапульты назывались также онаграми по их сходству с дикими ослами, которые швыряют камни ногами, а метательные машины — «скорпионами», потому что на пластинке имелся крючок, который, опускаясь от удара кулаком, приводил в действие пружину.

Сооружение машин требовало искусных выкладок; дерево для них выбиралось самое твердое; зубчатые колеса делались из бронзы; машины были снабжены рычагами, блоками, во́ротами или барабанами; крепкие стержни определяли различное направление метательных снарядов; цилиндры служили для передвижения; самые громоздкие машины, которые нужно было привозить по частям, собирались на виду у неприятеля.

Спендий установил три большие катапульты у трех главных углов; перед воротами он поставил по тарану, перед каждой башней — по метательной машине, а сзади с места на место переезжали машины, укрепленные на повозках. Следовало только обезопасить их от огня осаждаемых и прежде всего закопать ров, отделявший их от стен.

Подвезли решетки из зеленого камыша и дубовых дуг, похожие на огромные щиты, передвигавшиеся на трех колесах. Маленькие хижины, покрытые свежими шкурами и выложенные водорослями, укрывали работников; катапульты и стрелометы защищены были занавесями из веревок, вымоченных в уксусе, чтобы сделать их несгораемыми. Женщины и дети собирали камни на берегу, рыли землю руками и приносили ее воинам.

Карфагеняне тоже готовились.

Гамилькар поспешил успокоить население, объявив, что воды в цистернах хватит на сто двадцать три дня.

Это уверение, равно как и его присутствие в городе, в особенности же возвращение заимфа вселило надежду в сердца жителей. Карфаген воспрянул; людям, не принадлежавшим к ханаанскому племени, и тем передалась бодрость духа.

Вооружили рабов, опустошили арсеналы; у каждого жителя был свой пост, каждому было поручено определенное дело. Тысяча двести человек из перебежчиков остались в живых, и суффет сделал их всех начальниками; плотники, оружейники, кузнецы и золотых дел мастера были приставлены к машинам. Карфагеняне сохранили несколько машин вопреки условиям мира с римлянами. Машины починили. Карфагеняне были мастера этого дела.

Две стороны города, северная и восточная, защищенные морем и заливом, оставались неприступными. На стену, обращенную к варварам, притащили стволы деревьев, жернова, сосуды с серой, чаны с растительным маслом и сложили там печи. Кроме того, на верхних площадках башен навалены были кучи камней; дома, примыкавшие к насыпи, набили песком, чтобы укрепить ее и расширить.

Эти приготовления раздражали варваров. Им хотелось тотчас же начать бой. Но тяжесть, которой они нагрузили катапульты, была так велика, что дышла сломались — приступ пришлось отложить.

Наконец, на тринадцатый день месяца Шебара, на восходе солнца, раздался сильный стук в Камонские ворота.

Семьдесят пять воинов тянули канаты, прикрепленные к основанию гигантского бревна, горизонтально висевшего на цепях, которые спускались со столбов; бревно заканчивалось бронзовой бараньей головой. Оно было обернуто в бычьи шкуры; в нескольких местах его обхватывали железные обручи; бревно было в три раза толще человеческого тела, длиной в сто двадцать локтей, и, подталкиваемое бесчисленными голыми руками, оно приближалось и отступало, мерно покачиваясь.

Тараны, установленные у других ворот, тоже пришли в действие. В полых колесах барабанов видны были люди, поднимавшиеся со ступеньки на ступеньку. Блоки и шлемы заскрипели, веревочные завесы опустились, и разом вылетели заряды камней и стрел. Пращники, расставленные в разных местах, бросились вперед. Некоторые подходили к окопу, пряча под щитом горшки со смолой, а затем со всего размаху бросали их во врага. Камни, стрелы и огни перелетали через первые ряды и описывали

дугу, которая оканчивалась за стенами города. Но над стенами появились высокие краны для обмачтовывания кораблей, вниз спустились огромные клещи, заканчивавшиеся двумя зубчатыми полукругами. Они вцепились в таран. Солдаты, ухватившись за бревно, тянули его назад. Карфагеняне всеми силами старались поднять его, и эта схватка длилась до вечера.

Когда на следующий день наемники снова взялись за осадные работы, верх стен оказался выложенным тюками хлопка, холстом и подушками, амбразуры заткнуты циновками, а на валу, между мачтовыми кранами, виден был ряд вил и досок, прикрепленных к палкам. Началось яростное сопротивление.

Стволы деревьев, охваченные канатами, падали и вновь поднимались, ударяя в тараны; железные крюки, выбрасываемые метательными машинами, срывали крыши с хижин; с площадок башен низвергались целые потоки кремней и валунов.

Тараны разбили Камонские и Тагастские ворота. Но карфагеняне нагромоздили внутри такое количество строительного материала, что ворота не растворялись.

Тогда варвары подвели к стенам буравы,— врезаясь между глыбами, буравы должны были расшатать их. Машины теперь лучше управлялись, так как воины, обслуживающие их, были разделены на отряды; они работали без перебоя с утра до вечера с точностью ткацкого станка.

Спендий управлял машинами, не зная устали. Он сам натягивал канаты баллист. Для того чтобы напряжение было равным с обеих сторон, канаты стягивали, ударяя по ним поочередно справа и слева до тех пор, пока обе стороны не издавали одинакового звука. Спендий поднимался на рамы машин и тихонько стучал по ним носком, прислушиваясь, как музыкант, который настраивает лиру. Потом, когда дышло катапульты поднималось, когда колонна баллисты дрожала от сотрясений пружины, когда камни вылетали лучами, а стрелы устремлялись потоками, он наклонялся всем телом и вытягивал руки, точно хотел устремиться вслед за ними.

Воины, восторгаясь ловкостью Спендия, исполняли его приказания. Весело выполняя работу, они давали машинам шуточные названия. Так, щипцы для захвата таранов назывались *волками*, а решетки — *виноградными шпалерами;* себя они называли *ягнятами*, говорили, что готовятся к *сбору винограда;* снаряжая машины, они обра-

щались к «онаграм»: «Лягни их как следует!» — а к «скорпионам»: «Жаль их в самое сердце!» Эти шутки, всегда одни и те же, поддерживали в них бодрость духа. Однако машинам никак не удавалось разрушить вал. Он состоял из двух стен и был заполнен землей; машины сбивали лишь верхушки стен; осажденные каждый раз вновь их возводили. Мато приказал построить деревянные башни такой же высоты, как и каменные. В ров набросали дерна, кольев, валунов, повозок с колесами, чтобы скорее заполнить его; прежде чем ров был засыпан, огромная толпа варваров пришла в движение по всей равнине и подступила к подножию стен, как разбушевавшееся море.

Подвели веревочные лестницы и самбуки, состоявшие из двух мачт, с которых спускалось посредством талей много бамбуков с подвижным мостом внизу. Самбуки были прислонены к стене, и наемники стали подниматься по ним гуськом, держа в руках оружие. Не было видно ни одного карфагенянина, хотя осаждающие прошли уже две трети вала. Но вдруг амбразуры раскрылись, изрыгая, как пасти драконов, огонь и дым; летел песок, проникая в закрепы панцирей; нефть прилипала к одежде; расплавленное олово прыгало по шлемам, выжигало дыры на теле, дождь искр опалял лица,— пустые глазные впадины, казалось, плакали слезами, крупными, как миндалины. У солдат, желтых от масла, загорались волосы. Они бежали, перебрасывая огонь на других. Их тушили издали, бросая им на голову плащи, пропитанные кровью. Даже те, кто не был ранен, оставались стоять как вкопанные, с раскрытым ртом и распростертыми руками.

Приступ возобновлялся в течение нескольких дней; наемники надеялись восторжествовать благодаря своей выдержке и отваге.

Иногда кто-нибудь из них становился на плечи другого, вбивал колышек между камней стены, пользовался им как ступенькой и вколачивал следующий, продолжая подниматься. Защищенные краем амбразур, выступавших из стен, воины поднимались все выше, но, достигнув определенной высоты, падали вниз. Большой ров был переполнен; под ногами живых лежали грудами раненые вперемешку с умирающими и с мертвыми телами. Среди распоротых животов, вытекших мозгов и луж крови обожженные туловища казались черными пятнами; руки и ноги, торчавшие из груды тел, стояли прямо, как шпалеры в сожженном винограднике.

Одних веревочных лестниц было мало; тогда пустили в дело толленоны — сооружения из двух скрепленных под углом балок; в конце верхней балки находилась четырехугольная корзина, где могли поместиться тридцать вооруженных пехотинцев.

Мато хотел войти в первую же снаряженную для отправки корзину. Спендий его удержал.

Люди согнулись над воротами; большая балка поднялась, приняла горизонтальное положение, потом встала почти вертикально и, сильно нагруженная на конце, согнулась, как гигантский камыш. Воины, спрятанные в корзине до подбородка, скорчились; видны были только перья их шлемов. Наконец, когда балка поднялась на пятьдесят локтей, она несколько раз повернулась направо и налево и, точно рука великана, приподнявшего на ладони целое войско пигмеев, поставила на край стен корзину с людьми. Они выскочили, смешались с толпой защитников города и больше не вернулись.

Остальные толленоны были быстро снаряжены. Но для того, чтобы взять город, нужно было бы иметь их в сто раз больше.

Ими пользовались для беспощадного уничтожения врагов; в корзины садились эфиопские стрелки; когда канаты были укреплены, они повисали в воздухе и выпускали отравленные стрелы. Пятьдесят толленонов, поднявшись над амбразурами, окружили Карфаген подобно чудовищным ястребам, а негры с хохотом смотрели, как стража на валу умирала в страшных судорогах.

Гамилькар послал туда своих гоплитов; он давал им пить по утрам настойку из трав, предохранявших от действия яда.

Однажды, темным вечером, он посадил лучших своих воинов на грузовые суда, на доски, и, повернув из гавани направо, высадился с ними у Тении. Потом они подошли к первым рядам варваров и, напав на них с фланга, устроили страшную резню.

Воины спускались ночью на веревках со стен с факелами в руках, уничтожали все осадные работы наемников и снова поднимались наверх.

Мато неистовствовал — малейшее препятствие только усиливало его ярость. Он доходил до нелепостей, до безумия. Мысленно он как-то призвал Саламбо на свидание и стал ждать ее. Она не пришла, и это показалось ему новым предательством. С тех пор он возненавидел ее. Ес-

ли бы Мато увидел ее труп, то, быть может, и отступил бы от города. Он усилил аванпосты, расставил вилы у подножия вала, вырыл волчьи ямы и велел ливийцам притащить целый лес, чтобы сжечь Карфаген, как лисью нору.

Спендий упрямо настаивал на продолжении осады. Он старался изобрести наводящие ужас машины.

Другие варвары, расположившиеся лагерем вдали, на перешейке, были поражены медленностью осады. Они возроптали; их пустили на приступ.

Они бросились к воротам и стали колотить в них ножами и копьями. Голые тела варваров не были защищены, и карфагеняне избивали их в огромном количестве. Наемники радовались этому, ревниво относясь к будущей добыче. Это повело к ссорам и дракам. Поля были опустошены, и вскоре воины стали отнимать друг у друга съестные припасы. Наемники пали духом. Много полчищ ушло, но людей было так много, что это не бросалось в глаза.

Наиболее рассудительные пытались устроить подкопы; рыхлая почва осыпалась. Они переходили рыть в другие места; Гамилькар всегда узнавал о направлении их работ, приложив ухо к бронзовому щиту, и рыл контрмины под дорогой, где должны были передвигаться деревянные башни; когда их приводили в движение, они проваливались в ямы.

Наконец варвары убедились, что город не удастся взять до тех пор, пока не будет воздвигнута до высоты стен длинная земляная насыпь, которая позволит осаждающим сражаться на одном уровне с осажденными. Насыпь решили вымостить, чтобы везти по ней машины. Тогда уж Карфагену не устоять.

Карфаген начал страдать от жажды. Мера воды, за которую брали в начале осады две кезиты, теперь стоила уже серебряный шекель; запасы мяса и хлеба иссякли. Стали опасаться голода. Поговаривали даже о лишних ртах, и это всех привело в ужас.

От Камонской площади до храма Мелькарта на улицах валялись трупы, и так как был конец лета, то сражающимся докучали огромные черные мухи. Старики переносили раненых, а благочестивые люди продолжали устраивать заочные похороны своих родных и друзей, погибших вдали от них во время войны. Восковые статуи с волосами и в одеждах покойников лежали поперек входа в дом. Они таяли от пламени свечей, горевших подле них.

Краска стекала им на плечи, а по лицам живых, которые распевали тягучими голосами похоронные песни, струились слезы.

Толпа наполняла улицы, начальники громко отдавали приказы, и все время слышались удары таранов.

Было так жарко, что раздувшиеся покойники не умещались в гробах. Их сжигали посреди дворов. Из этого узкого пространства пламя перекидывалось на стены, длинные языки огня вырывались наружу, точно кровь, брызжущая из артерий. Так Молох овладел Карфагеном; он охватил валы, катился по улицам, пожирал даже трупы.

На перекрестках стояли люди, носившие в знак отчаяния плащи из подобранного на улицах тряпья. Они поносили старейшин, Гамилькара, предсказывали народу поражение, убеждали его все разрушить и ни с чем не считаться. Самыми опасными были жители, объевшиеся белены: в припадке умоисступления они воображали себя дикими зверями и бросались на прохожих с намерением растерзать их. Вокруг них собиралась толпа, забывая о необходимости защищать Карфаген. Суффет решил действовать подкупом, чтобы обрести сторонников своей политики.

Стремясь удержать в городе дух богов, статуи их заковали в цепи. Надели черные покровы на Патэков и набросили власяницы на алтари; люди старались возбудить гордость и ревность Ваалов, напевая им на ухо: «Неужели ты дашь себя победить? Неужели другие сильнее тебя? Покажи свою силу, помоги нам! Пусть другие народы не говорят: куда девались их боги?»

Тревога не покидала жрецов. Особенно были испуганы жрецы Раббет, ибо возвращение заимфа не принесло никакой пользы. Они заперлись в третьей ограде, неприступной, как крепость. Только один из них решался выходить оттуда: верховный жрец Шагабарим.

Он приходил к Саламбо, но сидел молча, устремив на нее пристальный взгляд. Или же говорил без умолку и осыпал ее еще более суровыми упреками, чем прежде.

Шагабарим не мог бы этого объяснить, но он не прощал Саламбо того, что она его послушалась. Шагабарим все понял, и неотступная мысль о происшедшем терзала его беспомощную ревность. Он обвинял Саламбо в том, что она причина войны. Мато, по его словам, осаждает Карфаген, чтобы вновь овладеть заимфом. И он изливал свои чувства в проклятиях и насмешках над варваром, ко-

торый жаждет обладать святыней. Но жрец хотел сказать совсем не то.

Саламбо нисколько не боялась Шагабарима. Ее тоска рассеялась. Странное спокойствие водворилось у нее в душе. Взгляд ее уже не блуждал, как прежде, он стал ясным, лучистым.

Пифон опять заболел, но так как Саламбо, по-видимому, выздоровела, старуха Таанах радовалась болезни змеи — она была уверена, что змея впитала в себя болезнь ее госпожи.

Однажды утром рабыня нашла пифона за ложем из бычьих шкур. Он лежал свернувшись, холоднее мрамора, и голова его была покрыта червями. На ее крики явилась Саламбо. Она пошевелила труп пифона кончиком сандалии — Таанах была поражена равнодушием госпожи.

Дочь Гамилькара уже не постилась с прежним рвением. Она проводила дни на террасе. Опершись локтями на перила, она глядела вдаль. Края стен в конце города вырисовывались на небе неровными зигзагами, копья часовых казались на них каймой из колосьев. Между башнями она видела осадные работы варваров, а в те дни, когда осада прерывалась, могла даже разглядеть, чем они заняты. Они чинили оружие, смазывали жиром волосы или же отмывали в море окровавленные руки. Палатки были закрыты; вьючных животных кормили; боевые косы на колесницах, стоявших полукругом, казались издали кривыми серебряными саблями, лежащими у подножия гор. Она вспоминала речи Шагабарима и ждала своего жениха Нар Гаваса. Вместе с тем ей хотелось еще раз увидеть Мато, несмотря на то, что она его ненавидела. Из всех карфагенян она одна, быть может, могла бы говорить с ним без страха.

К ней в покои часто приходил отец. Он садился на подушки и смотрел на дочь почти с нежностью, точно находил в созерцании ее отдохновение от своих бранных трудов. Гамилькар не раз осведомлялся о путешествии ее в лагерь наемников. Однажды он даже спросил, не внушил ли ей кто-нибудь мысль отправиться туда. Саламбо отрицательно покачала головой, так гордилась она тем, что спасла заимф.

Под предлогом получения военных сведений суффет неизменно возвращался к Мато. Он не мог понять, что случилось с Саламбо в течение долгих часов ее пребывания в палатке. Саламбо ничего не сказала о Гисконе, ибо

слова имели в ее глазах действенную силу; она боялась, как бы передаваемые кому-нибудь проклятия не обратились против него же. Она скрыла также, что хотела убить Мато, из боязни упреков за то, что она не выполнила этого желания. Она рассказывала, что шалишим был взбешен, кричал, а потом заснул. Больше она ничего не сообщила — быть может, из чувства стыда, а быть может, по своей невинности она не придавала особого значения поцелуям Мато. Все, что тогда произошло, носилось в ее затуманенной голове, как воспоминания о тяжком сне. Она просто не могла бы выразить словами свои чувства.

Однажды вечером, когда отец и дочь сидели вместе, вбежала испуганная Таанах. Она сказала, что во двор пришел старик с ребенком и требует, чтобы его провели к суффету.

Гамилькар побледнел.

— Проведи его сюда,— в волнении проговорил он.

Иддибал вошел и не простерся ниц перед господином. Он держал за руку мальчика, одетого в плащ из козьей шерсти; приподняв капюшон, закрывавший лицо ребенка, он вымолвил:

— Вот он, господин, возьми его!

Суффет и раб удалились в глубину комнаты.

Мальчик продолжал стоять посреди покоя; не столько удивленным, сколько внимательным взглядом осматривал он потолок, мебель, жемчужные ожерелья, лежавшие на пурпуровых тканях, и величественную молодую женщину, склонившуюся к нему.

Ему было лет десять, и он был не выше римского меча. Курчавые волосы осеняли выпуклый лоб. Глаза, казалось, искали широких просторов. Ноздри тонкого носа раздувались. Все его существо озарено было необъяснимым сиянием, исходящим от тех, кто предназначен для великих дел. Когда он сбросил тяжелый плащ, на нем осталась подпоясанная рысья шкура; он с решительным видом попирал пол босыми ножками, побелевшими от пыли. Он, несомненно, угадывал, что совершается нечто важное, и стоял недвижно, заложив руку за спину, нагнув голову и держа палец во рту.

Гамилькар знаком подозвал к себе Саламбо и сказал ей, понизив голос:

— Спрячь мальчика у себя, слышишь? Никто, даже домашние, не должны знать о его существовании.

Уже выйдя из покоя, Гамилькар еще раз спросил Иддибала, уверен ли он, что их никто не видел.

— Никто,— ответил раб.— Улицы были пустынны.

Война распространилась на все провинции, и раб стал тревожиться за сына своего господина. Не зная, где его укрыть, Иддибал проехал в челноке вдоль берега и в течение трех дней лавировал по заливу, разглядывал крепостной вал. В этот вечер, видя, что окрестности Камона пустынны, он быстро пересек проход и высадился вблизи арсенала. Вход в гавань был свободен.

Вскоре варвары построили напротив огромный плот, чтобы помешать карфагенянам выходить из гавани. Они воздвигали деревянные башни и в то же время продолжали строить насыпь.

Все сообщения с внешним миром были прерваны, начался страшный голод.

Убили всех собак, всех мулов, ослов, потом пятнадцать слонов, которых привел суффет. Львы храма Молоха взбесились, и рабы, служители храма, боялись к ним подходить. Сначала им бросали раненых варваров, а потом еще не остывшие трупы; львы стали их есть и околели. В сумерки жители бродили вдоль старых укреплений и собирали между камнями травы и цветы, которые потом кипятили в вине: вино стоило дешевле воды. Другие пробирались к аванпостам врага и крали пищу прямо из палаток; варваров так это поражало, что часто они отпускали пришельцев, не тронув их. Наступил день, когда старейшины решили зарезать тайком лошадей Эшмуна. То были священные лошади, гриву которых жрецы переплетали золотыми лентами; они олицетворяли движение солнца и служили символом огня в его самом высоком выражении. Мясо лошадей, разрезанное на куски одинаковой величины, спрятали за жертвенником. По вечерам, якобы для того чтобы помолиться, старейшины поднимались в храм, втихомолку поедали мясо и уносили под одеждой по куску для своих детей. В отдаленных кварталах, вдали от стен, менее нуждающиеся жители из страха перед другими запирались наглухо у себя в домах.

Камни катапульт и обломки зданий, снесенных в целях защиты, образовали груды развалин среди улиц. Даже в наиболее спокойные часы горожане вдруг с криками пускались бежать; с высоты акрополя огни пожаров казались разбросанными по террасам пурпуровыми лохмотьями, которые кружил ветер.

Три большие катапульты действовали непрерывно, причиняемые ими опустошения были ужасны; голова одного человека отскочила на фронтон дома Сисситов, на улице Кинидзо рожавшая женщина была раздавлена глыбой мрамора, а ее ребенка вместе с ложем отбросило на перекресток Цинасина, где оказалось и одеяло.

Больше всего раздражали жителей снаряды пращников. Они падали на крыши, в сады, во дворы, в то время как люди сидели, тяжело вздыхая, за жалкой трапезой. Смертоносные снаряды снабжены были вырезанными на них надписями, которые отпечатывались на теле раненых. На трупах можно было прочесть ругательства вроде: *свинья, шакал, гад,* а иногда насмешки: *«Вот я и попался!»,* или же: *«Поделом мне!»*

Часть вала, которая тянулась от порта до цистерн, была пробита.

Жители Малки оказались запертыми между старой оградой Бирсы и варварами. Но карфагеняне были заняты укреплением стены и тем, чтобы сделать ее как можно более толстой и высокой; им некогда было думать о жителях Малки; они были оставлены без защиты и все до одного погибли. Несмотря на то, что их ненавидели, эта гибель вызвала возмущение против Гамилькара.

На следующий день он открыл ямы, где хранился хлеб, и его управители роздали этот хлеб народу. В течение трех дней все ели до отвала.

Но жажда от этого сделалась еще более невыносимой, и жителям все время мерещилась нескончаемая струя чистой воды, лившейся из акведука.

Гамилькар не падал духом. Он надеялся на случайность, на какое-нибудь необыкновенное событие, которое все разрешит.

Рабы суффета сорвали серебряные листы с храма Мелькарта; из гавани при помощи вóротов извлекли четыре длинных судна и доставили к подножию Маппал; в стене, обращенной к берегу, проделали отверстие. На этих судах рабы Гамилькара отправились в Галлию, чтобы достать там за какую угодно цену наемников. Гамилькар был в отчаянии, что не смог снестись с царем нумидийцев, так как знал, что он стоит за варварами, готовый на них броситься. Но Нар Гавас не был достаточно силен, чтобы отважиться на это в одиночку. Суффет велел поднять вал на двенадцать пядей, собрать в акрополе весь строительный материал из арсеналов и еще раз исправить машины.

Для катапульт обычно употребляли длинные сухожилия быков или оленей. Но в Карфагене не было ни оленей, ни быков. Гамилькар попросил у старейшин, чтобы жены их пожертвовали свои волосы. Все жены согласились на жертву, но волос оказалось недостаточно. В домах Сисситов содержались тысяча двести взрослых рабынь, предназначенных для продажи в Грецию и Италию; их волосы, упругие благодаря постоянному умащиванию, вполне годились для военных машин. Но убытки были бы потом слишком велики. Поэтому решили взять волосы у жен плебеев. Вполне равнодушные к благу отечества, женщины из народа поднимали отчаянный вопль при появлении слуг старейшин с ножницами в руках.

Новый взрыв ярости потряс варваров. Издали было видно, как они смазывали свои машины жиром мертвецов; другие вырывали у мертвецов ногти и сшивали их, сооружая панцири. Они придумали заряжать катапульты сосудами, полными змей, привезенных неграми. Глиняные сосуды разбивались о каменные плиты, змеи расползались и кишели в таком количестве, точно вылезали из стен. Варвары, недовольные своим изобретением, стали его усовершенствовать; их машины выбрасывали теперь всевозможные нечистоты, человеческие испражнения, куски падали, трупы. Появилась чума. У карфагенян выпадали зубы, десны их побелели, как у верблюдов после долгого пути.

Машины расставили на насыпи, хотя она еще не всюду достигла высоты вала. Перед двадцатью тремя башнями городских укреплений стояли теперь двадцать три деревянные башни. Снова установили все толленоны, а посредине, несколько поодаль, виднелась страшная стенобитная башня Деметрия Полиоркета, которую Спендию удалось наконец соорудить.

Пирамидальная, как Александрийский маяк, она была высотой в сто тридцать локтей, шириной в двадцать три, в девять этажей, суживавшихся к вершине и защищенных бронзовой чешуей; в башне были пробиты многочисленные двери, за которыми находились воины; на верхней площадке стояла катапульта, рядом с нею два стреломета.

Гамилькар приказал воздвигнуть кресты для тех, кто заговорит о том, чтобы сдаться; женщин — и тех привлекли к работе. Все спали на улицах и с тревогой ожидали дальнейших событий.

Однажды утром, незадолго до восхода солнца (был

седьмой день месяца Нисана), карфагеняне услышали страшный шум, поднятый варварами; гремели оловянные трубы, большие пафлагонийские рога ревели, как быки. Все выскочили и бросились к валу.

Целый лес копий, пик и мечей щетинился у подножия. Лес этот ринулся к стенам, за них зацепились лестницы, в амбразурах появились головы варваров.

Бревна, поддерживаемые длинными рядами воинов, ударяли о ворота; туда, где насыпь не доходила до верха вала, наемники подходили сомкнутыми рядами, чтобы разрушить стену; первый ряд сидел на корточках, второй сгибал колени, остальные поднимались все выше, вплоть до последних, стоявших во весь рост. В других местах, чтобы подняться на стену, самые высокие шли впереди; самые низкие — в хвосте; все левой рукой упирали щиты в свои шлемы и так тесно соединили их края, что были похожи на больших черепах. Снаряды скользили по этим косым рядам.

Карфагеняне бросали жернова, толкачи, чаны, бочки, кровати — все, что представляло тяжесть и могло убивать. Некоторые подстерегали врагов в амбразурах с рыбацкими сетями; когда варвар подходил, он запутывался в сетях и бился в них, как рыба. Карфагеняне сами разрушали стенные зубцы; обломки их падали, поднимая густую пыль; стоявшие одна против другой катапульты выпускали снаряды; камни сталкивались и разлетались на тысячи кусков, дождем сыпавшихся на воинов.

Вскоре осажденные и осаждающие слились в длинную вереницу; она выпячивалась в промежутках насыпи и, растягиваясь с обоих концов, извивалась, не подвигаясь вперед. Воины сцеплялись, как борцы, ничком. Женщины, свесившись с амбразур, поднимали вой. Их стаскивали за покрывала; белизна их обнажавшихся тел сверкала под руками негров, которые вонзали в них кинжалы. Задавленные толпою не падали; поддержанные плечами соседей, они двигались несколько минут с остановившимися взглядами. Те, у кого оба виска были пробиты дротиком, качали головой, как медведи. Рты, раскрытые для крика, оставались отверстыми; отрубленные руки взлетали вверх. Много совершалось подвигов, о которых долго рассказывали потом уцелевшие.

С деревянных вышек и каменных башен летели стрелы. Толленоны быстро скользили вверх, а когда варварам удалось разрушить под катакомбами старинное кладбище,

они стали бросать в карфагенян могильные плиты. Под тяжестью перегруженных корзин канаты иногда лопались, и сгрудившиеся в корзинах воины, воздевая руки, летели вниз с огромной высоты.

До полудня ветераны гоплитов осаждали Тению, чтобы проникнуть в гавань и разрушить корабли. Гамилькар велел разложить на крыше Камона огонь из мокрой соломы; дым ослеплял варваров, и они отклонялись влево, усиливая невообразимую сумятицу, происходившую в Малке. Синтагмы, составленные из силачей, пробили трое ворот. Высокие заграждения из досок, утыканных гвоздями, остановили их; четвертые ворота легко уступили напору; варвары кинулись в пролом и скатились в ров, где были устроены западни. В юго-западном углу Автарит со своим отрядом разрушил стену, расселины которой были заткнуты кирпичами. За стеной был откос — и варвары легко поднялись по нему. Дальше, однако, оказалась вторая стена, сложенная из камней и длинных поперечных балок, чередовавшихся, как клетки шахматной доски. Это была галльская кладка, которую суффет применил в силу необходимости. Галлам казалось, что они очутились перед родным городом. Они нехотя повели атаку и вскоре были отброшены.

Дозорный путь был теперь в руках варваров от Камонской улицы до Овощного рынка: самниты приканчивали умирающих рогатинами, или глядели, поставив ногу на стену, вниз, на дымящиеся развалины и на возобновлявшуюся вдали битву.

Пращники, расставленные сзади, продолжали метать снаряды. Но от долгого употребления пружины акарнанских пращей сломались; некоторые солдаты стали, как пастухи, бросать камни рукой, другие посылали свинцовые шары, ударяя их кнутовищем. Зарксас, с черными волосами до плеч, кидался во все стороны и увлекал за собой балеаров. Две сумки висели у него по бокам; он беспрестанно опускал в них левую руку, а правая крутилась у него подобно колесу боевой колесницы.

Мато сначала избегал вступать в бой, чтобы лучше руководить всем войском варваров. Он появлялся то около залива у наемников, то близ лагуны у нумидийцев, то на берегу озера, среди негров; из глубины равнины он гнал к линиям укреплений толпы непрерывно прибывавших солдат. Мало-помалу он приблизился к стенам; запах крови, вид резни и гром труб воспламенили его сердце. Он

вернулся в свою палатку и, сбросив панцирь, надел львиную шкуру, более удобную для битвы. Львиная морда окружала лицо своими зубами; передние лапы скрещивались на груди, задние спускались ниже колен.

Мато оставил на себе широкий пояс, за которым сверкал топор с двойным лезвием, и, взяв большой меч, стремительно бросился вперед через пролом в стене. Подобно работнику, который, обрубая ветви ивы, старается сбить их как можно больше, чтобы лучше заработать, он двигался вперед, уничтожая вокруг себя карфагенян. Тех, кто пытался схватить его сбоку, он опрокидывал ударами рукояти; когда на него бросались спереди, он закалывал нападавших; обращавшихся в бегство рассекал надвое. Два человека вскочили ему на спину; он одним прыжком отступил к воротам и раздавил их. Меч его то опускался, то поднимался и, наконец, раскололся об угол стены. Тогда он схватил тяжелый топор и стал крошить карфагенян, как стадо овец. Они отступали все дальше, и он подошел ко второй ограде у подножия акрополя. Предметы, которые солдаты бросали сверху, загромождали ступени и поднимались выше стен. Мато, очутившись среди развалин, обернулся, чтобы призвать своих воинов.

Он увидел, что перья их шлемов развеваются над толпой; потом они опустились,— это значило, что воины его в опасности. Он поспешил к ним; широкий венец красных перьев сузился, и вскоре соратники пробрались к Мато и окружили его. Из боковых улиц стекалось множество людей. Толпа подхватила Мато, подняла и увлекла обратно — туда, где насыпь была высокая.

Мато громким голосом отдавал приказ; все щиты опустились на шлемы; он вскочил на них, чтобы уцепиться за что-нибудь и войти в Карфаген; продолжая размахивать страшным топором, он бегал по щитам, похожим на бронзовые волны, как морской бог, несущийся по водам.

В это время человек в белой одежде ходил по краю вала, невозмутимый и равнодушный к окружающей его смерти. Иногда он приставлял к глазам правую руку, точно искал кого-то. Мато прошел мимо него внизу. Взор карфагенянина вдруг вспыхнул, и его безжизненное лицо исказилось; подняв тощие руки, он стал громко кричать ему вслед ругательства.

Слов не было слышно, но в сердце Мато проник такой жестокий, такой яростный взгляд, что он зарычал и бросил в кричавшего длинный топор; карфагеняне окружили

Шагабарима; Мато, не видя его более, упал навзничь без слов.

Вблизи раздался страшный скрежет, к которому примешивалось глухое ритмичное пение.

То был скрежет огромной стенобитной машины, окруженной толпою воинов. Они тащили ее обеими руками, тянули веревками и толкали плечами, потому что откос, поднимавшийся с равнины на насыпь, хотя и очень отлогий, затруднял передвижение машин такого необычайного веса; на восьми колесах, обшитых железом, машина подвигалась вперед с самого утра, подвигалась медленно, подобно горе, которая решила бы взойти на другую гору. Потом из-под нее вылез огромный таран; три двери растворились, и в глубине показались, подобно железным колоннам, воины в панцирях. Видно было, как они карабкались вверх и спускались вниз по двум лестницам, проходившим через этажи. Некоторые поджидали, пока крючья дверей коснутся стены, и тогда бросались вперед; на верхней площадке раскручивались канаты метательных машин и опускалось дышло катапульты.

Гамилькар в это время стоял на крыше Мелькарта. По его расчетам, машина должна была направиться прямо к храму и стать против наименее уязвимого места, которое поэтому не охранялось. Давно уже его рабы несли на дозорный путь козьи меха; здесь они воздвигли из глины две поперечные перегородки, образовавшие своего рода бассейн. Вода протекала на насыпь; как ни странно, Гамилькара это не беспокоило.

Когда машина была уже шагах в тридцати от него, он приказал положить доски поверх улиц, между домами, от цистерн до вала; воины, выстроившись в ряд, передавали из рук в руки шлемы и амфоры с водой, которые они неустанно опорожняли. Карфагеняне возмущались такой тратой воды. Таран разрушал стену; вдруг из появившейся трещины хлынула вода, и бронзовая громада в девять этажей, заключавшая в себе более трех тысяч воинов, начала медленно качаться, как корабль. Оказалось, что вода, проникая в глубь насыпи, размывала грунт; колеса машины постепенно увязали, в первом этаже из-за кожаной занавеси показалось лицо Спендия; он дул изо всех сил в трубу из слоновой кости. Огромное сооружение, судорожно приподнявшись, подвинулось еще шагов на десять; но почва все размягчалась, грязь залепила оси колес, и машина остановилась, сильно накре-

нясь, затем скатилась на край площадки и под тяжестью своего дышла упала, разрушив нижние этажи. Стоявшие у дверей воины летели в пропасть или же цеплялись за концы длинных балок и увеличивали своей тяжестью наклон машины, которая с громким треском распадалась на куски.

Варвары бросились на помощь соратникам и столпились вокруг них. Карфагеняне спустились с вала, напали на врагов сзади и стали беспрепятственно убивать их. Но в это время примчались колесницы, чтобы оцепить карфагенян; те снова поднялись на стену. Наступила ночь, и варвары постепенно отошли.

На равнине, от голубоватого залива до белой лагуны, кишели люди; и озеро, куда стекала кровь, расстилалось вдали огромное, багровое.

Насыпь была так завалена трупами, что казалась сложенной из человеческих тел. Посредине возвышалась покрытая бронью стенобитная машина: время от времени огромные части ее отпадали, точно камни рухнувшей пирамиды. На стенах видны были широкие потеки свинца. Горели разрушенные деревянные башни, дома казались развалинами огромного амфитеатра. Поднимались тяжелые клубы дыма, унося искры, угасавшие в темном небе.

Карфагеняне, томимые жаждой, бросились к цистернам. Они выломали двери. В глубине оказалась только мутная жижа.

Что было делать? Варваров оставались несметные полчища, и, отдохнув, они возобновят осаду.

В городе на углах улиц народ совещался всю ночь. Одни говорили, что нужно услать женщин, больных и стариков; другие предлагали покинуть город и основаться где-нибудь вдали, в колонии. Но недоставало кораблей, и до восхода солнца так ничего и не решили.

На следующий день сражения не было — так все устали. Спавшие были похожи на трупы.

Карфагеняне, размышляя о причинах своих несчастий, вспомнили, что не послали в Финикию ежегодные дары Мелькарту Тирийскому, и пришли в ужас. Боги, возмущенные Республикой, будут длить свою месть.

На богов смотрели как на жестоких господ, которых можно умилостивить мольбами или подкупить подарками. Все были беспомощны перед Молохом-всепожирателем. Жизнь и тела людей принадлежали ему; поэтому карфагеняне обычно жертвовали частицей тела, чтобы спасти

себя и укротить его гнев. Детям обжигали горящими фитилями лоб или затылок; этот способ умиротворения Ваала давал жрецам много денег, и они убеждали карфагенян прибегать к нему как к наиболее легкому и мягкому.

На этот раз, однако, дело шло о самой Республике. Всякая польза должна была искупаться какой-нибудь потерей, и все расчеты строились на нуждах слабого и требованиях сильного. Не было поэтому такой муки, которую не следовало бы претерпеть ради Молоха, жаждавшего лицезреть самые страшные пытки, а карфагеняне теперь всецело зависели от его воли. Необходимо было его умилостивить. Примеры показывали, что этим способом можно отвратить напасти. Верили также, что сожжение жертв очистит Карфаген. Жестокость толпы была заранее распалена. К тому же выбор должен был пасть только на знатные семьи.

Члены Совета собрались на совещание, оно тянулось долго. Ганнон тоже явился на него. Сидеть он уже не мог и остался лежать на носилках у двери, полузакрытый бахромой длинных занавесок. И когда жрец Молоха спросил всех, согласны ли они принести в жертву своих детей, голос Ганнона раздался оттуда, как рев духа из глубины пещеры. Он выразил сожаление, что у него самого нет детей, дабы отдать их на заклание, и пристально посмотрел при этом на Гамилькара, сидевшего против него в другом конце залы. Суффета так смутил его взгляд, что он опустил глаза. Все одобрили Ганнона, кивая головами в знак согласия. Следуя ритуалу, суффет вынужден был ответить верховному жрецу:

— Да будет так.

Старейшины постановили совершить жертвоприношение, причем облекли свое решение в обычную иносказательную форму; есть вещи, которые легче исполнить, нежели выразить словами.

Решение Совета стало тотчас же известно в Карфагене. Раздались стенания. Всюду слышались крики женщин; мужья утешали их или осыпали упреками.

Три часа спустя распространилась еще более поразительная весть: суффет открыл источники у подножия утеса. Все побежали туда. В ямах, прорытых в песке, виднелась вода. Несколько человек, лежа на животе, пили ее.

Гамилькар сам не знал, действовал ли он по совету богов или по смутному воспоминанию о тайне, сообщенной ему когда-то отцом; как бы то ни было, покинув Совет, он

спустился на берег и вместе со своими рабами стал рыть песок.

Он начал раздавать одежду, обувь и вино, отдал все оставшиеся у него запасы хлеба, впустил толпу в свой дворец, открыл ей кухни, кладовые и все комнаты, за исключением комнаты Саламбо. Он возвестил, что скоро прибудет шесть тысяч галльских наемников и что македонский царь шлет воинов.

Но уже на второй день источники стали высыхать, а к вечеру третьего дня иссякли. Тогда все снова заговорили о решении старейшин, и жрецы Молоха приступили к его исполнению.

В семьи являлись люди в черных одеждах. Многие родители заранее уходили из дома — якобы по делу или за покупками; слуги Молоха приходили и забирали детей. Другие покорно отдавали их. Детей уводили в храм Танит, где жрицы должны были кормить их и забавлять до наступления торжественного дня.

Эти люди появились внезапно у Гамилькара и, застав его в садах, обратились к нему:

— Барка! Ты знаешь, зачем мы пришли... за твоим сыном.

Они прибавили, что мальчика видели в сопровождении старика лунной ночью минувшего месяца в Маппалах.

Гамилькар едва не задохнулся от ужаса, но, быстро сообразив, что отрицать бесполезно, выразил согласие и ввел пришедших в торговый дом. Прибежавшие рабы стали по знаку своего господина стеречь выходы.

Обезумевший Гамилькар вошел в комнату Саламбо. Одной рукой он схватил Ганнибала, другой сорвал шнурок с валявшейся одежды, связал мальчику ноги и руки, а концом шнурка заткнул ему рот, чтобы он не мог говорить; затем спрятал его под ложем из бычьих шкур, опустив до земли широкое покрывало.

Затем Гамилькар начал ходить взад и вперед; он поднимал руки, кружился, кусал губы, устремив глаза в пространство, и дышал тяжело, как умирающий.

Наконец он ударил три раза в ладоши. Явился Гиденем.

— Послушай,— сказал он,— найди среди рабов мальчика лет восьми-девяти, с черными волосами и выпуклым лбом! Приведи его! Не медли!

Вскоре Гиденем вернулся с мальчиком, жалким, худым и в то же время одутловатым, кожа его казалась та-

кой же серой, как грязные лохмотья, которыми он был покрыт. Он втягивал голову в плечи и тер рукой глаза, залепленные мухами.

Как можно принять его за Ганнибала! Но времени, чтобы найти другого, не было. Гамилькар посмотрел на Гиденема; ему хотелось задушить его.

— Уходи! — крикнул он.

Начальник над рабами убежал.

Значит, несчастье, которого он давно боялся, действительно наступило. Напрягая все силы, он стал придумывать какое-нибудь средство, чтобы избежать его.

За дверью раздался голос Абдалонима. Суффета звали. Служители Молоха выражали нетерпение.

Гамилькар с трудом удержал крик, точно его обожгли раскаленным железом; он опять как безумный забегал по комнате. Потом опустился у перил и сжал кулаками лоб.

В порфировом бассейне оставалось еще немного чистой воды для омовения Саламбо. Несмотря на отвращение и гордость, суффет окунул в воду мальчика и, как работорговец, принялся мыть его и оттирать скребками и глиной. Затем он взял из ящика у стены два четырехугольных куска пурпура, надел ему один на грудь, другой на спину и соединил их у ключиц двумя алмазными пряжками. Он смочил ему голову благовониями, надел на шею янтарное ожерелье и обул в сандалии с жемчужными каблуками, в сандалии своей дочери! Гамилькар дрожал от стыда и гнева. Саламбо, торопясь, помогала отцу и была так же бледна, как и он. Мальчик улыбался, ослепленный великолепием новых одежд, и даже, осмелев, стал хлопать в ладоши и скакать, но Гамилькар потащил его за собой.

Он крепко держал мальчика за руку, точно боясь потерять; мальчику было больно, и он заплакал, продолжая бежать рядом с Гамилькаром.

У эргастула, под пальмой, раздался жалобный, молящий голос. Голос этот шептал:

— Господин, о господин!..

Гамилькар обернулся и увидел человека отвратительной наружности, одного из тех несчастных, которые жили в доме без всякого дела.

— Что тебе? — спросил суффет.

Раб, весь дрожа, пробормотал:

— Я его отец!

Гамилькар продолжал идти; раб следовал за ним, согнув спину и вытянув шею. Лицо его было искажено не-

сказанной мукой. Его душили с трудом сдерживаемые рыдания; ему хотелось и спросить Гамилькара, и закричать: «Пощади!»

Наконец он отважился коснуться локтя суффета.

— Неужели ты его...

У раба не было сил договорить; Гамилькар остановился, пораженный его скорбью.

Он никогда не думал,— до того велика была пропасть, разделявшая их,— что между ними могло быть что-нибудь общее. Это показалось ему оскорблением, покушением на его исключительные права. Он ответил взглядом, более тяжелым и холодным, чем топор палача. Раб без чувств упал на песок к его ногам. Гамилькар перешагнул через него.

Три человека в черных одеждах ждали его в большой зале, стоя у каменного диска. Он тотчас же стал рвать на себе одежды и кататься по полу, испуская пронзительные крики:

— Бедный Ганнибал! Сын мой, утешение мое, надежда, жизнь! Убейте и меня тоже! Возьмите и меня вместе с ним! Горе! Горе!

Он царапал себе лицо ногтями, рвал волосы и выл, как плакальщицы на погребениях.

— Уведите его, я так страдаю! Уходите! Убейте и меня!

Служители Молоха удивлялись тому, что у великого Гамилькара такое слабое сердце. Они были почти растроганы.

Раздался топот босых ног и прерывистый хрип, подобный дыханию бегущего дикого зверя; на пороге третьей галереи между косяками из слоновой кости показался бледный человек, в отчаянии простиравший руки; он крикнул:

— Мое дитя!

Гамилькар одним прыжком очутился возле раба и, закрыв ему рот руками, стал кричать еще громче:

— Этот старик воспитывал его! Он называет его своим сыном. Он с ума сойдет! Довольно! Довольно!

Вытолкнув за плечи трех жрецов и их жертву, он вышел вместе с ними и с силой захлопнул ногою дверь.

Гамилькар остановился, прислушиваясь; он все еще боялся, что жрецы вернутся. Затем он подумал, не следовало ли ему отделаться от раба, чтобы быть уверенным в его молчании; но опасность еще не вполне миновала, и эта смерть могла прогневить богов, обернуться против его же сына.

Изменив свое намерение, он послал рабу через Таанах

лучшее, что было на кухнях: четверть козла, бобы и консервы из гранатов.

Раб давно не ел; он набросился на пищу, и его слезы капали на блюда.

Гамилькар, вернувшись наконец к Саламбо, развязал шнурки и высвободил Ганнибала. Мальчик укусил ему руку до крови. Гамилькар ласково оттолкнул сына.

Чтобы усмирить мальчика, Саламбо стала пугать его Ламией, киренской людоедкой.

— А где она? — спросил он.

Ему сказали, что придут разбойники и посадят его в темницу. Он крикнул:

— Пускай придут, я их убью!

Гамилькар открыл ему страшную правду. Но он рассердился на отца; он сказал, что, будучи властителем Карфагена, отец мог бы уничтожить весь народ.

Наконец, утомленный напряжением и гневом, Ганнибал заснул беспокойным сном. Он бредил во сне, прижавшись спиной к пурпуровой подушке. Голова его слегка откинулась, маленькая рука повелительно вытянулась.

Когда наступила глубокая ночь, Гамилькар осторожно поднял сына и спустился в темноте по лестнице, украшенной галерами. Пройдя мимо складов, он взял корзину винограда и кувшин чистой воды. Мальчик проснулся перед статуей Алета, в пещере, где хранились драгоценные камни; при виде окружающего его сияния он улыбнулся на руках у отца, точь-в-точь как тот, другой мальчик.

Гамилькар был вполне уверен, что никто уже не отнимет у него сына. В эту пещеру нельзя было проникнуть — она соединялась с берегом подземным ходом, известным ему одному. Оглядевшись вокруг, он облегченно вздохнул. Потом он посадил мальчика на табурет около золотых щитов.

Теперь его никто не видел, не было надобности сдерживать себя, и он дал волю своим чувствам. Подобно матери, которой вернули ее первенца, он бросился к сыну, прижал его к груди, смеялся и плакал, называл его ласковыми именами, покрывал поцелуями. Маленький Ганнибал, испуганный его порывистой нежностью, затих.

Гамилькар вернулся неслышными шагами, ощупывая вокруг себя стены. Он пришел в большую залу, куда лунный свет проникал в одно из отверстий купола. Посреди комнаты, вытянувшись на мраморных плитах, спал насытившийся раб.

Гамилькар взглянул на раба, и в нем шевельнулась жалость. Кончиком котурна он пододвинул ему ковер под голову. Затем поднял глаза и посмотрел на Танит, узкий серп которой сверкал на небе; он почувствовал себя сильнее Ваалов и преисполнился презрением к ним.

Приготовления к жертвоприношению уже начались.

В храме Молоха выбили кусок стены, чтобы извлечь медного идола, не касаясь пепла жертвенника. Затем, как только взошло солнце, служители храма двинули идола на Камонскую площадь.

Идол пятился, скользя на подставленных под него валиках; плечи его были выше стен; едва завидя бога, карфагеняне быстро убегали, ибо нельзя безнаказанно созерцать Ваала иначе, как при проявлении его гнева.

По улицам распространился запах благовоний. Двери всех храмов раскрылись; появились скинии богов на колесницах или на носилках, которые несли жрецы. Большие султаны из перьев развевались по их углам, лучи исходили от остроконечных кровель, увенчанных хрустальными, серебряными или медными шарами.

То были ханаанские Ваалы, двойники верховного Ваала; они возвращались к своему первоначалу, чтобы преклониться перед его силой и уничтожиться в его блеске.

В шатре Мелькарта из тонкой пурпуровой ткани сокрыто было керосиновое пламя; на шатре Камона гиацинтового цвета высился фаллос из слоновой кости в венце из драгоценных камней; за занавесками Эшмуна, эфирно-голубого цвета, спал свернувшийся клубком пифон; боги Патэки, которых жрецы несли на руках, похожи были на больших спеленатых детей, пятки их касались земли.

Затем следовали все низшие формы божества: Ваал-Самен, бог небесных пространств; Ваал-Пеор, бог священных высот; Ваал-Зебуб, бог разврата, и боги соседних стран и родственных племен: Ярбал ливийский, Адрамелек халдейский, Киюн сирийский; Дерсето с лицом девственницы передвигалась на плавниках, а труп Таммуза везли на катафалке среди факелов и срезанных волос. Для того чтобы подчинить властителей небесного свода Солнцу и оградить главного бога от влияния каждого из них, жрецы потрясали разноцветными металлическими звездами на высоких шестах. Тут были представлены все светила, начиная с черного Небó, духа Меркурия, до отвратительного Рагаба, воплощенного в созвездии Крокодила.

Абаддиры — камни, упавшие с луны,— кружились в пращах из серебряных нитей; жрецы Цереры несли в корзинах хлебцы, воспроизводившие женский половой орган; другие жрецы шли со своими фетишами, своими амулетами; появились забытые идолы; взяты были даже мистические эмблемы кораблей. Казалось, Карфаген хотел сосредоточиться на мысли о смерти и разрушении.

Перед каждой скинией стоял человек, державший на голове широкий сосуд, в котором курился ладан. Носились облака дыма; сквозь него можно было различить ткани, подвески и вышивки священных шатров. Колесницы двигались медленно, так как были очень тяжелы. Оси их иногда цеплялись за что-нибудь на улицах; благочестивые люди пользовались случаем, чтобы коснуться Ваалов своими одеждами, и потом сохраняли их как святыню.

Медный идол продолжал шествовать к Камонской площади. Богачи, неся скипетры с изумрудными набалдашниками, вышли из Мегары, старейшины, с венцами на головах, собрались в Кинидзо, а управляющие казной, начальники провинций, торговцы, моряки и многочисленные похоронные служители, все со знаками своих должностей или эмблемами своего ремесла, шли к скиниям, которые спускались с акрополя, окруженные жрецами.

В честь Молоха карфагеняне надели свои лучшие драгоценности. Алмазы сверкали на их черных одеждах, но широкие кольца падали с похудевших рук, и ничто не могло быть мрачнее этих безмолвных людей, серьги которых ударялись о бледные щеки, а золотые тиары сжимали лоб, морщившийся от безысходного отчаяния.

Наконец Ваал достиг середины площади. Его жрецы сделали ограду из решеток, чтобы отстранить толпу, и расположились вокруг него.

Жрецы Камона в рыжих шерстяных одеждах выстроились перед своим храмом, под колоннами портика; жрецы Эшмуна, в льняных плащах, с ожерельями из голов кукуфы и в остроконечных тиарах, расположились на ступенях акрополя; жрецы Мелькарта в фиолетовых туниках заняли западную часть площади; жрецы абаддиров, затянутые в повязки из фригийских тканей, стали на востоке, а с южной стороны вместе с кудесниками, покрытыми татуировкой, поместили крикунов в заплатанных одеждах, служителей Патэков и Иидонов, которые предсказывали будущее, держа во рту кость мертвеца. Жрецы Цереры в голубых одеждах остановились из предосторожности на

улице Сатеб и тихими голосами напевали фесмофорий на мегарском наречии.

Время от времени появлялись вереницы совершенно голых людей; расставив руки, они держали друг друга за плечи и исторгали из груди глухие хриплые звуки; их глаза, устремленные на колосса, сверкали в облаках пыли, и они мерно раскачивались, точно были единым телом. Они были в таком неистовстве, что для восстановления порядка рабы, служители храмов, пустили в ход палки и заставили их лечь на землю ничком, лицом на медные решетки.

Из глубины площади выступил человек в белой одежде. Он медленно прошел через толпу, и в нем узнали жреца Танит — верховного жреца Шагабарима. Раздался крик, ибо в этот день были все под властью мужского начала и о богине забыли, даже не заметили отсутствия ее жрецов. Но карфагеняне еще больше удивились, когда увидели, что Шагабарим открыл решетчатую дверь, одну из тех, куда входили для приношения жертв. Жрецы Молоха усмотрели в этом оскорбление, нанесенное их богу; возмущенно размахивая руками, они пытались оттолкнуть его. Упитанные мясом жертв, облаченные в пурпур, как цари, в трехрядных колпаках, они презирали бледного евнуха, изнуренного умерщвлением плоти, и злобный смех сотрясал их черные бороды, расстилавшиеся на груди в виде солнечного сияния.

Шагабарим, не отвечая им, продолжал идти; он медленно пересек огороженное пространство и, оказавшись между ногами колосса, коснулся его с двух сторон, расставив руки, что составляло торжественный ритуал богопочитания. Слишком долго мучила его Раббет; от отчаяния или, быть может, не находя бога, вполне соответствующего его пониманию, он решился избрать своим божеством Молоха.

В толпе, устрашенной таким вероотступничеством, послышался ропот. Порвалась последняя нить, связывавшая души с милосердным божеством.

Шагабарим не мог по своему увечью участвовать в служении Ваалу. Жрецы в красных мантиях изгнали его из ограды; когда он оказался за нею, он обошел жрецов всех богов; затем жрец, оставшийся без бога, исчез в толпе, расступившейся перед ним.

Тем временем между ногами колосса зажгли костер из алоэ, кедра и лавра. Длинные крылья Молоха касались пламени; мази, которыми его натерли, текли по медному

телу, точно капли пота. Вокруг круглой плиты, на которую он опирался ногами, стояли недвижной цепочкой дети, закутанные в черные покрывала; несоразмерно длинные руки бога спускались к ним, точно собираясь схватить этот живой венец и унести его на небо.

Богачи, старейшины, женщины — вся толпа теснилась за жрецами и на террасах домов. Большие раскрашенные звезды перестали кружиться; скинии были поставлены на землю; дым кадильниц поднимался отвесно, точно гигантские деревья, раскинувшие на синеве неба свои голубоватые ветви.

Многие лишились чувств; другие точно окаменели в экстазе. Беспредельная тревога теснила грудь. Последние возгласы затихли; карфагенский народ задыхался, охваченный жаждой ужаса.

Наконец верховный жрец Молоха опустил левую руку под покрывала детей, вырвал у каждого прядь волос на лбу и бросил ее в огонь. Жрецы в красных плащах запели священный гимн:

— Слава тебе, Солнце! Царь двух поясов земли, творец, сам себя породивший, отец и мать, отец и сын, бог и богиня, богиня и бог!..

Голоса их затерялись в реве музыкальных инструментов, на которых заиграли одновременно, чтобы заглушить крики жертв. Восьмиструнные шеминиты, кинноры о десяти и небалы о двенадцати струнах скрипели, свистели, гремели. Огромные мехи, утыканные трубами, звонко щелкали, тамбурины непрерывно гудели; среди грома рожков сальсалимы трещали, как крылья саранчи.

Рабы, служители храмов, открыли длинными крюками семь отделений, расположенных одно над другим по всему телу Ваала. В самое верхнее положили муку; во второе — двух голубей; в третье — обезьяну; в четвертое — барана, в пятое — овцу. А так как для шестого не оказалось быка, то туда бросили дубленую шкуру, взятую из храма. Седьмое отделение оставалось открытым.

Прежде чем что-либо предпринять, нужно было испробовать, как действуют руки идола. Тонкие цепочки, начинавшиеся у пальцев, шли к плечам и спускались сзади; когда их тянули книзу, раскрытые руки Молоха поднимались до высоты локтей и сходились на животе. Их несколько раз привели в движение короткими, прерывистыми толчками. Инструменты смолкли. Пламя бушевало.

Жрецы Молоха ходили по широкой плите, всматриваясь в толпу.

Нужна была жертва отдельного человека, жертва совершенно добровольная, так как считалось, что она увлечет за собою других. Никто пока не являлся. Семь проходов от барьеров к колоссу оставались пустыми. Чтобы увлечь толпу примером, жрецы вынули из-за поясов острые шила и стали наносить себе раны на лице. В ограду впустили Посвященных, которые до этого лежали, распростершись на земле. Им бросили связку страшных железных орудий; и каждый из них избрал себе пытку. Они вонзали себе вертела в грудь, рассекали щеки, надевали на головы терновые венцы; потом схватились за руки и, окружив детей, образовали второй большой круг, который то сжимался, то расширялся. Они приближались к перилам, затем отступали, снова приближались и проделывали это вновь и вновь, маня к себе толпу головокружительным хороводом среди крови и криков.

Мало-помалу люди заполнили проходы; они бросали в огонь жемчуга, золотые сосуды, чаши, светильники, все свои богатства; дары становились все более щедрыми и многочисленными. Наконец шатающийся человек с бледным, искаженным от ужаса лицом толкнул вперед ребенка; в руках колосса очутилась маленькая черная ноша; она исчезла в темном отверстии. Жрецы наклонились над краем большой плиты, и вновь раздалось пение, славящее радость смерти и воскресение в вечности.

Жертвы поднимались медленно, и так как дым восходил клубами к небу, казалось, будто они исчезают в облаке. Никто из них не шевелился; все были связаны по рукам и по ногам; под темными покрывалами они ничего не видели, и их нельзя было узнать.

Гамилькар, в красном плаще, как все жрецы Молоха, стоял около Ваала, у большого пальца его правой ноги. Когда привели четырнадцатого мальчика, все заметили, что Гамилькар отпрянул в ужасе. Но вскоре, приняв прежнюю позу, он скрестил руки и опустил глаза. С другой стороны статуи верховный жрец стоял так же неподвижно, как и он. Склонив голову, отягченную ассирийской митрой, жрец смотрел на сверкавшую у него на груди золотую бляху; она была покрыта вещими камнями и в отблесках пламени вспыхивала радугой. Он был бледен, растерян. Гамилькар потупился; оба они находились так близко от костра, что края их плащей, приподнимаясь, по временам касались огня.

Медные руки двигались все быстрее и быстрее, бес-

прерывно. Каждый раз, когда на них клали ребенка, жрецы Молоха простирали над ним руку, чтобы взвалить на жертву преступления народа, и громко кричали: «Это не люди, это быки!» Толпа кругом ревела: «Быки! Быки!» Благочестивые люди кричали: «Есть, властитель!» А жрецы Прозерпины, подчиняясь из страха требованиям Карфагена, бормотали элевсинскую молитву:

— Пролей дождь! Роди!

Едва очутившись на краю отверстия, жертвы исчезали, как капли воды на раскаленном металле, и белый дым поднимался среди багрового пламени.

Но голод божества не утолялся; оно требовало новой пищи. Ему нагружали руки, стянув жертвы сверху толстой цепью. Верные служители Ваала начали было считать число жертв, чтобы узнать, соответствует ли оно числу дней в солнечном году; но жертвы все прибавлялись, их уже нельзя было сосчитать из-за головокружительного движения страшных рук. Длилось это долго, бесконечно долго, до самого вечера. Внутренние стенки отделений покраснели, стало видно горящее мясо. Некоторым даже казалось, что они различают волосы, отдельные члены, все тело жертв.

Наступил вечер; облака сгустились над головой Ваала. Потухший костер превратился в пирамиду углей, доходивших до колен идола; весь красный, точно великан, залитый кровью, с откинутой головой, бог как бы шатался, опьянев.

Жрецы торопились, неистовство толпы возрастало; число жертв уменьшилось; одни кричали, чтобы их пощадили, другие — что нужны новые жертвы. Казалось, стены, покрытые людьми, должны рухнуть от криков ужаса и мистического сладострастия. К идолу пришли верующие, таща цеплявшихся за них детей; они били их, чтобы оттолкнуть от себя и передать красным людям. Музыканты по временам останавливались в изнеможении, и тогда слышны были крики матерей и шипение жира, падавшего на угли. Опившиеся беленой ползали на четвереньках, кружились вокруг колосса и рычали, как тигры; Иидоны пророчествовали; Посвященные с рассеченными губами пели гимны. Ограду снесли — все хотели принять участие в жертвоприношении; отцы, чьи дети умерли задолго до того, кидали в огонь их изображения, игрушки, сохранившиеся останки. Те, у кого были ножи, бросились на других, и началась резня. При помощи бронзовых веялок ра-

бы, служители храма, собрали с края плиты упавший пепел и развеяли его, чтобы жертвоприношение разнеслось над всем городом и достигло звездных пространств.

Шум и яркий свет привлекли варваров к подножию стен; хватаясь, чтобы лучше видеть, за обломки стенобитной машины, они глядели, цепенея от страха.

XIV

УЩЕЛЬЕ ТОПОРА

Карфагеняне не успели разойтись по домам, как сгустились тучи; те, кто, подняв голову, глядел на идола, почувствовали на лбу крупные капли. Пошел дождь.

Он лил, не переставая, всю ночь; гремел гром. То был голос Молоха, победившего Танит, и теперь, оплодотворенная, она раскрывала с высоты небес свое широкое лоно. По временам карфагеняне видели ее в сияющем просвете, распростертую на подушках облаков; потом мрак сгущался, точно богиня, все еще истомленная, снова хотела заснуть. Карфагеняне, считая, что воду рождает луна, кричали, чтобы помочь ей в родах.

Дождь хлестал по террасам, заливал их, образуя озера во дворах, ручьи на лестницах, водовороты на углах улиц. Он падал тяжелыми теплыми струями. С углов зданий низвергались пенистые водопады, на стенах повисла белая пелена воды, омытые дождем черные крыши храмов сверкали при свете молний. Множество потоков сбегало с акрополя; рушились дома; речки, бурно текшие по плитам, несли балки, штукатурку, мебель.

Чтобы собрать дождевую воду, жители выставляли амфоры, кувшины, расстилали холст. Дождь гасил факелы. Стали брать головни из костра Ваала, а чтобы лучше напиться, карфагеняне запрокидывали голову и раскрывали рот. Другие, наклонившись над грязными лужами, опускали в них руки до плеч и пили, пока их не начинало рвать водой, как буйволов. Постепенно распространялась свежесть. Люди разминали члены, вдыхали влажный воздух и, опьяненные радостью, проникались великими надеждами. Все бедствия были забыты. Родина снова воскресла.

Карфагеняне как бы испытывали потребность обратить на других излишек ярости, который не могли направить на себя. Подобное жертвоприношение не должно оставаться бесплодным. И хотя они ни в чем не раскаивались, их

все же охватило неистовство, свойственное соучастникам неисправимых злодеяний.

Варваров гроза застигла в плохо закрывавшихся палатках; дрожащие, не успев обсушиться и на следующий день, они вязли в грязи, отыскивая продовольствие и потерянное испорченное оружие.

Гамилькар отправился к Ганнону и передал ему командование войсками. Старый суффет несколько минут колебался, обуреваемый ненавистью к Гамилькару и жаждой власти, но в конце концов принял предложение.

Затем Гамилькар велел спустить на воду галеру, вооруженную двумя катапультами,— ее поставили в заливе против плота, а на корабли, находившиеся в его распоряжении, посадили лучшую часть войск. По-видимому, решив бежать, он быстро повернул на север и исчез в тумане.

Три дня спустя (когда варвары стали готовиться к новому приступу) прибыли в смятении люди с ливийского берега. Барка высадился у них, стал собирать отовсюду припасы и завладел страной.

Варвары были возмущены, как будто это было предательством с его стороны. Те, кто более всего тяготился осадой, в особенности галлы, без колебания покинули свои позиции, чтобы попытаться примкнуть к нему. Спендий хотел отстроить заново стенобитную машину, Мато составил план пути, ведшего от его палатки до Мегары, и поклялся пройти этот путь, но никто из солдат не двинулся с места. Другие, которыми командовал Автарит, ушли, бросив на произвол судьбы западную часть вала.

Беспечность была так велика, что о замене ушедших даже не подумали.

Нар Гавас следил за варварами издалека, с гор. Однажды ночью он провел свое войско берегом моря на внешнюю сторону лагуны и вступил в Карфаген.

Он явился туда спасителем, с шестью тысячами воинов, которые несли муку под плащами, и с сорока слонами, груженными фуражом и сушеным мясом. Слонов окружили, стали давать им имена. Карфагенян радовало не столько прибытие такой помощи, сколько вид этих сильных животных, посвященных Ваалу; они были залогом его благоволения, знаком, что он наконец примет участие в войне и защитит их.

Старейшины выразили Нар Гавасу свою признательность, после чего он поднялся во дворец Саламбо.

Он ни разу не видел ее с тех пор, как в палатке Га-

милькара, среди пяти войск, почувствовал прикосновение ее маленькой холодной и нежной руки, соединенной с его рукой. После обручения она уехала в Карфаген. Любовь, от которой его отвлекали иные заботы, вновь овладела им; теперь он надеялся предъявить свои права, жениться на Саламбо, обладать ею.

Саламбо не понимала, каким образом этот юноша мог стать ее господином. Хотя она молила ежедневно Танит о смерти Мато, ее ужас перед ливийцем ослабевал. Она смутно чувствовала, что ненависть, которой он преследовал ее, была почти священна; ей хотелось видеть в Нар Гавасе отблеск того неистовства, которое до сих пор ослепляло ее в Мато. Ей хотелось узнать поближе Нар Гаваса, но присутствие жениха было бы ей тягостно. Она послала сказать Нар Гавасу, что ей не разрешается его принять.

К тому же Гамилькар запретил допускать нумидийского царя к Саламбо; отдаляя до конца войны эту награду, он надеялся сохранить преданность Нар Гаваса. Из страха перед суффетом Нар Гавас удалился.

Но к Совету ста он выказал крайнее презрение. Он отменил распоряжения Совета, потребовал преимуществ для своих солдат и назначил их на ответственные посты; варвары были поражены, увидев нумидийцев на башнях.

Но еще сильнее было удивление карфагенян, когда прибыли на старой пунической триреме четыреста карфагенян, захваченных в плен во время войны с Сицилией. Гамилькар тайно отослал квиритам экипажи латинских кораблей, взятых до отпадения тирских городов; Рим ответил на это возвращением карфагенских пленных. Кроме того, Рим отверг предложения наемников в Сардинии и отказался признать своими подданными жителей Утики.

Гиерон, который правил в Сиракузах, последовал этому примеру. Чтобы сохранять свои владения, он должен был соблюдать равновесие между двумя населявшими их народами; поэтому он был заинтересован в спасении хананеян и объявил себя их другом, послав им тысячу двести быков и пятьдесят три тысячи небелей чистой пшеницы.

Еще более глубокая причина заставляла всех помогать Карфагену. Было очевидно, что стоит восторжествовать наемникам, как все, от воинов до кухонной прислуги, взбунтуются, и никакая государственная власть, ничей дом не устоят.

Гамилькар тем временем наступал на восточные обла-

сти. Он оттеснил галлов, и варвары оказались как бы в осаде.

Тогда он стал их тревожить неожиданными вылазками. То приближаясь, то снова уходя, он неустанно продолжал этот маневр и постепенно отдалил их от лагерей. Спендий вынужден был следовать за ним, а в конце концов и Мато.

Мато не пошел, однако, дальше Туниса и заперся в его стенах. Это упорство было очень мудро, так как вскоре был замечен Нар Гавас, вышедший из Камонских ворот со своими слонами и воинами. Гамилькар звал его к себе. Но уже другие варвары бродили по провинции в погоне за суффетом.

В Клипее к Гамилькару перешли три тысячи галлов. Он получил коней из Киренаики, оружие из Бруттиа и возобновил войну.

Никогда еще его военный гений не был таким изобретательным и стремительным. В течение пяти лунных месяцев он увлекал варваров за собою, заранее зная, куда их приведет.

Варвары сначала пытались окружить Гамилькара небольшими отрядами, но он все время ускользал от них. Тогда они стали действовать сообща. Их войско состояло приблизительно из сорока тысяч человек, и несколько раз они торжествовали, видя, что карфагеняне отступают.

Больше всего их беспокоила конница Нар Гаваса. Часто в самые душные часы дня, когда они шли по равнине, полусонные, изнемогавшие под тяжестью оружия, на горизонте вдруг появлялась широкая полоса пыли: то мчались галопом всадники, и из облака, в котором сверкали горящие глаза, сыпался град стрел. Нумидийцы в белых плащах испускали громкие крики и поднимали руки, сжимая коленями вздыбившихся коней, потом быстро поворачивали и пропадали из глаз. В отдалении у них были навьюченные на дромадеров запасы дротиков, и, вновь возвращаясь, еще более страшные, они выли, как волки, и исчезали, как ястребы. Варвары, стоявшие в передних шеренгах, падали один за другим, и так продолжалось до вечера, когда войска пытались укрыться в горах.

Хотя горы представляли большую опасность для слонов, Гамилькар углубился в них. Он следовал вдоль длинной цепи, которая тянется от Гермейского мыса до вершины Загуана. Варвары думали, что он хочет утаить малочисленность своих сил. Но постоянная неуверенность, в

которой он держал врагов, изводила их больше, чем поражение. Они, однако, не падали духом и шли за ним.

Наконец однажды вечером между Серебряной и Свинцовой горой, среди больших утесов, высившихся у входа в ущелье, варвары настигли отряд велитов. Все войско находилось, очевидно, впереди, потому что слышны были топот и звуки труб, и тотчас же карфагеняне бросились бежать по ущелью. Оно спускалось в долину, имевшую форму топора и окруженную высокими скалами. Чтобы настигнуть велитов, варвары поспешили за ними. Вдали вместе с мчавшимися быками удирали беспорядочной толпой карфагеняне. Среди них выделялся человек в красном плаще. Это был суффет. Варваров охватил неистовый восторг. Некоторые, из лени или из осторожности, остались у входа в ущелье. Но конница, примчавшаяся из леса, погнала их вперед пиками и саблями; вскоре все варвары спустились в долину.

Вся эта громада людей некоторое время колыхалась, потом стала; они не находили выхода.

Те, что были ближе к ущелью, вернулись; прохода как не бывало. Стали кричать шедшие впереди, чтобы они продолжали путь; они оказались прижатыми к горе и издали осыпали бранью товарищей за то, что те не могли найти дороги обратно.

Едва лишь варвары спустились в долину, как притаившиеся карфагеняне стали выворачивать бревнами скалы и опрокидывать их; откос был крутой, огромные глыбы скатились вниз и закрыли узкое отверстие.

На другом конце долины был длинный проход, местами пересеченный трещинами: он вел к лощине, поднимавшейся на плоскогорье, где расположилось войско Гамилькара. В этом проходе вдоль гряды утесов были заранее поставлены лестницы, и велиты, защищенные изгибами трещин, успели взобраться наверх, прежде чем были настигнуты. Тех же, кто дошел до дна лощины, пришлось вытаскивать канатами, ибо внизу был зыбучий песок, а склоны так круты, что вскарабкаться по ним не представлялось возможным даже на коленях. Варвары почти тотчас же догнали велитов, но перед ними опустилась, словно упавшая с неба стена, решетка вышиной в сорок локтей, в точности сделанная по ширине прохода.

План суффета таким образом удался. Никто из наемников не знал гор; идя во главе колонн, они увлекли за собой остальных. Скалы, суженные у основания, легко об-

рушились, и, в то время как варвары догоняли войско Гамилькара, видневшееся вдали, карфагеняне издавали как бы вопли отчаяния. Правда, Гамилькар мог потерять велитов, и в самом деле: только половина их уцелела, но он пожертвовал бы и в двадцать раз большим количеством людей для удачи предприятия.

До самого утра сгрудившиеся варвары метались по равнине. Они ощупывали гору руками, ища выхода.

Наконец занялся день; вокруг них возвышалась большая белая отвесная стена. Не было возможности, не было даже надежды спастись. Оба естественных выхода из ущелья были закрыты: один — решеткой, другой — грудой скал.

Варвары молча посмотрели друг на друга и в изнеможении опустились наземь, чувствуя, как ледяной холод пробегает по спине и свинцовая тяжесть оттягивает веки.

Потом они вскочили и бросились к скалам. Но даже самые невысокие глыбы, сдавленные тяжестью других, навалившихся на них сверху, были неприступны. Варвары хотели зацепиться за них, чтобы подняться на вершину,— выпуклость глыб не давала возможности подступить к ним. Они пытались разбить скалы с двух сторон ущелья— их орудия сломались. Они разложили большой костер из шестов палаток — огонь не мог сжечь гору.

Они опять кинулись к решетке; она была утыкана длинными гвоздями, толстыми, как колья, острыми, как иглы дикобраза, и насаженными гуще, чем щетина щетки. Но варваров охватило такое бешенство, что они все же двинулись на решетку. Острия вонзились в тела первых до позвоночника; следующие уцепились за предшественников; потом все упали, оставляя на этих страшных ветвях клочья мяса и окровавленные волосы.

Когда уныние варваров несколько улеглось, они подсчитали, сколько у них осталось съестных припасов. У наемников, поклажа которых пропала, пищи было не более чем на два дня; у других совсем ничего не было — они ждали обоза, обещанного южными деревнями.

Поблизости бродили быки, которых карфагеняне выпустили в ущелье, чтобы привлечь варваров. Их закололи копьями, съели, и, когда варвары набили себе желудки, их мысли приобрели ясность.

На следующий день варвары зарезали всех мулов,— их было около сорока,— соскребли их кожи, прокипятили внутренности, растолкли кости, надеясь на прибытие ту-

нисской армии, по всей вероятности извещенной о том, что с ними случилось.

Но вечером пятого дня голод усилился; они стали грызть перевязи мечей и маленькие губки, окаймлявшие их шлемы изнутри.

Эти сорок тысяч человек теснились, как на ипподроме, окруженном горами. Одни остались у решетки или у подножия скал, другие разбрелись по равнине. Наиболее сильные избегали встречи друг с другом, а пугливые обращались за поддержкой к храбрым, хотя те не могли их спасти.

Во избежание заразы трупы велитов тотчас же похоронили; следы вырытых ям уже сгладились.

Варвары лежали обессиленные на земле. Между их рядами проходил иногда кто-нибудь из ветеранов; солдаты выкрикивали проклятия карфагенянам, Гамилькару и даже Мато, хотя последний был неповинен в случившемся несчастье, но им казалось, что страдания были бы не так велики, если бы Мато разделил их с ними. Одни стонали, другие тихо плакали, как малые дети.

Воины отправлялись к начальникам и молили облегчить чем-нибудь их муки. Те ничего не отвечали или, придя в ярость, хватали камни и бросали им в лицо.

Иные тщательно хранили зарытые в земле запасы пищи — несколько пригоршней фиников, немного муки — и ели ночью, прикрывая лицо плащом. Те, у кого были мечи, держали их обнаженными. Наиболее недоверчивые стояли, прислонившись к горе.

Воины обвиняли начальников и угрожали им. Автарит не боялся показываться. С несокрушимым упорством варвара он по двадцать раз в день подходил к скалам, надеясь, что, быть может, они сдвинулись с места. Поводя широкими плечами, покрытыми мехом, он напоминал своим спутникам медведя, выходящего весной из берлоги, чтобы посмотреть, не растаял ли снег.

Спендий, окруженный греками, прятался в одной из расселин; он был так напуган, что распустил слух о своей смерти.

Все страшно отощали, кожа их покрылась синеватыми пятнами. Вечером девятого дня умерло трое иберов.

Соотечественники в испуге отошли от них. С умерших сняли одежды, и обнаженные белые тела остались лежать на песке под лучами солнца.

Вокруг них стали медленно кружить гараманты. Это

были люди, привыкшие к жизни в пустыне и не почитавшие никаких богов. Наконец старший из них сделал знак; наклонясь к трупам, они стали вырезать ножами полосы мяса и, опустившись на корточки, есть мертвечину. Другие, глядя на них издали, кричали от ужаса; многие, однако, в глубине души завидовали их мужеству.

Ночью несколько человек подошли к гарамантам и, скрывая, как им этого хочется, попросили маленький кусочек мяса, по их словам — только чтобы попробовать. Более смелые последовали за ними, число их увеличивалось, вскоре собралась целая толпа. Но почти все, почувствовав на губах вкус мертвечины, опустили руки; некоторые же ели с наслаждением.

Для того чтобы увлечь своим примером других, они стали уговаривать друг друга. Те, кто отказывался вначале, шли теперь к гарамантам и уже не возвращались. Они жарили на углях куски мяса, насаженные на острие копья, посыпали их вместо соли пылью и дрались из-за лучших кусков. Когда три трупа были съедены, люди стали искать глазами новую добычу.

Но тут они вспомнили о карфагенянах, о двадцати пленниках, взятых при последней стычке и которых до сих пор никто не замечал. Они тут же исчезли; это было еще и местью. Потом воины зарезали водоносов, конюхов, слуг наемников — ведь жить-то надо было, да и вкус к этой пище успел привиться, иначе они умерли бы с голоду. Каждый день убивали по нескольку человек. Иные ели очень много, окрепли и повеселели.

Но вскоре некого стало употреблять в пищу. Тогда принялись за раненых и больных. Ведь все равно они не могли выздороветь, не лучше ли избавить их от мучений? И как только кто-нибудь шатался от слабости, все кричали, что он погиб и должен послужить для спасения других. Чтобы ускорить их смерть, прибегали к хитростям: у них крали последние остатки страшного пайка, на них точно нечаянно наступали ногой. Умирающие, притворяясь сильными, пытались протягивать руки, подниматься, смеяться. Лишившиеся чувств приходили в себя от прикосновения зазубренного лезвия, которым отпиливали у них часть тела. Убивали и просто из жестокости, без надобности, для удовлетворения своей ярости.

Недели две спустя на войско спустился тяжелый теплый туман, обычный в тех местах в конце зимы. Перемена температуры вызвала сильную смертность, тление ускори-

лось в сырости, застоявшейся среди отвесных скал. Моросивший на трупы дождь, размывая их, превратил вскоре равнину в большой гнойник. В воздухе носились белесые испарения. Они ударяли в нос, проникали под кожу, застилали глаза. Варварам мерещилось в них предсмертное дыхание товарищей, их отходящие души. Всех охватило отвращение. Не хотелось прежней пищи. Уж лучше было умереть.

Прошло еще два дня, погода прояснилась, и снова пробудился голод. Порою людям казалось, что у них вырывают внутренности клещами. Они катались в судорогах, запихивали себе в рот землю, кусали руки и разражались неистовым хохотом.

Еще больше мучила их жажда, потому что не оставалось ни капли воды; мехи были совершенно пусты уже с девятого дня. Чтобы заглушить жажду, они прикладывали к языку металлическую чешую поясов, набалдашники из слоновой кости, лезвия мечей. Бывшие проводники караванов по пустыням стягивали себе животы веревкой. Другие сосали камень или пили мочу, охлажденную в медных шлемах.

А войско из Туниса все не приходило! То, что оно было так долго в пути, казалось им доказательством скорого его прибытия. К тому же Мато, на доблесть которого можно было положиться, не оставит их. «Завтра придут!» — говорили они, и так проходил еще день.

Вначале варвары молились, давали обеты, произносили заклинания, но теперь они чувствовали только ненависть к своим богам и из мести старались не верить в них.

Люди буйного нрава погибли первыми; африканцы выдерживали голод лучше, чем галлы. Зарксас неподвижно лежал среди балеаров, вытянувшись, перекинув волосы через руку. Спендий нашел растение с широкими листьями, выделявшими обильный сок; он объявил, что растение ядовитое, для того чтобы другие его не касались, а сам питался этим соком.

Все так обессилели, что не могли сбить ударом камня летающих ворон. Временами, когда ягнятник садился на труп и долго потрошил его, кто-нибудь из варваров ползком подкрадывался к нему, держа в зубах дротик. Птица с белыми перьями, обеспокоенная шумом, отрывалась от трупа, потом спокойно оглядывалась, как баклан, стоящий на подводном камне среди волн, и вновь погружала в мертвеца свой отвратительный желтый клюв; придя в от-

чаяние, человек падал лицом в пыль. Некоторым удавалось находить хамелеонов, змей. Но больше всего поддерживала людей любовь к жизни. Они сосредоточивались на этом чувстве и жили, привязанные к существованию усилием воли, длившим его.

Наиболее выносливые держались вместе, сидели, расположившись кругом, среди равнины, между мертвыми; закутавшись в плащи, они молча предавались печали.

Те, что родились в городах, вспоминали шумные улицы, таверны, театры, бани и цирюльни, в которых рассказывают столько интересного. Другие вновь видели перед собой деревню при заходе солнца, когда волнуются желтые нивы и большие волы с ярмом на шее поднимаются по склону холма. Кочевники мечтали о водоемах, охотники — о лесах, ветераны — о битвах; в охватившей людей дремоте мысли приобретали увлекательность и отчетливость сновидений. У иных начинались галлюцинации; одни искали дверь, через которую могли бы бежать, и хотели пройти сквозь гору; другим казалось, что они плавают по морю в бурю и командуют судном; третьи отшатывались в страхе — им представлялись в облаках карфагенские войска. Четвертые воображали себя на пиру и пели песни.

Многие, охваченные странной манией, повторяли одно и то же слово или непрерывно делали одно и то же движение. А когда они поднимали головы и глядели друг на друга, их душили рыдания при виде до неузнаваемости изменившихся лиц соратников. Некоторые уже больше не страдали и, чтобы убить время, рассказывали друг другу про опасности, которых им удалось избежать.

Смерть стала неизбежной для всех и должна была скоро наступить. Сколько раз они уже тщетно пытались пробить себе выход! Но вступить в переговоры с победителями не было возможности; они даже не знали, где теперь находится Гамилькар.

Ветер дул со стороны лощины и не переставая гнал сквозь решетку тучи песка; плащи и волосы варваров были им покрыты, как будто земля, поднявшаяся против побежденных, хоронила их под собою. Ничто не сдвигалось с места; вечная гора казалась им каждое утро все выше.

Порою в небе, в вольной воздушной стихии, проносились стаи птиц. Варвары закрывали глаза, чтобы не видеть их.

Истощенные люди слышали сначала звон в ушах, ног-

ти у них чернели, холод подступал к груди; они ложились на бок и без единого крика испускали дух.

На девятнадцатый день умерло две тысячи азиатов, полторы тысячи солдат с Архипелага, восемь тысяч из Ливии, самые молодые из наемников, а также целые племена — в общем двадцать тысяч, половина войска.

Автарит, у которого осталось только пятьдесят галлов, велел убить себя, чтобы положить всему конец, когда на вершине горы, прямо против него, показался человек.

Он стоял так высоко, что казался карликом. Автарит увидел, однако, на его левой руке щит в форме трилистника и воскликнул:

— Карфагенянин!

И в долине, перед решеткой, и под скалами все поднялись на ноги. Карфагенский воин ходил по краю пропасти, варвары глядели на него снизу.

Спендий поднял с земли бычью голову, сделал венец из двух поясов; надел его на рога и насадил голову на шест в знак мирных намерений. Карфагенянин исчез. Они стали ждать.

Наконец вечером, точно камень, оторвавшийся от скалы, упала сверху перевязь из красной кожи, покрытая вышивкой с тремя алмазными звездами; посредине была печать Великого совета — конь под пальмой. Это был ответ Гамилькара; он посылал пропуск.

Варварам нечего было бояться; всякая перемена обозначала конец страданиям. Ими овладела беспредельная радость; они обнимались, плакали. Спендий, Автарит и Зарксас, четыре италийца, негр и два спартанца предложили свои услуги в качестве парламентеров. Предложение было принято. Но они не знали, как пройти к карфагенянам.

Со стороны скал раздался треск; верхняя глыба зашаталась и рухнула. Скалы были несокрушимы только для варваров, так как нависали над долиной; кроме того, глыбы плотно слежались в узком ущелье; но достаточно было сильного толчка сверху, чтобы они скатились. Карфагеняне их столкнули, и на восходе солнца глыбы образовали в долине как бы ступеньки огромной разрушенной лестницы.

Варвары все же не могли подняться по этим ступеням. Были спущены лестницы, и все устремились к ним. Людей отбросил град снарядов из катапульты, только десять человек были взяты наверх.

Они шли между клинабариями, опираясь руками на крупы коней, чтобы не упасть.

После первых минут радости парламентеры стали ощущать тревогу, уверенные, что Гамилькар предъявит им жестокие требования. Но Спендий успокаивал их.

— С ним буду говорить я! — сказал он, похваляясь, что знает, как нужно вести переговоры ради спасения войска.

За всеми кустами они видели в засаде часовых, падавших ниц перед перевязью, которую Спендий перекинул через плечо.

Когда посланцы прибыли в карфагенский лагерь, толпа окружила их, и до них донеслись шепот и смех. Открылся вход в одну из палаток.

Гамилькар сидел в глубине ее на табурете у низкого стола, на котором сверкал обнаженный меч. Военачальники стоя окружали его.

Увидев вошедших, он откинулся, потом наклонился, чтобы разглядеть их.

Зрачки у них были расширены; черные круги вокруг глаз доходили до мочек ушей; посиневшие носы торчали между впалыми щеками, прорезанными глубокими морщинами. Обвисшая кожа на теле исчезала под слоем пыли аспидного цвета; губы прилипали к желтым зубам; от варваров исходило зловоние, точно из полуоткрытых могил; они казались живыми мертвецами.

Посредине палатки, на циновке, куда собирались сесть начальники, дымилось блюдо с вареной тыквой. Варвары впились в него глазами, дрожа всем телом, и по щекам у них потекли слезы. Но они сдерживали себя.

Гамилькар отвернулся и заговорил с кем-то. Тогда варвары упали плашмя и стали есть, лежа на животе. Лица их утопали в жиру; было слышно громкое чавканье и радостные рыдания. Им дали доесть, вероятно, скорее от изумления, чем из жалости. Затем, когда они поднялись, Гамилькар знаком приказал говорить человеку, носившему перевязь. Спендий испугался; он забормотал что-то несвязное.

Гамилькар, слушая его, крутил вокруг пальца большой золотой перстень, тот самый, с которого был сделан на перевязи оттиск печати Карфагена. Он уронил перстень на землю: Спендий поднял его; в присутствии своего господина он снова почувствовал себя рабом. Остальные содрогнулись, возмущенные его угодничеством.

Тут грек возвысил голос и стал рассказывать о пре-

ступлениях Ганнона — врага Гамилькара, стараясь разжалобить последнего подробностями о несчастиях варваров и напоминаниями об их преданности. Он говорил долго, быстро, коварно и даже резко; в конце концов, увлеченный собственным пылом, он совершенно забылся.

Гамилькар ответил, что принимает их извинения. Значит, будет заключен мир, и на этот раз окончательный! Но он требовал, чтобы ему выдали десять наемников по его выбору, без оружия и без туник.

Они не ждали таких милостивых требований, и Спендий воскликнул:

— Если хочешь, господин, мы дадим тебе двадцать!

— Нет, мне довольно десяти,— мягко ответил Гамилькар.

Парламентеров вывели из палатки, чтобы они могли обсудить предъявленное им требование. Как только они очутились одни, Автарит стал заступаться за товарищей, которыми нужно было пожертвовать, а Зарксас сказал Спендию:

— Почему ты не убил его? Ведь его меч был совсем близко от тебя.

— Убить — его? — воскликнул Спендий.

Несколько раз он повторил: «Его! Его!», точно это было нечто невозможное и Гамилькар был бессмертен.

Они были так измучены, что легли навзничь прямо на землю, не зная, на что решиться.

Спендий убеждал их уступить. Они согласились и вернулись в палатку.

Суффет поочередно вкладывал свою руку в руки десяти варварам, сжимая им большие пальцы; затем он вытер руку об одежду, так как их кожа была жесткой на ощупь и в то же время вялой и до отвращения липкой. Наконец он сказал им:

— Вы начальники варваров и дали клятву за всех?

— Да! — ответили они.

— Вы клялись добровольно? От чистого сердца, с намерением выполнить ваше обещание?

Они подтвердили, что вернутся к соратникам для того, чтобы осуществить его.

— Хорошо,— сказал суффет.— В силу соглашения, состоявшегося между мною, Баркой, и вами, посланцами наемников, я избираю вас, и вы останетесь у меня!

Спендий упал без чувств на циновку. Варвары, как бы отказавшись от него, теснее прижались друг к другу; по-

сле этого не было произнесено ни слова, не раздалось ни одной жалобы.

Варвары, ожидавшие, но так и не дождавшиеся Спендия с друзьями, думали, что парламентеры их предали; несомненно, они перешли на сторону суффета.

Они прождали еще два дня, а на утро третьего приняли наконец решение. При помощи веревок, копий, стрел, расположенных в виде ступенек между обрывками холста, они вскарабкались на скалы; оставив за собой самых слабых, которых было около трех тысяч, они двинулись в путь, чтобы соединиться с тунисским войском.

Над ущельем расстилался луг, поросший кустами; варвары съели на них все почки. Потом они очутились в поле, засеянном бобами,— все исчезло, точно над полем пронеслась туча саранчи. Три часа спустя пришли на второе плоскогорье, опоясанное зелеными холмами.

Между этими холмами, на некотором расстоянии один от другого, сверкали серебристые снопы; варвары, ослепленные солнцем, смутно различали под ними что-то большое и черное. По мере приближения снопы вырастали. То были копья, торчавшие из башен на спинах грозно вооруженных слонов.

Кроме рогатин на их нагрудных ремнях, кроме заостренных клыков и бронзовых блях, покрывавших бока, а также кинжалов, всунутых в наколенники, у слонов на конце хобота были кожаные кольца, куда были продеты рукоятки тесаков. Выступив все вместе с дальнего края долины, они двигались с двух сторон параллельными рядами.

Несказанный ужас овладел варварами. Они даже не попытались бежать, ибо уже были окружены.

Слоны врезались в их ряды, острия нагрудных ремней рассекали толпу, клыки бороздили ее, как плуги; слоны рубили, косили, крошили людей своими хоботами; башни, полные зажигательных стрел, походили на движущиеся вулканы; видна была только огромная куча, в которой человеческие тела казались белыми пятнами, куски бронзы — серыми бляхами, кровь — красной пряжей; страшные животные, проходя среди этого хаоса, проводили по нему черные борозды. Самого бешеного слона вел нумидиец в венце из перьев. Он бросал дротики с ужасающей быстротой, издавая в промежутках долгий пронзительный свист. Огромные животные, послушные, как собаки, косились во время резни в его сторону.

Круг слонов постепенно суживался. Ослабевшие варвары перестали сопротивляться; вскоре слоны заняли центр долины. Им не хватало места, они теснились, поднимаясь на задние ноги, бивни их сталкивались. Нар Гавас сразу усмирил их, и, повернув назад, они рысью побежали к холмам.

Тем временем две синтагмы варваров, убежавшие направо, туда, где почва образовала углубление, бросили оружие; опустившись на колени перед карфагенскими палатками, они поднимали руки, моля о пощаде.

Их связали, положили рядами на землю и вернули слонов.

Груди трещали, как взламываемые сундуки; сделав один шаг, слон убивал двух человек; тяжелые ноги животных топтали тела, а крупы их опускались, как будто слоны хромали. Они шли, не останавливаясь, до конца.

И снова все замерло на равнине. Опустилась ночь. Гамилькар наслаждался зрелищем свершенной мести. Внезапно он вздрогнул.

Он увидел — и все увидели вместе с ним — в шестистах шагах, налево, на вершине небольшого холма, варваров! Четыреста самых отважных наемников — этруски, ливийцы и спартанцы — ушли в горы с самого начала и все это время пребывали в нерешительности. После избиения своих соратников они решили пробить строй карфагенян и уже спускались тесными рядами, представляя великолепное и грозное зрелище.

К ним тотчас же направили вестника. Он передал, что суффет нуждается в воинах и готов принять их без всяких условий,— так он восхищен их храбростью. Посланец Карфагена предложил им подойти поближе и направиться к месту, которое он им укажет и где они найдут съестные припасы.

Варвары побежали туда и провели всю ночь за едой. Карфагеняне стали роптать на суффета, упрекая его в пристрастии к наемникам.

Уступил ли он влиянию ненасытной злобы или то было утонченное коварство? Гамилькар явился на следующий день к наемникам сам, без меча, с обнаженной головой, в сопровождении клинабариев и объявил, что теперь ему приходится кормить слишком много народа и что он не намерен принимать всех. Но так как ему нужны воины и он не знает, как выбрать лучших, то повелевает им биться насмерть друг с другом; затем он примет победителей

в свою особую гвардию. Такая смерть не хуже всякой другой. Отстранив своих воинов (карфагенские знамена скрывали от наемников то, что было за ними), он показал им сто девяносто двух слонов Нар Гаваса, выстроенных в ряд; хоботы их были вооружены широкими клинками и походили на руки гигантов с топорами, занесенными над головой наемников.

Варвары молча глядели друг на друга. Их страшила не смерть, а необходимость подчиниться ужасному приказу.

Постоянное общение создало тесную дружескую связь между этими людьми. Лагерь заменял для большинства из них отечество; живя вне семей, они переносили на товарищей свою потребность в нежности; друзья спали рядом, накрываясь при свете звезд одним плащом. Во время непрерывных скитаний по разным странам, среди резни и приключений между ними возникали странные любовные отношения, бесстыдные союзы, не менее прочные, чем брак; более сильный защищал младшего в битвах, помогал ему переходить через пропасти, утирал на его лбу пот, крал для него пищу; младший, большей частью — ребенок, подобранный на дороге и ставший потом наемником, платил за эту преданность нежной заботливостью и супружеской лаской.

Они обменялись ожерельями и серьгами, которые когда-то подарили друг другу в часы опьянения после большой опасности. Все предпочитали умереть, никто не хотел убивать другого. Юноша говорил другу с седой бородой: «Нет, нет, ты сильнее меня! Ты отомстишь за нас. Убей меня!» А старший отвечал: «Мне осталось меньше жить! Убей меня ударом в сердце и забудь!» Братья смотрели друг на друга, держась за руки, а любовники прощались навеки, плача друг у друга на плече.

Они сняли панцири, чтобы острия мечей скорей вонзились в тело. И тогда обнажились следы ран, полученных при защите Карфагена, подобные надписям на колоннах.

Они выстроились четырьмя рядами, как гладиаторы, и робко вступили в бой. Некоторые завязали себе глаза, и мечи их медленно скользили по воздуху, точно палки слепых. Карфагеняне загоготали, крича им, что они трусы. Варвары оживились, и вскоре бой сделался всеобщим, стремительным и страшным.

По временам два бойца останавливались, истекая кровью, обнимались и умирали, целуя друг друга. Ни один не отступал. Порой они бросались на протянутые мечи. Не-

истовство их было так велико, что испугало издали карфагенян.

Наконец побоище прекратилось. Из груди бойцов вырывался глухой хрип, глаза сверкали из-под длинных окровавленных волос, висевших мокрыми прядями, точно их окунули в пурпур. Иные быстро кружились как пантеры, раненные в голову. Другие стояли недвижно, глядя на труп у своих ног; потом раздирали себе лицо ногтями и, взяв меч обеими руками, вонзали его себе в живот.

Оставалось в живых еще шестьдесят человек. Они попросили пить. Им крикнули, чтобы они бросили мечи, и только тогда принесли воды.

В то время как они пили, погружая лица в сосуды с влагой, шестьдесят карфагенян накинулись на них сзади и убили кинжалами в спину.

Гамилькар сделал это для потворства жестоким инстинктам своего войска и чтобы привязать его к себе этим предательством.

Война была кончена; так, по крайней мере, считал Гамилькар; он был уверен, что Мато не станет больше сопротивляться; охваченный нетерпением, суффет велел немедленно тронуться в путь.

Его разведчики пришли сказать, что заметили издали обоз, направлявшийся к Свинцовой горе. Гамилькара это не обеспокоило. Наемники были уничтожены, и без них кочевники не будут его тревожить. Самое важное овладеть Тунисом. И он направился туда быстрым маршем.

Он послал Нар Гаваса в Карфаген с вестями о победе; царь нумидийцев, гордясь своим успехом, явился к Саламбо.

Она приняла его в своих садах, под широкой смоковницей, обложенная подушками из желтой кожи; с нею была Таанах. На голове у Саламбо был белый шарф, который закрывал рот и лоб, оставляя открытыми только глаза, но губы ее сверкали под прозрачной тканью, подобно драгоценным камням на ее пальцах; руки она тоже держала под покрывалом и за все время не сделала ни одного движения.

Нар Гавас сообщил ей о поражении варваров. Она благословила его за услуги, оказанные ее отцу. Тогда он стал рассказывать о всех подробностях похода.

Голуби тихо ворковали на окружавших их пальмовых деревьях, а в траве летало много других птиц: галеолы с

ожерельем на груди, перепела из Тартесса и карфагенские цесарки. Сад, уже давно запущенный, сильно разросся: колоквин вился вокруг ветвей кассии, цветы ласточника росли среди полей роз, всевозможные дикие растения свивались, образуя навесы, и, как в лесу, косые лучи солнца отбрасывали на землю тень от листьев. Одичавшие домашние животные убегали при малейшем шуме. Иногда появлялась газель, к копытцам которой пристали павлиньи перья. Далекий гул города терялся в рокоте вод. Небо было синее, на море — ни одного паруса.

Нар Гавас замолчал; и Саламбо глядела на него, не отвечая. На нем была льняная одежда, расписанная цветами и обшитая внизу золотой бахромой; его заплетенные волосы были заложены за уши и скреплены двумя серебряными стрелами; правой рукой он опирался на древко копья, украшенное янтарными кольцами и пучками волос.

Саламбо глядела на него, и Нар Гавас будил в ней множество смутных мыслей. Этот юноша с нежным голосом и женским станом чаровал ее взор своей грацией и представлялся ей как бы старшей сестрой, которую Ваалы послали для ее защиты. Она вспомнила Мато, и ей захотелось узнать, что с ним сталось.

Нар Гавас ответил, что карфагеняне направились в Тунис, чтобы захватить его. По мере того как он излагал ей возможности успеха и говорил о слабости Мато, ее охватывала необычайная отрадная надежда. Губы ее дрожали, грудь тяжело вздымалась. Когда, наконец, он обещал убить его своими руками, она воскликнула:

— Да! Непременно убей!

Нумидиец ответил, что он страстно желает смерти Мато, ибо по окончании войны станет ее супругом.

Саламбо вздрогнула и опустила голову.

Нар Гавас продолжал говорить, сравнивая свои желания с цветами, томящимися жаждою, с заблудившимся путником, ожидающим восхода солнца. Он сказал еще, что она прекраснее луны, освежительнее утреннего ветра, отраднее лица гостеприимного хозяина. Он обещал ей привезти из страны чернокожих предметы, каких в Карфагене не знают, и говорил, что покои их дома будут усыпаны золотым песком.

Наступил вечер; в воздухе носились благоухания. Они долго молча глядели друг на друга, и глаза Саламбо под длинными покрывалами казались двумя звездами в просвете между облаками. Нар Гавас ушел до заката солнца.

Когда он уехал из Карфагена, старейшины облегченно вздохнули. Народ встретил его еще восторженнее, чем в первый раз. Если Гамилькар и нумидийский царь справятся одни с наемниками, они будут несокрушимы. Старейшины решили для ослабления Барки привлечь к спасению Республики того, кто был им по душе,— старого Ганнона.

Тот немедленно отбыл в западные провинции, чтобы утолить жажду мести в тех самых местах, где прежде потерпел позор. Жители этих провинций и варвары умерли, спрятались или бежали. Гнев его разразился над самой местностью. Он сжег развалины развалин, не оставил ни одного дерева, ни одной травки; детей и калек, встречавшихся на пути, предавал пыткам; женщин отдавал солдатам, чтобы те их насиловали, прежде чем убить; самых красивых бросали в его носилки, ибо чудовищный недуг разжигал его желания, и он удовлетворял свою страсть с яростью отчаявшегося человека.

Часто черные палатки, стоявшие на хребте холмов, исчезали, точно снесенные ветром, и широкие круги со сверкающими краями, которые оказывались колесами повозок, с жалобным скрипом приходили в движение и постепенно скрывались в глубине долин. Это племена, отказавшиеся от осады Карфагена, блуждали по провинциям, выжидая случая или победы наемников, чтобы вернуться. Но под влиянием страха или голода они все двинулись обратно на родину и больше уже не вернулись.

Гамилькар не завидовал успехам Ганнона. Но ему хотелось поскорей окончить войну; он приказал Ганнону отправиться в Тунис, и тот явился к стенам города в назначенный день.

Город отстаивало туземное население, двенадцать тысяч наемников и пожирателей нечистой пищи; все они, как и Мато, не спускали взора с видневшегося на горизонте Карфагена; и простой народ, и шалишим созерцали высокие стены Карфагена, мечтая о таившихся за ними бесконечных наслаждениях. Объединенные общей ненавистью, осажденные быстро приготовились к сопротивлению. Они изготовили шлемы из мехов, срубили все пальмы в садах, чтобы сделать копья, вырыли водоемы, а для питания ловили в озере крупных белых рыб, питавшихся падалью и нечистотами. Полуразвалившиеся стены города никогда не восстанавливались по вине завистливого Карфагена; они были такие непрочные, что их легко было опрокинуть ударом плеча. Мато заткнул бреши камнями,

выбитыми из стен домов. Начался последний бой; Мато ни на что не надеялся, но все же думал о том, что счастье переменчиво.

Карфагеняне, приблизившись, увидели на валу человека, который высился над зубцами стены. Стрелы, летавшие вокруг него, по-видимому, пугали его не более, чем стая ласточек, и странным образом ни одна стрела не задевала его.

Гамилькар расположил свой лагерь с южной стороны, Нар Гавас справа от него занял долину Радеса, а Ганнон — берег озера; три военачальника решили сохранять каждый свою позицию, чтобы потом всем вместе напасть на город.

Гамилькар хотел сначала показать наемникам, что они понесут наказание, как рабы. Он приказал распять десять посланцев рядом, на возвышении против города.

Это зрелище заставило осажденных покинуть вал.

Мато подумал, что если бы ему удалось пройти между стенами и палатками Нар Гаваса, прежде чем успеют выступить нумидийцы, он мог бы напасть на тылы карфагенской пехоты; она оказалась бы тогда запертой между его отрядом и войсками, находящимися в Тунисе. Он выбежал из города со своими ветеранами.

Нар Гавас заметил этот маневр. Он прошел берегом озера к Ганнону и сказал ему, что нужно послать войско на помощь Гамилькару. Считал ли он, что Гамилькар слаб и не сможет устоять против наемников? Действовал ли он из коварства или по глупости? Никто этого так и не узнал.

Желая унизить своего соперника, Ганнон не колебался. Он приказал трубить в рога, и все его войско кинулось на варваров. Они повернули назад и устремились прямо на карфагенян, стали их валить, топтать ногами; отбросив их, они дошли до палатки, где в это время находился Ганнон вместе с тридцатью карфагенянами, самыми знатными из старейшин.

Ганнон был, по-видимому, поражен их дерзостью и призвал своих военачальников. Варвары подступили к нему с кулаками, осыпая его ругательствами. Началась давка; те, кто схватил Ганнона, с трудом удерживали его. Между тем он шептал каждому из них на ухо:

— Я тебе дам все, чего захочешь! Я богат, спаси меня!

Они тащили его; как он ни был тяжел, ноги его уже не касались земли. Увели и старейшин. Страх Ганнона усилился.

— Вы меня разбили, я ваш пленник! Я дам за себя выкуп! Выслушайте меня, друзья мои!

Сдавливая Ганнона с боков, толпа поднимала его плечами и несла, а он повторял:

— Что вы собираетесь сделать со мной? Что вам нужно? Я ведь не упорствую, сами видите! Я всегда был добрым!

У ворот стоял огромный крест. Варвары ревели:

— Сюда, сюда!

Стараясь всех перекричать, он заклинал варваров именем их богов, чтобы они отвели его к шалишиму: он должен сообщить ему нечто, от чего зависит их спасение.

Они остановились; некоторые решили, что следует призвать Мато. Отправились разыскивать его.

Ганнон упал на траву и увидел вокруг себя еще другие кресты, точно пытка, от которой он должен был погибнуть, заранее множилась; он старался убедить себя, что ошибается, что воздвигнут один только крест, и даже и одного-то креста нет. Наконец его подняли.

— Говори! — сказал Мато.

Он предложил выдать Гамилькара, после чего они войдут в Карфаген и будут царствовать там вдвоем.

Мато ушел, дав знак скорее покончить с Ганноном. Он был убежден, что предложение Ганнона было хитростью, желанием выиграть время.

Варвар ошибался; Ганнон был в той крайности, когда человек готов на все; к тому же он так ненавидел Гамилькара, что принес бы его в жертву со всем войском при малейшей надежде на спасение.

На земле возле тридцати крестов лежали, изнемогая, старейшины; им уже продели веревки под мышки. Старый суффет понял, что наступила смерть, и заплакал.

С Ганнона сорвали всю оставшуюся на нем одежду, обнажив ужасающее уродство его тела. Язвы покрывали всю эту бесформенную массу; жир, свисавший с его ног, закрывал ногти и сползал с пальцев зеленоватыми лоскутами; слезы, стекавшие между буграми щек, придавали лицу бесконечно печальный вид, словно они занимали на нем больше места, чем на всяком другом человеческом лице. Царская его повязка, наполовину развязавшаяся, влачилась в пыли вместе с его седыми волосами.

Варвары подумали, что у них не будет достаточно крепких веревок, чтобы поднять Ганнона на верх креста, а потому, следуя карфагенскому обычаю, прежде чем под-

нять, прибили его к лежащему кресту. Страдания пробудили в Ганноне гордость. Он стал осыпать своих мучителей бранью. Он извивался, неистовствовал, как морское чудовище, которое закалывают на берегу, и предсказывал варварам, что они умрут в еще больших муках и он будет отомщен.

Его слова оправдались. С другой стороны города, там, где теперь поднимались языки пламени и столбы дыма, посланцы наемников корчились в предсмертных муках.

Те, кто вначале лишился чувств, пришли в себя от свежего дуновения ветра; но подбородок их опускался на грудь, и тело слегка оседало, несмотря на то, что руки были прибиты гвоздями выше головы; из пяток и ладоней крупными каплями текла кровь, медленно, как падают с ветвей спелые плоды. Карфаген, залив, горы и равнины — все точно кружились перед ними, как огромное колесо; по временам распятых обволакивал вихрь пыли, поднимавшийся с земли, их сжигала страшная жажда, язык ворочался во рту, и они чувствовали, как по их телу струится ледяной пот, в то время как душа их отходит.

Все же они еще различали где-то далеко-далеко, в глубине улиц, воинов, идущих в бой, покачивание мечей; гул битвы доходил до них смутно, как доходит шум моря до потерпевших кораблекрушение, когда они умирают на снастях корабля. Италийцы были крепче других, и они еще продолжали кричать; лакедемоняне молчали, сомкнув веки; Зарксас, такой сильный когда-то, склонился, как сломанный тростник; эфиоп рядом с ним откинул голову за перекладину креста; недвижный Автарит вращал глазами; его длинные волосы, попавшие в расщелину дерева, стояли дыбом; хрип, который излетал из его груди, казался злобным рычанием. Спендий проявил необычное для него мужество; он презирал теперь жизнь, уверенный в близком от нее освобождении, и ждал смерти с полным спокойствием.

Распятые ослабели и лишь порой вздрагивали от прикосновения птиц, перья которых задевали их губы. Большие крылья окружали их тенями, воздух наполнился карканьем; крест Спендия был самый высокий, и на него опустился первый коршун. Спендий повернул голову к Автариту и медленно проговорил с неизъяснимой улыбкой:

— Помнишь львов по дороге в Сикку?

— Они были нашими братьями,— ответил галл, испуская дух.

Барка тем временем пробился через ограду и дошел до цитадели. От сильного порыва ветра дым вдруг рассеялся, и открылись дали до самых стен Карфагена; Гамилькару даже показалось, что он видит людей на террасе храма Эшмуна; обратив взгляд в другую сторону, он заметил слева, у озера, тридцать огромных крестов.

Чтобы придать им еще более страшный вид, варвары воздвигли кресты из соединенных концами шестов палаток; тридцать трупов старейшин вырисовывались высоко в небе. На груди у них точно сидели белые бабочки — то были перья стрел, пущенных в них снизу.

На вершине самого большого креста сверкала широкая золотая лента; она свисала с плеча, так как руки с этой стороны не было. Гамилькар с трудом узнал Ганнона. Разрыхленные кости старика рассыпались от железных гвоздей, тело его распалось. На кресте были бесформенные останки, точно части животных, висящих на дверях у охотника.

Суффет ничего не знал о случившемся; город, расстилавшийся перед ним, скрывал все, что было позади, а начальники, которых он посылал к полководцам, не возвратились. Наконец прибыли беглецы с рассказами о поражении, и карфагенское войско остановилось. Это несчастье, постигшее войско в разгар победы, смутило воинов, и они перестали слушаться приказов Гамилькара.

Мато воспользовался этим, чтобы окончательно разгромить лагерь нумидийцев.

Разрушив лагерь Ганнона, он снова двинулся на карфагенян. Они выпустили слонов. Но тут наемники, выхватив факелы из стен, помчались по равнине, размахивая ими; испуганные слоны ринулись в залив, убивая друг друга и потонув под тяжестью вооружений. Нар Гавас бросил против них свою конницу; наемники легли лицом к земле; когда конница была в трех шагах, они одним прыжком очутились под конями и стали распарывать им брюхо кинжалами; половина нумидийцев уже погибла, когда явился Гамилькар.

Обессиленные наемники не могли устоять против его войска. Они отступили в порядке до горы Горячих источников. Суффет из благоразумия не погнался за ними. Он направился к устью Макара.

Тунис принадлежал ему. Но город превратился в груду дымящихся развалин, которые тянулись вниз через бреши стены до середины равнины; вдали, между берегами зали-

ва, трупы слонов, гонимые ветром, сталкивались, точно черные плавающие скалы.

Для ведения войны Нар Гавас опустошил свои леса, взял старых и молодых слонов, самцов и самок; военная сила его царства была непоправимо сломлена. Народ, видевший издали гибель слонов, был в отчаянии; люди плакали на улицах, называя слонов по именам, точно умерших друзей: «О Непобедимый! О Слава! Грозный! Ласточка!»

В первый день о них говорили больше, чем об убитых гражданах.

А на следующий день появились палатки наемников на горе Горячих источников. Отчаяние горожан дошло до того, что многие, в особенности женщины, бросились головой вниз с высоты акрополя.

О намерениях Гамилькара ничего не было известно. Он жил один в своей палатке, имея при себе только одного мальчика; никто, даже Нар Гавас не разделял с ним трапезы. Все же после поражения Ганнона Гамилькар стал оказывать Нар Гавасу особое внимание, но царь нумидийский так страстно желал стать зятем суффета, что боялся верить его искренности.

Бездействие Гамилькара прикрывало искусную тактику. Он хитростями склонял на свою сторону начальников деревень, и наемников отовсюду гнали и травили, как диких зверей. Лишь только они вступали в лес, вокруг них загорались деревья; когда они пили воду из источника, вода оказывалась отравленной; пещеры, куда они прятались на ночь, замуровывались. Жители деревень, которые прежде защищали варваров и были их соумышленниками, стали их преследовать, и наемники видели на них карфагенское оружие.

У многих варваров лица были изъедены красными лишаями; они думали, что заразились, прикасаясь к Ганнону. Другие полагали, что сыпь эта — наказание за то, что они съели рыб Саламбо. Но они не только не раскаивались в этом, а, напротив, мечтали о еще более мерзких святотатствах, чтобы как можно больше унизить карфагенских богов. Им хотелось совершенно их уничтожить.

Так они скитались еще три месяца по восточному побережью, потом зашли за гору Селум и добрались до песков пустыни. Они искали убежища, все равно какого. Только Утика и Гиппо-Зарит не предавали их, но эти города обложил Гамилькар. Потом они наугад поднялись к

северу, не зная дорог. У них мутилось в голове от всего, что они претерпели.

Наемников охватывало возрастающее ожесточение; и вдруг они очутились в ущелье Коб, опять перед Карфагеном!

Начались частые стычки. Счастье разделилось поровну между войсками, но обе стороны были так измучены, что предпочли бы мелким столкновениям решительный бой, с тем чтобы он был последним.

Мато хотел отправиться сам с таким предложением к суффету. Один из его ливийцев принес себя в жертву и пошел вместо него. Все были убеждены, что он не вернется.

Но он вернулся в тот же вечер.

Гамилькар принял их вызов. Решено было сойтись на следующий день на восходе солнца посреди равнины Радеса.

Наемники спросили, не сказал ли он еще что-нибудь, и ливиец прибавил:

— Когда я продолжал стоять перед ним, он спросил, чего я жду. Я ответил: «Жду, чтобы меня убили». Тогда он сказал: «Нет, уходи. Я убью тебя завтра вместе с другими».

Это великодушие изумило варваров и преисполнило некоторых из них ужасом. Мато жалел, что его посланца не убили.

У Мато оставалось еще три тысячи африканцев, тысяча двести греков, тысяча пятьсот кампанийцев, двести иберов, четыреста этрусков, пятьсот самнитов, сорок галлов и отряд нафуров — кочующих разбойников, встреченных в стране фиников,— всего семь тысяч двести девятнадцать человек, но ни одной годной синтагмы. Воины заткнули дыры своих панцирей костями животных и заменили бронзовые котурны рваными сандалиями. Медные и железные бляхи отягощали их одежды; кольчуги висели лохмотьями на теле, шрамы выступали на руках и лицах, как пурпуровые нити.

Они помнили гнев погибших товарищей; он усиливал их отвагу; они смутно чувствовали себя служителями бога, обитающего в сердце угнетенных, и как бы священнослужителями вселенской мести. К тому же их доводила до бешенства чудовищная несправедливость, от которой они пострадали, и особенно раздражал вид Карфагена на го-

ризонте. Они дали клятву сражаться друг за друга до смерти.

Они зарезали вьючных животных и плотно поели, чтобы подкрепить силы. Затем легли спать. Некоторые молились, обращаясь к разным созвездиям.

Карфагеняне прибыли на равнину первыми. Они натерли края щитов растительным маслом, чтобы стрелы легче скользили по ним; пехотинцы, носившие длинные волосы, из осторожности срезали их на лбу; в пятом часу утра Гамилькар велел опрокинуть все миски, зная, как неосторожно вступать в бой с полным желудком. Его войско состояло из четырнадцати тысяч человек — оно было почти вдвое больше, чем у варваров. Однако Гамилькар никогда еще не испытывал подобного беспокойства: поражение привело бы Республику к гибели, и он сам погиб бы на кресте. Если бы, напротив, он одержал победу, то переправился бы через Пиренеи, через обе Галлии и Альпы в Италию, и могущество рода Барки укрепилось бы навеки. Двадцать раз в течение ночи он вставал, чтобы самому за всем присмотреть вплоть до последних мелочей. Карфагеняне же были измучены долгим страхом, в котором они жили. Нар Гавас сомневался в преданности своих нумидийцев. К тому же варвары могли победить их. Царем нумидийцев овладела странная слабость, и он непрерывно пил воду большими чашами.

Однажды какой-то неизвестный вошел к нему в палатку и положил на пол венец из каменной соли, украшенный священными рисунками, сделанными с помощью серы и перламутровых ромбов. Жениху иногда посылали брачный венец; это было знаком любви, своего рода призывом.

Дочь Гамилькара, однако, не чувствовала никакой нежности к Нар Гавасу.

Ее нестерпимо терзало воспоминание о Мато; ей казалось, что смерть этого человека освободила бы ее от мысли о нем, подобно тому, как для исцеления от укуса змеи нужно раздавить ее на ране. Царь нумидийцев был покорен ей; он нетерпеливо ждал свадьбы, и так как свадьба должна была последовать за победой, Саламбо послала ему этот подарок, чтобы поднять в нем мужество. Теперь тревога его исчезла: он уже ни о чем не думал, кроме счастья, которое ему обещало обладание прекрасной женщиной.

Мато также мучил образ Саламбо, но он отогнал мысль о ней и свою подавленную любовь перенес на товарищей

по оружию. Он любил их, как частицу самого себя, своей ненависти, и это возвышало его дух и поднимало силы. Он ясно знал, что нужно делать. И если иногда у него вырывались стоны, то их вызывало воспоминание о Спендии.

Мато выстроил варваров в шесть равных шеренг. Посередине он поставил этрусков, скованных бронзовой цепью, позади них стрелков, а на флангах нафуров верхом на короткошерстых верблюдах, покрытых страусовыми перьями.

Суффет расположил карфагенян в том же порядке. За пехотой, рядом с велитами, он поставил клинабариев, за ними — нумидийцев. Когда взошло солнце, враги стояли, выстроившись, и меряли друг друга грозными взглядами. Произошло легкое замешательство. Потом оба войска пришли в движение.

Варвары, чтобы не устать, шли медленно, печатая шаг. Центр карфагенского войска выпятился; войска сошлись с ужасающим грохотом, подобным грохоту столкнувшихся кораблей. Первый ряд варваров тут же расступился, и стрелки, прятавшиеся сзади, стали метать ядра, стрелы, дротики. Между тем кривая линия карфагенян выровнялась, стала прямой, затем перегнулась в другую сторону, и оба отряда велитов начали сближаться, как ножки циркуля. В пылу сражения с фалангой варвары вступили в промежуток между велитами и этим губили себя. Мато остановил солдат, и в то время, как карфагенские фланги продолжали смыкаться, он вывел наружу три шеренги своего войска и построил их длинной цепью.

Но варвары, стоявшие на обоих концах этой цепи, оказались наиболее уязвимыми, особенно те, что находились слева, так как они истощили свой запас стрел, и подступившие велиты причиняли им большой урон.

Мато отвел воинов назад. На его правом фланге стояли кампанийцы, вооруженные топорами; он двинул их на левый карфагенский фланг; центр тоже напал на врага, а отступившие воины, находясь вне опасности, все же сдерживали велитов.

Гамилькар разделил свою конницу на небольшие отряды, разместил между ними гоплитов и двинул на наемников.

Эта конусообразная громада имела впереди конницу, а по бокам щетинилась пиками. Сопротивляться ей варвары не могли; только у греческой пехоты было бронзовое оружие; у остальных были только ножи, насаженные на шесты, серпы, взятые на фермах, мечи, сделанные из ко-

лесных ободьев; слишком мягкие лезвия сгибались от ударов, и в то время как варвары пытались выпрямить их ногой, карфагеняне в полной безопасности рубили врагов направо и налево.

Этруски, скованные цепью, не двигались с места. Убитые не падали — их трупы образовывали преграду; эта широкая бронзовая линия то раздавалась, то сжималась, гибкая, как змея, неприступная, как стена. Варвары сплачивались за нею, останавливались на минуту, чтобы перевести дух, потом вновь бросались вперед с обломками оружия в руках.

У многих уже не было никакого оружия, и они наскакивали на карфагенян, кусая им лица, как собаки. Галлы из гордости сбросили военное одеяние,— издали видны были их крупные белые тела; чтобы устрашить врага, они сами расширяли свои раны. Среди карфагенских синтагм не раздавался более голос глашатая, выкрикивавшего приказы: знамена служили сигналами, поднимаясь над пылью, и все двигались, уносимые общим потоком.

Гамилькар приказал нумидийцам наступать, но навстречу им помчались нафуры.

Облаченные в широкие черные одежды, с пучками волос на макушке и со щитами из кожи носорога, они сражались клинками без рукояти, придерживаемыми веревкой; их верблюды, покрытые перьями, протяжно и глухо ревели. Клинки попадали точно в цель, а затем отскакивали, оставляя за собой отсеченную часть тела. Разъяренные верблюды скакали между синтагмами, а те из них, у кого были повреждены ноги, подпрыгивали, как раненые страусы.

Карфагенская пехота в полном составе вновь бросилась на варваров и прорвала их ряды. Мелкие отряды кружились, оторванные один от другого. Сверкающее оружие карфагенян окружало их точно золотым венцом; посредине сталкивались воины, острия мечей вспыхивали белыми искрами под лучами солнца. Много клинабариев осталось лежать на равнине; наемники срывали с них доспехи, надевали на себя и возвращались в бой. Карфагеняне, обманутые видом наемников, не раз попадали в их ряды. Одни теряли голову и не могли двинуться с места, другие стремительно отступали, а торжествующие крики варваров подгоняли их, как подгоняет ветер обломки кораблей в бурю. Гамилькар приходил в отчаяние. Все гибло из-за гения Мато и непобедимой храбрости наемников.

Вдруг издали донеслись громкие звуки тамбуринов.

Шла толпа стариков, больных, пятнадцатилетних подростков, женщин; они не могли побороть свою тревогу и вышли из Карфагена; чтобы стать под защиту какой-нибудь грозной силы, они взяли у Гамилькара единственного слона, которым владела Республика,— слона с отрезанным хоботом.

Карфагенянам показалось, что родина покинула свои стены и приказывает им умереть за нее. Их охватил еще более сильный порыв ярости, и нумидийцы увлекли за собою всех остальных.

Варвары стояли среди равнины спиною к небольшому холму. У них не было надежды победить, даже остаться в живых, но это были лучшие, самые бесстрашные и сильные наемники.

Пришедшие из Карфагена стали бросать в них через головы нумидийцев вертела, шпиговальные иглы, молоты; те, кто наводил ужас на консулов, умирали теперь под ударами палок, брошенных женщинами; наемников истребляла карфагенская чернь.

Варвары нашли прибежище на вершине холма. Круг их после каждой пробитой в нем бреши смыкался; два раза они спускались вниз, и каждый раз их отбрасывали назад. Карфагеняне, сбившись в кучу, просовывали копья между ног товарищей и наугад наносили удары. Они скользили в лужах крови; трупы скатывались вниз по крутизне. Слону, который пытался подняться на холм, мертвецы доходили до живота. Казалось, он с наслаждением топчет их; его укороченный хобот с широким концом порой поднимался, как огромная пиявка.

Все замерли. Карфагеняне, скрежеща зубами, смотрели на вершину холма, где стояли варвары.

Наконец они кинулись вперед, и схватка возобновилась. Наемники временами подпускали их, крича, что сдаются, потом с диким хохотом убивали себя; мертвые падали, живые становились на них, чтобы защищаться. Образовалась как бы пирамида; она постепенно росла.

Вскоре осталось пятьдесят наемников, потом двадцать, потом три человека и наконец только два: самнит, вооруженный топором, и Мато, еще сохранявший свой меч.

Самнит, сгибая колени, ударял топором то вправо, то влево и предупреждал Мато об ударах, направляемых на него:

— Сюда, в эту сторону, господин! Наклонись!

Мато потерял наплечники, шлем, панцирь; он был наг

и бледнее мертвеца; волосы у него стояли дыбом, в углах рта выступила пена. Меч его вращался так быстро, что образовал вокруг него как бы ореол. Камень сломал его меч у самой рукоятки; самнит был убит. Поток карфагенян сплачивался, приближаясь к Мато. Тогда он поднял к небу безоружные руки, закрыл глаза и с распростертыми руками, как человек, который кидается с утеса в море, бросился на копья.

Копья раздвинулись перед ним. Он несколько раз устремлялся на карфагенян, но они отступали, отводя оружие.

Нога его коснулась меча. Он хотел схватить его, почувствовал себя связанным по рукам и ногам и упал.

Нар Гавас следовал за ним уже некоторое время шаг за шагом с широкими сетями, какими ловят диких зверей. Воспользовавшись минутой, когда Мато нагнулся, Нар Гавас набросил на него сеть.

Мато поместили на слоне, скрутив ему крест-накрест руки и ноги; все, кто не был ранен, сопровождали его с криками в Карфаген.

Известие о победе распространилось в Карфагене непонятным образом уже в третьем часу ночи: водяные часы храма Камона показывали пятый час, когда победители прибыли в Малку; и тут Мато открыл глаза. Дома были так ярко освещены, что город казался объятым пламенем.

Немолчный гул смутно доходил до него, и, лежа на спине, он смотрел на звезды.

Дверь затворилась, и его окружил мрак.

На следующий день в тот же самый час испустил дух последний из оставшихся в ущелье Топора.

В тот день, когда ушли товарищи наемников, возвратившиеся зуаеки скатили вниз скалы и в течение некоторого времени кормили людей, запертых в ущелье.

Варвары все ждали Мато и не хотели покидать горы из малодушия, от усталости, а также из упрямства, свойственного больным, которые отказываются менять место; наконец, когда припасы истощились, зуаеки ушли. Известно было, что варваров в ущелье осталось не более тысячи трехсот человек и, чтобы покончить с ними, не было надобности в воинах.

За три года войны количество диких зверей, в особенности львов, сильно возросло. Нар Гавас сделал на них облаву, потом, привязав коз на некотором расстоянии

одну от другой, погнал львов в ущелье Топора. Там они все и оказались, когда человек, посланный старейшинами, прибыл посмотреть, что осталось от варваров.

На всем протяжении долины лежали львы и трупы; мертвецы смешались в одну кучу с одеждой и оружием. Почти у всех недоставало либо лица, либо руки; некоторые казались еще не тронутыми, другие высохли, и шлемы их полны были прахом черепов; ноги, на которых уже не было мяса, высовывались из кнемид, на скелетах уцелели плащи; кости, выбеленные солнцем, блестящими пятнами усеяли песок.

Одни львы отдыхали, прижавшись грудью к земле и вытянув лапы, и щурились от света, усиленного отражением белых скал. Другие, сидя на задних лапах, пристально глядели перед собой или же, покрытые широкими гривами, спали, сытые, уставшие, скучающие. Они были недвижны, как горы и мертвецы. Спускалась ночь; по небу тянулись широкие красные полосы.

В одной из куч, разбросанных по долине, вдруг зашевелилось что-то более смутное, чем призрак. Один из львов встал; его чудовищное тело отбрасывало черную тень на багровое небо. Подойдя к человеку, лев опрокинул его ударом лапы.

Затем он лег на него брюхом и стал медленно раздирать когтями внутренности своей жертвы.

Потом широко раскрыл пасть и несколько минут протяжно ревел.. Горное эхо повторяло его рев, пока наконец тот не замер в окружающей тишине.

Вдруг сверху посыпались мелкие камни. Раздался шум; со стороны решетки в ущелье показались заостренные морды и прямые уши; сверкнули дикие глаза. То были шакалы, явившиеся, чтобы пожрать останки.

Карфагенянин, который смотрел вниз, нагнувшись над краем пропасти, пошел обратно.

XV

МАТО

Карфаген радовался, и радость его была глубока, всенародна, безгранична, безудержна. Заделали пробоины в развалинах, наново выкрасили статуи богов, усыпали улицы миртовыми ветками; на перекрестках дымился ладан, и люди на террасах казались в своих пестрых одеждах охапками распускающихся цветов.

Непрерывный шум толпы заглушался выкриками водоносов, поливавших каменные плиты; рабы Гамилькара раздавали от его имени поджаренный ячмень и куски сырого мяса. Карфагеняне подходили на улицах друг к другу, целовались и плакали; тирские города были завоеваны, кочевники рассеяны, все варвары уничтожены. Акрополь исчезал под цветными велариумами; тараны трирем, выстроившихся за молом, сверкали, точно плотина из драгоценных камней; чувствовалось, что порядок восстановлен, что началась новая жизнь; в воздухе, казалось, было разлито счастье. В этот день праздновалось бракосочетание Саламбо с царем нумидийским.

На террасах храма Камона золотая и серебряная утварь огромных размеров была расставлена на трех длинных столах, приготовленных для жрецов, старейшин и богачей; четвертый стол, стоявший выше других, предназначался для Гамилькара, Нар Гаваса и Саламбо. Саламбо спасла отечество тем, что вернула ему заимф, и потому свадьба ее превратилась в национальное торжество; внизу на площади толпа ждала появления новобрачной.

И другое, еще более острое желание вызывало нетерпение толпы: в этот торжественный день должна была состояться казнь Мато. Предлагали содрать с него кожу, залить ему внутренности расплавленным свинцом, уморить голодом; хотели привязать его к дереву; чтобы обезьяна, стоя за его спиной, била его по голове камнем; он оскорбил Танит, и ему должны были отомстить кинокефалы богини. Другие предлагали возить его на дромадере, привязав к телу льняные фитили, пропитанные маслом. Приятно было представлять себе, как дромадер будет бродить по улицам, а человек на его спине корчиться в огне, точно светильник, колеблемый ветром.

Но кому из граждан поручить пытку и почему лишить этого наслаждения остальных? Нужно было придумать способ умерщвления, в котором участвовал бы весь город, так, чтобы все руки, все карфагенское оружие, все предметы в Карфагене, вплоть до каменных плит и до вод залива, могли бы истязать его, избивать и уничтожать. Старейшины решили, что он пойдет пешком из тюрьмы на Камонскую площадь, никем не сопровождаемый, со связанными за спиной руками; запрещено было наносить ему удары в сердце, чтобы он оставался в живых как можно дольше; запрещено было выкалывать ему глаза, чтобы он до конца видел свою пытку; запрещено было также

бросать что-либо в пленника и ударять его больше чем тремя пальцами сразу.

Хотя он должен был появиться только к концу дня, толпе несколько раз казалось, что она видит его; все бросались к акрополю; улицы пустели; потом толпа с долгим ропотом возвращалась обратно. Многие стояли, не двигаясь с места, целые сутки и издали перекликались, показывая друг другу ногти, которые они отрастили, чтобы глубже запустить их в тело Мато. Другие ходили взад и вперед в большом волнении; некоторые были так бледны, точно ждали собственной казни.

Вдруг за Маппалами над головами людей показались высокие опахала из перьев. То была Саламбо, выходившая из дворца; у всех вырвался вздох облегчения.

Но процессия двигалась медленно, и прошло много времени, прежде чем она подошла к террасе.

Впереди шествовали жрецы богов Патэков, потом жрецы Эшмуна и Мелькарта, а затем и другие жрецы, с теми же значками и в том же порядке, как в день жертвоприношения. Жрецы Молоха прошли, опустив голову, и толпа, словно чувствуя раскаяние, отстранялась от них. Жрецы Раббет, напротив, выступали гордо, с лирами в руках; за ними следовали жрицы в прозрачных платьях, желтых или черных; они испускали возгласы, похожие на крики птиц, извивались, как змеи, или кружились под звуки флейт, подражая пляске звезд; их легкие одежды разносили по улицам волны нежных ароматов. Толпа встречала рукоплесканием шедших среди жриц кадешимов с накрашенными веками, олицетворявших двуполость божества; надушенные и наряженные, как женщины, они походили на них, хотя у кадешимов были плоские груди и узкие бедра. Женское начало в этот день царило всюду; мистическое сладострастие наполняло тяжелый воздух; уже загорались факелы в глубине священных рощ; ночью там должна была состояться оргия; три корабля привезли из Сицилии куртизанок, и много их прибыло из пустыни.

Жрецы постепенно выстраивались во дворах храма, на наружных галереях и вдоль двойных лестниц, которые вели на стены. Ряды белых одежд возникали между колоннадами; здание наполнялось человеческими фигурами, неподвижными, точно каменные изваяния.

За жрецами шли ведавшие казной начальники провинций и вся партия богачей. Внизу поднялся шум. Толпа хлынула из соседних улиц; рабы, служители храмов отго-

няли людей палками. Наконец среди старейшин с золотыми тиарами на головах на носилках под пурпуровым балдахином появилась Саламбо.

Раздались неистовые крики; громче зазвучали кимвалы и кроталы, загремели тамбурины, и пурпуровый балдахин скрылся между двух колонн.

Он вновь показался на втором этаже. Саламбо медленно шла под балдахином; потом она пересекла террасу и села в кресло в виде трона, сделанное из черепашьего щитка. Под ноги ей поставили табурет из слоновой кости с тремя ступеньками; на нижней стояли два коленопреклоненных негритенка; время от времени она клала им на голову обе руки, покрытые слишком тяжелыми кольцами.

От щиколоток до бедер ее обхватывала сетка из густых петель в виде рыбьей чешуи, блестевшая, как перламутр; синий пояс стягивал стан; в двух прорезях в виде полумесяца виднелись груди; кончики их были скрыты подвесками из карбункулов. Головной убор состоял из павлиньих перьев, звезд и драгоценных камней; широкий белоснежный плащ падал с плеч. Прижав локти к телу, сдвинув колени, с алмазными браслетами на руках, у самых плеч, она сидела выпрямившись, в торжественной позе.

Ниже на двух сиденьях поместились ее отец и супруг. Нар Гавас был в светлой длинной одежде и в венце из каменной соли, из-под которого спускались две косы, закрученные, как рога Амона; фиолетовая туника Гамилькара была расшита золотыми виноградными ветвями; сбоку у него висел боевой меч.

В пространстве, замкнутом столами, между сосудами с розовым маслом лежал большим черным кругом пифон из храма Эшмуна и кусал свой хвост. Посредине этого круга стояла медная колонна, поддерживавшая хрустальное яйцо; на него падали лучи солнца и, отражаясь, расходились во все стороны.

Позади Саламбо выстроились жрецы Танит в льняных одеждах. Справа от нее, образуя своими тиарами длинную золотую полосу, сидели старейшины; слева длинной зеленой полосой расположились богачи с изумрудными жезлами; в глубине пурпуровой стеной стояли жрецы Молоха. Другие жрецы заняли нижние террасы. Толпа запрудила улицы. Люди поднялись на крыши домов и усеяли склоны акрополя до самой его вершины. У ног Саламбо был народ, над ее головой — свод небес, вокруг нее — беспредельность моря, залив, горы, дальние провинции, и в

своих сверкающих одеждах она сливалась с Танит и казалась гением Карфагена, воплощением его души.

Пир должен был длиться всю ночь; светильники с несколькими рожками стояли, как деревья, на скатертях из цветной шерсти, покрывавших низкие столы. Большие кувшины из сплава золота и серебра, синие стеклянные амфоры, черепаховые ложки и маленькие круглые хлебы привлекали взор среди двойного ряда тарелок, выложенных по краям жемчугом. Кисти винограда с листьями обвивались, как на тирсах, вокруг лоз из слоновой кости; куски льда таяли на подносах из черного дерева; лимоны, гранаты, тыквы и арбузы лежали горками в высоких серебряных вазах; кабаны с раскрытой пастью утопали в пряных приправах; зайцы, покрытые шерстью, точно прыгали между цветами; мясной фарш наполнял раковины; формы печений являли собою символы; когда поднимали крышки с блюд, оттуда вылетали голуби. Рабы, подоткнув туники, ходили вокруг столов на цыпочках; время от времени лиры играли гимны, слышалось хоровое пение. Гул толпы, немолчный, как рокот моря, служил аккомпанементом пиршеству и точно баюкал его своей могучей симфонией. Некоторые вспоминали пир наемников; все предавались мечтам о счастье. Солнце клонилось к закату, напротив него уже поднимался серп луны.

Вдруг Саламбо, точно кто-то окликнул ее, повернула голову; народ, следивший за ней, стал смотреть в ту же сторону.

На вершине акрополя открылась дверь темницы, высеченной в скале у подножия храма; в этой черной дыре стоял на пороге человек. Он вышел согнувшись, с растерянным видом дикого зверя, выпущенного на свободу.

Свет слепил его; некоторое время он стоял неподвижно. Все узнали его и затаили дыхание.

Тело этой жертвы было для толпы чем-то необычайным, окруженным почти священным ореолом. Люди вытянули шеи, чтобы рассмотреть его; особенно напряженный взгляд был у женщин. Они горели желанием видеть того, кто был виновником смерти их детей и мужей; из глубины их душ поднималось против воли низкое любопытство, желание познать его; желание это смешивалось с угрызениями совести и распаляло ненависть. Наконец он шагнул вперед; смущение, вызванное неожиданностью, прошло. Поднялось множество рук, и он исчез.

Лестница акрополя имела шестьдесят ступеней. Он

быстро спустился по ней, точно уносимый горным потоком; видно было, как он сделал три прыжка; внизу он остановился.

Плечи его были в крови; грудь прерывисто и тяжело вздымалась; он силился разорвать путы, и руки его, крестообразно связанные на обнаженной пояснице, вздувались, как кольца змеи. Перед ним расходилось несколько улиц. На каждой из них протянуты были из конца в конец три параллельных ряда бронзовых цепей, прикрепленных к пупу богов Патэков; толпа теснилась у домов, посредине расхаживали слуги старейшин, размахивая бичами. Один из них стегнул пленника изо всех сил. Мато двинулся вперед.

Люди вытягивали руки поверх цепей, крича, что для Мато оставлен слишком широкий путь. Так он шел, ощупываемый, пронзаемый, раздираемый толпой; когда он доходил до конца одной улицы, перед ним открывалась другая. Несколько раз он бросался в сторону, чтобы укусить своих преследователей; они отшатывались, цепи преграждали ему путь, толпа разражалась хохотом.

Кто-то из детей разорвал ему ухо; девушка, прятавшая в рукаве веретено, рассекла ему щеку; у него вырывали клочья волос, куски тела; другие, держа палки с губкой, пропитанной нечистотами на конце, мазали ему лицо. Из его шеи с правой стороны хлынула кровь; толпа пришла в неистовство. Этот последний из варваров был для карфагенян олицетворением всех варваров, всего варварского войска; они мстили ему за все свои бедствия, за свой ужас, за свой позор. Ярость народа разгоралась по мере того, как он утолял жажду мести; туго натянутые цепи гнулись — вот-вот разорвутся; толпа не чувствовала ударов, которыми ее отгоняли рабы; люди цеплялись за выступы домов; из всех отверстий в стенах высовывались головы; зло, которое народ уже не мог причинить Мато, изливалось в криках.

Мато осыпали грубой, злобной бранью, проклятиями, насмешками, и, точно мало ему было тех мук, которые он терпел, ему пророчили еще более страшные пытки в вечности.

Слитый вой, несмолкаемый, бессмысленный, наполнял Карфаген. По временам какой-нибудь звук, хриплый, неистовый, свирепый, повторялся несколько минут всем народом. Стены дрожали от него сверху донизу, и Мато казалось, что дома с обеих сторон улицы наступают на него, поднимают на воздух и душат, как две могучие руки. Он

вспомнил, что уже испытал нечто подобное. И тогда была та же толпа на террасах, те же взгляды, та же ярость. Но он шел свободный, все расступались перед ним,— его защищал бог. Это воспоминание становилось все более отчетливым и преисполняло его гнетущей тоскою. Тени проходили у него перед глазами; дома словно кружились в голове, кровь текла из раны на боку; он чувствовал, что умирает; колени его согнулись, и он тихо опустился на каменные плиты.

Кто-то вошел в храм Мелькарта и, взяв с треножника между колоннами раскаленный на горящих угольях прут, просунул его под первую цепь и прижал к ране Мато. От тела пошел дым; вой толпы заглушил голос Мато: он снова встал на ноги.

Пройдя еще шесть шагов, он упал в третий, потом в четвертый раз; каждый раз его поднимала новая пытка. На него направляли трубки, из которых капало кипящее масло; ему бросали под ноги осколки стекла; он продолжал идти. На углу улицы Сатеб он прислонился к стене под навесом лавки и уже не двигался.

Рабы Совета старейшин хлестали его бичами из гиппопотамовой кожи так долго и так яростно, что бахрома их туник сделалась мокрой от пота. Мато казался бесчувственным. Но вдруг он сорвался с места и бросился бежать наугад, громко стуча зубами, точно от страшного холода. Он миновал улицу Будеса, улицу Сепо, промчался через Овощной рынок и добежал до Камонской площади.

С этой минуты он принадлежал жрецам; рабы оттеснили толпу; Мато очутился на просторе. Он огляделся вокруг и заметил Саламбо.

Едва он сделал первый шаг, Саламбо поднялась с места, затем, по мере того как он приближался, она, как бы лишившись воли, подходила к краю террасы, и скоро все окружающее пропало у нее из глаз, она ничего не видела, кроме Мато. В ее душе наступила тишина, точно открылась пропасть; весь мир для нее исчез под гнетом одной-единственной мысли, одного воспоминания, одного взгляда. Человек, который шел к ней, притягивал ее.

Кроме глаз, в нем не осталось ничего человеческого; он представлял собой сплошную красную массу; разорвавшиеся веревки свисали с бедер, но их нельзя было отличить от сухожилий его рук, с которых сошла кожа; рот был широко раскрыт; из орбит точно вырывалось пламя, поднимаясь к волосам; несчастный продолжал идти.

Он дошел до подножия террасы. Саламбо наклонилась над перилами; эти страшные глаза были обращены к ней, и она поняла, сколько он выстрадал из-за нее. Он умирал, но она видела его таким, каким он был в палатке, на коленях перед нею, когда обнимал ее стан и шептал нежные слова. Она жаждала вновь их услышать; она не хотела, чтобы он умер! В эту минуту по телу Мато пробежала дрожь; Саламбо чуть не вскрикнула. Мато упал навзничь и уже не шевелился.

Жрецы окружили Саламбо. Она была в полубессознательном состоянии. Жрецы отнесли ее и вновь усадили на трон. Они поздравляли дочь Гамилькара, ибо все, что совершилось, было ее заслугой. Все хлопали в ладоши, топали, неистово кричали, выкликая ее имя.

Какой-то человек бросился к трупу. Хотя он был без бороды, но в облачении жрецов Молоха; за поясом у него сверкал нож, которым жрецы разрезают священное мясо жертв; рукоять ножа была в виде золотой лопатки. Шагабарим одним ударом рассек грудь Мато, вырвал сердце, положил его на лопатку и, подняв руку, принес в дар Солнцу.

Солнце садилось за водами залива; лучи его падали длинными стрелами на красное сердце. И по мере того как прекращалось его биение, светило погружалось в море; при последнем трепетании сердца оно исчезло.

Тогда от залива до лагуны, от перешейка до маяка все улицы, все дома и все храмы огласились криком; крик затихал, потом раздавался снова; здания дрожали. Карфаген содрогался от мощи своего восторга и от безграничности упований.

Нар Гавас, упоенный гордостью, обнял левой рукой стан Саламбо в знак обладания ею; правой рукой он взял золотую чашу и выпил за гений Карфагена.

Саламбо по примеру супруга поднялась с чашей в руке, чтобы испить вина. Но она тут же опустилась, запрокинув голову на спинку трона, бледная, оцепеневшая, с раскрытыми устами. Ее распустившиеся волосы свисали до земли.

Так умерла дочь Гамилькара в наказание за то, что коснулась покрывала Танит.





ПРИМЕЧАНИЯ

ГОСПОЖА БОВАРИ

В сентябре или в октябре 1849 года Гюстав Флобер — почти не публиковавшийся автор многочисленных рассказов, путевых очерков и даже законченного романа «Воспитание чувств» — пригласил в себе в Круассе друзей — писателя Максима дю Кана и поэта Луи Буйле, чтобы прочесть им свое новое произведение. То была первая редакция «Искушения святого Антония». Чтение заняло два дня; вердикт друзей был беспощаден: «Нужно швырнуть все в огонь и больше не возвращаться к этому разговору». И тут же был дан совет: «Раз у тебя есть непреодолимая склонность к лиризму, нужно выбрать такой сюжет, при котором лирика была бы просто смешна и тебе пришлось бы следить за собой и совершенно от нее отказаться. Возьми самый обычный сюжет, какое-нибудь из тех происшествий, какими полна жизнь обывателя...» На следующий же день Луи Буйле предложил Флоберу описать «историю Делоне».

Так описывает первый толчок к созданию «Госпожи Бовари» Максим дю Кан в своих «Литературных воспоминаниях». По его же словам, во время путешествия на Восток, в которое он вскоре отправился вместе с Флобером, тот непрерывно думал над предложенной темой и даже воскликнул однажды, стоя на гранитной скале и любуясь вторым Нильским порогом: «Эврика! Я назову ее «Эмма Бовари».

Однако главный свидетель — Гюстав Флобер — не подтверждает этого весьма эффектного рассказа. Идея описать в романе «историю Делоне» пришла ему вовсе не сразу после чтения в Круассе; во всяком случае, месяц спустя после поездки ко второму порогу, 22 апреля 1850 года, Флобер писал матери: «Мне очень хотелось бы придумать хоть что-нибудь, но что — не знаю». И позже — ни в ноябре того же года, ни в апреле 1851 года,— делясь в письмах к Буйле планами будущих сочинений, Флобер ни слова не говорит о чем-либо, напоминающем «историю Делоне».

В 1952 году были опубликованы два документа, позволяющие установить более точную дату первого замысла «Госпожи Бовари». Дело идет о двух письмах того же дю Кана. В первом из них, от 23 июля 1851 года, отправитель спрашивает Флобера, какой сюжет предпочел он избрать: Дон Жуана или «историю госпожи Деламар, которая сама по себе очень хороша». Во втором, от 2 августа, он обещает Флоберу поделиться с ним своими переживаниями, ибо они могут пригодиться ему — «для твоей Бовари». Итак, можно считать, что лишь между 23 июля и 2 августа 1851 года произошел окончательный выбор сюжета будущего романа и состоялось крещение героини.

Что же это за история госпожи Деламар, на которой писатель остановил свой выбор (о том, что именно эту даму разумел под именем госпожи Делоне Максим дю Кан, стало известно еще в 1890 г.)? Лекарь из города Ри близ Руана Эжен Деламар, сын одной из знакомых семьи Флоберов, женился вторично на дочери богатого фермера Дельфине Кутюрье; Дельфина, родив ему дочь, скончалась в возрасте 26 лет в 1848 году. Два года спустя умер и Деламар. Вот и все данные, которыми мы располагаем относительно семейства Деламар. Далее начинается область слухов. Племянница Флобера Каролина Франклин-Грут говорит в одном из позднейших писем о «непристойном поведении» Дельфины Деламар и о вызванном им «скандале», из которого «родилась «Госпожа Бовари»; известно также, что после кончины молодой женщины говорили о самоубийстве, о мышьяке. Как бы то ни было, эта сторона истории Деламаров могла способствовать формированию сюжета флоберовского романа.

За областью слухов широко раскинулась область литературной легенды. Начало ей положил дю Кан. Рассказывая в «Литературных воспоминаниях» «историю Делоне», он явно подтягивает ее к сюжету «Госпожи Бовари», утверждая, вопреки позже установленной истине, что первым браком лекарь был женат на «женщине старше себя, которую почитал богатой», что его вторая жена «воспитывалась в одном из руанских пансионов»; без всякого колебания пишет дю Кан о том, что «госпожа Делоне» отравилась, «обремененная долгами, преследуемая кредиторами, избиваемая любовниками, ради которых она обворовывала мужа». Много дальше дю Кана пошел журналист Жорж Дюбос, в ноябре 1890 года напечатавший в «Руанской газете» очерк «Подлинная госпожа Бовари». Он установил тождество семейства «Делоне» с Деламарами и сочинил их историю, будто бы совершенно идентичную истории семьи Бовари. По его утверждению, Ионвиль-л'Аббей — это Ри, где в эпоху Флобера жили и Оме, и Леон, только звали их, конечно, иначе, более того, аптекарь Жуан, прототип Оме, и рассказал всю

историю Флоберу. Вслед за открытием Дюбоса «открытия» посыпались одно за другим. Следопыты-любители открыли в Ри прототипов всех, даже второстепенных, персонажей романа; в самом городке стали показывать приезжающим «дом госпожи Бовари», «аптеку Оме» и т. п. Чтобы разрушить эту легенду, понадобились усилия более трезвых критиков, указавших на то, что ландшафт Ри ничуть не напоминает описания Ионвиля, что Флобер никогда не бывал в Ри, что среди многочисленных знакомых, упоминаемых в огромном своде его писем, нет имени аптекаря Жуана. Словам писателя о том, что «в «Госпоже Бовари» нет ничего истинного, вся история выдумана» и что «все действующие лица этой книги — вымышленные, даже «Ионвиля-л'Аббей не существует», поверили вновь.

И все же Флобер в разработке сюжета опирался на некий жизненный материал. В том, что история Деламаров помогла сконструировать сюжет и определить социальное положение героев, сомневаться не приходится. Не так давно стали известны и некоторые другие источники. Среди них прежде всего следует назвать рукописный документ, найденный в 1947 году в архиве Флобера и озаглавленный «Записки госпожи Людовики». Это отчет о довольно-таки скандальной частной жизни Луизы Прадье, жены скульптора Джемса Прадье, впоследствии получившей развод. Отчет этот составлен, вероятнее всего, какой-либо доверенной компаньонкой госпожи Прадье. В нем говорится о любовных похождениях легкомысленной дамы, о ее денежных затруднениях и судорожных попытках из них выпутаться. Здесь мы находим и доверенность на распоряжение общим имуществом, которую дает муж, и кражу домашних вещей для заклада в ломбард, и неожиданную для мужа распродажу имущества за долги, и попытку обратиться за помощью к бывшим любовникам, не увенчавшуюся успехом (против этого места на полях рукописи стоит поставленный Флобером крест). Одним словом, «Записки госпожи Людовики» много способствовали Флоберу именно в той части романа, где повествуется о разорении семейства из-за легкомыслия жены.

Исследователи Флобера немало спорили о том, не повлияла ли на создание образа Эммы «Муза» Флобера — писательница Луиза Коле, связь с которой тянулась почти до самого завершения «Госпожи Бовари». Однако трудно представить себе, чтобы любвеобильная, тщеславная, способная дышать лишь в атмосфере литературного Парижа Луиза могла иметь что-либо общее с провинциалкой Эммой. Да и сам Флобер позже говорил Гонкурам, что во всем романе только папаша Бовари списан с реального лица.

Но что заставило Флобера выбрать именно такой конфликт среди множества «событий, какими полна жизнь обывателя», что приковало его внимание к истории четы Деламар, заставило раздобыть «Записки госпожи Людовики»? Едва ли даже самый искушенный психоаналитик сумеет найти этому истинные причины. Одно лишь можно сказать с уверенностью: трагедия буржуазного брака, конфликт прозаической мужской натуры и экзальтированной натуры женщины, мнящей себя выше окружающей среды, привлек внимание Флобера задолго до начала работы над «Бовари». Еще в 1837 году юный писатель, увлеченный газетным сообщением, пишет рассказ «Страсть и добродетель», в котором восторженная, романтическая героиня отравляет своего скучного мужа, а заодно и детей, чтобы бежать вслед за любовником, покинувшим ее из страха перед чрезмерной силой ее чувства. Скучает в браке, подобно Эмме, Эмилия Рено, героиня первого из двух романов, озаглавленных «Воспитание чувств»; и подобно Эмме, она ищет спасения в любви. Правда, она осуществляет то, о чем Эмма, влюбленная в Родольфа, только мечтает,— бежит с любовником в Америку; но едва начинается скудное повседневное существование с ним, Эмилия снова разочаровывается... А на одной из последних страниц неопубликованного романа имеется как бы конспект будущей «Госпожи Бовари»: другая героиня «вышла замуж, ее супруг — деревенский врач... которого она соблазнила итальянскими каватинами и импозантными томными манерами; он все еще по уши влюблен в нее... Она безжалостно просаживает все, что он зарабатывает; бедняга с риском сломать себе шею разъезжает по грязным дорогам, между тем как барыня сидит в уголке у камелька, развалясь в мягких креслах, и читает модный роман, либо приглашает окрестных дам на чашку чая с пирожными».

Итак, психологическая ситуация, лежащая в основе романа, была внимательно изучена и разработана Флобером задолго до того, как он решил обратиться к «истории Деламаров». Поэтому нет ничего удивительного в том, что между началом августа и 20 сентября 1851 года Флобер пишет первый сценарий-конспект будущего романа, в котором уже четко определены характеры основных персонажей, психологические мотивировки их поступков и главнейшие линии отношений между ними. Вслед за первым пишутся, по крайней мере, еще девять сценариев, уточняющих наметки всего произведения в целом или главных его частей. Особенно важен первый сценарий: [1]

---

[1] Курсивом выделены позднейшие вставки и приписки на полях; воспроизведена пунктуация оригинала; знаком <...> обозначены сделанные нами мелкие пропуски.

начать с его прихода в коллеж.—
продолжает носить на переменах деревенское платье.

Шарль Бовари лекарь 33 лет когда начинается книга вдовец был женат на женщине старше себя женился на ней по расчету или скорее по глупости и был ею одурачен — его детство в деревне до 15 лет

снимает комнату над ручьем Робек

<...> 3 или 4 года в коллеже лекарь потом с трудом студент-медик — глупая, не осознаваемая им самим нужда характер мягкий чувствительный прямой справедливый, туповатый, лишенный воображения узнает с одной или двумя гризетками что такое любовь поступает на место — с ним его мать *честолюбивая и каверзная — отец пьяница* и бахвал — потом первая жена.

время от времени наезжает к Шарлю на 8, на 15 дней

Г-жа Бовари Мари (подписывается Мария, Марианна или Мариэтта) дочь зажиточного земледельца, воспитанная в монастыре в Руане *воспоминания о ее мечтах когда она проходит мимо монастыря* — подруги из знати — туалет фортепиано...

поместить все предшествующее в ходе дальнейшего развития...

Сначала она любит недурного собой малого — хорошо сложенного и смазливого — но не слишком увлечена, ее чувственность еще не проснулась, она вносит *постепенно* в дом больше роскоши, чем позволяют доходы — ее одиночество в то время, пока муж в разъездах — его возвращения по вечерам, промокший, между тем как она — она читает какой-нибудь изящный роман — особенно из парижской жизни.

развить это позже — в эту пору она еще грезит и скучает.

Модные журналы. Журнал для Девиц, бал в замке, начало любви, которая ничем не кончается, в конце концов она возненавидела свою местность и вынуждает мужа уехать.

Долгое ожидание страсти события которых все нет — в следующем году в ту же пору бала не дают.

Переезжают в другое место дело еще хуже — 1-й клерк у нотариуса напротив, такой же как ее муж но только

Проходит ежедневно у нее под окнами, отправляясь в контору — у не-

го комната в доме напротив у аптекаря спокойна — все как с мужем. <...>

натура более возвышенная хотя и сходная — она долго борется сама с собой — потом отдается ему — усталость от женственной натуры этого рохли ее первого любовника.

Второй любовник [37] 33 года офицер спаги, смуглый опытный — смуглый — спесивый — острослов овладевает ею шутя и весьма сильно разжигает ее темперамент за внешней веселостью снедаем честолюбием охотник человек архиположительный охотник в бархатной куртке — грубый — загорелый — энергичный и любящий пожить — постепенно разоряется. Положительный — пресыщенный — чувственный — он деморализует ее, немного показав ей жизнь такой как есть — путешествие в Париж.

ничтожность мужа — трения — она возвращается к Леопольду — чувственность ее созрела и тут страсть становится стойкой и размеренной, она отдается ей вся целиком

возвращение — мир пуст — это утихает возвращается старший клерк — *он устроился старшим клерком в Руане* — поездки в Руан по четвергам — гостиница «Англия» — дождь — роскошно обставленный —

отчаяние неудовлетворенной чувственной жажды комфорта (потребность в общем благосостоянии развилась по причине счастливой любви — бескорыстие только в начале страсти) к которой присоединяется поэтическая потребность в роскоши — грешная жизнь

чтение романов (с точки зрения чувственности фантазии) расходы — требования поставщиков

пуста *сердцем по отношению* к любовнику по мере того как чувственность развивается, головокружение. и все же она не может любить мужа.

новое приключение с Капитаном — *который прогоняет ее*

она пытается вернуться к мужу — она восхищается им *уважает его и замечает бездну*

последнее свидание с любовником Леопольдом

— Самоубийство

болезнь

смерть

Бдение над телом — дождливый вечер дилижанс проезжающий под открытым окном —

погребение —

одинокая пустота Шарля с маленькой дочкой вечер, день за днем он узнает о долгах жены. Старший клерк женится.—

однажды Шарль во время прогулки по саду внезапно умирает — его дочка в благотворительных школах».

Если в первом сценарии основной упор сделан на психологическую подоплеку происшедшего и намечены только основные события и наиболее характерные детали, то в дальнейших сценариях рассказ обрастает новыми деталями. Подробнее разрабатываются характеры: в седьмом сценарии, например, перечисляются детали, свидетельствующие о вульгарности Шарля; среди них преобладают те, которые, как известно из писем, были особенно неприятны самому Флоберу (окладистая борода, привычка подрезать винные пробки); появляются новые лица, занимающие все больше места,— Лере и особенно Оме. В последнем полном сценарии все сцены, кроме одной,— где Леон соблазняет Эмму,— намечены в том виде, в каком они вошли в роман (хотя и не все имеющиеся в романе события предусмотрены этим сценарием).

Наконец 19 сентября 1851 года Флобер садится за свой роман. Начинается мучительный труд, поглотивший все силы писателя и отнявший у него четыре с половиною года. Все это время Флобер живет в Круассе, с матерью и малолетней сиротой-племянницей. Один раз он позволяет себе двухнедельную отлучку к морю. Изредка ездит в Мант, где на полпути между Руаном и Парижем встречается с Луизой Коле; еще реже приезжает к ней в Париж; однако и эти редкие свидания часто откладываются — всегда по инициативе Флобера, не желающего отрываться от письменного стола. В конце концов это приводит к разрыву. Но написанные за три предшествующих года письма к Луизе Коле позволяют как нельзя лучше почувствовать напряжение и упорство, с какими работал писатель.

«Вчера вечером начал писать роман. Я предвижу теперь стилистические трудности, которые приводят меня в ужас. Не так-то легко дается простота» (20 сентября 1851 г.). «Мой роман туго подвигается вперед. Как будто временами я вот-вот поймаю стиль, фраза так и вертится на языке, но пока ничего еще не выходит. Каким тяжелым веслом кажется перо... Я написал целую страницу, набросал еще три и надеюсь недельки через две войти в колею» (конец октября 1851 г.). «Моя книга с трудом продвигается вперед. Порчу огромное количество бумаги. Сколько помарок! Фраза так медлит! Что за дьявольский стиль! Будь они прокляты, простые сюжеты! Если бы вы знали, как я мучаюсь, вы бы пожалели меня. Взял на себя обузу по меньшей мере на год» (начало ноября 1851 г.). «Я потому не ответил раньше на твое жалобное и унылое письмо, что переживал настоящую рабочую горячку. Третьего дня лег спать в пять часов утра, вчера — в три. С прошлого понедельника, отложив остальные дела, я всю неделю просидел над своей «Бовари» — стало досадно, что работа не двигается. Дошел уже до бала и в понедельник начну о нем писать; теперь, надеюсь, дело наладится. С тех пор, как мы с тобой в последний раз виделись, я написал ровно двадцать пять страниц (двадцать пять страниц в шесть недель). Нелегко они дались мне; завтра прочту их Буйле. Самому же мне трудно сейчас в них разобраться — слишком много я над ними трудился, изменял их, вертел в руках, переписывал. Мне все же кажется, что они сделаны неплохо... Жизнь веду я суровую, безрадостную... Я люблю свою работу яростной и извращенной любовью, как аскет — власяницу, царапающую ему тело. По временам, когда я чувствую себя опустошенным, когда выражение не дается мне, когда, исписав длинный ряд страниц, я убеждаюсь, что не создал ни единой фразы, я бросаюсь на диван, лежу отупелый и погружаюсь в тоску. Я ненавижу себя, я обвиняю себя в безумном честолюбии, которое заставляет меня гнаться за химерой. А через четверть часа все изменилось, сердце бьется от счастья. В прошлую среду мне пришлось встать и пойти за носовым платком — у меня по лицу текли слезы. Я сам умилился над тем, что писал; я испытал сладостное волнение и от своей идеи, и от фразы, передавшей эту идею, и от удовлетворения, что нашел самую фразу» (24 апреля 1852 г.). «Бовари» — невероятный фокус, осознать который могу лишь я один; сюжет, персонажи, действие — все выходит за пределы моего «я». Вот почему это будет большим шагом вперед. Создавая эту книгу, я подобен человеку, который играет на рояле, имея на каждом суставе по свинцовому ядру. Но когда я буду хорошо знать, как ставить пальцы, то если мне попадется под руку вещь по вкусу, я смогу играть ее засучив рукава» (27 июля 1852 г.).

«Да, книга — машина сложная, и соорудить ее нелегко. То, что я пишу теперь, необходимо облечь в глубоко литературную форму, иначе получится Поль де Кок» (13 сентября 1852 г.). «Как надоела мне «Бовари»! Но понемногу я все же начинаю в ней разбираться. Ничего не давалось мне с таким трудом, как теперешняя моя работа, как обыденный диалог; а сцена в гостинице потребует месяца три. Бывают минуты, когда я готов плакать от бессилия... Я набросаю всю сцену широкими штрихами, стремительно и последовательно; путем повторной работы я, быть может, добьюсь сжатости. Сама по себе фраза для меня чрезвычайно трудна, мне надо стилистически передать разговор людей предельно пошлых, а вежливость разговорного языка в значительной степени лишает ее выразительности!» (19 сентября 1852 г.). «Я думаю, что «Бовари» пойдет, но меня стесняют метафоры, которые решительно преобладают во мне. Сравнения пожирают меня, точно вши; я только и делаю, что давлю их, фразы так и кишат ими» (27 декабря 1852 г.). «Вот уже три дня, как я валяюсь по всем диванам в самых разнообразных позах, придумывая, что писать! Бывают жестокие минуты, когда нить обрывается и кажется, будто вся катушка размоталась. Нынче вечером начал все же понемногу разбираться, но времени ушло немало! Как медленно я подвигаюсь! Поймут ли когда-нибудь, сколько сложных комбинаций потребовала от меня эта простая книга? Какой же механизм заключает в себе эта простота, и как много нужно уловок, чтобы быть правдивым! Знаешь ли, дорогая Муза, сколько я написал страниц после нового года? Тридцать девять» (6 апреля 1853 г.). «Мне кажется, что в этой книге будет один большой дефект, а именно — недостаточно пропорциональное распределение материала. Я написал уже двести шестьдесят страниц, но содержанием их является только подготовка к действию, более или менее замаскированные обрисовки характеров (правда, они идут в порядке постепенности), пейзажей, местности. В заключительной части — описание смерти моей бабенки, похороны и печаль мужа — у меня будет по меньшей мере шестьдесят страниц. Таким образом, на основное действие останется сто двадцать — сто шестьдесят страниц, не больше. Разве это не крупный недостаток?» (25—26 июня 1853 г.). «Еще больше, чем ты, хотел бы я покончить со своей книгой. Два года работаю я над ней. А ведь два года — это немало! И все время имеешь дело с теми же персонажами и барахтаешься в той же зловонной среде. Удручает меня не слово и не композиция, а самый предмет; в нем нет ничего возбуждающего. Когда я подхожу к какой-нибудь ситуации, меня заранее охватывает отвращение от ее пошлости... К концу будущей недели надеюсь дойти до середины сельскохозяйственной выставки. Должно получиться либо отврати-

тельно, либо очень хорошо... Третий раз уже Буйле заставляет меня переделывать один абзац (а он все не удается)» (21—22 сентября 1853 г.). «С двух часов дня (за исключением двадцати пяти минут на обед) я пишу «Бовари». Описываю прогулку верхом, сейчас я в самом разгаре, дошел до середины; пот льет градом, в горле ком. Я провел один из тех редких дней в моей жизни, когда с начала до конца живешь иллюзией. Давеча, в 6 часов, в тот момент, когда я писал слова «нервный припадок», я был так возбужден, так горланил и так глубоко чувствовал то, что переживает моя бабенка, что даже испугался, как бы со мной самим не случился нервный припадок; чтобы успокоиться, я встал из-за стола и открыл окно. У меня кружилась голова... За последнюю неделю работа моя подвигается очень быстро. Хоть бы это продлилось! Моя медлительность утомила меня, но я боюсь пробуждения, разочарований, необходимости вновь переписывать целые страницы! Все равно, хорошо ли, плохо ли, так чудесно — писать, не быть самим собой, а вращаться среди всех тех образов, которые создаешь. Сегодня, например, я был одновременно мужчиной и женщиной, любовником и любовницей и катался верхом в лесу осенним днем среди пожелтевших листьев; я был и лошадьми, и листьями, и ветром, и словами, которые произносили влюбленные, и румяным солнцем, от которого жмурились их полные любви глаза» (23 декабря 1853 г.). «Только что переписал начисто все, что сделал с нового года, вернее, с середины февраля, так как, возвратившись из Парижа, я все сжег; это составляет тринадцать страниц, не больше и не меньше; тринадцать страниц за семь недель. Короче говоря, они сделаны, и, как мне кажется, настолько хорошо, насколько это возможно для меня...» (7 апреля 1854 г.).

Как же протекала эта столь мучительная для Флобера работа? Из каких этапов складывался сам процесс писания романа? Вещественный результат писательского труда — шесть томов переплетенных рукописей, хранящихся в Руанской библиотеке, привлек пристальное внимание историков литературы, ставивших перед собой эти вопросы. Наиболее исчерпывающий ответ на них дан в работе бельгийской исследовательницы Клодины Гото-Мерш «Становление «Госпожи Бовари» (Париж, 1966), из которой мы черпали и продолжаем черпать многие наши сведения. По приводимым ею данным, в шести томах содержится три тысячи шестьсот страниц черновиков, между тем как авторская рукопись романа имеет менее пятисот страниц. При этом листы черновиков очень велики по формату. Но еще больше листы, которые Флобер использовал для сценариев, где разрабатывались отдельные куски романа, а число сценариев превышает полсотни. Эти сценарии писались вперемежку с черновиками, всякий раз, когда творческое воображение

изменяло писателю. Тогда он начинал то кратко намечать большой раздел будущего повествования, то придумывать подробности небольшого эпизода, то группировать детали, касающиеся какого-либо персонажа (так, один из сценариев целиком посвящен Оме, в другом суммированы все денежные операции Лере). Особенно тщательно подготовлены неоднократно переписывавшиеся сценарии тех мест, которые Флобер считал ключевыми.

Достаточно подготовив тот или иной эпизод, Флобер приступал к писанию. Вот что выяснила, анализируя рукописи, К. Гото-Мерш: «После первого наброска, часто бесформенного, он сочиняет страницу, несколько раз переписывая ее; потом продвигается на шаг в редактировании. Отредактировав несколько страниц в один присест, возвращается назад и переделывает весь кусок, зачастую начав с конца и мало-помалу добираясь до начала. Иногда ему случается на время бросить неоконченную страницу, чтобы потом приняться за нее снова; бывает, что он работает сразу над несколькими кусками романа...

Среди черновых рукописей можно выделить как бы первые чистовики. «Когда значительная часть повествования кажется Флоберу готовой, он переписывает ее. Эти в последний раз переписанные набело листы и составляют, стопка за стопкой, авторскую рукопись «Госпожи Бовари», которую писатель отдает переписчику... Писатель не ограничивается тем, что пересматривает абзац или фразу, которые его покамест не удовлетворяют; он методически перерабатывает несколько раз весь свой труд... Он чувствует, что его совесть чиста, только когда пачкает бумагу, без устали меняя «но» на «однако» и «однако» на «но», ставя «аптекарь» вместо «фармацевт» и потом снова «фармацевт» вместо «аптекарь».

Так продвигает Флобер свой роман и вырабатывает стиль, в котором видит основную его ценность. В ходе работы меняются некоторые сюжетные ситуации: уменьшается роль матери Шарля, зато вырастает роль Оме; в корне меняется сцена соблазнения Эммы Леоном, которая должна была, по первоначальному замыслу, происходить в гостиной дома Бовари. Параллельно с этим, особенно перед перепиской набело, производятся сокращения: иногда исчезают целые сцены, например, сцена прогулки Эммы в саду замка праздничной ночью; выбрасывается все чересчур характерное, бьющее в глаза, отдающее гротеском: изгоняются нормандские диалектизмы из речи персонажей, вульгарные детали, грубые речения. Но с особым тщанием устраняются все размышления автора, его мнения или разъяснения; Флобер верен своему девизу: «Автор в своем произведении должен, подобно богу во вселенной, присутствовать везде, но нигде не быть видимым» (письмо Луизе Коле от 9 декабря 1852 г.).

И в перебеленной рукописи также делаются сокращения, притом весьма значительные, особенно в первой части, где из девяти глав шесть усыхают вдвое. Флобер выбрасывает целые сцены, стоившие ему немало труда: разговор приглашенных горожан на балу в Вобьесаре, рассуждения Оме о воспитании детей, обед у Бовари, во время которого Родольф ревнует Эмму к нотариусу, и многие другие. Сокращения производятся в копии переписчика и даже перед первым изданием отдельной книгой.

1 июня 1856 года Флобер сообщает Луи Буйле: «Наконец я отправил вчера дю Кану рукопись «Бовари». Дю Кан в то время был одним из руководителей журнала «Ревю де Пари», где Флобер рассчитывал напечатать свой роман. Однако дю Кан и редактор журнала Лоран-Пиша потребовали внести в рукопись ряд исправлений, о которых позже Флобер напишет ему: «Вы хотели переделать мою книгу заново» (2 октября 1856 г.). Редакцию оскорблял слишком густой и неприкрашенный колорит повседневности, господствующий в романе. Флобер не сдается, он готов забрать рукопись. 14 июля дю Кан пишет Флоберу письмо, где утверждает, что в «Бовари» есть «куча ненужных вещей», и предлагает обратиться для исправления к некоему «специалисту», который за сотню франков сделает из романа «действительно хорошую штуку». Флобер с возмущением отказывается. Редакция дает ему слово напечатать роман в сентябре и анонсирует «Бовари»; в анонсе указывается, что это «сочинение г-на *Фобера*» — тридцатичетырехлетний начинающий автор спутан с широко известным парижским бакалейщиком. В первой сентябрьской книжке журнала роман, вопреки всем обещаниям, не появляется. Только 2 октября Флобер получает в Круассе номер «Ревю» со своим романом. Первая его реакция — разочарование: «При виде отпечатанного произведения своего я опешил. Оно показалось мне самым заурядным... Эта книга обнаруживает гораздо больше терпения, нежели гениальности, гораздо больше труда, чем таланта. Не говоря уже о том, что стиль вовсе не так уж отточен» (письмо Луи Буйле от 5 октября 1856 г.).

В начале декабря — новый конфликт с Лораном-Пиша, выбросившим из текста романа сцену в фиакре. Однако все отходит на второй план, когда проносится слух о надвигающихся неприятностях — о грозящем автору и журналу судебном преследовании за «Бовари». Хлопоты ни к чему не приводят, и 29 января 1857 года Флобер, Лоран-Пиша и типограф Пилле предстают перед Шестой палатой парижского суда по обвинению в «оскорблении общественной морали, религии и добрых нравов». Поскольку удар направлен прежде всего против оппозиционного журнала и к тому же касается отпрыска весьма почтенного в Руане доктора Флобера, за-

щиту берет на себя руанский адвокат и политический деятель Антуан-Мари-Жюль Сенар. После суда Флобер пишет брату: «Защитительная речь г-на Сенара была восхитительна. Она подавляюще подействовала на прокурора, которого корежило в кресле, и он объявил, что отказывается от ответного слова... Зал был переполнен. Все шло великолепно, и я имел независимый вид. Один раз я позволил себе лично обличить во лжи товарища прокурора, чем тотчас же доказал его недобросовестность, так что он отказался от своих слов... Дядюшка Сенар говорил четыре часа подряд. Это был триумф как для него, так и для меня. Начал он речь свою с воспоминаний об отце Флобера, затем перешел к тебе, а потом уже стал говорить обо мне, после чего сделал подробный анализ романа и опроверг обвинение, касающееся инкриминируемых мне мест. Вот где он показал свою силу; товарищу прокурора, должно быть, здорово влетело в тот вечер!.. В своей защитительной речи дядюшка Сенар все время подчеркивал мой талант и называл мою книгу шедевром. Была прочитана почти треть ее».

Спустя неделю суд вынес оправдательный приговор.

Процесс наделал шуму и создал роману неожиданную рекламу. Издатель Мишель Леви, с которым Флобер еще до суда вел переговоры об отдельном издании, торопит автора, у которого суд отбил охоту печатать «Госпожу Бовари». Флобер требует то широких полей, где он мог бы вписать выброшенные куски, то права прокомментировать места, объявленные в суде безнравственными. Наконец книга появляется, причем первоначальное посвящение Луи Буйле заменено посвящением Сенару. Сразу же расходятся 15 тысяч экземпляров.

Критика не могла обойти молчанием нашумевшее произведение, хотя автор его и был дотоле никому не ведом. Сам Сент-Бёв печатает 4 мая в «Мониторе» сочувственную рецензию, в которой хвалит «Бовари» как «целостное произведение, произведение продуманное, имеющее план, где все связано, где ничего не остается на долю творческой случайности, где писатель... от начала до конца сделал то, что хотел», говорит о мастерстве пейзажа, о бесстрастии и беспристрастности автора. Но в то же время он ставит «в упрек книге то, что положительное начало начисто отсутствует в ней». «Г-н Гюстав Флобер, отец и брат которого — врачи, владеет пером так, как иные — скальпелем. Вас, анатомы и физиологи, я узнаю во всем»,— заключает свою статью Сент-Бёв. Это обвинение подхватывают другие критические отзывы. Эстет Барбе Д'Оревильи напишет, что «подражатель Бальзака и Стендаля», «неутомимый рассказчик», «невозмутимый аналитик» и «описыватель мельчайших подробностей, г-н Флобер, человек из мрамора, написал «Госпожу Бовари» каменным пером, подобным ножу дикарей», что

он чужд нравственности и безнравственности, ибо бесчувствен. Словом, Флобера, утверждавшего, что он взялся за «Бовари» «из ненависти к реализму», единогласно обвинили в слишком жестоком реализме.

Правда, Флоберу стал известен лестный отзыв Виктора Гюго о романе; Бодлер в очерке о «Романтическом искусстве» отметил смелость, с которой выражены «самые пылкие и кипучие чувства, вызванные пошлым происшествием». Гонкуры спустя три года сочувственно записали в дневник мнение эссеиста Поля де Сен-Виктора, утверждавшего, что «Бовари» за последние пятнадцать лет — одно из двух «подлинных произведений». Но писатель уже все дальше и дальше отходил от своего нелюбимого детища, увлеченный новым трудом — романом о Карфагене.

Стр. 34. *Quos ego!* — угроза, с которой в I книге «Энеиды» Вергилия обращается к разбушевавшимся ветрам бог моря Нептун.

Стр. 35. *Ко* — обширное плато в северной части Нормандии.

Стр. 37. *Анахарсис* — «Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию», своеобразный путеводитель по древней Элладе, составленный французским знатоком древностей Жаком Бартелеми (1716—1795).

Стр. 43. *...дьеппской слоновой кости...* — Город Дьепп в Северо-Западной Франции славился производством изящных изделий из слоновой кости, дерева и рога.

Стр. 46. *Урсулинки* — женский монашеский орден, наименованный в честь св. Урсулы; занимался воспитанием девушек в духе католического благочестия.

Стр. 48. *...на ветке крота...* — Во Франции у охотников существовал обычай вешать убитых кротов на ветвях деревьев.

Стр. 60. *«Поль и Виргиния»* — идиллический роман Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814) — о любви двух молодых людей на лоне тропической природы.

Мадмуазель де Лавальер Франсуаза-Луиза (1644—1710) — первая фаворитка Людовика XIV; когда король ее покинул, Лавальер ушла в монастырь.

«Беседы» аббата Фрейсину. — Имеется в виду книга богослова и проповедника Дени Фрейсину (1765—1841) «Беседы, или Защита христианства», в которой он собрал свои проповеди.

Стр. 61. *«Дух христианства»* — книга Шатобриана (1768—1848), восхваляющая католицизм.

Стр. 62. *Элоиза* — возлюбленная знаменитого богослова и философа XII в. Пьера Абеляра, рассказавшего о своей трагической любви в «Истории моих бедствий». После мести ее родных Абеляру Элоиза ушла в монастырь.

Агнеса Сорель (1422—1450) — возлюбленная короля Карла VII.

Прекрасная Ферроньера — любовница французского короля Франциска I (1515—1547).

Клеманс Изор (род. ок. 1450 г.) — возобновительница традиционных литературных состязаний в Тулузе, которые были в обычае веком раньше.

Людовик Святой (Людовик IX) — французский король (1226—1270), участник VII и VIII крестовых походов; по обычаям того времени, вершил суд, сидя под дубом в своей резиденции Венсене близ Парижа.

Баярд Пьер дю Террайль (1473—1524) — знаменитый французский полководец, прозванный «рыцарем без страха и упрека»; умер от раны на поле боя.

Людовик XI — французский король (1461—1483), прославившийся своей жестокостью и коварством, проявленными в борьбе против феодальной знати.

Беарнец — прозвище Генриха IV, французского короля (1589—1610), во время битв он носил белый султан, делавший его приметным для целившихся в него врагов.

Кипсек — роскошно изданная книга или альбом, состоявшие в основном из иллюстраций.

Стр. 63. *Ламартин* Альфонс де (1790—1869) — французский поэт-романтик, которого Флобер особенно не любил.

Стр. 70. *Сражение при Кутра* — сражение, в котором будущий король Генрих IV разбил войска сторонников своего соперника короля Генриха III.

Стр. 71. *Бой при Уг-Сен-Вааст* — морское сражение, данное малочисленным флотом французов соединенному англо-голландскому флоту во время войны с Аугсбургской лигой — союзом Англии, Австрии, Голландии и ряда немецких княжеств, направленным против Франции.

Стр. 72. *Граф д'Артуа* (1757—1836) — брат Людовика XVI, после Реставрации стал королем под именем Карла X. До революции двор графа д'Артуа отличался крайней распущенностью нравов.

Куанье Мари-Франсуа-Анри (1737—1821), *Лозен* Арман-Луи (1747—1793) — в молодости принадлежали к ближайшему окружению королевы Марии-Антуанетты. Впоследствии Лозен принял участие в освободительной войне в Америке, встал на сторону революции, командовал революционными войсками и погиб во время террора, Куанье же эмигрировал, сражался против войск Республики, а во время наполеоновских войн служил в Португалии.

Стр. 89. *Ионвиль-л'Аббей, названный так в честь... аббатства...* — «Аббей» — по-французски «аббатство».

Стр. 91. *Галльский петух* — эмблема на гербе французской рес-

публики, учрежденном во время революции. Эмблема объясняется тем, что по-латыни gallus — «петух» и «галл», а во времена римского владычества территорию нынешней Франции населяли галльские племена.

Хартия — «Конституционная хартия Франции», конституционный акт, подписанный в момент Реставрации Людовиком XVIII и измененный в либеральном духе после Июльской революции 1830 г.

Стр. 96. *Символ веры савойского викария* — один из эпизодов романа Жан-Жака Руссо «Эмиль». Руссо защищает религию, основанную на внутреннем чувстве и созерцании природы.

Стр. 101. *Делиль* Жак (1738—1813) — посредственный французский поэт, автор дидактической поэмы «Сады» и переводчик Вергилия.

Стр. 104. *...19 вентоза XI года Республики...*— Дата дана по революционному календарю, учрежденному в 1793 г., который считался первым годом Республики. Вентоз — шестой месяц этого календаря, с 19 февраля по 20 марта.

Стр. 106. *...Франклин — свободу...*— Выдающийся американский ученый Бенджамен Франклин (1706—1790) был одним из виднейших деятелей освобождения североамериканских колоний от английского владычества; много способствовал союзу Франции с только что образовавшимися Штатами.

Аталия — этим именем названа одна из лучших трагедий Расина (1691).

Стр. 107. *«Бог честных людей»* — песенка Беранже, восхваляющая Наполеона. Флобер терпеть не мог Беранже и считал любовь к его песенкам признаком вульгарности.

«Война богов» — бурлескная антирелигиозная поэма Эвариста Парни (1753—1814), описывающая войну между христианским богом и античными богами.

Стр. 109. *«Матвей Лансберг»* — так назывался «Льежский альманах», составленный в начале XVII в. каноником из Льежа Матвеем Лансбергом. Этот источник бессмысленных суеверий многократно переиздавался и пользовался широкой известностью среди французских крестьян.

Стр. 114. *Френологическая голова* — муляж человеческой головы с размеченными на ней участками, соответствующими, согласно учению френологии, различным способностям человека.

Стр. 120. *Вретишница* — монахиня нищенствующего ордена, члены которого из смирения облекались во вретище (мешок из дерюги). Такой монахиней была мать Эсмеральды — героини романа Гюго «Собор Парижской богоматери».

Стр. 151. *...он начал.*— Эффектная перебивка неискреннего лю-

бовного объяснения долетающими извне словами до Флобера использована знаменитым бульварным писателем Поль де Коком в романе «Санкрават, или Посыльный». У Поль де Кока страстные слова соблазнителя перебиваются выкриками балаганного зазывалы.

Стр. 156. *Цинциннат* Луций Квинкций (V в. до н. э.) — римский полководец и государственный деятель. По преданию, люди, пришедшие сообщить ему о том, что он избран на высшую должность в государстве, нашли его за плугом, вспахивающим свое поле.

Диоклетиан Гай Аврелий Валерий (245—313) — один из самых могущественных римских императоров (284—305 гг.), ярый гонитель христиан. Отрекшись от власти, он последние восемь лет жизни провел в своем поместье.

Стр. 162. *Лойола* Игнатий (1491—1556) — основатель ордена иезуитов.

Стр. 181. *...эквинусе... с лошадиное копыто...*— Equinus по-латыни значит «лошадиный».

Амбруаз Паре... после Цельса... осуществил непосредственную перевязку артерии...— Знаменитый хирург и ученый, заслуживший имя «отца современной хирургии», Амбруаз Паре (1517—1590) применил перевязку артерий при ампутации конечности вместо практиковавшегося до него прижигания каленым железом. *Цельс* (I в. до н. э.) — римский писатель-эрудит, от энциклопедического труда которого до нас дошла часть, посвященная медицине. Возможно, сам Цельс был врачом.

Дюпюитрен Гильом (1777—1835) — французский хирург и ученый, автор трудов по хирургии и ортопедии.

Жансуль Жозеф (1797—1858) — французский хирург, первым осуществивший операцию верхней челюсти.

Стр. 195. *Герцог Кларенс* (1449—1478) — брат английского короля Эдуарда IV; приговоренный к смерти за участие в заговоре, пожелал, чтобы его утопили в бочке с мальвазией (сорт сладкого вина).

Стр. 205. *Манценилла* — дерево, плоды которого содержат ядовитый сок. Существовало поверье, что человек, заснувший в тени манцениллы, умирает.

стр. 215. *Де Местр* Жозеф-Мари (1753—1821) — французский философ и публицист, убежденный сторонник монархии и ревностный защитник католицизма.

Стр. 218. *«Парижский мальчишка»* — комедия-водевиль Баяра и Вандербурха (1836 г.).

Стр. 221. *«Лючия де Ламермур»* — опера Каэтано *Доницетти* (1835) на сюжет романа *Вальтера Скотта «Ламермурская невеста»*.

Сюжет оперы таков: *Эштон* хочет выдать свою сестру *Лючию* за лорда *Артура,* однако Лючия любит давнего врага Эштона *Эдгара.* Эдгар уезжает во Францию; по наущению своего слуги *Гильберта* Эштон уверяет Лючию, что возлюбленный изменил ей. Лючия обручается с Артуром, но от горя сходит с ума и убивает жениха. Вернувшийся Эдгар, которого Эштон вызвал на дуэль, узнав о смерти Лючии, убивает себя сам.

Стр. 222. *...раздались три удара...*— Во французском театре зрителей извещали о начале действия не звонками, а глухими ударами в пол.

Флажолет — старинная разновидность флейты.

Стр. 224. *Стретта* — эффектное виртуозное завершение арии.

Стр. 227. *Тамбурини* Антонио (1800—1876) — бас; *Рубини* Джованни-Батиста (1795—1854) — тенор; *Персиани* Фанни (1812—1867) — сопрано; *Гризи* Джулия (1811—1869) — сопрано; ведущие певцы Итальянской оперы в Париже, любимцы публики, составлявшие в эту эпоху славу итальянского бельканто.

Стр. 229. *«Хижина»* — увеселительное заведение в Париже, где устраивали публичные балы; пользовалось особенной популярностью у студентов и гризеток.

Стр. 233. *«Нельская башня»* — историческая драма Дюма-отца и Гильярде (1832).

Стр. 235 *...в соборе.*— Руанский собор — один из наиболее выдающихся памятников готической архитектуры.

Стр. 236. *Мариам* — по библейскому преданию, пророчица, сестра Моисея и Аарона, сложившая после перехода евреев через Чермное море восторженную песнь в честь бога. Здесь — сюжет витража в соборе.

Стр. 238. *Де Брезе* — знатный феодальный род, наследственно владевший титулом великих сенешалей Нормандии. *Пьер де Брезе* пал в битве при *Монлери,* которая произошла между войсками Людовика XI и лигой враждебных ему феодалов, потому что надел на себя платье короля с целью обмануть противника. Его сын (а не внук, как пишет Флобер) *Луи де Брезе* был женат на *Диане де Пуатье,* знаменитой фаворитке короля Генриха II.

Стр. 259. *«Купающаяся одалиска»* — картина Энгра (1780—1867), крупнейшего представителя классицизма во французской живописи.

Бледная барселонка — так нередко называли картину Мурильо (1618—1682) «Простолюдинка, кормящая грудью младенца».

Стр. 260. *«Девчонке в жаркий летний день»* — песенка нищего; заимствована Флобером из романа французского писателя XVIII в. Ретиф де ла Бретона «Год национальных дам».

Стр. 273. *Куяций* (Жак Кюжас; 1522—1590) — знаменитый

французский юрист. *Бартол* (Бартоло да Сассо-Феррато; 1314—1357) — один из крупнейших юристов средневековья. В «Лексиконе прописных истин» Флобер пишет: «Куяций всегда упоминается вместе с Бартолом».

Стр. 291. *Штейбен* Шарль Анри Фредерик (1788—1856) — французский исторический живописец, ученик Петербургской академии художеств, затем — Давида. Имеется в виду его картина «Эсмеральда и Квазимодо».

Шопен Анри Фредерик (1804—1880) — французский художник, один из основных представителей салонной живописи.

Стр. 295. *Бautцен, Лютцен* — города в Саксонии, близ которых в 1813 г. произошли два больших сражения между армией Наполеона I и союзными русско-прусскими войсками.

Стр. 309. *Амфитрион* — супруг Алкмены, родившей Геракла от Зевса, который явился к ней в образе ее мужа. Благодаря комедии Мольера «Амфитрион» это слово стало нарицательным именем довольного своим благополучием и гостеприимного хозяина.

Каде де Гасикур Луй-Клод (1731—1799) — французский химик и фармацевт.

Стр. 316. *«Энциклопедия,* или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (35 томов, 1751—1780) — крупнейший памятник французской просветительской философии XVIII в. Основную роль в создании «Энциклопедии» играли Дидро и Д'Аламбер.

«Письма португальских евреев».— Под названием «Письма португальских, немецких и польских евреев к г-ну де Вольтеру» аббат Антуан Гене (1717—1803) выпустил в 1769 г. книгу, отстаивавшую истинность библейских преданий против критики Вольтера.

Николá Жан-Жак-Огюст (1807—1888) — французский католический писатель.

Стр. 327. *Эдилы* — в Древнем Риме выборные должностные лица, наблюдавшие за порядком и благоустройством в городе. Здесь: муниципальная администрация, местные власти.

Стр. 328. *Игнорантинцы* (по-латыни «невежественные») — так из смирения именовали себя члены духовной конгрегации, учрежденной в XVII в. и ставившей своей целью обучение и воспитание детей.

САЛАМБО

В январе 1859 года Флобер писал в одном из своих писем: «После выхода в свет романа («Госпожа Бовари».— *С. О.*) я снова принялся за большое произведение моей юности, озаглавленное «Искушение святого Антония». После полугодовой работы мне пришлось смириться и вновь спрятать его в папку. По нынешним вре-

менам эта книга доставила бы мне только бесконечные неприятности.

Тогда, по просьбе газеты «Пресса», я обещал им этюд об античной древности, не зная еще и первого слова; через неделю меня уже пришпоривали вопросами, готова ли вещь.

Чтение и подготовительная работа заняли у меня что-то около шести или восьми месяцев. Наконец, приблизительно год назад, я взялся за перо. Дойдя до конца первой главы, я обнаружил, что мне необходимо отправиться в Тунис. Прошлая зима протекла в бесконечных колебаниях, муках и огорчениях. В апреле я отправился в Африку и пробыл там два месяца. Я проехал в одиночку, верхом, от Туниса до Константины. Наконец, в июле я вернулся сюда и уничтожил все, что сделал раньше. Одним словом, я только с сентября начал работать над этой книгой, объявленной два года назад; она сделает меня общим посмешищем или вознесет очень высоко» (г-же Морис Шлезингер, 16 января 1859 г.).

Такова скупая авторская хроника начала работы над «Саламбо». Но что предшествовало этому началу? Что побудило Флобера обратиться к столь необычному материалу и странному сюжету?

Нетрудно понять психологическое состояние писателя, часто жаловавшегося еще в пору работы над «Бовари» на тягостную для него необходимость описывать ничтожные предметы и ничтожных героев. Даже отложив в сторону «горластое» произведение своей молодости, он не в силах был принудить себя вернуться к «буржуазному сюжету». Об этом с полной определенностью сказано в его письмах: «Я собираюсь писать роман, где действие происходит за три столетия до Рождества Христова, ибо испытываю потребность отойти от современного мира, в который слишком много погружалось мое перо; к тому же мне в равной мере надоело как описывать его, так и смотреть на него» (мадмуазель Леруайе де Шантпи, 18 марта 1857 г.).

Это отвращение к современности, засвидетельствованное во многих письмах, делает весьма сомнительным рассказ литератора Арсена Уссей о том, что «Флобер собирался найти новую героиню в окрестностях Руана», но Теофиль Готье отсоветовал ему «писать все время один и тот же роман» и порекомендовал: «Ступай на развалины Карфагена. Возьми героиней сестру Елены или какую-нибудь карфагенянку, это будет оригинально». И Тео наметил Флоберу в общих чертах всю «Саламбо» («Исповедь», т. VI).

Даже если Готье и указал Флоберу на Карфаген, то зерно упало на благодарную почву. Как справедливо говорил Сент-Бёв в статье о «Саламбо», «археология была в моде». В течение первой половины XIX века, после грандиозного сорокавосьмитомного «Описания Египта», составленного сопровождавшими Наполеона в его

египетском походе учеными, после гениального открытия Шампольона, прочитавшего в 1822 году иероглифы, после первых успехов в дешифровке клинописи и грандиозных археологических находок в долине Нила и Междуречье перед глазами образованной Европы предстал в неповторимом своеобразии Древний Восток. И Флобер, приобщившийся к нему, еще над Нилом задумывает «египетский роман» «Анубис» — «о женщине, которая хочет стать возлюбленной бога» (письмо к Луи Буйле, 14 ноября 1850 г.).

Но еще бóльшее значение для Флобера — страстного читателя латинских и греческих авторов, ежедневно урывавшего время для них даже среди самой напряженной работы,— имела классическая древность. Тут ему особенно было присуще живое ощущение «трепета истории», о котором он писал Луизе Коле в разгар работы над «Бовари»: «С каким удовольствием побеседовал бы я с греческими ораторами, с каким удовольствием попутешествовал бы я в колеснице по римским дорогам, останавливаясь по вечерам на ночлег в гостиницах вместе с бродячими священнослужителями Кибелы! А главное, отчего я не жил во времена Перикла!.. А ведь я, наверное, жил там повсюду в одно из своих прежних существований. Я уверен, что во времена римского владычества я был директором какой-нибудь бродячей группы комедиантов, одним из тех чудаков, что отправлялись в Сицилию и покупали там женщин, чтобы сделать их комедиантками, и были одновременно учителями, сводниками и актерами. Очень хороши эти негодяи в комедиях Плавта; когда я их читаю, в моей памяти всплывают какие-то воспоминания. А ты испытывала когда-нибудь трепет истории?» (4 сентября 1852 г.).

Эта страсть к прошлому, которое, по собственному выражению Флобера, всегда «соблазняло» его, проснулась в нем довольно рано. Недаром он писал выдающемуся историку Мишле: «Еще в коллеже я глотал Вашу «Римскую историю», первые тома «Истории Франции»... и все, что выходило из-под Вашего пера, с наслаждением почти что чувственным,— так оно было живо и сильно. Эти страницы (которые я невольно запоминал наизусть) в изобилии давали мне все, что я напрасно желал найти у других: поэзию и действительность, цвет и объем, события и грезы; для меня это были не книги — это был целый мир».

Именно в «Римской истории» Мишле Флобер нашел яркие страницы, посвященные войне, которую Карфаген, только что разбитый Римом, вел со взбунтовавшимися наемниками и которая, по словам Мишле, «даже в кровавом мире преемников Александра, в этот железный век... привела в ужас все народы — и греков, и варваров». Едва ли Флобер позабыл и сделанную Мишле попытку набросать психологический портрет карфагенян, «народа угрюмого и

унылого, чувственного и алчного, склонного к риску, но лишенного героизма», замороченного «свирепой религией, полной ужасающих обрядов». И потому нет ничего удивительного, если, не желая повторять египетский сюжет, только что воплощенный Готье в «Романе мумии» (печатался весной 1857 г.), Флобер обратился к сюжету карфагенскому, в котором история Востока столь тесно сплелась с дорогой его сердцу римской историей.

По преданиям древних римлян, сами боги предопределили вражду их государства и Карфагена, когда привели суда троянского беглеца Энея, мифического основателя латинской державы, к берегам только что заложенного пунийского города и когда царица Дидона полюбила пришельца, а потом, покинутая им, прокляла его и его род и завещала своим потомкам вечную ненависть к будущему Риму. В самом деле, лишь три кровопролитные и самые тяжелые в истории Рима войны, именуемые Пуническими, привели к окончательной победе римлян над западными соперниками. Но до того Карфагену, созданному, по свидетельству древних историков, в 814 году до н. э. выходцами из финикийского города Тира, удалось подчинить более древние финикийские города в северо-западной части средиземноморского побережья Африки, прежде всего Утику, а затем закрепиться на берегах Испании, овладеть островами, в том числе Сардинией и Корсикой, и, наконец, подчинить почти всю Сицилию. Мощь Карфагена основывалась на мореплаванье и торговле. Олово из Британии, золото и слоновая кость из Африки, металлы из Сардинии, серебро Испании, пурпурные ткани, окрашенные соком особого моллюска, известного лишь финикийцам,— вот далеко не полный перечень карфагенских товаров. Позже, когда, в начале V века до н. э., греки, колонизировавшие Западное Средиземноморье, потеснили Карфаген на торговых путях и в колониях, пунийцы подчинили себе большой участок африканской территории. Здесь им удалось создать цветущее сельское хозяйство, основанное на рациональном использовании рабского труда и на умелых агрономических приемах (и тому и другому учились у них римляне). К концу V века Карфаген вновь берет верх над греками и еще сто лет спустя достигает вершины своего могущества. В эту пору государством правили богатые. Во главе его стояли два суффета, избираемые на год; но большинство дел решал совет тридцати, за деятельностью которого бдительно следил совет ста четырех. Народное собрание не имело никакой власти. Аристотель в «Политике», дав краткое описание государственного устройства Карфагена, заключает, что «в Карфагене богатство ценится выше добродетели».

Захватив Сицилию, Карфаген столкнулся с Римом. За господство над островом и шла Первая Пуническая война (264—241 гг.

до н. э.). Карфагеняне вели ее силами наемников. Кельты из Галлии, иберийцы и лузитанцы с Пиренейского полуострова, ливийцы из Африки, балеары — жители нынешних островов Мальорка и Менорка, немногочисленные греки, италийцы из Кампании — таков был пестрый состав их войска. Семнадцать лет война шла с переменным успехом. Римляне, впервые сражавшиеся на море, одолели более опытных противников; зато карфагеняне наголову разбили высадившиеся в Африке римские легионы консула Регула. В 247 году во главе карфагенского войска в Сицилии стал энергичный Гамилькар Барка (Молния). Он совершил успешный набег на Южную Италию, а затем в Сицилии занял крепость близ горы Эрикс и оттуда все время тревожил неприятеля. Отчаявшись победить его на суше, римляне построили новый флот и разбили у Эгатских островов флот карфагенянина Ганнона, не дав ему соединиться с Гамилькаром (242 г.). Гамилькару, хотя он и готов был продолжать борьбу, пришлось заключить мир. Карфаген уступал Риму Сицилию и обязывался выплатить гигантскую контрибуцию. Гамилькар и Гискон начали эвакуацию наемнического войска из Сицилии, нарочито замедляя ее, дабы не допустить скопления варваров в Карфагене. Но Совет не пожелал постепенно рассчитываться с наемниками. Это и послужило причиной их бунта.

Выбор исторического сюжета определил для Флобера событийную часть романа. Сведения о наемнической войне сохранились у жившего в Риме греческого историка Полибия (210—128 гг. до н. э.), посвятившего ей заключение первой книги (гл. 65—88) своей «Всеобщей истории». Ему и следует Флобер. Мы находим у Полибия и удаление скопившихся в Карфагене наемников в Сикку, и неудачное посольство Ганнона, и поход взбунтовавшихся варваров на Карфаген, и попытку карфагенян рассчитаться с задолженностью. Правда, у Полибия лишь во время посольства Гискона выступают смутьян Спендий и энергичный Мафос (Мато), сразу же сделавшийся предводителем ливийцев. Именно их подстрекательство и привело к разграблению предназначенных в уплату денег и захвату в плен Гискона и его спутников. В изображении основных этапов войны Флобер также почти не отступает от рассказа Полибия, у которого описаны бой с Ганноном, начавшийся для него победой, а закончившийся разгромом, и назначение главнокомандующим Гамилькара, и переход карфагенян во главе с Баркой через мелеющее устье реки Макар, и битва у единственного моста через эту реку, охраняемого варварами. Правда, Флобер предпочел опустить распри Гамилькара с Ганноном, отзыв последнего из действующих войск и назначение нового полководца — Ганнибала (о нем писатель вообще предпочел не упоминать из боязни, что читатели спутают его со знаменитым сыном Гамиль-

кара). Точно так же он дополнил рассказ Полибия о мягкости Гамилькара к пленным рассказом о страшной их казни, устроенной в Карфагене: Флобер, не желая отступать от старинного представления о «пунической верности» (это выражение было по-латыни синонимом вероломства), не посчитался с версией Полибия, приписавшего инициативу в зверствах наемникам, которые по наущению галла Автарита перебили карфагенских пленных во главе с Гисконом. Но в дальнейшем Флобер снова близко придерживается рассказа Полибия; измена нумидийского вождя Наравы (Нар Гаваса), неудача пунийцев (правда, предводительствуемых Ганнибалом), осада Карфагена, отступление от города, блокада и голодная смерть варваров в ущелье хребта Прион (что, впрочем, значит «пила», а не «топор»), захват десяти вожаков, явившихся парламентерами, последняя битва и пленение Мафоса — все это есть у греческого историка. И только гибель Ганнона на кресте придумана Флобером: на самом деле распят был другой Ганнон, отправленный в Сардинию, где также восстали наемники.

Однако все эти события нужно было связать с пригодной для романа фабулой. Замечание Полибия о том, что Гамилькар в награду за верность обещал выдать за Нараву свою дочь, подсказывает Флоберу героиню, которая, сменив несколько имен (Пирра, Анна), в конце концов нарекается Саламбо (так назывался портовый квартал Карфагена). В течение лета 1857 года Флобер набрасывает несколько предварительных сценариев, в которых, очевидно, уже намечены основные линии отношений между персонажами. Однако психологические мотивировки их поступков еще не ясны Флоберу, как он сам многократно жалуется в письмах. «Больше всего меня беспокоит основа, я хочу сказать — психологическая сторона» (Эрнесту Фейдо, апрель 1857 г.). «Я не чувствую пока религиозной стороны. Психология потихоньку созревает, но все же пустить в ход машину — вещь тяжелая» (Жюлю Дюплану, конец мая 1857 г.). «Чувствую, что нахожусь на ложном пути и что персонажи мои должны говорить иначе. Немало честолюбия в желании войти в душу людей, когда эти люди жили более двух тысяч лет назад, причем цивилизация тех времен не имеет ничего общего с нашей. Я до известной степени вижу истину, но не проникаюсь ею, она не волнует меня!» (мадмуазель Леруайе де Шантпи, 12 декабря 1857 г.). «Мои персонажи становятся для меня яснее. Мне кажется, они уже вышли из состояния манекенов, украшенных тем или иным именем. Чтобы можно было сказать об античном персонаже: «Это правдиво», надо сделать его сугубо жизненным, ибо кто же видел модель, тип?» (Эрнесту Фейдо, 30 августа 1859 г.). Опасения Флобера оказались не напрасными. Действительно, основная линия (фабула) в романе остается

условной, ее психологические мотивировки слабы, а связи с совершающимися событиями поверхностны. Флобер сам чувствовал этот недостаток, недаром уже после выхода романа он писал Сент-Бёву: «Пьедестал слишком велик для статуи... Следовало написать еще сотню страниц, посвященных исключительно Саламбо» (23—24 декабря 1862 г.). Этот же недостаток проницательно отметили в дневнике Гонкуры, прослушав в мае 1861 года чтение глав из «Саламбо»: «Очень утомительны... эти нескончаемые описания, подробнейшее перечисление каждой приметы каждого персонажа, тщательное, детальное выписывание костюмов. От этого страдает восприятие целого. Впечатление дробится и сосредоточивается на мелочах. За одеяниями не видно человеческих лиц, пейзаж заслоняет чувства... Флобер воображает, будто воспроизвел чувствования той эпохи, он очень горд тем, что якобы передал ее «духовный колорит». Но этот духовный колорит и есть наиболее уязвимая сторона книги. Чувствования его героев вовсе не составляют нечто присущее погибшей цивилизации и утраченное вместе с ней; это самое общее, самое банальное изображение чувств человечества, не только карфагенян; а Мато — это попросту оперный театр в какой-нибудь пьесе из жизни варваров».

Вторая задача, встававшая перед Флобером, состояла в том, чтобы с пластической наглядностью воссоздать события, среду, в которой они протекали, внешнюю обстановку жизни героев. Флобер сознавал всю трудность этой задачи: «Нелегко, однако, постоянно представлять себе правду, то есть ряд живых и правдоподобных деталей, имея дело со средой, существовавшей за два тысячелетия до нас» (Эрнесту Фейдо, декабрь 1857 г.). Именно ради этого Флобер и проделал «индуктивным путем значительную работу по археологии» прежде, чем сесть за писание книги. Вслед за Полибием и единственным дошедшим до нас в греческом переводе памятником карфагенской литературы — «Плаваньем» Ганнона идут античные авторы всех эпох, у которых сохранились хоть какие-то сведения о Карфагене: историки Тит Ливий, Диодор Сицилийский, Аппиан, эпический поэт Силий Италик, один из отцов церкви — блаженный Августин. Чтобы лучше познакомиться с военным искусством древних, Флобер читает «Анабасис» («Отступление десяти тысяч») Ксенофонта, трактат Полиена о военных хитростях, «Полиоркетику» (т. е. искусство осады городов) фламандского гуманиста Юста Липсия. Не упускаются из виду труды эрудитов древнего мира: «Пир софистов» Афинея и «Естественная история» Плиния Старшего, которую Флобер в самом начале работы над «Саламбо» прочел второй раз, несмотря на ее большой объем. Для более близкого знакомства с семитскими верованиями писатель за две недели проглатывает восемнадцатитомное научное

издание Библии в переводе Кагена с пространными комментариями. К первоисточникам добавляются ученые труды — вплоть до четырехсотстраничной монографии о пирамидальных кипарисах, какие растут у храма Танит. Начав предварительное чтение в начале марта 1857 года, Флобер насчитывает к концу мая уже 53 прочитанные книги; к концу июля их число возрастает до 98. В течение всей работы над романом чтение не прекращается: «Мой карфагенский роман повлек за собой и влечет до сих пор множество отклонений в сторону и изысканий (с первого февраля я проглотил добрых полсотни томов)» (мадмуазель Леруайе де Шантпи, 30 марта 1860 г.). «Вот уже три года, как я только и делаю, что пичкаю себя латынью... Касательно карфагенян я вполне искренне полагаю, что исчерпал все тексты. Мне было бы нетрудно после романа написать толстый том критики со множеством цитат. Так, не далее чем сегодня одно место из Цицерона позволило мне предположить еще одно обличье Танит, какого прежде я нигде не видел» (Эрнесту Фейдо, 20 октября 1860 г.).

Пока создавалась «Саламбо», Флобер неоднократно подчеркивал в письмах, что археология имеет для него второстепенное значение. И все же, когда опубликованный роман подвергся нападкам именно с этой стороны, Флобер сделал то, чего не делал никогда: написал своим критикам письма с возражениями. Эти письма — Сент-Бёву и редактору «Ревю контанпорен» Фрёнеру — содержат драгоценные свидетельства того, сколь скрупулезно отыскивал Флобер в первоисточниках каждую деталь, прежде чем ввести ее в роман. «Что касается благовоний и драгоценных камней, то я, само собой разумеется, вынужден был взять названия их у Феофраста [1], Плиния или Афинея... Я не сомневаюсь, что храм Танит воспроизведен мною именно в том виде, каким он был, причем я руководствовался трактатом о Сирийской богине (очевидно, Лукиана.— *С. О.*), медалями Люинского герцога, всем, что известно о Иерусалимском храме, цитатой Зельдена (de Diis Syriis [2]) из святого Иеронима, планом несомненно карфагенского храма у Гоццо, а главным образом — развалинами храма в Фугги, которые я видел собственными глазами и о которых, насколько мне известно, не говорит ни один из путешественников или знатоков античного мира... Вы твердите, что Библия не является руководством при описании Карфагена (вопрос спорный); согласитесь, однако, что иудеи ближе к карфагенянам, чем китайцы! К тому же в каждой стране есть целый ряд вещей, существующих вечно, без изменений. Относительно мебели и одежды сошлюсь на тексты, собранные

---

[1] Феофраст — ученик Аристотеля, философ и естествоиспытатель.

[2] О сирийских богах *(лат.)*.

в 21-м докладе аббата Миньо («Записки» Академии надписей, том XL или XLI, не помню)... Я чуть было не забыл про Спендия. Так вот, дорогой маэстро, в его военной тактике нет абсолютно ничего своеобразного и странного. Это почти шаблон. Такие сведения я почерпнул у Элиана[1] («История животных») и у Полиена («Военные хитрости»). Это было даже настолько известно со времени осады Мегары Антипатром (или Антигоном), что свиней нарочно выкармливали вместе со слонами, дабы крупные животные не пугались более мелких» (Сент-Бёву, 23—24 декабря 1862 г.). «Что же касается жертвоприношения детей, то оно отнюдь не «невозможно»: в век Гамилькара их сжигали живыми, и уже позднее, во времена Юлия Цезаря и Тиберия, если верить Цицерону («Pro Balbo»[2]) и Страбону[3] (книга III). Вы пишете, что «статуя Молоха не похожа на адскую машину, описанную в «Саламбо». Эта фигура, состоящая из семи отделений, расположенных одно над другим и предназначенных для жертв, имеет отношение к религии галлов. У Флобера нет никаких оснований к аналогии для оправдания своего смелого перемещения». Да, правда, у меня нет никаких оснований! Но у меня есть текст, а именно описание Диодора, о котором вы упоминаете; им-то я и пользуюсь, как вы можете в этом убедиться, соблаговолив прочесть или перечесть двадцатую книгу Диодора... Как могло случиться, что исторические источники не упоминают о чудодейственном плаще, раз вы сами говорите, что его «показывали в храме Венеры, но гораздо позднее и только в эпоху римских императоров»? Но вот я нахожу у Афинея, XII, 58, очень подробное описание этого плаща, «хотя история о нем не упоминает». Он был куплен для Дионисия Старшего[4] за 120 талантов, отправлен в Рим Сципионом Эмилианом[5], возвращен в Карфаген Гаем Гракхом[6], вновь появился в Риме при Гелиогабале[7], а затем был продан в Карфаген... Но вас все удивляет: и то, что у слонов уши выкрашены голубой краской... и лидийцы в женских платьях, карбункулы из мочи рысей, мандрагоры, о кото-

---

[1] Элиан (II—III вв.) — писатель-эрудит, автор сборника «Пестрые рассказы» и трактата о животных.

[2] «В защиту Бальба» *(лат.)*.

[3] Страбон (конец I в. до н. э.— нач. I в. н. э.) — выдающийся греческий географ, автор труда, подытожившего сумму географических знаний эпохи.

[4] Дионисий Старший (IV в. до н. э.) — правитель Сиракуз.

[5] Сципион Эмилиан (II в. до н. э.) — римский полководец, в 146 году до н. э. разрушивший Карфаген.

[6] Гай Гракх (II в. до н. э.) — римский политический деятель, выдающийся демократ, борец за земельную реформу.

[7] Гелиогабал (III в.) — римский император.

рых говорится у Гиппократа [1], золотые цепочки на щиколотках, которые встречаются в «Песни Песней» (Каген, том XVI, с. 37)... бороды в мешочках, львы на кресте и т. д.— все! Так нет же, милостивый государь, я не «позаимствовал все эти детали у негров из Сенегамбии». По поводу слонов я отсылаю вас к труду Арманди, с. 256, и к авторитетам, на которых он указывает, таким, как Флор [2], Диодор, Аммиан Марцеллин [3] и другие негры из Сенегамбии... У... Геродота, в описании армии Ксеркса, я узнал, что у лидийцев были женские платья. Кроме того, у Афинея, в главе об этрусках и сходстве их с лидийцами, говорится, что у них были женские платья; наконец, лидийского Вакха всегда изображают в женской одежде. Не достаточно ли относительно лидийцев и их одежд? Бороды в мешочках в знак траура имеются у Кагена (Езекииль, глава XXIV, 17), а также видны на подбородках египетских колоссов, между прочим, из Абу-Симбела; карбункулы из мочи рысей имеются у Феофраста в «Трактате о драгоценных камнях» и у Плиния, книга VIII, глава VII. А что касается распятых львов (число которых вы доводите до двухсот, чтобы наградить меня комическим элементом, чего у меня нет), то прошу прочесть в той же книге Плиния главу XVIII, из коей вы узнаете, что Сципион Эмилиан и Полибий, прогуливаясь вместе в окрестностях Карфагена, видели наказанных таким образом львов» (Фрёнеру, 21 января 1863 г.).

Именно археологическая сторона стала самой сильной в романе. Историческая интуиция Флобера оказалась столь точной, что некоторые его описания (например, символов Танит) подтвердились позднейшими открытиями, сделанными во время раскопок.

И все же, работая над «Саламбо», писатель испытывает постоянную тревогу и неуверенность. Она заставляет его, написав полторы главы, отложить свой труд и уехать в Тунис, чтобы своими глазами увидеть место действия романа. В сделанных для себя путевых заметках мало что говорится о древностях: паломника на развалины Карфагена больше занимает экзотика современного Востока. И тем не менее, вернувшись в начале июня 1858 года, Флобер чувствует в себе достаточно уверенности, чтобы... уничтожить все написанное раньше. «Карфаген» надо целиком переделать или, вернее, написать сызнова. Я все уничтожил. Это было идиотство! Немыслимо! Фальшиво!» — пишет он Эрнесту Фейдо 20 июня.

---

[1] Гиппократ (V—IV вв. до н. э.) — величайший врач и естествоиспытатель древности.

[2] Флор (II в.) — римский историк, автор краткой истории римских войн.

[3] Аммиан Марцеллин (IV в.) — последний крупный историк античного мира.

Теперь Флобер, прежде чем приняться за разработку фабулы романа, пишет «отрывок, в котором будет дано топографическое картинное описание... города, а также представлен народ, живший в нем, одежда, управление, религия, финансы, торговля и т. д.» (Жюлю Дюплану, 30 (?) июня 1858 г.). Над этим разделом, которому сперва было предназначено место между второй и третьей главами, потом — место предисловия, Флобер работает, «как пятнадцать волов», в течение двух месяцев; он доволен сделанным — и тем не менее в декабре все «брошено в огонь»: писатель не желает перегружать книгу.

Первые две главы Флобер заканчивает к исходу 1858 года; третья глава написана к 20 января, а в августе готовы уже пять глав (причем снова выброшены два «превосходных куска», которые «тормозили движение»). Этот темп Флобер считает «не таким уж слабым». Но работа над шестой и особенно над седьмой главой замедляется до крайности; нужны новые изыскания, материал сопротивляется, и закончить эти главы писателю удается только в апреле 1860 года. Затем работа прерывается на два месяца ради новой порции чтения. В августе, ценой «жестокого напряжения», закончена «Макарская битва». Осенью пишется девятая глава и одновременно подготавливаются следующие две, законченные, вероятно, в середине марта следующего года. История осады требует новой подготовки, и писать ее Флобер принимается лишь в середине июля. К концу года она готова вместе с главой о жертвоприношении детей. В это время Флобер полагает написать только одну главу — «Ущелье Топора». Однако, работая над нею, он пришел к убеждению, что гибели главного героя следует посвятить особую главу, которая и была написана к концу апреля 1862 года. «Нескончаемый роман» был завершен.

И вновь Флобер медлит с публикацией. Сперва он не желает печатать «Саламбо» одновременно с «Отверженными» Гюго. Затем начинается долгая торговля с издателем Мишелем Леви. Флобер требует 30 тысяч франков и ставит при этом условие, чтобы Леви принял рукопись, не читая ее. Кроме того, у него вызывает ярость намерение издателя выпустить книгу с иллюстрациями. Лишь посредничество Жюля Дюплана и его брата спасло положение: Флобер снизил цену до 10 тысяч франков, а Леви согласился купить «кота в мешке», по собственному выражению писателя, и не заказывать никаких иллюстраций. В конце ноября 1862 года, после новых исправлений, «Саламбо» вышла в свет.

Роман вызвал самые разноречивые отклики. В январе 1863 года Флобер писал Лауре де Мопассан: «Большие и малые газеты твердят обо мне. На мой счет говорится множество глупостей. Одни поносят меня, другие превозносят». В самых влиятельных орга-

нах — «Ревю де Дё Монд», «Ревю контанпорен», «Опиньон насьональ» — критики сетовали на то, что писатель взялся за дело историка, и утверждали, что поскольку им самим ничего о Карфагене неизвестно, то и незачем было изучать и воскрешать его: ведь судить о верности картины невозможно. Жорж Санд возражала на это, заявляя, что вопрос об археологической точности к сфере искусства не относится.

Даже Сент-Бёв, напечатав в «Конститюсьонель» подробную рецензию на «Саламбо», не удержался от упреков по части археологии. Мы уже приводили выдержки из письма критику, которое Флобер назвал «своей апологией». Сент-Бёв ответил писателю дружелюбным письмом и, издавая свою рецензию в сборнике, поместил в виде приложения письмо Флобера. Конфликт был исчерпан.

Полемика с археологом Фрёнером приняла более острый характер. В ответ на рецензию Фрёнера, обвинявшего Флобера в том, что тот пользуется общим невежеством и фальсифицирует историческую картину, Флобер напечатал в «Ревю контанпорен» и в «Опиньон насьональ» резкий ответ, выдержки из которого приведены выше. Фрёнер возразил писателю, грозя не «оставить камня на камне от его здания». Тогда Флобер напечатал в «Опиньон насьональ» новое открытое письмо, где указывал, что Фрёнер не ответил ему по существу ни на один из пунктов. Противник смолк. Последнее слово осталось за Флобером.

Одновременно Флобер получил множество писем. Виктора Гюго роман привел в восторг: «Это прекрасная, могучая и ученая книга... Вы воскресили исчезнувший мир, и с этим поразительным воскрешением вы сочетали потрясающую драму». Ему вторит Леконт де Лиль: «Все полно сил и блеска, и в особенности все пронизано тем необычайным гением, который присущ нашему времени, воскрешающему кусок за куском минувшие эпохи». Гектор Берлиоз, по обыкновению, безудержен в своих чувствах: «Я хотел прибежать к вам сегодня же, это оказалось невозможным, но я не могу ждать долго и не сказать вам, что ваша книга наполнила меня восторгом, изумлением и ужасом. Я был потрясен, я грезил ею все эти ночи. Какой стиль! Какие познания в археологии! Какое воображение!»

Однако были и более сдержанные оценки друзей. Бодлер писал в одном из писем: «Прекрасная книга, полная недостатков». Гонкуры, прочитав изданный роман, заносят в дневник: «Саламбо» — это высшее, что может быть достигнуто с помощью труда, одного лишь труда. Шедевр прилежания, и только».

А между тем популярность книги все росла. Маленькие листки полны были пародиями, куплетами, карикатурами на темы «Саламбо». Театр Пале-Рояль поставил феерию «Фоламбо, или Кар-

фагенские потехи». Женщины надевали на маскарад костюм Саламбо. В январе 1863 года Леви должен был выпустить второе издание романа.

Особенно пристально приглядывались к «Саламбо» музыканты. Знаток музыкального театра Теофиль Готье сразу же вознамерился написать по роману друга оперное либретто, с тем чтобы музыку сочинил Верди. Этот план не осуществился, однако другие композиторы написали на сюжет «Саламбо» шесть опер и один балет.

В России в 1863 году роман Флобера читался вслух в одной из петербургских молодежных коммун, созданных под влиянием «Что делать?» Чернышевского. «Саламбо», по свидетельству В. В. Стасова, произвела настолько глубокое впечатление своей «картинностью» и «живописностью», что один из участников коммуны — М. П. Мусоргский — загорелся желанием написать на ее сюжет оперу. Три года он работал над ней, закончил либретто, в которое вмонтировал стихи русских поэтов, и написал многие музыкальные номера. Однако потом наступило охлаждение, замысел был оставлен, а музыка использована для других сочинений, в частности для «Бориса Годунова».

Стр. 335. *...из нумидийского мрамора...*— Нумидия — область в Африке к западу от Карфагена. Нумидийцы в борьбе между Карфагеном и Римом нередко держали сторону Рима.

Стр. 336. *Эшмун* — финикийское планетное божество, отождествленное с греческим богом-целителем Асклепием. Его храм находился на склоне холма Бирса — акрополя Карфагена.

Лигуры — племя, жившее на северо-западе Италии.

Лузитанцы — племя, населявшее территорию современной Португалии.

Дорийский говор, ионийские окончания.— Дорийский и ионийский диалекты — основные диалекты греческого языка. На дорийском диалекте говорили в Пелопоннесе, на ионийском — в греческих городах Малой Азии; аттическое наречие, ставшее литературным языком греков, являлось ответвлением ионийского диалекта.

Кельтские слова.— Кельты — общее название галльских племен, населявших Северную Италию (Предальпийскую Галлию) и современную Францию (Заальпийскую Галлию).

Кантабры — одно из испанских племен.

Карийцы, каппадокийские стрелки — выходцы из Карии и Каппадокии, областей в Малой Азии.

Стр. 337. *Бруттиум* — область в Южной Италии.

Велариум — тент.

Кампания — плодородная равнина между Римом и Неаполем; ее населяли греки и эллинизированные италийские племена.

Стр. 338. *Эвбейский талант* — серебряная денежная единица стоимостью около 1500 золотых рублей. По Полибию, контрибуция, наложенная на Карфаген *Лутацием Катулом,* победителем при Эгатских островах, равнялась 2200 талантам, однако сенат увеличил ее на тысячу талантов.

Стр. 339. *Эргастул* — каторжная тюрьма для рабов.

Стр. 341. *Камон* — мужская ипостась Танит, богини луны и плодородия. Камон символизировал плодоносную силу солнца.

Стр. 343. *Гекатомпиль* («Стовратный») — так именовались Фивы, столица Древнего Египта. Однако, по Диодору, город с таким названием был и в Ливии. Его, вероятно, и имеет в виду Флобер.

Стр. 344. *Горы эрсифонийские.*— Эрсифонией назывались подревнееврейски северо-западные страны.

Тартес — юг Испании, нынешняя Андалусия.

Мазизабал — колдун, привязанный к дереву и обезглавленный Мелькартом.

Мелькарт — финикийский бог, мифический основатель Тира, которому приписывались подвиги, подобные Геракловым. Уже Геродот уподобляет Мелькарта Гераклу.

Стр. 345. *Теогония* — миф о происхождении богов.

Стр. 348. *Пирр* (318—272 гг. до н. э.) — царь Эпира, отважный и удачливый полководец; потерпел поражение в войне с Римом.

Стр. 349. *Регий* (ныне Реджо ди Калабрия) — город на юге Италии. Во время Первой Пунической войны Гамилькар совершил на него набег и взял его.

Утика — старинная финикийская колония в Африке, севернее Карфагена.

Стр. 350. *Гоплиты* — тяжеловооруженные бойцы греческого войска.

Стр. 351. *...мамертинскую песню...*— «Мамертинцами» (сынами Марса) называли себя наемники, преимущественно выходцы из Кампании, захватившие Мессину в Сицилии и тем спровоцировавшие столкновение между Римом и Карфагеном — Первую Пуническую войну.

Стр. 353. *Самниум* — область в Средней Италии, воинственные жители которой многократно воевали с Римом и побеждали его. Самниты восстали и во время Первой Пунической войны.

Трирема — гребное судно с тремя рядами весел.

Сиртский залив — мелководная бухта у северного берега Африки.

...в гарамантских лесах.— Гараманты — африканское племя, обитавшее южнее Нумидии.

Дрепан — мыс и порт в Сицилии, где карфагеняне одержали в 249 г. до н. э. победу над римлянами.

Тетрарх — в греческом войске — начальник четырех конных подразделений.

Стр. 356. *Венера Карфагенская* — Танит.

Стр. 357. *Авгур* — в Риме — жрец, предсказывавший будущее по полету птиц.

Семь Кабиров — финикийские боги планет. Их отождествляли с греческими Кабирами, чтившимися на острове Самофракия.

Стр. 362. *Ксантипп* — греческий полководец на карфагенской службе; разбил высадившегося в Африке римского консула Регула.

Сикль, шекель — одна и та же монета в греческом и семитском произношении. Сикль серебра весил около 15 граммов.

Стр. 365. *Боги Патэки* — гении-хранители; финикийцы представляли их себе в чудовищном обличье и украшали их причудливыми изображениями носы кораблей.

Стр. 366. *Коммагена* — область в Сирии. Средство от проказы, описанное Флобером, известно из Плиния Старшего.

Стр. 368. *О Раббет!.. Ваалет!..* — Саламбо призывает Танит под разными ее именами.

Систр — ударный инструмент, род погремушки.

Гетулия Даритийская — область в Северной Африке.

Стр. 369. *Симмара* — длиннополое женское одеяние.

Стр. 370. *Мелькартовы столпы* — то же, что Геркулесовы столпы у греков: скалы по берегам Гибралтарского пролива.

Стр. 376. *Букцина* — труба, которой подавали сигналы в римском войске.

Стр. 377. *...киренскую дорогу...* — Кирена — эллинизированный город в Северной Африке, к востоку от Карфагена.

Стр. 379. *Полемархи* (букв. «военачальники») — командиры в греческом войске.

Стр. 381. *Дионисий* Старший — тиран Сиракуз (404—367 гг. до н. э.), подчинивший себе многие греческие города в Сицилии и в Южной Италии, разбивший карфагенян после пятилетней войны.

Агафокл — сиракузский полководец, вождь демократической партии, захвативший единоличную власть (317—289 гг. до н. э.). Вел удачные войны в Сицилии и Южной Италии. Во время войны с Карфагеном, осажденный в Сиракузах, прорвал блокаду, высадился в Африке и сам осадил Карфаген.

Стр. 382. *Гиппо-Зарит* — финикийская колония в Африке на месте нынешнего города Бизерта.

Остров Костей — так карфагеняне называли Сицилию по причине огромных потерь, которые они понесли там во время чумы ле-

том 212 г. до н. э. (по сведениям Тита Ливия, около 34 тысяч человек).

Магдала (точнее, Магдол) — город в Египте; *Лептис* — так назывались два города в Африке — в Киренаике и в Нумидии.

Стр. 386. *Светило Хабар* — планета Венера.

Стр. 398. *Гадрумет* — город в Африке неподалеку от Карфагена.

Стр. 403. *Катон Старший* (II в. до н. э.) — римский политический деятель, прославившийся строгостью нравов и враждой ко всему иноземному. Каждую свою речь в сенате он кончал знаменитой фразой: «Кроме того, я утверждаю, что Карфаген должен быть разрушен». Написал дошедший до нас трактат о сельском хозяйстве.

Стр. 404. *Архагат* — сын Агафокла, был оставлен в Африке для ведения войны отцом, поспешившим в Сицилию, где карфагеняне одержали серьезные успехи.

Стр. 406. *Птолемей III* Эвергет — царь Египта (247—221 гг. до н. э.); вел ожесточенные войны с Сирией и не интересовался африканскими делами.

Стр. 408. *...с двумя тысячами галлов, которые были потом в храме на Эриксе.*— Когда Гамилькар напал на римские укрепленные позиции на горе Эрикс, римляне поручили оборону храма Венеры на вершине горы 2000 галльских наемников, перебежавшим из карфагенского войска.

Стр. 420. *Лилибей* — город в Сицилии, один из опорных пунктов карфагенян. Долго осаждался римлянами, которые затем были отброшены Гамилькаром.

Стр. 422. *Где ты его оставил?..*— Речь идет о Ганнибале, сыне Гамилькара, одном из величайших полководцев древности.

Стр. 426. *Изображение Истины.*— В письме к Фрёнеру Флобер сам прокомментировал это место: «Что до Библии,— я возьму на себя смелость указать вам, милостивый государь, на том II перевода Кагена, с. 186, где вы прочтете следующее: «Они носили на шее на золотой цепочке маленькую фигурку из драгоценного камня, которую называли Истиной. Прения открывались, когда председатель ставил перед собою изображение Истины». Это из Диодора. А вот другой текст — из Элиана: «Самые пожилые из них были начальниками и судьями; они носили на шее изображение из сапфира, это изображение называлось «Истиной».

Стр. 428. *Эридан* — греческое название реки По.

Локры, Метапонт, Гераклея — греческие города в Южной Италии, разоренные Гамилькаром во время набегов из Сицилии.

Цепион Сервилий — один из римских консулов времен Первой Пунической войны (его не следует путать со Сципионами —

отцом, победителем Ганнибала во Второй Пунической войне, и его приемным сыном, разрушившим Карфаген в Третьей Пунической войне).

Субурра — квартал лавок и ремесленных мастерских в Риме.

Стр. 435. *Таммуз* — умирающее и воскресающее божество природы у финикиян.

Стр. 436. *Касситериды* — упоминаемые у римского географа Помпония Мелы острова у берегов современной Бретани. *Туманное море* — залив Морбиан в Бретани.

Тапробана — остров Цейлон.

Стр. 437. *Гадес* — финикийская колония в Испании, ныне Кадис.

Южный Рог, мыс Благоуханий.— Какие именно географические точки имели в виду под этими названиями античные географы, неизвестно.

Эционгабар — город в Аравии.

Мыс Эстримон — очевидно, один из мысов в нынешнем Бискайском заливе. По другой версии — мыс в Южной Англии.

Шезбарский ладан.— Шезбар находился, вероятно, в Эфиопии.

Элатия — город в Идумее, на азиатском берегу Красного моря.

Рузикада — порт в Киренаике, служивший выходом в море для нумидийцев.

Черный Гаруш — одна из горных цепей Северной Африки.

Атаранты — ливийское племя, о котором Геродот рассказывает, будто они проклинают солнце, сжигающее их землю. Флобер использует эту деталь дальше.

Стр. 438. *Фаццана* — город в Киренаике.

Гомор — мера сыпучих тел, упоминаемая в Библии.

Тавроменийские быки — порода быков из Тавромения (ныне Таормина) в Сицилии.

Орингские лошади — испанские лошади из города Оринга.

Каб — мера объема, около 1,15 литра.

Стр. 439. *Бек* — монета достоинством в полсикля.

Кезита — монета достоинством в четыре сикля.

Киккар — вавилонская мера веса, равная таланту.

Драхма — основная денежная единица у греков. Аттическая драхма — 4,4 грамма серебра.

Мина — двадцатая часть таланта.

Стр. 441. *...эгинских монет...*— Эгина — остров у восточного берега Греции.

...бактрианских дощечек...— Бактрия — государство на территории нынешнего Ирана.

...коротких брусков древнего Лакедемона...— Лакедемон — Спарта; ее полулегендарный законодатель Ликург, желая воспре-

пятствовать накоплению богатств, выпустил тяжелую железную монету.

Стр. 442. *Кельтиберия* — Испания.

Стр. 443. *Лавзония* — египетский кустарник, из которого добывали хну. *Лемносская земля* — сорт красного мела. *Миробалан* — душистый орех, из которого извлекалось ароматическое масло. *Бделий* — род пальмы, смола которой ценилась как благовоние. Оба эти растения упоминаются у Плиния Старшего.

Стр. 444. *Метопион* — упоминаемое у Плиния благовонное притирание.

Стр. 446. *...много критян, они лгуны!* — Намек на греческую поговорку: «Все критяне лгуны».

Стр. 451. *Клинабарии* — тяжеловооруженные ассирийские всадники, описанные Геродотом.

Стр. 452. *Коттаба* — популярная в Греции игра, состоявшая в том, чтобы ловко выплеснуть остаток вина из кубка в особый металлический сосуд; при этом произносилось имя любимой женщины, и если ни капли вина не проливалось — это сулило удачу в любви.

Стр. 457. *Кнемиды* — часть тяжелого доспеха, металлические наголенники.

Велиты — легковооруженные воины, предназначенные для коротких стычек вне строя.

Стр. 464. *Массик* — один из лучших сортов италийского вина.

Стр. 467. *Цирта* — столица Нумидии.

Стр. 472. *Цизальпинские воины* — галлы из Северной Италии, именовавшейся Цизальпинской (Предальпийской) Галлией.

Стр. 474. *Хомер* — мера емкости, равнялась 180 кабам (см. выше); *гин* — 3 каба; *бетца* — более известна как мера площади. *Дилохия* — всякий двойной отряд. *Синтагма* — строй из 16 рядов по 16 воинов.

Стр. 478. *Афака* — город в Ливане, известный храмом Астарты-Танит. Согласно мифам, жителем Афаки был возлюбленный этой богини Адонис.

Стр. 479. *Могбеды* — персидские маги, служители огня.

Самофракия — остров, где происходили таинства греческих Кабиров.

Пессинунт — город в Галатии (Малая Азия), известный храмом Кибелы — Матери Богов.

Эфес — греческий город в Малой Азии, центр культа Дианы Эфесской — древнейшей богини плодородия.

Набатейцы — аравийское племя.

Сандарак — ароматическая смола, добывавшаяся из туи.

Лемносский лабиринт упоминается у Плиния Старшего.

Бематисты Эвергета.— Бематистами назывались в войске Александра Македонского особые люди, на обязанности которых лежало измерение пройденного за день пути. При Птолемее III Эвергете под руководством Эратосфена были впервые осуществлены научные измерения протяженности земного меридиана и угла эклиптики.

Стр. 487. *Страна серийцев* — Китай, откуда в Средиземноморье уже в описываемую эпоху доставлялся шелк.

Сандастр — самоцветный камень из Индии.

Стр. 505. *Антиох II* Бог (261—246 гг. до н. э.) — сирийский царь, внук одного из полководцев Александра; вел войны с отколовшимися от него парфянами.

Архонт — высшее выборное должностное лицо в греческих городах-государствах.

Назамоны — африканское племя.

Стр. 531. *Деметрий Полиоркет* (337—283 гг. до н. э.) — один из полководцев, участвовавших в долгих войнах за раздел державы Александра Македонского. Во время двухлетней осады острова Родоса изобрел много осадных орудий, за что и получил прозвище «Полиоркет» («покоритель городов»).

Стр. 543. *Кукуфа* — египетское название удода. Стилизованная голова удода венчала жезлы египетских жрецов.

Стр. 544. *Фесмофорий* — гимн в честь Деметры (Цереры). Фесмофоры (греч.) — «законодательницы».

Стр. 545. *Шеминит* — струнный щипковый инструмент. *Киннор* — струнный инструмент, упоминаемый в Библии. *Небал* — финикийская арфа. *Сальсалимы* — небольшие литавры.

Стр. 547. *...элевсинскую молитву...*— Элевсин — город близ Афин, центр культа Деметры (Цереры) и ее дочери Персефоны (Прозерпины).

Стр. 550. *Квириты* — почетное наименование римлян.

Гиерон — тиран Сиракуз (около 265—215 гг. до н. э.), в начале Первой Пунической войны был союзником Карфагена, затем заключил мир с Римом и оставался верен договору с ним даже во время Второй Пунической войны. О помощи Гиерона Карфагену сообщает Полибий.

Стр. 564. *Галеолы.*— Птицы под этим названием упоминаются у Светония; возможно, это порода синиц.

Стр. 573. *...переправился бы через Пиренеи, через обе Галлии и Альпы в Италию...*— Флобер приписывает Гамилькару стратегический план вторжения в Италию, осуществленный в 218 году до н. э. Ганнибалом.





СОДЕРЖАНИЕ

Флобер Гюстав

Ф 73 Собрание сочинений: В 3-х т.—М.: Худож. лит. 1983.

Т. 1. Госпожа Бовари; Саламбо. Пер. с фр.: Вступит. статья Я. Фрида; Примеч. С. Ошерова. 1983. 623 с.

В первый том собрания сочинений Флобера входят два романа: «Госпожа Бовари» (1857) и «Саламбо» (1862). В романе «Госпожа Бовари», наполненном реалистическим, социальным содержанием, Флобер показал глубинные истоки окружающей его пошлости. Э. Гонкур назвал «Госпожу Бовари» шедевром, это произведение, писал он,— «последнее слово правды в романе». В «Саламбо» автор обращается к историческому материалу; в центре описания — столкновение Карфагена и наемников, конфликт между социальными верхами и низами.

Ф $\frac{4703000000\text{-}156}{028(01)\text{-}83}$ подписное И(Фр)



ФЛОБЕР ГЮСТАВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

Том I

Редактор
Р. Родина

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Л. Вецкувене

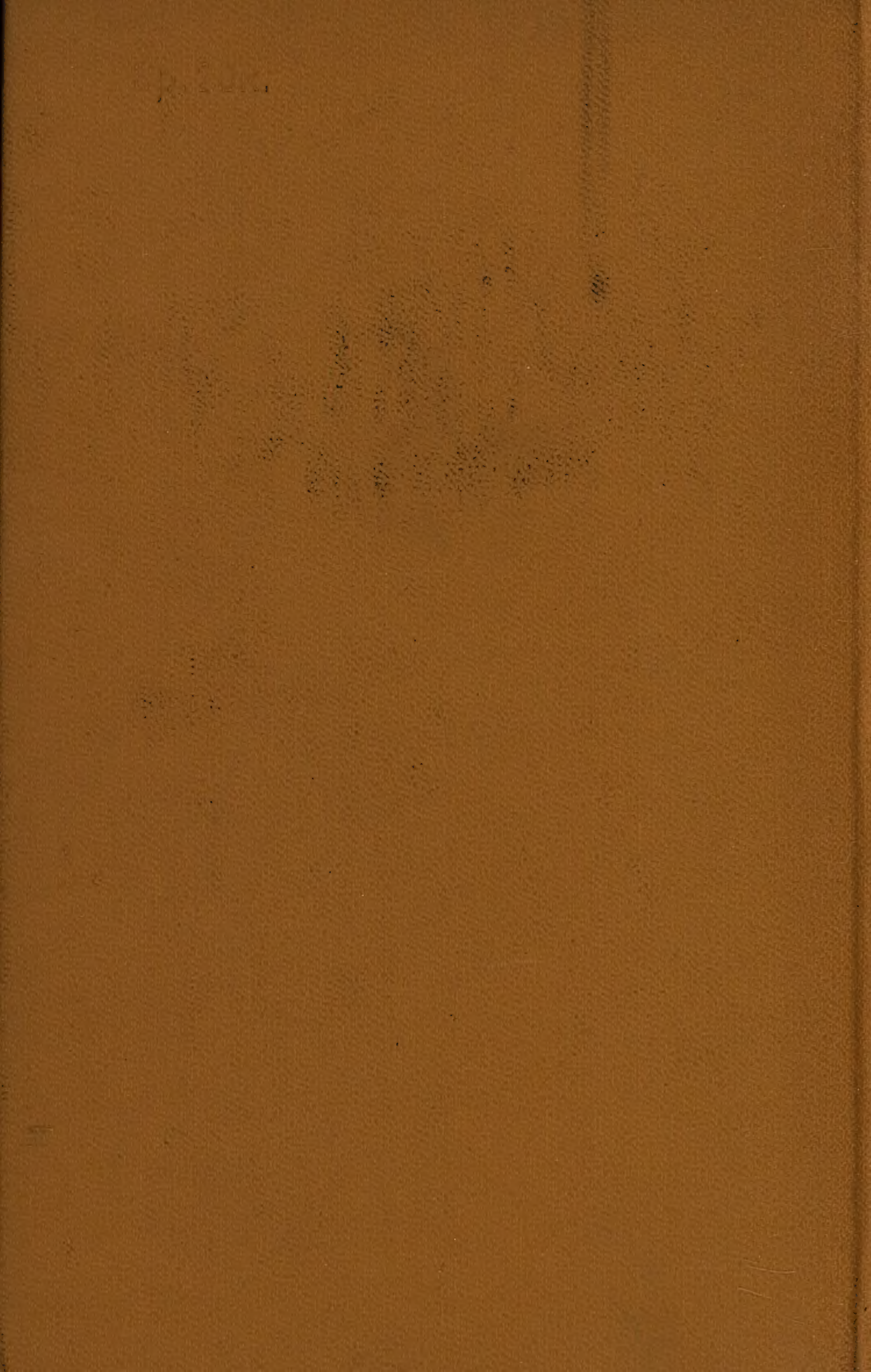
Корректоры
Г. Киселева, О. Паренкова

ИБ № 2937

Сдано в набор 27.07.82. Подписано в печать 06.01.83. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 32,76+1 вкл.=32,81. Усл. кр.-отт. 32,86. Уч.-изд.л. 36,23+1 вкл.=36,27. Тираж 200 000 экз. Изд. № VI-884. Заказ № 573
Цена 3 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54. Валовая, 28




ГЮСТАВ
ФЛОБЕР
1